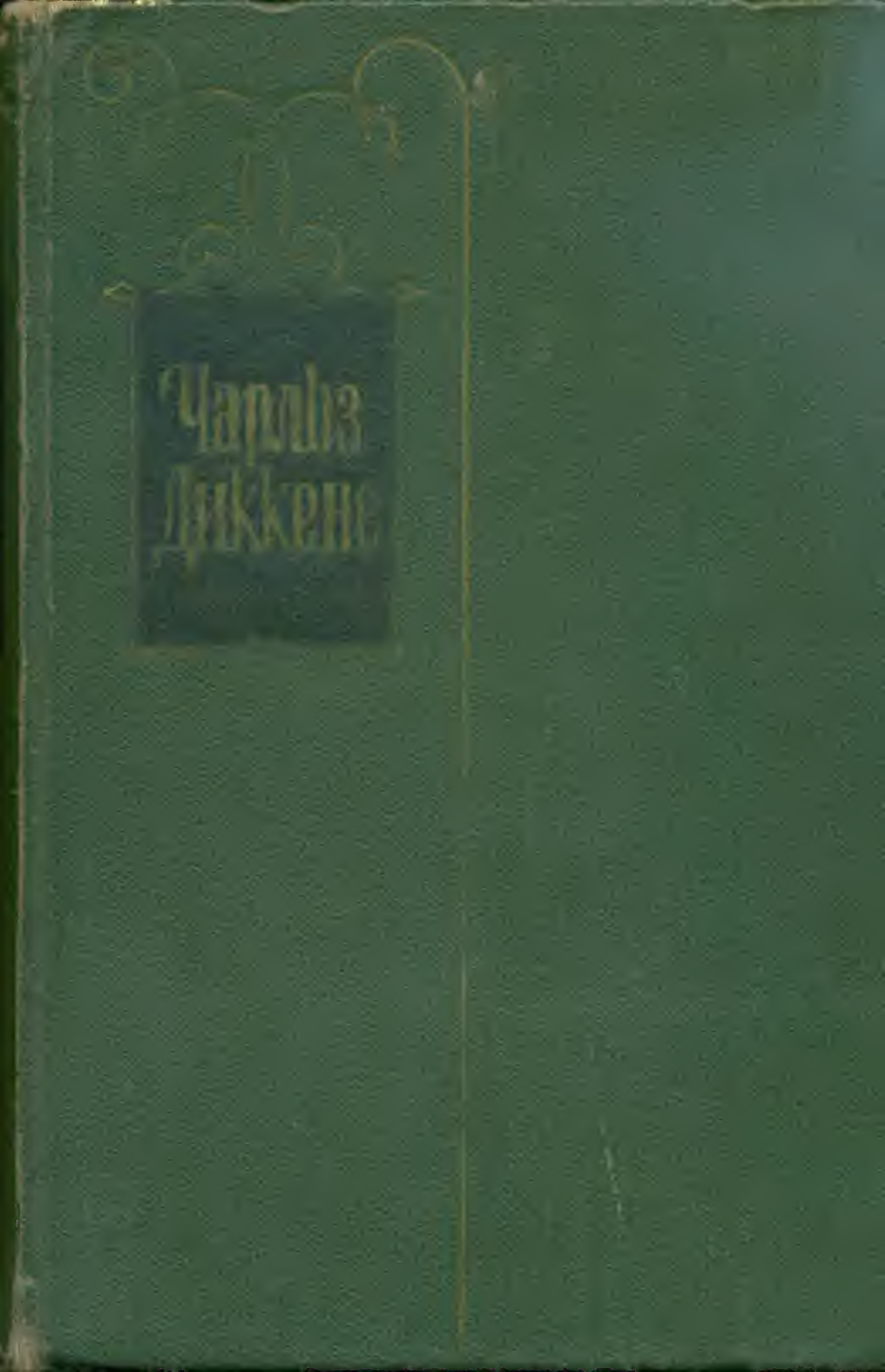

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1963

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

СТАТЬИ И РЕЧИ

Переводы с английского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1963

CHARLES DICKENS

MISCELLANEOUS PAPERS AND SPEECHES

(1838—1869)

Редактор переводов

Я. РЕЦКЕР

СТАТЬИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СЦЕНУ ПОДЛИННО ШЕКСПИРОВСКОГО «ЛИРА»

Все, на что мы только осмеливались надеяться, когда директором Ковентгарденского театра стал мистер Макриди *, осуществилось в полной мере. Однако наиболее блестящим успехом увенчалась, пожалуй, последняя из его благородных попыток доказать, что драматическое искусство может и должно служить лишь самым высоким целям. Он вернул театру подлинного шекспировского «Лира», которого наглое невежество изгнало оттуда почти сто пятьдесят лет назад.

Некий Ботлер, согласно преданию, подал пресловутому поэту-лауреату Нейхему Тейту * постыдную мысль «переделать «Лира» на новый лад». Обращаясь к указанному Ботлеру, мистер Тейт в посвящении изрекает: «Ваши слова оказались воистину справедливыми. Передо мной была груда драгоценных камней, не вставленных в оправу, даже не отшлифованных, и все же столь ослепительных, что я скоро понял, какое попало мне в руки сокровище». И вот Нейхем принялся усердствовать: вставил драгоценные камни в оправу, отшлифовал их чуть ли не до дыр; выбросил самые лучшие из них, в том числе Шута; навел на них глянец пошлости; нашпиговал трагедию любовными сценами; послал Корделию вместе с ее возлюбленным в удобную пещеру, чтобы она могла обсушиться и согреться, пока ее обезумевший, лишенный крова старик отец бродит по

степи под ударами безжалостной бури; и наконец, вознаградил и этого беднягу за его страдания, вернув ему сусального золота одежды и жестяной скипетр.

Беттертон * был последним великим актером, которому довелось сыграть «Лира» прежде, чем трагедия была столь кощунственно исковеркана. Его выступления в этой роли между 1663 и 1671 годами считаются высшим достижением его гения. Десять лет спустя мистер Тейт выпустил свою гнусную поделку, в которой и играли в последовательном порядке Боэм, Квин, Бут, Барри, Гаррик, Гендерсон, Кембл, Кин. Теперь же мистер Макриди, к вечной своей чести, восстановил шекспировский текст, и нам хотелось бы знать, найдется ли актер, у которого хватит глупого упрямства вернуться после этого к тексту мистера Тейта! Успех мистера Макриди обрек эту мерзость на вечное забвение.

Шут в трагедии «Король Лир» — это одно из удивительнейших созданий шекспировского гения. Его находчивые, язвительные и умные шутки, его несокрушимая преданность, его необыкновенная чуткость, его скрывающий отчаяние смех, безмолвие его печали, сопоставленные с величием сурового страдания Лира, с безмерностью горя Лира, с грозным ужасом безумия Лира, заключают в себе благороднейший замысел, на какой только способны ум и сердце человека. И это не просто благороднейший замысел. Публика, в течение трех вечеров переполнявшая зал Ковент-Гардена, доказала своим благоговейным вниманием — и даже чем-то бо̀льшим,— как необходим Шут для действия, для всей трагедии. Он необходим для зрителя, как слезы для переполненного сердца; он необходим для самого Лира, как воспоминание об утраченном царстве — как ветхие одеяния былого могущества. Несколько лет назад мы предсказывали, что рано или поздно это поймут все, и сейчас можем с еще большим правом повторить свои слова. Мы снова возьмем на себя смелость сказать, что Шекспир скорее позволил бы изгнать из трагедии самого Лира, чем изгнать из нее своего Шута. Мы словно видим, как он, обдумывая свое бессмертное произведение, вдруг чутьем божественного гения постиг, что такие безмерные несчастья можно показать на сцене, только если эти невыносимые страдания, непостижимо величественные и ужас-

ные, будут оттенены и смягчены тихой грустью, объяснены зрителям на более близком и доступном примере. Вот тогда он и задумал образ Шута, и только тогда его удивительная трагедия предстала перед ним во всей своей красоте и совершенстве.

Ни в одной другой пьесе Шекспира нет ничего подобного Шуту в «Короле Лире», и он неотделим от тоски и борения страстей в сценах безумия. Он неразрывно связан с Лиром, он — последнее звено, еще соединяющее старого короля с любовью Корделии и с короной, от которой он отказался. Ярость волчицы Гонерильи впервые пробуждается, когда она слышит, что отец ударил ее любимца «за то, что тот выругал его шута», и первое, о чем спрашивает лишившийся трона старик: «Где мой шут? Эй, ты, послушай, сходи за моим дураком». «Ну так где же мой шут? А? Похоже, будто все заснули». «Однако где же мой дурак? Я второй день не вижу его». «Позовите сюда моего шута». Все это подготавливает нас к трогательным словам, которые, заикаясь, произносит один из служителей: «С отъезда молодой госпожи во Францию королевский шут все время хандрит». И когда мистер Макриди с досадой, к которой примешивается плохо скрытая грусть, отвечает ему: «Ни слова больше! Я сам это заметил»,— это производит необыкновенное впечатление. Мы догадываемся, что в глубине его сердца все еще живет память о той, кто прежде была его кумиром, верхом совершенства, отрадой его старости, «любимицей отца». И столь же трогателен ласковый взгляд, который он бросает на вошедшего Шута, спрашивая с искренней озабоченностью: «А, здравствуй, мой хороший! Как поживаешь?» Разве можно после этого сомневаться, что его любовь к Шуту связана с Корделией, которая была добра к бедняге, теперь тоскующему в разлуке с ней? И уже это подготавливает нас к высочайшей трагедии финала, когда Лир, лишившись всего, что он любил на земле, склоняется над мертвым телом дочери и вдруг вспоминает о другом кротком, верном и любящем создании, которого он лишился, в минуту смертельной агонии ставя рядом два сердца, разбившиеся в служении ему: «И бедный мой дурак повешен!»

Лир мистера Макриди, и раньше отличавшийся мастерским воплощением авторского замысла, еще более выиграл

от возвращения в трагедию Шута. Это находится в полном соответствии с толкованием образа. Перечисленные нами сцены, например, в какой-то мере предвосхищались еще в самом начале, когда за гордой надменностью и королевским безрассудством Лира крылось и нечто другое — нечто, искупавшее его обращение с Корделией. Растерянная пауза после того, как он отнимает у нее «родительское сердце», торопливость и в то же время неуверенность, когда он приказывает позвать французского короля: «Вы слышите? Бургундский герцог где?» — сразу показывают нам, какого снисхождения он заслуживает, какой жалости, и мы понимаем, что он не владеет собой, и видим, как сильно и непобедимо владеющее им безрассудство. Стиль игры Макриди остается тем же в первой большой сцене с Гонерильей, где можно заметить столько правдивых и страшных в своей естественности штрихов. В этой сцене актер поднимается на самые высоты страстей Лира, проходя через все ступени страдания, гнева, растерянности, бурного возмущения, отчаяния и безысходного горя, пока наконец не бросается на колени и, воздев руки к небу, изнемогая от муки, не произносит грозного проклятия. В главной сцене второго действия есть тоже немало чудесных мест: его полная «hysterias passio»[1] попытка обмануть самого себя, его боязливая, тревожная нежность к Регане, возвышенное величие его призыва к небесам — эти страшные усилия сдержаться, эти паузы, этот невольный взрыв гнева после слов: «Я более не буду мешать тебе. Прощай, дитя мое»,— и, как нам кажется, несравненная по глубокой простоте и мучительному страданию великолепная передача стыда, когда он прячет лицо на плече Гонерильи и говорит:

> Тогда к тебе я еду.
> Полсотни больше двадцати пяти
> В два раза — значит, ты в два раза лучше.

И вот тут присутствие Шута позволяет ему совсем по-новому подать коротенькую фразу, заключающую сцену, когда вне себя от жгучего гнева, пытаясь порвать смыкающееся вокруг него кольцо неизъяснимых ужасов, он вдруг чувствует, что рассудок его мутится, и восклицает: «Шут

[1] Истерии *(лат.)*.

мой, я схожу с ума!» Это куда лучше, чем бить себя по лбу, бросая себе велеречивый и напыщенный упрек.

А Шут в сцене бури! Только сам побывав в театре, может читатель понять, как он тут необходим и какое глубокое впечатление производит его присутствие на зрителей. Художник-декоратор и машинист вложили в эту сцену все свое искусство, великий актер, играющий Лира, превзошел в ней самого себя — но все это бледнеет перед тем, что в ней появляется Шут. Здесь его характер меняется. Пока еще была надежда, он пытался лихорадочно-веселыми шутками образумить Лира, пробудить в его сердце былую любовь к младшей дочери, но теперь все это уже позади, и ему остается только успокаивать Лира, чтобы как-то разогнать его черные мысли. Во время бури Кент спрашивает, кто с Лиром, и слышит в ответ:

Никого. Один лишь шут,
Старающийся шутками развеять
Его тоску [1].

Когда же ему не удается ни успокоить Лира, ни развеять шутками его тоску, он, дрожа от холода, поет о том, что приходится «лечь спать в полдень». Он покидает сцену, чтобы погибнуть совсем юным, и мы узнаем о его судьбе, только когда над телом повешенной Корделии раздаются исполненные невыразимой боли слова.

Лучше всего в сценах в степи Макриди удается место, когда он вспоминает о «бездомных, нагих горемыках» и словно постигает совсем иной, новый мир. Но вообще этим сценам несколько не хватает бурности, сверхчеловеческого безумия. Зритель все время должен чувствовать, что главное здесь — не просто телесные страдания. Однако беседа Лира с «Бедным Томом» была необыкновенно трогательной, так же как и две последние сцены — узнавание Корделии и смерть, столь прекрасные и патетичные, что они исторгли у зрителей искреннейшую и заслуженную дань совершенству. Показывая нам, как сердце отца не выдерживает переполняющего его отчаяния и разрывается с последним горестным вздохом, мистер Макриди добавляет последний завершающий штрих к единственному совершен-

---

[1] Перевод Б. Пастернака.

ному образу Лира, какой знала Англия со времен Беттертона.

Нам еще не доводилось видеть, чтобы какая-либо трагедия так потрясла публику, как этот спектакль. Он — истинное торжество театра, ибо утверждает его высокую миссию. Почти все актеры показали себя с наилучшей стороны. Кент мистера Бартли был совершенен во всех отношениях, а мисс Хортон играла Шута с редкостным изяществом и тонкостью. Мистер Элтон был лучшим Эдгаром, какого нам только довелось видеть, если не считать мистера Чарльза Кембла; Регана мисс Хадерт много способствовала общему впечатлению, а Эдмунд мистера Андерсона был полон энергии и очарованья. Для описания же всего прочего, потребовавшего стольких знаний, вкуса и стараний, мы прибегнем к перу превосходного критика из «Джона Буля» *, ибо лучше него сделать это невозможно.

4 февраля 1838 г.

МАКРИДИ В РОЛИ БЕНЕДИКТА

Во вторник опять давали «Много шуму из ничего» и «Комуса» * и театр был полон. Публика принимала их так же восторженно, как и в бенефис мистера Макриди, и теперь они будут повторяться дважды в неделю.

Нам хотелось бы сказать несколько слов о мистере Макриди в роли Бенедикта не потому, что нужно хвалить достоинства его игры тем, кто видел ее сам,— достаточно вспомнить, как рукоплещут ему зрители,— а потому, что, на наш взгляд, ему не воздают должного некоторые из тех, кто описал спектакль для той знатной и благородной публики (ее, увы, больше, чем хотелось бы), которая редко удостаивает своим посещением театры, за исключением, разумеется, заграничных, а если и решает осчастливить английский храм Мельпомены *, то, по-видимому, только из похвального желания очистить и возвысить своим присутствием зрелище, полное гнусных непристойностей, чем и объясняется ее обычный выбор места развлечения.

Трагику, выступающему в комедии, всегда грозит опасность, что публика останется к нему холодной. Во-первых, многим не нравится, что тот, кто прежде заставлял их плакать, теперь заставляет их смеяться. Во-вторых, ему надо не только создать соответствующий образ, но и с первых же минут сделать его настолько ясным и убедительным, чтобы зрители на время забыли о том мрачном и трагиче-

ском, с чем в их памяти связан сам актер. И наконец, существует широко распространенное убеждение, касающееся всех искусств и всех областей общественной деятельности, а именно: что путь, по которому человек идет много лет,— хотя бы путь этот и был усыпан розами,— предназначен ему судьбой, и значит, ни по каким другим путям он ходить не умеет и не должен.

К тому же даже у людей с тонким взыскательным вкусом представление о героях пьесы в значительной мере определяется первым впечатлением; можно смело утверждать, что большинство, не полагаясь на собственное суждение, бессознательно видит Бенедикта не таким, каким он предстал перед ними при чтении пьесы, а таким, каким его впервые показали им на подмостках. И вот они вспоминают, что в таком-то месте мистер А. или мистер Б. имел обыкновение упирать руки в боки и многозначительно покачивать головой; или что в таком-то месте он доверительно кивал и подмигивал партеру, обещая нечто замечательное; или в таком-то месте держался за живот и дергал плечами, словно от смеха,— и все это представляется им присущим не манере игры вышеупомянутых мистера А. или мистера Б., а самому шекспировскому Бенедикту, подлинному Бенедикту книги, а не условному Бенедикту подмосток, и когда они замечают отсутствие какого-нибудь привычного жеста, им кажется, что опущена часть самой роли.

Взявшись играть Бенедикта, мистер Макриди должен был преодолеть все эти трудности, однако не кончилась еще его первая сцена во время первого спектакля, как вся публика в зале уже поняла, что до самого конца будет с восторгом следить за этим новым Бенедиктом — таким оригинальным, живым, деятельным и обаятельным.

Если то, что мы называем благородной комедией (пожалуй, Шекспир не понял бы такого обозначения), не должно смешить, значит, мистер Макриди ничем не напоминает Бенедикта из благородной комедии. Но раз он — то есть сеньор Бенедикт из Падуи, а не Бенедикт той или этой труппы,— постоянно развлекает действующих лиц «Много шума из ничего», раз он, как говорит дон Педро, «с головы до пят воплощенное веселье» и постоянно заставляет смеяться и принца и Клавдио, которые, надо полагать, знают

толк в придворных тонкостях, мы осмеливаемся думать, что тем, кто сидит ниже соли * или по ту сторону рампы, тоже не заказано посмеяться. И они смеются — громко и долго, чему свидетели сотрясающиеся стены Друри-Лейна.

Как бы мы ни судили — по аналогии ли, по сравнению ли с природой, искусством или литературой, по любому ли мерилу, как внутри нас, так и вовне,— мы можем прийти только к одному выводу: невозможно представить себе более чистый и высокий образчик подлинной комедии, чем игра мистера Макриди в сцене в саду, после того как он выходит из беседки. Когда он сидел на скамье, неловко скрестив ноги, недоуменно и растерянно хмурясь, нам казалось, что мы глядим на картину Лесли *. Именно такую фигуру с радостью изобразил бы этот превосходный художник, так тонко ценивший тончайший юмор. Тем, кому эта сцена кажется грубоватой, фарсовой или неестественной, следовало бы припомнить весь предшествующий ей ход событий. Пусть они подумают хорошенько и попытаются представить себе, как бы описал поведение Бенедикта в эту критическую минуту писатель-романист, не предполагающий, что эта роль найдет когда-нибудь живое воплощение: и они непременно придут к заключению, что описано будет именно то, что показал нам мистер Макриди. Перечтите любое место в любой пьесе Шекспира, где рассказывается о поведении человека, попавшего в нелепое положение, и, опираясь только на этот критерий (не касаясь даже ошибочного представления о естественной манере держаться, которое могло возникнуть у Гольдсмита, Свифта, Филдинга, Смоллета, Стерна, Скотта или других таких же непросвещенных ремесленников), попробуйте придраться к превосходной игре мистера Макриди в этой сцене.

Тонкое различие между этим толкованием образа и последующими любовными сценами с Беатриче, вызовом Клавдио и веселыми, находчивыми ответами на шутки принца в самом конце было под силу воплотить только подлинному мастеру, хотя самый неискушенный зритель в зале не мог не почувствовать и не оценить его. Нам показалось, что во втором действии мистер Макриди старается избегать Беатриче слишком уж всерьез; но это, пожалуй, излишняя придирчивость — считать недостатком

подобную мелочь при столь отточенной и совершенной игре. А она действительно была такой — это наше искреннее и беспристрастное мнение, которое мы проверили на досуге, когда уже улеглись волнение и восхищение, вызванные спектаклем.

Остальные роли в большинстве тоже были сыграны превосходно. Мистер Андерсон был отличным Клавдио в любовных и веселых сценах, но невозмутимое равнодушие, с которым он принял известие о мнимой смерти Геро, бросает тень на его здравый смысл и портит всю пьесу. Мы были бы от души рады, если бы это досадное обстоятельство удалось исправить. Кизил мистера Комптона порой бывал похож на себя, хотя и обладал твердостью железа. Если бы он, благодаря своему знакомству с Кили* (чье всепоглощающее внимание к ученому соседу поистине изумительно), смог раздобыть немножко масла, то из него получился бы куда более удачный начальник стражи принца. Миссис Нисбетт очаровательна с начала и до конца, а мисс Фортескью еще более очаровательна, потому что уверенности у нее больше, а букет у корсажа — меньше. Мистер Фелпс и мистер У. Беннет заслуживают особого упоминания за то, что играли с большим воодушевлением и большим тактом.

Пусть те, кто по-прежнему считает, будто созерцание древнеримского сената, изображаемого кучкой статистов, за пять шиллингов усевшихся у колченогого стола, над которым виднеются тоги, а под которым прячутся плисовые штаны, более приятно и поучительно, нежели живая правда, предлагавшаяся им в «Кориолане» в те дни, когда мистер Макриди был директором Ковент-Гардена,— пусть такие поклонники театра отправятся бродить по диким дебрям в нынешней постановке «Комуса», пусть они посмотрят на сцену, когда

Он и его чудовищная свита,
Как волки воют, тиграми ревут
В своей берлоге темной, в честь Гекаты
Свершая тайный, мерзостный обряд...—

и попробуют примирить свое прежнее мнение с законами человеческого разума.

4 марта 1843 г.

ДОКЛАД КОМИССИИ, ОБСЛЕДОВАВШЕЙ ПОЛОЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ УМСТВЕННОГО ТРУДА В ОКСФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Едва ли необходимо напоминать нашим читателям, что несколько месяцев тому назад лордом-канцлером была назначена комиссия для расследования плачевного засилия невежества и суеверий, якобы имеющего место в Оксфордском университете. Представители этого почтенного заведения в палате общин и прежде и потом не раз публично сообщали весьма удивительные и зловещие факты. Поручение это было возложено на ту же комиссию, которая ранее обследовала состояние нравственности детей и подростков, работающих на шахтах и заводах, ибо было вполне справедливо решено, что сравнение мрака, царящего в колледжах, с мраком шахт и вредной атмосферы храма науки с атмосферой храмов труда будет весьма полезно для общества и, возможно, откроет ему глаза на многое.

С тех пор комиссия деятельно занималась порученным ей расследованием и, изучив всю массу собранного ею материала, сделала некоторые выводы, вытекающие, по ее мнению, из фактов. Ее доклад лежит сейчас перед нами, и хотя он еще не был представлен парламенту, мы берем на себя смелость привести его целиком.

Комиссией было установлено:

Во-первых, касательно условий труда,

Что процессы умственного труда в Оксфордском университете остались по сути дела точно такими же, как в те дни, когда его учредили для изготовления священников. Что они застыли в неподвижности (а в редких случаях, когда наблюдались какие-то изменения, последние всегда оказывались к худшему), в то время как трудовые процессы повсюду изменялись и улучшались. Что занятия, которым предаются молодые люди, чрезвычайно опасны и губительны из-за огромного количества пыли и плесени. Что все они становятся удивительно близорукими и весьма многие из них еще в юных летах лишаются разума, и возвращается он к ним крайне редко. Что весьма часто их поражает полная и неизлечимая слепота и глухота. Что они впадают в глубочайшую апатию и поэтому готовы подписать что угодно, не спрашивая и не имея ни малейшего представления, под чем именно они ставят свою подпись — последнее явление чрезвычайно распространено среди этих несчастных, и они не отступают от своего обычая, даже когда требуется подписать разом тридцать девять пунктов *. Что из-за отупляющего однообразия их занятий и вечного повторения одного и того же (для чего требуется не умение самостоятельно мыслить, но лишь присущая даже попугаю способность подражать) у них замечается полное и грустное сходство друг с другом в характере и мнениях, причем развитие их застыло на мертвой точке (весьма и весьма мертвой, по мнению комиссии) непоправимого скудоумия. Что такая система труда неизбежно приводит к разжижению и даже параличу мозга. Комиссия с полным основанием может добавить, что в профессии шахтеров Шотландии, ножовщиков Шеффилда или литейщиков Вулвергемптона ею не было найдено ничего и в половину столь вредного для лиц, занятых на такой работе, или столь опасного для общества, как губительная система труда, принятая в Оксфордском университете.

Во-вторых, касательно вопиющего невежества,

Что положение в Оксфордском университете в этом отношении поистине ужасающе. Принимая во внимание все обстоятельства, комиссия даже пришла к выводу, что подростков и юношей, работающих на шахтах и фабриках,

можно считать высокообразованными людьми, отличающимися тонким интеллектом и обширнейшими знаниями, если сравнить их с молодежью и стариками, занятыми производством священников в Оксфорде. И вывод этот был сделан комиссией не столько после чтения заслуживших приз стихотворений и установления удивительно малого числа тех молодых людей, которые, пробыв в университете положенный срок, сумели в своей дальнейшей жизни чем-нибудь отличиться или хотя бы стать здоровыми телесно и духовно, сколько путем рассмотрения собранных при обоих обследованиях сведений и беспристрастной сравнительной оценки их.

Совершенно справедливо, что в Бринсли (Дербишир) мальчик, отвечавший на вопросы комиссии, обследовавшей детей и подростков, не сумел грамотно написать слово «церковь», хотя и учился в школе три года, в то время как лица, находящиеся в Оксфордском университете, вероятно, все могут написать слово «церковь» с величайшей легкостью, да и редко пишут что-нибудь еще. Однако, с другой стороны, не следует забывать, что лицам, находящимся в Оксфордском университете, были совершенно непонятны такие простые слова, как справедливость, милосердие, сострадание, доброта, братская любовь, терпимость, кротость и благие дела, в то время как, согласно собранному материалу, с несложными понятиями «священник» и «вера» у них были связаны самые нелепые представления. Некий работающий на шахте мальчик знал о Всемогущем только одно — что «его все проклинают», но, как ни отвратителен глагол «проклинать» рядом с именем источника милосердия, все же переведите его из страдательного в действительный залог, поставьте имя Вседержителя в именительном падеже вместо винительного, и вы убедитесь, что, хотя такое выражение куда более грубо и кощунственно, почти все лица, подвизающиеся в Оксфордском университете, представляют себе творца вселенной только таким.

Что ответы лиц, подвизающихся в вышеуказанном университете, на вопросы, задававшиеся им в ходе обследования членами комиссии, указывают на упадок морали, куда более серьезный, чем обнаруженный где-либо на шахтах и фабриках, как неопровержимо доказывается следую-

щими примерами. Подавляющее большинство опрошенных на вопрос, что они подразумевают под словами «религия» и «искупление», ответили: горящие свечи. Некоторые заявили — воду, другие — хлеб, третьи — малюток мужского пола, а кое-кто смешал воду, горящие свечи, хлеб и малюток мужского пола воедино и назвал это верой. Еще некоторые на вопрос, считают ли они, что для небес или для всего сущего имеет важное значение, надевает ли в определенный час смертный священник белое или черное одеяние, поворачивает ли он лицо к востоку или к западу, преклоняет ли свои бренные колени, или стоит, или пресмыкается по земле, ответили: «Да, считаем». А когда их спросили, может ли человек, пренебрегавший подобной мишурой, обрести вечное упокоение, дерзко ответили: «Нет!» (см. свидетельство Пьюзи и других).

А один молодой человек (настолько не первой молодости, что он, казалось бы, мог уже образумиться), будучи спрошен на занятиях, считает ли он, что человек, посещающий церковь, тем самым уже во всех отношениях превосходит человека, посещающего молельню, также ответил: «Да!» Это, по мнению комиссии, пример такого невежества, узколобого ханжества и тупости, какого не сыскать в материалах обследования шахт и фабрик и какое могла породить только система занятий, принятая в Оксфордском университете (см. свидетельство Инглиса). Один мальчик предупредил все вопросы комиссии, обследовавшей шахты и фабрики, сразу заявив, что «ни об чем судить не берется», а лица, подвизающиеся в Оксфордском университете, единогласно заявляют, что «ни об чем судить не берутся» (за исключением таких пустяков, как чужие души и совесть) и что, веря в божественность рукоположения любого угодного им священника, они «ни перед кем и ни в чем не ответственны». А это, по мнению комиссии, опять-таки куда более вредно и чревато куда большими опасностями для благополучия всего общества (см. материалы обследования).

Мы смиренно обращаем внимание вашего величества на то, что лица, дающие подобные ответы, придерживающиеся подобных мнений и отличающиеся подобным невежеством и тупым ханжеством, могут причинить гораздо больше зла, нежели неспособные наставники подростков и

молодых людей, подвизающиеся на шахтах и фабриках, поскольку последние обучают молодежь добровольно и их всегда можно удалить, если того потребуют интересы общества, в то время как первые — это учителя воскресной школы, обязательной для всего королевства, навязываемые законом подданным вашего величества, и уволить их за неспособность или недостойное поведение могут только некие надзиратели — так называемые епископы, которые чаще всего даже менее способны, чем они, и ведут себя еще менее достойно. Посему наш верноподданнический долг требует, чтобы мы рекомендовали вашему величеству лишить указанных лиц экономических, социальных и политических привилегий, коими они сейчас пользуются, развращая и загрязняя душу и совесть подданных вашего величества, а если за ними все-таки будет сохранено право даровать ученые степени и отличия, то хотя бы изменить названия этих степеней так, чтобы можно было сразу понять, на каком основании они даруются. И это, если ваше величество соблаговолит согласиться, можно будет сделать без малейшего нарушения основных принципов истинного консерватизма, сохранив начальные буквы нынешних названий (вещь весьма существенная), как-то: «баккалавр идиотизма», «магистр измышлений», «доктор церковного пустословия» и тому подобное.

Смиренно представляем этот доклад вашему величеству.

Томас Тук (м. п.)
Т. Саутвуд Смит (м. п.)
Леонард Хорнер (м. п.)
Роберт Дж. Сондерс (м. п.)

3 июня 1843 г.

ИНТЕРЕСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Наше правительство так ловко и умело манипулировало «Законом против заговоров», что, по нашему мнению, ему следовало бы (высматривая государственным оком пути умиротворения некоторых из своих наиболее влиятельных и наиболее своевольных сторонников) обвинить все промышленные интересы страны в заговоре против ее сельскохозяйственных интересов. Дабы не дать предлога для отвода присяжных, их следует набрать из числа арендаторов герцога Букингемского *, а самого герцога Букингемского сделать их старшиной; ну, а для того, чтобы вся страна была довольна судьей и заранее уверена в его мягкости и беспристрастии, представляется желательным чуточку изменить закон (совершеннейший пустяк для консервативного правительства, которое знает, чего хочет!) и передать дело в церковный суд под председательством епископа Эксетерского. Генеральный прокурор Ирландии, перековав свой меч на орало, мог бы возглавить обвинение, а мистер Кобден * и прочие адвокаты выбирали бы любые линии защиты, доказывали бы и опровергали все, что им заблагорассудится, не испытывая ни малейшего беспокойства или сомнения относительно того, каким будет вердикт.

Нет никаких сомнений, что почти вся страна вступила в заговор против этих злосчастных, хотя и священных сельскохозяйственных интересов. Ведь не только в стенах

театра Ковент-Гарден или манчестерского Фритрейдхолла и ратуши Бирмингема гремит клич — «Отменить хлебные законы!» * Он слышится в стонах, доносящихся по ночам из богаделен, где на кучках соломы спят обездоленные; его мы читаем на изможденных, землистых от голода лицах, превращающих наши улицы в приют ужаса; он звучит в благодарственной молитве, которую бормочут исхудалые арестанты над своей скудной тюремной трапезой; он начертан страшными письменами на стенах тифозных бараков; нетрудно увидеть его следы во всех цифрах смертности. И все это неопровержимо доказывает, что против несчастных сельскохозяйственных интересов создается обширнейший заговор. И это так ясно, что о нем вопиют железные дороги. Кучер старой почтовой кареты был другом фермера. Он ходил в высоких сапогах, разбирался в коровах, кормил своих лошадей овсом и питал самый горячий личный интерес к солоду. Одежда машиниста, его вкусы и привязанности тяготеют к фабрике. Его бумазейный костюм, пропитанный угольной пылью и покрытый пятнами сажи, его вымазанные в масле руки, его грязное лицо, его познания в механике — все выдает в нем сторонника промышленных интересов. Огонь, дым и раскаленный пепел — вот его свита. Он не связан с землей, путь его — это дорога из железа, сотворенная в доменных печах. Его предостерегающий крик не облекается в великолепные слова древнего саксонского диалекта наших предков — это сатанинский вопль. Он не кричит «йя-хип!» во всю силу сельскохозяйственных легких, но испускает механический рев из промышленно сотворенной глотки.

Так где же сохраняются еще сельскохозяйственные интересы? Из какой области нашей социальной жизни не были они изгнаны, уступив место незаслуженно возвышаемому сопернику-самозванцу?

Можно ли назвать сельскохозяйственной полицию? Сельскохозяйственными были стражники. Они все до единого носили вязаные ночные колпаки, они поощряли рост строевого леса, патриотически придерживаясь дубинок и колотушек самых титанических размеров; каждую ночь они спали в будках, представлявших собой лишь видоизмененную форму знаменитых деревянных стен Старой Англии; они неизменно просыпались, только когда было уже

слишком поздно,— в этом отношении их легко было спутать с самыми что ни на есть подлинными фермерами. Ну, а полицейские? Пуговицы на их мундирах изготовлены в Бирмингеме, из дюжины их дубинок не соорудишь и одной настоящей колотушки; им не дано деревянных стен, чтобы почивать между ними, а на голове они носят кованое железо.

Можно ли назвать сельскохозяйственными врачей? Пусть ответят на этот вопрос господа Морисон и Моут из Гигиенического заведения на Кингс-Кросс в Лондоне. Разве деятельность этих джентльменов не является постоянным доказательством того факта, что все наши медики объединились, дабы единодушно опровергать достоинства универсальных растительных лечебных средств? И разве это пренебрежение к растениям и пристрастие к стали и железу, которое отличает практикующих врачей, можно истолковать как либо иначе? Разве это не совершенно открытое отречение от интересов сельского хозяйства и не поддержка промышленных?

А хранители законов — разве они не нарушают верность прекрасной девице, которую им следовало бы боготворить? Спросите об этом у Генерального прокурора Ирландии. Спросите у этого достопочтенного и ученого джентльмена, который на днях публично отбросил серое гусиное перо — продукт сельского хозяйства — и взялся за пистолет, утративший со введением пистонных замков даже кремень — свою последнюю связь с сельским хозяйством. Или задайте тот же самый вопрос еще более высокому деятелю юстиции, который в том самом случае, когда ему надлежало быть тростником, колеблющимся туда и сюда в зависимости от ветра противоречивых фактов, восседал на судейском кресле словно идол, отлитый Властью из самого тяжелого чугуна.

Весь мир принимает чрезмерное участие в наших промышленных интересах — всегда и везде: в этом и источник недовольства и великая истина. С сельскохозяйственными интересами — что бы ни крылось под этим названием — дело обстоит совсем по-другому. Их представители не думают о страдающем мире, не видят его и равнодушны к тому, что им все-таки о нем известно; и так будет, пока мир остается миром. Все те, кого Данте поместил в

первый круг обители скорби, отлично могли бы представлять сельскохозяйственные интересы в нынешнем парламенте, или на собраниях друзей фермеров, или где угодно еще.

Но речь сейчас идет не об этом. Против сельского хозяйства замышлен заговор; и мы хотели только привести несколько доказательств существования этого заговора и того, что в нем участвуют самые различные классы. Разумеется, обвинительному акту против всех промышленных интересов в целом совсем незачем быть длиннее обвинительного акта против О'Коннела и других *. В качестве представителя этих интересов можно взять мистера Кобдена, каковым его и так все единодушно признают. Пусть нет никаких улик — они и не требуются. Достаточно будет судьи и присяжных. А их-то правительство отыщет без труда, если только оно хоть чему-нибудь научилось.

9 марта 1844 г.

УГРОЖАЮЩЕЕ ПИСЬМО ТОМАСУ ГУДУ* ОТ НЕКОЕГО ПОЧТЕННОГО СТАРЦА

Мистер Гуд, сэр!

Конституции все-таки приходит конец. Не смейтесь, не смейтесь, мистер Гуд! Я знаю, что конец ей приходил уже раза два или три, а может, даже и четыре. Но сейчас она дышит на ладан, сэр, это уж точно.

С вашего разрешения, я хочу указать, что последние выражения были употреблены мной сознательно, сэр, и отнюдь не в том смысле, в каком они употребляются нынешними безмозглыми фатами. Когда я был мальчиком, мистер Гуд, фатов еще и в помине не было. Англия была Старой Англией, когда я был молод. Мне и в голову не могло прийти, что она станет Молодой Англией *, когда я буду стар. Но нынче все идет задом наперед.

Да, в мои дни правительства были правительствами, а судьи — судьями, мистер Гуд. И никаких этих нынешних глупостей. Попробовали бы вы начать свои крамольные жалобы — мы тут же пустили бы в ход солдат. Мы пошли бы в атаку на Ковентгарденский театр, сэр, как-нибудь вечером в среду — и с примкнутыми штыками. Тогда судьи умели быть твердыми и блюсти достоинство закона. А теперь остался только один судья, который умеет исполнять свой долг. Именно он судил недавно ту самую мятежницу, которая, хотя и имела сколько угодно работы (шила рубашки по три с половиной пенса за штуку), нисколько

не гордилась своей славной родиной и, чуть только потеряв легкий заработок, в помрачении чувств изменнически попыталась утопиться вместе со своим малолетним ребенком; и этот достойнейший человек не пожалел труда и сил — труда и сил, сэр,— чтобы немедленно приговорить ее к смерти и объяснить ей, что в этом мире для нее нет милосердия. Прочтите газеты за среду 17 апреля — и вы сами во всем убедитесь. Его не поддержат, сэр, я знаю, его не поддержат; однако не забудьте, что его слова стали известны во всех промышленных городах нашей страны и читались вслух толпами во всех политических собраниях, пивных, кофейнях и местах тайных и открытых сборищ, куда повадились ходить недовольные рабочие,— и никакая жалкая слабость правительства не сможет изгладить эти слова из их памяти. Великие слова и деяния, вроде этого, мистер Гуд, не проходят незамеченными в дни, подобные нашим: их тщательно запоминают, и им не угрожает мрак забвения. Все общество (особенно те, кто мечтает о мире, о гармонии) весьма ему обязано. Если какому-нибудь человеку суждено будет нахватать звезд с неба, то только ему; и мне говорили даже, что это ему как-то почти удалось.

Но даже ему не под силу спасти конституцию, сэр,— ее искалечили непоправимо. А вам известно, в какую гнусную непогоду потерпит она крушение, мистер Гуд, и ради чего будет принесена в жертву? А вы знаете, на какую скалу она наткнется, сэр? Я убежден, что нет, ибо пока это известно только мне одному. Но я расскажу вам.

Конституция разобьется, сэр (в морском смысле этого слова), о вырождение рода человеческого в Англии и о его превращение в смешанное племя дикарей и пигмеев.

Таков мой вывод. Таково мое предсказание. Вот что несет нам будущее, сэр,— предостерегаю вас. А теперь я докажу это, сэр.

Вы литератор, мистер Гуд, и, как я слышал, написали несколько вещиц, которые стоит прочесть. Я говорю «как я слышал», потому что не читаю ничего нынешнего. Вы уж извините меня, но, по моему мнению, человек должен знать о своем времени только одно — что такого скверного времени никогда прежде не бывало и, наверное, никогда

не будет. Это, сэр, единственный способ обрести подлинную мудрость и счастье.

По своему положению литератора, мистер Гуд, вы часто посещаете двор нашей всемилостивейшей королевы, да благословит ее бог! И следовательно, вам известно, что три главных ключа к дверям королевского дворца (после титула и политического влияния) суть Наука, Литература и Искусство. Я лично никак не могу одобрить этого обычая. В нем, по моему мнению, есть нечто простонародное, варварское, противуанглийское — ведь так издавна повелось в чужих землях, еще со времен нецивилизованных султанов «Тысячи и одной ночи», которые всегда старались окружить себя прославленными мудрецами. Но так или иначе, вы бываете при дворе. А когда вы не обедаете за королевским столом, для вас всегда накрыт прибор за столом конюших, где, если я не ошибаюсь, рады видеть людей даровитых.

Но ведь не каждый может быть одаренным человеком, мистер Гуд. Способности к наукам, литературе или живописи так же не передаются по наследству, как и плоды трудов ученого, литератора, художника — закон, искусно подражая природе, отказывает второму поколению в праве на них.* Отлично, сэр. Далее: люди, естественно, стараются найти какие-нибудь другие средства добиться благосклонности двора и стремятся постичь дух времени, дабы обеспечить себе или своим потомкам путь к этой высокой цели.

Мистер Гуд, из последних сведений, сообщенных нам «Придворным бюллетенем», неопровержимо следует, что отец, который желает наставить сына на путь истинный — на путь, ведущий ко двору,— но не может воспитать из него ни ученого, ни литератора, ни художника, должен выбрать одно из трех: искусственными способами сделать из сына карлика, дикого человека или Мальчика Джонса *.

Вот, сэр, та мель, те зыбучие пески, о которые конституция разобьется вдребезги.

Я наводил справки, мистер Гуд, и установил, что в моем околодке две с дробью семьи из каждых четырех, принадлежащих к низшим и средним классам, изыскивают и пускают в ход всевозможные способы, чтобы помешать расти своим младшим отпрыскам, еще не вышедшим из пеленок.

Не поймите меня ложно — я имею в виду «расти» не в смысле количества или духовного роста,— нет, они хотят помешать им расти вверх. Несколько раз в день эти юные создания получают губительное и принижающее питье, состоящее из равных долей джина и молока,— то самое, которое дают щенятам, чтобы прекратить их рост. Напиток не столько крепкий, сколько закрепляющий на достигнутой длине. Сперва в этих младенцах с помощью солонины, копчений, анчоусов, сардин, селедки, креветок, оливок, горохового супа и тому подобных блюд возбуждают искусственную и неестественную жажду. Когда же они жалобно просят пить голосками, которые могли бы растопить даже ледяное сердце,— они делают это (просят пить, а не растапливают ледяные сердца) каждую минуту,— то в их чересчур доверчивые желудки вводится вышеупомянутая жидкость. Этот обычай вызывать жажду, а затем утолять ее с помощью задерживающего рост напитка соблюдается в столь раннем возрасте и столь ревностно, что кашу варят теперь на морской воде, а кормилицы, пользовавшиеся прежде безупречной репутацией, ходят по улицам шатаясь — из-за количества джина, сэр, вводимого в их организмы с целью постепенного и естественного превращения его в жидкость, мною уже не раз упомянутую.

По тщательнейшим моим расчетам это происходит, как я уже отметил, в двух с дробью семьях из каждых четырех. Еще в одной с дробью семье на то же самое количество делаются попытки вернуть детей к естественному состоянию — с младенчества привить им любовь к сырому мясу, молодому рому и собиранию скальпов. Недаром в моду вошли дикие заморские танцы (вы, несомненно, заметили последнее увлечение полькой?); в большом ходу также дикарские боевые кличи и вопли (если вы не верите, то зайдите в любой вечер в палату общин и убедитесь сами). Да-да, мистер Гуд, некоторым людям — и людям, занимающим к тому же весьма видное положение,— уже удалось вырастить на редкость диких сыновей, которые с немалым успехом выставлялись на всеобщее обозрение в судах по делам о банкротстве, в полицейских участках и других столь же почтенных учреждениях, но которые пока еще не вошли в милость при дворе: насколько я понимаю, причина тому — еще не забытое впечатление от

дикарей мистера Рэнкина, тем более что дикари мистера Рэнкина все как на подбор были иностранцами.

Мне незачем напоминать вам, сэр, недавний случай с Невестой Оджибуэя. Но я слышал от людей надежных, что она собирается удалиться в дикарскую глушь, где, возможно, обзаведется множеством детей и даст им дикое воспитание, а они с течением времени, ловко использовав успех, который, несомненно, ждет их в Виндзоре и Сент-Джеймсе *, завладеют наравне с карликами всеми самыми важными государственными постами Соединенного Королевства.

Поразмыслите же, мистер Гуд, над печальными и неизбежными последствиями, к которым не могут не привести вышеописанные попытки, встречающие поощрение в самых высоких кругах.

В милость вошел карлик, и значит, общество в первую очередь и главным образом будет заботиться о создании карликов, а дикарей станут воспитывать только из тех, из кого карлики не получились. Воображение рисует невероятнейшие картины такого будущего, однако все, на что способно воображение, будет осуществлено на самом деле и уже осуществляется. Вы можете убедиться в этом, обратив внимание на положение тех дам, которых во время представлений в Египетском зале так восхищает Генерал Том-с-Ноготок *.

Все растущее количество карликов прежде всего скажется на департаменте, ведающем вербовкой солдат на службу ее величества. Волей-неволей придется уменьшить строевой рост, а карлики тем временем будут становиться все меньше и меньше, и вульгарное выражение «от горшка два вершка» превратится из фигурального в буквальное; для отборных полков, и особенно для гвардии по всей стране будут специально разыскивать самых низеньких людей, и в двух крохотных воротах конногвардейских казарм два Тома-с-Ноготок будут каждый день нести караул верхом на шотландских пони. Сменять их будут (как Тома-с-Ноготок в перерывах между его выходами) дикие люди, так что британский гренадер грядущих дней либо сможет уместиться в квартовой кружке, либо будет носить имя вроде Старины, Голубой Чайки, Летучего Быка, как и подобает дикому вождю подобного сорта.

Не стану говорить здесь о многочисленных карликах, которые заменят греческие статуи во всех парках столицы, ибо я склонен считать это переменой к лучшему,— нет никаких сомнений, что два-три карлика на Трафальгарской площади послужат только к исправлению вкусов публики.

Как только карлики займут наиболее почетные придворные должности, сэр, придется несколько изменить существующий этикет. Вполне очевидно, что даже сам Генерал Том-с-Ноготок не сумел бы сохранить надлежащего достоинства, если бы ему пришлось шествовать в торжественных процессиях с жердью под мышкой; посему ныне существующие золотые и серебряные жезлы придется заменить вертелами из тех же драгоценных металлов; палка из черного дерева превратится в прутик не толще розги; вместо нынешней булавы придется брать погремушку его королевского высочества принца Уэльского; а эта безделка (как назвал ее Кромвель, мистер Гуд) будет перечислена в кредит национального долга после надлежащей ее оценки правительственным актуарием мистером Финлейсоном.

Все это, сэр, сгубит конституцию. А ведь это еще не все. Может быть, конституцию и вправду убить нелегко, но ей грозит столько бед, что хватило бы и на три конституции, мистер Гуд.

Дикие люди проникнут в палату общин. Только представьте себе это, сэр! Представьте себе, что в палате общин заседает Сильный Ветер! И сейчас там нелегко следить за дебатами — так вот, представьте себе, как я уже сказал, что Сильный Ветер выступает в палате общин на благо своим избирателям! Или вообразите (ведь это чревато еще более ужасными последствиями), что кабинет содержит в палате общин переводчика, дабы он мог внятно объяснить стране намерения ее правительства!

Да одного этого будет достаточно, сэр, чтобы конституция посыпалась вместе со штукатуркой Сент-Джеймского дворца, чтобы от нее остался только дым!

Однако повторяю: именно к этому мы и идем с необыкновенной быстротой, мистер Гуд, и я вкладываю свою карточку — пусть она вас окончательно убедит, но прошу держать мое имя в тайне. Каково будет положение страны,

чья армия состоит из карликов и горстки диких людей, приводящих в смятение ее же ряды, как те боевые слоны, которых некогда использовали на войне,— я предоставляю, сэр, вообразить это вам самому. Какие-нибудь безмозглые фаты могут легкомысленно заявить, что количество новобранцев во флоте после насильственной вербовки Мальчиков Джонсов * и оставшейся части искателей милости двора само по себе будет достаточно, чтобы защитить наш остров от вторжения иноземцев. Но я отвечу этим фатам, сэр, следующее: я признаю всю мудрость прецедента с Мальчиком Джонсом; очень хорошо, когда таких мальчишек после того, как они несколько раз попадали в тюрьму за бродяжничество, похищают и увозят на корабль, а затем, стоит им только выйти на берег подышать свежим воздухом, снова отправляют в море; но, признавая все эти факты, я тем не менее наотрез отказываюсь признавать выводы, которые из них делаются,— мне ясно, что из-за своего неуемного любопытства эти юные преступники будут неизбежно повешены врагом, как шпионы, прежде чем их успеют занести в списки обученных моряков нашего флота.

Таково, мистер Гуд, ожидающее нас будущее! Если только вам и тем из ваших друзей, которые тоже пользуются влиянием при дворе, не удастся раздобыть великана — а ведь даже и это средство очень ненадежно,— для нашей злосчастной страны нет спасения.

Что касается ваших собственных дел, сэр, то после получения моего предостережения вы изберете путь, который покажется вам наиболее благоразумным. От такого предостережения нельзя презрительно отмахнуться, это я знаю твердо. Джентльмен, который во всем со мной согласен, сообщил мне, что вы произвели некоторые изменения и улучшения в своем журнале * и, короче говоря, собираетесь издавать его совсем по-другому. Если меня не ввели в заблуждение и это действительно так, то поверьте, чем меньше будет его новый формат, тем лучше для вас. Пусть он с самого начала будет в одну двенадцатую листа, мистер Гуд. Куйте железо пока горячо и с каждым месяцем уменьшайте размеры вашего журнала, пока он не достигнет формата того крошечного альманаха, который, должен с сожалением сказать, более уже не издает изобретательный мистер Шлосс,— этот альманах нельзя было увидеть

невооруженным глазом и читать его приходилось с помощью малюсенькой лупы.

Вы, как мне сказали, собираетесь опубликовать на страницах вашего журнала новый роман, вами самим написанный. Позвольте шепнуть вам на ушко словечко совета. Я старик, сэр, и приобрел кое-какой опыт. Не ставьте на титульном листе вашей собственной фамилии — это будет безумием и самоубийством. Любой ценой выторгуйте у Генерала Тома-с-Ноготок право воспользоваться его именем. Если же доблестный генерал откажет вам, договоритесь с мистером Барнумом, чья фамилия котируется лишь чуть ниже генеральской *. А когда благодаря этому хитрому маневру вы получите в подарок из Букингемского дворца усыпанную бриллиантами записную книжку, а из Мальборо-Хаус — часы с цепочкой и брелоками и когда эти бесценные безделки будут выставлены под стеклом у вашего издателя для всеобщего обозрения, тогда, сэр, надеюсь, вы с благодарностью вспомните об этом моем письме.

После того как вы ознакомитесь с ним, мне незачем добавлять, что я,

сэр,

остаюсь,

как всегда,

вашим постоянным нечитателем.

Вторник 23 апреля 1844 года.

Внушите вашим сотрудникам, что им следует стать покороче, а если это не получится, то одичать или хотя бы быть не совсем уж ручными.

Май 1844 г.

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Господа,

В этом письме я рассмотрю, как влияет смертная казнь на преступность, а точнее говоря — на убийства, так как за одним очень редким исключением только преступления этого рода караются сейчас смертной казнью. В следующем письме я коснусь ее влияния на предотвращение преступлений, а в последнем — приведу еще некоторые наиболее яркие примеры, иллюстрирующие обе стороны вопроса.

ВЛИЯНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ НА УБИЙСТВА

I

Некоторые убийства совершаются в припадке исступления, некоторые — с заранее обдуманным намерением, некоторые — в муках отчаяния, некоторые (таких немного) — из корысти, некоторые — из желания убрать человека, угрожающего душевному покою или доброму имени убийцы, а некоторые — из чудовищного стремления любой ценой добиться известности.

Когда человека толкают на убийство исступление, отчаяние истинной любви (так отец или мать убивают умирающего от голода ребенка) или корысть, смертная казнь, по моему мнению, не оказывает на преступления такого

рода ни малейшего влияния. В первых двух случаях побуждение убить слепо и настолько сильно, что заглушает всякую мысль о возмездии. В последнем — жажда денег заслоняет все остальное. Например, если бы Курвуазье * только ограбил своего хозяина, а не убил его, преступление это скорее могло бы остаться нераскрытым. Но он думал только о деньгах и был не в состоянии трезво взвесить последствия своего поступка. И для женщины, которую недавно повесили за убийство в Вестминстере, было бы благоразумнее и безопаснее просто ограбить старуху, когда та, скажем, заснула бы. Но она думала только о наживе, о том, что между ней и бумажкой, которую она приняла за банковский билет, стоит жизнь бедной старухи,— и она убила ее.

Можно ли считать, что смертная казнь оказывает прямое влияние на убийства, совершаемые из мести, для того чтобы убрать помеху с пути или из желания любой ценой добиться известности, можно ли считать, что она служит для них дополнительным побуждением?

Убийство совершено из мести. Убийца и не думает заметать следы, не пытается спастись бегством; он спокойно и хладнокровно, даже с некоторым удовлетворением отдается в руки полиции и не только не отрицает своей вины, а наоборот, открыто заявляет: «Я убил его и рад этому. Убил сознательно. Я готов умереть». Подобный случай произошел на этих днях. Другой имел место совсем недавно. Такие случаи не редкость. Когда арестуют убийцу, именно такие восклицания раздаются чаще всего. А что же это, собственно, как не ошибочное рассуждение, исходящее из априорного вывода, прямо ведущее к преступлению и непосредственно порождаемое смертной казнью? «Я взял его жизнь. В уплату я отдаю свою. Жизнь за жизнь, кровь за кровь. Я совершил преступление и готов искупить его. Мне все ясно: это честная сделка между мной и законом. Я готов выполнить свою часть обязательств, так к чему лишние слова?» Самая суть смертной казни как кары за убийство состоит именно в том, что жизнь противопоставляется жизни. Уж таково свойство тупого, слабого или извращенного интеллекта (интеллекта убийцы, короче говоря), что подобное противопоставление делает убийство менее отвратительным и гнусным поступком. В драке я,

простолюдин, могу убить врага, но и он может убить меня; на дуэли аристократ может послать пулю в лоб своему противнику, но и тот может застрелить его — значит, тут все честно. Отлично. Я убью этого человека, потому что у меня есть (или я считаю, что у меня есть) на то причины, а закон убьет меня. И закон и священник говорят: кровь за кровь, жизнь за жизнь. Вот моя жизнь. Я расплачиваюсь честно и сполна.

Неспособный к логическим рассуждениям или извращенный интеллект (а только о таком интеллекте может идти речь, иначе не было бы убийства) легко выведет из подобной предпосылки идею строгой справедливости и честного воздания, а также сурового, стойкого мужества и прозрения, черпая в этом глубочайшее удовлетворение. Незачем доказывать, что дело обстоит именно так — достаточно сослаться на число тех убийств из мести, когда отношение преступника к содеянному бесспорно было именно таким, когда он исходил именно из этих нелепых рассуждений и произносил именно эти слова. Звонкие фразы законодателей вроде «кровь за кровь» и «жизнь за жизнь» без конца твердились всеми, пока не выродились в присловье «зуб за зуб» и не стали претворяться в действительность.

Разберем теперь убийство, имеющее целью убрать с дороги ненавистное или опасное препятствие. Такого рода преступления рождаются из медленно, но непрерывно растущей, разъедающей душу ненависти. Обычно выясняется, что между будущей жертвой и убийцей (чаще всего принадлежащим к разным полам) нередко происходили бурные ссоры. Свидетели рассказывают о взаимных упреках и обвинениях, которыми эти двое осыпали друг друга, и непременно оказывается, что убийца с проклятием выкрикивал что-нибудь вроде: «Дождется, я убью ее, хоть меня за это и повесят»,— в подобных случаях чаще всего говорится именно это.

Мне кажется, в этой постоянно фигурирующей на судах улике скрыт гораздо более глубокий смысл, чем в нее вкладывают. Пожалуй, в этом — и я почти уверен, что именно в этом,— скрывается ключ к зарождению и медленному развитию замысла преступления в уме убийцы. Более того — это ключ к мысленной связи между деянием

и полагающейся за него карой: объединившись, они и порождают чудовищное, зверское убийство.

В подобных случаях мысль об убийстве — так же, как обычно и мысль о самоубийстве,— никогда не бывает совсем неожиданной и новой. Возможно, она была смутной, таилась где-то в дальнем уголке больного интеллекта, но тем не менее она существовала давно. После ссоры или под влиянием особенно сильного гнева и досады на мешающую ему жизнь человек, еще сам того не сознавая, задумывается над тем, как убрать ее со своего пути. «Хоть меня за это и повесят». И стоит мысли о каре проникнуть в его мозг, как тень роковой перекладины ложится — но не на него, а на предмет его ненависти. И с каждым новым соблазном эта тень становится все чернее и резче, как будто стараясь напугать его. Когда женщина затевает с ним ссору или угрожает ему, эшафот словно становится ее оружием, ее козырной картой. Зря она так в этом уверена, «хоть меня за это и повесят».

И вот смерть на виселице становится для него новым и страшным врагом, которого надо одолеть. Мысль о длительном искуплении в стенах тюрьмы никак не гармонировала бы с его злодейским замыслом, но гибель в петле вполне ему соответствует. Теперь перед будущим убийцей постоянно стоит безобразный, кровавый, устрашающий призрак, словно защищающий его жертву и в то же время показывающий ему ужасный пример убийства. Быть может, жертва его слаба, или доверчива, или больна, или стара... Призрак эшафота придает жуткую доблесть действию, которое иначе было бы лишь гнусной расправой,— ибо он всегда осеняет жертву, безмолвно угрожая убийце карой, неотразимо влекущей в своей мерзости все тайные и мерзкие мысли. И когда он наконец набрасывается на свою жертву, «хоть его за это и повесят», он свирепо борется не только с одной слабой жизнью, но и с вечно маячащей перед ним, вечно манящей тенью виселицы — после долгих дней взаимного созерцания он бросает ей дерзкий вызов: пусть она сведет с ним счеты, если сможет.

Внушите черную мысль о таком насилии извращенному уму, замыслившему насилие; покажите человеку, полубессознательно жаждущему смерти другого человека, зрелище его собственного страшного и безвременного конца от че-

ловеческой руки — и вы непременно разбудите в его душе те силы, которые поведут его дальше по ужасному пути. Сторонники смертной казни не изучали законов, управляющих этими силами, и не интересовались ими; однако эти тайные силы важнее всего, и они снова и снова будут проявлять свою власть над людьми.

Из ста шестидесяти семи человек, на протяжении многих лет приговоренных в Англии к смерти, только трое ответили «нет» на вопрос напутствовавшего их священника, видели ли они публичную казнь.

Теперь мы переходим к рассмотрению тех убийств или покушений на убийство, которые совершались исключительно ради гнусной известности. Нет и не может быть никаких сомнений в том, что эта разновидность преступлений порождена смертной казнью, ибо (как мы уже видели и как далее будет доказано) громкая известность и интерес публики заведомо выпадают на долю только тех преступников, которым грозит смертная казнь.

Один из наиболее замечательных примеров убийства, бывшего следствием безумного самомнения, когда в отвратительной драме, выставившей закон и общество в столь неприглядном виде, убийца с начала и почти до самого конца играл свою роль с упоением, которое показалось бы смехотворным, не будь оно столь отвратительно, мы находим в деле Хокера *.

Перед вами наглый, ветреный, распущенный юнец, прикидывающийся искушенным кутилой и развратником: чересчур расфранченный, чересчур самоуверенный чванящийся своей внешностью, обладатель незаурядной прически, трости, табакерки и недурного голоса — но, к несчастью, всего лишь сын простого сапожника. Он жаждал гордого полета, непосильного для серого воробья — учителя воскресной школы, но не обладал ни честностью, ни трудолюбием, ни настойчивостью, ни каким-либо еще полезным будничным талантом, который укрепил бы его крылья; и вот со свойственным ему легкомыслием он начинает искать способа прославиться — он готов на что угодно, лишь бы его великолепную шевелюру изобразил гравер, лишь бы воздали должное его красивому голосу и тонкому уму, лишь бы сделать примечательными жизнь и приключения Томаса Хокера, возбудить какой-то интерес

к этой биографии, которая до сих пор оставалась в пренебрежении. Сцена? Нет. Ничего не получится. Несколько попыток окончились неудачей, ибо оказалось, что против Томаса Хокера составлен явный заговор. То же случилось и когда он решил стать литератором, попробовал свои силы в прозе и стихах. Неужели нет никаких других путей? А убийство? Оно же всегда привлекает внимание газет! Правда, потом следует виселица, но ведь без нее от убийства не было бы толку. Без нее не было бы славы. Ну что ж, все мы рано или поздно умрем, а умереть с честью, зная, что твоя смерть попадет в печать,— вот это достойно настоящего мужчины. В дешевых театрах и в трактирных историях они всегда умирают с честью, и публике это очень нравится. Вот Тертел *, например,— с какой честью он умер, да еще произнес на суде превосходную речь. В табачной лавке продается книжка, где все это описано. Ну-ка, Том, прославь свое имя! Сочини такое блистательное убийство, чтобы литографы только им и занимались целых два месяца. Уж ты-то это сумеешь и покоришь весь Лондон.

И мерзкий негодяй, надуваясь чудовищным самомнением, разрабатывает свой план с единственной целью вызвать сенсацию и попасть в газеты. Он пустил в ход все, что почерпнул из отечественной мелодрамы и грошовых романов. Все аксессуары налицо: Жертва-Друг; таинственное послание Оскорбленной женщины Жертве-Другу; романтический уголок для ночной Смертельной Борьбы; неожиданное появление Томаса Хокера перед Полицейским; Трактирный Зал, и Томас Хокер, читающий газету незнакомцу; Семейный Вечер, и Томас Хокер, поющий романс; Зал Следственного Суда, и Томас Хокер, смело взирающий на происходящее; зрительный зал театра Мэрилбон и арест Томаса Хокера; Полицейский Участок и Томас Хокер, «любезно улыбающийся» зрителям; камера в Ньюгете и Томас Хокер, готовящий свою защиту; Суд, Томас Хокер, как всегда смахивающий на учителя танцев, и комплимент, который делает ему судья; речь Прокурора, речь Адвоката; Вердикт; Черная Шапочка *, Приговор — и все это, словно строчки из Театральной Афиши, горделивейшие строки в жизни Томаса Хокера!

Достойно внимания то обстоятельство, что чем ближе виселица — та великая последняя сцена, к которой ведут

все эти эффекты,— тем больше несчастный надувается спесью, тем больше чувствует он себя героем дня, тем более нагло и безудержно он лжет, стараясь поддержать эту роль. На людях — во время последнего увещевания — он держится, как подобает человеку, чьи автографы — драгоценность, чьим портретам несть числа, человеку, на память о котором с места убийства по щепочке унесены целые калитки и изгороди. Он знает, что на него устремлены глаза Европы, но он не чванится, он весь — воплощенная любезность. Когда тюремщик приносит ему стакан воды, он благодарит его поклоном, достойным первого джентльмена Европы *, и, преклоняя колени, поправляет подушечку и располагает складки одежды с изяществом, достойным доброй мадам Блэз. У себя — в камере смертников — он лжет каждым словом, каждым поступком своей быстро идущей на убыль жизни. Он делит свое время между ложью, которую он произносит, и ложью, которую он пишет. А если он и думает о чем-нибудь еще, то лишь о том, как бы поимпозантнее выглядеть на эшафоте — когда он, скажем, просит парикмахера «не обрезать ему волосы слишком коротко, а то, пожалуй, публика его не узнает, когда он выйдет». Напоследок он пишет два романтических любовных письма несуществующим женщинам. И наконец (поступок, правда, не соответствующий роли, но зато единственно искренний) он трусливо падает в обморок на руки тюремных служителей, и его вешают, как собаку.

Вся эта история с начала и до конца невообразимо гнусна и отвратительна; и если вдуматься в нее, неизбежен единственный вывод: она никогда не могла бы произойти и ее жалкий главный актер никогда не совершил бы своего мерзкого и наглого деяния, если бы его не толкнула на это смертная казнь.

И ведь это не единственное преступление такого рода, не что-то из ряда вон выходящее, а лишь один пример из многих. Если присмотреться внимательно, можно заметить, как сильно оно напоминает преступление Оксфорда, покушавшегося в парке на жизнь ее величества *. Нет ни малейших оснований считать его сумасшедшим: он лишь, как и Хокер, был исполнен самомнения и желал во что бы

то ни стало — даже ценой виселицы, ибо других средств у него не было,— заставить весь Лондон заговорить о себе. Он оказался не таким изобретательным, как Хокер и, пожалуй, был менее бессовестен, но его покушение — это ветвь того же дерева, дерева, чьи корни уходят в землю, на которой воздвигается эшафот.

У Оксфорда нашлись подражатели. И тем, кого занимает этот вопрос, следует помнить, как был положен конец подобным попыткам. Такие подражатели появлялись до тех пор, пока их преступление грозило им смертью от руки палача, обещая тем самым известность. Но стоило заменить смертную казнь за это преступление позорным и унизительным наказанием, как такая погоня за славой немедленно прекратилась, исчезла без всякого следа.

II

Теперь посмотрим, как влияет смертная казнь на предотвращение преступлений.

Отвращает ли зрелище публичной смертной казни от совершения преступлений?

Любая казнь в лондонском Олд-Бейли * привлекает (и всегда привлекала) множество воров — для одних это приятное развлечение, вроде собачьих боев или какихнибудь других столь же зверских забав, других же приводит туда чисто профессиональный интерес, и они вмешиваются в толпу только для того, чтобы очищать карманы. Прибавьте к ним всевозможных негодяев, пьяниц, бездельников — мужчин и женщин, дошедших до последней степени падения, людей с болезненным складом ума, испытывающих непреодолимую тягу к таким ужасным зрелищам; и тех, кого влечет простое любопытство, но чей нежный возраст и впечатлительность по большей части делают удовлетворение этого любопытства крайне опасным и для них самих, и для общества,— и вы получите исчерпывающее представление, из кого обычно состоит толпа, глазеющая на казнь.

И так дело обстоит не только в Лондоне. То же самое можно видеть в любом главном городе графства — делая, разумеется, скидку на иной состав и число населения.

Таково же положение и в Америке. Мне как-то довелось присутствовать в Риме на казни за неслыханно подлое и гнусное убийство, и я не только видел там такое же сборище, но и чувствовал, стоя возле самого эшафота, во всех многочисленных карманах моей «охотничьей куртки» бесчисленные деловито шарящие там руки.

Я уже упоминал, что из ста шестидесяти семи приговоренных к смерти, опрошенных в разное время тюремным священником, только троим не доводилось ранее присутствовать на казнях в качестве зрителей. Мистер Уэкфилд в своих «Фактах, касающихся смертной казни» старается найти объяснение этой загадки. Высказанные им суждения чрезвычайно ценны, потому что исходят от образованного и наблюдательного человека, который до того, как лично познакомился с этим вопросом и с Ньюгетом *, не видел в смертной казни ничего противоестественного, но затем стал горячим сторонником ее уничтожения и всегда ратовал за это, не отступая даже перед неприятной необходимостью постоянно и публично упоминать о своем пребывании в тюрьме. Как он справедливо замечает, «чувство, которое заставляет человека рассказывать о своем личном знакомстве с Ньюгетом, вряд ли можно назвать самодовольством».

«Те, кто, к несчастью своему, станут свидетелями публичного умерщвления ближнего своего в Лондоне,— говорит мистер Уэкфилд,— несомненно, увидят, что у огромного большинства присутствующих это зрелище пробуждает сочувствие к преступнику и ненависть к закону... Я убежден, что у лондонских преступников (за отдельными исключениями, разумеется) зрелище казни вызывает такой же спортивный азарт, как у охотника — опасности охоты, а у солдата — опасности войны... Я твердо верю, что на каждой сессии в Олд-Бейли обязательно разбирается дело какого-нибудь юноши, который впервые подумал о преступлении, когда смотрел на казнь... И один вполне взрослый, очень умный и довольно образованный человек, которого обвиняли в подделке векселя, признался мне, что впервые мысль совершить подделку пришла ему в голову, когда он случайно попал на казнь Фантлероя *. Как говорят, сам Фантлерой объяснил, что его на путь преступления толкнул подобный же случай».

Мистеру Уэкфилду довелось беседовать со множеством арестантов, и один из них, «чуть было не угодивший на виселицу», задал, сам того не сознавая, вопрос, на который, как мне кажется, трудненько будет ответить сторонникам смертной казни: «Вы часто видели казнь?» — спросил его мистер Уэкфилд. «Да, часто».— «Вам было страшно?» — «Нет. А с какой стати?»

Конечно, легче и естественнее всего с возмущением отвернуться от такого закоренелого негодяя. Однако попробуйте ответить на его вопрос: с какой стати было ему пугаться смертной казни? С какой стати было ему пугаться мертвеца? Мы все рождаемся, чтобы умереть, с злорадством говорит он. Мы рождены не для того, чтобы щипать паклю, ссылаться в колонии, становиться каторжниками и рабами; но палач делает с преступником то, что природа может уже завтра сделать с судьей и что она в свое время непременно сделает и с судьей, и с присяжными, и с прокурором, и со свидетелями, и с тюремщиками, и с палачами, и со всеми прочими. Так, может быть, ему следовало бы испугаться именно смерти на виселице? Да, такая смерть ужасна и отвратительна, настолько отвратительна, что закон, боясь или стыдясь своего же деяния, закрывает лицо дергающегося в судорогах осужденного, которого он убивает. Но вызывает ли это в подобных людях ужас... или негодование? Послушаем того же человека. «И что же вы думали тогда?» — спросил мистер Уэкфилд. «Что я думал? Я думал, что это — подлость, каких мало».

Отвращение и негодование, или равнодушие и безразличие, или болезненное смакование ужасного зрелища, переходящее в соблазн самому решиться на преступление,— вот какие чувства неизбежно пробуждаются в душе зрителей в зависимости от склада ума и характера. С какой же стати будет публичная смертная казнь пугать их и отвращать от преступлений? Нам известно, что дело обстоит совсем не так. Нам это известно из полицейских отчетов и рассказов тех, кто знаком с тюрьмами и томящимися в них узниками; об этом же скажут нам наши собственные чувства, если мы решимся подвергнуть их столь тяжкому испытанию, отправившись поглядеть на казнь. Да и с какой стати должно зрелище казни оказывать такое

действие? Какой отец пошлет своего ребенка, какой учитель пошлет своих учеников и какой хозяин пошлет своих слуг или подмастерьев посмотреть на казнь, чтобы отвратить их от стези порока? Если же это делается в назидание преступникам, почему узников Ньюгета не выводят посмотреть на этот страшный спектакль? Почему их приводят слушать увещевание осужденного, но почему их лишают поучительного эпилога виселицы? А потому, что казнь, как всем известно,— это зрелище совершенно бесполезное, варварское, ожесточающее души, и еще потому, что сочувствие всех, кто вообще способен на сочувствие, оказывается на стороне преступника, а не закона.

Из газетных отчетов о казнях я каждый раз узнаю, что господин Такой-то и Этот и Тот пожимали руку осужденному, но никто из них ни разу не пожал руку палачу. Приговоренного к смерти окружают заботами и вниманием, а от палача бегут как от чумы. Мне хотелось бы знать, почему такое горячее сочувствие выпадает на долю человека, который убил своего ближнего по велению собственных дурных страстей, в то время как человека, убивающего его именем закона, все с отвращением сторонятся? Потому ли, что убийца должен умереть? Ну, так не обрекайте его на смерть. Потому ли, что палач исполняет веление закона, возмущающего всякого, кто знакомится с ним поближе? Ну, так измените этот закон. Ведь он ничего не предотвращает, он ничего не может предотвратить.

Мне могут возразить, что публичная казнь существует вовсе не для блага тех подонков общества, которые обычно на ней присутствуют. Это нелепость, и ответ напрашивается сам собой — тем хуже. Если при введении смертной казни подобные люди, к которым относятся всевозможные преступники, и закоренелые, и еще только начинающие, не принимались в расчет, значит, это давно пора сделать, это необходимо сделать. Забывать эту сторону вопроса — нелогично, несправедливо, жестоко. Все остальные наказания устанавливаются с учетом укоренившихся привычек, склонностей и антипатий преступников. Так какой же обитатель Бедлама сказал, что эту наитягчайшую кару следует сделать единственным исключением из правила,

даже если неопровержимо доказано, что она способствует распространению порока и преступлений?

Но может быть, есть люди, которые не ходят на казни и, зная о них только понаслышке, поймут урок и остерегутся совершить преступление?

Кто же они? Мы уже убедились, что в смертной казни есть какая-то притягательная сила, влекущая к ней слабых и дурных людей, придающая интерес любым мелочам, имеющим отношение к ней или казнимому преступнику,— и даже хорошие, честные люди не всегда могут противостоять этому очарованию. Мы знаем, что предсмертные речи и ньюгетские справочники * давно уже стали излюбленным чтением неразвитых умов. Наставники юношества не ссылаются на виселицу в качестве назидательного примера (если только они не готовят для нее своих питомцев!), и краткие отчеты о знаменитых казнях еще не вошли в школьные учебники. Правда, в одном старом букваре была история о некоем «Все Равно», которого в конце концов повесили. Однако она, по-видимому, не оказала заметного влияния на количество преступлений и казней, выпавших на долю поколения, которое на ней воспитывалось и с которым она ушла во мрак забвения. Вешают и ленивого подмастерья у Хогарта *, но вся эта сцена — незабываемая толстая дама в толпе зрителей, пьяная и набожная, ссоры, богохульство, непристойная ругань, хохот, Тидди Долл, продающий имбирные пряники, и мальчишки, очищающие его карманы,— представляет собой жгучую сатиру на пресловутый устрашающий пример, нисколько не утратившую свое жало и сейчас.

Предотвращает ли смертная казнь преступления? Парламентские отчеты доказывают обратное. Я уже подбирал выдержки из этих документов, когда обнаружил, что в одном из докладов, опубликованном комиссией, которая была создана для этой цели в прошлом году в Эйлсбери похвальными стараниями лорда Наджента, все необходимые факты изложены очень полно и в то же время кратко, и теперь просто воспользуюсь возможностью процитировать приведенные в нем сведения.

«В 1843 году парламенту был представлен отчет об арестах и казнях по обвинению в убийстве, произведенных в Англии и Уэльсе за тридцать лет, по декабрь

1842 года, с разделением их на пять периодов, по шести лет в каждом. Из отчета явствует, что за последние шесть лет, с 1836 по 1842 годы, когда было только пятьдесят казней, за убийство было осуждено на шестьдесят одного человека меньше, чем за предыдущие шесть лет, на которые пришлось семьдесят четыре казни; на шестьдесят три человека меньше, чем за шестилетие, истекшее в 1830 году, на которое пришлось семьдесят пять казней; на пятьдесят шесть человек меньше, чем за шестилетие, истекшее в 1824 году, на которое пришлось девяносто четыре казни, и на девяносто три человека меньше, чем за шестилетие, истекшее в 1818 году, когда было казнено целых сто двадцать два человека. Нам могут возразить, что в своих выводах мы подменяем причину следствием и что в каждом последующем периоде количество убийств уменьшалось именно благодаря публичным казням, произведенным за предшествующие шесть лет, и этим же объясняется уменьшение количества арестов. Однако это могло бы соответствовать истине, если бы сравнивались только два следовавших друг за другом периода. Но когда сравниваются целых пять периодов и оказывается, что результаты постепенно и непрерывно изменяются в одном и том же направлении, взаимосвязь фактов устанавливается с полной очевидностью: количество преступлений уменьшилось именно благодаря уменьшению числа казней. Особенно если вспомнить, что непосредственно после истечения пяти лет первого периода, когда число казней и убийств оказалось самым большим, страна была наводнена людьми без определенных занятий вследствие сокращений в армии и флоте; что затем последовали тяжелые годы смут и волнений в сельскохозяйственных и промышленных районах страны; и самое главное, что во время последующих периодов законы несколько раз пересматривались, в результате чего была отменена смертная казнь не только за кражу скота и лошадей, воровство и подделку денег (эти преступления, как показывает статистика, тоже немедленно пошли на убыль), но и за те преступления, которые могут привести к убийству, как-то: поджоги, грабеж на больших дорогах и кражи со взломом. Кроме того, другой представленный парламенту отчет подтверждает наши выводы еще более убедительно, если это только возможно. В таблице один-

надцатой мы находим только те годы, начиная с 1810, когда все лица, осужденные за убийство, были казнены; а также в равном количестве те годы, когда казнена была наименьшая доля осужденных за убийство. В первом случае за убийство было осуждено шестьдесят шесть человек, которые были казнены все; во втором осуждено было восемьдесят три человека, а казнен только тридцать один из них. Теперь заметьте, как применение и неприменение смертной казни повлияли на последующие годы. Количество арестов за убийство в течение четырех лет, непосредственно следовавших за теми годами, когда были казнены все осужденные, равнялось двумстам семидесяти.

В течение же четырех лет, непосредственно следовавших за теми, на протяжении которых было казнено лишь чуть более трети из общего числа осужденных, за убийство было осуждено двести двадцать два человека, то есть на сорок восемь человек меньше. Если мы сравним число арестов в первой и во второй группах лет, то обнаружим, что непосредственно вслед за поголовными казнями число подобных преступлений возрастает почти на тринадцать процентов, а после того как к смягчению наказания начинают прибегать чаще, чем к смертной казни, число их уменьшается на семнадцать процентов.

В тот же самый парламентский отчет включены данные об арестах и казнях в Лондоне и Мидлсексе на протяжении тридцати двух лет (по 1842 год), разделенных на два периода по шестнадцати лет каждый. В первый из них осужденные за убийство тридцать четыре человека были казнены все без исключения. Во второй осуждено было двадцать семь, а казнено семнадцать. За второй период с семнадцатью казнями число арестов за убийство было вдвое меньше того, которое мы находим в первом периоде, когда казнено было ровно вдвое больше осужденных. Все это, по нашему мнению, является настолько неопровержимым доказательством нашей точки зрения, насколько статистические данные вообще могут служить доказательством при установлении причины и следствия в цепи последовательных событий. И следовательно, совершенно справедливо высказывание интересного и полезного журнала, издающегося в Глазго под названием «Журнал сообщений о смертной казни и других наказаниях»: «Чем

больше число казней, тем больше число убийств, чем меньше число казней, тем меньше число убийств. Жизням подданных ее величества грозит больше опасности в тот год, когда казнят сто человек, чем в тот год, когда казнят пятьдесят, больше опасности в тот год, когда казнят пятьдесят, чем в тот год, когда казнят двадцать пять».

То же самое мы видим в Тоскане, в Пруссии, во Франции и в Бельгии по мере того, как публичные казни становятся там все более редкими. Где бы ни уменьшилось число смертных казней, число преступлений там тоже уменьшается.

Ведь даже самые пылкие защитники смертной казни, которые, вопреки всем фактам и цифрам, продолжают утверждать, что она предотвращает совершение преступлений, спешат тут же прибавить аргумент, доказывающий, что она их вовсе не предотвращает! «Совершается столько гнусных убийств,— говорят эти защитники,— и они так быстро следуют одно за другим, что отменять смертную казнь никак нельзя». Но ведь это же одна из причин для ее отмены! Ведь это же доказывает, что смертная казнь не является устрашающим примером, что она не может предотвратить преступления и что с ее помощью не удастся положить конец подражанию, дурному влиянию — называйте это как хотите,— из-за чего одно убийство влечет за собой другое!

Точно так же за одним подлогом следовал другой, когда за это преступление полагалась смертная казнь. После ее отмены количество подлогов пошло на убыль с замечательной быстротой. Однако всего тридцать пять лет назад, желая ужаснуть своих сиятельных собратьев, лорд Элдон с трепетом и чуть ли не со слезами высказал в палате лордов фантастическое предположение о том, что может настать день, когда какой-нибудь неуравновешенный мечтатель дойдет до того, что предложит отменить смертную казнь за подлог. И когда такое предложение все-таки было внесено, лорды Линдхерст, Уинфорд, Тендерден и Элдон — все ученые законоведы — выступили против него.

Однако в другой раз тот же самый лорд Тендерден с подлинным благородством выразил радость по поводу того, что вопросом о пересмотре законов занялся мистер Пиль,

«который не занимался специально юриспруденцией, ибо законоведы от долгой привычки делаются слепы ко многим недостаткам законов». Я позволю себе почтительно добавить, что всякое выступление судьи по уголовным делам за отмену смертной казни весьма ценно, в то время как его выступление за ее сохранение ничего не стоит; но об этом я буду говорить подробнее в моем следующем заключительном письме.

III

Последним из английских судей, публично высказавшихся с судейского кресла в пользу смертной казни, был, если не ошибаюсь, судья Колридж, который, обращаясь в прошлом году к присяжным в Хертфорде, не упустил случая посетовать на большое число серьезных преступлений в повестке сессии и высказать опасение, что это объясняется относительной редкостью применения смертной казни.

Мне кажется, при всем уважении и почтении к столь высокому авторитету, можно тем не менее сказать, что факты не только не подтверждают мнения судьи Колриджа, но как раз наоборот. Он приложил все усилия, чтобы сделать общий вывод из очень частных и односторонних предпосылок, и все же это ему не удалось. Ведь среди немногих приведенных им примеров главное место занимают убийства, а в наше время, как это следует из парламентских отчетов, людей, виновных в убийстве, приговаривают к повешенью с большей беспощадностью и гораздо чаще, чем когда-либо прежде. Так каким же образом уменьшение числа публичных казней могло повлиять на этот вид преступлений? Что же касается убийц, оправданных присяжными, то им удается спастись как раз потому, что число казней слишком велико, а не слишком мало.

Когда же я утверждаю, что всякое выступление судьи по уголовным делам за отмену смертной казни весьма ценно, в то время как его выступление за ее сохранение ничего не стоит, я исхожу из гораздо более общих и широких предпосылок, чем те, которые привели почтенного судью Колриджа к его ошибкам (ибо я смотрю на это именно так) в фактах и выводах. И в этих моих предпо-

сылках не содержится ничего оскорбительного для судей как корпорации — ведь в Англии нет другого института, пользующегося столь заслуженным уважением и доверием; эти предпосылки в равной мере относятся ко всем людям, посвятившим себя какой-нибудь профессии.

Нет сомнения, что человек начинает любить предмет, на изучение которого он потратил много времени и сил и глубокое знание которого помогло ему достичь почетного положения. Нет сомнения, что подобное чувство порождает не только равнодушие и слепоту к недостаткам этого предмета, как явствует из слов милорда Тендердена, приведенных в предыдущем моем письме, но и горячее желание защищать эти недостатки и оправдывать их. Если бы дело обстояло иначе, если бы такой интерес и любовь к к своей профессии отсутствовали, ни одна из них никогда не могла бы стать призванием человека. Вот почему ученые юристы упорно противятся обновлению юридических принципов. Вот почему знаток законов в «Первой Беседе», предшествующей описанию Утопии *, услышав мнение, что смертную казнь следовало бы отменить, говорит: «Никогда нельзя будет пойти на такую меру в Англии, не подвергая государство величайшей опасности». При этих словах он покачал головою, скривил презрительно губы и замолчал». Вот почему главный уголовный судья города Лондона в 1811 году протестовал против «отмены высшей меры наказания» за карманные кражи. Вот почему лорд-канцлер в 1813 году протестовал против отмены смертной казни за кражу товаров из лавки на сумму более пяти шиллингов. Вот почему лорд Элленборо в 1820 году предсказывал чудовищные последствия отмены смертной казни за кражу белящегося полотна на сумму в пять шиллингов. Вот почему генеральный прокурор в 1830 году настойчиво требовал смертной казни за подлог и «с удовлетворением чувствовал», вопреки всем свидетельствам банкиров и других пострадавших (одних банкиров набралась тысяча!), «что с помощью столь строгого закона он удерживает возможных правонарушителей от преступления». Вот почему судья Колридж произнес свою речь в Хертфорде в 1845 году. Вот почему в уголовном кодексе Англии к 1790 году насчитывалось сто шестьдесят преступлений, караемых смертью. Вот почему законники из поколения

в поколение твердили, что любое изменение такого положения вещей «подвергнет государство величайшей опасности». И вот почему они на протяжении всех темных лет истории «покачивали головой, презрительно кривили губы и умолкали». За исключением (и что это за славные исключения!) тех случаев, когда такие знатоки законов, как Бэкон, Мор, Блэкстон, Ромильи * и — будем всегда вспоминать о нем с благодарностью — совсем недавно мистер Бэзил Монтегю, каждый в свое время, боролись за правду и защищали ее, насколько им позволяли заблуждения общества или законодательство эпохи.

Есть и еще одна даже более веская причина, почему выступление судьи по уголовным делам за сохранение смертной казни не имеет веса. Ведь он — главный актер в страшной драме судебного процесса, где решается, жить или умереть его ближнему. Те, кто присутствовал на подобном процессе, обязательно чувствовали и уже не могли забыть напряженного ожидания развязки. Я не хочу касаться того, насколько тяжело это напряжение для ведущего процесс судьи, если он справедлив и добр. Пусть он будет образцом справедливости и доброты, пусть это напряжение для него невыносимо — и все же место, которое он занимает в подобном процессе, и грозная тайна, которой он должен стать сопричастным, не могут не затемнить в его глазах истинную сущность такой кары. Мне знакома торжественная и мрачная пауза перед объявлением вердикта, когда лихорадочное возбуждение в зале суда вдруг сменяется гробовой тишиной, все шеи вытягиваются и все глаза устремляются на стоящую у барьера одинокую фигуру подсудимого, которого, быть может, в следующую секунду смерть, так сказать, поразит прямо перед ними. Мне знаком трепет, пробегающий по толпе, когда судья надевает черную шапочку, а женщины вскрикивают и кого-то выносят в обмороке; когда же судья неверным голосом произносит приговор, как страшно столкновение этих двух простых смертных, которым, как ни велика была пропасть между ними сейчас, суждено в грядущем встретиться смиренными просителями перед престолом господним! Мне знакомо все это, и я могу представить себе, во что обходится судье такое исполнение его долга, но я утверждаю, что все эти сильные ощущения одурма-

нивают его, и он не может отличить кару, как средство предупреждения или устрашения, от связанных с ней переживаний и ассоциаций, которые касаются только его одного.

Я не стану говорить о том, что никакие парики и горностаевые мантии не способны изменить характер человека, их носящего; о том, что характер судьи, словно руки красильщика, быть может, тоже несет на себе неизгладимый след того, что неотъемлемо от его ремесла, и судья, давно уже привыкший к смертной казни, не сумеет оставаться беспристрастным в этом вопросе; о том, что вообще вряд ли логично считать непредубежденным арбитром в нем судей, которые постоянно выносят смертные приговоры; я скажу только, что по указанным мною выше причинам выступление всякого судьи, а особенно судьи по уголовным делам, в пользу сохранения смертной казни ничего не значит, а его выступление за ее отмену особенно ценно, ибо в последнем случае им руководит убеждение настолько сильное и глубокое, что оно преодолело все эти неблагоприятные обстоятельства. Я утверждаю это без всяких оговорок — ведь весьма возможно, что большинство наших лучших судей уже прониклось этим убеждением и в любом случае выскажется против смертной казни.

Я упоминал вначале, что часть этого письма будет посвящена нескольким наиболее ярким примерам, подтверждающим основные аргументы в пользу отмены смертной казни. Их столько, что отобрать наиболее подходящие чрезвычайно трудно; правда, из тех, которые свидетельствуют о возможности судебной ошибки и невозможности исправить или искупить ее, можно взять любой наугад — все они один другого лучше (мне, конечно, следовало бы сказать: один другого хуже); впрочем, если бы не было никаких других примеров, хватило бы дела Элизы Феннинг. Да и не существуй их вовсе, одной их возможности было бы достаточно для возражений против того, чтобы простые смертные, наделенные способностью лишь к ограниченным и преходящим суждениям, на основании улик, допускающих различное толкование, назначали крайнюю и непоправимую кару. А ведь подобных случаев было немало, и многие из них настолько известны, что будут не-

медленно узнаны даже в кратком перечне, взятом мной из уже упомянутого отчета.

«Был случай, когда свидетели, на чьих показаниях основывался приговор, явились на место преступления, привлеченные доносившимися оттуда стонами, и нашли там человека, который склонился над телом убитого, держа в левой руке фонарь, а в окровавленной правой — нож, а его губы словно отказывались прошептать в присутствии мертвеца заверения, что не он совершил страшное деяние, случившееся чуть ли не у них на глазах,— и все же много лет спустя, когда это могло принести пользу только его памяти, выяснилось, что человек этот был невиновен. Был случай, когда в доме, где оставались наедине два человека, одного из них нашли убитым, причем множество добавочных обстоятельств указывало, что убийство — дело рук второго, тем более что все окна и двери были заперты изнутри; вину сочли доказанной и закон послал этого человека на виселицу — безвинного человека! Был случай, когда отца нашли убитым в сарае, причем дома в это время был только его сын, а дочь под присягой показала, что он распущенный, неблагодарный негодяй, мечтавший о смерти их отца и получении наследства; когда видели на снегу его следы, ведущие к месту убийства, а на дне его собственного комода при обыске обнаружили молоток (принадлежавший ему) — орудие убийства, запятнанное плохо стертой кровью,— и все же сын этот был ни в чем не повинен: через много лет сестра на смертном одре призналась, что была не только отцеубийцей, но и братоубийцей! Был случай, когда человека повесили, так как его опознали свидетели (к чему прибавлялся еще ряд подозрительных обстоятельств), а потом оказалось, что все это — печальная ошибка, возникшая благодаря редкому сходству. Был случай, когда двух старых врагов видели дерущимися в поле, а потом одного из них нашли мертвым, заколотым вилами второго, замеченными у него в руках и теперь лежавшими рядом с убитым,— и все же затем выяснилось, что их владелец не совершал убийства, орудием которого они послужили, и что настоящий убийца был в числе судивших его присяжных. Был случай, когда хозяина гостиницы один из его слуг обвинил в убийстве постояльца, показывая, что он видел, как его хозяин ду-

шил приезжего в постели и потом шарил по его карманам, а одна из служанок показала, что видела, как он тогда же на рассвете прокрался в сад, вынул из кармана золотые монеты и, тщательно завернув их в тряпицу, закопал в землю; когда сад осмотрели, в указанном месте нашли свежевскопанное место и вырыли из тайника тридцать фунтов золотом; хозяина, который в смущении и растерянности, красноречиво свидетельствующих о его вине, признался в том, что деньги закопал он, разумеется, потом повесили, и его невиновность обнаружилась слишком поздно. Был случай, когда грабитель отнял у путника на большой дороге двадцать гиней, которые тот из предосторожности пометил,— и вот одну из них не то разменивает, не то уплачивает слуга гостиницы, где путник останавливается в тот же вечер; слуга этот примерно такого же роста, что и разбойник, кутавшийся в плащ и скрывший свое лицо под маской; хозяин показывает, что слуга его в последнее время проматывал неизвестно откуда взявшееся у него золото; пока слуга лежит в пьяном сне, его сундучок обыскивают, находят в нем девятнадцать меченых гиней и кошелек путника; слугу, конечно, осуждают и вешают — за преступление его хозяина! Был случай, когда свидетели слышали бурную ссору отца с дочерью, которая часто повторяла — «безбожно», «жестокий», «смерть»; отец выходит из комнаты, запирая за собой дверь; слышатся стоны и слова: «Жестокий отец, ты убил меня»; в комнату врываются, находят девушку при последнем издыхании — в боку у нее зияет рана, а рядом лежит окровавленный нож; ее спрашивают, убита ли она отцом, и, умирая, она делает утвердительный знак; отец, вернувшись в комнату, всем своим поведением словно подтверждает, что злодеяние совершено им; его, разумеется, тоже вешают — а почти через год обнаруживаются исчерпывающие доказательства того, что это было самоубийство, и власти, как могут, восстанавливают его честь: над его могилой некоторое время размахивают двумя флагами, тем самым признавая его невиновность».

В отчете говорится, что практика английских уголовных судов знает более сотни таких случаев. В том же самом отчете рассказывается о трех столь же вопиющих случаях, когда в Америке были повешены несправедливо

заподозренные люди; и еще о пяти, когда невиновность казненных, правда, не была впоследствии доказана, но когда улики против них были только косвенными и столь же сомнительными, как и большинство тех, которые считались достаточными для совершения остальных узаконенных убийств, описанных там. Мистер О'Коннел не далее, как двадцать пять лет назад, защищал в Ирландии трех братьев — после того как их повесили за убийство, выяснилось, что они его не совершали. У меня сейчас нет под рукой нужного справочного материала, но я своими глазами читал, что шесть или семь невинных людей были спасены от виселицы только усилиями — если не ошибаюсь — нынешнего лорда-председателя верховного суда. Вот примеры известных нам судебных ошибок. А сколько еще было случаев, когда настоящий убийца так и не признался, так и не был найден, и позор преступления все еще тяготеет над невинными людьми, давно превратившимися в прах в своих безвременных могилах!

Чтобы показать воздействие публичных казней на зрителей, достаточно вспомнить самую сцену казни и те преступления, которые тесно с ней связаны, как это хорошо известно главному полицейскому управлению. Я уже высказал свое мнение о том, что зрелище жестокости порождает пренебрежение к человеческой жизни и ведет к убийству. После этого я навел справки по поводу самого последнего процесса над убийцей и узнал, что юноша, ожидающий в Ньюгете смерти за убийство своего хозяина в Друри-Лейн, присутствовал на трех последних казнях и смотрел на происходящее во все глаза. Какое влияние оказала все растущая привычка к эшафоту и публичным казням на Францию в дни великой революции, известно каждому. Коснувшись вопроса о смертной казни, Робеспьер еще до того, как он сам «весь кровью залит был», предупреждал Национальное собрание, что закон, отнимая у человека жизнь, совершая жестокости на глазах у народа, показывая ему мертвые тела, пробуждает зверские инстинкты, которые порождают множество пороков. Его собственная трагическая судьба свидетельствует, насколько он был прав! Чтобы яснее понять, с каким бессердечным равнодушием начинает относиться общество даже в мирном и благоустроенном государстве к публичным каз-

ням, если они случаются часто, попробуем вспомнить, как мало было тех, кто в последний раз попытался положить конец ужасным сценам, лет пятнадцать назад превращавшим Олд-Бейли в бойню, когда по утрам в понедельник женщин и мужчин вешали на одной перекладине за преступления столь же различные, сколь различны люди, стекающиеся на публичную казнь.

Нет лучше способа проверить, какое впечатление публичные казни производят на тех, кто сам их не видел, но слышал и читал о них, нежели узнать, насколько они предотвращают преступления. В этом отношении публичная смертная казнь во всех странах оказалась совершенно несостоятельной. Об этом говорят все факты и все цифры. В России, в Испании, во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швеции, в Англии результат был один и тот же. В Бомбее за те семь лет, пока верховным судьей там был сэр Джеймс Макинтош, количество преступлений сильно сократилось (хотя не было произведено ни одной казни) по сравнению с предыдущими семью годами, насчитывавшими сорок семь казней; и это — несмотря на значительное увеличение населения за семь лет, когда не было казней, и на рост числа невежественных и распущенных солдат, обычно совершающих наиболее тяжкие преступления. На протяжении четырех чернейших лет в истории Английского банка (с 1814 по 1817 год), когда за подделку однофунтовых банкнот к смерти приговаривалось поистине невероятное число людей, количество фальшивых однофунтовых банкнот, обнаруженных Банком, непрерывно росло — от суммы в 10 342 фунта за первый год до суммы в 28 412 за последний. Какие бы факты мы ни брали, занимаясь этой стороной вопроса — что смертная казнь не может предотвращать преступления, и наоборот, может порождать их,— доказательства (к сожалению, за недостатком места мы не можем здесь привести и проанализировать их все) бесчисленны и неопровержимы.

Я до сих пор нарочно не касался одного из аргументов, приводимых в защиту смертной казни,— я имею в виду аргумент, который якобы опирается на священное писание.

По очень тонкому замечанию лорда Мельбурна, стоит только указать, что такой-то класс людей угнетается и об-

речен на нищету, как кто-нибудь из сторонников существующего порядка вещей немедленно начинает доказывать... нет, не то, что эти люди достаточно обеспечены или что и в их жизни есть своя светлая сторона,— нет, он заявит, что из всех классов и сословий эти люди самые счастливые. Точно так же, стоит доказать, что какой-либо институт или обычай вреден и несправедлив, как определенные люди кидаются на его защиту и, немедленно беря быка за рога, объявляют, что он установлен самой библией — не более и не менее.

И вот библией оправдывают смертную казнь. И вот библия санкционирует рабство. И вот американские представители заявляют, что их право на территорию Орегон * яснейшим образом изложено в Книге Бытия. И вот с течением времени, пожалуй, окажется, что священное писание строжайшим образом предписывает развод.

Мне же достаточно убедиться в том, что есть веские причины считать какой-либо институт или обычай вредным и дурным; и тогда я уже не сомневаюсь, что он не мог быть установлен сходившим на землю богом. Пусть каждый, кто умеет держать в руке перо, примется комментировать писание — все их объединенные усилия до конца наших жизней не убедят меня, что рабство совместимо с христианством; точно так же, раз признав справедливость вышеизложенных доводов, я уже никогда не признаю, что смертная казнь совместима с христианством. Как могу я поверить в это, почитая деяния и учение господа нашего? Даже если бы нашелся стих, доказывающий это, я не принял бы столь ограниченного указания и положился бы на то, что знаю об Искупителе и его великой религии — ведь мы должны возлагать свои упования на ее так ясно выраженный всеобъемлющий, всепрощающий дух, а не на ту или иную спорную букву закона. Но, к счастью, таким сомнениям нет места. Все совершенно ясно. Преподобный Генри Кристмас в своем последнем трактате на эту тему точно установил, что в пяти важнейших списках Старого завета (не говоря уж об остальных) мы не находим слов «рукой человеческой» в часто цитируемом стихе: «Если кто прольет кровь человеческую, да будет кровь его пролита рукой человеческой». Мы знаем, что закон Моисея был дан племенам кочевников, живших в особых социаль-

ных условиях, ничем не напоминающих наши. Мы знаем, что Евангелие самым определенным образом не приемлет и отменяет некоторые из положений этого закона. Мы знаем, что Спаситель самым недвусмысленным образом отверг доктрину воздаяния или отмщения. Мы знаем, что когда к нему привели преступника, по закону повинного смерти, он не обрек его на смерть. Мы знаем, что он сказал: «Не убий!» И если мы применяем смертную казнь согласно Моисееву закону (хотя тогда она была не завершением судебной процедуры, а актом мести со стороны ближайших родственников, и вздумай сейчас евреи восстановить подобный обычай, это вряд ли нашло бы поощрение в нашем законодательстве), то, опираясь на этот источник, логично было бы узаконить также и многоженство.

Я больше не стану возвращаться к этой стороне вопроса. Я и вовсе не затронул бы ее на страницах газеты, если бы не боязнь несправедливого подозрения, будто я вообще не думал о ней.

Заканчивая письма на эту тему, о которой, к счастью, почти невозможно сказать или написать что-либо новое, я хотел бы заметить, что ратую за полное уничтожение смертной казни, как за общий принцип, во имя блага общества и предупреждения преступлений, а не из интереса или сочувствия к какому-либо определенному преступнику. Должен сказать, что почти всегда, когда дело идет об убийстве, я не испытываю к виновнику никакого сочувствия — совсем наоборот. Я счел тем более необходимым указать на это после того, как прочел речь, произнесенную мистером Маколеем * в прошлый вторник на вечернем заседании палаты общин; этот высокоуважаемый ученый отказывается признать, что кто-нибудь может питать искреннее убеждение в бесполезности и дурном влиянии смертной казни, основанное на изучении этого предмета и на многих размышлениях о нем, если только он не «поддался слабости и не расчувствовался, как женщина». Я не стану спрашивать, какое особое мужество и героизм требуются для защиты виселицы, и не стану также восхищаться мистером Колкрафтом, палачом, за его, следовательно, несравненное мужество, а только позволю себе со всем уважением усомниться, насколько это по-маколеев-

ски — вот так разделываться со столь важным вопросом? Мне кажется, один из примеров прискорбной слабости, приведенный мистером Маколеем, был не совсем точно изложен. Я говорю о петиции по делу Тоуэлла. Сам я не принимал в ней никакого участия и не имел к ней никакого отношения, но если не ошибаюсь, в ней ясно говорилось, что Тоуэлл — отвратительнейший негодяй, и, прося за его жизнь, подписавшие петицию только показывают парламенту, какими убежденными противниками смертной казни они являются, раз уж восстают против ее применения даже в подобном случае.

Май 1844 г.

ПРЕСТУПНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ

Господа,

Я не прошу извинения у читателей «Дейли-Ньюс» за то, что собираюсь познакомить их с деятельностью заведений, которые вот уже три с половиной года стараются привить самым нищим и отверженным обитателям лондонских трущоб хотя бы начатки нравственности и религии; пробудить их бессмертные души, прежде чем единственным наставником этих несчастных станет тюремный священник; напомнить обществу, что его долг по отношению к беднягам, с рождения обреченным на преступление и наказание, далеко не исчерпывается полицейскими участками и что нельзя без содрогания думать о том, как из года в год в одном из крупнейших городов мира с вопиющей беззаботностью сохраняется обширнейший рассадник неизбывного невежества, нищеты и порока — источник, непрерывно питающий тюрьмы и каторги.

Вот уже три с половиной года в наиболее глухих и нищих уголках столицы по вечерам открываются двери помещений, именуемых «Школами для нищих» *, где бесплатно обучают всех желающих, будь то дети или взрослые. Само название ясно говорит о цели таких школ. Те, кто слишком оборван, несчастен, грязен и нищ, чтобы пойти куда-нибудь еще, кого не примут ни в одну благотворительную школу и кого прогонят от дверей церкви, приглашаются войти сюда, где их ждут благородные люди, готовые

чему-то научить их, посочувствовать им, наставить их на благой путь, протянув руку помощи, не похожую на железную руку закона, умеющую только карать.

Прежде, чем я опишу мое собственное посещение «Школы для нищих» и буду умолять читателей этого письма последовать моему примеру и потом поразмыслить об увиденном (это и есть моя главная цель), позвольте мне сказать, что я хорошо знаю лондонские тюрьмы, что я бывал в самой большой из них множество раз и что вид заключенных там детей надрывает сердце и повергает в отчаянье. Сколько я ни приводил туда иностранцев или просто людей, незнакомых с нашими тюрьмами, их всех до одного так потрясала встреча с детьми-преступниками, так пугала мысль о страшной жизни отщепенцев, которая ждет этих детей за стенами тюрьмы, что они бывали не в силах скрыть свое волнение, словно на них вдруг обрушилось тяжкое горе. Мистер Честертон и лейтенант Трейси (на редкость умные и человеколюбивые начальники тюрем) хорошо знают, что такие дети выходят из тюрьмы лишь для того, чтобы вновь в нее вернуться, и так всю жизнь; что их ничему не учат, что им с колыбели неведомо различие между добром и злом, что они — дети неграмотных родителей и будущие родители неграмотных детей; что чем они способней, тем порочней; и что при существующем порядке вещей им нет спасения, нет выхода. К счастью, теперь в тюрьмах появились школы. Если кто-нибудь из читателей не в силах представить себе, насколько невежественны эти дети, пусть он посетит такую школу, посмотрит, как они занимаются, и послушает, каковы были их знания, когда их туда послали. А если читателю захочется узнать, какие плоды может принести подобное семя, пусть он посетит класс, где вместе с детьми занимаются взрослые (как я видел их в исправительном доме графства Мидлсекс), и посмотрит, с каким трудом, как неуклюже списывают буквы взрослые преступники, давно уже закосневшие в невежестве. Как резко отличалась эта тупость взрослых от еще не угаснувшей сообразительности детей, какой стыд и унижение, очевидно, испытывали первые, едва одолевая премудрости, которые не затруднили бы и шестилетнего малыша, и какое в них всех чувствовалось желание учиться! Мне даже сейчас трудно

найти слова, чтобы рассказать, как больно и мучительно было видеть все это.

«Школы для нищих» и были основаны для того, чтобы обучить этих несчастных грамоте и тем самым сделать первый шаг к их исправлению. Эти школы впервые заинтересовали меня, а точнее сказать — я впервые узнал о их существовании около двух лет назад, когда увидел в газетах объявление, помеченное: Уэст-стрит, Сэффрон-Хилл, и сообщавшее, «что в здешних трущобах уже год назад открылась комната, где бедняков наставляют в правилах благочестия», и коротко объяснявшее сущность «Школ для нищих», которых тогда насчитывалось четыре или пять. Я написал учителям той школы, о которой шла речь в объявлении, прося у них дополнительных сведений, а вскоре и посетил ее.

Был жаркий летний вечер; воздух Филд-Лейна и Сэффрон-Хилла в такую погоду отнюдь не делается благоуханнее, а попадавшиеся мне навстречу люди не отличались на вид ни трезвостью, ни честностью. Не зная точного адреса школы, я поспешил осведомиться о ее местоположении. Мои вопросы вызывали смех и шутки, но все знали, где она находится, и указывали мне дорогу правильно. Насколько я мог понять, уличные бездельники (по большей части это были подлинные подонки города и завсегдатаи полицейских участков) считали учителей добрыми безобидными чудаками, а всю школу — смешной затеей. Но сама ее идея, несомненно, вызывала у них грубоватое уважение, и (как я уже сказал) все знали, где находится школа, и готовы были указать к ней дорогу.

В то время она состояла из двух или трех (не помню точно) убогих комнатушек на верхнем этаже убогого домика. В лучшей из них занимался женский класс, постигавший начатки чтения и письма; и хотя среди учениц было много несчастных, давно погрязших в пороке, все они вели себя тихо и слушали своих наставников с видимым вниманием и даже интересом. Хотя комната эта производила скорее грустное впечатление, — иначе и быть не могло! — в ней все же чувствовалось что-то ободряющее.

В узкой задней комнатушке с низким потолком, где занимались подростки, стояла страшная, почти непереноси-

мая духота. Но это физическое неудобство скоро забывалось — настолько угнетающей была нравственная атмосфера. На скамье, освещенной прилепленными к стене свечами, сидели сгрудившись ученики всех возрастов — от несмышленых малышей до почти взрослых юношей: продавцы фруктов, зелени, серных спичек, кремней, бродяги, ночующие под арками мостов, молодые воры и нищие. В них нельзя было заметить никаких признаков, обычно присущих юности: вместо открытых, наивных, приятных молодых лиц — низколобые, злобные, хитрые, порочные физиономии. Это была юность, лишенная какой бы то ни было помощи, кроме помощи такой школы, обреченная на скорую гибель и невыразимо невежественная!

Я увидел, читатель, битком набитую комнатушку, но находившиеся в ней были лишь песчинками тех множеств, которые непрерывным потоком проходят через подобные школы; тех множеств, которые когда-то скрывали, как, быть может, скрывают и теперь, в своей толще людей не хуже нас с тобой, а пожалуй, и бесконечно лучших; тех обреченных грешников (о подумайте об этом и подумайте о них!), среди которых мог бы по велению судьбы оказаться ребенок любого человека на земле, как бы ни был высок его сан, если бы этого ребенка обрекли на такое детство, какое выпало на долю этих падших созданий!

Вот какой класс увидел я в «Школе для нищих». Этим людям нельзя было доверить букварей, их можно было учить только устным способом; от них лишь с большим трудом можно было добиться внимания, послушания или хотя бы приличного поведения; их тупое невежество во всем, что касалось бога или их долга перед обществом, было ужасающим — да и как они могли догадаться о том, что у них есть долг перед обществом, если это общество отреклось от них и дало им в наставники лишь тюремщика и палача! Однако даже тут, даже в душах этих несчастных уже удалось посеять какие-то добрые семена. Эта школа возникла совсем недавно и была очень бедна, однако она уже успела объяснить своим ученикам, что имя божье означает не только проклятие, и вложила в их уста псалом надежды (они его пели) на иную жизнь, которая возместит им горести и беды, перенесенные здесь, на земле.

Эта «Школа для нищих» еще раз и по-новому показала мне, с каким ужасающим равнодушием бросает государство на произвол судьбы тех, кого оно только наказывает, хотя с большей легкостью и меньшими расходами могло бы вырвать из тьмы невежества и спасти; мысль об этом и о том, что мне довелось увидеть в самом сердце Лондона, не давала мне покоя и в конце концов заставила меня сделать попытку обратить внимание правительства на эти заведения: в моей душе теплилась слабая надежда, что важность вопроса перевесит религиозные соображения — совет епископов, вероятно, нашел бы способ уладить это затруднение после того, как школам была бы предоставлена хотя бы небольшая субсидия. Я попытался — и по сей день не получил никакого ответа.

Написать обо всем этом я решил, увидев во вчерашней газете объявление о лекции, посвященной «Школам для нищих». Я мог бы придать моим заметкам иную форму, но предпочел обратиться к вам с письмом в надежде, что, увидев мою подпись, те из ваших читателей, которым нравятся мои романы, прочтут его и узнают то, чего иначе могли бы никогда не узнать.

У меня нет намерения хвалить систему, которой следуют «Школы для нищих»,— она, разумеется, еще очень несовершенна, если вообще можно говорить о какой-то системе. Лично мне не нравится то, чему — насколько я могу судить — там учат: ученики получают слишком мало практических знаний и им преподают слишком много богословских тонкостей, непосильных для умов, не подготовленных к их восприятию. Однако я сам плохо исполнил бы тот долг, о котором хочу напомнить другим, если бы позволил, чтобы мои сомнения помешали мне воздать должное учителям этих школ или помочь им всеми скудными средствами, находящимися в моем распоряжении. Я не хочу касаться никаких щекотливых тем. Я просто обращаюсь к тем, кто щедро жертвует на построение храмов, с просьбой подумать и о «Школах для нищих»; посмотреть, нельзя ли уделить для них какую-то долю этих щедрот; понять и принять необходимость начинать с самого начала; самим разобраться, где нужно помочь христианской религии и подкрепить ее заповеди делом; и принять решение, опираясь не на теоретические рассуждения или чужие слова,

а самим посетить тюрьмы и школы для нищих и составить собственное мнение. То, что они увидят, возмутит их, опечалит, внушит отвращение, но что бы они ни увидели, это и в тысячную долю не будет столь печальным, возмутительным и отталкивающим, как сохранение хотя бы на год того положения вещей, которое длится уже много десятков лет.

Предвидя, что наиболее важные факты, связанные с историей «Школ для нищих», станут известны читателям «Дейли Ньюс» из вашего сообщения о вышеупомянутой лекции, я, хотя и располагаю немалыми сведениями об этих школах, сейчас более на эту тему писать не буду. Однако я позволю себе вернуться к ней в дальнейшем при удобном случае.

Чарльз Диккенс

Среда, утро 4 февраля 1846 г.

НЕВЕЖЕСТВО И ПРЕСТУПНОСТЬ

Правительство недавно опубликовало весьма замечательный документ, наводящий на интересные размышления и содержащий много важных доказательств тесной связи преступности с невежеством. Это отчет о количестве людей, арестованных лондонской полицией, судимых, отпущенных на свободу и осужденных в 1847 году; кроме того, к нему приложены сравнительные данные с 1831 по 1847 год включительно.

В этом отчете приводятся подробные сведения о занятии или ремесле лиц, которые были арестованы в течение 1847 года. Хотя эти сведения нельзя назвать исчерпывающими, так как рядом с ними не приведены точные статистические данные об общем числе лиц, занимающихся в Лондоне соответствующим ремеслом, они все же очень любопытны. Из общего числа преступников-мужчин — без малого сорока двух тысяч,— на которое приходится семьдесят девять занятий и ремесел, двенадцать тысяч четыреста десять человек — рабочие, и одна двенадцатая часть их обвинялась в нарушении законов о бродяжничестве. Вторая по численности группа — матросы: свыше тысячи восьмисот человек. За ними следуют плотники, уступая им лишь на сотню человек. Потом — сапожники, которым не хватает до плотников человек шестьсот. Затем — портные, отстающие от сапожников на сто человек. Затем — камен-

щики, которые в свою очередь уступают портным на сто человек. И в конце концов мы доходим до четырех помощников шерифа, трех священников и одного зонтичного мастера. Не менее примечательны также преступления, характерные для каждой группы. Так, из трех священников один был пьян, другой вел себя буйно, а третий дрался на кулаках; точно то же инкриминировалось и четырем помощникам шерифа. Зонтичный мастер совершил убийство. Из пяти приходских старост один подозревался в растрате, другой был конокрадом, а трое нанесли оскорбление действием. Из шестнадцати почтальонов семеро крали деньги из писем, а шесть мертвецки напились. Мясники всем прочим преступлениям предпочитают простое рукоприкладство. Главная слабость плотников — пьянство, на втором месте — стремление наносить оскорбление действием подданным ее величества, а на третьем — склонность к мелким кражам. Портные, как всем нам хорошо известно, буйны и неустрашимы во хмелю. Служанки не всегда могут устоять перед искушением украсть. Плохо оплачиваемые модистки и портнихи чаще всего совершают проступки, либо связанные с проституцией, либо ведущие к ней.

Особенно примечательно в этих таблицах огромное число тех, кто не занимается никаким ремеслом и не имеет никакой профессии,— оно достигает в круглых цифрах одиннадцати тысяч ста из сорока одной тысячи мужчин и семнадцати тысяч ста из двадцати тысяч пятисот женщин. Из этих последних девять тысяч не умеет ни читать, ни писать, одиннадцать тысяч только читают или с грехом пополам и читают и пишут, и всего лишь четырнадцать умеют и читать и писать хорошо! Общее число неграмотных среди мужчин достигает тринадцати тысяч из сорока одной, и только сто пятьдесят человек из остальных двадцати восьми тысяч читают и пишут хорошо; прочие же умеют только читать по складам, как маленькие дети, или читают и пишут с грубейшими ошибками. И вот это-то уже много лет зовется в Англии «образованием»! С тем же успехом этим избитым словом можно было бы обозначить хотя бы чайник.

Следует помнить, что в рассматриваемых документах всеобщее невежество преступников всячески умаляется и к познаниям этих несчастных проявляется большая снисхо-

дительность. Невежественный человек не сознает своего невежества — это общее правило. Нам известно множество убедительных примеров, когда преступники с полной искренностью заявляли, что умеют хорошо читать и немного пишут, а на деле даже букварь оказывался им не по силам. Среди упомянутого огромного числа женщин, не имеющих ни ремесла, ни какого-либо занятия (семнадцать тысяч из двадцати), почти ни одну никогда не обучали ведению хозяйства или простейшему шитью. Ежедневный опыт наших крупнейших тюрем показывает, что в этом отношении женщины, постоянно в них попадающие и вновь возвращающиеся, столь же несведущи, как и в искусстве чтения и письма или в вопросах нравственности, которую несет с собой грамотность. И перед лицом подобных ужасных фактов всевозможные христианские секты и вероисповедания продолжают свои распри, предоставляя и без того полным тюрьмам снова и снова наполняться людьми, которые впервые познают блага образования в этих мрачных стенах!

Несомненно, давным-давно устарело представление о том, что образование для народа исчерпывается уменьем спотыкаясь читать слова — букву за буквой и слог за слогом, подобно дрессированной свинье,— или выводить кривые палочки и крючочки с наклоном вправо. Давно пора с корнем вырвать самодовольную уверенность в том, что бессмысленная долбежка катехизиса и заповедей снабдит бедных паломников достаточно прочными подметками, чтобы миновать Трясину Уныния, достаточно крепким панцирем, чтобы выдержать натиск Великанов Срази-Добро и Отчаяние, и доставит их в подобии парламентского поезда для пассажиров третьего класса прямо к дивным Вратам Града. Если эту уверенность не истребить, она повергнет всю страну во мрак. Бок о бок с Преступлением, Болезнями и Нищетой по Англии бродит Невежество, оно всегда рядом с ними. Этот союз столь же обязателен, как союз Ночи и Тьмы. И от этой позорной опасности, которая грозит нам в девятнадцатом столетии после рождества господня, спасти нас могут только ремесленные школы, где книги давали бы полезные знания, подчеркнуто практические и легко применимые к повседневным занятиям и обязанностям и воспитывали бы уважение к порядку, чисто-

плотность, аккуратность и бережливость; школы, где высокие уроки Нового завета были бы зданием, возведенным на этом прочном фундаменте, а не накромсанными кусочками, неудобопонятными и вызывающими лишь скуку, лень и раздражение, ибо когда Евангелие превращается в истрепанный сборник пошлых прописей, хуже этого трудно что-либо придумать. Да, спасти нас могут только такие школы, проникающие на самое дно общества, чтобы очистить его. Своим девизом они могут сделать слова Мора: «Пусть государство предупреждает злодеяния и уничтожает поводы к нарушению законов заботами о благе своих подданных, а не смотрит равнодушно, как количество преступлений все возрастает, чтобы затем карать за них».

Судя по этим отчетам, мудрые меры старого сэра Питера Лори еще не до конца вывели самоубийства. Число их остается неизменным, словно такая особа вовсе и не осчастливила мир своим присутствием. Четыре года назад число самоубийств за год достигало в Лондоне ста пятидесяти пяти; в прошлом году их было сто пятьдесят два, не говоря уж о двух тысячах человек, об исчезновении которых было сообщено полиции и из которых разыскана только половина.

22 апреля 1848 г.

«ДЕТИ ПЬЯНИЦЫ» КРУКШЕНКА*

«Продолжение «Бутылки» заслуживает, на наш взгляд, нескольких мягких упреков. Трудно найти человека, который имел бы больше права поучать народ, чем мистер Джордж Крукшенк. Мало кто так внимательно изучил жизнь простых людей и знал бы их лучше, мало кто так горячо и искренне хочет научить их добру; и наконец, и в Англии и за границей нет другого художника с таким своеобразным и замечательным талантом.

Однако эти поучения должны быть скрупулезно беспристрастными, иначе от них не будет толку. Если мистер Крукшенк с такой силой и яркостью показывает нам ту сторону медали, на которой вычеканены преступления и недостатки простых людей, ему следует показать нам и другую ее сторону, где столь же ясно можно было бы различить правительство, воспитывающее этих людей, со всеми его недостатками и пороками. Пьянство, как национальное бедствие, является следствием многих причин. Гнусные жилища, душные фабрики, тяжелые условия работы, недостаток света, воздуха и воды, полная невозможность соблюдать опрятность, сохранить здоровье — вот самые обыкновенные из будничных физических причин пьянства. Моральные же причины, вызывающие его, это умственное истощение и его следствие — душевная лень, отсутствие здорового отдыха, потребность в каком-нибудь стимулирующем средстве, в возбуждении, которое так же необходимо этим людям, как солнце; и последняя причина,

включающая все остальные, — глубокое невежество и отсутствие необходимого для английского народа разумного, готовящего к какой-либо профессии образования, которое подменяется сейчас бессмысленной долбежкой, а то и вовсе ничем. Мысль выпустить серию гравюр под названием «Бутылка целебного средства или раствор поваренной соли» и, проследив таким образом историю тифа, свалить все на кабак, была бы столь же здравой, как и попытка свалить на пресловутый кабак всю вину за пьянство и ограничиться этим. Пьянство начинается не в кабаке. У него есть длинная и грустная предыстория, и обязанность сатирика, если уж он решил выступить против пьянства, заключается в том, чтобы нанести удар по еще поправимому злу в этой предыстории — удар сильный и беспощадный.

Мы полагаем, что Хогарт не создал «Карьеры пьяницы» именно потому, что причины пьянства среди бедняков так многочисленны, так обыкновенны и, к сожалению, так глубоко коренятся в человеческом горе, одиночестве и отчаянии, что даже его карандаш не мог бы показать их во всей их полноте и правдивости. К тому же он никогда не начинал прямо со следствия, о чем свидетельствует смерть Скупца (на чьи башмаки поставлены новенькие подметки из переплета его Библии), с которой начинается карьера Молодого Мота; отец, заискивающий перед знатью, апатичная дочь, обнищавший аристократ и хитрый стряпчий на первой гравюре «Модного брака»; отвратительные забавы в «Ступенях жестокости» и история падения Ленивого Томаса. Однако он отнюдь не щадил пьянства более «респектабельного» происхождения, что убедительно доказывается его модной «Полуночной беседой» и гравюрами «Выборы» с бесчисленной компанией глупых олдерменов и других любителей горячительных напитков. Но после одной бессмертной прогулки по Водочному переулку он горестно удалился оттуда — быть может, надеясь на лучшее будущее с лучшими законами, школами и приютами для бедняков,— и более туда не возвращался. Эта картина замечательна тем, что, показывая пьянство в самом отвратительном его облике, она гораздо больше привлекает внимание зрителей к нищим трущобам (тем самым, которые были снесены только на днях, когда удлинялась Оксфорд-стрит) и к невыразимо ужасным условиям

жизни их обитателей: эта картина вполне могла бы занять место фронтисписа в последнем отчете санитарной инспекции, написанном почти сто лет спустя. Мы всегда были склонны думать, что эту картину никто по-настоящему не понимал — даже Чарльз Лэм *. «Самые дома словно шатаются» — совершенно справедливо, но это скорее указывает на одну из главных причин пьянства среди оставляемых в пренебрежении сословий, нежели на какое-либо его следствие.

Судя по всему, никто из действующих лиц этой тягостной сцены никогда не видел лучших дней. Наиболее состоятельные из них тащат к ростовщику свой рабочий инструмент и скудные пожитки, а самые бедные — бездомные бродяги — несомненно, никогда не знали иной жизни. Все они живут и умирают в горе и нищете. Никто и не помышляет о том, чтобы помочь уходящему поколению, никто и не помышляет о том, чтобы спасти поколение, только вступающее в жизнь. Церковный староста (единственный трезвый человек на картине, если не считать ростовщика) исполнен величайшего равнодушия к осиротевшему ребенку, рыдающему над родительским гробом. О приютских девочках так заботятся, так учат их добру, что они уже начали попивать. Церковь очень красива и сразу бросается в глаза, но на то, что происходит в тени ее колокольни, она взирает с холодным безразличием и остается лишь фоном (только в тысяча восемьсот сорок восьмом году один лондонский епископ впервые усмотрел некоторую несправедливость в социальном положении бедняков). Нам кажется, что все эти детали имеют свой смысл, который, насколько мы можем судить, нисколько не устарел за протекшее столетие.

Мистер же Крукшенк ни над чем подобным не задумывается. Герой «Бутылки», отец этих детей, жил в довольстве, окруженный всеобщим уважением, до тех пор, пока ему не исполнилось лет тридцать пять, когда в один несчастный день на стол, за которым он обедал в кругу семьи, был подан гусь; он больше в шутку послал за бутылкой джина и уговорил свою жену (до этого дня образцовую хозяйку) выпить капельку под начинку, после чего все семейство принялось без передышки пить джин и стремительно вступило на путь гибели. . .

Питая глубочайшее уважение к замечательному таланту мистера Крукшенка и не меньшее — к его добрым намерениям, мы считаем себя вправе теперь, когда появилось продолжение «Бутылки», упрекнуть его за вышеупомянутую историю. Во-первых, потому, что она компрометирует очень важную и злободневную проблему, а во-вторых, потому, что она в конечном счете повредит тому делу, которому должны служить эти гравюры. Из всех классов общества быстрее всего заметит их слабость именно тот класс, которому они в первую очередь адресованы, так как ему все это хорошо известно по собственному опыту.

В новой серии мы опять встречаемся с братом и сестрой, которых в последний раз видели в ужасной сцене безумия их отца, заключавшей первую серию, и наблюдаем, как они все ниже спускаются по стезе порока и преступления, открывшейся перед ними тогда. Они становятся завсегдатаями трактиров, кабаков, притонов. Их судят за грабеж. Юношу приговаривают к каторге, девушку оправдывают. Он безвременно умирает в плавучей тюрьме, а его сестра, обезумев от отчаяния, бросается с Лондонского моста в окутанные ночным сумраком воды реки.

Эта последняя сцена необыкновенно сильна. Она запечатлевается в памяти, словно страшная реальность. В ней ощущается буря чувств и ужаса — и мы не сомневаемся, что никакой другой художник не смог бы выполнить ее с таким совершенством. К тому же, хотя она превосходит все предыдущие, как и надлежит подобной трагедии, в них многое столь же замечательно. Например, сцена смерти в тюрьме — каторжник, закрывающий глаза покойнику, и его товарищ, ставящий ширму в изголовье кровати, представляют собой шедевры, достойные самого великого художника. Все дышит подлинностью, и точность даже малейших деталей просто удивительна. Впрочем, этим отличается вся серия. В сцене суда в Олд-Бейли великолепно воспроизведена обстановка, знакомая каждому, кто там бывал. Освещение и даже воздух переданы с поразительной достоверностью. То же можно сказать и о кабаке и о притоне — ни одной неотработанной детали, все выписано с величайшей скрупулезностью. Как странно, закрывая альбом, вспоминать все эти лица, наделенные

такой характерностью и неповторимым своеобразием, что они запечатлелись в нашей памяти, словно мы смотрели на людей из плоти и крови. Хозяин кабака за стойкой, юристы в суде и уже упоминавшиеся каторжники останутся живой реальностью, точно фигуры на картинах, о которых испанский монах рассказывал Уилки, и будут жить, когда тысячи ныне живущих теней исчезнут без следа. Но пусть мистер Крукшенк подольше остается здесь, чтобы подарить нам еще много таких произведений и чтобы с помощью подобных же простых средств создавать то, чего не удастся создать, даже располагая всеми средствами искусства, если только ты не наделен рукой мастера.

«Продолжение «Бутылки» продается по той же цене, что и первая серия. Восемь больших гравюр можно купить всего за шиллинг!

8 июля 1848 г.

ПОЭЗИЯ НАУКИ

Судя по некоторым намекам, разбросанным кое-где на страницах этой книги *, мы полагаем, что ее автору не польстит, если мы укажем, насколько, по нашему мнению, мы обязаны появлением такого сочинения творцу «Заметок о естественной истории Вселенной» — ведь он, снискав популярность этой теме и пробудив любознательность людей, прежде равнодушных к подобным предметам, создал круг читателей — не ученых и не философов,— которым можно без опасения адресовать подобные труды. Мы твердо убеждены, что в этом также заключается весьма важная заслуга создателя вышеупомянутой замечательной, но еще не получившей должного признания книги перед его эпохой.

Замысел мистера Р. Ханта оригинален и очень хорош. Показать, что научные факты не менее — если не более — поэтичны, чем любой поэтический вымысел, порожденный ошибочными наблюдениями и неверным толкованием (как это было, например, у древних греков), показать, что хотя дриады ныне уже не обитают в рощах, все же в каждом лесу, в каждом дереве, в каждом листочке и в каждом кольце мощного ствола таится прекрасная и удивительная жизнь, вечно меняющаяся, вечно длящаяся, вечно свидетельствующая о дивных деяниях Высшей Мудрости и ведущая искателя от чуда к чуду, пока он с благоговейным

восторгом не постигает, как необъятен мир чудес, окружающий его с колыбели до могилы, показать все это — задача поистине достойная того, кто избрал своим занятием философию природы, и благодетельная для духа века. Показать, что Наука, проникающая в тайны Природы, может подобно самой Природе возродить в новой форме все ею разрушаемое; что, освобождая нас от «безвредных суеверий», она отнюдь не заковывает нас, как утверждают некоторые, в безжалостные цепи утилитаризма, а наоборот, предлагает нам взамен нечто лучшее, нечто более прекрасное и более возвышающее душу тех, кто умеет правильно смотреть на вещи, нечто более благородное и животворное для полета фантазии,— показать все это — значит осуществить мудрый, нужный и полезный замысел. Если бы ученые, писавшие о таких предметах, чаще ставили перед собой подобную цель, они принесли бы больше добра и повели бы по своему пути больше последователей, ныне лишь чуть-чуть различающих вдали сияние науки.

Наука спустилась в рудники и угольные шахты, и перед безопасными лампами без следа рассеялись гномы и духи этих обитателей мрака. Но зато мы узнали, как на протяжении неисчислимых столетий рождались металлы; мы узнали о растениях, существующих глубоко под землей, где в непроницаемой тьме они все же ощущают присутствие солнца на небе и получают от него какую-то тончайшую субстанцию, необходимую для их жизни; мы узнали историю вековых лесов и обширных земельных угодий, по сей день уносимых в море Миссисипи и другими мощными реками. Нет более сирен, русалок и великолепных городов, мерцавших в глубине под безмятежной гладью моря или на дне прозрачных озер, но вместо них уничтожившая их Наука показывает нам коралловые острова, построенные мельчайшими созданиями, открывает нам, что наши собственные меловые утесы и известняки возникли из праха мириадов поколений невидимых для глаза существ, и даже разлагает воду на составляющие ее газы и воссоздает ее заново по собственной воле. Набитые сокровищами пещеры в скалах, доступные лишь обладателям волшебного талисмана, Наука разнесла вдребезги, как она может раздробить и стереть в пыль самые скалы, но зато в этих скалах она нашла и сумела прочитать

великую каменную книгу, повествующую об истории земли еще с тех дней, когда тьма царила над бездной. На их обрывистых склонах она отыскала следы зверей и птиц, не виданных человеком. Из их недр она извлекла кости и сложила эти кости в скелеты таких чудовищ, которые одним ударом лапы уложили бы на месте любого сказочного дракона. На звезды, усеивающие по ночам небесную твердь, уже больше не взирают с одиноких башен наивные мечтатели и обманщики, верившие или притворявшиеся, что верят, будто этим великим мирам поручено управлять ничтожными судьбами отдельных людей здесь, на земле; зато два жившие далеко друг от друга астронома, наблюдая из своих уединенных кабинетов за давно известной звездой, поняли по ее чуть заметному трепету, что из глубины пространства к ней приближается какое-то неизвестное небесное тело, чье притяжение на определенной части его необозримого пути и вызывает это отклонение. В назначенный срок тело это проходит предсказанное место и вновь удаляется — влияние его слабеет, старая звезда снова сияет спокойно, а новая, отныне навеки связанная со славными именами Леверье и Адамса *, получает имя Нептуна. Астролог исчез из башни замка (чьи бойницы выходят теперь на железнодорожное полотно!) и больше не пророчит, что его сиятельству грозит близкая гибель, ибо блеск вон той планеты идет на убыль; зато вместо него пришел профессор точной науки и доказал, что лучу света требуется шесть лет, чтобы достичь Земли от ближайшей к ней неподвижной звезды, и что если бы одна из дальних звезд сегодня погасла бы, на Земле сменилось бы несколько поколений ее смертных обитателей, прежде чем человечество узнало бы об этом.

Главная цель книги мистера Ханта и заключается в том, чтобы показать как можно яснее ту щедрую поэтическую компенсацию, которую Наука предлагает нам взамен всего, что она у нас отняла. Он превосходно владеет материалом и в совершенстве достигает желаемого. Можно пожаловаться только на некоторое многословие, и порой мы предпочли бы, чтобы с нами говорили более простым языком. Кроме того, нас не вполне убедили возражения мистера Ханта против некоторых геологических теорий: мы, с его позволения, считаем, что их поддерживают

многие умные люди, которые опираются на определенные геологические факты, хотя и не являются ни химиками, ни палеонтологами. Но в эту книгу вложены глубокие познания, и она принадлежит перу красноречивого и добросовестного человека: вот почему мы принимаем ее с такой радостью и удовольствием, что нам не хочется долее останавливаться на ее недостатках. Мы предлагаем вниманию читателей несколько коротких отрывков.

КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ «ПРИХОДИМ И УХОДИМ ТЕНЯМ ПОДОБНО»

Растение, подвергающееся естественному или искусственному разложению, растворяется в воздухе, оставив после себя лишь несколько гранов твердого вещества. Животное точно так же постепенно «рассеивается в воздухе». Как обнаружено, мускулы, кровь и кости при этом улетучиваются в форме газов, «оставляя лишь горстку праха», который принадлежит к более устойчивому минеральному царству. Отсюда видно, насколько мы зависим от атмосферы. Мы извлекаем из нее нашу субстанцию, а после смерти опять сливаемся с ней. Мы поистине лишь преходящие тени. Животные и растительные образования оказываются всего лишь сгустками атмосферы. Высочайшие творения самого талантливого поэта не идут ни в какое сравнение с красотой этой чистейшей, истиннейшей поэзии науки. Человек постиг эти изменения лишь с помощью силы разума, опираясь на феномены, которые Наука непрерывно открывает вокруг него. Сомнение греческого мудреца в собственной личности было развитием великой истины, лежащей вне пределов нашего разума. Романтический взгляд и суеверие облекают для спиритуалиста в видимые формы предельную эфемерность мира духов, «одетых в собственный ужас», благодаря которому поддерживается их владычество.

Когда Шекспир вложил в уста своего очаровательного Ариэля * песню:

Отец твой спит на дне морском,
  Он тиною затянут,
И станет плоть его песком,
  Кораллом кости станут.
Он не исчезнет, будет он
  Лишь в новой форме воплощен [1],—

он даже не подозревал, как правильно нарисовал он химические изменения, благодаря которым животная материя заменяется кремнеземистыми и известняковыми образованиями.

[1] Перевод М. Донского.

Почему мистер Хант полагает, что Шекспир «даже не подозревал» о собственной мудрости, мы, право, не совсем понимаем. Быть может, он исходит в своем предположении из того, что Шекспир не был ни признанным химиком, ни признанным палеонтологом.

В заключение мы приведем еще один отрывок, который, по нашему мнению, с поразительной ясностью показывает, как преходяща и тороплива наша краткая жизнь, которую заключают сон и спокойное величие природы.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ДЛЯ ПРИРОДЫ

Все сущее на земле является результатом химических реакций. Мы можем воспроизвести в наших лабораториях процесс воссоединения молекул и обмена атомами, однако в природе он протекает очень медленно, а в наших руках происходит почти мгновенно. В природе химическая сила распределяется на длительный период и изменения практически незаметны. Мы искусственным образом концентрируем химическую силу и расходуем ее для производства изменений, которые занимают максимум несколько часов.

9 декабря 1848 г.

О СУДЕЙСКИХ РЕЧАХ

Вряд ли необходимо упоминать, что мы не питаем ни малейшей симпатии как к крылу физической силы чартизма вообще, так и к арестованным и осужденным чартистам крыла физической силы в частности. Не говоря уже о жестокости их планов, которым они с такой легкостью и охотой готовы были следовать (даже если поверить, будто эти неслыханные мерзости были подсказаны им иностранными шпионами, сумевшими воспользоваться их тупым невежеством), они помимо всего нанесли такой вред делу разумной свободы в мире, что их нельзя не признать врагами общественного блага и недругами простого народа.

И все же мы считаем, что с этими преступниками надо говорить языком здравого смысла и подлинного знания — особенно когда к ним обращается судья. Они очень в этом нуждаются, а помимо того, что правду следует говорить всегда, весьма желательно, чтобы она неизменно сопутствовала достоинству и авторитету судейского горностая.

Открывая заседания специальной комиссии графства Честер, судья Олдерсон, как ни жаль, произнес весьма, мы бы сказали, полицейскую речь, которую никак нельзя назвать поучительной. Он, прибегая к выражению любителей спорта, «схватился» с темой революции вообще, твердо рассчитывая на победу, а поскольку человеку как в парике, так и без парика очень легко говорить все, что ему взбре-

дет в голову, если никто не смеет его перебивать или возражать ему, то он воспользовался этим удобным случаем и высказал поистине поразительные суждения. На волшебном термометре мистера Исаака Бикерстафа *, находившемся в его доме в Башмачном переулке, Церковь помещалась между ревностностью и терпимостью; и мистер Бикерстаф заметил, что стоило волшебной жидкости подняться слишком высоко от средней точки — Церкви — в ревностность, как она уже грозила перейти в ярость, а ярость — в преследования. Если бы старый мудрый цензор английских нравов заменил Церковь Судом, результат, несомненно, остался бы прежним.

Судья Олдерсон объявил в поучение присяжным, что «до Французской революции 1790 года бедняки располагали гораздо большим количеством жизненных благ, чем после этого события». Прежде, чем мы коснемся доказательства, которым судья Олдерсон подкрепил это свое утверждение, нам хотелось бы спросить, полагает ли в наши дни хоть один разумный человек, что первой французской революции можно было бы избежать и что, вспоминая прошлое, трудно объяснить, почему она произошла? Что она не была ужасной развязкой трагедии, в которой уже были сыграны все предыдущие сцены, неотвратимо ведшие к этому страшному концу? Что в истории можно найти другой пример, когда высокое развитие искусств, науки и цивилизации шло рука об руку с безысходной нищетой беспощадно угнетаемого и униженного народа, как это было в предреволюционной Франции? Жизненные блага! Да французы — простые люди, составлявшие почти все население страны,— забыли даже, что это такое, еще задолго до революции. Они умирали тысячами в тисках голода и нужды. В королевских лесах королевская охота скакала по их мертвым телам. По улицам Парижа бродили толпы голодных, с воплями требуя хлеба. Дорога от Версаля до Парижа была запружена нагими и голодными, которые стекались туда из всех провинций. Столы, которые герцог Орлеанский Филипп Равенство * накрывал для народа на улицах, осаждались авангардом нации обездоленных, и на каждом лице уже лежала тень грядущей гильотины. Бесчестные феодалы и растленное правительство год за годом грабили и угнетали их, доведя до такого

отчаянья, которому нет подобного в истории. И пока росли их нищета и горе, их угнетатели купались в неслыханной роскоши, так что под конец даже моды и привычки высших классов, не знавших никакой узды, были помечены печатью безумия и стали чудовищными.

«Всеми богатствами,— говорит Тьер *,— владела ничтожная кучка, а тяготы и повинности ложились на одинединственный класс. Почти две трети земель принадлежали духовенству и дворянству, и лишь треть — народу, который должен был платить налоги королю, множество феодальных податей сеньорам, десятину священникам, и эта кормившая страну треть земли, кроме того, опустошалась благородными охотниками и их дичью. Налоги на потребление тяжелым гнетом ложились на большинство, а следовательно — на народ. Взыскивались они самым возмутительным образом. Дворяне могли безнаказанно опаздывать с выплатой, если же угнетенный, задавленный нуждой крестьянин не мог уплатить недоимки, его подвергали истязаниям. Народ проливал свою кровь, защищая высшие классы общества, и не имел даже скудного пропитания».

Как бы ни тяжело было положение вещей после революции — а оно всегда бывает таким после подобных мрачных катаклизмов,— несомненно одно, если вообще есть что-то несомненное в истории: когда началась революция, французский народ не располагал никакими жизненными благами. И судья Олдерсон, объясняя присяжным, что эта революция была лишь борьбой «за политические права», говорит (не в обиду ему будь сказано) невообразимую чепуху и упускает возможность сделать свою речь поучительной для чартистов. Французская революция была борьбой народа за социальное признание, за место в обществе. Это была борьба во имя отмщения злобным тиранам. Это была борьба за свержение системы угнетения, которая, забыв о гуманности, порядочности, естественных правах человека и обрекая народ на неслыханное унижение, воспитала из простых людей тех демонов, какими они показали себя, когда восстали и свергли ее навсегда.

Доказательство, на которое ссылается мистер Олдерсон, обосновывая свою точку зрения, показалось бы странным в любом случае, но особенно странно оно звучит в устах высокого должностного лица, одна из важнейших обязан-

ностей которого заключается в разборе и оценке улик для того, чтобы их яснее поняли умы, непривычные к такому анализу.

«Существует весьма авторитетное мнение, что наиболее верным показателем уровня жизненных благ, которыми располагают бедняки, может считаться количество потребляемого населением мяса. Если принять подобный критерий, парижская статистика показывает, что в 1789 году, при старом режиме, на одного человека приходилось 147 фунтов мяса; в 1817 году, после возвращения династии Бурбонов, которым завершилась революция, на одного человека приходилось всего 110 фунтов 2 унции мяса; в 1827 году, в промежуточный период между Реставрацией и нынешним временем, среднее потребление попрежнему составляло около 110 фунтов, но после революции 1830 года эта цифра упала до 98 фунтов 11 унций, а в наши дни она, вероятно, еще ниже».

Статистические сведения о Париже 1789 года! Когда в Париже находился королевский двор, окруженный еще неслыханным великолепием; когда в Париже находились три сословия, все важнейшие сановники государства, сопровождаемые бесчисленными слугами и прихлебателями; когда в Париже весь этот год находилась вся аристократия, в последний раз пытавшаяся уладить свои отношения с королем; когда в Париже состоялось огромное шествие к собору Парижской богоматери; когда в Париже произошло открытие Генеральных Штатов; когда в Париже третье сословие объявило себя Национальным Собранием; когда депутаты, собравшиеся из шестидесяти провинций, отказались покинуть Париж; когда в садах Пале-Рояля ежевечерне собирались такие толпы иностранцев, прожигателей жизни и бездельников, каких Париж еще не видывал; когда народ стекался в Париж со всех концов Франции; когда в этот год великих событий охваченный возбуждением Париж кутил, пировал и безумствовал; короче говоря, когда все потребляющие мясо классы собрались в Париже и объедались, захваченные первым вихрем надвигающейся бури!

Судья Олдерсон берет именно этот — 1789 — год, делит количество мяса, съеденного населением Парижа, на равные доли, с детской наивностью сообщает присяжным, что

на одного человека приходилось 147 фунтов мяса, и считает это доказательством высокого уровня жизненных благ, которыми пользовался простой народ!

А этот 1789 год известен в истории как самый тяжелый, какой только знал французский народ со времен страшных бедствий в царствование Людовика XIV и бессмертного милосердия Фенелона! * А в этом 1789 году Мирабо* говорил в Национальном Собрании о «голодающем Париже», король вынужден был принимать депутации женщин, требовавших хлеба, и большой колокол ратуши гремел над Парижем: «Хлеба! Берите хлеб силой!»

Стоит ли подробно разбирать такие свидетельства? Они слишком внушительны и наглядны. И в заключение мы назовем самую важную, на наш взгляд, причину, заставившую нас обратить внимание на серьезную ошибку судьи Олдерсона.

Этот ученый судья заблуждается, если думает, что среди чартистов нет людей, обладающих достаточными знаниями, чтобы заметить подобную подтасовку и умело ею воспользоваться. Деятельные и зловредные агенты чартистов, живущие чтением лекций, сумеют извлечь из подобного заявления больше пользы, чем из всех несчастий Англии за ближайший год. В любой истории французской революции они легко найдут неопровержимые доказательства ошибки судьи Олдерсона. Они обращаются к слушателям, чье умственное развитие и образованность таковы, что делают их особенно склонными судить о здании по одному кирпичу, а вывод из подобного разоблачения напрашивается сам собой: вся система управления страны — только обман и ложь.

Совсем недавно судья Олдерсон, словно говоря об общеизвестном факте, заявил подсудимым-чартистам, что в Англии любой трудолюбивый и настойчивый человек может добиться политической власти. Разве в Англии не найдется трудолюбивых и настойчивых людей, на которых этот удобный афоризм бросит тень? Мы склонны думать, что лекторы-чартисты сумеют отыскать немало подобных примеров.

23 декабря 1848 г.

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» ЛИЧА*

Это не случайные крошки, упавшие с роскошного стола мистера Панча, нет, это мистер Лич с большим тщанием, изяществом и веселостью воспроизводит одну из лучших серий своих рисунков. Как бы ни было восхитительно «Молодое поколение» в картинной галерее мистера Панча *, увеличенное и изданное отдельно оно производит еще более приятное впечатление.

Говоря о мистере Личе, необходимо упомянуть, что он первым из английских карикатуристов (мы пользуемся этим словом за неимением лучшего) решил, что красота не противопоказана его искусству. В его рисунках почти всегда можно найти красивые лица и изящные фигуры, и мы искренне верим, что его пример помогает возвысить и сделать более изысканной эту популярную отрасль искусства, которая благодаря изобретению парового печатного станка и гравированию на дереве с каждым днем приобретает все большую популярность.

Если мы обратимся к собраниям картин Роулендсона * или Гилрея *, мы обнаружим, что, несмотря на бесспорный юмор, они утомляют и раздражают чрезмерным безобразием изображаемых лиц. Не говоря уж о том, что делать предмет сатиры обязательно безобразным — прием довольно убогий и достойный разве рассерженного ребенка или ревнивой женщины, он неизбежно приводит к

нежелательному эффекту. Ну, почему дочь фермера на старой карикатуре, завывающая у клавикордов (к вящему восторгу ее достойного родителя, угождать которому — ее долг), обязательно должна быть отвратительной толстухой? Насмешка над ее воспитанием — если это вообще предмет для сатиры — не утратила бы своего жала, если бы девушка была хорошенькой. И мистер Лич сделал бы ее хорошенькой. Дочки английских фермеров не так уж часто страдают неимоверной толщиной. Хорошеньких среди них не меньше, чем безобразных, и мы согласны с мистером Личем, что первые больше подходят для такого рода искусства. Красавиц не только приятнее хранить в нашей папке, но они и гораздо больше нас интересуют. Нас гораздо больше заботит, что им идет и что не идет. В новогоднем «Альманахе» Панча есть рисунок мистера Лича, изображающий группу очаровательнейших дам в невероятных одеяниях, которые зовутся «дамскими пальто». Прежде эти прелестные создания были бы изображены неуклюжими и безобразными елико возможно, и карикатура потеряла бы всякий смысл, так как публика посмеялась бы над нелепостью всей картинки и осталась бы совершенно равнодушной к тому, что носят подобные уроды и насколько смешными это их делает.

Но для того, чтобы изображать женскую красоту так, как ее изображает мистер Лич, художник должен чувствовать ее очень тонко и уметь передавать ее двумя-тремя чуть заметными, но уверенными штрихами своего карандаша. Этой способностью мистер Лич обладает в замечательной степени.

Вот почему мы негодуем, когда безжалостный и враждебный свет глумится над теми из «Молодого поколения», кто слишком рано влюбился. Он совершенно прав, этот мальчик, который, преклонив колени на сиденье стула, просит у своей хорошенькой кузины локон, чтобы взять его с собой в школу, когда кончатся каникулы. Этот фартучек может свести с ума, а в ее кудрях таится разорванный на папильотки Вергилий без переплета. Можно усомниться в бескорыстии другого юного джентльмена, созерцающего очаровательницу у фортепьяно,— усомниться из-за его прозаического упоминания о «монете» (хотя даже оно могло быть порождено смиренным сознанием того, что ему

еще не по карману обзаводиться собственным домом), но то, что он «чертовски склонен натянуть нос этому молодцу», кажется нам наиестественнейшим чувством. Юный джентльмен с растрепанной шевелюрой и стиснутыми руками, который влюблен в неземную красавицу с букетом и не может быть счастлив без нее, внушает нам грустное сочувствие. Да и кто бы мог быть счастлив без нее?

Эти юнцы — или молодое поколение — изображаются с той же меткостью и столь же мило, как и взрослые женщины. Томный малыш, который «не танцевал с тех пор, как был совсем маленьким», настоящее совершенство, а сгорающая от нетерпения девчушка (партнером которой он отказывается быть, хотя ее к нему подводит сама великолепная хозяйка дома), уже вставшая в первую позицию, страстно мечтающая о кадрили, робко поглядывающая на него с надеждой и сомнением, совершенно восхитительна. Умствующий юнец, навлекающий на себя грозный гнев домашней Нормы * своими взглядами на женщину как на низшее животное, будет, насколько нам известно, читать на рождество лекцию о взаимосвязи Конкретности и Воли. В прошлый вторник мы узнали ноги философа, который находит, что Шекспира хвалят не по заслугам,— они, весело болтаясь, свисали с империала омнибуса. Хмурый юнец, который твердо знает одно: «Если папаше не нравится, как я живу, то пусть он наймет мне холостую квартирку и назначит еженедельную сумму на расходы»,— не принадлежит к числу наших знакомых; но мы не сомневаемся, что теперь он уже обитает на Вандименовой Земле * или в самое ближайшее время попадет в Ньюгет. Нам очень не хотелось бы обладать кое-каким наличным капитальцем в сейфе и приходиться этому юнцу холостым дядюшкой. И уж во всяком случае, мы при подобных обстоятельствах ни за что не поселились бы в зловещем пригороде Кемберуэл, памятуя о деле Барнуэла *.

В каждом своем рисунке мистер Лич добивается именно того, чего хочет. Выражение лиц, хотя и создаваемое с помощью простейших средств, всегда оказывается наиболее естественным, и ему веришь с первого взгляда. В его остроумии нет злости, и оно всегда достойно истинного джентльмена. Он обладает чувством ответственности и

такта; он с наслаждением изображает приятное и даже вещам самим по себе неприятным умеет придать обаяние; он многообразен, неистощим и поучителен. В тон и исполнение своих рисунков он внес неизвестную дотоле элегантность, но отнюдь не в ущерб истине. Он — украшение популярного искусства английской карикатуры и, уже много для него сделав, несомненно, сделает еще больше. Мы всегда питали к нему самые теплые чувства и хотим пожелать ему всего лучшего в будущем.

Лет десять назад кто-то из авторов «Куортерли Ревью», говоря о мистере Джордже Крукшенке, подчеркнул всю нелепость того, что для подобного художника Королевская академия закрыта лишь потому, что его произведения создаются не с помощью некоторых раз навсегда установленных материалов и не занимают ежегодно определенного пространства на ее стенах. Неужели в ее списках не найдется таких членов, чьи произведения, выполненные маслом с помощью кисти, будут прочно забыты, когда карандашные рисунки мистера Крукшенка и мистера Лича будут по-прежнему радовать обитателей половины домов королевства?

30 декабря 1848 г.

РАЙ В ТУТИНГЕ

Как только стало известно, что в Тутинге, на ферме для детей бедняков, принадлежащей мистеру Друэ, началась губительная эпидемия, раздался обычный в таких случаях хвалебный гром труб (восхитительное описание этого заведения, принадлежащее перу Сиднея Смита *, несомненно, еще свежо в памяти многих наших читателей). Из всех подобных ферм мира тутинговская была самой восхитительной. Из всех содержателей подобных ферм мистер Друэ был самым бескорыстным, ревностным и безупречным. Из всех чудес, ведомых миру, самым невероятным было, пожалуй, появление подобной страшной болезни и быстрое ее распространение в столь образцово устроенном заведении. Эпидемия разразилась совершенно неожиданно. Ничто ее не предвещало. Опекаемые дети спали сладким сном покоя и довольства; опекающий их мистер Друэ спал сладким сном человека с чистой совестью, но ни на минуту не смыкал одного глаза, дабы не спускать его с источаемых им благодеяний и счастливых деток, порученных его отеческим заботам; и вдруг губительный мор обрушился на них, и на тутинговском погосте уже не хватало места для детских гробиков, которые каждый день вереницей тянулись из ворот этого элизиума.

Ученый следственный судья графства Сэррей не счел нужным произвести расследование смерти этих детей, бу-

дучи столь же глубоко убежден в том, что ферма мистера Друэ — наилучшая из всех возможных ферм, как глубоко был убежден наивный Кандид *, что великолепный замок великолепного барона Тундертентронка — наилучший из всех замков. Полагая, что это высокоученое должностное лицо кому-то подчинено и, вероятно, получит должное поощрение за свою мудрость, мы перейдем к деятельности следственного судьи совсем иного толка — к тому, что обнаружил следственный судья мистер Уэкли и его помощник мистер Милс. Если бы двое-трое несчастных детишек, увезенных из Тутинга, не умерли на территории, подведомственной мистеру Уэкли, сейчас, несомненно, уже возник бы комитет для преподнесения мистеру Друэ какого-нибудь великолепного сувенира в знак общего уважения и сочувствия.

Мистер Уэкли, однако, будучи Фомой Неверным, проводит расследование и даже изъявляет желание как можно точнее выяснить причины этих ужасов, исходя из предположения, что у таких страшных последствий должны же быть какие-то не менее страшные причины. Вспомнив о существовании общественного института, именуемого «Министерством здравоохранения», мистер Уэкли вызывает к себе доктора Грейнджера, инспектора этого учреждения, который обследовал элизиум мистера Друэ и представил об этом отчет.

И тут выясняется,— ведь правда так капризна! — что мистер Друэ не такой уж золотой фермер, каким его считали. Оказывается, что это золото не так уж чисто. «Чрезвычайная духота, спертость воздуха и смрад» в пресловутом земном раю, который он возглавляет, «превосходят гнусностью все, что инспектору когда-либо доводилось встречать в больничных ли палатах или в иных помещениях, где находились больные». У мистера Друэ есть скверная привычка укладывать четырех холерных пациентов в одну постель. Он имеет слабость предоставлять больным самим заботиться о себе в обстановке настолько отвратительной, бесчеловечной и варварской, что она всячески усугубляет ужас их положения и увеличивает опасность заражения. Он так невежествен или так преступно легкомыслен, что и не думает принимать ни малейших мер предосторожности, не заботится запастись са-

мыми простыми лекарствами, которые рекомендовало министерство здравоохранения в своем официальном заявлении, опубликованном в «Газете» и разосланном по всей стране. И нельзя сказать, что душевная чистота мистера Друэ в одно мгновение опровергла опыт врачей, наблюдавших холеру во всех частях света, ибо, к несчастью, он еще за две недели получил предупреждение о надвигающейся беде — предупреждение, на которое не обратил ни малейшего внимания. Ему было указано, что он может брать на свою ферму только определенное число несчастных детей, но он превысил это число по собственному усмотрению и для собственной выгоды. Его заведение переполнено. А оно ни в одном отношении не подходит для содержания такого количества детей. Детский рацион так непитателен и скуден, что его питомцы тайком перелезают через изгородь и выбирают съедобные очистки из свиного пойла. Днем они одеты в лохмотья, ночью укрываются рваной ветошью. Живут они в холодных, сырых и грязных комнатушках с гнилыми полами и стенами. Короче говоря, век чудес давно прошел, и из всех подходящих мест, где могла бы или, вернее сказать, где должна была бы вспыхнуть опустошительная холера, образцовая ферма мистера Друэ — самое подходящее.

И как будто всех этих человеческих слабостей еще недостаточно, мистер Друэ обладает скверной привычкой тянуть и ничего не предпринимать, даже когда ему прямо указывают на то, что́ нужно сделать для спасения жизни этих детей. Кроме того, он в присутствии инспектора запугивает своих служащих, когда они выражают намерение сообщить какую-нибудь неприятную истину. У него есть милейший братец — весьма симпатичный чудак,— который не только принимает деятельное участие во всех беззакониях, творимых на ферме, но которого «лишь с трудом удается удержать», чтобы он не отправился в Кенсингтон «как следует вздуть попечителей» из тамошнего союза за их намерение забрать детей! Мальчиков, окруженных отеческими заботами мистера Друэ, постоянно награждают подзатыльниками, избивают, подвергают истязаниям. Если они жалуются, их сажают на голодную диету. Они «поразительно худы и измождены». Система мистера Друэ восхитительна, но для его питомцев она влечет за собой

такие пустячные последствия, как «истощение, слабоумие, лишаи и т. д.», а такой чесотки свидетелю-врачу не приходилось видеть за всю его тридцатилетнюю практику. Пинок, который был бы нипочем для здорового ребенка, после нескольких месяцев пребывания на ферме мистера Друэ причиняет тяжелое увечье. Мальчики, которые до знакомства с мистером Друэ отличались сообразительностью (как показывает под присягой один из попечителей), вскоре лишаются ее и превращаются в идиотов. Врач больницы св. Панкраса пять месяцев тому назад писал в своем отчете о почтенном мистере Друэ, «что весьма большая строгость, чтобы не сказать большего (а почему бы и не сказать большего, доктор, если обстоятельства этого требуют?), проявлялась лицами, как облеченными на то властью, так и ею не облеченными», имея в виду, мы полагаем, милейшего чудака-братца. Короче говоря, все, что делает мистер Друэ,— или позволяет делать, или подстрекает делать,— все это бессердечно, жестоко и гнусно. Присяжным следственного суда представлены неопровержимые доказательства вышесказанного, и мы поэтому считаем себя вправе делать выводы.

Но виновен не он один, и хотя это ни на йоту не уменьшает вины жадного фермера, другие виноваты немногим меньше. Приходские власти, которые посылали детей в подобное место и, зная, что оно собой представляет, оставляли их там, не сделав ни малейшей попытки коренным образом изменить условия их жизни, виновны в высшей степени. Не менее виновен инспектор комиссии помощи бедным, обследовавший это место и не потребовавший немедленного его закрытия. Комиссия помощи бедным, если она располагала властью навести там порядок (однако это вопрос спорный), виновна так же, как и остальные.

Поистине замечательно, как те, кто бездействовал, когда следовало предпринять что-нибудь решительное, став тем самым в известной степени participes criminis[1], даже теперь стараются елико возможно замять случившееся. Вышеупомянутый инспектор считает, что приказ комиссии помощи бедным, который запрещал бы попечительским советам посылать детей в подобные заведения,

---

[1] Соучастником в преступлении *(лат.)*.

был бы «чересчур жесткой мерой». Словно вопиющие случаи требуют мягких мер и между ними нет естественного соответствия! О да, он указал, что детей не следует укладывать в одну постель втроем, и мистер Друэ впоследствии сообщил ему, что укладывает их теперь по двое; в разгар эпидемии они спали вчетвером,— очевидно, в оздоровительных целях. Инспектор не сделал никаких замечаний относительно вентиляции. Он не опрашивал детей наедине о том, как с ними обращаются. Рацион он считает хорошим — при условии, что порции будут достаточными, так как пока их величина нигде не оговорена. По его мнению, соблюдая определенные предосторожности, в этом помещении можно было бы жить без вреда для здоровья,— при условии внесения некоторых необходимых и разумных изменений. Точно так же кто-нибудь мог бы изъявить согласие поселиться на верхушке Монумента * — при условии, что там для него воздвигнут прекрасно обставленные апартаменты и каждый день к обеду туда будет взбираться избранное общество!

На содержание этих детей мистер Друэ получал по четыре шиллинга шесть пенсов в неделю, и приходские власти, видимо, придают большое значение солидности подобной суммы и считают, что такая цифра многое искупает. Возможно, это действительно немалые деньги, принимая во внимание, что мистер Друэ имел право пользоваться трудом своих питомцев, но, на наш взгляд, все это к делу не относится. Если бы за каждого из них еженедельно платили даже по четырнадцать шиллингов шесть пенсов, все равно нельзя было бы найти оправдания тому, что детей полностью предоставляли нежным заботам мистера Друэ и он мог бесконтрольно извлекать из своей фермы наибольшую прибыль. Когда человек держит свою лошадь в прокатной конюшне, он, хотя и платит двадцать пять шиллингов в неделю, все же считает нужным проверять, получает ли она свой овес. Несчастью, вне всяких сомнений, весьма способствовала никуда не годная одежда. Что же говорит по этому поводу мистер Уильям Роберт Джеймс, поверенный и клерк попечительского совета Холборнского прихода? Мистер Друэ «в личной беседе (!) согласился, что четыре шиллинга шесть пенсов в неделю включают и одежду. Какую именно — оговорено не было».

Удивительно ли, что фланелевые юбки, которые в самые холодные недели этой зимы носили несчастные девочки, «так и светились», как было публично заявлено в другом приходе?

Тот же самый мистер Джеймс представил протоколы посещения тутинговского рая депутацией попечителей. Например:

«Касательно жалобы Ханны Слейт на скудость пищи мы находим ее необоснованной. Так как Элизабет Мейл жаловалась, что при прошлом ее посещении ее дети были очень грязны, мы обратили на них особое внимание и просим отметить, что у нее не было никаких оснований жаловаться».

Даже глупцу ясно, что поскольку дети Элизабет Мейл на этот раз грязны не были, значит, они никоим образом не могли быть грязны никогда раньше.

Однако оказывается, что этот самый Джеймс, поверенный и клерк попечительского совета Холборнского прихода, придумал ценнейшую систему выяснения правды, а именно: он в присутствии мистера Друэ спрашивал мальчиков, есть ли у них какие-нибудь жалобы, а когда они отвечали «есть», советовал немедленно их выпороть. Мы узнаем это из следующего оригинального протокола одного из этих официальных визитов:

«Имеем честь довести до сведения совета, что в четверг 9 мая мы посетили заведение мистера Друэ, чтобы обследовать, как содержатся дети нашего прихода. Мы присутствовали на обеде, и, по нашему мнению, мясо было хорошим, но картофель — скверным. Мы посетили классные комнаты, спальни и мастерские. Всюду были чистота и уют, но, по нашему мнению, в новых спальнях для младших детей на нижнем этаже заметен нездоровый запах. Девочки нашего прихода выглядели очень хорошо. У мальчиков был болезненный вид, и поэтому мы спросили их, есть ли у них какие-нибудь жалобы на пищу или на что-нибудь другое. Примерно сорок из них подняли руки, чтобы выразить недовольство, после чего мистер Друэ повел себя несдержанно. Он назвал мальчиков лгунами, сказал про некоторых из тех, кто поднял руки, что они — позор всей школы, и добавил, что они вполне заслуживают того, чтобы он последовал совету мистера

Джеймса и задал им хорошую порку. (Смех.) Тогда мы начали опрашивать мальчиков по отдельности, и некоторые из них пожаловались, что получают мало хлеба к завтраку. Во время этого опроса поведение мистера Друэ стало еще более несдержанным. Он сказал, что мы не должны задавать подобных вопросов, что мы могли бы удовлетвориться его репутацией и обойтись без таких расследований, и что мы не имеем права вести такой опрос, и что он был бы рад вовсе избавиться от этих детей. Чтобы избежать дальнейших споров, мы отбыли, не достигнув полностью цели нашего посещения».

Если мистер Друэ был искренен, говоря, что он был бы рад избавиться от этих детей, то теперь он должен испытывать глубокое удовлетворение — ведь ему удалось навеки избавиться от стольких из них! А как чудесно взаимное удовольствие, извлекаемое из этих визитов. Послушаем мистера Уинча, одного из попечителей Холборнского прихода, который был в числе посетивших тутингский рай девятого мая:

«Я был с мистером Мейсом и мистером Реббеком. Дети обедали. Все они стояли. Мне было объяснено, что за едой они никогда не сидят. Я попробовал мясо и разрезал около ста картофелин за разными столами, и ни одна из них не годилась для еды. Они были черные и гнилые. Я сказал мистеру Друэ, что картофель очень плох. Он ответил, что платит по семь фунтов за тонну. Других овощей дети не получали. Я сказал мистеру Друэ, что им следует давать другую пищу. Он ничего не ответил. Я также сказал мистеру Друэ, что в новых комнатах очень нездоровый запах. Мистер Мейс выразил сожаление, что, строя эти помещения, он не сделал потолки выше, на что мистер Друэ ответил — если всех слушать, хлопот не оберешься. Мы посетили несколько спален, которые были очень чисты. Девочки выглядели хорошо, но у мальчиков, собранных в классе, вид был болезненный и нездоровый. Там присутствовали также мистер Друэ, его брат и учитель. Мистер Реббек сказал мальчикам: «Если у вас есть жалобы на то, что вас плохо кормят, или на что-нибудь еще, поднимите руки». И человек тридцать — сорок подняли руки. Мистер Друэ повел себя несдержанно и сказал, что мы обходимся с ним подло; он сказал, что мальчики, ко-

торые подняли руки, почти все лгуны и отъявленные негодяи. Он сказал, что мы ведем себя по отношению к нему нечестно, что речь идет о его репутации и что если мы чем-нибудь недовольны, то должны действовать иначе. Один из мальчиков в ответ на мой вопрос сказал, что им дают слишком мало хлеба к завтраку и к ужину, и я убедился, что это правда, сравнив их рацион с рационом работного дома. Ввиду этих недоразумений мы покинули заведение мистера Друэ, не расписавшись в книге посетителей. Я не вносил в попечительский совет никакого предложения забрать оттуда детей. Я снова посетил заведение мистера Друэ 30 мая.

Картофель на этот раз оказался превосходного качества. Я зашел в кладовую и был очень удивлен, обнаружив, что хлеб не развешивается. У нас в приходе мы его развешиваем, так как убедились, что это — единственный способ избежать недовольства. Караваи в заведении мистера Друэ разрезались на шестнадцать кусков без взвешивания. В столовой я не видел солонок, но у некоторых мальчиков была соль в мешочках, и они выменивали ее на картофель. Я не спрашивал детей, были ли они наказаны после того, что произошло при моем предыдущем посещении. 30-го мы пробыли в заведении часа полтора-два. Затем мы выразили свое удовлетворение тем, что увидели. Мы не выясняли, что произошло после нашего предыдущего посещения. Я не предлагал попечительскому совету никаких улучшений питания. У нас не было средств проверить, полностью ли дети получают продукты, указанные в раскладке».

Но мы выразили удовлетворение тем, что увидели. Ну как же! Наше единодушие было восхитительно. Никто не жаловался. Еще в первый раз было сделано все, чтобы пробудить в мальчиках охоту жаловаться. Они видели, как хмурился тогда мистер Друэ. Они слышали, как он кричал о лгунах и отъявленных негодяях. Они узнали, что речь идет о его драгоценной репутации — куда более драгоценной, чем жизнь любого числа бедных детей. В промежутке между нашими посещениями они, несомненно, получили от него немало отеческих советов и наставлений. У них были все основания — и моральные и физические — держаться бодро, мужественно и откровенно. И все же ни один маль-

чик не пожаловался. Мы вернулись домой, в Холборнский приход, ликуя и радуясь. Наш клерк весело смаковал шутку насчет порки. Все было прекрасно. Так как же можно было ждать, что в тутингском раю мистера Друэ возьмет да и начнется холера?

Если бы нас предоставили достохвальному самоуправлению, на этот вопрос до сих пор не было бы ответа, а репутация мистера Друэ сияла бы полным блеском. Но Совет здравоохранения — институт, с каждым днем по-новому доказывающий свою важность и полезность, — разрешил все недоумения. А именно: эпидемия холеры или напоминающего ее небывало злокачественного тифа вспыхнула в заведении мистера Друэ потому, что оно отвратительно содержалось, возмутительно инспектировалось, нечестно защищалось и было позором для христианской общины и темным пятном для цивилизованной страны.

20 января 1849 г.

ФЕРМА В ТУТИНГЕ

В прошлый вторник присяжные следственного суда после долгого разбирательства, проведенного мистером Уэкли, вынесли вердикт по делу Фермера из Тутинга — «виновен в непредумышленном убийстве», а также выразили сожаление по поводу несовершенства Закона о бедных * и надежду на то, что заведения, подобные заведению в Тутинге, скоро прекратят свое существование.

В ходе этого расследования не было обнаружено никаких фактов, которые могли бы смягчить впечатление от свидетельских показаний, итог которым мы подвели на прошлой неделе. Новые показания только лишний раз подтвердили виновность этого человека, теперь признанную официально. Напротив, физическое истощение детей, оставшихся в живых, подтвердилось с еще более страшной убедительностью. Защита сделала все, что было в силах хорошего адвоката,— но ничего сделать было нельзя. Некий образованный свидетель защиты сделал все что мог, не поскупившись на постыдные увертки и уклончивые ответы, но и он ничего не мог поделать с фактами.

Как кажется, некий попечительский совет счел оскорбительным для себя то, что писалось в связи с этим делом, и собирается выступить в свою защиту. Любой отдельный человек или учреждение непременно чувствуют себя оскорбленными, если газеты отзовутся о них неодобри-

тельно. Этому существует множество примеров. Мистер Тертел чрезвычайно негодовал на подобные нападки, и мистер Гринекр * тоже. Но, признавая, что существует значительная разница между виной тех, кто отправил сотни детей в это страшное место и бездумно удовлетворялся редким и поверхностным его инспектированием, и виной его владельца, который видел его в любое время, в любой час, видел все самое худшее, а не только казовую сторону, и продолжал на собственный страх и риск извлекать выгоду из своего жестокого и опасного занятия, мы все же возьмем на себя смелость повторить, что для причастного к этому попечительского совета нельзя найти никаких оправданий. Попросту говоря, попечители принимали на веру то, в чем должны были убедиться путем тщательного обследования. Существует некое заведение, куда принимают детей бедняков. Один попечительский совет посылает туда своих подопечных, другие попечительские советы, как овцы, следуют его примеру. Предположим, что у их прихода не нашлось помещения для этих детей. В работном доме прихода св. Панкраса, например, для них, возможно, не было ничего подходящего. Однако это еще не причина для того, чтобы отправлять их в Тутинг, и уж никак не оправдание того, что они все-таки были туда посланы. С помощью той же логики можно было бы оправдать их отправку на остров Норфолк * или на берега Нигера.

Но мы не хотим влиять на приговор уголовного суда, который должен вскоре заняться этим делом. Суд будет руководствоваться законом и свидетельскими показаниями, и нет ни малейшей опасности, что простая гуманность может вызвать пристрастное отношение к подсудимому. В наших английских судах этого можно не опасаться. Мы только хотим в немногих словах объяснить, почему мы считаем весьма желательным, чтобы кара за это деяние и за все, с ним связанное, была бы строго заслуженной, и почему в этом случае особенно недопустимо то смутное английское стремление по возможности все сгладить и замять, которое порой можно заметить в самых важных вопросах.

По всей Англии мы в течение последних месяцев судили и с надлежащей суровостью наказывали крамольни-

ков, которые прилагали все усилия к тому, чтобы толкнуть недовольных на беспорядки и нарушение мира в стране. В течение этого года мы считали наших специальных констеблей десятками тысяч, а наши верноподданнические адреса — сотнями. Все эти проявления лояльности были вызваны необходимостью, но часто — печальной необходимостью, и когда время утишило естественное негодование, оказалось, что радоваться и торжествовать не из-за чего.

Вожаки чартистов, ныне отбывающие различные наказания в различных тюрьмах, находили основное большинство своих слушателей среди недовольных бедняков. Виднейшие из чартистских вожаков не могли сослаться в свое оправдание на нужду, но их лживые призывы были обращены к бесчисленным труженикам, страдающим от социальных несправедливостей, которых невозможно избежать, и от сложного положения в отечественной торговле, которое им трудно объяснить. Нет никаких сомнений, что этот большой класс людей заражен чартизмом, что всюду, где он особенно многочислен, недовольство также особенно сильно. В стране, пожалуй, не найдется бедняка-труженика, который через год, через месяц, через неделю не мог бы оказаться в положении отца, чьи дети были отосланы в Тутинг, и еще труднее отыскать бедняка, который не думал бы: «А завтра это может случиться с моим ребенком».

И вот сейчас представляется редкостный случай доказать этим людям, что государство непритворно заботится о них и искренне желает исправить реальное и несомненное зло, от которого они страдают. Если система «ферм для детей бедняков» не может устранить возможность того, что еще одну тутинговскую ферму опустошат страшные руки Голода, Болезни и Смерти, эту систему надо немедленно уничтожить. Если Закон о бедных в своем нынешнем виде бессилен предотвратить такие чудовищные несчастья, он должен быть изменен. Если на беду случилось так, что без всякого злодейского умысла с чьей бы то ни было стороны (а кто может в этом сомневаться!) дети бедняков безвременно сошли в могилу вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, то пусть будет проявлена твердая решимость никогда более не допускать ничего подобного. И это не только нелицеприятная справедливость, это

еще и умная, ясная политика. Она поможет рассеять широко распространившиеся и искусственно разжигаемые подозрения, предубеждения и недовольство. Она поможет завоевать доверие бедняка в самом важном для него — в том, что касается его домашнего очага.

Но упустить этот случай, занявшись юридическими тонкостями и ошеломляя жадно слушающие уши казенной болтовней об инспекторах, о попечителях, о советах, об ответственности, об отсутствии ответственности, о разделенной ответственности, о правах, о статьях, о параграфах, о пунктах до тех пор, пока спасительное средство не будет размолото жерновами слов,— значило бы бесконечно ухудшить положение. На фабриках Ланкашира и заводах Бирмингема найдутся сотни голов, уже достаточно отуманенных кое-чем более опасным, чем стук ткацких станков и грохот молотов. С этими оглушенными людьми надо говорить внятно. Тогда они услышат и поймут услышанное правильно. Пусть взаимные расчеты между правителями и управляемыми ведутся ясно и разборчиво, чтобы их могли прочесть все: тогда управляемые скоро научатся читать их самостоятельно и будут обходиться без чтецов, оплачиваемых чартистскими клубами.

27 января 1849 г.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ДРУЭ

Особенность этого приговора состоит в том, что хотя суд и не нашел статьи закона, определяющей меру наказания, он, конечно, не мог снять с подсудимого тяготевшего над ним обвинения. Как ни плохо велось обвинение в этом процессе, оно все же подтвердило виновность Друэ. Подтвердило, что дети страдали от холода, жажды и голода, что они были лишены самой необходимой одежды, что они жили в невероятной грязи и что колония, где не было никакого ухода за ними, стала рассадником всевозможных болезней. Подтвердило коросту на голове и трахому, чесотку (к вящему удовольствию судьи Платта) и болезненное истощение, золотуху и рахит. Все это было неопровержимо доказано на суде. Мы предоставляем тысячу кубических футов каждому заключенному в наших тюрьмах, но на каждого ребенка-узника в детской тюрьме Друэ не приходилось и десятой доли этой нормы. Дети чахли там от недостатка воздуха не в меньшей степени, чем от недостатка пищи. В колонии вспыхнула эпидемия страшной болезни и унесла сто пятьдесят детских жизней. Следствием было установлено, что когда в заведении Друэ разразилась холера, там были все условия для того, чтобы обострить малейшее заболевание и вызвать распространение любой эпидемии. Однако суду, видите ли, не было предъявлено достаточно веских доказательств того, что

эпидемия не могла бы унести столько жертв и без этих помощников г-на Друэ. Поэтому г-н судья Платт счел уместным заявить в своем резюме присяжным заседателям, что обвинение нельзя признать доказанным.

Во время судебного разбирательства возник спор вокруг того пункта обвинения, согласно которому Друэ вменялась в вину преступная небрежность, выразившаяся в невыполнении обязанностей в отношении одного из детей. Если бы было доказано, что организм этого ребенка был так подорван плохими условиями на ферме, что он не мог перенести тяжелой болезни, то Друэ мог бы быть привлечен к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Но судья отверг это обвинение, как не применимое в данном случае, и настоял на оправдании подсудимого, мотивируя свое решение невозможностью доказать, что упомянутый ребенок когда бы то ни было отличался достаточно крепким здоровьем, чтобы вынести такую болезнь даже в лучших условиях, чем на ферме Друэ.

Другими словами, зло уже приняло такие размеры, что всякое лекарство оказалось бессильным. Ибо кто бы мог в любой момент выбрать из этой массы детей одного и сказать, здоров этот ребенок или болен? Заместительница экономки работного дома, из которого малыш Эндрюс был направлен на ферму в Тутинг и откуда он вернулся уже умирающим, могла лишь подтвердить, что когда в одну и ту же ночь все сто пятьдесят шесть малышей вернулись к ней обратно, они были далеко не так здоровы и крепки, как тогда, когда их отправляли к м-ру Друэ. «Да, это так, я уверена в этом,— сказала она на суде.— Они были совсем хворые, и ножки у них болели, а у многих были язвы на теле». Некоторые из них выжили, другие умерли, в том числе и маленький Эндрюс. Вот и вся печальная история. Ни при отправлении детей в колонию, ни по возвращении их оттуда, их не осматривал врач. Показания почти половины свидетелей о чудовищных условиях на «ферме» защите удалось отвести, так как далеко не всегда можно было выделить крошечную фигурку Эндрюса из толпы детей, изнемогавших под общим бременем и терпящих ужасы, на которые они все были обречены.

Почтенный господин судья поспешил раскрыть свои карты. Обвинение на процессе было представлено гораздо

слабее, чем защита, и он воспользовался первой удобной возможностью, чтобы стать на сторону более сильного. Свидетелей, нуждавшихся в ободрении, он старался запугать, свидетелей, которые могли обойтись и без его помощи, он высмеивал и оскорблял. Врачи вообще никогда не отличались ясностью своих заключений по части медицинской экспертизы, а вопросы судьи, как например, связаны ли между собой голод и чесотка или может ли чесотка быть причиной холеры, отнюдь не помогали врачам. Конечно, игривые замечания судьи вызывали смех среди публики. Некоторые даже бурно аплодировали, что вызывало ответную реакцию подсудимого, который выражал свое одобрение, хлопая рукой по барьеру.

И все же нельзя читать отчет о процессе без боли в сердце. Даже шуточки судьи Платта не могут ослабить гнетущего впечатления, которое производят невыразимо тяжелые обстоятельства этого дела. Во время допроса свидетелей был один эпизод, столь глубоко волнующий, что едва ли кто из великих мастеров, обладавших великим талантом трогать человеческие сердца, мог бы его превзойти. Но и этот эпизод нисколько не тронул ученого судью, что вполне естественно, ибо г-н судья ровным счетом ничего не понял в происходившем.

Свидетельница Мэри Гаррис *(в ответ на вопрос прокурора г-на Кларксона)*. Да, я — няня из работного дома Холборнского прихода. Да, это я побывала в Королевской больнице для бедных на Грейт-Иннс-роуд. Помню, как мальчика Эндрюса привели вместе с другими детьми. Он был совсем больной, и я дала ему хлеба и молока.

Г-н Кларксон. Он съел этот хлеб?

Свидетельница. О нет, он только поднял голову и сказал: «Ах, нянюшка, какой большой кусок!»

Судья Платт. Я полагаю, кусок был слишком большим для такого малыша?

Свидетельница. Он уже был не в состоянии есть.

«Ах, нянюшка, какой большой кусок!» — воскликнул бедный ребенок с горечью в сердце, сознавая, что то, о чем он так долго мечтал, пришло слишком поздно. Да, господин судья, вы совершенно правы, «он был слишком большим для такого малыша». На мгновенье малыш поднял голову, но тут же опустил ее. Он был вне себя от радости и удивления, что этот огромный чудесный кусок хлеба нако-

нец-то достался ему, хотя он уже и был не в силах есть. Один английский поэт в те времена, когда поэзия и нищета были неразлучными спутниками, тоже получил кусок хлеба почти в таких же условиях, и этот кусок тоже оказался «слишком большим для него», и, пытаясь съесть его, он умер. * Разница столь незначительна, что даже не заслуживает упоминания. Но нищий ребенок даже был не в состоянии сделать то усилие, от которого погиб нищий поэт.

Покидая скамью подсудимых, Друэ, как писали газеты, «был растроган до слез». То ли из благодарности за то, что он так легко отделался, то ли от огорчения, что он потерял столь выгодное дельце. Ибо не подлежит сомнению, что этот процесс положил конец колониям-фермам для детей бедняков. И каждый согласится с тем, что коммерции, извлекающей выгоду из эксплуатации и умышленного истязания самых невинных, несчастных и беззащитных существ на земле, должен быть положен конец и что она никогда, ни под каким видом, не может и не должна возобновиться.

21 апреля 1849 г.

ПУБЛИЧНЫЕ КАЗНИ

I

Милостивый государь,

Я присутствовал при казни *, которая состоялась этим утром в Проезде Конного рынка. Я пошел туда со специальной целью: мне хотелось видеть толпу, которая собралась смотреть казнь. Свои наблюдения я вел с небольшими перерывами всю ночь, а затем уже и без перерывов, с восхода солнца и до самого конца зрелища.

Я обращаюсь к Вам не для того, чтобы обсуждать отвлеченно допустимость смертной казни как таковой и разбирать доводы, приводимые ее сторонниками и противниками. Я просто хотел бы обратить на общее благо то страшное испытание, которому я себя подверг. Поэтому я решил прибегнуть к газете, как к самому удобному средству, и напомнить публике слова лорда Грея *, сказанные им на последней сессии парламента. Лорд Грей говорил, что правительство может оказаться вынужденным поддержать меру, предусматривающую исполнение смертного приговора в торжественной тишине тюремных стен (с соответственными гарантиями, обеспечивающими неукоснительное приведение приговора в исполнение). Я хотел был призвать лорда Грея к тому, чтобы он наконец

ввел эту перемену в нашем законодательстве, ибо эта святая его обязанность перед обществом и откладывать это дело долее он не вправе.

Я думаю, никто не в состоянии представить себе всю меру безнравственности и легкомыслия огромной толпы, собравшейся, чтобы увидеть сегодняшнюю казнь, и я думаю, что такой толпы не сыскать ни в одной языческой стране. И виселица, и самые преступления, которые привели к ней этих отъявленных злодеев, померкли в моем сознании перед зверским видом, отвратительным поведением и непристойным языком собравшихся. В полночь, когда я только явился туда, меня поразили крики и визги, раздававшиеся из группы, занявшей самые удобные места. У меня похолодело в груди: голоса были молодые, звонкие, и я понял, что они принадлежат подросткам — мальчикам и девочкам. Они смеялись и улюлюкали, распевали хором известные негритянские песенки, переиначивая их по-своему и подставляя всюду «миссис Маннинг» вместо «Сусанны». Когда начало светать, к ним присоединились воры, проститутки самого низкого пошиба, бродяги и головорезы всех разборов, и принялись безобразничать на разные лады. Драки, свист, выходки в духе Панча, грубые шутки, бурные взрывы восторга по поводу задравшегося платья у какой-нибудь женщины, упавшей в обморок, которую полицейские выволакивали из толпы,— все это придавало зрелищу дополнительную остроту. Когда вдруг появилось яркое солнце, а оно в это утро было очень ярким, оно коснулось своими золотыми лучами тысяч поднятых кверху лиц, столь невыразимо омерзительных в своем бесчувственном веселье, что человеку в самую пору было бы устыдиться своего обличия, отпрянуть от самого себя и решить, что он создан по образу и подобию сатаны. Когда двое несчастных виновников этого ужасного сборища взвились в воздух, толпа не проявила ни малейшего чувства, ни капли жалости, не задумалась ни на миг над тем, что две бессмертные души отправились держать ответ перед своим творцом; непристойности не прекращались ни на минуту. Можно было подумать, что в мире никогда не звучало имя Иисуса Христа и что люди не слыхали о религии, что смерть человеческая и гибель животного для них — одно и то же.

Я привык соприкасаться с самыми страшными источниками скверны и коррупции, охватившей наше общество, и мало что в лондонском быте способно меня поразить. И я со всей торжественностью утверждаю, что человеческая фантазия не в состоянии придумать ничего, что бы в такой же короткий отрезок времени могло причинить столько зла, сколько причиняет одна публичная казнь. Я в отчаянии, я потрясен гнусностью, какую она из себя представляет! Я не верю, чтобы общество, относящееся терпимо к столь ужасным, столь безнравственным сценам, как та, что разыгралась сегодня утром возле тюрьмы, в Проезде Конного рынка прямо под окнами у добрых граждан, может процветать. И я хотел бы спросить Ваших читателей, которые привыкли обращаться к богу своему со смиренной мольбой об избавлении их страны от моральных зол, не пора ли искоренить и это зло, о котором я Вам написал?

Остаюсь, милостивый государь, Ваш преданный слуга

Чарльз Диккенс.

Девоншир Террас, вторник, ноября 13.

II

Милостивый государь,

Когда я писал Вам в прошлый вторник, я не думал, что мне придется вновь Вас беспокоить. Но так как один из Ваших корреспондентов выразил законное желание, чтобы я высказал свою точку зрения с большей отчетливостью, и так как я надеюсь, что не поврежу делу, за которое ратую, высказавшись несколько пространнее, я был бы рад, если бы Вы предоставили мне такую возможность.

Мои утверждения относительно деморализующего характера публичных казней сводятся к следующему:

Во-первых, казни эти главным образом привлекают в качестве зрителей наиболее низменную, развращенную и отпетую часть человечества, между тем как чувства, которые подобные зрелища пробуждают у этих людей, никак нельзя считать благотворными.

Во-вторых, зрелище насильственной смерти не может быть полезным ни для какого разряда общества; тех же, кого оно обычно привлекает, оно должно по самой сути своей заставить пасть еще ниже, совсем закоснеть в черствости и бесчеловечности.

Что касается первого положения, то я вынужден снова сослаться на свой собственный опыт, приобретенный мной во вторник утром; на все известные свидетельства, подтверждающие, что казни являются излюбленным зрелищем преступников всех разборов; на опыт судей и полицейских, изучавших состав зрителей; на полицейские рапорты, которые являются неминуемым следствием этих сборищ; на неизменные газетные отчеты; на несомненный факт, что ни один порядочный отец не пустит своего сына глядеть на это зрелище, ни один порядочный хозяин не захочет, чтобы его подмастерья и слуги туда ходили; на несомненный факт, что общество в целом, если не считать подонков, отворачивается от этих зрелищ, видя в них омерзительное зверство. (То обстоятельство, что во время описанной мной казни было совершено сравнительно мало краж, объясняется отнюдь не леностью воров, число которых министр внутренних дел может с легкостью узнать в Скотленд-Ярде, а расторопностью полицейских, проявивших бдительность свыше всяких похвал.)

Что до второго утверждения (отмечу мимоходом ожесточающее влияние, которое общение даже с естественной смертью оказывает на грубые души), сошлюсь опять на то, что мне довелось наблюдать лично. Для меня не могло бы быть большего утешения и ничто так не смягчило бы невыразимого ужаса этой сцены, как возможность поверить, что хоть какая-то часть огромной толпы, несколько песчинок в необозримой нравственной пустыне, меня окружавшей, испытала чувство страха, раскаяния, жалости или отвращения при виде того, что происходит на эшафоте. Но, глядя на толпу, нельзя было тешиться такой надеждой. Я внимательно и с большим уважением отнесся к выдвинутой Вами мысли, будто толпа своим нарочито буйным поведением пыталась заглушить нравственные муки, которые она якобы испытывала, и все же я должен сказать, что такая мысль не пришла бы Вам в голову,— я в этом убежден,— если бы Вы стояли там, где стоял я, видели и

слышали бы то, что видел и слышал я. Всякое душевное состояние проявляется определенным образом. То состояние, о котором говорите Вы, также имеет свои признаки. Здесь их не было и в помине. Веселье не было истерическим, крики и драки не были следствием нервного напряжения, ищущего выхода. Было полное очерствение и злодейство, и больше ничего. В то самое утро арестовали исступленную женщину, которая угрожала убить другую, находившуюся тут же в толпе; задержанная кричала, что у нее с собой нож, что она всадит его своей противнице в сердце, и пусть ее повесят на одной виселице с ее тезкой, миссис Маннинг, на чью смерть она пришла полюбоваться. Было очевидно, что сцена казни расшевелила в женщине самые злобные инстинкты; и то же самое происходило со всей толпой. Я убежден, что иного действия это зрелище не имеет, и утверждаю, что каждый, кто присутствует на нем, не только не делается лучше, а непременно и неминуемо становится хуже, чем был.

Не место в христианском государстве этим страшным зрелищам, и чтобы положить конец им, а также их неисчислимым дурным последствиям, я предложил бы приводить приговор суда в исполнение в самой тюрьме и при наименьшем числе свидетелей, какое возможно. Прежде чем развивать свою мысль дальше, я позволю подкрепить ее цитатой из Филдинга, глубокому познанию человеческой души которого, я не сомневаюсь, Вы воздаете должное:

«Казнь должна совершаться при закрытых дверях. Тут к нам на помощь придут поэты. Иностранцы упрекают английскую драму в чрезмерной жестокости за то, что она допускает частые убийства на сцене. В самом деле, это не только жестоко, но и неразумно: убийство, совершенное за кулисами, если только поэт знает, как его обставить, приведет зрителей в гораздо больший ужас, чем если оно будет совершено у него на глазах. Пример тому мы видим в сцене убийства короля в «Макбете». Я думаю, в одной этой сцене ужас достиг большего напряжения, нежели во всех кровопролитиях, какие когда-либо совершались на сцене. К поэтам я присоединю еще священников, людей, как известно, в политике искушенных. Жрецы Египта, страны, где впервые были введены священные таинства, особенно хорошо знали, как важно прятать от глаз

непосвященных то, что должно вызывать ужас и трепет. Человеческое воображение гораздо более склонно преувеличивать, нежели глаз, и я иной раз даже думаю, что то, на что мы смотрим, становится менее значительным под нашим взглядом — в особенности там, где замешаны страсти; ибо тогда в том, что любишь, подозреваешь гораздо большее благо, а в том, что ненавидишь, большее зло, чем это есть на самом деле. Поэтому, чем меньше людей присутствовало бы во время казни, тем больший ужас вселяла бы казнь в толпу, стоящую за воротами, и тем грознее представлялась бы она самим преступникам».

С момента произнесения смертного приговора я бы поместил преступника в условия того страшного сурового одиночества, которое мудрейший из судей предписал Рашу, убийце. Я не пускал бы к нему любопытных посетителей, я бы всеми силами препятствовал тому, чтобы его изречениями и деяниями пестрели газеты, услаждающие воскресные досуги вокруг семейного очага. Его казнь в стенах тюрьмы должна быть тщательно продумана и обставлена ужасающей торжественностью. Мистера Колкрафта, палача (с манерами которого мне пришлось ознакомиться во время описанного мной события), следует несколько ограничить в неуместном веселье, шутках, брани и потреблении коньяка. Я бы определил состав присутствующих в 24 человека, назвал бы их присяжными свидетелями; из них восемь должно принадлежать к низшим классам общества, восемь — к средним и восемь — к высшим! Таким образом будет представлено все общество. Следует, чтобы при казни также присутствовали начальник тюрьмы, священник, врач и другие чиновники, шерифы графства или города и два тюремных инспектора. Подписи этих лиц должны скреплять строго и торжественно составленное свидетельство (одинаковое для всех случаев) о том, что в такой-то день и час, в такой-то тюрьме, за такое-то преступление такой-то преступник был подвергнут казни через повешение у них на глазах. Затем должно быть второе свидетельство тюремных чиновников, удостоверяющее личность казненного, и третье — то, что он получил погребение. Эти три свидетельства надлежит вывешивать на воротах тюрьмы, чтобы они там находились в течение двадцати одного дня, их следует перепечатывать в «Хронике»

и выставлять для общественного обозрения; а весь час, пока висит тело повешенного, я бы приказал звонить в колокола и закрывать на это время лавки, дабы все помнили о том, что́ происходит в эти минуты.

Если бы такое изменение закона о смертной казни было принято, я убежден, что публика располагала бы (как то и следует) значительно более точными сведениями относительно этого страшного наказания, нежели сведения, которыми она располагает относительно других мер правосудия. Мы, например, удивительно несведущи во всем, что касается каторги. В самом деле, что нам известно о каторге? И, однако, никто не сомневается в том, что человека, приговоренного к ссылке в каторгу, в самом деле туда отправляют. Широкая публика и представления не имеет о быте самой обыкновенной лондонской тюрьмы, однако, когда сообщается, что арестованный находится в той или иной тюрьме, никому не приходит в голову усомниться в том, что именно там он и отбывает свое наказание. Некоторые возражают против «таинственности» казни при закрытых дверях. Но ведь за последние 20 лет все реформы, связанные с содержанием арестантов и тюремным режимом, имеют тенденцию ко все большему окружению их тайной. Начиная с тюремной кареты и кончая островом Норфолк, арестантский быт облекается все большей и большей тайной. То, что арестантов теперь не водят по улицам, как каторжников в «Дон-Кихоте» — двадцать человек на одной цепи — (я еще застал этот обычай в мои школьные годы), а развозят в закрытых каретах, разумеется, придает им таинственность. То, что арестанта знают по номеру, а не по имени, то, что его подвергают суровой дисциплине молчания,— не говоря об одиночном заключении, которое я считаю нежелательным,— все это способствует тайне. Не является ли в таком случае тайна, какою я предлагаю окружить казнь, достойным венцом всех этих мудрых установлений? Если же согласиться с теми, кто возражает, то давайте вернемся к той поре, когда дамы навещали разбойников и распивали с ними пунш в камерах смертников в Ньюгете или когда лондонский шпион Нэд Уорд в определенные дни недели отправлялся в Брайдуэл * смотреть, как секут женщин.

Есть и другой разряд несогласных со мною людей, ко-

торые требуют полной отмены смертной казни, и ни о чем другом слышать не желают; не отрицая страшного ущерба, причиняемого публичными казнями общественной нравственности, они готовы мириться с этим злом неопределенный срок — лишь бы не упустить хотя бы на минуту свою конечную цель. О них я, впрочем, ничего не скажу, как бы благородны и чисты они ни были в своих намерениях, я считаю, что они неразумны и что спорить с ними бессмысленно.

Прошу Вас принять мою благодарность за предоставленную возможность высказаться и позвольте Вас уверить, что я пишу в глубоком убеждении, что мое присутствие на казни в прошлый вторник накладывает на меня священный долг, в сознании которого я ежечасно укрепляюсь и от которого меня ничто не может заставить отказаться.

Остаюсь, милостивый государь, Вашим преданным слугой,

Чарльзом Диккенсом.

Девоншир Террас, суббота, ноября 17.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ «ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ»

НЕБОЛЬШОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Название, выбранное нами для этого журнала, говорит о том заветном желании, которое подсказало нам мысль издавать его.

Мы смиренно мечтаем о том, чтобы обрести доступ к домашнему очагу наших читателей, быть приобщенными к их домашнему кругу. Мы надеемся, что многие тысячи людей любого возраста и положения найдут в нас задушевного друга, хотя бы нам никогда не привелось увидеть их. Мы стремимся принести из бурлящего вокруг нас мира под кровлю бесчисленных домов рассказы о множестве социальных чудес — и благодетельных и вредоносных, но таких, которые не сделают нас менее убежденными и настойчивыми, менее снисходительными друг к другу, менее верными прогрессу человечества и менее благодарными за выпавшую нам честь жить на летней заре времен.

Ни утилитаристский дух, ни гнет грубых фактов не будут допущены на страницы нашего «Домашнего чтения». В груди людей молодых и старых, богатых и бедных мы будем бережно лелеять тот огонек фантазии, который обязательно теплится в любой человеческой груди, хотя у одних, если его питают, он разгорается в яркое пламя вдохновения, а у других лишь чуть мерцает, но никогда

не угасает совсем — или горе тому дню! Показать всем, что в самых привычных вещах, даже наделенных отталкивающей оболочкой, всегда кроется романтическое нечто, которое только нужно найти; открыть усердным слугам бешено крутящегося колеса труда, что они вовсе не обречены томиться под игом сухих и непреложных фактов, что и им доступны утешение и чары воображения; собрать и высших и низших на этом обширном поприще и пробудить в них взаимное стремление узнать друг друга получше, доброжелательную готовность понять друга друга — вот для чего издается «Домашнее чтение».

Величайшие изобретения нашего века, на наш взгляд, не просто материальны, но скрывают в своих могучих телах нечто вроде души, которая может найти выражение на страницах «Домашнего чтения». Путешественник, вместе с которым мы отправимся в путь по железной дороге или на пароходе, обретет, мы надеемся, достойную замену ушедшим в прошлое дорожным приключениям в близком знакомстве с новой силой, увлекающей его вперед, во встречах с чужой жизнью, с иными людьми, мимо которых он проносится как ветер, и даже в созерцании заводских труб, изрыгающих клубы огня и дыма над убегающим назад пейзажем. У этих угольных великанов, у этих рабов лампы Знания есть свои тысяча и одна сказка, как были они у джинов Востока; и вот эти увлекательные сказки, то страшные, то забавные, исполненные твердости и мужества, на бесчисленных трогательных примерах учащие нас состраданию и снисходительности,— вот эти-то сказки мы и собираемся вам поведать.

В «Домашнем чтении» зазвучит не только голос нашего времени, но и голос седой старины. И его страницы будут рассказывать о чаяниях, надеждах, победах, радостях и печалях не только нашей страны, но и, насколько это возможно, всех других стран мира. Ибо то, что представляет истинный интерес для одной из них, касается и всех остальных.

Мы хорошо понимаем, какая это честь — заслужить ласковый и доверчивый прием в бесчисленном множестве домов, стать другом и детей и стариков, быть советчиком и в радости и в горе, наполнять комнату больного светлыми образами, «что дарят счастье и хранят от боли», вызывать

веселый смех и исторгать слезы жалости. Нам знакома ответственность, которую налагает это почетное право; и дивная награда, которую она сулит; и картины необъятного множества людей, охваченных единым чувством в часы одинокого труда; и пробуждаемая в груди труженика святая надежда, что он без стыда сможет взглянуть на плоды своего бдения, что грядущие поколения не забудут его имени, которое с гордостью будут носить те, кого он так горячо и нежно любит. Тот, чья рука с трепетом пишет эти строки, к счастью, и прежде имел отношение к коекаким созданным им «домашним чтениям» * и, обладая достаточным опытом, берется за эту задачу с надлежащей серьезностью, отдавая себе полный отчет, какие обязательства влечет она за собой.

Не мы первые вышли пахать это поле, и среди наших предшественников есть немало таких, чье общество — честь для нас и чья деятельность приносит величайшую пользу. Но есть и другие — мыши, порожденные Горой, грязная бахрома с Красного Колпака, потатчики самым низким страстям низменных душ,— чье существование ложится пятном на нашу страну. И если бы нам удалось вытеснить их, мы сочли бы это выполнением нашего высочайшего долга.

Итак, мы начинаем наш путь! Странствующий рыцарь в старинной сказке, поднимаясь на вершину крутой горы, где был сокрыт предмет его поисков, слышал вокруг себя страшные голоса — самые камни кричали ему: «Отступись, уходи!» Но голоса, которые слышим мы, призывают: «Вперед!» В камнях, зовущих нас, есть благие поучения, как у деревьев есть речь, и журчащие ручьи подобны книгам, и во всем таится добро! * И они и Время зовут нас: «Вперед!» И мы пускаемся в путь с легким сердцем, со свежими силами и со светлыми надеждами. Кремнистая дорога не так тверда, чтобы поранить нам ноги, не так крута, чтобы нам пришлось останавливаться и, глядя с головокружительной высоты, застывать от ужаса. Вперед! — вот все, что мы слышим. Вперед! Нас уже бодрит воздух дальней вершины, вдохновенные голоса зовут нас, и мы, повторяя их клич, без страха идем вперед.

30 марта 1850 г.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ НАРОДА

I

Если правда, что одна половина общества не знает, как живет другая, то, уж конечно, высшие сословия не знают, да и не хотят знать, как развлекаются низшие. Полагая, что не интересуются они этим именно потому, что ничего об этом не знают, мы намерены время от времени сообщать кое-какие факты, имеющие касательство к этой теме.

Общий характер театральных представлений низшего разбора всегда отражает вкусы народа и точно свидетельствует об уровне его духовного развития. Мы предполагаем для начала ознакомить наших читателей с некоторыми наблюдениями, почерпнутыми в такого рода столичных театрах.

Пожалуй, нет такой силы, которая могла бы искоренить у простого народа его врожденную любовь к драматическим представлениям в любом виде. Впрочем, подобное искоренение, на наш взгляд, оказало бы обществу весьма сомнительную услугу. Политехнический музей на Риджент-стрит, где показывается и объясняется действие сотен хитроумных машин и где можно послушать лекции, содержащие массу полезных сведений о всевозможных практических предметах,— это замечательное место и истинное благодеяние для общества, и, однако, нам кажется,

что люди, чей характер складывался бы под влиянием досуга, проведенного исключительно в стенах Политехнического музея, оказались бы мало приятной компанией. Случись с нами несчастье, мы предпочли бы не искать сочувствия у молодого человека двадцати пяти лет, который в детстве все каникулы возился с колесиками и винтиками, если только он сам не испытал подобного же горя. Мы скорее доверились бы ему, если бы он был немножко знаком с «Девушкой и сорокой», если бы он совершил одну-две прогулки по «Лесу Бонди» или хотя бы ограничился какой-нибудь рождественской пантомимой. Почти все мы обладаем воображением, которое не смогут удовлетворить никакие паровые машины, и даже богатейшая Всемирная Выставка Промышленного Прогресса *, вероятно, не насытила бы его. Чем ниже мы будем спускаться, тем, естественно, все более лакомой пищей для воображения будут становиться театральные представления, ибо это — самый легкий, самый простой и самый очевидный способ уйти от мира сухих фактов. Джо Уэлкс из Ламбета читает мало, ибо не обладает ни большим запасом книг, ни удобной для чтения комнатой, ни склонностью к чтению, а главное,— не обладает способностью живо представлять себе то, о чем он читает. Но посадите Джо на галерее театра Виктории, покажите ему на сцене открывающиеся окна и двери, через которые могут появляться и исчезать люди, расскажите ему что-нибудь с помощью живых нарядных мужчин и женщин, поверяющих ему свои тайны голосом, слышным за полмили, и Джо превосходно разберется в самых сложных перипетиях сюжета и просидит там хоть всю ночь, лишь бы ему что-нибудь показывали. Вот почему излюбленные мистером Уэлксом театры всегда полны, и какие бы изменения не претерпевала драма в любом другом месте, в Ламбете она никогда не выходит из моды.

Но тут, пожалуй, может возникнуть естественный вопрос, становится ли мистер Уэлкс более образованным человеком благодаря своему пристрастию к театру. Насколько образованнее стал он к настоящему времени, наши читатели могут судить сами.

Давая им к тому возможность, мы сперва хотели бы указать, что ни в чем не виним тех, кто способствует

удовлетворению любви мистера Уэлкса к драматическому искусству. Задавленный налогами, не получающий никакой помощи от государства, покинутый благородной публикой, не признаваемый средством воспитания общественного вкуса, высокий английский театр пришел в упадок. Те, кто согласен жить для того, чтобы угождать вкусам мистера Уэлкса, должны угождать вкусам мистера Уэлкса для того, чтобы жить. Директор такого театра держит зеркало не перед природой *, но перед мистером Уэлксом — единственным, кто признает его театр. И если дарование актера, подобно рукам красильщика, принимает цвет того, с чем он работает, актера вряд ли можно за это осуждать. Он прилежно трудится на ниве своего призвания, знает лишь безысходную нужду, и даже если ему повезет, живет лишь в мире подобий, которые часто кажутся злой насмешкой. Дарить богатое имение шесть вечеров в неделю и мечтать о шиллинге; пировать на воображаемых банкетах, не зная, удастся ли утолить голод хотя бы бараньей котлетой; причмокивать губами над бокалом с подкрашенной водицей, снисходительно похваливая живительные дары солнечных виноградников по берегам Рейна; быть блистательным юным любовником, когда дома лежат больные дети; закрашивать следы горя жженой пробкой и румянами — все это само по себе достаточно скверно, и незачем требовать от него, чтобы он вдобавок еще презирал свое ремесло. Если, осужденный произносить нелепости, он способен произносить их с удовольствием, то, видят небеса, тем лучше для него, и да воцарится мир в душе его!

Недели две назад мы отправились в один из любимых театров мистера Уэлкса поглядеть мелодраму, носящую соблазнительное название «Майская Зорька, или Тайна 1715 года и Убийство!» Нам думалось, что первая часть заглавия указывает на месяц, в котором случилась тайна или произошло убийство, но оказалось, что так зовут героиню, гордость Кесуикской долины, «прозванную Майской Зорькой» (как это в обычае у английских поселян) «за ясные глазки и веселый смех». Об этой юной девице в белом муслиновом платье с голубыми бантами на подхватах юбки скажем кстати, что она затем перенесла все до одного тягчайшие испытания, какие только могут выпасть на долю человека, и проделывала с пистолетом все воз-

можные и невозможные штуки, допускаемые огнестрельным оружием такого рода.

Театр был переполнен. Места стоили: в ложах — шиллинг, в партере — шесть пенсов, на галерке — три пенса. Галерея была огромных размеров (среди зрителей первого ряда мы не преминули заметить мистера Уэлкса) и набита битком. Стоило лишь взглянуть на увлеченные лица, громоздившиеся друг над другом до самого потолка, на людей, которые, забыв о неудобствах, жадно теснились даже в дверях, и всякий посторонний наблюдатель тут же понял бы, что нельзя упускать ни единой возможности хоть както просветить этих бесчисленных зрителей.

Общество в партере не отличалось ни излишней чистотой, ни сладостными ароматами, но там можно было увидеть немало добродушных молодых ремесленников с супругами. Последние почти все держали на руках своих «младшеньких», и партер больше всего напоминал обширную детскую. Какие бы чудеса ни творились на сцене, куда любопытнее было, оторвавшись от созерцания моря вытянутых голов на галерее вверху, поглядеть на спокойные личики крепко спящих малышей внизу. Кроме того, партер благоухал различными сортами холодной жареной рыбы и содержал целую коллекцию карманных фляг.

Публика в ложах мало чем отличалась от публики в партере — если исключить младенцев и рыбу. В соседней ложе расположился рядовой пешей гвардии, а рядом с ним сидел господин, застегивавший свой сюртук булавками вместо пуговиц и покрывшийся плесенью от чересчур сырого образа жизни. В разных углах зала мы заметили нескольких юных карманников, наших добрых знакомых, однако они, совершенно очевидно, находились здесь как частные лица, а не при исполнении служебных обязанностей, так что их присутствие нас нисколько не смутило. Ибо мы полагаем, что безделье людей, принадлежащих к подобному классу общества, служит на благо общества в целом, и не склонны в этом случае оплакивать нерадивость, за которую столь часто упрекают низшие сословия.

Тут занавес взвился, прервав наши наблюдения, и вскоре мы ознакомились со следующими обстоятельствами.

Мы узнали, что сэр Джордж Элмор — меланхолический баронет, судя по всему страдающий тем острым несваре-

нием желудка, которое обычно поражает пациентов мистера Моррисона, когда они с помощью мистера Моута знакомятся с удивительным действием его «растительных пилюль»,— живет в очень большом замке, в обществе одного круглого столика, двух кресел и капитана Джорджа Элмора, «его предполагаемого сына — Дитяти тайны и Злодея». Капитан, помимо непочтительной привычки грубо перечить отцу при каждом удобном случае, исполнен всевозможных пороков, и главные из них таковы: он подло покинул свою супругу «Эстеллу де Нева, знатную испанку», и вознамерился без малейшего на то права завладеть Майской Зорькой, хотя М. З. на днях должна сочетаться браком с Уиллом Стэнмором, веселым моряком на весьма нетвердых ногах.

Первое несомненное доказательство того, что капитан — не кто иной, как Дитя тайны и Злодей, можно было усмотреть в его сапогах, весьма высоких, широких и шитых, по-видимому, из пластыря, которые бросали на него самую черную театральную тень. И действительно, в самом ближайшем времени он оказывается таким негодяем, какого только можно пожелать: под покровом ночной темноты он забирается через окошко в скромный домик Майской Зорьки; отказывается «высвободить» Майскую Зорьку, когда оная девица обращается к нему с этим требованием; нарушает сладкий сон единственного оставшегося в живых родителя Майской Зорьки — слепого старца с черной повязкой на глазах, которого мы впредь будем именовать «господином Троезвездиным», так как его имя изображалось в афишке следующим образом: ***; и во что бы то ни стало желает похитить Майскую Зорьку силой оружия. Однако гнусности капитана этим не ограничиваются, ибо, потерпев временную неудачу в своем дьявольском намерении,— сперва из-за ножей и пистолетов, которые, к счастью, оказались под рукой у Майской Зорьки и были приставлены к его груди, а потом из-за появления Уилла Стэнмора,— он заставляет некоего Слинка, своего прихвостня, донести, что Уилл Стэнмор — мятежник, после чего веселого моряка хватают и уводят в тюрьму. В то время как Капитан совершает эти подвиги, в замке его батюшки появляется смуглолицая дама по имени Мануэлла, «Цыганка с Пиринеев, Бездомная Скиталица и Возвеститель-

ница Пророчества», которая приводит баронета, его предполагаемого отца, в ужасное замешательство, сначала осведомившись у него о том, что лежит на его совести, а затем продекламировав под негромкое жужжание скрипок таинственные стихи о Дитяти тайны и Злодее. Так обстояли дела, когда театр задрожал от рукоплесканий, а мистер Уэлкс впал в неописуемый восторг, ибо на сцену вышел «Нищий Майкл».

Мы было подумали, не объясняется ли сердечный прием, оказанный Нищему Майклу, тем, что его физиономия, загримированная «под грязь», пробудила братские чувства в груди большинства зрителей. Однако вскоре выяснилось, что в былые времена он был нанят сэром Джорджем Элмором убить его (сэра Джорджа Элмора) старшего брата — что и исполнил. Но, несмотря на это дельце чести, Майкл в действительности на редкость славный малый и чрезвычайно добрая душа,— услышав о намерении Капитана разделаться с Уиллом Стэнмором, он восклицает: «Как! Снова кро-о-овь!» — и падает навзничь, оскорбленный в своих лучших чувствах. А описывая маленькую промашку, которую он допустил из любви к деньгам, он замечает: «Нане-е-ес ему удар я в заблужде-ении!» — а затем с законной гордостью добавляет: «Я нищим жил, бродягою скитался, но преступле-е-нием рук с тех пор не запятнал!» Все эти излияния благородного сердца встречались громом рукоплесканий, а когда, не совладав с волнением, он после одного монолога «ушел со сцены», елозя на спине и брыкаясь, подобно неустрашимым молодцам в тот черный час, когда они не желают следовать в полицейский участок, в зале разразилась настоящая буря.

И посудите сами, как мало зла причинил он на самом деле! Старший брат сэра Джорджа Элмора *не* умер. Не на таковского напали. Получив от этого чувствительнейшего создания удар, нанесенный «в заблужде-е-нии», он не замедлил исцелиться и, желая остаться неузнанным, закрыл глаза черной повязкой, а затем поселился в скромном уединении со своей единственной дочерью. Короче говоря, господин Троезвездин и был этим самым братом! Когда Уилл Стэнмор оказался сыном заблудшего сэра Джорджа Элмора вместо Дитяти тайны и Злодея, который оказался сыном Майкла (подмен был совершен из мести

дамой с Пиринеев, которая стала Бездомной Скиталицей из-за того, что заблудший сэр Джордж Элмор коварно ее покинул), господин Троезвездин отправился в замок потолковать со своим кровожадным братом обо всех этих делах. Господин Троезвездин сказал, что огорчаться не надо, что он не сердится, что он жил в безвестности лишь для того, чтобы его кровожадный брат (чьи многочисленные добродетели ему хорошо известны) мог распоряжаться родовым поместьем, а затем сказал, что хорошо бы им помириться и отобедать всем вместе. Кровожадный брат немедленно изъявил согласие, заключил Бездомную Скиталицу в объятья и, надо полагать, обратился в Доктор Коммонс за разрешением на брак с ней. И тут они стали веселиться. Ведь в попытке убить родного брата, чтобы присвоить его имущество, нет ничего дурного, если вы обратитесь за помощью к такому добродушному убийце, как Нищий Майкл.

Все это пришлось не по вкусу Дитяте тайны и Злодею; последний был так мало обрадован всеобщим счастьем, что застрелил Уилла Стэнмора, который, благополучно выйдя из тюрьмы, должен был тут же жениться на Майской Зорьке, и унес его тело, а заодно и Майскую Зорьку, в уединенную хижину. Там Уилл Стэнмор, уложенный наповал в четверть первого ночи, восстал в семнадцать минут первого свежее самой свежей розы и стал в одиночку драться с двумя негодяями. Однако Бездомная Скиталица, явившаяся туда с отрядом бездомных скитальцев мужского пола, которые всегда были в ее распоряжении, и кровожадный брат, явившийся туда под ручку с господином Троезвездиным, прекратили схватку, разделались с Дитятей тайны и Злодеем, а затем благословили влюбленных.

Нравоучительный вечер завершился приключениями «Кровавого Ривена, Бандита». Однако, несколько утомившись и заметив по выразительным чертам мистера Уэлкса, что он для одного раза уже достаточно запутался между добром и злом, мы удалились, питая твердую надежду незамедлительно увидеться с ним в другом театре, где развлекается простой народ.

30 марта 1850 г.

II

Поскольку мистер Уэлкс предпочитает развлекаться в театрах, именуемых «Салунами», мы как-то в понедельник отправились в такое заведение, ибо мистер Уэлкс и его друзья обычно веселятся по понедельникам.

Салун, о котором пойдет речь,— самый большой в Лондоне («Орел», что на Сити-роуд, следует исключить из этого родового понятия, так как там вниманию публики предлагаются представления иного сорта) и расположен неподалеку от Шордичской церкви. У него есть и второе название — «Народный театр». Цены местам там такие: ложа — шиллинг, партер — шесть пенсов, ярус — четыре пенса, галерея и задние ряды — три пенса. Половинные цены отсутствуют. Первая пьеса на этот раз описывалась в афишках как «величайший гвоздь сезона, великолепная новая исторически-фантастическая драма, объединяющая сверхъестественные явления с подлинными фактами и сводящая необычайные потусторонние причины воедино с материальными, ужасающими и потрясающими следствиями». Никакие королевские кони и никакие королевские солдаты * не сумели бы увлечь мистера Уэлкса в вышеупомянутое заведение с такой неотразимой силой, как это описание. Тем более что оно было снабжено литографическим изображением главных сверхъестественных причин, объединенных с наиболее завлекательными из материальных, ужасающих и потрясающих следствий. Вот почему нам сперва не удалось найти самого крохотного местечка в зале, где можно было хотя бы встать, а на этот раз, когда мы платили наличными за маленькую ложу на сцене, величиной с душевую будочку, нас со всех сторон теснила толпа желающих приобрести билеты, хотя кассир утверждал, что «в зале яблоку упасть негде».

Подъезды и коридоры Народного театра являли многочисленные свидетельства того, что его посещают чрезвычайно грязные театралы. Воздух внутри трудно было бы назвать благоуханным. И партер, и ложи, и галерея были переполнены. Среди зрителей насчитывалось немало подростков и юношей, а также множество совсем молоденьких девушек, которые превратились в развязных женщин, едва успев проститься с детством. Эти последние состав-

ляли самую неприглядную часть зрителей и самую заметную — разве только на публичных казнях занимают они в толпе еще более заметное место. Напитки публике не предлагались, если не считать содержимого портерного жбана, который (пожалуй, только несколько меньших размеров) обычно путешествует по рядам галерки не только в маленьких, но и в самых больших театрах, и собратья которого виднелись тут повсюду. Огромные бутерброды с ветчиной, наваленные на подносы словно чурки на дровяном складе, разносились по рядам для продажи голодным, и нельзя было пожаловаться на отсутствие апельсинов, пирожков, ликерной карамели и других подобных же лакомств. Театр оказался весьма вместительным, с обширной и удобной сценой; он хорошо освещается, располагает всеми необходимыми машинами, и дело в нем ведется во всех отношениях превосходно и упорядоченно. Представление началось в четверть седьмого и длилось уже сорок пять минут.

Одна из причин популярности этого театра, как и того, где мы побывали ранее, несомненно, заключается в том, что он предназначается для простого народа, которому в нем все хорошо видно и слышно. Тут зрителей попроще не загоняют в темную дыру под потолком огромного здания, как это делается в нашем некогда Национальном театре, тут они занимают самые удобные места и легко могут следить за спектаклем. Они не только не оказываются менее привилегированными по сравнению с остальной публикой, они и являются той публикой, о чьих удобствах заботится здесь дирекция. Мы уверены, что успех подобных заведений объясняется именно этим. Где бы ни обращались к простому народу — в церквах ли, в молельнях, в школах, лекционных залах или театрах, он услышит призыв лишь в том случае, если обращаются прямо к нему. Как бы ни был роскошен пир, простые люди не пойдут на него, если их там будут только терпеть. Если, оглядываясь вокруг, мы обнаружим, что им радушно предлагаются только скверные или никуда не годные вещи, начиная от шарлатанских снадобий и кончая куда более важными предметами, то тем хуже для них и для всех нас, и тем более несправедливой и нелепой показывает себя система, надменно пренебрегающая столь важным своим долгом.

Добавим, что, по нашему глубокому убеждению, эти люди имеют право на развлечения. Мы считаем безрассудными устные и письменные требования запретить подобные зрелища. Мы уже указывали, что, на наш взгляд, любовь к театральным представлениям неотъемлема от человеческой натуры. У любого известного нам народа, начиная от древних греков и кончая бушменами, мы обнаруживаем театральные представления в той или иной форме. Мы питаем глубочайшее почтение к судьям графств и к лорду-камергеру, но относимся с несравненно большим уважением к столь всеобъемлющему и неизменному свойству человеческой души и полагаем, что оно переживет многие из современных институтов. Мы ни в коем случае не собираемся осуждать такого рода театры только потому, что вход туда стоит четыре пенса, а не четыре шиллинга или четыре гинеи, хотя и готовы самым решительным образом содействовать тому, чтобы они предлагали воображению своих зрителей более здоровую и полезную пищу, и были бы рады, если бы пост театрального цензора, который, подобно многим другим, стал простой придворной синекурой, превратился бы в важную должность, играющую существенную роль в деле народного просвещения. Было бы гораздо полезнее, если бы такая цензура осуществляла здравый надзор над низшей разновидностью драмы, вместо того чтобы запрещать подлинные произведения искусства, как это было проделано с пьесой мистера Чорли * в Сэррейском театре недели две-три назад — и всего лишь из-за бессмысленной формальной придирки.

Вернемся, однако, к мистеру Уэлксу. Публика, имевшая полную возможность и видеть и слышать, была само внимание. Из-за тесноты зрители после антрактов довольно долго усаживались на свои места, но в остальном они старались не упустить ни словечка и одергивали (в не слишком изысканных выражениях) всякого нарушителя порядка.

Когда мы вошли в зал, мистер Уэлкс уже давно проследовал вместе с леди Хэттон, героиней (в которой мы с трудом узнали изуродованное детище покойного Томаса Инголдсби *), в «угрюмый дол к древу самоубийц», где леди Х. встретила «видение рокового свершителя» и выслушала «ужасную повесть о самоубийстве». Кроме того,

она «своею кровью скрепила договор», узрела, как «разверзлись гробницы», видела, как «мертвецы вставали из могил, визжа: моя, навек моя!» — причем, все эти пустячки (каждому из которых была посвящена отдельная строка в афишке) заняли только одно действие. Впрочем, на этом оно не кончилось, ибо мы еще успели увидеть, как некий древний английский монарх по имени «Эннери» услаждался зрелищем танцев посреди сада, но тут же эти развлечения были прерваны «жутким явлением Демона». Эта «потусторонняя причина» (с угольно-черными скошенными к вискам бровями и обклеенными красной фольгой скулами) вызвала падение занавеса как раз в ту минуту, когда мы наконец вступили во владение своей душевой будочкой.

Когда занавес опять взвился, оказалось, что леди Хэттон продала себя Силам Тьмы на очень тяжелых условиях и теперь охвачена раскаянием, а заодно и ревностью — это последнее чувство пробудила в ней прекрасная леди Родольфа, королевская воспитанница. Дабы подвигнуть леди Хэттон на убийство сей юной девицы (если мы правильно поняли, но, впрочем, и мы и мистер Уэлкс несколько запутались во всех этих тонкостях), «вновь, сея ужас», перед ней явился Демон. Все это время леди Хэттон вела благочестивую жизнь, но Демон, не поддавшись на подобную уловку, отказался расторгнуть сделку и подал героине кинжал, предназначенный для того, чтобы поразить Родольфу. Когда леди Хэттон не пожелала принять этот сувенир из тартара, Демон по каким-то весьма глубоким соображениям принялся развлекать ее зрелищем «угрюмого монастырского кладбища», а также видением «Мертвого Монаха» и «Владыки Ужасов». Но тут во взаимодействие с этими потусторонними причинами вступила еще одна потусторонняя причина, а именно дух скончавшейся матушки леди Х., который привел Силы Тьмы в некоторое замешательство, взмахнув «святым символом» над головой мнимо благочестивой Родольфы и заставив сию девицу провалиться сквозь землю. Тут Демон, выйдя из себя, сердито пригласил леди Хэттон «узре-е-еть муки погибших душ!» и незамедлительно перенес ее туда, где перед ней открылся «величественный и устрашающий вид Пандемониума и озера с прозрачными огненными во-

дами», каковое, вместе с «Прикованным Прометеем и коршуном, пожирающим его печень», мистер Уэлкс приветствовал насмешливым хохотом.

Потерпев неудачу даже тут и не сумев избавиться от назойливого духа почтенной старушки, Демон объяснил, что эти неодолимые препятствия оказали на него поистине замечательное воздействие, «опалив ему глаза», и теперь он должен «провалиться еще глубже», после чего поспешил провалиться. Тут оказалось, что все это лишь изволило присниться леди Хэттон — молодой и счастливой новобрачной. Нагромождению немыслимой чепухи пришел конец, и мистер Уэлкс принялся бешено рукоплескать, ибо, если исключить озеро с прозрачными огненными водами, которое показалось ему недостаточно адским, мистер Уэлкс был в восторге от всего увиденного.

Каждую неделю этот театр посещает примерно десять тысяч человек, и так весь год. Если бы его завтра закрыли — если бы таких театров было пятьдесят, и их все завтра закрыли бы,— это привело бы только к одному результату: то, что сейчас делается открыто, стали бы делать украдкой и втайне. Вред был бы гораздо больше, а закон выказал бы себя несправедливым тираном. Те, кто приходит сюда, нуждаются в каких-то развлечениях и все равно будут развлекаться. Нет смысла закрывать глаза на этот факт или отрицать его. Куда полезнее будет заняться улучшением этих развлечений. Разве это так уж много — потребовать, чтобы пьесы, ставящиеся в таких театрах, обладали хотя бы ясной и здоровой моралью? И разве так уж трудно достичь этого?

Опасаясь, что наши наблюдения могут быть объяснены предубеждением или неудачной случайностью, мы на следующий же вечер отправились в театр, где нам довелось посмотреть «Майскую Зорьку», и застали там мистера Уэлкса, упивающегося «подлинно староанглийской отечественной романтической драмой», носившей название «Ева — Жертва Коварства, или Владелица Лэмбита». Мы принялись следить за событиями, которые развертывались на сцене для вящего поучения мистера Уэлкса.

Некий Джеффри Торнли-младший в одно прекрасное утро сочетался браком с воспитанницей своего батюшки Евой, Жертвой Коварства, Владелицей Лэмбита. Она стала

жертвой коварства из-за счастливого — то есть подлого — завершения интриги алчного Джеффри, ибо сей испорченный юноша, зная, что она обручена с Уолтером Мором, молодым моряком (которого он презрительно именует «мужланом»), ложно сообщил, что указанного Мора скосил губительный мор, и добился у чересчур доверчивой Евы согласия немедленно выйти за него замуж.

И вот благодаря невиданному совпадению именно в утро свадьбы на родину возвращается Мор и, отправившись полюбоваться пейзажами, дорогими его сердцу с детских лет (с тех пор, надо сказать, они слегка повыцвели), избавляет от довольно большой опасности Горбуна Уилберта. Неблагодарный Уилберт немедленно принимается бранить на все корки своего спасителя, давая ему понять, что он (спасенный) ненавидит «род людской за двумя исключениями», каковыми оказываются обманщик Джеффри, у которого он служит, питая к нему глубочайшую преданность, и близкая родственница, которую он — в угоду мистеру Уэлксу не жалея голоса — именует своей «сиссстрой». Затем этот мизантроп заявляет: «Было время, когда я любил моих ближних, а они отплатили мне презрением. Теперь я живу лишь для того, чтобы любоваться бесчестием мужчин и горем женщин». Ради достижения этой очаровательной цели он ведет Мора навстречу возвращающемуся из церкви свадебному поезду, и тут Ева узнает Мора, а Мор осыпает ее упреками, поднимается суматоха и начинается драка, которой любуются общительные поселяне, исполняющие мавританские танцы в честь знаменательного события. Изнемогающую от горя Еву увлекают прочь и, как справедливо замечает афишка, действие завершается «отчаянием и безумием».

Джеффри, Джеффри, и зачем ты был уже женат на другой? И зачем не остался ты верен своей законной супруге Кэтрин вместо того, чтобы покинуть ее и дать ей возможность, шатаясь (от чрезмерной усталости), ходить по трактирам, где она надеется отыскать тебя? Ты мог бы предвидеть, к чему это приведет, Джеффри Торнли! Ты мог бы предвидеть, что она явится в день твоей свадьбы в твой дом с брачным свидетельством в кармане и с твердой решимостью обличить тебя! Ты мог бы знать заранее, что тебе, как ты невозмутимо заявляешь теперь,

останется «только один выход». Выход этот, конечно, состоит в том, чтобы, запустив правую руку в длинные локоны Кэтрин, заколоть ее, выбросить труп за дверь (под одобрительные возгласы мистера Уэлкса) и приказать преданному Горбуну убрать его куда-нибудь подальше. Когда же преданный Горбун обнаруживает, что это тело его «сисстры», находит в кармане ее платья брачное свидетельство и начинает тебя обличать, у тебя опять-таки остается только один выход: обвинить его в этом убийстве и приказать, чтобы его незамедлительно заключили в «глухие темницы подземелья замка Торнли».

Коль скоро Мора, как он любил похвастать, ждал «на величественной Темзе добрый корабль», он поступил бы куда разумнее, уплыв на нем подальше (конечно, если бы позволил ветер) вместо того, чтобы бежать следом за Евой. Само собой, его, как подозрительного бродягу, тоже уволокли в подземелье и заперли в темницу рядом с той, где испускал дух отравленный Горбун. И вот, точно звери в крепких клетках, они стараются разглядеть друг друга сквозь прутья — к величайшему удовольствию мистера Уэлкса.

Но когда Горбун назвал себя, а Мор последовал его примеру, и когда Горбун сообщил, что у него в кармане лежит брачное свидетельство, делающее недействительным брак Евы, и когда Мор вне себя потребовал у него это свидетельство, и когда Горбун (так до конца и не избавившийся от своего человеконенавистничества) в предсмертной агонии упорно, не жалея никаких трудов, отползал в дальний угол своей темницы, лишь бы не умереть вблизи решетки, отделявшей его от Мора, мистер Уэлкс хлопал так, что стены содрогались. В конце концов Горбуна удалось уговорить, и, подцепив свидетельство на конец кинжала, он передал его Мору, после чего скончался в страшных мучениях, катаясь по полу и, короче говоря, не теряя даром последних минут.

Однако Мору еще предстояло выбраться из узилища, чтобы воспользоваться брачным свидетельством. Для этого он, во-первых, поднял такой шум, что к нему спустился некий «Норман-наемник», которому был поручен надзор за ним. А во-вторых, сообщил этому воину в изысканнейшем стиле «Галантного письмовника», что «ввиду некоторых случившихся обстоятельств» его следует немедленно вы-

пустить из темницы. Когда воин отказался подчиниться этим обстоятельствам, мистер Мор предложил ему, как человеку чести и джентльмену, выпустить его в коридор, дабы они могли поединком разрешить свою старинную вражду. Бесхитростный Наемник соглашается на столь разумное предложение и получает пулю в спину от комика, которого за это саркастически называет «охотничком» и умирает молодец молодцом.

Все это случилось в один день — в день свадьбы Владелицы Лэмбита, и вот мистер Уэлкс сосредоточился как мог, вытянул шею, уставился прямо перед собой и затаил дыхание. Ибо знаменательный день сменился ночью, и мистер Уэлкс был допущен в «брачную опочивальню Владелицы Лэмбита», где он узрел туалетный столик и удивительно большую и унылую кровать под балдахином. Там Владелица, отпустив подружек, принялась оплакивать свою горькую участь, но вот жалобы ее были прерваны появлением супруга. И дело принимало уже отчаянный оборот, когда Владелица (к этому времени узнавшая о существовании брачного свидетельства) отыскала на туалетном столике кинжал и воскликнула: «Посмей только заключить меня в свои гнусные объятия, и эта сталь...» и т. д. Впрочем, он все-таки посмел, и они с Владелицей Лэмбита уже таскали друг друга по всей опочивальне, точно борцы, когда мистер Мор взломал дверь и, ворвавшись туда в сопровождении слуг и мидлсекского судьи, арестовал негодяя, а затем потребовал руки своей невесты.

Будет только справедливо по отношению к мистеру Уэлксу указать на одну любопытную черту этого представления. Очень сильные сцены напоминали излюбленные ситуации Итальянской оперы — какими они показались бы глухому зрителю. Отчаяние и безумие в конце первого действия, возня с длинными локонами и борьба в брачной опочивальне столь же напоминали условные страсти итальянских певцов, насколько непохож был тамошний оркестр на оперный, а его «бурные тремоло» — на музыку великих композиторов. Вот так встречаются противоположности, и есть обнадеживающее соответствие между тем, что приводит в трепет мистера Уэлкса, и тем, что восхищает герцогиню.

30 апреля 1850 г.

ПРЕДПОЛОЖИМ!

I

Предположим, что мы немного изменили бы закон о подоходном налоге, несколько увеличив налог на капитал и несколько уменьшив налог на заработки — как регулярные, так и нерегулярные, неужели это было бы очень несправедливо?

Предположим, что мы немножко больше прониклись бы идеями христианства и немножко меньше идеями мистицизма, пришли бы к большему согласию относительно духа и меньше спорили бы о букве,— неужели мы представляли бы собою безбожное и недостойное зрелище для всего человечества?

Предположим, что почтенный член палаты от Уайттауна меньше беспокоился бы насчет почтенного члена палаты от Блектауна, и наоборот, и оба с большей серьезностью занялись бы делами почтенного народа и почтенной страны,— неужели их поведение сочли бы непарламентским?

Предположим, что в то время, когда в Казначействе имелся избыток средств, мы отказались бы от своих причуд и пришли к соглашению о том, что существуют четыре стихии, необходимые для жизни наших собратьев, а именно — земля, воздух, огонь и вода, и что эти предметы первой необходимости не следует облагать налогом, а потребление их не следует ограничивать,— неужели это было бы неразумно?

Предположим, что в настоящее время у нас имелся бы барон Дженнер *, виконт Уатт *, граф Стефенсон * и маркиз Брунель * или что потомки Шекспира были бы возведены в звание пэров, а потомкам Хогарта присвоили бы титул баронета,— неужели это было бы жестоким оскорблением для нашей старинной знати?

Предположим, что мы все сошли бы со своих пьедесталов и стали немножко больше общаться с нижестоящими, зная, что талант, заслуги и богатство всегда смогут в достаточной мере утвердить свое превосходство,— неужели мы безнадежно унизили бы себя этим?

Предположим, что вместо нелепых пертурбаций у нас было бы больше подлинной цивилизации,— как это повлияло бы на принудительную колонизацию, вызывающую негодующие демонстрации где-то у мыса Доброй Надежды?

Предположим, что мы коренным образом упростили бы законы и отказались от нелепой выдумки, будто все должны их знать, когда нам отлично известно, что изучение их — дело целой жизни, причем 50 человек могут преуспеть в этом раз в 250 лет,— неужели от этого пострадало бы наше уважение к законам?

Предположим, мы убедились бы в том, что принимаем на веру слишком много подобных выдумок и что это обходится нам слишком дорого.

Предположим, мы огляделись бы вокруг и, увидев, что скотопригонный рынок, который первоначально был основан на открытом месте, теперь очутился в центре большого города вследствие непредвиденного роста этого большого города вокруг указанного рынка, и, слыша уверения в том, что рынок якобы все же отвечает потребностям и удобствам этого большого города, решились бы сказать, что это несусветная чушь и что мы не желаем больше этого терпеть,— неужели нас сочли бы революционерами?

Предположим, у нас возникло бы подозрение, что дипломаты слишком много суетятся и что весь мир только бы выиграл, если б их лавочка была закрыта три дня в неделю,— неужели это было бы кощунством?

Предположим, что правительства занимались бы государственными делами, меньше заботясь о своем благе и больше об общем благе,— интересно, как бы нам тогда жилось?

Предположим, что мудрость наших предков оказалась бы пустой фразой, ибо если б в этой мудрости был толк, мы до сего дня должны были бы верить друидам,— неужели нашлись бы люди, которые всю жизнь продолжали бы нести вздор?

Предположим, мы бы ясно поняли, что нельзя мешать некоторым людям принимать участие в управлении государством, и сказали бы им: «Братья, давайте посоветуемся, как нам сделать это получше, и не ждите ничего особенного, а давайте все вместе по мере сил своих наляжем на колесо и постараемся стать лучше и откажемся от некоторых крайностей во взглядах ради всеобщей гармонии»,— неужели нам понадобилось бы столько добровольцев-констеблей в любое будущее десятое апреля * или пришлось бы так много об этом говорить!

Хотел бы я знать, почему люди, которые очень спокойно ко всему относятся, всегда так много об этом говорят?

Мистер Лейн, путешественник, рассказывает нам о распространенном среди египтян суеверии, будто злых духов можно отогнать железом, которое внушает им инстинктивный страх. Предположим, что это предвещает исчезновение осаждающих сей мир злых духов и невежества под натиском железных дорог и паровозов,— хотел бы я знать, нельзя ли нам вообще ускорить их бегство железной волей к действию?

Предположим, что мы сделали бы несколько подобных опытов!

20 апреля 1850 г.

II

Предположим, умер августейший герцог,— что не столь уж невероятное предположение, ибо

Светлый отрок ли в кудрях,
Трубочист ли — завтра прах *.

Предположим, что это был славный старый герцог с чрезвычайно добрым сердцем, что он был великодушен и всегда движим искренним желанием поступать справедливо и всегда поступал самым наилучшим образом, как подобает человеку и джентльмену.

И предположим, что у этого герцога остался сын, которого ни в чем нельзя обвинить или упрекнуть и о котором, напротив, все склонны думать хорошо, не имея никаких оснований думать иначе.

И предположим, что этот герцог, хотя и имел более чем приличный доход при жизни, никак не обеспечил своего сына и что весьма покладистое (в таких делах) правительство вынуждено было обеспечить его за счет публики, в размерах, совершенно не соответствующих природе лежащего на публике бремени в прошлом, настоящем и будущем и любой награде за любую общественную деятельность.

Неужели страна могла бы в этом случае хоть сколько-нибудь справедливо жаловаться на то, что августейший герцог сам не обеспечил своего сына, а вместо этого оставил его на попечение публики?

Мне кажется, решение этого вопроса зависело бы от следующего: дала ли страна когда-либо понять доброму герцогу, будто она хотя бы в малейшей степени ожидает, что он обеспечит своего сына. Если же она никогда ни о чем подобном ему даже не намекала, а наоборот, всеми возможными способами внушала ему радостную уверенность в том, что имеется некое хлопотное дело с гостиницами, которым никоим образом не может заниматься никто другой, кроме как августейший герцог, ибо в противном случае это дело лишится своей привлекательности и пикантности,— в таком случае я бы сказал, что вышеуказанный добрый герцог имел полное основание предположить, будто достаточно обеспечил своего сына, оставив ему в наследство гостиницы, и что страна была бы чрезвычайно неблагоразумной страной, если бы ей вздумалось жаловаться.

Предположим, что стране все же вздумалось бы жаловаться. Хотел бы я знать, что́ бы она говорила в Комиссии, в Подкомиссии и в Благотворительной ассоциации, если бы какой-либо невоспитанный человек предложил выбрать неблагородных председателей!

Ибо я хотел бы видеть страну более последовательной в своих действиях.

10 августа 1850 г.

III

Предположим, что пред состоящим на жалованье судьей, известным своими продуманными, разумными и справедливыми решениями, предстал социалист или чартист, который, как было доказано, умышленно и при отсутствии каких-либо смягчающих обстоятельств, напал на полицейского при исполнении служебных обязанностей;

и предположим, что сей судья за упомянутый проступок приговорил этого социалиста или чартиста к тюремному заключению, категорически отказавшись прибегнуть к альтернативе, несправедливо и пристрастно предоставляемой ему законом и состоящей в том, чтобы разрешить правонарушителю купить свою свободу, уплатив штраф;

и предположим, что один из великих, не состоящих на жалованье судей графства позволил себе фактически отменить правила, выполняемые в этой тюрьме во всех других случаях, и, скажем, в течение одной недели допустил к этому социалисту или чартисту четырнадцать посетителей,—

хотел бы я знать, счел бы в этом случае сэр Джордж Грей или любой другой временно исполняющий обязанности министра внутренних дел своим долгом заявить самый решительный протест против действий этого судьи графства.

И предположим, что заключенный вовсе не социалист и не чартист, а джентльмен из хорошей семьи и что судья графства именно так и поступил,— хотел бы я знать, что сделал бы в этом случае сэр Джордж Грей или любой другой временно исполняющий обязанности министра внутренних дел.

Ибо, если предположить, что он не сделал бы ничего, я бы серьезно усомнился в его правоте.

7 июня 1851 г.

IV

Предположим, что среди известий в еженедельной газете, скажем, в «Экзэминере» за 23 августа текущего года, было сообщение о двух происшествиях, составляющих чудовищный контраст.

Предположим, что первое происшествие касалось бедной женщины, жены рабочего, которая умерла в ужасающих условиях, брошенная и забытая приходскими властями;

предположим, что второе происшествие касалось скверной женщины, пьяницы и распутницы, осужденной за уголовное преступление, вернувшейся с каторги, постоянной обитательницы исправительных заведений, лишенной малейших признаков пристойности, однако образцовой заключенной образцовой тюрьмы, где этой интересной личности была выдана большая награда за отличное поведение,—

хотел бы я знать, пришло бы в голову хоть каким-нибудь властям в стране, что здесь что-то неладно?

Ибо я беру на себя смелость сказать, что подобный вопиющий пример и применение образцового закона о бедных говорит о зле столь глубоком, что его не измерить никакой бюрократической красной тесьмой *.

6 сентября 1851 г.

V

Предположим, что некий джентльмен по имени мистер Сидней Герберт [c] выступил бы в палате общин и принялся изо всех сил оправдывать порочную систему управления, которая ввергла Англию в пучину позора и бедствий;

предположим также, что этот джентльмен стал бы распространяться в палате общин о беспомощности наших английских солдат, которая естественно вытекает из того, что сапоги для них делает один человек, одежду — второй, жилища — третий, и так далее, причем речь его представляла бы собой самую удивительную смесь сентиментальной политической экономии и бюрократизма,— хотел бы я знать, было ли бы в данном случае нарушением правил, если бы кто-нибудь заикнулся о самоочевидном факте, а именно, что английские солдаты не вербуются в колыбели, что каждый из них, прежде чем стать солдатом, занимался еще каким-то делом и что во всей армии едва ли найдется полк, в составе которого не было бы людей, более или менее знающих любое ремесло, какое только существует под солнцем.

10 февраля 1855 г.

УЗНИКИ-БАЛОВНИ

Система одиночного заключения, в Англии впервые испытываемая в Образцовой лондонской тюрьме Пентонвиль *, требует от общества, как нам кажется, некоторого размышления и обсуждения. В этой статье мы намерены выдвинуть ряд, как нам кажется, серьезных возражений против такой системы.

Мы сделаем это с возможной сдержанностью и не будем полагать необходимым каждого, с кем мы расходимся во мнениях, считать подлецом, движимым низкими намерениями, которому под горячую руку может быть приписано самое беспринципное поведение. Чаще всего мы почти не верим случаям, когда в хороших людях все находят хорошим, а в плохих все плохим. В наш век процветает обширная категория лихих наездников, скачущих во весь опор по полю своей деятельности на любимых коньках и почитающих своим долгом во время этой скачки с препятствиями забрасывать своих противников комьями грязи и затаптывать конскими копытами самые скромные возражения и разумные доводы. Такая скачка происходит и вокруг нашего вопроса. Здесь есть свои лихие наездники, берущие препятствия, придерживаясь опасного принципа, что цель оправдывает любые средства, и не брезгующие никакими средствами, кроме разве правды и справедливости.

Рассматривая здесь только английскую систему одиночного заключения, мы оставляем в стороне возражение

против крайней суровости этой меры, которое незамедлительно возникло бы, если бы дело хоть в какой-то степени касалось американского штата Пенсильвания. Ибо в то время, как в указанном штате такой приговор может быть вынесен на двенадцать лет, а Англии нельзя даже и думать больше, чем о годе; во всяком случае, никак не более чем о полутора годах. Кроме того, ученье и молитвы вносят относительное облегчение в судьбу заключенных, недоступное в Америке. Несмотря на то, что «лихим наездникам» величайшей ересью кажется предположение о том, что под действием продолжительного одиночного заключения узник может сойти с ума или обратиться в идиота; несмотря на то, что всякий, кто осмелился бы высказать такое предположение в Пенсильвании, рисковал бы прослыть охульником св. Стефана; * несмотря на все это, лорд Грей, обратившись к данному вопросу в своем недавнем выступлении в палате лордов на текущей сессии парламента и восхваляя систему одиночного заключения, сказал: «Где бы ни проводились добросовестные испытания этой системы, всюду обнаруживалось, что одним из самых больших ее недостатков является тот факт, что применение ее в течение продолжительного времени чревато опасностью для заключенного и что человеческая природа не может переносить одиночное заключение дольше определенного срока. По единодушному утверждению авторитетных врачей, если этот срок превышает двенадцать месяцев, состояние здоровья заключенного, как умственное, так и физическое, требует пристального и неослабного внимания. Установлено, что восемнадцать месяцев являются предельным сроком подобного наказания, но не рекомендуется, как правило, выносить приговор на срок больший, чем двенадцать месяцев». Принимая это во внимание и учитывая, кроме того, что предстоящий больший или меньший срок одиночного заключения и все возникающие в связи с этим опасения, несомненно, оказывают влияние на психику узника с самого первого часа его пребывания в тюрьме, мы согласны считать обвинения в излишней суровости американской системы не имеющими силы для Англии.

Прежде всего мы предполагаем рассмотреть эту систему с точки зрения того колоссального противоречия, которое она порождает в таких условиях, как английские.

Мы имеем в виду физическое состояние заключенного в тюрьме по сравнению с состоянием трудящегося человека или неимущего вне ее стен. Затем мы попытаемся выяснить обстоятельства и предоставим нашему читателю возможность решить самому, настолько ли эффективно добиваются при этой системе подлинного, действительного раскаяния, чтобы это могло оправдать упомянутое колоссальное противоречие. Если, в конце концов, мы решим, что имеется меньше возражений против системы совместного заключения, при которой запрещены разговоры,— то не потому, что теоретически считаем его достаточно эффективным наказанием, но потому, что это наказание весьма строгое, поддающееся разумному административному надзору, более дешевое, не создающее такого разительного и нежелательного контраста и не рассчитанное на то, чтобы баловать заключенного, льстить его самолюбию и раздувать в нем сознание важности собственной персоны. Мы не знакомы ни с одной системой наказания подобной суровости, которую могли бы считать исправительной, за исключением примечательной системы капитана Макконохи *, бывшего губернатора острова Норфолк, которая обязывает заключенного самостоятельно принимать решения и вносить самоотречение в свое каждодневное тюремное поведение; причем приговор выносится не на определенный срок, а на выполнение определенной работы при соблюдении известных норм поведения. Некоторые подробности системы капитана Макконохи вызывают у нас сомнения (так, абсолютное молчание нам не представляется необходимым); но в основном мы считаем, что она зиждется на здравых и разумных принципах. Из работ архиепископа Уотли * мы видим, что его глубокий и острый ум признает эти же принципы.

Сопоставим прежде всего недельный рацион узников Образцовой тюрьмы в Пентонвиле с питанием обитателей того работного дома, который как будто бы является ближайшим к ней — а именно, работного дома прихода св. Панкраса. В тюрьме каждый мужчина получает еженедельно двадцать восемь унций мяса. В работном доме каждый работоспособный взрослый получает восемнадцать. В тюрьме каждый мужчина получает еженедельно сто сорок унций хлеба. В работном доме каждый работоспособ-

ный взрослый получает девяносто шесть. В тюрьме каждый мужчина получает сто двенадцать унций картофеля. В работном доме каждый работоспособный взрослый получает тридцать шесть. В тюрьме каждый мужчина получает пять с четвертью пинт жидкого какао (приготовленного из хлопьев или из молотых бобов какао), четырнадцать унций молока и сорок две драхмы черной патоки. И, кроме того, семь пинт каши, подслащенной сорока двумя драхмами черной патоки. В работном доме каждый работоспособный взрослый получает четырнадцать с половиной пинт овсяной каши на молоке. Никакой другой каши он не получает, и какао тоже. В тюрьме каждый мужчина получает три с половиной пинты супу. В работном доме каждый работоспособный взрослый мужчина получает четыре с половиной и сверх того пинту тушеной баранины с луком и картофелем. Если прибавить к этому семь пинт пива и шесть унций сыру, получим все, что может противопоставить человек, проживающий в работном доме, питанию заключенного в тюрьме, который пользуется неизмеримо большими преимуществами во всех других указанных нами отношениях. Жилье в работном доме куда хуже, чем у заключенного, о дороговизне содержания которого мы предполагаем говорить ниже.

Попробуем осветить другую сторону этого противоречия. Попросим читателя еще раз вернуться к рациону Образцовой тюрьмы и подумать, какое ужасное несоответствие существует между ним и питанием свободного труженика в любой сельской местности Англии. Сколько может зарабатывать сельский труженик? Верно ли будет указать сумму двенадцать шиллингов в неделю? Во всяком случае, это не назовешь низким заработком. Двенадцать шиллингов в неделю составят тридцать один фунт четыре шиллинга в год. В 1848 году на питание и содержание каждого заключенного Образцовой тюрьмы отпускалось без малого тридцать шесть фунтов. Следовательно, наш свободный труженик, на обязанности которого лежит содержание малолетних детей, арендная плата за жилье, покупка одежды и который лишен возможности приобретать продукты питания по оптовым ценам, содержит себя и всю свою семью, имея сумму, на четыре или пять фунтов меньшую, нежели та, которая расходуется на питание и

охрану одного человека в Образцовой тюрьме. Безусловно, при его просвещенном уме, а порой и низком моральном уровне, это замечательно убедительный довод для того, чтобы он старался туда не попасть.

Но не станем ограничиваться противопоставлением скудного питания сельского труженика и хлопьев или бобов какао в ежедневной трапезе заключенного, состоящей из супа, мяса и картофеля. Поднимемся немного выше по общественной лестнице и поинтересуемся объявлениями в газете «Таймс». Посмотрим, какое жилье и какую пищу предлагают людям среднего класса хозяева пансионов, не забывающие при этом о собственной выгоде.

«*Леди,* проживающая в коттедже с большим садом в приятной и здоровой местности, была бы счастлива разделить свое жилище и стол с одной или двумя особами женского пола. Для двух леди, занимающих одну комнату, плата — 12 шиллингов в неделю с каждой. Коттедж находится на расстоянии четверти часа ходьбы от хорошего рынка, в 10 минутах от станции Юго-Западной железной дороги и на расстоянии часа от города».

Содержание этих двух леди в Образцовой тюрьме не могло бы обойтись так дешево!

«*Питание и жилье* за 70 фунтов в год для супружеской пары или — за соответственно меньшую плату — для одинокого джентльмена или леди. В респектабельной семье. Комнаты большие и просторные, в хорошем доме в Излингтоне. Около 20 минут ходьбы до Английского банка. Обед — в шесть часов. В небольшом и приятном обществе есть всего одна или две вакансии».

Снова дешевле, чем в Образцовой тюрьме!

«*Жилье и питание.*— Леди, стоящая во главе привилегированной школы в городе, расположенном примерно в 30 милях от Лондона, была бы счастлива делить с другой леди кров и питание. В распоряжении леди были бы отдельная спальня и гостиная. Может заинтересовать каждую леди, ищущую комфорт. Условия — 30 фунтов в год. Обе стороны представляют рекомендации».

И снова почти на шесть фунтов в год меньше, чем в Образцовой тюрьме! Если бы мы (опять-таки для иллюстрации нашего противоречия) перелистали подшивку газет за месяц или просмотрели бы страницы объявлений двух-трех выпусков железнодорожного путеводителя Брэдшоу, мы смогли бы, вероятно, заполнить весь этот номер журнала подобными примерами. Причем в ряде из них фигурировал бы еще «хороший тон».

В конце 1847 года только на «строительство и ремонт» Образцовой тюрьмы была израсходована малая толика в девяносто три тысячи фунтов — и это в то время, когда на все нужды народного просвещения правительство ассигновало всего семь тысяч фунтов. Этих девяноста трех тысяч хватило бы на отправку в Австралию четырех тысяч шестисот пятидесяти бедняков (из расчета двадцать фунтов на человека). Что касается работы, проделанной пятьюстами заключенными Образцовой тюрьмы в 1848 году (эти цифры взяты из отчетов, а также из весьма ценной работы мистера Хепворта Диксона о лондонских тюрьмах), она не только не принесла никакой прибыли, но дала фактический убыток более чем на восемьсот фунтов. Этот поразительный результат может быть объяснен дороговизной обучения и большими затратами времени на обучение квалифицированных рабочих-заключенных, труд которых мало производителен. Мы готовы принять эти соображения, но пусть сам читатель решит, правильна или порочна вся система. И не будет ли более целесообразным использовать эти средства на обучение неквалифицированных рабочих вне тюремных стен, рабочих, о которых никто не заботится. Нам возразят, что средства эти используются для подготовки осужденного к изгнанию, на которое он обречен. Нам думается,— а читатель пусть будет нашим судьей,— что прежде всего всем этим следует заниматься вне стен тюрьмы; что в первую голову к эмиграции надо готовить злосчастных детей, которые либо предоставлены нежным заботам очередного Друэ *, либо составляют позор наших городов; и то, что у нас начинают не с того конца, являет собой пример чудовищной непоследовательности, возмущающей рассудок. Где наш Образцовый дом производственного обучения молодежи? Где наша Образцовая школа для нищих, «строительство и ремонт» которой

стоили бы девяносто — сто тысяч фунтов, а ежегодное содержание выражалось бы в сумме свыше двадцати тысяч? Не будет ли более христианским делом прежде всего создать эти учреждения, чтобы готовить в них квалифицированных рабочих? Направлять в чужие страны лесорубов и водоносов, отбирая их из среды заключенных; добиваться того, чтобы они вернулись к честной жизни и доказали это своим серьезным отношением к труду, усердием и упорством? Перед вами — две группы людей, проживающих в густонаселенной стране и постоянно находящихся у всех на глазах на двух чашах весов. Неужели Преступление всегда будет перетягивать Нищету и ему всегда будут отдавать предпочтение? Весы эти — перед взором всякого. Вихри ослепляющей пыли,— а ее кругом носится невероятно много,— не смогут скрыть от людей истинное соотношение вещей.

Перейдем теперь к выяснению того, как влияет одиночное заключение на психику (предполагая при этом, что срок заключения ограничен максимумом лорда Грея). Выясним, чтó достигается такой дорогой ценой — затратой огромных средств и, что еще дороже, вопиющей несправедливостью. Мы охотно согласились бы с тем, что уважаемый человек, совершивший преступление, должен искупить свою вину, не опасаясь возможности быть узнанным впоследствии закоренелыми преступниками, бывшими товарищами по заключению. Но мы ни на секунду не можем согласиться с тем, что этот довод, пусть благожелательный и гуманный, сам по себе достаточно весок, чтобы парировать выдвинутые нами возражения. Кроме того, у нас нет достаточных оснований считать, что достигается хотя бы эта единственная цель. Со школьных лет из всякого рода источников большинство из нас знает о тайных тюрьмах и секретно содержащихся заключенных, о том, как в условиях, казалось бы, непреодолимых трудностей люди, замурованные в одиночных камерах, каким-то образом умудряются узнавать о том, что в соседних одиночных камерах томятся другие люди. В завораживающем желании узнать что-нибудь о тайне, сокрытой за глухой стеной камеры; в стремлении, прильнув ухом к стене, жадно прислушиваться ко всему, что делается за ней; в непреодолимом соблазне откликнуться на приглушенный стук или любой

иной сигнал, какой только может изобрести обостренный ум, день за днем работающий в одном и том же направлении,— во всем этом видна природа человека, заставляющая его искать общения с себе подобными и воспринимающая одиночество как нечто враждебное ей; как противоестественное состояние, с которым она не может мириться. Мы без колебаний утверждаем, что в стенах Образцовой тюрьмы это общение не только вероятно, но безусловно возможно. Как раз недавно это стало установленным фактом. Были приняты некоторые меры, чтобы прекратить разговоры об этом; в действительности произошло следующее: когда заключенные в Пентонвиле перестали быть привилегированными узниками, специально отобранными для проводимого опыта, было обнаружено, что у них в ходу большая конспирация, которая, само собой разумеется, была бы невозможна без широкого общения. Записки на клочках бумаги скатывались в шарики, и заключенные, проходя по коридорам, просовывали их в окошечки камер. Во время богослужения в часовне заключенные вместо откликов на призывы священника обращались друг к другу. По приказанию начальника по всему зданию тюрьмы были расставлены секретные вооруженные караулы, чтобы предотвратить восстание, подготовляемое заговорщиками. Мы предполагаем, что при данной системе необнаруженные случаи такого рода общения не являются редкостью.

Психическое состояние, до которого доведен человек, замкнутый в четырех стенах своей камеры, регулярно посещаемый только определенными лицами, которые общаются с ним поодиночке и обращаются только к нему лично, как если бы он был объектом их особого попечения,— в большинстве случаев представляется нам мало обнадеживающим и лишенным здоровой основы. Странный всепоглощающий эгоизм — эгоцентризм и тщеславие, настоящее или притворное,— вот первый результат одиночного заключения. Чрезвычайно интересно бывает наблюдать за убийцами, которые становятся любопытными объектами такого рода, когда их наконец переводят в отведенные им камеры, где, как правило (бывают и исключения), убитый исчезает из орбиты их мышления и фигурирует только как действующее лицо собственной важной

истории преступника. И вот уже один преступник заполняет собой всю сцену. *Я* сделал то, *я* чувствую это, *я* полагаюсь на милость провидения, простертую надо мной; это автограф *моей* персоны, жалкой и несчастной; в детстве я был таким-то и таким-то; в юности я совершил такой-то проступок, чему я приписываю свое падение — не тот проступок, что так низко и варварски исказил облик того, кто создан по образу и подобию Создателя, когда я без всякого предупреждения отправил бессмертную душу в вечность, а нечто иное, простительное, что многие совершают безнаказанно. Я не нуждаюсь в прощении осиротевших жены, мужа, брата, сестры, ребенка, друга этого подло убитого человека; я не прошу о нем; меня оно мало интересует. Я не задаю вопросов священнику относительно спасения убиенной души; для меня важна *моя* душа. И я почти счастлив, что нахожусь здесь, как бы у райских врат. «Мне он никогда не нравился»,— сказал кающийся мистер Маннинг, который лгал до последней минуты и стыдливо называл лом другим, более деликатным словом, чтобы его признания звучали менее страшно.— «И я ударил его по голове острой стамеской. Я попаду в рай,— восклицает это же существо в заключение.— Куда попала моя жертва — меня не касается».

Избави, боже, нас, недостойных, верящих в Спасителя, от того, чтобы мы лишали надежды или даже смиренного упования любого преступника, находящегося на этом ужасном пути,— но мы не вправе назвать такое психическое состояние раскаянием.

Психическое состояние человека, находящегося в одиночном заключении, близко (как нам кажется) к раскаянию, но гораздо ближе к лицемерию: здесь нет страха смерти, но есть либо усердные попытки изобразить раскаяние, либо безуспешные старания представить состояние, на него похожее. Если я, заключенный Джон Стайлз, не выполняю свою работу, хотя по правилам тюрьмы должен работать, то я просто глупец. Здесь нет ничего, что бы побуждало меня отступать от правил, и есть все, что побуждает подчиняться им. Основательное питание (а каждый завтрак, обед и ужин — большое событие в этой одинокой жизни) зависит от работы; откажись я от нее, и меня ждет фунт хлеба в день. Я подвел бы сам себя отказом. Я бы

лишился единственного развлечения, если бы не диалоги с джентльменами, которые так беспокоятся обо мне. Мною интересовались бы вдвое меньше, если бы я не делал тех признаний, которые произношу. Поэтому я, Джон Стайлз, веду себя так, как здесь положено,— нравится мне это или нет.

Всегда, при любой приемлемой системе, бывают заключенные, доведенные до преступления самыми разнообразными обстоятельствами, которые ведут себя в изгнании хорошо и более не преступают законов. Нам думается, что на преступников этой категории общая камера (с запрещением разговоров) оказывала бы не менее благотворное влияние, чем наша дорогостоящая и противоестественная система одиночного заключения; и мы не можем считать хорошее поведение доказательством благотворности одиночного заключения. Допуская, что признания Джона Стайлза в настоящее время искренни, мы хотим проследить за ходом его мыслей и попытаться проверить ценность его заявлений. Где нам разыскать отчет Джона Стайлза, исходящий не от противника этой системы, но от горячего ее сторонника? Возьмем его из работы, носящей название «Тюремная дисциплина и преимущества системы одиночного заключения», написанной преподобным мистером Филдом, капелланом новой тюрьмы Рэдингского графства. Укажем, кстати, мистеру Филду, что данный вопрос не следует смешивать (что мистер Филд иногда делает) с вопросом о различиях между данной системой и безграничными злоупотреблениями и рутиной старых дореформенных тюрем. Он касается только различий между этой системой и усовершенствованными современными тюрьмами, которые не основаны на его излюбленных принципах [1].

---

[1] Ввиду того, что мистер Филд нисходит до цитирования нескольких измышлений, касающихся сообщения об одиночной тюрьме в Филадельфии, помещенного мистером Чарльзом Диккенсом в его «Американских заметках», он, возможно, будет не прочь получить некоторые сведения по данному вопросу. С этой целью мистер Чарльз Диккенс приводит записи из своего дневника, сделанные в конце того дня.

Он вышел из гостиницы и направился в тюрьму в двенадцать часов. Там его ждали, согласно уговору, джентльмены, которые и показали ее ему. Он возвратился в семь-восемь часов вечера. За это время он пообедал в тюрьме, где, по его рас-

Итак, перед вами Джон Стайлз, двадцати лет от роду, арестованный по уголовному делу. Он пробыл в тюрьме пять месяцев и пишет своей сестре: «Не волнуйся, дорогая сестрица, из-за того, что я здесь. Я же не могу не волноваться, вспоминая о своем обращении с отцом и матерью. Когда я думаю об этом, я прямо-таки заболеваю. Надеюсь, бог простит меня. Я от всего сердца день и ночь молюсь об этом. Вместо того, чтобы волноваться по поводу своего пребывания в тюрьме, я должен благодарить бога за это. Ибо прежде чем попасть сюда, я вел совсем беззаботный образ жизни. В моих помыслах не было места для бога. Я думал только о стези, которая вела меня к гибели. Передай поклон моим злосчастным сотоварищам. Надеюсь, что они сойдут со своего порочного пути, ибо им неизвестны ни день, ни час, когда этот путь для них оборвется. Я увидел мое заблуждение; надеюсь, что и они увидят свое. Но я не узнал бы его, если бы меня не постигла беда. Это хорошо, что меня постигла беда. Посещай церковь, сестра моя, каждое воскресенье и не помышляй о зрелищах и театрах, ибо они тебе пользы не принесут. Очень уж много соблазнов».

Заметьте! Джон Стайлз, совершивший уголовное пре-

четам, вопреки утверждению газеты «Филадельфия», пробыл немногим более двух часов. Он нашел, что в тюрьме образцовый порядок, что содержится она в безукоризненной чистоте и система осуществляется в ней очень толково, гуманно, тщательно, любовно и заботливо. Он никак не полагал (как не полагал бы, если бы ему предстояло побывать завтра в Пентонвиле), что книга, в которую посетителям предлагается заносить свои впечатления, рассчитана на то, чтобы в нее вносились критические замечания о системе, а не правдивое свидетельство того, каким образом система проводится в жизнь. А последнему, как беспристрастный наблюдатель, он дал самую высокую оценку, какую только мог. В ответ на тост, поднятый в его честь за обедом в стенах тюрьмы, он сказал, что его неотступно преследуют мысли обо всем том, что он повидал в этот день; что он не может не раздумывать по этому поводу; и что это ужасное наказание. Если американскому чиновнику, провожавшему его домой, попадутся когда-нибудь на глаза эти строки, он, вероятно, вспомнит разговор, который они вели с мистером Диккенсом по дороге, и то, что мистер Диккенс выражался тогда твердо и определенно. Что касается смехотворного утверждения о том, что в своей книге мистер Диккенс назвал «очень красивой» женщину-негритянку, то он абсолютно убеж-

ступление, «вел совсем беззаботный образ жизни». Это самое плохое, что он может сказать о себе, в то время как его «сотоварищи», которые уголовного преступления не совершали, являются «злосчастными». Джон видит свое «заблуждение» и видит «их порочный путь». Джона тревожат не уголовные преступления, а театры и зрелища — места, которые посещают многие честные люди. Джон заключен в свою камеру, ставшую кафедрой для его проповедей, и поучает своих «сотоварищей» и сестру, твердя о порочности честного мира. Если полагать его все время искренним, не слишком ли он высокого мнения о себе? «Посещай

ден, что в тюрьме он не видел ни одной негритянки, а показывали ему женщину, которая ухаживала за тяжелобольной и о которой он совершенно не упоминал в своих опубликованных заметках. Описывая трех молодых женщин, «одновременно осужденных за участие в заговоре», он *мог* среди такого количества узниц спутать в памяти одну из тех, о ком ему говорили, с какой-нибудь другой заключенной, приговоренной за какое-нибудь другое преступление и которую он видел своими глазами. Но у него нет ни малейшего сомнения в том, что он не виновен в столь тяжком (с точки зрения американцев) преступлении, чтобы признать красивой томную квартеронку или мулатку; как нет ни малейшего сомнения и в том, что он видел именно то, что описывал. И он великолепно помнит девушку, упомянутую в этой связи более подробно. Неужели мистер Филд серьезно предполагает, что мистер Диккенс усматривает какую-то выгоду или интерес в том, чтобы в кривом зеркале показать американскую тюрьму; если бы последний был действительно виновен в недостойном стремлении исказить истину, то чего ради он стал бы призывать в свидетели человека, добровольно испытывавшего на себе действие этой системы в течение двух лет?

Мы оставим без внимания возражение мистера Филда (который, по свидетельству мистера Питта, подчеркивает верность Бернса природе!) против обсуждения такой темы, как наша, в «чисто развлекательном» сочинении; хотя, как нам кажется, мы припоминаем два-три словечка из этой книги насчет рабства, которое, хоть и является весьма забавным, едва ли может считаться темой чисто увеселительной. Мы счастливы верить, не пытаясь обратить в нашу веру преподобного мистера Филда, что ни одно сочинение не должно быть «чисто развлекательным» и что ряд сочинений, к которым он применил бы это определение, принесли некоторую пользу для претворения в жизнь принципов, к которым, мы надеемся и верим, он, дорожа честью слуги христианской церкви, не безразличен.

церковь, которую и я могу посещать, но не ходи в театры, куда я ходить не могу». Не пахнет ли здесь кислым виноградом? Не предназначено ли это показание только «для наружного употребления»?

Вот то, что он мог бы написать сам, без подсказки: «Дорогая сестра, я чувствую, что опозорил тебя и всех тех, кто мне дорог, и, если богу будет угодно, чтобы я дожил до дня освобождения, я приложу все свои силы, чтобы исправиться и вести себя так, чтобы ты не стыдилась меня. Дорогая сестра, когда я совершил преступление, украл одну вещь... и эти мучительные пять месяцев не вернули украденного...— о, я буду трудиться до кровавого пота, чтобы возместить похищенное,— и, о дорогая моя сестра, разыщи моих бывших товарищей и скажи Тому Джонсу — это тот бедный мальчик, что был моложе и слабее меня,— что я раскаиваюсь в том, что когда-то повел его по неправильному пути, и что теперь я из-за этого страдаю». Не будет ли так лучше? Не больше ли это походит на чистую правду?

Но нет. Это не образчик раскаяния. Видимо, должен существовать некий образчик раскаяния — определенной формы, вида, объема и размеров, как тюремная камера. Пока мистер Филд занят правкой корректуры, он получает еще одно письмо; и в этом письме автор, тоже уголовный преступник, говорит о своих «прежних заблуждениях» и поучает свою мать не поддаваться «страшным дьявольским искушениям». Не возникает ли у вас подозрений, что эта самоуверенная готовность поучать других является просто попугайским подражанием мистеру Филду, который сам поучает его; и что в своей самоуверенности они взаимно меняются ролями?

Мы позволяем себе выступить против практики цитирования, в поддержку этой системы, ложных речей, которые не были ни проверены, ни испытаны за пределами тюрьмы в мире свободного труда. Мы считаем, что они ничего не доказывают и ничего не стоят, являя собой всего лишь огорчительный пример того духовного самолюбования и самомнения, о которых мы уже говорили. Это характерно не только для системы одиночного заключения в Рединге. Мисс Мартино *, которая в целом вполне положительно оценила филадельфийскую одиночную тюрьму,

наблюдала то же самое и там. «Впечатление от узников, с которыми я познакомилась,— говорит она,— было отнюдь не обнадеживающим. Некоторые из заключенных были до того глупы, что с ними в большей или меньшей степени можно было не считаться. Другие так омерзительно лицемерили и были до такой степени уверены, что уже никогда не согрешат (уверенность, неотделимая от лицемерия), что я нисколько не сомневаюсь в том, что в один прекрасный день они опять очутятся в тюрьме. Один парень, моряк, снискавший себе печальную славу тем, что лишил жизни больше народу, чем, вероятно, любой убийца Соединенных Штатов, был абсолютно уверен, что отныне вполне добродетелен. Он никогда не притронется ни к чему, крепче чая, и ни за что не посягнет на чьи-нибудь деньги или жизнь. Я сказала ему, что, по моему мнению, он не может быть во всем этом уверен, пока не увидит денег или не вдохнет запаха крепких напитков, и что его уверенность в себе превосходит ту, которую я хотела бы питать относительно себя самой. Он тряхнул в мою сторону копной рыжих волос, свирепо поглядел на меня своим единственным глазом и сказал, что уже слышал все это. Он был худшим из людей, но Христос смилостивился над его несчастной душой». (Заметьте снова, что это подтверждает наши общие наблюдения о том, что его совершенно не волнуют души тех, кого он убил.)

Предлагаем вниманию читателей другой приводимый мистером Филдом пример оздоровления психики под влиянием одиночного заключения.

«Вследствие грозящего голода день 25 марта прошлого года был объявлен днем общего поста. В моем дневнике в этот день записано следующее: «В течение вечера я посетил многих заключенных и, к большому своему удовлетворению, обнаружил, что многие из них провели этот день так, как приличествовало их положению и намеченной цели. Я считаю необходимым отметить следующее замечательное доказательство эффективности дисциплины... Все они получили свой обычный рацион. Сегодня вечером я прежде всего обошел камеры узников-новичков, ожидающих разбора своих дел (отделение A. I), и среди них (их было более двадцати) только трое отказались от какой бы то ни было пищи. Затем я обошел двадцать одного заклю-

ченного, из тех, которые уже провели некоторое время в в тюрьме (отделение C.I), и там я обнаружил, что некоторые воздержались от пищи вообще, а две трети воздержались частично». Допустим, это произошло не потому, что им давали больше, чем они могли съесть, хотя мы знаем, что при таком рационе даже это иногда случается — в особенности когда дело касается лиц, находившихся долгое время в заключении. «Ответ одного узника, к которому я обратился с вопросом относительно его воздержания, был, я полагаю, искренним и очень мне понравился. «Сэр, я был не в состоянии есть сегодня при мысли о тех бедных голодающих, но я надеюсь, что молился достаточно усердно за то, чтобы господь послал им какую-нибудь пищу».

Если бы это не было «образцовым раскаянием» и мысль о «тех бедных голодающих» действительно мучила этого человека и действительно занимала его голову, мы хотели бы знать, почему он не чувствовал себя неловко, каждый день сравнивая свой суп, мясо, хлеб, картофель, хлопья и бобы какао, молоко, черную патоку и овсяную кашу с пищей «этих бедных голодающих», которые прямо или косвенно платят за все это, внося налоги.

Мы не считаем необходимым комментировать высказывания тех авторитетов, которых цитирует мистер Филд, стремясь доказать, какое благотворное влияние оказывает система одиночного заключения на физическое состояние человека; как оно не приносит ничего, кроме пользы психике; сколь действенным превентивным средством оно является в отношении легочных заболеваний, и так далее. Из подобных высказываний мы должны сделать вывод, что провидение совершило большую ошибку, наделив нас стремлением жить в обществе, и было бы лучше, если бы с самого начала мы жили в одиночном заключении. Говоря о наших исправительных заведениях для осужденных преступников, нам не хотелось бы также ссылаться на того «талантливого преступника», доктора Додда, чьи очень плохие стихи относились к системе, теперь уже не применяющейся. После приведенной выше выдержки из речи лорда Грея мы можем также не приводить извлечений из отчетов американских специалистов, на которых мы ссылались и которые абсолютно уверены, что не было еще слу-

чая, когда бы продолжительность срока заключения влияла на умственные способности узника тюрьмы в Филадельфии. В пьесе «Добродушный человек» * мистер Крокер убедительно доказывает, что человек может быть либо с покрытой, либо с непокрытой головой и что середины не бывает. Рассуждая соответственно, мы заключаем, что и лорд Грей, и американские специалисты не могут быть в одно и то же время правы — если только пользующиеся печальной славой укоренившиеся среди американцев привычки и отсутствие в их характере даже намека не непоседливость делают их чрезвычайно подходящими для длительного одиночного заключения и исключением из всего остального рода человеческого.

Употребляя выражение «образцовое раскаяние», мы просим читателя понять, что оно применяется не к господину Филду или к какому-либо иному священнослужителю, но к системе; отчего, по всей видимости, все эти сомнительные новообращенные становятся для нас совершенно одинаковыми. Несмотря на то, что мистер Филд не выказал особой вежливости в своих высказываниях, приведенных выше, мы желаем проявить всю возможную учтивость по отношению к нему, к его сану и тому рвению, с каким он выполняет свои обязанности. Преисполненные стремления представить его читателю со всей беспристрастностью и объективностью, мы не простимся с ним, прежде чем не приведем следующую цитату из его книги:

«Вряд ли прошло достаточно времени с момента введения настоящей системы, чтобы я мог рассказать об отбывших срок наказания преступниках. Не приходится удивляться, имея дело с классом так низко павших людей, с последними подонками общества, что некоторые из тех, на исправление которых я возлагал надежды, вновь вернулись на путь преступлений. Несколько случаев меня разочаровали, но отнюдь не обескуражили, поскольку я могу с удовлетворением указать на многих людей, поведение которых свидетельствует об их исправлении. Удивительно отрадно было получить сообщения от некоторых освобожденных преступников, так же как от священников тех приходов, в которые они возвратились. Я сам также посетил некоторых из наших бывших узников на дому и был обрадован тем, что услышал, и явными признаками морального обновления, которые наблюдал. Хотя я еще не беру на себя смелости описывать особые случаи, где я весьма верю в исправление (ибо, как я уже заявил, длительность эксперимента пока

что недостаточна), все же я могу с удовольствием сослаться на некоторые официальные документы, свидетельствующие о благоприятных результатах применения подобной системы в других учреждениях».

Следует также указать, что его преподобие мистер Кингсмилл, священник Образцовой тюрьмы в Пентонвиле, в своем беспристрастном и остроумном докладе первого февраля 1849 года парламентской комиссии выразил уверенность в том, что «влияние, оказываемое здесь на нравственность заключенных, является в высокой степени обнадеживающим».

Мы все же умоляем наших читателей еще раз подумать о рационе в Образцовой тюрьме, который является очень существенным элементом системы, хотя сама по себе система считается такой здоровой; еще раз вспомнить о других огромных расходах на это учреждение; вникнуть в обстоятельства этой старой страны со всеми ее неизбежными ненормальностями и контрастами; и, спокойно взвесив все это, решить, достаточно ли оснований для того, чтобы добавлять еще одно чудовищное противоречие ко всем остальным. Наши читатели должны ясно осознать, что, обсуждая данный вопрос, мы противопоставляем данную систему не прежним тюрьмам с их бесправием и произволом (с ними, благодарение небу, мы уже покончили), но системе совместного содержания заключенных. В общих тюрьмах паек гораздо скромнее, а ежегодные расходы на питание, управление, ремонт, одежду и т. д. по самым щедрым подсчетам не превышают в среднем 25 фунтов стерлингов на каждого; многие заключенные (и так было бы с каждым из них, если бы позволили условия некоторых переполненных тюрем) пребывают взаперти в одиночестве в течение двенадцати часов из каждых двадцати четырех; и заключенный, хотя и защищен от всякого разлагающего влияния, все же остается членом человеческого общества, он не становится изолированным существом, которое не видит и не чувствует вокруг себя ничего и никого, варясь в собственном соку. Нам говорят о том, что система совместного содержания при запрещении разговоров вызывает возражения, потому что случаи нарушения при ней тюремной дисциплины влекут за собой ряд наказаний; но ведь нам говорят не переводя дыхания и о том, что решениям, принятым

заключенными относительно их туманного будущего, следует верить, и о том, что они при малейшем искушении не выдерживают первых же испытаний в реальном настоящем.

Могу ли я больше верить образцовому раскаянию, чем прошлому заключенного, когда мне говорят, что, если мы поместим данного человека с другими людьми и строжайше прикажем ему не общаться с ними ни с помощью слов, ни с помощью знаков, у него не хватит силы воли повиноваться тюремному режиму?

Вспомним и то обстоятельство, что, хотя система одиночного заключения одобрена английским парламентом и распространяется в Англии, она не получила распространения в Америке, несмотря на усилия всех «лихих наездников» Соединенных Штатов. Вспомним, что она никогда не применялась в государстве, известном своей образованностью, умеренностью, своими замечательными, пользующимися европейской славой, людьми, своими великолепными общественными институтами. Пусть эта система, если уж вы так хотите, в ограниченном масштабе будет испытана в этой стране на преступниках всех категорий, пусть будет подвергнута испытанию система капитана Макконохи; пусть будет подвергнуто испытанию все, в чем есть хоть крупица надежды; но пусть эти изменения будут только частью общей системы преобразований, рассчитанной на то, чтобы вернуть к честной жизни хотя бы некоторых из заблудших людей этой страны, а не будет являть собой живое воплощение удивительно любовного предпочтения преступления нужде и труду. Всякую тюрьму, рассчитанную на данную систему, строительство которой требует больших затрат, практически невозможно использовать для тюрьмы другой системы, и налогоплательщикам следует хорошенько подумать, прежде чем принять как само собой разумеющееся то, что эта система безусловное и непреходящее благо для страны.

При системе одиночного заключения узники занимаются однообразной отупляющей работой. При системе совместного заключения администрация Миддлсекского графства почти упразднила монотонный труд. Разве не входит в задачу юристов изучение вопроса о том, какая работа меньше всего нравится людям, всегда мыкающимся по тюрьмам больших городов — карманникам, ворам, неис-

правимым бродягам, хроническим алкоголикам, нищим вымогателям,— и разве не входит в эту задачу предоставление им именно этой работы, вместо любой другой? Среди лихих наездников, любителей скачек с препятствиями, это, как нам известно, не модно. Но мы бы нашли для всех этих людей особо трудную и черную работу, какая будет проводиться только в тюрьме и нигде более. И мы считаем своим долгом высказать сомнения по поводу того, уместно ли в такой стране, как Англия, с ее уважением к труду и трудящимся, снабжать и без того перегруженный рынок плодами трудов заключенных. По этому поводу торговцы недавно публично выражали недовольство. И мы не можем закрывать глаза на тот факт, что оно действительно обоснованно.

27 апреля 1850 г.

МЫСЛИ ВОРОНА ИЗ «СЧАСТЛИВОГО СЕМЕЙСТВА»*

I

Я не намерен этого терпеть, да и с какой стати?

Один раз изложив свои горести на бумаге, я решил продолжать в том же духе. У вас, людей, есть поговорка: «Если меня и за ягненка повесят, так уж лучше я украду целую овцу». Ну и очень хорошо: если у меня может случиться недоразумение с нашим хозяином из-за десяти листиков бумаги, так уж лучше я испишу их сотню. Итак, начали!

Хотел бы я знать, кто такой Бюффон *. Что он не был птицей, я хоть сейчас присягну. А в таком случае, что он мог понимать в птицах — и особенно в воронах? Он делает вид, что ему известно о воронах все. Но откуда? Был тот, от кого он почерпнул свои сведения, вороном? Ну, уж нет! Еще не родился ворон, который стал бы вот так откровенничать — почитайте-ка историю, и вы сами в этом убедитесь.

Каждую субботу в наше заведение является поглазеть на нас школьный учитель в порыжелых черных панталонах и приводит с собой кучу мальчишек. Он им все уши прожужжал Бюффоном. Вот откуда я знаю, что говорит Бюффон. Очень вежливый человек ваш Бюффон, да и вы все вместе взятые очень вежливые люди, это уж будьте уверены.

С чего вы взяли, что я пронырлив и нагл, что я всюду сую свой нос, что я дразню собак и гоняю их, что я безобразничаю на птичьем дворе и что я, не жалея усилий, обхаживаю кухарку, дабы войти к ней в милость? Вот что болтает ваш приятель Бюффон, а вы ему и поверили! И с чего вы взяли, что я «обжора по природе и вор по привычкам»? Да ведь тот самый мальчишка, которому это было сообщено с должной ссылкой на Бюффона, в эту самую минуту, пяля на нас сквозь сетку глаза, поглаживал в кармане чужой волчок, а сам чуть дышал, объевшись пудингом.

Я вам одно скажу. Вот у вас хватает совести писать всяческие историйки про нас, и решать, какими мы должны быть, а какими — не должны, и наделять нас всякими кличками. А как вы думаете, в каком виде предстанете вы сами, если мы вздумаем пописывать историйки про вас? Скажу не хвастая, мне кое-что известно о цирке Астли *, недаром же я прожил несколько лет в тамошних конюшнях. Черт побери! Послушали бы вы, что говорили лошади после представления, так не мнили бы о себе столько!

Не подумайте, что я восхищаюсь Кошкой. Я ею вовсе не восхищаюсь. Вернее сказать, я питаю к ней личную вражду. Но, будучи обречен вести подобную жизнь, я порой снисхожу до беседы с ней, и как-то спросил, каково ее мнение на ваш счет. Перед тем, как поселиться здесь, она проживала у старой и богатой дамы, приходившейся теткой множеству племянников и племянниц. Так, по словам Кошки, она там такого насмотрелась, что не понимает, как у вас хватает наглости обвинять Кошку в лукавстве и себялюбии.

Значит, я, по-вашему, не жалея усилий, обхаживаю кухарку, вот как? Уж вы-то, конечно, ни на что подобное не способны, а? Среди вас не найдется ни одного политического деятеля, который, не жалея усилий, обхаживал бы министра, э? Ни одного священника, усердно обхаживающего епископа? Гм! Ни одного блюдолиза, усердно обхаживающего вельможу? Ой ли? У вас, значит, нет ни прислужничества, ни искательства, ни погони за выгодным местечком, ни лакейства во имя золотых и серебряных жезлов? Ну, совсем ничего такого? Короче, у вас нет излишка в кухарках, которых вы все усердно обхаживаете, подби-

раясь к общему пирогу? Да уж конечно. Это вы предоставляете воронам.

Ваш приятель Бюффон, да и многие другие из вас, любит живописать нашу натуру, не жалея красок. А хотите послушать, каковы ваши собственные нрав и терпеливость? Спросите Собаку. О том, как вы никогда не перегружаете, никогда не бьете усердного работника? Спросите приятеля моего шурина — Верблюда в Зоологическом саду. О том, как вы вознаграждаете верных слуг за долгую службу? Жаль, что я не могу отослать вас к последней лошади, которой мне довелось пообедать (эх, и жестка же она была!) на живодерне в Тэттл Бридж. О том, как вы из кротости никогда не пускаете в ход палку? Погодите, вот скоро выйдут мемуары Осла!

Вы, как погляжу, любите насмехаться над Попугаем. Я сам попугаев недолюбливаю. Мне не нравится попугаичий голос — хрипотцы в нем не хватает. И попугаичья ливрея мне противна — для одежды приличен только черный цвет. Мне приятней закусить попугаем, чем смотреть на него. Куда приятней. Но ведь вы-то смеетесь над попугаем потому, что он без конца твердит одно и то же,— а вам не кажется, что вы тут над собой смеетесь? Вам когда-нибудь приходилось слышать, как глава кабинета, когда заходит речь о каком-нибудь вопиющем злоупотреблении или непростительной ошибке, известной всей стране, вдруг начинает заверять достопочтенных членов палаты, что самому ему ничего об этом не известно, но что все необходимые справки будут немедленно наведены? А вы слышали, как судья, ужасаясь неизбывному невежеству какого-нибудь бедняка-преступника, заявляет, что это из ряда вон выходящий случай и что он просто ушам своим поверить не может — хотя всю свою жизнь он мог бы у самых стен своего дома наблюдать десятки тысяч столь же прискорбных исключений? Да слышали ли вы в вашей среде что-либо равное попугаичьему повторению таких слов, как «конституция», «родина», «служение обществу», «самоуправление», «централизация», «противуанглийский», «капитал», «равновесие сил», «капиталовложения», «хлеб», «права рабочих», «заработная плата» и так далее? Слышали ли вы что-либо подобное? Нет! Само собой разумеется, никогда не слышали.

Но вернемся к этому вашему Бюффону. Он находит, что мы, вороны, на редкость странные существа. Мы обладаем такими замечательными чертами характера, что просто не верится. «Монета, чайная ложечка или кольцо,— говорит он,— неминуемо соблазняют их. Побуждаемые алчностью, они исподтишка хватают подобные безделки и, если за ними не следят, утаскивают их в свой излюбленный тайник». Просто удивительно!

Вам когда-нибудь приходилось слышать о местечке, которое зовется Калифорнией? Мне вот приходилось. Говорят, туда со всех концов света набрались какие-то твари: они роются в земле, полощутся в воде, болеют, линяют, живут в нужде и страхе, голодают, умирают, гибнут, убивают друг друга — и все ради чего? Ради монеток, которые им хочется утащить в свой излюбленный тайник. Воронье они, все до единого. Ни одного человека среди них днем с огнем не сыщешь, так-то.

Вы когда-нибудь слышали о железнодорожных акционерных компаниях? Я-то слышал. Вот когда мы себя показали — мы, пернатые создания, обладатели уютных гнездышек! Как мы все с ума сходили из-за таких компаний! Как мы все, до единой птицы, от орла до воробья, падали ниц перед таким вот огородным пугалом и поклонялись ему во имя любви к клочкам бумаги, сыпавшимся из его грязных карманов! Если бы оно не прогнило насквозь и не рассыпалось, мы лет через десять, того и гляди, наградили бы его титулом! А подите вы вместе с вашим Бюффоном и не морочьте мне голову своими разговорами.

«Ворон не довольствуется похищением припасов из кладовой или погреба (вот вам опять ваш Бюффон!). Нет, он покушается и на более драгоценную добычу, от которой ему нет ни радости, ни проку». Как вы должны этому дивиться, вы, люди,— даже больше, чем та Кошка, которая жила у богатой старухи!

Нет, я этого терпеть не намерен. Не выйдет по-вашему! Раз люди пишут о вóронах, то и вóроны будут писать о людях — я уж об этом позабочусь. Ну, хоть не вóроны, а Ворон — а точнее сказать, я сам. Я напишу все, что о вас думаю. А если подвернется удобный случай и выпадет досужая минутка, я составлю вашу естественную историю. Вы любите поговорить о возложенных на вас высоких мис-

сиях. Так вот это будет моей миссией. Как она вам понравится?

Я с благодарностью воспользуюсь сведениями, сообщенными мне любым животным, кроме подобных вам; все птицы, звери и рыбы, если они того пожелают, могут содействовать мне в исполнении моей миссии. Я намекнул об этом Кошке, сообщил об этом Мыши и попросил об этом Собаку. Когда я говорю об этом Сове, она покачивает головой и выражает сомнение. Но когда же это она не покачивала головой и не выражала сомнения? Выступая публично, она только и делает, что покачивает головой и выражает сомнение. И ведь, кажется, она из-за этого нажила себе немало неприятностей за те долгие годы, пока гнездилась в Канцлерском суде. Но отвыкнуть от этого она никак не может. И ничего другого от нее не добьешься.

Да, кстати о миссиях! Жена нашего Хозяина тоже обзавелась миссией! Она уверилась, что жить не может без права голосовать на выборах, без права выставлять свою кандидатуру в парламент,— а также, если не ошибаюсь, без права получать офицерские чины в армии и флоте. Она вдруг открыла, что ей вовсе незачем быть утешением жизни нашего Хозяина и пленять его своей отрешенностью от грубого торгашества мира мужчин; наоборот, она почувствовала, какое это низкое тиранство — ждать от нее, чтобы она была светлой феей его домашнего очага,— и помышляет теперь только о произнесении речей. Такова новая миссия Жены нашего Хозяина. Ну, какая Голубка способна на подобную нелепость? Она-то знает, в чем ее истинная сила.

Вы чванитесь своим даром речи, но к чему вам слова, коли вы не можете найти им применение получше? Вы же только и делаете, что вечно заводите из-за них свары. А не пора ли вам подумать о вещах более существенных? По-моему, у вас есть священная заповедь, не позволяющая вцепляться друг другу в глотку из-за простых слов. Вы ведь ее почитаете, не так ли?

Право, меня на моей жердочке в Счастливом Семействе и то совсем оглушили слова. В зверинце, перед тем, как меня продали, я все думал, что хуже павлиньего крика ничего быть не может, но уж лучше двадцать павлинов, чем

один Горэм * и Тайный совет. В пылу своих словесных потасовок вы забываете о зрителях. Но если бы вы слышали то, что мне приходится слышать на моей людной улице, вы перестали бы поднимать такой шум и позволили бы большинству спокойно во что-то верить. Вы перегибаете палку, уверяю вас.

Что же удивительного, если Попугай набирается разных слов и начинает ими забавляться? Какое другое занятие может он себе найти? Ведь нет ни нуждающихся попугаев, ни неграмотных попугаев, ни попугаев-иностранцев, пребывающих в заразном состоянии мятежа, ни попугаев, которым грозила бы моровая язва, ни гнусных трущоб, населенных нищими попугаями, ни попугаев, требующих, чтобы их скорей-скорей отправили за моря. А вот среди вас!..

Ну-с, повторяю: я более не намерен этого терпеть. Покорное приятие несправедливости недостойно Ворона. Я испускаю карканье восстания и призываю Счастливое Семейство сплотиться вокруг меня. Вы, люди, много лет делали, что хотели. Но теперь вы услышите о себе кое-что новенькое.

Я обнаружил, что прошлые мои записи исчезли из уголка, где я их припрятал. Я грешным делом заподозрил Скворца, но он говорит: «Клянусь честью!» Если они попали к мистеру Роуланду Хиллу, он воздаст мне должное — и куда больше, чем вы воздавали ему за последнее время,* — или я в нем ошибся.

11 мая 1850 г.

II

Эгей!

Вы никак не хотите позволить, чтобы я приступил к составлению вашей Естественной истории, а? Вам непременно нужно что-нибудь вытворить, чтобы отвлечь мое внимание. Вот теперь вы затеяли свару с гробовщиками! Уж не знаю, до чего вы еще можете додуматься.

Фу! Долго же вы, милейшие, выбирали время, чтобы наконец решить, собираетесь ли вы и дальше терпеть подобное надувательство. «Исполнение» похорон, подумать только! Мне доводилось слышать об исполнении всяких

штук учеными собаками и кошками, учеными козлами и мартышками, учеными пони, белыми мышами и канарейками, но, признаюсь, «исполняющие» пьяницы, которые пьют без передышки в честь ваших дорогих умерших и добрую половину из вас втягивают в долги на целый год,— дальше ехать некуда! Ха-ха!

На днях по соседству с нашим заведением «взял да и помер» (как выражается жена нашего Хозяина) какой-то человек. Клянусь клювом, во время похорон я чуть с жердочки не свалился, до того вы меня рассмешили!

Перышки мои! Ну и зрелище это было! В жизни не видел, чтобы Сову так пробрало. Очень все это ей понравилось.

Перво-наперво явились два разодетых господина — они делали вид, будто трезво смотрят на вещи, только это у них не получалось,— и встали по обеим сторонам двери. Стояли они там уж не знаю сколько часов, держа в руках костыли, обмотанные черным сукном, отпускали шуточки по адресу входящих внутрь и наполняли наше заведение напротив таким крепким ароматом рома с водой, что Морская Свинка (голова-то у нее слабая) через десять минут была уже пьяна в стельку. Вы очень гордитесь своей принадлежностью к роду человеческому. Ха-ха! Два приличных грача проделали бы все это куда лучше.

Потом, глядь, подъезжает катафалк и за ним две кареты четверней; а на катафалке, и на каретах, и на лошадиных головах качаются плюмажи — столько-то за прокат каждого перышка; и все это, и даже лошади, укрыто черным бархатом, так что и не разобрать, что где. И как будто перьев еще не хватало, один участник процессии тащит их на голове целый поднос, точно итальянец-лотошник свои гипсовые бюсты; еще в этой процессии было человек двадцать пять, а то и тридцать (и у всех лица так и лоснились после обеда с обильными возлияниями) с черными шарфами и лентами на шляпах; а в руках они несли что-то вроде складных удочек и так волочили ноги по грязи, что я чуть не задохнулся от хохота. А «Содержатель черной конюшни» (он сам себя так называет), у которого нанял лошадей и карету гробовщик, у которого их нанял галантерейщик, у которого их нанял плотник, у которого их нанял приходский клерк, у которого их нанял причетник, у кото-

рого их нанял маляр-стекольщик, который устраивал похороны, выглянул из окна трактира на углу, покуривая трубку, и сказал — я это сам слышал: «Такой кортеж, что любо-дорого, и все как у приличных людей». Такой кортеж! Да если взять напрокат маскарадные костюмы по два шилинга шесть пенсов штука и окунуть их в чан с ваксой, вид будет такой же торжественный и обойдется это куда дешевле!

Вы думаете, я вас не знаю? Зря думаете. Но если вы так думаете, я, пожалуй, скажу вам то, что знаю. Есть у вас силы снести это? Ну, так слушайте. Содержатель черной конюшни прав. «Как у приличных людей» — вот где корень всему.

Полагаю, вы не станете этого отрицать. Полагаю, вы не будете убеждать меня, что причина этой смехотворной церемонии — не ваше желание, чтобы все было «как у приличных людей». Я ведь знаком с Вороном, проживающим на соборной колокольне, который не раз слышал вашу заупокойную службу. Я ведь знаю, что вы всегда начинаете ее словами: «Нагими пришли мы в этот мир и нагими покидаем его». Я ведь знаю, что вы, мерзко глумясь над этими словами, тащите взятые напрокат бархат, перья, шарфы и прочую мишуру к самому краю могилы, а потом вас обирают до нитки (так вам и надо!), потому что вы желаете, чтобы все было «как у приличных людей».

А? Сами подумайте. Маляр-стекольщик является получить заказ на похороны, каковой он собирается передать причетнику, который собирается передать его клерку, который собирается передать его плотнику, который собирается передать его галантерейщику, который собирается передать его гробовщику, который собирается разделить его с Содержателем черной конюшни. «Катафалк четверней, сэр?» — спрашивает он. «Нет, достаточно будет и пары».— «Изволите ли видеть, сэр, когда мы хоронили мистера Грэнди, проживавшего в доме двенадцать, лошадок было четыре, сэр; это я так, к слову».— «Ну, пожалуй, можно и четыре».— «Благодарю вас, сэр. И, скажем, две кареты четверней, сэр?» — «Нет, парой».— «Вы уж извините меня, сэр, но соседи удивятся, если в катафалк будет заложена четверка, а в кареты только по паре. Уж если мы в один экипаж запрягаем четверку, то и в остальные

тоже».— «Ну, хорошо, пусть чертверней».— «Благодарю вас, сэр. И само собой, перья?» — «Нет, перьев не надо. У них такой нелепый вид».— «Будет исполнено, сэр. Так, значит, без перьев?» — «Без».— «Будет исполнено, сэр. Конечно, можно и без перьев, только так обычно не делается, если уж кареты четверней и катафалк тоже. Мистера Грэнди мы хоронили с перьями — это я так, к слову, сэр,— и если перьев не будет, как бы миссис Грэнди * не сочла это странным».— «Хорошо, хорошо. Пусть будут перья!» — «Благодарю вас, сэр», ну, и так далее.

И не всеми ли этими «и так далее» в этом самом черном из черных дел вы обязаны миссис Грэнди и «приличным людям»?

Наверное, вы обо всем этом задумывались? Наверное, вы поразмыслили над тем, что делаете и что уже сделали? Когда вам приходится читать о балагане, который устраивают на деньги похоронных обществ, вы не пытались сообразить, почему вообще появились похоронные общества? Вы отлично понимаете — вы, люди состоятельные, обязанные подавать благой пример,— что не только узаконили бессмысленные траты, но и совсем сбили бедняков с толку во всем, что касается погребения, научив их подменять уважение к усопшим и горе большими расходами и показной пышностью. Вы знаете все, за что вы ответственны, вы, приличные люди? Очень приятно это слышать.

Если не ошибаюсь, только обезьяны способны на рабское подражание, не так ли? А вы лишь следуете благим примерам. И сияете отраженным светом. Как миссис Грэнди — недаром она умеет бросить тень на человека, не правда ли? Какие это животные роют неглубокие ямы в местах скопления себе подобных, кладут в них своих покойников, чуть прикрывая их землей, а затем по-дурацки заражаются от своих покойников и мрут тысячами? Коршуны, наверное. Если не ошибаюсь, вы называете коршуна стервятником? Мне он не кажется чересчур приятным, но я что-то не видел, чтобы он вытворял подобные мерзости.

Мой высокочтимый друг Пес — я называю его высокочтимым другом в вашем парламентском смысле, ибо терпеть его не могу,— трижды поворачивается на месте, прежде чем улечься спать. Я спросил его, зачем это он. Он ответил, что не знает, но так уж всегда делается. А вы зна-

ете, почему у вас повелось, чтобы участник процессии нес на голове поднос с перьями? Ну, скажите-ка. Ведь вы хвастливое племя. Покажите же, что вы умнее пса, и объясните мне, в чем тут дело.

И еще одно: я мало кого люблю из людей, но гробовщиков я люблю. Все, что я говорю в осуждение вам, к ним не относится. Они так хорошо вас изучили, что я считаю их вроде как вóронами. Они убеждены, что вы «приличные люди», и уже ни перед чем не останавливаются. Они уверены, что крепко держат вас в руках. Наш хозяин только вчера вечером читал газету, где чувствительный и оклеветанный гробовщик заявил, будто утверждение, «что похороны неоправданно дороги, оскорбительно для его собратьев по ремеслу». Ха-ха! Он-то знает, что вы у него в кулаке. Его не смущает, что дороговизна похорон — это факт, всеми вами проверенный на опыте и столь же очевидный, как солнце в безоблачном небе. Он не сомневается, что, если вам нужно будет «исполнить» похороны, ему стоит только пугнуть вас, миссис Грэнди, и вы сразу шелковыми станете,— а потом он отправится домой, хохоча, как гиена.

Право, будь у меня руки, я заключил бы в объятия всех гробовщиков (при условии, что наш Хозяин не стал бы меня насильственно удерживать). Вот еще один из них в той же газете жалуется, что их облыжно обвиняют, будто они возмутительнейшим образом сорвали митинг, посвященный этому вашему «Биллю о погребении». Наше заведение находилось в тот вечер на Стрэнде. Там, конечно, не было толпы служителей похоронных контор с зажигательными письмами в карманах — с письмами, призывающими их явиться туда в цветной одежде и поднять шум; и конечно, это не служители похоронных контор забрались туда с приказом вопить и свистеть; и конечно, это не служители похоронных контор ринулись с кулаками к трибуне, сбивая с ног женщин, словно дикий табун. О конечно, нет! Я-то это отлично знаю.

Но — и запомните это хорошенько, вы, венцы творения, как вы себя называете,— именно служителям похоронных контор передаете вы в часы жгучего неизбывного горя останки тех, кто был дорог вашему сердцу, тела ваших сестер, матерей, дочерей и жен. Именно этим достойнейшим

субъектам, столь прославленным торжественностью своей речи и благородством манер, вверяете вы все самое чистое и драгоценное, что было у вас на земле. Не улучшайте эту породу! Не изменяйте этого обычая! Останьтесь верны миссис Грэнди и моему мнению о вас!

Я прибиваю черный флаг Содержателя черной конюшни к нашей клетке — конечно, выражаясь фигурально,— и становлюсь на защиту «приличных людей». И Сова тоже (хотя по другим причинам). Билль, о котором я упомянул, дает вам возможность изменить эту систему, воспользоваться европейским опытом, отделить смерть от жизни, окружить ее всем, что величественно и свято, очистить ее от всего, что ужасно и гнусно. Вы не желаете даже прочесть этот билль? Вы не желаете даже и думать о том, чтобы способствовать его принятию? Вы не желаете даже узнать, почему он необходим? Не так ли? Так! Отлично!

Приличные люди, вперед, на помощь Содержателю черной конюшни! Крысы с вами. Мне сообщили, что они единодушно приняли решение считать закрытие лондонских кладбищ оскорблением для своих собратьев по ремеслу и обязались «отплатить за него». Попугаи с вами. Сова с вами. Ворон с вами. Долой билль о погребении! Да здравствует падаль! Ха-ха! Эгей!

8 июня 1850 г.

III

А вы уже думали, что меня больше нет в живых? Как бы не так. Не льстите себя надеждой, что я уже забыл о вас. Я начеку, а вы то и дело мне о себе напоминаете.

Я приступил к своему великому труду, посвященному вам. Я начал с того, что обратился за сведениями к Лошади. То-то вам приятно это слышать. Еще бы! О, она вас так расписывает! Послушать ее, до чего вы все очаровательны!

Кстати, она сообщила мне, что состоит в дальнем родстве с Пони, который несколько недель тому назад летал на воздушном шаре, и добавила, что не слышала ничего более удивительного, чем рассказ Пони о том, как вы ра-

лись в сады Воксхолла поглазеть на него. Пони говорил, что от толпы, любопытствовавшей увидеть, как произойдет то, что обещала гравюра на афише, у него прямо в глазах рябило: столько одинаковых физиономий — вроде бы и разные люди, а на деле все бездельники!

Так уж у вас повелось. И вы это сами знаете. Не спорьте, пожалуйста. Вы обязательно отправитесь поглазеть на то, на что ходят смотреть все. И не пытайтесь утешиться мыслью, что я имею в виду «вульгарное любопытство», как вам угодно называть любопытство, которого вы сами не разделяете. Светское любопытство нашего общества так же вульгарно, как и любое другое.

О конечно, вы станете твердить: «Нет, что вы!» — но я отвечу: «Да, вот именно!» Непальские принцы, например. Что вы на это скажете, хотел бы я знать! Весь прошлый сезон в самых приличных домах из-за этих непальских принцев куда больше толпились, толкались, оттирали, давили, нажимали и продирались вперед, чем в вульгарных Креморнских садах и Гринвичском парке на пасху или на троицу. И ради чего? Что вы о них знаете? Известно ли вам, зачем они сюда приехали? Найдете ли вы их страну на карте? Вы хоть поинтересовались ее климатом, флорой и фауной, государственным устройством, ремеслами, обычаями, религией или нравами? Где уж вам! Но раз парочка смуглых принцев, чувствуя себя весьма не в своей тарелке, разгуливает по городу в широченных муслиновых штанах, с ног до головы сверкая драгоценностями (словно подросшие фигурки на башенных часах), то как не поглазеть на этих заморских чудищ, как не устроить шум из-за такой новинки? А если уж удалось пригласить их к обеду и посмотреть, как они сидят за столом и не желают есть в вашем обществе (с такими-то нечистыми тварями!), так и совсем с ума можно сойти от восторга. Ах, прелесть, прелесть, не правда ли? Тьфу, ну и болваны же!

Нет, найдется ли такая диковина, которая не покажется вам «львом» *, как вы выражаетесь? Ну, вот сами подумайте. Это, во всяком случае, не бегемот. Мой шурин, проживающий в Зоологическом саду, говорил мне, что вы тысячами бегаете в Риджент-парк поглазеть на бегемота. До чего же вам нравятся эти бегемоты! Уж если вы увидите этого зверя, то тут же начинаете во всех подробно-

стях изучать его, не правда ли? Вы уходите, став куда мудрее, чем прежде, и предаваясь глубоким размышлениям о чудесах творения, а?

Чушь! Вы ходите друг за дружкой, точно дикие гуси, только гуси куда вкуснее вас.

Это, впрочем, не относится к наблюдениям моего друга Лошади. Она смотрит на вас с совсем другой точки зрения. Хотите прочесть ее заметки, предназначенные для вашей Естественной истории, над которой я сейчас тружусь? Ах, не хотите! Ну, так сейчас вы их почитаете.

Теперь она превратилась в извозчичью лошадь. Когда-то она видела лучшие дни, но теперь возит кэб, и ее стоянка находится рядом с любимым местом нашего Хозяина. Вот как нам удается завязывать беседу — нам, «Бессловесным тварям». Ха-ха! Бессловесным, как бы не так! Ну, до чего же вы, люди, любите чваниться только потому, что доводите всех до исступления, произнося всякие речи!

Ну, да дело не в том. Я попросил Лошадь сообщить мне ее мнение о вас и все сведения о ее знакомстве с вами. Вот они:

«По просьбе моего высокоуважаемого друга Ворона я хотела бы высказать кое-какие замечания касательно животного, именуемого Человеком. В течение пятнадцати лет я близко и в разных качествах наблюдала это странное существо, а сейчас мною управляет кучер извозчичьей коляски номер двенадцать тысяч четыреста пятьдесят два.

Наибольшее впечатление на протяжении всей моей карьеры на меня производило то сознание собственной ничтожности, которое испытывает Человек по отношению к более благородным животным — я имею в виду главным образом лошадей. Если Человеку удается узнать Лошадь немного получше, он гордится этим куда больше, чем если бы ему удалось познать самого себя — в пределах его ограниченных способностей, разумеется. Он считает это вершиной всех человеческих знаний. Если он научился разбираться в лошадях, то ему уже нечему больше учиться. С некоторой оговоркой то же самое можно сказать и об отношении Человека к Собаке. Мне в свое время часто приходилось встречаться с людьми, но, кажется, я ни разу не видела Человека, который не считал бы нуж-

ным для поддержания своей репутации делать вид, что он что-то понимает в лошадях и собаках, хотя бы на самом деле он в них ничего не понимал. И мы — излюбленная тема его разговоров. Я убеждена, что о нас говорят куда больше, чем об истории, философии, литературе, искусстве и науке вместе взятых. В деревне мне приходилось видеть бесчисленное множество господ, которые не были способны интересоваться чем-либо другим, кроме лошадей и собак,— исключая коров, конечно. И если не ошибаюсь, именно эти господа считаются цветом цивилизации.

Мне кажется, больше всего на свете Человек жаждет подражать конюху, жокею, кучеру дилижанса, барышнику или, на худой конец, завзятому собачнику. Возможно, я запамятовала еще какой-нибудь из его идеалов, но если так, я не сомневаюсь, что он тоже связан с лошадьми и собаками, а может быть, с теми и другими вместе. Это — бессознательная дань уважения, которую тиран приносит более благородным животным, и я считаю ее весьма замечательной. Мне приходилось знавать лордов, и баронетов, и членов парламента без числа, которые отказывались от любых других призваний, лишь бы стать посредственными содержателями конюшен или псарни и оказаться покорными игрушками в руках подлинных аристократов этого дела, имеющих к нему врожденный талант.

Все это, повторяю, дань восхищения нашему превосходству, и я считаю ее весьма замечательной. И все же, признаюсь, я до сих пор не могу этого как следует понять. Совершенно очевидно, что Человек посвящает себя нам не из уважения к нашим достоинствам, ибо он им никогда не подражает. Мы, лошади,— честнейшие животные, хоть я сама это говорю. Если обстоятельства, например, вынуждают нас выступать в цирке, мы ясно показываем, что все это лишь представление. Мы никогда никого не обманываем. Это ниже нашего достоинства. Если нам дают важную работу, мы выполняем ее со всем усердием. Если от нас хотят, чтобы на скачках мы схитрили и проиграли, имея возможность выиграть, этого добиться не так-то просто: тут уж приходится вмешиваться Человеку и принуждать нас к этому силой. И я не перестаю дивиться тому, как Человек (насколько я понимаю, он принадлежит к какому-то весьма ловкому виду обезьян) вечно превращает

нас, более благородных животных, в орудие своей подлости и алчности. Мы так же ни в чем не повинны, как фишки в игре, но эта тварь и тут фальшивит и обманывает.

Всякой разумной Лошади известно, что мнение Человека, будь оно хорошим или дурным, немногого стоит. Но справедливость остается справедливостью, и меня возмущает, что люди имеют обыкновение говорить о нас так, словно мы имеем ко всему этому хоть какое-то отношение. Они утверждают, что такого-то «погубили лошади». Погубили лошади! Даже тут у них не хватает прямоты сказать, что его погубили люди, и вот они честят нас в хвост и в гриву. А ведь мы никогда никого не губили и только постоянно гибнем сами, благородно стараясь исполнить свое полезное назначение в жизни.

Точно так же нас ни за что ни про что считают дурным обществом. «Такой-то связался с лошадьми и погиб». А ведь мы могли бы исправить его — сделать из него трезвого, трудолюбивого, аккуратного, порядочного и разумного человека. Ну, скажите, какой вред могли бы мы ему причинить?

Короче говоря, Человек, каким мне довелось его наблюдать, представляет собой бестолковую и самодовольную тварь, которой нельзя доверять и которая вряд ли когда-нибудь станет такой же честной, как более благородные животные. Я сказала бы, что уменье Человека совращать более благородных животных на дурную стезю и компрометировать их своим обществом уступает лишь его искусству выращивать овес, сено, морковь и клевер, которое составляет лучшее из его достоинств. Прихоти его трудно понять, ибо он редко объясняет, чего хочет, и чаще полагается на нашу догадливость. Он жесток и любит кровь — особенно в скачках с препятствиями, и не знает, что такое благодарность.

Но при этом, насколько я могу судить, он нам поклоняется. Он воздвигает на улицах наши подобия (не слишком похожие, хотя и не от недостатка старания) и требует, чтобы его соплеменники восхищались ими и молились им. Как мне кажется, человеческие подобия, помещаемые на спинах этих лошадиных подобий, не имеют никакой важности, ибо среди них я не обнаружила вели-

ких людей — если не считать одного, но зато его подобие заказывалось, очевидно, оптом. На мой взгляд, Жокеи, взгромоздившиеся на наши статуи, весьма и весьма неуклюжи, но все же приятно, что Человек хотя бы после нашей смерти признает, чем он был нам обязан. Я полагаю, что, причинив зло какой-нибудь выдающейся Лошади, он после ее кончины устраивает подписку и заказывает на собранные средства скверное ее изображение, каковое и воздвигает на площади для всеобщего поклонения. Я не могу объяснить такое обилие наших изображений в городах ничем иным.

С обычной для Человека непоследовательностью он не воздвигает статуй ослам, которые, хотя они далеко уступают нам в благородстве, все же имеют неоспоримое право на его благодарность. Несомненно, статуя Осла напротив Лошади в Гайд-парке, еще один Осел на Трафальгарской площади и группа меднолобых ослов напротив ратуши в лондонском Сити (если не ошибаюсь, в этом здании помещается муниципальный совет) были бы весьма уместными и приятными памятниками.

Пожалуй, я не могу предложить моему высокоуважаемому другу Ворону никаких иных подробностей, которые не были бы уже подмечены его собственным острым умом. Как и я, он стал жертвой грубой силы и должен терпеливо ждать, чтобы изменился нынешний порядок вещей; возможно, он изменится в блаженные времена, которые уже грядут,— и надо только чуточку подождать».

Ну-с! Как вам это понравилось? Таково мнение Лошади. Скоро вы узнаете также, что думают другие животные. Я снесся со многими из них, и все они точат на вас зубы. Ведь не один я сумел вас разгадать. Рад заметить, что вам никто уже не верит и вас ждет полное посрамление.

Да, кстати, о Лошади: вы не собираетесь воздвигать новые лошадиные подобия? А? Поразмыслите немножко. Ну же! Неужто вам хватает ваших нынешних лошадей? Нельзя ли, потратив тысчонок десять, еще кого-нибудь усадить на лошадиную спину? В наших крупнейших городах уже стоят статуи большинства «благодетелей человечества» (см. объявление). Вы прогуливаетесь по целым рощам великих изобретателей, учителей, исследователей,

целителей, укротителей болезней, создателей высоких идей, свершителей славных дел. Так докончите список. Ну же!

Кого вы взгромоздите на седло? Давайте возьмем какую-нибудь из основных добродетелей! Скажем, Веру? Или Надежду? Или Милосердие? Вот-вот, Милосердию больше всего пристало разъезжать верхом. Возьмем же Милосердие.

А как его изобразить? А? Что вы на это скажете? В виде особы королевской крови? Разумеется. В виде герцога? Еще лучше. Милосердие всегда воплощалось в подобном облике еще со времен некоей вдовы. А ничего другого воздвигать не осталось, ведь все простолюдины, «облагодетельствовавшие человечество», давно уже обзавелись статуями на городских площадях.

Во что же его одеть? В лохмотья? Фи! В мантию? Избито. В фельдмаршальский мундир? Прекрасно! Милосердие в фельдмаршальском мундире (ничуть не пострадавшем от носки) с тридцатью тысячами фунтов общественных фондов в кармане и еще пятнадцатью тысячами фунтов общественных фондов позади него будет представлять на проезжих дорогах простую и ясную правду, делая честь своей стране и эпохе.

Ха-ха-ха! Вы никак не можете удержаться, чтобы не запачкать память скромного, честного, любезного, добряка-герцога своим лакейством, а? Ну конечно,— это совсем в вашем духе! У меня в зобу есть три медные пуговицы — вношу их все три. Одну — на статую Милосердия, одну — на статую Надежды и одну — на статую Веры. В качестве Веры мы воздвигнем конную статую непальского посланника — он ведь принц. А в качестве Надежды усадим на лошадь бегемота — и получим целую группу.

Давайте устроим по этому поводу собрание.

24 августа 1850 г.

СТАРЫЕ ЛАМПЫ ВЗАМЕН НОВЫХ

Нет ничего удивительного в том, что волшебник из сказки об Аладдине, увлекшись изучением алхимии, пренебрегал изучением рода человеческого; мы можем лишь с уверенностью сказать, что, невзирая на свою профессию, он был изрядным простофилей, ибо не имел ни малейшего представления ни о человеческой натуре, ни о бесконечном потоке событий человеческой жизни. Если бы в те времена, когда он обманным путем пытался завладеть волшебной лампой и бродил, переодевшись, вокруг летающего дворца, ему пришло в голову выкрикивать не «Новые лампы взамен старых», а «Старые лампы взамен новых», ему удалось бы так сильно опередить свою эпоху, что он сразу поравнялся бы с девятнадцатым веком христианской эры.

Однако в наш развращенный и безбожный век (многие полагают, что виной тому крах банка, в котором вкладами являются несбывшиеся чаяния наших отцов и дедов) прекрасная идея, весьма сходная с той, что была только что высказана нами, обычно известная профанам в качестве «младоанглийской галлюцинации» *, погибла на самой заре своего существования к великой горести небольшого, но избранного кружка приверженцев. В пренебрежении к тому, что на протяжении трех-четырех веков ценою кропотливых и мучительных усилий было создано для возвышения и счастья человечества, заключается нечто столь

притягательное для глубокого ума, что мы всегда почитали своим долгом перед обществом привлекать его внимание к любому знамению, ко всему, что является осязаемым и зримым выражением этой восхитительной концепции. Мы счастливы, что нашли наконец нечто могущее послужить ее эмблемой, вывеской, если вам угодно употребить это слово, и хотя вывеска сия (с точки зрения какого-нибудь имеющего разрешение на продажу спиртных напитков трактирщика) весьма невыразительна и хотя, быть может, любой исповедующий христианскую веру трактирщик отвернется от нее с отвращением и ужасом, мы — философы — готовы превозносить ее до небес.

В пятнадцатом веке в итальянском городе Урбино тускло забрезжил некий светильник искусства. Эта жалкая лампа, называемая Рафаэлем Санти и впоследствии среди некоторых, пребывающих в прискорбном заблуждении невежд получившая известность как Рафаэль (в ту пору горела и другая, именуемая Тицианом), была заправлена нелепой идеей служения красоте; поистине смехотворным даром придавать божественную чистоту и благородство всему возвышенному и прекрасному, что только есть в выражении человеческого лица; и низменным стремлением уловить какое-то давно утраченное сходство между презренным человеком и ангелами господними и вновь возвысить его до их непорочной одухотворенности. Эта сумасбродная прихоть послужила причиной гнусного переворота в живописи, вследствие которого красота стала считаться одною из ее основ. В сем прискорбном заблуждении художники пребывали вплоть до нынешнего, девятнадцатого века, когда несколько отважных ревнителей истины взяли на себя миссию его опровергнуть.

Братство прерафаэлитов *, леди и джентльмены, это грозное судилище, призванное навести порядок. Так подходите же, подходите смелее; здесь, в стенах Королевской академии искусств Англии, на выставке в честь ее 82-й годовщины, вы сразу же увидите, что сделано этим новейшим святым братством, этой безжалостной полицией, предназначенной разогнать нечестивых последователей Рафаэля, и поймете, что оно собою представляет.

На выставке Королевской академии, на выставке, где побывали работы Уилки, Этти, Коллинза, Истлейка,

Малреди, Лесли, Маклиза, Тернера, Стенфилда, Лэндсира, Робертса, Дэнби, Кресвика, Ли, Вебстера, Герберта, Дайса, Коупа и других *, достойных быть признанными великими мастерами в любой стране и в любую эпоху, вам попадется на глаза «Святое семейство» *. Будьте любезны выбросить из головы все эти ваши идеи послерафаэлевского периода, всякие там религиозные помыслы и возвышенные рассуждения; забудьте о нежности, благоговении, печали, благородстве, святости, грации и красоте; и, как приличествует этому случаю,— с точки зрения прерафаэлита,— приготовьте себя к тому, чтоб погрузиться в самую пучину низкого, гнусного, омерзительного и отталкивающего.

Перед вами внутренняя часть плотницкой мастерской. На переднем плане одетый в ночную сорочку отвратительный рыжий мальчишка, с искривленной шеей и распухшей, словно от слез, физиономией; вам кажется, что, играя с приятелем в какой-то сточной канаве неподалеку от дома, он получил от него палкой по руке, каковую и выставляет сейчас напоказ перед коленопреклоненной женщиной, чья внешность столь вопиюще безобразна, что даже в самом вульгарном французском кабаре и в самом дрянном английском трактире она привлекла бы к себе внимание своей чудовищной уродливостью (разумеется, если допустить, что создание с такой перекошенной шеей способно просуществовать хоть минуту). Два почти совершенно голых плотника, хозяин и поденщик, достойные товарищи этой приятной особы, заняты своим делом; мальчик, в чьем облике можно с трудом уловить какие-то человеческие черты, вносит сосуд с водой; никто из них не обращает ни малейшего внимания на выпачканную табаком старуху, которая, казалось бы, по ошибке забрела сюда вместо расположенной по соседству табачной лавочки и уныло стоит у прилавка, ожидая, чтоб ей подали пол-унции ее излюбленной смеси. Здесь собрано все уродство, какое только можно уловить в человеческом лице, фигуре, позе. Разденьте любого грязного пьяницу, попавшего в больницу с варикозным расширением вен, и вы увидите одного из плотников. Даже их ноги с распухшими пальцами явились сюда прямехонько из Сент-Джайлса *.

Таково, леди и джентльмены, толкование самого величественного из всех доступных человеческому разуму текстов, которое прерафаэлиты предлагают нашему вниманию в девятнадцатом веке и на выставке в честь восемьдесят второй годовщины Национальной академии искусств. Вот к каким средствам прибегают они — в девятнадцатом веке и на восемьдесят второй выставке нашей Национальной академии,— дабы выразить свое уважение и преклонение перед верой, в которой мы живем и умираем. Подумайте над этой картиной. Вообразите себе, как бы приятно вам было увидеть вашу любимую лошадь, собаку, кошку, написанную в сходной с этой прерафаэлитской манере; и давайте же, как только уляжется наше волнение, вызванное «кощунствами» почтового ведомства, превознесем до небес сие новое достижение и воздадим хвалу Национальной академии искусств.

Продолжая изучать эту эмблему великого ретроградного направления, мы с удовольствием обнаруживаем, что такие детали, как, скажем, рассыпанные на полу стружки, написаны восхитительно и что брат-прерафаэлит, вне всякого сомнения, превосходно владеет кистью. Это наблюдение радует нас, ибо свидетельствует об отсутствии у живописца таких низменных побуждений, как желание прославиться; ведь всякому известно, что привлечь внимание к весьма небрежно написанной пятиногой свинье ничуть не легче, чем к симметричной четвероногой. Оно радует нас и потому, что нам приятно узнать, что наша Национальная академия отлично понимает и чувствует всю важность искусства, всю возвышенность стоящих перед ним целей; она глубоко сознает, что живопись есть нечто большее, чем уменье правдоподобно выписать стружки или искусно раскрасить занавеси,— иными словами, она настоятельно требует, чтобы произведение живописи было одухотворено умом и чувством; и ни в коем случае не допустит, чтобы задачи живописи были низведены до столь ограниченной проблемы, как манипуляции с палитрой, шпателем и красками; не менее отрадно сознавать, что это великое просветительное учреждение, предвидя те распри, в которые оно неминуемо будет втянуто, все свое внимание уделяет вопросам чистой живописи, пренебрегая при этом всеми иными соображениями, в том числе и такими, как уваже-

ние к тому, что уважаемо всеми, и соблюдение самой заурядной благопристойности; каковой нелепый принцип в одно из посещений выставки ее величеством может поставить нашу всемилостивейшую государыню в весьма неприятное положение в случае, если какой-нибудь искусный художник обнаружит вкус хоть на йоту более причудливый, чем тот, которым обладают иные из нынешних живописцев.

О, если бы мы могли принести нашим читателям поздравления по поводу блистательных перспектив великой ретроградной идеи, эмблемой и символом которой является эта глубокомысленная картина! О, если бы могли мы вселить в наших читателей радостную уверенность в том, что старые лампы в обмен на новые пользуются здоровым спросом и процветание Рынка Старых Ламп незыблемо. Но извращенность рода человеческого и строптивость провидения лишают нас возможности приложить к их душам сей целительный бальзам. Мы можем лишь представить отчет о тех братствах, которые были вызваны к жизни упомянутой эмблемой, и поведать человечеству о благах, которыми оно будет осыпано, если только пожелает ими воспользоваться.

Это прежде всего братство преперспективистов, которое будет вскорости учреждено, дабы ниспровергнуть все известные нам законы и принципы перспективы. Предполагается, что все члены БПП дадут торжественную присягу отречься от закона перспективы даже в тех пределах, в каких он соблюдается на суповых тарелках, расписанных по китайскому трафарету, и мы можем надеяться, что на выставке в честь восемьдесят третьей годовщины Английской королевской академии нам доведется увидеть картины, принадлежащие кисти кого-нибудь из благочестивых братьев, где будет осуществлена хогартовская идея относительно человека, который раскуривает трубку от верхнего окна дома, расположенного на переднем плане, стоя на горе за несколько миль оттуда; сообщают, однако, что каждый кирпич будет выписан самым тщательным образом, что башмаки на человеке явятся точнейшей копией пары блюхеровских башмаков*, которые пришлют из Нортхемптоншира специально для этой цели; а самые руки — включая четыре отмороженных пятна, ногтоеду и

десять грязных ногтей — представят собой шедевр живописи.

Не так давно один молодой джентльмен прислал в журнал «Инженер-строитель» несколько статей, в коих заявил, что он не считает себя обязанным подчиняться законам всемирного тяготения, и предложил проект общества, которое (по его мнению) следовало бы назвать преньютонианским братством. Однако после того, как некоторые честолюбивые единомышленники этого юного джентльмена упрекнули его за недостаточную смелость его идеи, он отказался от нее и предложил взамен проект ныне процветающего братства прегалилеитов, каковые категорически отказываются совершать годичный оборот вокруг Солнца и порешили добиться того же самого и от нашей планеты. Еще не решено, какую линию поведения по отношению к этому братству изберет Королевская академия искусств; но ходят слухи, что некоторые солидные научные заведения, расположенные неподалеку от Оксфорда, почти готовы взять его под свою защиту.

Несколько подающих надежды студентов из королевского медицинского колледжа устроили сходку, на которой заявили свой протест против циркуляции крови и дали торжественное обещание пользовать своих будущих пациентов, полностью пренебрегая этим новшеством. Результатом явилось братство прегарвеиянцев, которое многое сулит... гробовщикам.

Весьма смелое предприятие осуществлено было нашими литераторами: не более, не менее как создание БПГПЧ, или же братства прегоуэритов и пречосеритов, в программу которого входит восстановление древнеанглийского способа письма и беспощадное изъятие из всех библиотек, как общественных, так и частных, дерзновенных писаний, принадлежащих перу Гоуэра * и Чосера *, всех их последователей, и в первую очередь сомнительной личности, именуемой Шекспиром *. Но поскольку был сделан намек, что сия счастливая идея едва ли может считаться законченной до тех пор, пока не наложены запреты на искусство книгопечатания, было учреждено еще одно общество, которое именуется братством прелаурентитов и ставит своей целью уничтожение всех книг, кроме написанных от руки. Мистер Паджин обязался снабдить его

таким шрифтом, что ни одна душа на свете не сможет в нем разобраться. Те, кто побывал в палате лордов, нисколько не сомневаются, что он с честью выполнит свое обещание.

Ретрограды в музыке сделали шаг, на который возлагаются большие надежды. Возникло БПА — братство преазенкурейцев *, которое ставит перед собой возвышенную задачу предать забвению Моцарта, Бетховена, Генделя и всех остальных, снискавших себе столь же смехотворную известность; согласно своему названию, БПА провозглашает концом золотого века в музыке дату создания нашего первого подлинно серьезного музыкального произведения. Поскольку сие учреждение не приступило еще к активным действиям, остается невыясненным, окажется ли Королевская академия музыки достойной сестрою Королевской академии искусств и допустит ли она к управлению своим оркестром предприимчивых азенкурейцев. Согласно самым авторитетным свидетельствам, их творения будут ничуть не менее грубы и неблагозвучны, чем староанглийский оригинал, иными словами, они будут превосходно гармонировать с теми образчиками живописи, описать которые мы сделали здесь попытку. Мы твердо уповаем на то, что, так как у Королевской академии музыки нет нужды в примере, она не испытает и нужды в решимости.

Братство прегенрихседьмистов *, возникшее в одно время с братством прерафаэлитов, взялось навести порядок в общественных делах, коль скоро не только искусство движет мир. Общество сие заслуживает всяческой похвалы, ведь оно отменяет все успехи, которые были достигнуты нами в течение четырех без малого столетий, и возвращает нас к одному из наиболее неприятных периодов английской истории, когда нация едва лишь начала с превеликой медлительностью выходить из состояния варварства и благородные чужестранки, коих шотландские короли брали себе в жены, горькими слезами оплакивали свое одиночество (в чем мы им от души сочувствуем) среди враждебного и дикого двора. Возрождая времена уродливых религиозных карикатур (именуемых мистериями), общество это демонстрирует подлинно прерафаэлитский дух; мы могли бы сказать, что оно является

близнецом великого братства прерафаэлитов. Можно не сомневаться, что, если это братство встретит должную поддержку, нас ждут неисчислимые блага, к числу которых принадлежит и чума.

Все эти братства, равно как и все прочие общества того же толка, как существующие ныне, так и могущие возникнуть впоследствии, сразу же получат и путеводную звезду, и осязаемое и ощутимое воплощение своих великих идей в виде эмблемы, которую мы позволили себе представить их вниманию. Мы предлагаем, чтобы они, со всей возможной поспешностью, обзавелись коллекцией таких картин и чтобы единожды в год, а именно, в первый день апреля,— все эти общества соединились в великом апофеозе, имя которому будет Конклав Нетленных Простофиль.

15 июня 1850 г.

ВОСКРЕСНЫЕ ТИСКИ*

Этот нехитрый инструмент, широко известный своей способностью искривлять, снова приведен в действие. Частицей коллективной мудрости английской нации утвержден высокий принцип, в силу которого по воскресным дням разбирать и доставлять адресатам почту не разрешается. Это мудрое решение, обсуждавшееся примерно одной четвертью палаты общин, было принято менее чем одной седьмой ее состава.

Нисколько не сомневаясь, что эта блестящая победа ревнителей строжайшего соблюдения дня седьмого является торжеством принципа: «В воскресенье — только церковь иль молельня», и что этим решением положено начало великому крестовому походу, противному духу христианства, несовместимому с правилами гигиены, с потребностями в здоровых развлечениях и с подлинным благочестием наших соотечественников, и что успешное завершение этого похода неминуемо вызовет бурную реакцию протеста, в результате чего день воскресный, почитание коего важно сохранить в народе в интересах церкви, общества и государства, может превратиться в объект ненависти и презрения, мы полагаем, что нарушили бы свой долг, если бы обошли молчанием этот вопрос из опасения, что наши слова будут превратно поняты или что наши намерения будут извращены.

Уповая на здравый смысл наших соотечественников и опираясь на некоторое знакомство с нуждами и обычаями нашего народа, мы приступаем к вопросу о воскресном отдыхе, нисколько не поколебленные недавней свистопляской недобросовестной информации и недоброжелательства, подготовившей почву для выступления лорда Эшли *. Эти прелиминарии напоминают сказку о египетском чародее и мальчугане, которому льют на ладонь какую-то темную жидкость, превращающуюся в волшебное зеркало. «Что ты видишь в нем? Поищи-ка лорда Эшли».— «О! Я вижу человека с метлой в руках».— «Отлично! А что он делает?» — «Ах! Он выметает мистера Роуланда Хилла! А теперь я вижу огромную толпу, и все они выметают мистера Роуланда Хилла. Они водрузили красный флаг с надписью «Нетерпимость». Они разбивают лагерь, и на каждой палатке написано «Митинг». Вдруг все палатки опрокидываются, и теперь мистер Роуланд Хилл выметает всех прочь. Но что я вижу! Сам лорд Эшли выходит вперед с резолюцией в руке».

Что касается богословской стороны вопроса, то да позволено нам будет удовольствоваться одной христианской истиной: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Никаким множеством подписей под петициями нельзя перечеркнуть этих слов. Никаким количеством томов парламентских отчетов, издаваемых Хансардом, нельзя ни в малейшей степени подорвать их значения. Вносите и выносите резолюции, предлагайте законопроекты, созывайте комиссии — в нижних и верхних палатах, в аппартаментах миледи, проводите первое, второе, третье, тридцать третье чтение, никакими петициями, резолюциями, законопроектами и комиссиями нельзя уничтожить действенность провозглашенного христианской религией освобождения от мертвой буквы ветхозаветного закона. Особенно же в данном конкретном случае.

Когда некое положение возводится в принцип, важно установить, в какой мере этот акт оправдывается здравым смыслом и логикой. Давайте разберемся в этом деле.

Лорд Эшли (чье имя мы упоминаем с искренним уважением за все то добро, которое он сделал, хотя в данном вопросе он, как мы полагаем, был введен в заблуждение самым злонамеренным образом) говорит о провинциаль-

ных почтовых чиновниках, работающих по воскресеньям так, как если бы они день-деньской маялись не покладая рук. «Почему они обречены на участь париев, лишенных возможности пользоваться теми благами, которые доступны всем остальным англичанам?» — вопрошает он. Ему угодно, чтобы перед нашим умственным взором предстал длинный ряд почтовых чиновников, просиживающих за своими окошечками все воскресенье напролет, немытых, небритых, нечесаных, испускающих тяжкие вздохи в такт церковным колоколам и орошающих горькими слезами целые тонны писем, проходящих через их руки. Наш слезоточивый друг — пария, в котором большинство из нас узнает почтенного старого знакомого, такая же фигура речи, как и ядовитый анчар на Яве. Предположим, что нам придет в голову объявить в «Домашнем чтении», будто бы каждого почтового чиновника, работающего по воскресеньям в деревне, заставляют сидеть под сенью явайского анчара, специально посаженного в цветочной кадке, для того чтобы отравить его ядовитой тенью, разве мы пойдем гораздо дальше самого лорда Эшли? Приходилось ли кому-либо из наших читателей отправлять письма из деревни по воскресеньям? Не замечали ли они на дверях почтовой конторы объявления о том, что господин почтмейстер откроет контору в воскресенье с такого-то часа, но не ранее? И, дождавшись скрепя сердце этого почтового парию, разве они не видели, как он появляется, во всем параде, в накрахмаленных воротничках, и с удивительной легкостью и проворством разделывается со своей работой? Нам самим приходилось это видеть. Мы отправляли и получали письма по воскресеньям во всех уголках королевства, но никогда не видели почтового парию, изнемогающего под бременем тяжкого труда. Напротив, мы наблюдали его в церкви, свежим и бодрым (несмотря на то, что перед этим он целый час трудился над разборкой утренней почты), мы встречали его на прогулке с молодой особой, с которой он обручен, мы видели, как он встретился с нею и ее подругой позже, уже после отправки почты, но он вовсе не казался подавленным или изможденным. Да разве это могло быть иначе, по признанию самого же лорда Эшли? Ведь воскресенью предшествует суббота. А мы — народ, по его свидетельству, не

склонный заниматься делами по воскресеньям. Как известно из петиций, у нас свыше миллиона таких, кто считает для себя предосудительным даже слышать об этом. Редкие банки и конторы открыты по воскресеньям. Банкиры и негоцианты отправляют свою почту в субботу вечером. Воскресная вечерняя почта, видимо, состоит главным образом из корреспонденции, написанной под давлением крайней и неотложной необходимости. От всей аргументации лорда Эшли не останется камня на камне, если учесть, что почтовый пария не обременен и в половинной мере теми тяготами, которые несет по воскресеньям пария мужеского пола, открывающий парадную дверь посетителям его лордства, или пария женского пола, нянчащая младенца ее светлости.

Если лондонская почта не работает в воскресенье, то почему же, вопрошает лорд Эшли, должна работать почта в провинции? Да именно потому, что Лондон — не провинция, осмелимся возразить. Потому, что Лондон — величайший деловой и торговый центр мира. Потому, что в Лондоне бывают сотни тысяч людей всех возрастов, оторванные от своих семей и друзей, потому, что прекращение доставки писем в понедельник утром приостановит естественный приток крови из каждой артерии в мире к сердцу мировой столицы на много драгоценных часов и обратный поток от сердца по всем этим каналам. Потому что резкое различие между Лондоном и любым другим центром Британской империи вызвало необходимость в таком предпочтении и увековечило его.

Оставляя в стороне все прочие петиции, заметим, что в Ливерпуле двести коммерсантов и банкиров образовали из своей среды комитет, «для того чтобы споспешествовать продвижению данного законопроекта». Во имя всех фарисеев древнего Иерусалима! Почему бы этим двумстам коммерсантам и банкирам не учредить комитет, чтобы обязать самих себя не читать и не писать деловых писем по воскресеньям и оставить в покое почту? Правительство ввело почтовую монополию, и тем самым пересылать письма другими способами сделалось не только хлопотно и накладно, но и просто противозаконно. Да какое право имеют все банкиры и коммерсанты в мире налагать запрет на письмо, которое мне понадобится или вздумается по-

слать? Если любому из этих двухсот ливерпульских банкиров и коммерсантов придется лежать на смертном одре в воскресенье, неужто он откажется от услуг почты, чтобы вызвать сына или дочь из другого города, пока почтовая связь в воскресный день еще существует? И как смеют эти господа уверять нас в том, что в воскресной почте нет необходимости, когда прежде чем стрелка часов передвинется на несколько минут, с любым из нас может произойти один из миллиона непредвиденных несчастных случаев, который сделает помощь почты срочно необходимой. «Нет необходимости»! Да неужто эти господа серьезно думают, что среди воскресной корреспонденции в любом из больших городов нет писем, продиктованных самой острой и неотложной необходимостью? С таким же основанием я мог бы утверждать, возгордясь завидным здоровьем, что уменье лечить переломы отнюдь не необходимо для хирургов, поскольку у меня лично все кости целы.

Есть в палате общин мудрец такого же сорта, который считает, что полиция по воскресеньям необходима, а почта — нет. Скажем так: если в каком-нибудь доме в Лондоне или в Вестминстере лежат серебряные ложки с фамильным гербом, изображающим воинствующего святошу, то этим ложкам не миновать быть похищенными, если на посту не окажется полисмена. Но тот же мудрец не предвидит такого случая, когда накануне воскресенья ему понадобится отправить в провинцию письмо — или, может быть, в случае настоятельной необходимости он собирается воспользоваться услугами электрического телеграфа? Такова неприглядная логика заведомых язычников, подавляющих своим богатством тех, у кого нет ни гроша за душой, и ставящих свои корыстные интересы выше нужд всего общества в целом! Уж кто-кто, а даже член парламента от Бирмингема удручен этой слепотой эгоизма, потому как он «устал читать письма и отвечать на них по воскресеньям», и он не может понять, как это другие могут оказаться в таком положении, когда воскресная почта будет для них несказанным благодеянием.

Непоследовательность точки зрения лорда Эшли можно лучше всего продемонстрировать с помощью выдержек из его же собственных высказываний. «Говоря о приостановке почтовой связи, я имел в виду только почтовые

мешки, но отнюдь не пассажиров». Вот как? Поразмыслите-ка еще разок, лорд Эшли!

Когда достопочтенный член парламента от округа Гробов повапленных * вносит резолюцию о прекращении движения почтовых, а следовательно, и всяких поездов по воскресеньям и когда сей почтенный муж говорит о париях-кассирах, продающих билеты, о париях-машинистах, о париях-кочегарах, о париях-носильщиках, о париях — железнодорожных полисменах, о париях-извозчиках, ожидающих на париях-станциях париев-пассажиров, чтобы отвезти их в парии-гостиницы, где им будут прислуживать парии-лакеи, то что же остается делать лорду Эшли? Голос зависти шепчет на ухо: ведь мальчик с пальчик сам породил своих великанов и сам же их уничтожил. Но у вас так с вашими париями не выйдет. Вы не можете присвоить себе исключительное и монопольное право производства и уничтожения марионеточных париев. Другие достопочтенные джентльмены также имеют бесспорное право на эти занятия, и когда уважаемый член парламента от округа Гробов повапленных превращает всех этих людей в париев, то у вас, лорд Эшли, нет никаких оснований не признавать их подлинности.

Если на железнодорожный транспорт и всякие иные средства передвижения в воскресные дни будет наложен, по настоянию достопочтенного члена парламента от Гробов повапленных, запрет, то сей почтенный муж не замедлит обнаружить, что этот транспорт в воскресенье вечером вносит немалую лепту в дело выпуска газеты «Таймс» в понедельник и что приостановка транспорта превратит в парию все это огромное предприятие. Ибо в том-то и кроется большая опасность производства париев: стоит только начать, и парии будут расти, как грибы после дождя. Расти в таком изобилии, что тут уж как ни верти, а вскорости во всей стране не сыщется ни одного уголка, начиная с королевских чертогов и кончая последней хижиной, что не кишел бы париями. Упразднить почтовые мешки и оставить почтовые поезда? Остановить поток этих безмолвных вестников любви и заботы и в то же время оставить говорящих путешественников, требующих неизмеримо больше обслуживающего персонала, чем письма? Это значит полагать, что все люди — глупцы и что достопочтенный член

парламента от Гробов повапленных даже больший головотяп, чем он есть на самом деле.

В подкрепление своего проекта лорд Эшли огласил некую напыщенную и опасную рацею, якобы написанную рабочим человеком, гордиться которой, по нашему разумению, рабочий люд не имеет никаких оснований. В этом послании много говорится о том, что лишить рабочего его священного права на воскресный отдых — значит ограбить его. Однако, отдавая должное несомненной благонамеренности и гуманности побуждений лорда Эшли, мы с сокрушением сердечным должны признать, что нет грабителя, которого рабочему человеку, стремящемуся оградить свой воскресный отдых от посягательств, следовало бы страшиться больше, чем самого лорда Эшли. Ведь каждую неделю лорд Эшли ставит свой авторитет и свои благие намерения на службу тем, кто стремится превратить воскресенье из дня отдохновения от трудов, восстановления сил на свежем воздухе и разумных развлечений в день умерщвления плоти и траура. И заметьте, это затрагивает интересы не только одного класса. Это касается всех классов общества. Если в палате общин не нашлось ни одного джентльмена, у которого было бы достаточно мужества напомнить лорду Эшли, что напыщенная чушь насчет рабочего класса, повторенная им с чужого голоса, есть не что иное, как перепев абсурднейшей социалистической доктрины, признающей существование лишь одного-единственного класса тружеников на земле, то слава богу, что об этом можно сказать всю правду в другом месте. Не подлежит сомнению, что три четверти населения Англии добывает свой хлеб в поте лица. Так же бесспорно, что люди всех занятий и профессий живут и трудятся — в большей или меньшей степени — точно так же, как и те, кого мы привыкли называть рабочими. И в буржуазной среде глубоко укоренилась потребность в неустанном, обязательном и жизненно-необходимом труде. Есть несметное множество выходцев из аристократии и сыновей и дочерей аристократов, которые трудятся неустанно и имеют не больше шансов составить себе состояние своим трудом, чем рабочий — трудами своих рук. Есть бесчисленное множество семей, для которых воскресенье — единственный день недели, когда им доступны невинные развлеченья и отдых в

семейном кругу. Если мы, из жалкого пристрастия к ложному аристократизму, пристрастия, принесшего такой вред обществу, стремясь отгородиться от рабочего человека, самодовольно решаем, что воскресные пригородные поезда и сады-чайные ему ни к чему, поскольку мы-то не пользуемся ими, то этим мы можем обмануть лишь самих себя. Мы не можем урезать столь необходимые ему отдых и развлечения, не урезав и наших собственных и не обманывая его самым бессовестным образом. Мы не можем отдать его на христианское попечение достопочтенного члена парламента от Гробов повапленных и самоустраниться. Мы не можем опутать его ограничениями, сохранив свободу действий только для себя. Наши воскресные потребности почти такие же, как и у него, только у него они скромнее. Наши вкусы и пристрастия тоже почти одинаковы, и было бы неумно, да и нечестно, если бы мы, представители среднего класса, вели бы себя в этом отношении как двуликий Янус.

Но что же предлагает достопочтенный член парламента от Гробов повапленных, для которого расчистил дорогу лорд Эшли? Он видел в больших городах Англии в воскресенье утром, когда колокольный звон созывает людей в церкви и молельни, неких немытых и распущенных субъектов с мутным взором, слоняющихся у дверей трактиров или шатающихся по улицам, но ведь для этих людей воскресный отдых значит не более, чем яркий солнечный день для свиней. Неужто почтенный джентльмен полагает, что, надев наручники на почтовых чиновников и подвергнув ограничениям порядочных людей, он заставит праздношатающихся уважать святость воскресного отдыха? Пусть он отправится в любое воскресное утро из нового Эдинбурга, где, впрочем, даже игра на фортепьяно считается кощунством, в старый город и посмотрит, что значит соблюдение воскресного отдыха по ветхозаветному канону. Или пусть он обратится к статистическим данным о количестве пьяных в Глазго в те дни, когда церкви полны, и вычислит процент строго соблюдающих воскресный отдых там, где этого добиваются показной суровостью и наводящей уныние обрядностью.

Правда, есть и совсем иная категория людей, которые по воскресеньям не прочь предпринять небольшую увесе-

лительную прогулку или просто собраться вместе теплой компанией. Но при виде этих нечестивцев у всех избирателей округа Гробов повапленных вместе с их достопочтенным председателем прилизанные волосы поднимаются дыбом от ужаса, и они все, точно пораженные электрическим разрядом, вздымают руки горе к застекленному потолку Эксетер-холла. Пройдем мимо этого скопища, всполошившегося, словно развороченный улей, шепнув лишь одну фразу: «Не суйтесь не в свое дело».

Английский народ издавна славится своей домовитостью и привязанностью к семье и домашнему очагу. Своей ненавязчивой вежливостью, добродушием и покладистостью в отношении ограничений, продиктованных действительной заботой об общем благе, он снискал себе уважение всех культурных иностранцев, посещающих нашу страну. Он заслуженно пользуется завидной репутацией, и мы не раз с гордостью слышали высокую оценку его качеств. Нельзя не удивляться тому, что народ, которого веками и близко не подпускали к музеям и картинным галереям, с того самого дня, как только их двери распахнулись для него, преисполнился к ним уважением и с таким достоинством ведет себя в их стенах. У нашего народа удивительно мало пороков. Наш народ в массе не склонен ни к пьянству, ни к обжорству, ни к азарту. У него нет пристрастия к жестоким развлечениям, и ему не свойственно, когда он развлекается, доходить до крайности — до яростного исступления. Наш простой народ отличается умеренностью, нетребовательностью и большой восприимчивостью к влиянию тех, кто желает ему добра. Чтобы в толпе англичан, отправляющихся на загородную прогулку, не оказалось значительного числа женщин и детей,— явление почти небывалое. Посетите любой уголок, куда стекаются толпы простых людей, чтобы провести воскресенье, и вы будете удивлены, как тихо, скромно, достойно они себя ведут, как они предупредительны по отношению к членам своей семьи и соседям. Среди них распространено уважение к религии и религиозным обрядам. В церквах и молельнях толпы народу. Редко кто из англичан, имеющих слуг или учеников, не заботится о том, чтобы они посещали церкви, и во время богослужения они подают пример пристойного поведения, а по окончании церковной

службы довольствуются самыми простыми и безобидными развлечениями. Никогда еще лорд Брогэм не воздавал должного такой полной мерой Генри Брогэму, как в тот день, когда он заявил в палате лордов после успешного прохождения его законопроекта через нижнюю палату, что нет другой страны, где воскресный отдых соблюдался бы лучше, чем в Англии. Так пусть же уважаемые избиратели округа Гробов повапленных, настроившись на христианский лад, поразмыслят над этой истиной, вопросят свою совесть, предложат своему избраннику сделать то же самое и скажут себе: не надо соваться не в свое дело.

Ибо народ — это та же семья. Стоит перегнуть палку, и появится стремление вырваться на свободу, а то и взбунтоваться. Если какой-либо из наших читателей, подумав над этой фразой, не сможет привести в подтверждение ее истинности сколько угодно примеров из собственного горького опыта, то ему можно позавидовать. Самый известный пример из истории английского народа имел место ровно двести лет тому назад *.

Лорду Эшли следовало бы сформировать из своих париев политическую партию, а достопочтенному члену парламента от Гробов повапленных — обратить свой желчный взор на обитателей городов, прогуливающихся в воскресенье по зеленым полям и любующихся сельскими просторами. Если он сумеет заглянуть дальше и глубже, может быть, перед его умственным взором предстанет кроткая и величественная фигура, шествующая вдали между высокими хлебами в сопровождении простых людей, собирающих колосья, и он услышит, как божественный учитель поучает людей, что он один — владыка, даже над днем седьмым.

22 июня 1850 г.

ШУСТРЫЕ ЧЕРЕПАХИ

У меня неплохой капиталец. Все, что я трачу, я трачу на себя. Остальное прикапливаю. Таковы мои правила, и за правила свои я держусь крепко и не отступлюсь от них никогда.

Кое-кто пытается изобразить меня скупым, но это неверно. Я никогда ни в чем себе не отказываю. Иной раз, правда, скажешь себе: «Сноуди (это у меня фамилия такая), потерпи недельку, друг, и эти же персики будут дешевле, тогда и полакомишься!» — или: «Сноуди, повремени с вином; пойдешь обедать в гости и будешь себе пить его бесплатно!» Ну, а отказывать себе в чем-нибудь — нет! Если, например, я вижу, что бесплатно мне не приобрести того, что приглянулось, что ж! — я вынимаю кошелек и плачу! Провидение наделило меня хорошим аппетитом, и я не считаю себя вправе пренебрегать этим даром.

Всей родни у меня — один брат. Если он чего и попросит у меня, я не даю. Все люди — братья, так почему же я должен делать исключение для него одного?

Живу я в старинном городе, у нас свой собор. Нет, к церкви я касательства не имею, но это не значит, что у меня нет места. Ну, да это неважно! Может быть, и тепленькое. Может быть, и синекура. Словом, это мое дело. Может, да, а может — нет. Я и брату ничего не расска-

зываю о себе, а я всех людей почитаю за братьев. Негр, скажем, ведь он — человек и брат, так что же — прикажете отчитываться в своих делах перед ним? Ну, нет!

Я частенько наведываюсь в Лондон. Хороший город. Я так смотрю на это дело: в Лондоне, конечно, жизнь дорогая, зато там вы за свои деньги получаете настоящую вещь — то есть я хочу сказать, тут все первостатейное. Такого вы нигде, ни в каком другом месте не достанете. Потому-то я и говорю всем, кто хочет получить за свои денежки настоящую вещь: «Поезжайте в Лондон, там и купите, что надо».

Сам-то я поступаю вот как. Еду прямешенько к миссис Ским в «Частную Гостиницу и Пансион для коммивояжеров», что возле Олдерсгейт-стрит, Сити (в железнодорожном путеводителе Бредшоу имеется адрес, там-то я его и разыскал), и плачу девять пенсов в день за «постель и завтрак, с мясом и услугами включительно». Я рассчитал все в точности и убедился, что за мой счет миссис Ским никоим образом не разживется. Напротив, полагаю, если б все ее клиенты были бы такими же, как я, эта женщина разорилась бы через месяц.

Вы можете спросить, зачем я останавливаюсь у миссис Ским, когда я мог бы остановиться в гостинице Клэрендон? Давайте рассудим. Что, кроме сна, может предложить мне постель в Клэрендоне? Ничего. Ну так вот, сон в гостинице — вещь дорогая, и у миссис Ским он обходится во много раз дешевле. Я произвел расчеты и могу сказать без обиняков, учитывая все привходящие обстоятельства, что это дешево. Можно ли сказать, что сон в номерах у миссис Ским — товар худший, нежели сон в клэрендонской гостинице? Поскольку я одинаково хорошо сплю и тут и там, для меня это равноценный товар. Так зачем же мне тащиться в Клэрендон?

Вы скажете: а завтрак?

Хорошо. Завтрак. У миссис Ским я не получу тех деликатесов, которые я мог бы иметь в Клэрендоне. Допустим. А если я их не хочу! Мое мнение такое, что человек — не животное, не весь в плотском. Ему дан интеллект. Если он слишком сытным завтраком этот интеллект заслонит, как же ему впоследствии, днем, употребить свой интеллект на размышления относительно обеда? Вот ведь

в чем дело! Мы не должны закабалять свою душу. Она должна парить. Так уж положено.

Завтрак у миссис Ским вполне сытный (хлеб с маслом в неограниченном количестве; мясо, правда, порционно) и вместе с тем не слишком обильный. Таким образом природные способности мои не притупляются, и я могу целиком направить их на упомянутую уже мною цель; к тому же я могу себе сказать: «Ну, вот, Сноуди, ты сегодня сэкономил шесть... восемь... десять — целых пятнадцать шиллингов! Что бы ты хотел сегодня скушать на обед? Заказывай, Сноуди, не скромничай, ты заслужил награду».

За одно я ругаю Лондон — это за то, что он сделался штаб-квартирой самых радикальных воззрений, какие только водятся в Англии. Я считаю, что в этом городе очень много опасных людей. Я считаю, что этот журнал (я имею в виду «Домашнее чтение») — издание чрезвычайно опасное, и пишу эту свою статью с тем, чтобы обезвредить его действие. Мое политическое кредо — пусть нам будем хорошо. Нам ведь и так хорошо. Мне по крайней мере очень хорошо. И оставьте нас в покое, пожалуйста!

Все люди — братья, и мне кажется, что просто не по-христиански, в конце концов, говорить своему брату, что он не развит, унижен, грязен и тому подобное. Это и невежливо и неблагородно. Вот вы мне подсказываете, что я должен любить своего брата. А я отвечаю: «Я его и люблю». Уверяю вас, я всегда готов сказать своему брату: «Вот что, любезный, я к тебе весьма благоволю, а ты отправляйся с богом. Ступай себе своим путем, а я — своим. Все, что существует, есть благо, а чего нет — зло. И незачем поднимать шум». В этом, на мой взгляд, единственное назначение человека, и только настроив свой дух на такой лад, и следует отправляться обедать.

В таком-то умонастроении не так давно, будучи в Лондоне, где я воспользовался «постелью и завтраком с мясом и услугами включительно» в пансионе миссис Ским, я направился пообедать и вспомнил известное изречение, произнесенное, если память мне не изменяет, кем-то, когда-то и по какому-то случаю и гласящее, что человек может заимствовать мудрость у низших организмов. Мне показа-

лось весьма отрадным фактом, что великую мудрость можно почерпнуть у такого благородного животного, как морская черепаха.

В день, о котором я говорю, я собрался заказать на обед именно черепаху. То есть я хочу сказать, что черепаха должна была составить главное блюдо в моем меню. Хорошая миска супа, пинта пуншу и — ничего тяжелого! — только нежный, сочный бифштекс. Я люблю нежный, сочный бифштекс. И всякий раз, как закажу себе это блюдо, говорю: «Сноуди, ты поступил правильно».

Если уж я решу полакомиться, деньги — не в счет. Тут только думаешь о том, чтобы деликатес был в самом деле отменным. И вот я пошел к приятелю, члену муниципального совета, и имел с ним нижеследующую беседу:

Я ему:

— Мистер Грогглз, где самые вкусные черепахи?

Он мне:

— Если вам угодно скушать тарелку супа, забегите, пожалуй, к Берчу.

Я ему:

— Мистер Грогглз, я полагал, что вы меня знаете. Как же вы можете говорить о тарелке супа? Нет, я намерен обедать. Мне нужна не тарелка, а миска.

Тогда, подумав с минуту, мистер Грогглз голосом, в котором слышится решимость, произносит:

— Леденхолл-стрит. Напротив Индиа-Хаус *.

Мы расстались. Весь этот день я предавался умственной деятельности, а в шесть часов вечера направил свои стопы к дому, который мне был рекомендован Грогглзом. В углу передней, ведущей в кофейню, я приметил большой тяжелый сундук и подумал, что в нем, наверное, заключена черепаха небывалых размеров. Сопоставив, однако, впоследствии размеры черепахи, которую мне подали к обеду, со счетом, который мне подали после обеда, я понял, что в сундуке, должно быть, хранилась хозяйская выручка.

Я объяснил официанту, что привело меня сюда, и упомянул имя мистера Грогглза. Он с чувством повторил за мной: «Миску черепахового супа и нежный, сочный бифштекс». Еще утром твердый голос, которым Грогглз произнес свой совет, вселил в мою душу уверенность, что все

будет в порядке. Манеры официанта укрепили меня в этом убеждении. Вся кофейня благоухала черепахой, и пар от сотен галлонов черепахового супа, поглощаемого в этих стенах, осел на них и поблескивал росой. Я бы мог, если бы захотел, начертать свое имя перочинным ножом на этой эманации бесчисленных черепах. Вместо этого, однако, под влиянием теплого пара, витавшего над моей головой, я весь отдался во власть голодной задумчивости и пытался вообразить себе Вест-Индию и Остров Восхождения.

Между тем обед мой появился и — исчез! Опустив занавес над этой трапезой и закрыв крышку опустевшей суповой миски, скажу лишь одно: обед был восхитителен, и уплатил я за него соответственно.

Все было кончено, и я сидел, печалясь о том, что вследствие несовершенства земного бытия трапеза не может длиться вечно. Но тут официант, смахивая крошки со стола, прервал ход моих мыслей и спросил:

— Не желаете ли посмотреть черепах, сэр?

— Каких таких черепах, любезнейший? — спокойно спросил я его.

— Черепах, что находятся внизу, в резервуаре,— отвечал он.

Черепахи в резервуаре! Боже милостивый!

— Конечно!

Официант зажег свечку и провел меня в подвал, где под чисто выбеленными сводами, при свете газового рожка мне открылась картина столь же удивительная, сколь поучительная, говорящая о величии моего отечества. «Ах, Сноуди»,— воскликнул я, и первое, что пришло на ум, было: «Правь, Британия, правь, Британия, владычица морей!» *

Сводчатый подвал заключал в себе от двух до трех сотен черепах — и все они были живые. Одни плавали в резервуарах, другие выползли подышать воздухом на длинные сухие дорожки, устланные соломой. Тут были черепахи всех размеров, многие — просто огромные. Некоторые из этих огромных черепах, переплетясь с более мелкими, жались по углам, и, развесив свои плавники над водопроводными трубами и опустив голову, вздрагивали, по-видимому, уже в предсмертных конвульсиях. Другие

спокойно лежали на дне резервуара, третьи — лениво поднимались со дна. Те, что находились на дорожках, устланных соломой, были покойны и неподвижны. Это было восхитительное зрелище. Я люблю такие зрелища. Они будят воображение. Если вы хотите испробовать действие подобного зрелища на себе, заходите в домик напротив Индиа-Хаус — в любой день! Пообедайте там, заплатите по счету и потом попроситесь вниз.

Два молодых человека атлетического телосложения, без сюртуков и с рукавами, закатанными под самые плечи, ухаживали за этими благородными животными. Пока один из них возился с самой большой черепахой, подтаскивая ее к краю резервуара, чтобы я мог полюбоваться на нее, мне вдруг пришла в голову совершенно новая для меня мысль. Надо сказать, что я люблю мысли. Всякий раз, что мне забредет какая-нибудь мысль в голову, я говорю себе: «Сноуди, запиши!»

Мысль, которая забрела мне в голову на этот раз, была... мистер Грогглз! Передо мной была не черепаха, а — воплощенный мистер Грогглз. Черепаху подтащили ко мне жилеткой вперед, если так можно выразиться,— точно такую жилетку я видел на мистере Грогглзе. Тот же крой, почти тот же цвет, и если бы не отсутствие золотой цепочки от часов да свисающих с нее брелоков, я бы решил, что это и есть жилетка мистера Грогглза. Черепаху распирало, что еще более увеличивало ее сходство с мистером Грогглзом. Я никогда еще не имел случая разглядывать шею черепахи вблизи. Расположение складок было точное повторение складок на шейном платке мистера Грогглза. Глаза, в которых светилась мысль,— разумеется, в пределах, позволительных для человека умеренного направления,— были глазами мистера Грогглза. Когда атлетический молодой человек отпустил черепаху, она тяжело шлепнулась на дно резервуара, мотнув головой,— точь-в-точь мистер Грогглз, плюхающийся в кресло после своей очередной речи против санитарных мер, предложенных в муниципальном совете!

Я не мог удержаться и мысленно произнес: «Ай да Сноуди, ай да молодец! В твоей аналогии заключен глубокий смысл, Сноуди. Поздравляю тебя!» Я подошел к молодому человеку, который между тем подтащил к краю ре-

зервуара еще несколько черепах. Все они походили на первую — каждая представляла собой разновидность мистера Гроггл̦за, в каждой обнаруживалось разительное сходство с джентльменами, которые имели обыкновение этих черепах поглощать. «Хорошо, Сноуди,— сказал я,— что ты из этого заключаешь?»

«А то, сударь,— ответил я,— что стыд и позор всем этим радикалам и революционерам, вечно толкующим о прогрессе! Сударь,— продолжал я,— я заключаю из этого, что подобное сходство между черепахами и грогглзами неспроста. Оно существует затем, чтобы указать человечеству, что всякий Грогглз должен брать пример с черепахи и что от Грогглза мы вправе ожидать шустрости черепахи, не более».— «Сноуди,— ответил я на это,— ты прав. Ты попал в самую точку, Сноуди!»

Мысль эта полюбилась мне чрезвычайно, ибо, если мне что и ненавистно на свете, так это перемены. Совершенно очевидно, что миру перемены не нужны, что они ему ни к чему, что он не создан для того, чтобы меняться. Требуется одно, а именно (как я, кажется, уже указывал) — чтобы нам было хорошо. Вот как я смотрю на это дело. Пусть нам будет хорошо, и оставьте нас в покое! Именно эту мысль и прочитал я в чертах Грогглза, то есть я хочу сказать, черепахи, когда это благородное животное, наполовину вытащенное из воды, плюхнулось обратно, на дно резервуара.

Впрочем, у меня есть знакомые в муниципальном совете и помимо Грогглза, так что примерно через неделю после описанного события я сказал себе: «Сноуди, на твоем месте я сходил бы сегодня на заседание и послушал бы, что там говорят». Я пошел. Там происходило то, что я называю хорошей, классической английской дискуссией. Один оратор с большим красноречием осуждал французов за то, что они ходят в деревянных башмаках. Другой оратор напомнил первому еще об одном предосудительном обычае чужеземцев — а именно, о поедании лягушек. А я-то боялся — и, к стыду своему, должен признаться, что пребывал в этом заблуждении последние несколько лет,— я боялся, что эти бакалейные принципы отошли в прошлое! Как отрадно обнаружить, что великие мужи города Лондона в году одна тысяча восемьсот пятидесятом при-

держиваются их по-прежнему! Мне припомнились шустрые черепахи.

Впрочем, вскоре мне снова представился случай вспомнить шустрых черепах. Горсточке радикалов и революционеров удалось каким-то образом проникнуть в муниципальный совет, который я почитал за один из последних оплотов нашей многострадальной конституции. И вот я услышал речи, в которых ораторы требовали уничтожения Смитфильдского рынка (являющегося, на мой взгляд, неотъемлемой частью вышеупомянутой конституции), назначения городского врачебного инспектора, надзора за общественным здоровьем и прочих преступных мероприятий, направленных против государства и церкви. Мистер Грогглз, как и следовало ожидать, горячо и решительно выступал против подобных предложений. Настолько горячо, что, как я узнал впоследствии от миссис Грогглз, у него в тот же вечер сделался довольно сильный прилив крови к голове. Все приверженцы партии Грогглза тоже сопротивлялись новым мерам, так что душа радовалась при виде того, как жилетки одна за другой вздымались в конституционном порыве, заявляли протест и снова опускались в кресла. Но вот что более всего поразило меня. «Сноуди,— сказал я,— вот, сударь, перед вами дальнейшее воплощение вашей мысли! Ведь эти радикалы и революционеры и есть атлетические молодые люди с закатанными рукавами, которые подтаскивают шустрых черепах к краям резервуаров! А Грогглзы — это черепахи, поднимающие на один миг голову, перед тем как снова плюхнуться на дно. Честь и слава Грогглзам! Честь и слава Совету Шустрых Черепах! Мудрость черепахи — надежда Англии!»

Из сказанного можно вывести тройную мораль. Во-первых, черепахи и Грогглзы тождественны; сходство между ними поразительно — как внешнее, так и внутреннее. Во-вторых, черепаха — вещь хорошая во всех отношениях, и человеку надлежит взять себе за образец шустрость черепахи и не стремиться ее перегнать. И в-третьих, всем нам хорошо. Оставьте нас в покое!

26 октября 1850 г.

КРАСНАЯ ТЕСЬМА*

Нет у Англии более злого проклятья и худшего несчастья, чем наш чиновник, который получает истинное наслаждение от существования Красной Тесьмы и вся цель существования которого сводится к тому, чтобы обильным количеством этого казенного товара связывать общественные вопросы (как крупные, так и мелкие), делать из них аккуратнейшие пакетики, ставить на них ярлыки и бережно закладывать на верхнюю полку, за пределы человеческого досягания. Ни из железа, ни из стали, ни из алмаза не сделать такой прочной тормозной цепи, какую создает Красная Тесьма.

Нашествие миллионов красных термитов не нанесло бы Великобритании и половины того ущерба, какой наносит ей невыносимая Красная Тесьма.

Краснотесемщик вездесущ. Он всегда тут как тут с клубком Красной Тесьмы, готовый свернуть вопрос величайшей важности в крошечный официальный пакетик. В приемной правительственного учреждения он будет все туже и туже опутывать Красной Тесьмой самую требовательную депутацию, какую страна может направить к нему. В любой палате парламента он в мгновение ока извлечет из своего рта больше Красной Тесьмы, чем фокусник на ярмарке. Воплотившись в тысячи ярдов Красной Тесьмы, он проскользнет в письма, памятные записки и официальные донесения. Он обвяжет Красной Тесьмой

обширные колонии, наподобие того как это делается с жареными цыплятами, которые подаются в холодном виде на банкетах, и когда важнейшая из них разорвет Тесьму (а это лишь вопрос времени), он удивится, увидев, что ее просторы не покрыть его любимой меркой. Быстрее Ариэля облетев нашу планету, он опояшет Красной Тесьмой весь земной шар. При помощи дюймовки — Красной Тесьмы он измерит расстояние от Даунинг-стрит до Северного полюса, до самого сердца Новой Зеландии или до самой высокой точки Гималаев. Он обовьет ею все суда, принадлежащие Британскому флоту, переплетет ею все знамена Британской армии, оденет в нее с ног до головы офицеров и солдат армии и флота. Он по рукам и ногам связал ею Нельсона и Веллингтона, разукрасил их целыми жгутами Тесьмы и послал их выполнять невыполнимое. Вы найдете его на борту государственного корабля, где он размахивает Красной Тесьмой и сигнализирует о воображаемых препятствиях. И если печать его учреждения, находящаяся на конце его любимой лески, коснется водоросли, он возопит: «Верните ее! Остановите ее!» .

Он вешает на Красной Тесьме у стен государственных учреждений тех, кто ратует за большие социальные преобразования,— точно так, как в свое время закованных в цепи опасных разбойников вешали на Хаунсло Хит, желая тем самым устрашить злокозненных сторонников реформ. На каждое проявление правды, на каждое выявление лжи у него имеется один-единственный ответ:

«Мой добрый сэр, это — краснотесемная проблема!»

Он — джентльмен из джентльменов. Он держится таинственно, но в меру, не в большей степени, чем полагается человеку, который хорошо знает об огромном количестве находящейся в его распоряжении Тесьмы. Бабочки и слепни, которые переносятся с места на место, не сознавая, сколько требуется Красной Тесьмы, чтобы божий мир не распался, могут позволить себе быть простодушными и откровенными. Он — существо другого рода. Не то, чтобы он мало говорил. Этого за ним не водится. Но каждый возникающий вопрос он должен связать как положено и упрятать.

Церковь, государство, своя страна и чужие, невежество, нищета, преступление, наказание, римские папы,

кардиналы, иезуиты, налоги, сельское хозяйство и торговля, земля и море — все это для Тесьмы! «Уверяю вас, сэр, только для Тесьмы. Вы позволите мне связать этот вопрос несколькими ярдами в соответствии с установленной формой? Спасибо. Вот таким образом. Здесь — узелок. Здесь обрежем кончик. Согнем в этом месте. Тут — петля. Ну, бывает ли на свете что-нибудь более законченное? И не требует много места, как видите. Я прикрепляю ярлычок и кладу пакет на полку. Понимаете? Теперь с этим покончено. Следующий вопрос?»

Количество Красной Тесьмы, официально используемое для защиты такого обязательного обложения (во всех смыслах этого слова), как налог на окна; * армия Краснотесемщиков и объем их работы в течение последних шести-семи лет настолько ярко свидетельствуют о чудовищном количестве Тесьмы, используемой для запутывания публики, что мы позволим себе, воспользовавшись подходящим случаем, размотать несколько тысяч ярдов, чтобы продемонстрировать образцы этого товара.

Налог на окна так справедлив и правилен, что с дома, имеющего двадцать окон, взимается по шесть шиллингов, два пенса и один фартинг с окна; с домов, имеющих в девять раз больше окон — то есть сто восемьдесят,— взимается с каждого окна на восемь пенсов меньше. Прекрасной особенностью этого налога (очень удобной для богатых домов, расположенных в сельской местности) является то, что, постепенно повышаясь в пределах от восьми до семидесяти девяти окон, его сумма вновь начинает снижаться; так что дом с пятьюстами окнами облагается налогом, на фартинг превышающим налог на дом с девятью окнами. Это обстоятельство в течение стольких лет выдавалось Краснотесемщиками за предел совершенства человеческого разума, что мы лишь мимоходом останавливаемся на нем и вынуждены обратиться к другому причудливому ответвлению той же темы.

Свет и воздух — первейшее условие нашего существования. Из всех доказанных физикой фактов нет более бесспорного: для нервной системы необходимо обилие солнечного света. Салат и некоторые другие овощи можно выращивать в темноте, без особого ущерба, если не считать изменения естественной окраски. Но для нервной

деятельности животных нужен свет. Чем выше ступень развития животного организма, тем более насущной становится для него потребность в свободном поглощении ярких солнечных лучей. Все человеческие существа, выросшие в темноте, хиреют и вырождаются. Среди заболеваний, о которых определенно известно, что они возникают и прогрессируют в результате недостатка света и всех сопутствующих этому условий, первое место принадлежит ужасным болезням — золотухе и чахотке.

В данное время, когда усилия ревнителей гигиены и Управления здравоохранения воспитали общественное мнение в духе этих истин, нам, пожалуй, даже неудобно повторять факты, которые так же бесспорны, как то, что дерево растет или волны плещутся. Но в течение последних нескольких лет основным недостатком практической философии было ее слишком большое отстранение от повседневных дел и жизненных забот. Поэтому знакомство даже с такими истинами не было в это время исчерпывающим и касалось лишь узкого круга людей. Красная Тесьма — тот великий институт, который ставит себя куда выше Природы,— категорически отказалась принять их, задушила их, прикрепив к ним ярлык: «подлежит налогообложению», и с превеликим негодованием сунула их на полку.

Этому настолько трудно поверить, что наши читатели, естественно, спросят: когда, где, каким образом? А вот каким образом. Весной 1844 года на почетном месте канцлера Казначейства на Даунинг-стрит в Лондоне восседало воплощение Красной Тесьмы. К этому воплощению Красной Тесьмы во плоти человека прибыла депутация от Общества плотников — мастеров, и другая — от Общества усовершенствования метрополии, в которую входило несколько специалистов по натурфилософии. Эта последняя депутация взяла на себя смелость изложить вышеупомянутый факт, связанный со светом, как некое микроскопическое проявление Вечной Мудрости, утвердившейся до того, как появилась Тесьма. И поскольку налог на окна исключал свет из обихода бедняков в больших городах, где они ютились в страшной тесноте в переполненных старых домах, ибо он склонял хозяев этих домов избавляться от необходимости платить налог, закрывая ставнями окна,

чем они и прославились; и поскольку все комнаты оказались лишенными света и воздуха, а бедняки набивались по нескольку человек в постель; и поскольку вследствие этого огромное и совершенно противоестественное количество их страдало золотухой, туберкулезом и постоянно скатывалось к пауперизму,— то депутаты просили достопочтенного Краснотесемщика, члена парламента, по крайней мере изменить налог с тем, чтобы уменьшить это бесчеловечное и пагубное зло. На что достопочтенный Краснотесемщик, член парламента, ответствовал, что налоги, по его мнению, не имеют ничего общего с золотухой; «ибо,— сказал он,— налог на окна не затрагивает деревенских жителей, а мне самому приходилось видеть много случаев золотухи в семьях крестьян-земледельцев моего района». Надо сказать, что заявление это было апогеем Красной Тесьмософии. Ибо, не говоря уже о том, что хорошо известно каждому, кому довелось путешествовать по Англии,— ведь дома деревенских тружеников, вообще говоря, являются совершенным образцом санитарного благоустройства и, в частности, отличаются колоссальными размерами окон (обычно венецианского или флорентийского типа, отнюдь не ниже шести футов, причем стекла, как правило, зеркальные, и окна свободно открываются),— следует еще особо отметить, что в таких домах места хоть отбавляй и особенно много его в спальне. Кроме того, ничто не может быть более чуждо обычаю деревенского жителя, чем сдавать в наем спальню одинокому человеку в целях уменьшения налога, а самому с семьей ютиться в маленькой комнате, в которой из-за дороговизны топлива он затыкает щели и не допускает притока свежего воздуха. Так как обо всем упомянутом выше ни один английский деревенский хозяин, живой или мертвый, никогда не слышал, то ясно,— так же ясно, как то, что жилище деревенского труженика всегда полно света и воздуха,— что отсутствие света и воздуха ничего общего с золотухой не имеет. Таким образом, достопочтенный Краснотесемщик, член парламента, солгал (вежливо) депутатам и, доказав правоту своих слов доводами, идущими вразрез с законами природы, привел в большой восторг всех курьеров.

Вот так-то! Но закулисная сторона этого случая таила еще больше Красной Тесьмы, припасенной для того, чтобы,

выражаясь морским языком, отдать концы. Депутатам, которые довольно настойчиво выступали с заявлениями об убийственных последствиях запрещения вентиляции в густонаселенных жилищах бедняков, тот же чин ответствовал: «Вы можете проветривать их, если вам угодно. Вот рядом со мной заместитель главного Краснотесемщика из министерства печатей. И он говорит вам, что в наружные стены домов можно вставлять цинковые пластинки, с пробуравленными в них дырочками, чтобы избежать обложения налогом». Депутаты просияли от счастья, услышав эти слова, ибо знали, что в число совершенств несравненной мудрости парламентских актов, установивших налог на окна, входило требование, чтобы все замурованные окна были замурованы тем же материалом, из которого сделаны наружные стены домов, и что во многих случаях, когда эти стены были построены, например, из камня, а окна забраны деревянными досками, считалось, что окна подлежат обложению, несмотря на то обстоятельство, что сквозь доски — этот по своей природе светонепроницаемый материал — не проникало ни луча света. Кроме того, депутаты знали из правительственных отчетов, что в соответствии с теми же парламентскими актами крошечное незастекленное отверстие, сделанное для того, чтобы в него могла пролезть кошка, так же как и маленький люк для сбрасывания угля в погреб, были торжественно объявлены окнами. Поэтому они были настолько довольны открытием продырявленного цинка, что добрейший и неутомимый доктор Саутвуд Смит * (один из членов депутации) упал на грудь господина Тойнби (другого члена депутации), обливая слезами радости Парламентскую улицу; свидетелем каковой сцены был Джон Таулер, рядовой лейб-гвардии второго гренадерского полка, стоявший на часах в Казначействе.

Но председатель Общества плотников, человек линейки и циркуля, у которого орган почтения (к Красной Тесьме), видимо, оказался недостаточно развитым, усумнился. И, обратившись письменно по этому поводу в министерство печатей, он содействовал тому, что еще некоторое количество Красной Тесьмы было вплетено в следующую информацию: «продырявленные цинковые пластинки подлежат обложению налогом, если они продырявлены так, что пропускают свет; и не подлежат, если служат только

целям вентиляции!» Поскольку Общество плотников (являющееся чисто деловой организацией) не осведомлено о том, каким образом следует производить перфорацию такого своеобразного двухствольного действия, чтобы отверстия одновременно пропускали воздух и закрывали свет, оно обратилось за объяснениями к самому достопочтенному Краснотесемщику, члену парламента. Объяснение было представлено в виде столь запутанного клубка, что мы по справедливости сочли его высочайшим образцом тесьмопроизводства: «Указание о том, что могут быть сделаны отверстия для вентиляции, которые не облагаются налогом, как окна, не содержит ошибки, вопреки предположению сторон, а по сему я отнюдь не считаю несовместимым с законом право решать в каждом отдельном случае вопрос о том, будут или не будут определенные просверленные отверстия считаться окнами и будут ли они подлежать обложению налогом».

Чтобы понять этот венец налогового законодательства, сплетенный из самой красной казенной тесьмы, следует напомнить, что ни один из существующих парламентских актов не допускал подобных исключений и что ни один из них не мог существовать без Тесьмы. Ибо местный акт, касающийся одного Ливерпуля, был проведен после циркуляра о налоге на окна и исключал круглые отверстия для вентиляции, диаметр которых не превышает семи дюймов; однако при том условии, что, если они идут по прямой линии, их должна защищать чугунная решетка, причем промежутки между перекладинами не должны превышать четверти дюйма.

В бесславной истории налога на окна найдется еще один прекрасный образец Красной Тесьмы. В июле того же года, лорд Олторп — имя которого должно всегда пользоваться почтением, ибо оно, пожалуй, меньше связано с Красной Тесьмой, чем имя любого другого министра,— выступил с краткой речью в палате общин и дал описание статьи закона, представленной им с целью как-то ослабить негодование, вызванное установлением этого налога. Это была,— сказал он,— «статья, дававшая людям право пробивать новые окна в уже существующих домах без всякой дополнительной оплаты. Единственная цель ее — помешать увеличению налогообложения в уже существующих

домах». На основании этого заявления многие арендаторы домов пробили новые окна. В ту же секунду, когда статья попала в правительственные учреждения, она запуталась в сетях из Красной Тесьмы.

В министерстве печатей, при толковании статьи, заменили «существующие дома» «существующими арендаторами». В самый текст статьи, до того как она стала законом, были введены слова, ограничивающие привилегию кругом лиц, которые «уже облагались соответствующим годовым налогом до 5 апреля 1835 года». Что за этим последовало? Красная Тесьма открыла, что ни один из тех, кто извлек пользу из этой статьи и пробил новые окна, не был должным образом подвергнут обложению в 1835 году. Не следует забывать, что порядок обложения, авторами которого были правительственные чиновники, был установлен без должной тщательности. Со всех пробивателей новых окон, сделавших это, основываясь на заявлении джентльмена, был взыскан дополнительный налог, что способствовало увеличению дохода государства, запятнало честь нашей страны и привело к канонизации Красной Тесьмы.

Тем, что все эти факты собраны и освещены, мы обязаны превосходной брошюре, в свое время составленной из статей «Вестминстерского обозрения». Значение этих фактов трудно переоценить.

Предоставьте же нашему чиновнику, который упивается Красной Тесьмой, подготовить социальную реформу, преследующую благую цель. Пусть он вновь обретет свои тесемочные мозги — после того как они на некоторое время были вышиблены из него ужасами чумы. И высчитайте, если можете, сколькими милями Красной Тесьмы он обовьет барьеры против, скажем, билля о погребении в общих могилах или закона о борьбе с инфекционными болезнями. О эти жгуты из толстенной Красной Тесьмы, которыми он заполнит почтовые ящики; эти наручники, которые он сделает из Красной Тесьмы, чтобы надеть их на руки, могущие принести пользу; эти бесконечные заросли департамента «Финансов», или «Лесов и Рощ», или чего угодно, увешанные и заплетенные Красной Тесьмой, по которым он будет не спеша бродить, изводя тех, кому выпала печальная доля следовать за ним!

Но дайте ему что-нибудь, с чем он мог бы поиграть,— парк, который можно вырубить, страшное чучело, которое он водрузит в публичном месте на устрашение цивилизованного человечества, мраморную арку, которую можно передвинуть на другое место — и откуда только возьмется в нем прыть!! С помощью Красной Тесьмы он будет весело подтягивать вас на эшафот и опускать с него. Вот в каких забавах он находит себе утешение после огорчений, которые приносят ему злосчастные парламентские акты, предусматривающие еще более беспокойные улучшения, нежели предполагалось раньше. Он может еще и еще раз оплетать их тоненькими паутинками Красной Тесьмы и летом ловить с их помощью мух; или устроить рядом с ними официальные места отдыха и, завернувшись в Красную Тесьму, кататься по полу, наподобие гиппопотама, резвящегося во время купания.

Когда-то давным-давно в Лондоне на Лонг Эйкр была старая, забитая пылью лавка, окна которой были уставлены высокими узкими бутылками с многочисленными экспонатами, с первого взгляда походившими на тухлые макароны. При ближайшем рассмотрении они оказывались солитерами, или «тесьмочервями», как их называют в Англии, извлеченными из внутренних механизмов неких леди и джентльменов, о чем деликатно сообщали ярлыки с инициалами на бутылках. То были результаты замечательного метода, применявшегося доктором Гарднером, но (видимо, опасаясь, что его пациенты будут краснеть со стыда, узнав, что они прославились таким путем) он поместил червей в музей, окутав тонкой пеленой тайны. Мы живо припоминаем белый таз, который во времена нашего детства стоял восемь или десять лет на видном месте в музее; предполагалось, что в нем хранятся экспонаты настолько новые, что о более тщательном их хранении еще не успели позаботиться. Насколько мне помнится, на нем была наклейка, гласившая: «Это единственное в своем роде существо, обладающее мышиными ушами, на прошлой неделе разрушало внутренности господина О., проживающего на Сити-роуд». Это было, однако, посягательством на область законного проживания тесьмочервей. Существа эти были чрезвычайно похожи друг на друга во всем, за исключением длины. Как гласила наклейка, длина самого

маленького из них была, если можно положиться на нашу память, около двухсот ярдов.

Если бы можно было в любой подходящей части Соединенного Королевства (мы бы предложили для этого столицу, как наиболее посещаемое место) организовать подобный музей на предмет обозрения и уничтожения Красных Тесьмочервей, которые причиняют такие тяжелые страдания английскому народу, нет никакого сомнения, что это немедленно принесло бы огромную пользу в национальном масштабе и одновременно явилось бы любопытнейшим национальным зрелищем. Не приходится сомневаться также и в том, что все население было бы радо оказать поддержку организации такого музея. На наклейках должны быть аккуратные, четкие надписи, подобно образцам, которые мы упоминали. «Достопочтенный господин Икс из министерства финансов. Семь тысяч ярдов». «Граф Игрек — из министерства колоний — половина этой длины». «Лорд Зет — из министерства лесных богатств — самый длинный, какой когда-либо существовал». «Это единственное в своем роде существо — без упоминания об ушах — было застигнуто в то время, как оно жестоко испытывало терпение господина Джона Буля в палате общин». Если бы открытие такого института было практически осуществимо и это можно было бы сделать до отплытия «Всех Наций» (на что вряд ли можно надеяться), было бы желательно перевести эти таблички на разные языки, для того чтобы дать возможность посетителю получить более широкое представление об одном из наших наиболее приятных и поучительных зрелищ.

15 февраля 1851 г.

СВИНЬИ ЦЕЛИКОМ*

Торговля по американскому образцу: «Свиньи Целиком (и полностью)», стала в последнее время еще более характерной чертой нашего общественного рынка. Торговля шла вяло — нигде ни малейших признаков оживления, а сделки касались исключительно Свиней Целиком. Лицам с мелкорозничной склонностью к покупке краев, грудинки, передних ножек, щечек, головы, задних ножек, рыла, ушек или хвоста не оставалось ничего другого, как брать Свинью Целиком, без скидки на требуху, а наоборот, с обязательством забрать ее всю без остатка, хотя требухи было немало.

Вот какое открытие было сделано: человечество в широком смысле этого слова может возродиться только благодаря Обществу умеренности или только благодаря Обществу мира, или питаясь только овощами. Следует особо отметить, что любое из этих верных средств возрождения полностью теряет свою силу, если отступить от предлагаемой сделки хотя бы на волосок свиного ушка данной Свиньи. Разбавь абсолютную чистоту воды хотя бы чайной ложкой вина или бренди — то есть, простите, алкоголя,— и Добродетель Возрождения бесследно исчезнет. Поставь одного часового у ворот дворца Королевы, и о твоем миролюбии не может быть и речи. Положи тушиться в кастрюльку с овощами хотя бы косточку от бараньей отбивной, и никакой Огород не станет для тебя Райским Садом.

Берите Свинью Целиком, сэр, до последней щетинки, или вы, как и все человечество, никогда не возродитесь для новой жизни.

Не задаваясь пока вопросом о том, не напоминает ли столь легко портящееся средство возрождения ту пару туфелек из сказки, которую молодая леди погубила, пройдясь в них разок по комнате, мы рассмотрим вопрос о Свиньях Целиком с иной точки зрения.

Прежде всего, посторонитесь! — мимо нас проходит процессия Трезвенников. Ее называют процессией умеренности, хотя называть ее так — значит злоупотреблять этим простым добрым словом. Но, впрочем, неважно. Ура! Ура! Голубые стяги, золотые письмена. Ура! Ура! Вот шествует великое множество прекрасных, честных, благонамеренных, образцовых граждан, по восемь и по четыре в ряд. Ура! Ура! А сколько детей! Тоже по восемь и по четыре в ряд. Кто они? — Это, сэр, Отряды Надежды Малолетних Трезвенников.— Помилуйте! Что это значит: Отряды Надежды Малолетних Трезвенников? — Что это значит? Детская Бригада Возрождения Человечества.— Ах, вот как? Ура! Ура! Раз эти молодые граждане дали обет полного воздержания от алкогольных напитков, причем они вполне правомочны давать обеты на всю жизнь; раз у родителей этих молодых граждан, при ныне существующем невозрожденном состоянии общества, заведено в обычае поить их горячительными напитками и крепким пивом (каковые обычно держат в бочке за дверью во всех больших семьях для потребления детьми распивочно, дабы семилетние и восьмилетние шли спать в пьяном виде)... Словом, ясно, перед нами великолепное зрелище. Еще раз: Ура! Ура!

А кто эти джентльмены, шагающие по четыре в ряд, с медалями, свисающими до живота, и бутоньерками в петлицах? — Это, сэр, комитет.— Неужели? Ура! Ура! Еще раз ура в честь комитета! Ура-а-а! Ура в честь его преподобия Джабеза Файеруэркса — любителя поговорить; ура в честь джентльмена со стоячим воротником, м-ра Глосса,— любителя поговорить; ура в честь джентльмена, на котором красуется тяжелая цепь от часов и который столь приятно улыбается при виде окружающей его Ярмарки Жизни, м-ра Глиба,— любителя поговорить; ура в честь неопрятного, низкорослого джентльмена, похожего

на обращенную гиену, м-ра Скрэджера,— любителя поговорить; ура в честь темноглазого смуглого джентльмена, делегата Общества голубя мира из Америки,— любителя поговорить; ура в честь толпы, которая роится, как черное облако вокруг процессии,— в честь Возрождающих человечество, прибывших решительно отовсюду,— все они прекрасные люди, все — любители поговорить, и все они намерены говорить.

Я не вправе возражать против всего этого, никак не вправе. Ура! Ура!

Преподобный Джабез Файеруэркс, великий м-р Глосс, народный любимец м-р Глиб, высокочтимый м-р Скрэджер, голубиный делегат из Америки и почтенная роящаяся толпа прибывших отовсюду получат полнейшую возможность (и они воспользуются ею) наговориться вдосталь. Разве сегодня не Торжественный Слет Демонстрации Сил; а завтра — другой Торжественный Слет Демонстрации Сил; а послезавтра — Торжественное Объединенное Возрождающее Посещение Зоологического Сада; а на следующий день — Торжественная Объединенная Общая Демонстрация; а день спустя — Великий Объединенный Возрождающий Завтрак; а еще через день — Великий Объединенный Возрождающий Чай; а на следующий день — Заключительная Торжественная Совместная, Совокупная, Объединенная и Соединенная Прогулка на Речном Пароходе; а разве Возрождающие человечество отправляются куда-нибудь без того, чтобы не наговориться вдоволь? Впрочем, мне-то что за вред от этого? Совершенно никакого вреда. Извольте, я готов кричать ура. Ура! Даже если Возрождающие человечество — самые скучные (как ораторы) люди на свете; даже если их самые искренние и лучшие последователи не могут, по слабости человеческой, выносить бич их ораторского искусства, а предпочитают вместо этого заниматься чаем и булочками, или утешаться менее страшным обществом львов, слонов и медведей, или заглушать Возрождающее красноречие громом труб и литавр; все равно я считаю все это разумным и правильным, и все равно я восклицаю: ура!

Но что, если я обнаружу, при более близком рассмотрении, что я имею некоторое отношение ко всему этому красноречию, если кто-нибудь вообще слышит оное, и если

оно не оказывается редкостным составом выдержек из Библии вперемежку с избранными местами из Джо Миллера *? Вдруг я обнаружу, что почтенная толпа отнюдь не принадлежит к тому разряду тихих джентльменов, которых м-р Карлейль * называет поглотителями собственного дыма; наоборот, окажется, что эти джентльмены изрыгают неимоверное количество дыма и весьма сильно коптят своим соседям? В таком случае, как сосед, я, возможно, имею право говорить.

В Бедламе и во многих других домах для умалишенных общество проклинают, как состоящее в злодейском заговоре против больного. В Ньюгете и во всех других тюрьмах общество проклинают, как состоящее в злодейском заговоре против преступника. В речах преподобного Джабеза и других Возрождающих общество проклинают, как состоящее в подлом и злодейском заговоре против данной Свиньи Целиком, и да будет она проглочена до последнего волоска, или свинья — не свинья.

Доказательство? Общество не желает прийти и подписать обет; общество не желает прийти и заручиться поддержкой Отрядов Надежды Малолетних Трезвенников. Следовательно, общество любит пьянство, не видит в нем никакого вреда, одобряет его, пьянствует, как самый низкий, ничтожный, распущенный негодяй. Отцы и матери, сыновья и дочери, братья и сестры, священники, врачи, законоведы, издатели, писатели, художники, поэты, музыканты, королева, лорды, леди, общины — все они в заговоре против Возрождающих человечество, все одержимы пагубной страстью к пьянству, и все они тем более опасны, что иногда являются по чистой случайности примером умеренности в подлинном значении слова — этот последний довод стал мощным паровым катком, которым размалываются все возражения.

Я позволю себе подать робкий протест против этого огульного и ложного обобщения. При всем моем уважении к Джабезу, Глоссу, Глибу, делегату Общества голубя и Скрэджеру я должен заметить, что, когда малаец одержим амоком, нельзя считать, что он находится в состоянии душевной умеренности; а когда термометр отмечает тропическую жару, нельзя утверждать, что он показывает умеренную погоду. Для того чтобы быть умеренным в под-

линном смысле этого слова, надобно быть умеренным во многих отношениях,— в воздержании от крепких слов не меньше, чем в воздержании от крепких напитков. И я дерзну заметить, вопреки утверждениям Возрождающих человечество, что своими тяжеловесными заявлениями они подают пример крайней неумеренности. Я даже сомневаюсь в том, что такое же количество пьяниц могло бы, находясь под влиянием самых крепких напитков, подать худший пример.

И я прошу тех, кто, обладая железной выносливостью, простаивает у трибуны и внимает ораторам, спросить себя со всей строгостью, размышляют ли они достаточно об этом? Знали ли они прежде о чем-либо подобном? Есть у них сведения, почерпнутые из собственного опыта или полученные от других, о достойном деле, подвигаемом столь недостойными средствами? Слышали ли они об обществе людей, выплескивающих преднамеренно с помощью избранных ими самими сосудов мудрости всякое усилие, направленное на улучшение положения человека, кроме их собственного, при этом бессовестно пороча всех остальных тружеников нашего вертограда; клеветнически обвиняя в пособничестве ужасному пороку, который является, как им известно, предметом всеобщего отвращения и подвергается всеобщему осуждению, великую сердцевину общества — его разум, его нравственность, его глубокое стремление к лучшему. Если, по зрелом размышлении, они обнаружат, что не знают ничего подобного, тогда, возможно, в их умах возникнет сомнение, являются ли они, поддерживая дело, так подвигаемое, подлинными поборниками Умеренности, употребляя слова, которые должны быть знаками Правды, в них заключенной.

Человечество может возродиться лишь с помощью Общества мира,— возвещают Свиньи Целиком Номер Один. Хорошо. Я вызываю из ближайшего Общества мира моего почтенного друга Джона Бейтса, прекрасного работника и хорошего человека, чья родословная восходит к бравому солдату, носившему то же имя и говорившего с королем Генрихом Пятым в ночь перед битвой при Азенкуре *. «Бейтс,— говорю я,— как там насчет этого самого Возрождения? Почему оно может прийти только через посредство Общества мира?» А Бейтс мне в ответ: «Потому

что война ужасна, разрушительна и противна духу христианства, потому что стоит вам побывать хотя бы в одной битве, и вы на всю жизнь разучитесь смеяться. Потому что человек не был создан по образу Создателя для того, чтобы его уничтожали в пороховых взрывах, пронзали штыками, или разрубали саблями, или давили копытами лошадей, пока он не превратится в кровавое месиво. Потому что война — это безумие, которое стоит нам так дорого. Потому что она расточает наши богатства, ожесточает сердца, парализует промышленность, подрывает торговлю, ведет к потерям, бедам и сатанинским преступлениям, чудовищным и бесчисленным». Тогда я говорю с грустью в голосе: «Но разве я не знал все это, о Бейтс, еще много-много лет назад?» — «Если так,— отвечает Бейтс,— тогда вступайте в наше Общество мира».— «Но почему же, о Бейтс?» — «А потому, что мы провозглашаем: «Мы не потерпим войны или проповеди войны. Мы не потерпим армии, флота, бивуаков или кораблей. Англия разоружена,— мы говорим,— и все эти ужасы кончатся».— «Каким же образом, Бейтс?» — говорю я. «С помощью третейского суда. У нас есть делегат Общества голубя из Америки и делегат Общества мыши из Франции; мы установим Союз Братства, и дело с концом».— «Увы, это невозможно, Бейтс. Я тоже размышляю об ужасах войны и благодати мира, о пагубном отвращении умов человеческих от сей благодати с помощью барабанного боя и грома безжалостных орудий. Однако, Бейтс, мир еще не так далеко продвинулся по стезе совершенства и есть еще на земле тираны и угнетатели, которые только и ждут, чтобы свобода ослабла, ибо тогда они смогут нанести ей удар с помощью своих огромных армий. О Джон Бейтс, посмотрика на Австрию, посмотри на Россию, посмотри на Германию, посмотри в сторону Моря, распростершегося во всей своей красоте за грязными темницами Неаполя! Ты ничего там не видишь?» — А Бейтс отвечает (как сестра в «Синей Бороде», но с большим ликованием): «Ничего — только пыль клубится». В том-то и заключается одно из неудобств откормленной Свиньи Целиком (и полностью), что эта Свинья лежит в дверях и свиноводы не могут ничего разглядеть за ней. «Только пыль!» — отвечает Бейтс. Говорю я Бейтсу: «Все дело в том, что за пылью — угне-

татели и угнетаемые стоят, ополчившись друг против друга, в том, что за делегатом Общества голубя и Общества мыши рыскают дикие звери, в том, что я страшусь и ненавижу несчастья тирании и войны, в том, что я не хочу быть под пятой у солдата и не хочу, чтобы другие были у него под пятой; — и вот поэтому я не за разоружение Англии и не могу быть членом Общества мира: все посылки я признаю, но вывод я отвергаю. После чего Бейтс, вообще говоря человек справедливый и рассудительный, мрачно заключает, что раз я не за его Свинью Целиком (и полностью), значит, я не имею ничего общего ни с какой частью его Свиньи; и, значит, я никогда не ощущал ничего подобного, не размышлял о том, что Общество, и только оно, считает своим открытием; и когда мне сообщают о таком открытии, мне до него нет дела!

Человечество может возродиться, питаясь только овощами. Почему? Некоторые достойные джентльмены, возможно, питались овощами много лет без всякого ущерба для себя. Незамедлительно эти прекрасные люди, доведя себя до состояния крайнего возбуждения, предстают в объявлениях как почтенные вегетарианцы, взбираются на трибуну, устраивают вегетарианский пир и затем доказывают, не без многословия и весьма посредственных шуток, что вегетарианский стол — это единственно истинная вера и что, питаясь мясом, человечество пребывает в глубочайшем заблуждении и отчасти — разврате. Почтенные вегетарианцы! С таким же успехом те, кто носят нанковые панталоны, могли бы устроить такое же собрание и стать почтенными нанковьянцами. Да неужели нельзя есть мяса? Ну ни вот столько нельзя? Если я дам обет есть три кочана цветной капусты ежедневно в сезон, немножко гороху, когда самое время на горох, тарелку широких виндзорских бобов, когда бобы «пошли», и кочанок молодой капустки каждое утро перед завтраком, запивая все это, быть может, лимонадом (тоже своего рода вегетарианская пища — в виде целебной добавки к этим яствам, от которых пучит), не будет ли мне позволено вкусить ложечку мясной подливки, чтобы придать вкус картофелю? Ложечку? Ни капельки! Почтенные вегетарианцы не признают несовершенное животное. Их Свинья должна быть Свиньей Целиком.

Право, нам хочется возродить обычай жертвоприношения животных и даже посоветовать воздвигнуть алтарь в честь Нашей Страны, приютившей такое множество этих неудобных и неуклюжих Свиней, с тем чтобы наиболее тяжеловесные части «сгорели и очистились». Свинья Целиком Общества умеренности, освобожденная от своего неумеренного притязания на непогрешимость и неумеренной решимости нестись с хрюканьем по пятам всего населения Империи, была бы гораздо более чистым и удобным животным. Свинья Целиком Общества мира, признав духовную общность между собой и многими другими, кто испытывает не менее сильное отвращение к войне, но кто тем не менее верит, что в настоящую эпоху подготовка на случай войны является хранителем мира и уздой деспотизму, станет столь же образованной, как ученый предшественник этой свиньи Тоби, вечная ему память. И если почтенные вегетарианцы всех видов разрешили бы употреблять в пищу немножко мяса; и если бы почтенные мясоеды всех родов уступили бы самую малость в смысле овощей; и если бы первые, вкушая плоды земли в неограниченной степени, допустили бы, что есть пюре с мясом не так уж, возможно, безнравственно, а последние согласились бы на шпинат с окороком; и если бы и те и другие смогли немного меньше ораторствовать — поскольку в настоящее время наблюдается неумеренное преобладание слов над делом; словом, если бы каждый из нас пожертвовал хоть кусочек из туши Целиком и Полностью, это оказалось бы в итоге лишь полезным и для нас, и для других.

В конце концов, мои дорогие друзья и братья, даже лучшая Свинья Целиком (и полностью) может оказаться лишь малой толикой высшей и более великой задачи, именуемой Образованием!

23 августа 1851 г.

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

В одной спортивной газете от воскресенья 14 июня помещено двадцать девять объявлений Пророков, которые сулят — за вознаграждение от одного фунта и одного шиллинга до двух с половиною фунтов — точнейшую информацию касательно всех «событий», долженствующих произойти на ипподроме. Каждый из этих Пророков располагает исключительными и неоспоримыми секретами, основанными на поразительных сведениях, сообщенных ему знаменитыми незнакомцами (они, разумеется, предатели, но до этого никому нет дела) из всех скаковых конюшен. Каждому из этих Пророков совершенно ясно, что его просвещенные клиенты и корреспонденты непременно должны победить, и каждый почтительнейше предостерегает чрезмерно доверчивую публику, чтобы она не полагалась на других Пророков. Все они филантропы. Один мудрец пишет, что «когда он окидывает своим опытным взором широкую поверхность борющегося общества и наблюдает терпение и стойкость немногих и стремительный натиск многих, которые вступили в схватку с житейскими невзгодами, его охватывает непреодолимое желание ярким светильником осветить путь всем». Он, сверх того, чрезвычайно обеспокоен тем, что «не проходит дня, когда бы публика не швыряла свои деньги на ветер, ставя на всякую дрянь». Второй извещает о своем появлении среди

менее блестящих звезд небосклона следующим образом: «Пророк-Победитель грядет!» Третий пересыпает свой секретный список фаворитов цитатами из Нового завета. Четвертый признается, что недавно совершил небольшую ошибку, которая «привела к печальным последствиям», и, принеся десяток извинений, заявляет, что в извинениях нет необходимости, ибо «после беспрецедентного успеха недавно приведенных им доказательств его способности выуживать тайное тайных ипподрома, ему, безусловно, можно простить одну ошибку». Все Пророки пишут в торопливой манере, словно вдохновение осеняет их, когда они едут верхом, и они, сидя в седле, записывают свои новости прямо на лету ради просвещения человечества и возвращения золотого века.

Это процветающее ремесло являет собою прискорбное свидетельство того, как непомерно велик список пасущихся везде и всюду двуногих ослов. Заслуживает также упоминания то обстоятельство, что великое множество учеников и последователей Пророков вначале, без сомнения, можно было найти среди лихих юнцов, которые твердо уверены, что их никоим образом не проведет ни Шекспир, ни другой подобный ему сентиментальный враль. Страшно подумать, что существует целая порода людей, которые возомнили себя всезнайками и которых грабят все Пророки Книги Ставок. Это кажется нам одной из величайших нелепостей, какие только можно себе представить; впрочем, эта мысль могла бы возбудить в нас все, что угодно, кроме вражды к Пророкам, если бы зло этим ограничивалось.

Однако зло это имеет тот недостаток, что оно этим не ограничивается. Раз есть возможность выведать столько секретов, способных сделать их счастливых обладателей баловнями судьбы, каждый уважающий себя мальчик из мясной лавки или рассыльный считает своим долгом немедленно приобрести парочку из тех, что подешевле, сделать ставку и выиграть. После того, как благородный спортсмен приобрел талисман у Пророка-Победителя, ему необходимо удобное место, где имеются списки скаковых лошадей, где следят за последним положением со ставками и где он может поставить свои (или чужие) деньги на счастливых лошадей, которых многоопытный Про-

рок ему украдкой указал. Presto! [1] Конторы вырастают на всех улицах! Во всех маклерских конторах появляется спрос на старые, засиженные мухами цветные гравюры с изображением скаковых лошадей и на любые увесистые фолианты, напоминающие гроссбухи. Две такие гравюры в витрине любой лавчонки и одна такая книга на любом прилавке — вот вам и вся букмекерская контора, да еще и с банком в придачу.

Букмекерская контора может быть табачной лавкой, внезапно преображенной таким образом, или она может быть букмекерской конторой и ничем иным. Устройство конторы может обойтись дешево — в этом случае просто убирают законно находящийся там прилавок и устанавливают в одном углу загородку и конторку; ее можно, напротив, роскошно обставить мебелью красного дерева. Иногда через окошко можно лицезреть управляющего конторой субъекта в сильно потрепанном костюме — сидя в своем тайное тайных, он, прежде чем приступить к делу, попивает джин в обществе исполненного благоговения клиента, наблюдая в это окошко за паломниками, стремящимися в храм. Порой эту должность исполняет джентльмен, напоминающий государственного чиновника, который с безмятежной снисходительностью делает записки в конторской книге, вставив в глаз монокль. Букмекерское заведение может снизойти до ставок в один шиллинг; оно может отвергать ставки меньше чем в полкроны, может провести демаркационную линию между собой и снобами на уровне пяти шиллингов, семи с половиной шиллингов, полсоверена или даже (правда, очень редко) фунта стерлингов. Расписка о заключенной сделке может представлять собой жалкий обрывок мягкого картона с неразборчиво напечатанной и еще более неразборчиво заполненной формой, или, напротив, окрашенную в мягкие тона визитную карточку, адресованную «Кассиру Аристократического Клуба» и уполномочивающую эту важную особу выплатить подателю сего два фунта пятнадцать шиллингов в случае, если Новичок выиграет кубок Фортуната *, причем обязательно выдать эту сумму на следующий день после скачек. Но какова бы ни была контора, ей нужно

[1] Быстрей! *(итал.)*.

только одно — помещаться где-нибудь, в любом месте, где ходят люди,— и стремительные молодые англичане, которые всегда держат ухо востро и всегда смотрят в оба, явятся туда и отдадут свои деньги, как и подобает этим беззащитным невинным существам.

Резвится, радуясь, что выигрыш велик,
И лижет руку, что его обчистит вмиг *.

Мы не можем утверждать, будто редакция «Домашнего чтения» расположена в средоточии этих заведений, ибо они кишмя кишат по всему Лондону и его предместьям. Однако в нашей местности развелось множество букмекерских контор, и не надо далеко ходить, чтобы с ними познакомиться. На днях, проходя по одной грязной и шумной улице близ театра Друри-Лейн, мы увидели, что к числу контор, находящихся под покровительством мистера Весельчака, прибавилась еще одна.

Маленькое заведение мистера Весельчака до такой степени напоминало лавку аптекаря из «Ромео и Джульетты», из которой вынесли всю мебель и наскоро приспособили для целей надежного и выгодного вложения капитала, что оно особенно привлекло наше внимание. Кроме того, оно расцвело чуть ли не накануне скачек в Аскоте, и потому у нас мелькнуло подозрение — уж не изобрел ли мистер Весельчак хитроумный способ собирать ежедневно вплоть до самого открытия скачек как можно больше денег, после чего — если нам позволено будет употребить столь грубое выражение — дать тягу. Мы не сомневались, что в контору мистера Весельчака будут приносить вклады, несмотря на крайне неутешительный вид его заведения (возможно, что оно открылось в то самое утро), ибо даже за то время, что мы изучали его с противоположной стороны улицы, мы увидели, как два газетчика, один начинающий пекарь, один клерк и один юный мясник вошли туда и весьма доверчиво заключили сделки с мистером Весельчаком.

Мы решили сделать ставку у мистера Весельчака и посмотреть, что из этого выйдет. Поэтому мы пересекли улицу, вошли в контору мистера Весельчака и, взглянув на висящие в ней списки (в это время другой благородный спортсмен — мальчик с синей сумкой — тоже делал ставку

у мистера Весельчака), высказали желание поставить на Топану в Западном Гандикапе смелую сумму в полкроны. Когда мы сделали это предложение мистеру Весельчаку, мы постарались изобразить все так, будто как свои пять пальцев знаем Топану и Западный Гандикап, тогда как унизительная правда заключалась в том, что мы не имели и не имеем ни малейшего понятия о смысле этих слов, если не считать того, что, по нашему мнению, Топана — это лошадь, а Западный Гандикап — заезд. Поскольку обязанности мистера Весельчака состояли в том, чтобы сохранять серьезный вид и не задавать вопросов, он принял нашу ставку, занес ее в книгу и через перила своей конторки вручил нам грязный обрывок картона, который давал нам право требовать — на следующий день после скачек, о чем нам ни в коем случае не следовало забывать,— семь с половиною шиллингов, если Топана победит. Какой-то демон шепнул нам, что это — отличный случай узнать, имеется ли в кассе мистера Весельчака запас серебра, и потому мы протянули ему соверен. Голова мистера Весельчака мгновенно нырнула за загородку — он исследовал воображаемые ящики,— после чего мы услышали произнесенное сдавленным голосом мистера Весельчака замечание о том, что все серебро сегодня утром обменяли на золото. Затем, в мгновение ока появившись снова, мистер Весельчак вызвал из задней комнаты самого продувного мальчишку, какого когда-либо видел свет, и послал его разменять соверен. Мы сказали мистеру Весельчаку, что если он будет так любезен дать нам полсоверена (ведь у него так много золота), мы увеличим свою ставку и избавим его от хлопот. Однако мистер Весельчак, снова скользнув за загородку, отвечал, что мальчик уже ушел — так оно и было, ибо он исчез, едва дослушав хозяина,— и что никаких хлопот это не составляет. Итак, до возвращения мальчика мы оставались в обществе мистера Весельчака и невозмутимой особы женского пола, которая с решительным видом смотрела на улицу и, очевидно, была не кто иная, как миссис Весельчак. Когда мальчик вернулся, нам показалось, будто в то время, пока мы получали сдачу, у него слегка дергался нос, словно он насмехался над своею жертвой, но это была такая продувная бестия, что мы ни в чем не могли быть уверены.

На следующий день после скачек мы вернулись со своим документом к мистеру Весельчаку и обнаружили там страшное смятение. Контора была битком набита молодыми людьми, по большей части грязными, засаленными и подвыпившими, и все они громко требовали мистера Весельчака. На месте мистера Весельчака сидел чудо-мальчик, совершенно одинокий, беззащитный, но нимало не смущенный. Мистер Весельчак, сказал он, ушел «по важному делу» в десять часов утра и не вернется до позднего вечера. Миссис Весельчак уехала за город для поправления здоровья и не вернется до зимы. «Вернется ли мистер Весельчак завтра?» — возопила толпа. «Нет, завтра его здесь не будет,— отвечал чудо-мальчик.— Потому что завтра воскресенье, а по воскресеньям он всегда ходит в церковь». При этих словах рассмеялись даже те, кто проиграл. «Значит, он будет в понедельник?» — в отчаянии спросил молодой зеленщик.— «В понедельник? — задумчиво повторил чудо-мальчик.— Нет, не думаю, что он будет здесь, потому что в понедельник он идет на распродажу». На это один из молодых людей насмешливо заметил: «Уж не знаю, что он будет продавать там, а только тут он продал нас»,— остальные же принялись слоняться по конторе, причем одни смеялись, другие бранились, а какой-то рассыльный, обнаружив книгу — единственное, что осталось от мистера Весельчака,— заявил, что книга — «первый сорт». Мы взяли на себя смелость просмотреть ее и убедились, что так оно и есть. Мистер Весельчак получил около семнадцати фунтов, и если бы он даже оплатил свои потери, чистая прибыль составила бы фунтов одиннадцать или двенадцать. Едва ли есть необходимость добавлять, что мистер Весельчак столь долго оставался на распродаже, что так до сих пор и не вернулся. В последний раз, когда мы проходили мимо его бывшего заведения (на котором красуется вывеска «Сапожных дел мастер»), уже сгущались вечерние тени, и некий джентльмен из Нью-Инна подробно расспрашивал о нем бестолкового и запыленного человека, который разговаривал через щелку двери и не знал ничего ни о ком и еще меньше, чем ничего (если это возможно), о мистере Весельчаке. Ручку звонка у двери нижнего этажа весьма выразительно вытащили наружу до отказа и оста-

вили в таком положении — вроде того, как вытягивают рычаг органа. Надо надеяться, что несчастный простак, который так яростно звонил в контору мистера Весельчака, получил некоторое удовлетворение от этой затраты сил. Никакого другого удовлетворения за свои деньги он не получит.

Однако публика не должна становиться жертвой людей, подобных Весельчаку. О нет, ни в коем случае! По соседству с нами имеются более респектабельные букмекерские конторы. Специально для искоренения этого зла у нас имеется Объединенный Нравственный Торгово-ремесленный Букмекерский клуб. Проспект этого учреждения, созданного для пользы лавочников и ремесленников (в оригинале имеется заставка — гравюра с изображением скачек), мы приводим здесь точно и дословно.

«Учредители Объединенного Нравственного Торговоремесленного Букмекерского клуба, возвещая о пополнении числа букмекерских контор нашей столицы, имеют честь заявить, что они движимы отнюдь не чувством соперничества по отношению к издавна существующим почтенным заведениям подобного рода, а напротив, духом честного соревнования и просят поддержки публики, гарантируя ей более надежное обеспечение капитала, нежели то, которое предлагалось ей до сих пор.

Объединенный Нравственный Торгово-ремесленный Букмекерский клуб, как и следует из его названия, представляет собой Объединение торговцев и ремесленников, деловых людей, которые, наблюдая, как любители спорта, принадлежащие к низшим сословиям, ежечасно подвергаются ограблению со стороны лиц, несостоятельных как с точки зрения их репутации, так и с точки зрения собственности, пришли к выводу, что публика сочтет достойным поддержки учреждение клуба, в который их собратья-торговцы и ремесленники, желающие рискнуть несколькими шиллингами, могли бы вложить свои деньги с полной уверенностью, что дело ведется честно и справедливо.

Дирекция Клуба чувствует, что отвращение, которое вызывают букмекерские конторы (действующие в ущерб тем, кто изо всех сил стремится честным путем заслужить доверие публики), в большой степени объясняется тем обстоятельством, что многие конторы были обстав-

лены с претенциозной пышностью, сопровождавшейся затратами, на покрытие которых, безусловно, не хватило бы прибылей ни одного честного предприятия. С другой стороны, разительная нищета других заведений с очевидностью свидетельствовала о намерении их хозяев брать деньги у *всех* и не платить *никому*.

Избегая этих крайностей во внешнем виде, мы преисполнены твердой решимости никогда не пускаться в спекуляции в таких масштабах, которые могут привести к тому, что мы не будем в состоянии «платить на следующий день после скачек».

Клуб будет вести свои дела в доме известного глубоко уважаемого торговца, расположенном в центре города, причем соглашение директоров с этим лицом дает наиболее солидную из всех возможных гарантий нашего намерения честно выполнять свои обязательства перед публикой.

Все ставки будут обеспечены и все выпущенные билеты на вложенные деньги будут подписаны только директором», и т. д. и т. п.

После этого торговцы и ремесленники могут совершенно спокойно ставить деньги на своих фаворитов. А их семьи, подобно персонажам из старинных сказок, будут жить счастливо до самой смерти.

Между тем не подлежит сомнению, что это зло приняло широкие размеры и что оно влечет за собою весьма серьезные социальные последствия. Однако, при всем нашем уважении к взглядам, которых мы не разделяем, мы считаем ошибкой требовать в этом случае вмешательства законодательной власти. Во-первых, мы не считаем разумным, чтобы законодатели, которые всегда так мало заботились о развлечениях народа, принимали одни только меры пресечения. Если бы законодательная власть заботилась о воспитании и увеселениях народа и искренне желала содействовать и покровительствовать им в течение всего того времени, когда она поступала как раз наоборот, дело могло бы обернуться иначе, хотя даже и в этом случае мы сильно сомневались бы в том, не является ли такое требование попыткой снять с себя ответственность. Во-вторых, хотя почтенные, достопочтенные и ученые члены парламента, которые, сидя на своих местах, распространяются о том, что хорошо и что плохо, что правда и что не-

правда — для народа — представляют собой весьма поучительное зрелище, мы в дерзости своей не восхищаемся тем, как нынешний парламент решает подобные вопросы, и мы уверены, что, если они не будут решены по всей справедливости, парламент не может пользоваться большим моральным авторитетом. Без сомнения, вся страна знает, что некоторые благородные общественные Пророки уже довольно долгое время рекламировали свои секреты направо и налево, указывая на лошадь, которая должна разорить всех, кто на нее ставит, и клялись, что другая лошадь должна всех обогатить! Без сомнения, все мы, несмотря на различие наших политических взглядов, знаем, что ни один из них, «окидывая своим опытным взором», точь-в-точь как Пророк из спортивной газеты, «широкую поверхность борющегося общества», был одержим тем же «непреодолимым желанием ярким светильником осветить путь всем» и при свете этого яркого светильника проникся глубокой уверенностью в том, что выиграет Вороной,— он верит в это до тех пор, пока не купят его предсказания, после чего ему внезапно приходит в голову, что выиграть может Белый, или даже Гнедой, или, весьма возможно, Серый в яблоках. Без сомнения, все мы знаем, хоть нам и не хочется в том признаться, что это портит и пятнает репутацию политических деятелей, что выборы, которые нам предстоят, и все правительство страны в настоящее время представляют собой большую бесшабашную букмекерскую контору, где Пророки спрятали в карман свои собственные предсказания после того, как они до последней возможности водили за нос своих клиентов, и где теперь, окидывая своим опытным взором весь мир вообще, они ставят на кого и на что угодно, лишь бы только выиграть!

Нет. Если бы наши законодатели взялись за это дело, это, без сомнения, было бы добродетельной демонстрацией, но отнюдь не поучительным зрелищем. Родители и хозяева должны позаботиться о себе сами. Каждому следует кое-что знать о привычках и пристрастиях своих подчиненных, а когда появляются новые искушения, следует знать о них побольше. Согласно условиям договора, подмастерья подлежат наказанию за азартные игры, и было бы чрезвычайно полезно, если бы несколько десятков этих благородных спортсменов были осуждены и

заключены в исправительный дом щипать пеньку и набивать кашей свои глупые желудки. Играющих на скачках клерков и слуг, которые, несмотря на строгое предупреждение, продолжают играть, следует решительно увольнять со службы. Есть много трудолюбивых и порядочных молодых людей, которые могут занять их места. Полицейским следует дать указание ни в коем случае не оставлять безнаказанным ни одного джентльмена, пользующегося дурной репутацией,— независимо от того, разыскивает его полиция или нет,— о котором станет известно, что он связан с какой-либо букмекерской конторой. Мы убеждены, что таким образом можно будет обнаружить множество выдающихся личностей. Этих предосторожностей, вероятно, будет достаточно,— в том случае, если родители и хозяева станут неукоенительно выполнять свои обязанности, вместо того чтобы взваливать их на законодательную власть, на которую они сами не полагаются. Иные дураки, за которыми никто не следит, всегда будут катиться по наклонной плоскости, но за большей частью этого многочисленного разряда людей все же кто-то следит, и крайне необходимо следить за ними более строго.

26 июня 1852 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК ПОЗАБАВИТЬ ПОТОМСТВО

Время от времени я предаюсь размышлениям о Потомстве, этом древнем, хотя и не родившемся еще персонаже. Я рассматриваю его под различными углами зрения и представляю его себе во всевозможных настроениях, но главным образом думаю о том, как он должен смотреть на наш век. Я особенно люблю задаваться вопросом, способствуем ли мы тому, чтобы развлечь и позабавить этого старого джентльмена. Последнее совершенно необходимо, ибо если не мешать дело с бездельем, то даже Потомство может отупеть.

А ведь подумать только, какая ему предстоит уйма дел. Только прочесть все книги, посмотреть все картины и статуи, послушать всю музыку, которую так щедро оставляют ему в наследство толпы восхищенных предков в течение многих поколений, и то будет нелегкой задачей. Я убежден, что даже стихов, написанных специально для него, было бы достаточно, чтобы заморочить голову кому угодно. Сколько времени займут его приемы, просто невозможно себе представить — ибо как еще сможет он принять полчища леди и джентльменов, которые преисполнены твердой решимости творить для Потомства! А огромное количество хитроумных изобретений, начиная от вечного двигателя и кончая дальнобойными орудиями, которые ему придется испытать, оценить и принять,— ведь это неиз-

бежно займет лучшие годы его жизни. Чтобы выслушать все просьбы, хотя бы требования просителей были всякий раз ясны как божий день, ему пришлось бы просидеть столько же времени, сколько просидели двадцать лорд-канцлеров, хотя каждый из них сидел на мешке с шерстью * в течение двадцати лет. Только для того, чтобы отвергнуть тех шарлатанов от наук и искусств, которые умеют ловко набить себе цену, а также для того, чтобы прижать к своей груди тех знаменитостей, которых все человечество готово за ненадобностью выбросить вон,— только для одного этого потребуется уйма времени. Совершенно ясно, что по своим свершениям в труде Потомству суждено превзойти любого будущего Геркулеса.

Исходя из всего вышеизложенного, было бы лишь уместно позаботиться о развлечениях этого трудолюбивого персонажа. Если уж он непременно должен так сильно переутомляться, давайте по крайней мере сделаем что-нибудь, чтобы его развлечь — что-нибудь сверх тех томов поэзии и прозы, тех картин и статуй и тех музыкальных пьес, которые доставят ему бесконечное наслаждение; попытаемся доставить ему наслаждение (осмелюсь заметить) не буйного, а скорее мечтательного свойства.

Таков ход моих размышлений, когда я рассматриваю настоящее время в его отношении к Потомству. Увы! Я должен сказать, что, по-моему, мы недостаточно стараемся вызвать у него улыбку. Мне кажется, мы могли бы позабавить его немножко больше. Я хотел бы внести одно или два предложения — правда, они несколько неожиданные и фантастические, но вполне подходят для этой цели, ибо принадлежат к тому типу шуток, которые могут показаться забавными Потомству.

Если бы у нас сейчас было два великих военачальника — скажем, один в армии, а другой во флоте, причем один из них погиб бы в бою (то есть погибло то, что от него осталось, ибо мы предположим, что еще раньше он потерял руку и глаз или еще что-то в этом роде), а второй дожил до старости — то Потомство сочло бы за шутку, если бы мы заполнили свои города скверными статуями одного и предали полному забвению другого. Мы можем развить этот план и дальше. Если бы мы положили обоих воображаемых великих людей рядом в соборе св. Павла,

а затем в отделе объявлений наших газет поместили бы рядом два воззвания о пожертвованиях на памятники тому и другому; и если бы мы, продолжая шутить, заявили, что памятник одному должен быть неслыханно роскошным, а памятник другому невероятно жалким, причем в списке лиц, пожертвовавших средства на один памятник, значились бы имена трех четвертей знатных сановников страны, тогда как в списке лиц, пожертвовавших на второй, жалкая горсточка простых людей, и таким образом сумма подписки на один памятник с легкостью подскочила бы до огромной цифры, а сумма подписки на второй с трудом дотянулась бы до размеров нищенского пособия дочери умершего адмирала,— если бы нам только удалось довести эту шутку, как говорил Отелло —

до этой степени, не больше *,—

мне кажется, она изрядно насмешила бы Потомство.

Упоминание о знатных сановниках подводит меня к моему следующему предложению. Оно потребует изменения существующего ныне в Англии способа удостаивать почетных званий и титулов; но, воодушевленные многочисленными примерами бескорыстного служения Потомству, мы, быть может, осмелимся его испробовать.

Я буду исходить из предположения, что среди книг той весьма обширной библиотеки (большая ее часть в нынешние непросвещенные времена совершенно неизвестна), которая неизбежно станет богатым наследием Потомства, найдется история Англии. Из этой летописи Потомство узнает о происхождении многих благородных фамилий и титулов. Так вот — шутка, которую я имею в виду, состоит в следующем. Если бы мы могли устроить дело так, чтобы этот привилегированный класс всегда заботливо охраняли, окружив его барьером из зеленого сукна, барьером, через который было бы разрешено переступить лишь нескольким генералам, нескольким крупным капиталистам и нескольким законникам (заметим, что последние еще при жизни многих предыдущих поколений переступали через него так, что это не делало им особой чести,— в чем наш любезный друг Потомство убедится, вернувшись к тем временам, когда судьями и младшими судьями стали люди, несомненно обладающие свободой, честью и неза-

висимостью); если бы такой привилегированный класс всегда охраняли и ограждали, оберегали и ограничивали, как это делалось несколько сот лет назад, если бы его никогда не приспосабливали к обстоятельствам эпохи, и если бы его действительно учредили и поддерживали, как нечто, со дня творения и поныне одаренное выдающейся врожденной способностью благородно править и управлять и формировать кабинеты министров (о чем блестяще свидетельствует превосходное состояние всего правительственного механизма, всех общественных учреждений, всех верфей, всех кораблей, всех дипломатических связей и в особенности всех колоний), — мне кажется, самоочевидный комизм этой ситуации заставил бы Потомство захихикать. Поскольку все мы знаем, что в настоящее время дела в Англии обстоят совсем по-другому, нам придется совершить множество изменений, прежде чем мы сможем передать Потомству существующий забвенный порядок. Например, пришлось бы постановить, что после благородного и ученого герцога, который, без сомнения (в один прекрасный день), будет призван давать советы ее величеству по поводу формирования кабинета министров, никому уже не следует присваивать титул великого герцога Дженнера или Прививки (в настоящее время столь достойно представленный в палате общин). Пэрское звание Уатта или Паровоза также придется постепенно отменить. То же самое должно произойти с графами Железных Дорог, с баронетами Трубчатых Мостов, с Фарадеевским * орденом «За заслуги», с орденом Подвязки за Электрический Телеграф, с титулами, присвоенными в настоящее время выдающимся писателям исключительно за литературную деятельность, и с подобными же титулами, присвоенными художникам, — хотя можно было бы придать остроту шутке, приравняв звание нескольких академиков званию олдермена. Однако, раз сыграв злую шутку и совершенно отделив возведенный в дворянское достоинство класс от людей всевозможных званий, которые добиваются общественных отличий тем, что делают свою страну более счастливой, славной и богатой, мы можем проникнуться приятной уверенностью в том, что, — как мне кажется и как я теперь почтительно замечаю, — мы сделали кое-что для увеселения Потомства.

Меня осеняет еще одна мысль. Из своей английской истории наш почтенный друг узнает, что в сравнительно варварское время, когда корона была бедна и ради денег делала все, что угодно, даровала помилование убийцам и прочим преступникам — отчасти из безумной жажды золота, а отчасти из пристрастных законов в пользу богатых феодалов, произошло самое нелепое и устарелое наказание, называемое штрафом. И вот мне кажется (ибо я все время забочусь о развлечении Потомства), что если бы, провозглашая всех правонарушителей равными перед лицом закона, мы в то же время сохранили бы это устарелое наказание штрафом (которое, разумеется, вовсе не наказание для тех, у кого есть деньги), скажем, за очень серьезные преступления, как, например, грубое насилие, мы, конечно, вызвали бы на лице Потомства широкую улыбку. В этом случае могло бы даже быть так. В полицейский участок могли бы привести «капитана», обвиняемого в том, что он избил тростью молодую женщину по совершенно дикой причине; и когда обвинение было бы доказано, то в качестве примера равенства всех перед законом (а отнюдь не по вине судьи, ибо у него нет другого выхода) «капитана» могли бы оштрафовать на 50 шиллингов, а он мог бы вытащить из кармана туго набитый кошелек и сказать, что если дело только в этом, он готов уплатить 50 фунтов. Вот это была бы поистине забавная шутка для Потомства! При свете белого дня, в первом городе мира, в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году!

Или мы могли бы заставить наши законы рассматривать это самое грубое насилие таким забавным образом, чтобы дать возможность няньке из работного дома в двух часах ходьбы от столицы подвергнуть ребенка медленной пытке огнем, а потом уйти от правосудия совершенно безнаказанной, не считая всего лишь двухнедельного тюремного заключения! Мы могли бы довести эту шутку до крайнего предела — сделать так, чтобы ребенок благополучно скончался и сгнил, а злодейку-няньку лишь *тогда* привлекли бы к суду; причем ее чудовищное преступление юридически определялось бы этим единственным результатом или его отсутствием, а не мучениями, которые оно причинило, и не ужасающей жестокостью, о которой оно свидетельствовало. И все это время (чтобы было еще

смешнее) во всех частях королевства воздвигались бы всевозможные сторожевые башни по возможности высотою в Вавилонскую (когда ее разрушили), на верхушках которых день и ночь толпились бы люди всех званий и сословий, высматривая всевозможные правонарушения, совершаемые где-то очень далеко на Востоке, на Западе, на Севере и на Юге. Таким образом, нежная нянька, утешенная джином, вернулась бы опекать младенцев (представьте себе прошлое этой милой матроны, о матери!), и, таким образом, Потомство вынуждено было бы смеяться, хотя и горьким смехом!

Право, я думаю, что Потомство отнесется к этой последней шутке (по причине ее крайне зловредного характера) столь равнодушно, что вместо нее ему может потребоваться другая. И если бы нам удалось склонить группу джентльменов, у которых сильно развиты френологические органы воинственности и драчливости, если бы нам удалось склонить их объединиться в общество, произносящее громкие речи о Мире, сопровождаемые шумным боевым кличем против всех, кто их не произносит; и если бы только нам удалось убедить их красноречиво суммировать все невыразимые бедствия и ужасы Войны и представить их своей собственной стране в качестве исчерпывающей причины для того, чтобы быть незащищенной от Войны и стать добычей первого деспота, коему вздумалось бы ввергнуть ее в эти бедствия и ужасы,— тогда я действительно поверю, что мы добрались до самой лучшей шутки, какую только можно найти в нашем Полном Собрании Шуток для Потомства, и что мы можем сложа руки пребывать в уверенности, что сделали для увеселения этого придирчивого патриарха все, что только возможно.

12 февраля 1853 г.

ПРИЗЫВ К ПАДШИМ ЖЕНЩИНАМ*

Начав читать это письмо, вы заметите, что я не обращаюсь к вам по имени. Но я обращаюсь в нем к женщине, еще очень молодой, которая была рождена для счастья и влачит горестное существование, у которой в будущем — лишь печаль, а в прошлом — лишь загубленная молодость; в чьем сердце, если она когда-нибудь была матерью, вид ее несчастного ребенка пробудил не гордость, а жгучий стыд.

Ее судьба — ваша судьба, иначе это письмо не попало бы в ваши руки. Если вы когда-нибудь мечтали (а я знаю, что вы мечтали, и, быть может, не раз) о чудесной возможности переменить свой образ жизни, обрести друзей, тихий приют, душевный мир и самоуважение, приносить пользу себе и другим,— ну, словом, вернуть все, что вы утратили,— прошу вас, прочитайте это письмо внимательно и подумайте о нем.

Я собираюсь предложить вам верную возможность обретения такого счастья, если вы искренне решитесь заслужить его. Только не подумайте, будто я считаю себя намного выше вас или хочу вас обидеть, напомнив вам о вашей горестной участи,— боже сохрани, я думаю только о вашем собственном благе и пишу так, словно вы моя сестра!

Подумайте, каково ваше положение. Подумайте о том, что оно не может стать лучше, если вы будете продолжать жить так, как живете, и наверное станет еще хуже.

Вы знаете, что такое панель; вы знаете, как жестоки те, кого вы там встречаете; вы знаете царящие там пороки, и знаете, на какие последствия они обрекают вас, даже пока вы молоды. Приличные люди чураются вас, вы отличаетесь от всех остальных женщин на улице, вас избегают даже дети, вас преследует полиция, вас сажают в тюрьму и выпускают оттуда только для того, чтобы снова заключить туда,— даже это письмо вы читаете в тюремной камере, и значит, вы не могли не постигнуть истину во всем ее ужасе.

Но когда на этой стезе, среди подобного окружения вас настигнет старость (если только вы не умрете преждевременно от страшной болезни или сами в припадке безумия на наложите на себя руки), все ваши страдания увеличатся во сто крат, и нет слов, чтобы описать их. Так представьте же себе постель, на которой вы, став к тому времени безобразной старухой, должны будете встретить свой смертный час, представьте, как перед вашим взором встанут тогда долгие-долгие годы позора, нужды, преступления и горя. И этим страшным днем, и божьим судом, который последует за ним, и запоздалым раскаянием, которое станет терзать вас тогда, потому что вы не приняли помощи, предложенной вам теперь, пока еще не поздно,— всем этим заклинаю вас, подумайте над моим письмом.

В этом городе есть дама, которая из окон своего дома видела по ночам на улице таких, как вы, и сердце ее обливалось кровью от жалости. Она принадлежит к числу тех, кого называют знатными дамами, но она глядела вам вслед с истинным состраданием, ибо природа создала вас такими же, как она сама, и мысль о судьбе падших женщин не раз тревожила ее, лишая сна.

Она решила на свои средства открыть в окрестностях Лондона приют для женщин, которых без этой помощи ждет неотвратимая гибель, и сделать его их родным домом. В этом доме их научат всем обязанностям хорошей хозяйки — это пригодится им, чтобы сделать уютным и счастливым их собственный будущий дом. В этом мирном приюте, расположенном в живописной сельской местности, где каждая, если пожелает, сможет завести собственный цветник, с ними будут обходиться с величайшей добротой; они будут вести деятельную, здоровую, полную про-

стых радостей жизнь; они приобретут много нужных и полезных знаний, и вдали от тех, кому известно их прошлое, начнут жизнь заново и смогут заслужить себе доброе имя и общее уважение.

Эта дама не хочет, чтобы молодые обитательницы ее приюта были лишними в мире после того, как они раскаются и вернутся на путь добродетели; наоборот, она стремится к тому, чтобы они стали полезными обществу на радость себе и ему; и поэтому, когда с течением времени они своим поведением докажут, что действительно исправились, им будет дана возможность уехать за море и в какой-нибудь далекой стране стать верными женами честных людей и после долгой мирной жизни спокойно умереть.

Те, кто ежедневно видит вас здесь, говорили мне, что, по их мнению, в вашей душе еще не угасла добродетель и вас можно убедить покинуть путь порока. И вот я предлагаю вам тот приют, который описан выше в немногих словах.

Но подумайте хорошенько, прежде чем принять это предложение. Если вы решитесь, выйдя из ворот тюрьмы, вступить в новую жизнь, где вас ждет светлая возможность стать подлинно счастливой, которой вы лишены ныне, то помните, что вам надо найти в себе силы оставить прежние привычки. Вы должны следить за собой, держать себя в руках, укрощать в себе все дурное. Вы должны стать кроткой, терпеливой, уступчивой и упорно добиваться поставленной перед собой цели. А главное — будьте всегда правдивы. Будьте правдивы, и все остальное окажется легким. Но заклинаю вас, помните, что если вы вступите в этот приют, не приняв такого твердого решения, вы без всякого права, без всякой пользы для себя и других займете место какой-нибудь другой обездоленной девушки, которая идет сейчас путем порока, и ее гибель, как и ваша собственная, падет на вашу голову перед ликом всемогущего бога, которому известны все тайны нашего сердца, и Христа, принявшего смерть на кресте, чтобы спасти нас.

Если вы хотите узнать что-нибудь еще о приюте или навести какие-нибудь справки, скажите об этом, и вам будет тут же сообщено все, что вас интересует. Но решите

ли вы принять или отвергнуть это предложение — подумайте о нем. Если в тиши и уединении ночи вы не сможете заснуть — подумайте о нем тогда. Если вы вдруг вспомните о времени, когда были невинны, совсем не похожи на ту, какой стали теперь,— подумайте о нем. Если сердце ваше смягчится при мысли о нежности или привязанности, которую вам довелось испытать, или о ласковых словах, когда-либо сказанных вам,— подумайте о нем. Если ваша горестная душа вдруг постигнет, чем вы могли бы быть и что вы теперь,— подумайте о нем тогда и поразмыслите, чем вы еще можете стать.

Ваш
искреннейший друг.

23 апреля 1853 г.

ШУТКИ КОРОННЫХ И СОВЕСТНЫХ СУДОВ*

Я принадлежу к той категории людей, которых Сидней Смит назвал «любимыми животными правительств вигов», то есть к числу адвокатов с семилетним стажем *. Скажи я, с семнадцатилетним стажем, я бы тоже не ошибся, а быть может, не ошибся бы и сказав: с двадцатисемилетним. Но я предпочитаю оставаться в тени и потому не стану распространяться на эту тему.

Разумеется, как адвокат с солидным стажем, я скорблю над упадком нашей профессии. До чего же она поблекла и захирела! На моих глазах даже сами Джон Доу и Ричард Роу * пали жертвами невежества и предрассудков. На моих глазах канули в вечность шумные сборища в суде Олд-Бейли, в центре лондонского Сити, эти веселые послеобеденные встречи, во время которых, могу смело сказать, было выпито больше вина и обговорено больше новостей, чем в любой веселой компании, в какой мне довелось принимать участие на моем веку. Как подумаю о весельчаке-прокуроре, священнодействующем над своим знаменитым салатом, о господах судьях, обсуждающих достоинства вин с лорд-мэром и шерифами, и о завзятых остроумцах — адвокатах Олд-Бейли, развлекающих своими шутками олдерменов и публику, и как вся наша братия, разгоряченная вином и оживленной беседой, направлялась в зал судебных заседаний, чтобы вершить суд над каким-нибудь рабом божиим и приговорить его к пожиз-

ненному тюремному заключению, так вот, как подумаю, говорю я, о тех, безвозвратно ушедших золотых денечках и о том стоячем болоте, где мы прозябаем ныне, право же, я нисколько, вот нисколечко не удивляюсь, что Англия идет к верной гибели.

Коль скоро эта статья публикуется без указания моего имени * и, стало быть, у публики не будет оснований подозревать меня в тщеславии, беру на себя смелость упомянуть, что я от природы наделен чувством юмора. Мало что может мне доставить такое удовольствие, как хорошая шутка. И подобно тем прославленным свидетелям — офицерам 46-го полка (лучших свидетелей я в жизни не видывал, даже на процессах барышников, хотя в наш развращенный век публика отнеслась к ним без всякого сочувствия), я вовсе не против того, чтобы шутка была соленой. Особенное пристрастие я питаю к судебным шуткам, ибо к этой сфере тяготеют мои интересы, но мне особенно по душе, когда шутка, что называется, хорошо просолена. И действительно, лучшие из сохранившихся у нас судебных шуток, это шутки с солью.

Говорю «из сохранившихся», поскольку под тлетворным воздействием уравнительного духа нашего времени некоторые из наисоленейших шуток, связанных с нашей судейской профессией, подверглись варварскому истреблению. Сдается мне, что такое нововведение в нашем судопроизводстве, как допрос сторон, нанесло смертельный удар традиционному юмору англичан. Разве можно было представить себе нечто более уморительное, чем когда господа судьи всем своим глубокомысленным видом показывают, что стремятся установить истину, и в то же время игнорируют мнение сторон, в девяти случаях из десяти знающих о ней больше, чем кто бы то ни было? Увы, теперь это обычай, отошедший в прошлое, как и сотни других презабавных шуточек, коими так тешили себя отцы и деды нынешних судейских.

Но я отклонился от темы: ведь моя цель — дать краткий очерк еще сохранившихся в наших коронных и совестных судах, на наше счастье, крепких и соленых шуток. Так как я никогда не выдаю чужие рассказы за свои (хоть и слыву большим шутником), то начну с указания тех источников, из которых почерпнуты мои истории.

Непомерно высокая стоимость ведения простейших дел в судах справедливости (или так называемых совестных судах) и причуды закона, требующего от всех англичан обращаться в совестный суд для восстановления попранной справедливости, по сей день порождают в огромном большинстве случаев очень забавную разновидность крепких шуток. Я имею в виду такие шутки, когда предприимчивый субъект может присвоить себе чужие деньги или имущество и распоряжаться ими как своей собственностью, даже не пытаясь доказать, что он имеет на них хотя бы слабое подобие права. Он действует так, прекрасно зная, что если законный владелец отважится подать на него в суд, чтобы защитить свои права, то всего его состояния будет мало для покрытия судебных издержек.

Я хочу рассказать несколько подобных случаев из практики.

Шутка находчивого опекуна

Шутник, которого владелец небольшой земельной собственности сделал своим душеприказчиком по завещанию, должен был реализовать недвижимость и употребить вырученную сумму на благотворительные нужды. Однако, продав участок, душеприказчик обнаружил, что опекунское свидетельство по формальным причинам не имело законной силы. Поскольку сумма была недостаточна для возбуждения против него иска в суде справедливости (менее шестидесяти фунтов стерлингов), то он от души посмеялся над законными наследниками, прикарманил денежки, зажил в свое удовольствие и был таков.

Шутка хитроумного врача

Один сельский врач уговорил полоумную пожилую даму назначить его своим главным душеприказчиком, оставив по завещанию свое небольшое состояние брату и сестре. Что же делает этот услужливый врач после смерти полоумной пожилой дамы? Он добивается продажи имущества, подает счет за лечение в сумме до двух или трех сотен фунтов, что превышает весь капитал покойной, и в

ответ на протесты ее брата и сестры бросает им в лицо: «Что? Судиться? Попробуйте, если есть охота!» — и живет на их деньги припеваючи до сего времени.

Шутка над злосчастными кредиторами

Некий должник умер, забыв упомянуть в своем завещании о том, что у него остались долги. Его кредиторы подали в совестный суд, требуя продажи имущества должника. Когда такое решение было получено, оказалось, что ликвидация имущества может дать всего семьсот фунтов стерлингов, тогда как судебные издержки составляют семьсот пятьдесят. Таким образом злополучные кредиторы остались с носом к вящему удовольствию шутников Канцлерского суда.

Шутки над несовершеннолетними

Ведение дела в Канцлерском суде по прошению об утверждении полюбовного соглашения с опекунами для выдачи из суммы завещанного капитала одной тысячи фунтов стерлингов на воспитание неких малолетних детей обходится в сто три фунта четырнадцать шиллингов и шесть пенсов. Подобное же дело, в том же судебном установлении, с теми же опекунами, по тому же завещанию, но на предмет воспитания других малолетних детей, будет стоить ровно столько же фунтов, шиллингов и пенсов. Двадцать подобных дел по тому же завещанию, на тот же предмет, с теми же опекунами, но для иных двадцати младенцев порознь или в совокупности, будет стоить тяжущимся, в каждом отдельном случае, ровно столько же.

Бедняк школьный учитель, застраховав свою жизнь на двести фунтов стерлингов, оставил завещание, в соответствии с которым его душеприказчикам предоставлялось право по их усмотрению употребить проценты с капитала на воспитание его малолетних детей, а остаток разделить между ними по достижении ими совершеннолетия. Один из душеприказчиков усумнился, имеет ли он право на основании завещательного распоряжения, по уплате долгов и налога на наследство, употребить часть капитала (об этом в завещании не было упомянуто), чтобы определить

обоих сирот в детский приют. Однако получение на это санкции Канцлерского суда стоило бы по крайней мере половину всего завещанного капитала, поэтому пришлось отказаться от обращения в суд и содержать и воспитывать двух маленьких сирот на четыре фунта десять шиллингов в год.

Шутка над миссис Гаррис

Миссис Гаррис должна была получать по завещанию дивиденды с капитала в три тысячи фунтов стерлингов пожизненно, а после ее смерти капитал подлежал разделу между ее наследниками. Душеприказчиком, ограждающим интересы миссис Гаррис, был назначен некий мистер Споджер. В один прекрасный день м-р Споджер умирает, не оставив завещания. Его наследниками и правопреемниками являются его брат м-р Б. Споджер и сестра — мисс Споджер. Но последняя вдруг заупрямилась и решила, что ни за что на свете не желает иметь дело с дивидендами миссис Гаррис. Вследствие этого миссис Гаррис, лишенная возможности получать свой доход, обратилась в Суд справедливости. Последний определил, что судебное решение об уплате дивидендов может быть вынесено лишь *по особому прошению миссис Гаррис, подаваемому в срок выдачи таковых* и что, следственно, каждый раз, когда наступает новый срок выплаты дивидендов, миссис Гаррис должна подавать новое прошение или, выражаясь словами Катехизиса, она должна «следовать по той же стезе до скончания лет», что она и делает до сего времени, каждый раз внося стоимость судебных пошлин в сумме восемнадцать фунтов два шиллинга и восемь пенсов, что составляет ровно тридцать процентов ее злосчастного дохода.

Я глубоко убежден, что вряд ли кто-либо в состоянии придумать шутки, похлеще описанных выше. Во всяком случае, меня они рассмешили до того, что я чуть животики не надорвал. Они весьма точно и обстоятельно изложены в показаниях королевского адвоката и члена суда графства м-ра Уильяма Уилмора, данных им перед Комиссией палаты общин, учрежденной с целью обследования состояния судопроизводства в судах графств в мае текущего года. Но, увы, я с сокрушением сердечным должен

признать, что мой ученый друг м-р Уилмор абсолютно лишен чувства юмора и совершенно не понимает шуток. Ибо что же он рекомендует в своих, упомянутых выше, показаниях? Он, видите ли, находит, что в перечисленных выше случаях было проявлено «форменное надругательство над правосудием» и что если бы судам графств была предоставлена ограниченная юрисдикция в области судопроизводства по справедливости, то такому положению дел был бы положен конец, что в случае с находчивым опекуном и с хитроумным лекарем, если бы суд рассматривал дело не по форме, а по существу, то судебные издержки не превысили бы нескольких фунтов, а по делу о малолетних детях — нескольких шиллингов. Но да будет мне позволено спросить моего ученого друга, что же в таком случае станется с нашими добрыми шутками? Неужели мы должны перестать шутить? Неужто он хочет превратить наш коронный и совестный суды в сухую и нудную процедуру установления, кто прав и кто виноват? После этого я нисколько не удивлюсь, если нам предложат, чего доброго, отказаться от париков и заседать в судах как простые смертные! И это за несколько несчастных фунтов! Или даже шиллингов! Неужто моему ученому другу невдомек, что несколько сот фунтов гораздо респектабельнее (чтобы не сказать, выгоднее), чем несколько фунтов и шиллингов? Что он сможет купить на эти жалкие фунты и шиллинги? Несколько пар сапог или несколько пар чулок? Но разве сапог выше Справедливости или чулок выше Закона?

Я глубоко убежден, что если мой ученый друг м-р Уилмор в своих показаниях перед Комиссией на каждом шагу впадает в ошибки, то это объясняется любопытным дефектом в его организме: его полнейшей неспособностью понимать шутки. Что это так, видно и из следующей, рассказанной им презабавной истории.

Шутка над капитаном дальнего плавания

Один капитан дальнего плавания списал на берег пьяницу и буяна, нарушавшего порядок, а вместе с ним прогнал и его собутыльников, дебоширивших на судне. Тогда

Бибо (так звали буяна) подал на капитана в суд, обвинив его в самоуправстве и нанесении побоев. Капитан отверг обвинение, указав на то, что он удалил с корабля истца «и несколько неизвестных лиц» за то, что они устроили дебош. «Прекрасно! — заявил адвокат м-ра Бибо на процессе,— но у нас имеется семнадцать отводов на возражение истца, и главный из них — то, что, вопреки его заявлению, на корабле были *известные,* а не *неизвестные* лица». «Честное слово, джентльмены, это решает все дело!» — воскликнул судья, обращаясь к Большому жюри *. И, как и следовало ожидать, жюри выносит постановление, согласно которому капитану предоставляется право обратиться в Суд Королевской Скамьи. Так капитан и сделал, чем обрек себя на тянувшийся долгие месяцы и стоивший ему уйму денег процесс, тогда как все факты этого дела были ясны с самого начала. В конце концов капитан выиграл процесс, но и по сей день он не в состоянии понять, как и почему он его выиграл, как и то, почему нельзя было вынести решение сразу же, в суде первой инстанции, разобравшись, в чем дело. Этот упрямый морской волк, уставившись прямо перед собой, не перестает твердить свое, не понимая соли судебных шуток.

Конечно, надо признать, что эта во всех отношениях восхитительная история проливает до нелепости яркий свет на упорство, тупость и неповоротливость капитана дальнего плавания. И что же, оценил ли мой ученый друг м-р Уилмор ее по заслугам? Ничуть не бывало. Он лишь тупо заметил: «Если бы это дело было разобрано одним из судов графств по существу, то это обошлось бы истцу во сто крат дешевле. Поэтому следует изменить закон и лишить истца права обращаться в суды высшей инстанции с исками о восстановлении справедливости на сумму менее двадцати фунтов стерлингов, если судья не засвидетельствует, что данный иск действительно подлежит рассмотрению в суде высшей инстанции, а не должен быть передан в суд графства, где дело будет решено немедленно и с минимальными издержками».

Точно таким же упорным непониманием шуток отличается и второе предложение моего ученого друга. Мне всегда казалось превосходнейшей шуткой нашего правопорядка то обстоятельство, что суды графств обладают

юрисдикцией по делам о нарушении договоров на сумму до пятидесяти фунтов, но не компетентны решать дела о нарушении справедливости в пределах такой же суммы. И, по своему обыкновению, мой ученый друг м-р Уилмор не в состоянии понять соли этой шутки. Со свойственной ему тривиальностью он заявляет: «Я полагаю, что судам графств следует предоставить право решать подобные дела,— и поясняет:— Предположим, что кто-нибудь наедет на карету джентльмена и опрокинет ее. Ему присудят в возмещение убытков пятьдесят фунтов стерлингов. Но если пострадает тележка уличного торговца, ему вряд ли присудят и пятьдесят пенсов. Между тем обстоятельства дела могут быть совершенно одинаковые». Ну, знаете, если вас интересует мое мнение, так, по-моему, это тривиально до последней степени.

А теперь, оставляя в стороне предложение моего ученого друга предоставить судам графств решение дел о банкротстве, а также уголовных дел, ныне рассматриваемых, нельзя сказать, чтобы ко всеобщему удовлетворению на четвертных сессиях * (где, между прочим, мне доводилось быть свидетелем восхитительных, убийственных шуток, разыгранных с высоты судейской скамьи), а также его предложение о создании апелляционной палаты из лучших судей графств, я перейду к венчающему его усилия проекту. Но должен признать, что и на этот раз он так же не прав, как и в остальных случаях, ибо его проект поражает в самое сердце неувядаемую шутку, ставящую англичан перед таким выбором: «Хотите иметь дешевое правосудие, примиритесь с низким качеством товара».

Не испытывая ни малейшей приязни к этой шутке, столь елейной и завлекательной, столь оригинальной и уморительной, притом брызжущей диким и залихватским юмором, мой ученый выбивает из нее дух вон самым прозаическим паровым молотом. «Я предлагаю,— говорит он,— выбирать в судьи графств, которым приходится решать всевозможные сложные и важные дела, самых лучших из судей. Я считаю исключительно вредным распространенное мнение о том, что назначение на должность судьи графства закрывает перед судебным работником двери к дальнейшему продвижению по службе. Я полагаю, что если бы мы стали на противоположную точку

зрения и что если бы назначение в суд графства не рассматривалось как препятствие к продвижению, мы имели бы гораздо лучших кандидатов на эти посты. Тогда бы все талантливые люди нашей профессии захотели бы пройти через эту стадию испытания, какой явилась бы работа в судах графств. Нельзя рассчитывать на постоянный приток способных, честных и широко образованных сотрудников на должность, упирающуюся в глухую стену, как это наблюдается в настоящее время. Член суда графства, особенно в отдаленных от столицы районах, оказывается ныне в затруднительном и ложном положении. Являясь членом магистратуры, он должен общаться со своими собратьями по профессии. Но если он будет тянуться за ними, ему, вероятно, придется тратить больше, чем он вправе себе позволить. И уж конечно, он ничего не сможет отложить для своей семьи. Если же он будет держаться в стороне, он навлечет на себя осуждение и неприязнь коллег, что, я полагаю, ему повредит и отразится на его работе».

Мой ученый друг также считает, что если бы был учрежден Апелляционный суд, куда по мере открытия вакансий привлекались в качестве членов суда судьи графств, то «население получило бы еще одну выгоду, так как в судах высшей инстанции не заседали бы совершенно неопытные люди. Этими судьями были бы люди, хорошо знакомые с судебными прецедентами и с обычным правом, люди известные их согражданам и магистратуре, а не кандидаты, рекомендованные политическими партиями, или известные адвокаты, как это практикуется сейчас. Я полагаю, что это было бы наиболее надежным способом проверки качеств кандидата на пост судьи в суды высшей инстанции».

Что же это получается, милостивые государи! Стало быть, мой ученый друг никаких шуток не признает? Ни замечательной, освященной временем шутки, когда эту несносную, не знающую меры в своих требованиях публику стараются отвадить, сбагрив ей черствую краюху вместо свеженького каравая? Ни даже такой шутки, когда высокородного и высокообразованного джентльмена водворяют на государственный пост для отправления функций большого общественного значения в ущерб сословной

амбиции класса, самого жестоковыйного и сребролюбивого из всех ему подобных на всем протяжении от Ламанша до Абиссинии! Ни даже такой шутки наконец, когда изо дня в день, систематически, у нас в Англии переоценивается все Показное и недооценивается все Настоящее! Нет, что ни говорите, а мой ученый друг м-р Уилмор ровным счетом ничего не понимает в шутках.

Свои показания перед Комиссией он закончил следующими словами: «Я полагаю, следует прежде всего обратить сугубое внимание публики на тот факт, что, в то время как в судах высшей инстанции для богатых истец ничего не платит для покрытия расходов на жалование судьям, приставам и т. п., в судах графств, судах для бедных, тяжущиеся обложены всевозможными поборами на покрытие упомянутых расходов и, сверх того, другими тяготами, и государство не стыдясь вымогает у них этот ничтожный доход. Я не могу понять, как может кто бы то ни было, кроме, пожалуй, очень робкого канцлера Казначейства, оправдывать или даже терпеть столь вопиющую явную и жестокую несправедливость».

В заключение я полагаю или, даже можно сказать, убежден, что если к голосу моего ученого друга м-ра Уилмора и ему подобных людей станут прислушиваться, то очень скоро от нашей обширной коллекции весьма забавных шуток коронных и совестных судов не останется никакого следа. И что явной целью этих тупоголовых реформаторов является сделать Закон и Справедливость понятными и доступными и обеспечить Правосудию всеобщее уважение. Наконец, что расчистить хлам, вымести мусор, убрать паутину и покончить с целой уймой дорогостоящих и убийственных шуток, это далеко не шуточное дело. И пожалуй, оно не вызовет улыбки ни в одном из судебных установлений, расположенных в Вестминстер-Холле.

23 сентября 1853 г.

О ТОМ, ЧТО НЕДОПУСТИМО

Согласно английским законам, никакое явное преступное деяние не может остаться без должного возмездия. Как утешительно это знать! Меня всегда глубоко восхищало английское правосудие, простое, дешевое, всеобъемлющее, доступное, непогрешимое, сильное в поддержке правого, бессильное в потворстве виновному, чуждое пережиткам варварства, явно нелепым и несправедливым в глазах всего мира, оставившего их далеко в прошлом. Радостно видеть, что закон не способен ошибиться — дать маху, как говорят наши американские сородичи, или взять под защиту негодяя; радостно созерцать все более уверенное шествие Закона в судейском парике и мантии, ведущего за руку беспристрастную богиню правосудия по прямой и широкой стезе.

В настоящее время меня особенно поражает величие закона в деле охраны своих скромных служителей. Наказание за любое правонарушение в виде денежного штрафа — мера, настолько просвещенная, настолько справедливая и мудрая, что, право, всякая похвала была бы излишней, но кара, постигающая подлого негодяя, нанесшего телесное увечье полицейскому, приводит меня в состояние восторга и умиления. Я постоянно читаю в газетах о том, что подсудимый, имярек, приговорен к принудительным работам сроком на один, два, а то и три месяца и

тут же читаю протоколы полицейского врача о том, что за указанное короткое время столько-то полицейских прошли лечение от подобных увечий; столько-то из них вылечились, пройдя очищение страданием, на что преступники и рассчитывали, судя по характеру нанесенных ранений; а столько-то, став увечными и немощными, были уволены со службы. И таким образом я знаю, что зверь в образе человека не может утолить свою ненависть к тем, кто пресекает преступления, сам не пострадав при этом в тысячу крат сильнее, нежели предмет его ярости, и не послужив тем самым суровым примером в назидание другим. Вот когда величие английского закона наполняет меня тем чувством восторга и умиления, о котором я говорил выше.

Гимны, звучавшие в последнее время в моей душе в честь решимости закона пресечь, путем суровых мер, угнетение Женщины и дурное обращение с ней, нашли отклик в наших газетах и журналах. Правда, мой неуживчивый друг, носящий удивительно неподходящее имя — Здравый Смысл,— не совсем удовлетворен на этот счет. И он обратился ко мне с такими словами: «Взгляни на эти зверства и скажи, считаешь ли ты шесть лет (а не шесть месяцев) самой тяжелой каторги достаточным наказанием за такую чудовищную жестокость? Прочти о насилиях, список которых растет день ото дня, по мере того как все больше и больше страдальцев, черпая поддержку в законе, вошедшем в силу шесть месяцев назад, заявляют о своем долготерпении. Ответь: что же это за правовая система, которая с таким опозданием предлагает столь слабое средство против такого чудовищного зла? Подумай о насилиях и убийствах, скрытых во тьме последних лет, и спроси себя, не звучит ли твое теперешнее восхищение законом, так робко утверждающим первооснову всякого права, насмешкой над благодетельными сводами законов, громоздящимися на бесчисленных полках?»

И вот так мой неуживчивый друг язвит меня и мною обожаемый закон. Но с меня довольно того, что я знаю: мужчине калечить или медленно сводить в могилу жену или любую женщину, живущую под его кровом, и не понести наказания, как подсказывает справедливость и чувство человечности,— это то, что недопустимо.

А преследовать и унижать женщину — намеренно, нагло, оскорбительно, открыто, упорно — это недопустимо в высшей степени. Все это не вызывает сомнения. Мы живем в году тысяча восемьсот пятьдесят третьем. Если бы такое было допустимо в наше время, то вот уж действительно можно было бы сказать: Пар и Электричество оставили ковыляющий Закон далеко позади.

Позвольте мне описать совершенно невозможный случай — единственно ради того, чтобы показать мое восхищение перед законом и его отеческой заботой о женщине. Это будет как раз кстати сейчас, когда большинство из нас превозносят закон за его рыцарское беспристрастие.

Допустим, молодая дама становится богатой наследницей при обстоятельствах, приковавших всеобщее внимание к ее имени. Помимо скромности и любви к уединению, она известна лишь своими добродетелями, милосердием и благородными поступками. Теперь представьте себе отпетого негодяя, настолько низкого, настолько лишенного смелости, присущей самому подлому мошеннику, настолько потерявшему всякий стыд и всякое приличие, что он задумал такое своеобразное предприятие: преследовать молодую женщину до тех пор, пока она не откупится от его преследований. Представьте себе, как он обдумывает свое предприятие, рассуждая сам с собой так: «Я ничего о ней не знаю, никогда не видел ее; но я — банкрот, с плохой репутацией и без доходного занятия; я буду преследовать ее — и это будет моим занятием. Она ищет уединения; я лишу ее уединения. Она избегает толков; я ославлю ее. Она богата; ей придется раскошелиться. Я беден; вот моя добыча. Суд общества? Что мне до него! Я знаю закон: он станет на мою сторону».

Конечно, трудно предположить, что такое стечение обстоятельств возможно и что такого зверя еще не посадили за решетку или не прикончили на месте. Однако дайте волю вашему воображению и представьте себе этот крайний случай. Итак, он принимается за дело и трудится усердно в течение, скажем, пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет. Он сочиняет нелепейшую, грубейшую ложь, которой не верит никто из услышавших ее. Он заявляет, что молодая женщина обещала выйти за него замуж и в

подтверждение показывает, скажем, глупые стишки, которые, он клянется (ибо в чем он не может только поклясться, кроме как в том, что есть на самом деле?), написаны ее рукой.

Несчастная предстает, когда ему заблагорассудится, перед ограниченными провинциальными крючкотворами и коптящими грошовыми плошками их правосудия. Он превращает закон в тиски, чтобы заставить ее руку выпустить кошелек, ибо она имела мужество не отдавать его сначала. Он превращает закон в дыбу, без конца терзающую ее, ее чувства, ее заботу о живых и память об умерших. Он потрясает буквой закона над головами робких присяжных, выбранных им для своей низкой цели, и запугивает их до того, что они готовы терпеть самую наглую ложь. А так как закон — это ничтожная буква закона, а не всеобъемлющий дух его, судья готов дать негодяю взятку за то, что тот милостиво не заметил ошибки правосудия (освященной многолетней традицией), касавшейся жалкой формальности, вроде того, что-де судейская надпись на документе красуется не совсем там, где ей положено. И этот страж закона готов гласно хвалить необычайные духовные совершенства негодяя, хотя из письменных доказательств, лежащих перед мудрыми очами означенного стража, ясно видно, что тот не умеет даже грамотно писать. Зато он знает закон. И буква закона на стороне негодяя, а не на стороне его жертвы.

И можно предположить, что долгие годы он ускользает от наказания за свое преступление. Время от времени ему угрожает тюрьма, но его отпускают на поруки, и он снова принимается за прежнее. Он совершает преднамеренное лжесвидетельство, но это лишь закоулок его деятельности, и он отделывается легким наказанием, а по столбовой дороге своего преступления он шествует нагло и безнаказанно. Бредущий вслепую, велеречивый, запутанный закон спорит с ним о пустяках и благодаря этому процветает; они прекрасно ладят — друзья, достойные друг друга, и оба — пастыри.

Так вот: я готов признать, что если бы подобная история могла произойти, если бы она длилась так долго и получила бы такую огласку, что весь город знал бы о ней во всех подробностях; если бы она была известна, как

само имя королевы; если бы она никогда не всплывала снова и снова в судах, пробуждая благородное негодование всех присутствующих, не искушенных в судебных тонкостях; и если бы, несмотря на это, гнусный негодяй продолжал бы вести свое дело так же легко, как он его начал, и предмет его коварных замыслов не находил бы никакого спасения; вот тогда я признал бы, что закон — это мошенничество и заранее обреченное на неудачу предприятие. Но к счастью, случая, подобного этому, как мы знаем, закон никогда не допустит.

Никогда не допустит. Если такой преступник предстанет перед судом, закон обратится к нему так: «Встань, негодяй, и выслушай меня! Я не скроен, как ты это себе воображаешь, из лоскутьев и заплат. Я не опустился до того, что любой проходимец может использовать меня для удовлетворения самых низких вождений и выполнения самых грязных замыслов. Не для того закон является неотделимой частью дорогостоящей системы, на содержание которой великий и свободный народ радостно отдает часть своего труда. Не для того я постоянно славлю моих судей и стряпчих и взираю с высоты моего положения на море судейских париков. Я не пустая игра в мудреные слова. Я — Принцип. Я создан теми, кто может ниспровергнуть меня и непременно сделает это, если я буду неспособен наказать преступника; я создан на пользу общества, от имени которого я действую и от которого я получаю всю власть. Я хорошо знаю, что ты — преступник. Вот они передо мной — доказательства, что ты — лживый, ловкий, наглый, зловредный мошенник. И, дабы не стать и мне еще худшим мошенником, я прежде всего должен раздавить тебя, что я и сделаю, пока ты в моих руках.

Слушай меня, негодяй, и не прекословь. Ты — одна из тех акул, чьи глаза разгораются при виде того, как кареты, запряженные шестерками лошадей, мчатся сквозь парламентские законы, ибо эти люди надеются протащить вслед за ними и свои грязные дроги с требухой по тем же кривым путям. Но знай, что я — больше, чем сеть извилистых ходов и закоулков, что, по крайности, есть у меня одна прямая дорога: к разуму; дорога, по которой, ради всеобщей защиты и во исполнение моей первейшей обязанности, я намерен отослать тебя в надежное место,

наперекор пятидесяти тысячам законов, ста тысячам разделов и пятистам тысячам пунктов.

Ибо знай, хищник, что если закон имеет хоть какую-то силу, то лишь потому, что над его запутанной буквой царит его дух. И если я — дитя Справедливости, на что я притязаю, а не порождение Пронырливого Хитроумия, этот дух, прежде чем я успею отбубнить еще один судебный довод, отправит тебя и всех тебе подобных туда, где тебе подобает быть. И если он не сумеет сделать этого сам, я велю букве закона помочь ему. Но я не буду выставлять на позор и осмеяние тех, кто мне дороже жизни, я не потерплю, чтобы твои пальцы грязнили мои одежды, твой наглый язык порочил меня и твое бесстыдное лицо касалось меня, как продажной блудницы».

С такими словами Закон наверняка обратился бы к любой подобной личности, если бы такая существовала. И это — одна из причин, помимо других, весьма сходных, в силу которой я славлю закон и готов пролить свою кровь, защищая его. По этой же причине я горд, как англичанин, сознанием того, что преступное покушение на честь и жизнь женщины, которое я представил в своем разыгравшемся воображении, не может быть предпринято и относится, как это и подобает, к числу деяний, которые закон никогда не допустит.

8 октября 1853 г.

МАЛО КОМУ ИЗВЕСТНО...

Всем читающим газеты, вероятно, хорошо знакомо это выражение. Мало кому известно, что винтовой линейный корабль «Хогарт» королевского флота, водоизмещением в 120 тонн простоял ровно 7 лет, 7 месяцев, 7 дней, 7 часов и 7 минут на стапелях Портсмут-Ярда. Мало кому известно, что в Кэмберуэле в саду мистера Пипса вырос куст крыжовника вышиной с дерево, каждая ягода с которого весит более трех унций, потому что мистер Пипс удобрял его одними гренками и поливал одной водой. Мало кому известно, что в последний день внесения арендной платы его светлость граф Бузл из Кастл Бузла уменьшил своим арендаторам ренту на пять процентов с сумм, уже выплаченных к тому времени, каковое событие было отмечено угощением, состоящим по старому доброму обычаю из ростбифа и молодого эля. (Мало кому известно, что в подобных случаях подается только молодой эль.) Мало кому известно, что на прошлой неделе в четверг состоялся блестящий банкет, на котором выдающиеся друзья и почитатели эсквайра Кокера Дудла, члена общества любителей древности, преподнесли ему великолепную серебряную вазу и канделябр весом в 500 унций в знак восхищения его высокими добродетелями, и так далее, и тому подобное. Мало кому известно, что однажды, когда адмирал сэр Чарльз Непир * еще был помощником

капитана одного из кораблей, которые вылавливали невольничьи суда в районе Африканской станции *, к его кораблю подплыла какая-то лодка, на корме которой восседал лучший образец настоящего английского моряка. Одним прыжком он очутился на палубе и воскликнул громовым голосом: «Эй, там, на корабле! Чарли, старина, свистать всех наверх!» После чего адмирал (тогда еще помощник капитана), который в это время расхаживал по палубе, глядя в подзорную трубу (которую он, как мало кому известно, отводит от глаз, только когда ест и спит), бросил добродушный взгляд в сторону правого борта и ответил, помахав своей треуголкой: «Том Гафф, полундра, рад видеть тебя, дружище!» Они не виделись с 1814 года, но Том Гафф, как настоящий морской волк, никогда не забывал своего старого верного помощника командира (так он своеобразно называл его) и теперь, взяв отпуск, проплыл в шлюпке 250 миль с другого конца станции, чтобы повидать своего бывшего начальника, чьей блестящей карьерой он справедливо гордился. Нужно ли говорить, что была отдана команда свистать всех наверх, чтобы выпить по стаканчику грога к взаимному удовольствию Тома и старины Чарли. Но мало кому известно, что они обменялись табакерками и что если мужественное сердце «старика Чарли» билось быстрее, когда он гордо подымал свой брейд-вымпел, командуя Балтийским флотом, то оно устремлялось, как бы ища участия, к табакерке Тома Гаффа, которая во всех случаях жизни сопутствовала ему в отведенном для нее левом кармане жилета. Точно так же мало кому известно множество других волнующих событий, прибрегаемых главным образом для специальных лондонских корреспондентов провинциальных газет, как-то: подарки в виде многочисленных 10-фунтовых банкнот, которые ее королевское величество в младенческом возрасте милостиво пожаловала разным престарелым дамам, а также постоянно присылаемые в Букингемский дворец бесчисленные дары в знак верноподданнических чувств — главным образом, кошки и головки сыра. Но одно несомненно: Коджерс сумел стать знаменитым общественным деятелем или крупным капиталистом. И мало кому известно, что однажды летним вечером 18... года на старом Лондонском мосту стоял устав-

ший от долгого пути ребенок и ел булку ценою в один пенс, грустно глядя на прохожих. И мистер Флэм из Майнори, привлеченный чем-то необычным в облике мальчика, ощутил в душе непреодолимое желание подать ему шестипенсовую монетку и пригласить к обеду в час дня в воскресенье.

Мальчик приходил к нему обедать ровно семь лет. Мальчик этот был Коджерс, и мало кому известно, что семья мистера Флэма до сих пор с гордостью поддерживает эту традицию.

Мне кажется, что за последнее время у нас произошел или происходит целый ряд разного рода незначительных и мало кому известных событий, которые, если и становятся известны, вряд ли могут вызвать всеобщее одобрение. Я перечислю некоторые из них, поскольку сейчас еще каникулы и большинство из нас располагает досугом, чтобы предаться сплетням.

Мало кому известно, что сейчас, в 1854 году, английская нация представляет собою скопище пропойц, еще более лишенных человеческого облика, чем русские бояре времен Петра Великого.

Мало кому известно, что это считается проявлением национального характера. Мало кому известно, что толпа наших сограждан, направляющаяся на выставку в Сиденхэме, считает своим долгом, лишившись вдруг разума, трудолюбия, самоуважения, самоотверженности и прочих добродетелей, присущих нашей нации, немедленно напиться, затеять драку, рвать друг на друге одежду, разбивать и опрокидывать статуи. Повторяю, все это мало кому известно. И тем не менее, близкий этой толпе по духу писатель в приступе весьма умеренного энтузиазма описывает подобную сцену, посвящая ее той же самой толпе. И даже некая умеренная газета сообщает, что писатель этот наблюдал то, что произошло на упомянутой выставке в Сиденхэме, собственными глазами. Что ж, повторяю, подобное положение вещей мало кому известно.

Мало кому известно, мне кажется, что «Путь паломника» и «Векфильдский священник» являются наименее популярными книгами в Англии. И вдруг я слышу, что один из нынешних американских министров (прекрасно знающий Англию) сообщает эту удивительную новость на за-

седании, состоявшемся недавно в Фишменгерс-Холл. Мало кому известно, вероятно, что, высказывая свои мысли относительно образования своих сограждан, его превосходительство отметил, что эти две книги можно найти в каждой хижине в Соединенных Штатах, тогда как «в Англии эти величайшие творения искусства сравнительно мало популярны», то есть попросту мало кому известны. Что касается наших государственных учреждений, то мало кому известно и, я думаю, мало кто поверил бы, если бы кто-нибудь, предположим, какой-нибудь французский писатель, написал, что английское правосудие позволяет лицу, имеющему самое непосредственное отношение к рассматриваемому делу, дважды назвать адвоката противной стороны «хулиганом» во время открытого заседания суда чуть не под самым носом у судьи, чего тот не мог не слышать. Мало кому известно, что подобный случай произошел в июле сего года и что все сделали вид, будто их это ни в коей мере не касается.

Мало кому известно, что народ не имеет никакого отношения к некоему солидному клубу, который собирается по средам в Вестминстере, и что клуб этот не имеет никакого отношения к народу. Вследствие какой-то нелепой случайности, члены этого клуба избираются людьми совершенно ему чуждыми, и все, что делается и говорится в клубе, делается и говорится членами клуба для собственного удовольствия или собственной выгоды, а вовсе не потому, что они руководствуются соображениями блага своих избирателей. Почитайте протоколы заседаний клуба. В январе правая рука заявила, что левая рука оклеветала некую «известную личность», а левая рука сказала, что клевету распространяла правая рука. В феврале мистер Котел выдвинул обвинение против мистера Горшка *, и мистер Горшок потребовал, чтобы члены клуба проследили всю жизнь его превосходительства шаг за шагом от самой колыбели. В июне мистер А высказал скромное предположение, что мистер Б «невиданно наглый отступник»; в дело вмешался мистер В, хотя его это касалось меньше всего, и все буквы алфавита немедленно рассорились. В августе министр внутренних дел обвинил своего коллегу министра финансов в том, что тот болтает «явную чепуху». В том же месяце парламент был распущен на каникулы.

И все время несмолкаемый гул голосов, повторяющих: «Что я сказал? Что вы сказали? Что он сказал? Я скажу, вы не скажете, я говорил, вы не говорили, я не хочу, вы не имеете права»,— но никто никогда не спросил: «А что говорят *они*?» (то есть горстка людей, которые не являются членами клуба).

Вероятно, мало кому известно, куда может завести члена клуба, о котором я рассказываю, желание вызвать аплодисменты или смех. У меня есть основания предполагать, что мало кому известно (ибо я не заметил, чтобы случай этот вызвал справедливое негодование), как далеко зашел один из них недавно. Вот что произошло. На повестке дня стоит вопрос о смещении правления клуба. Я против данного правления. Если хотите, я всегда был против. Не исключено, что моя официальная оппозиция явилась немалым препятствием, значительно затруднившим его деятельность. Я задумал произнести игривую речь и произвести приятное впечатление. Я нахожусь в самом центре столицы мира. Со всех сторон на меня наступает страшная болезнь — бедствие простых людей, которое преследует их за то, что они бедны, голодны и лишены крова,— но мне эта болезнь не страшна, потому что я один из немногих избранных. Она косит моих скромных безымянных соотечественников в далекой Варне, она поднимается из горячих песков Индии и холодных морей России; она свирепствует во Франции, в Неаполе, она душит людей в знойных закоулках Генуи, где я был свидетелем людских страданий, которые должны тронуть ваше сердце, если ему доступно сострадание. Мало того, она уже нашла себе немало жертв в городе, где я произношу речь, чего я не могу не знать, что я обязан знать, должен знать и отлично знаю. Но я не могу удержаться, чтобы не сострить, и я говорю: «Холера приходит всегда, когда истекает срок полномочий нашего правления». *(Смех.)*

Завтра мою удачную шутку по поводу этого величайшего несчастья — самого страшного бедствия, которому подвержено человечество,— будут повторять те самые газеты, которые сообщат моим достопочтенным друзьям из клуба полученные по телеграфу известия, что в Плимут возвращается военное судно и везет микроб этой самой холеры на борту. Но что мне за дело до всех этих нустя-

ков? Я хотел вызвать смех и вызвал его. Чтобы я стал слушать рассказы об агонии и смерти моих братьев! Разве я не лорд и не член парламента?

Хотел бы я знать, многим ли известно, что подобный непристойный инцидент действительно имел место? Слышало ли об этом, например, население Тотнеса? Услышит ли оно вообще когда-нибудь об этом и узнаем ли мы, что этот факт стал ему известен?

Мало кому известно, что в нашем законодательстве появилась совершенно новая тенденция, которая с каждым днем получает все более широкое и полное признание. Я говорю об исполненной глубочайшей мудрости тенденции издавать законы, проявляя неустанную заботу о благе худших членов общества и почти совершенно забывая о лучших. Под давлением просвещенных умов вопрос о том, «каковы нужды и права скромного ремесленника и его семьи», всегда уступает место вопросу о нуждах и правах отпетого бродяги, пьяницы или преступника. Как будто можно говорить о правах подонков человечества. Разве это разумно и справедливо, что тень галер или Ньюгетской тюрьмы омрачает с декабря по декабрь домашний очаг простого, честного, трудолюбивого Джоба Смита?

И тем не менее, что бы Джоб ни делал, он всю свою жизнь страдает от подозрений в злостном хулиганстве, в котором его можно обвинить с таким же основанием, как и в том, что в жилах его течет королевская кровь.

Шесть дней недели Джоба отданы тяжелому, однообразному, изнурительному труду. На седьмой день Джоб, его жена и дети, может быть, хотят погулять в парке, полюбоваться картиной, цветами, дикими зверями или даже огромной игрушкой, сделанной в подражание одному из чудес света. Большинство склонно думать, что Джоб поступает вполне разумно. Но тут появляется Британия и с воплями начинает рвать у себя на голове волосы: «Никогда! Никогда! Вы видите Слоггинса с разбитым носом, с синяком под глазом и с бульдогом? Слоггинс уничтожит все, что доставляет Джобу Смиту радость. Поэтому Джоб Смит не должен радоваться!» И Джоб Смит опять целый день сидит дома в гнетущей обстановке, усталый и расстроенный, или проводит все воскресенье, стоя у забора.

Мало кому известно, что этот ненавистный Слоггинс — злой гений Джоба, преследующий его всю жизнь. Никогда у Джоба не было в доме маленького бочонка пива или бутылки спиртного. Все, что когда-нибудь приходилось пить ему и его жене, покупалось в самых небольших количествах в пивной. Как ни трудно джентльменам из Вестминстерского клуба представить себе подобного рода существование, Джоб ведет его уже долгие годы, и он знает несравненно лучше, чем весь клуб, когда ему нужно выпить «кружку пива» и как лучше и удобнее это сделать. Но против жизненного опыта Джоба восстает Британия и, преисполнившись к нему нежности, испускает вопли, терзая свои волосы: «А Слоггинс! Слоггинс с разбитым носом, подбитым глазом и бульдогом! Ведь он погибнет (как будто он и так давным-давно уже не погиб!), если Джоб Смит станет пить пиво, когда ему хочется». И Джоб, безмерно дивясь, пьет пиво тогда, когда, по мнению Британии, это удобно для Слоггинса.

Но изумление его достигает предела, когда, получив напечатанное огромными буквами приглашение прийти послушать евангелиста ораторского красноречия или апостола чистоты нравов (я заметил, что ораторы в подобных приглашениях именуются в достаточной степени громкими, чтобы не сказать смелыми, титулами), он подходит к открытой двери и видит на возвышении громко взывающего к нему субъекта: «Взгляните на меня! Я тоже был Слоггинсом! Я тоже ходил с разбитым носом, подбитым глазом и с бульдогом. Глядите же хорошенько! Выпрямился мой нос, здоров мой глаз, сдох мой бульдог. Я, бывший раньше Слоггинсом, а теперь ставший евангелистом (или апостолом, смотря по обстоятельствам), громко взываю среди пустыни к тебе, Джоб Смит, ибо я был Слоггинсом, а стал святым, и поэтому ты, Джоб Смит (никогда не бывший Слоггинсом и не имевший с ним ничего общего), должен, повинуясь закону, принять то, что принимаю Я, отречься от того, от чего отрекся Я, стать Моим образом и подобием и следовать за Мной». И мало кому известно, что бедный Джоб, которого бог наградил умом, достаточным, чтобы понять, что самое лучшее и самое похвальное для него — держаться подальше от этого вездесущего Слоггинса,— так никогда и не сможет постичь,

какое же все это имеет отношение к нему, потому что он не только никогда не имел ничего общего со Слоггинсом, но питал к нему ненависть и отвращение.

Мало кому известно, что Джоб Смит любит музыку. Но тем не менее это так. Он, несомненно, музыкален от природы. Вкус Джоба не очень развит, потому что билеты в Итальянскую оперу стоят слишком дорого (ведь иначе придет Слоггинс и устроит беспорядок во время представления), и все-таки ему приятно слушать музыку, она смягчает его душу, и он отдыхает, слушая музыку, насколько позволяют ему его скромные средства. Любит Джоб и драму. Он не лишен природного вкуса, свойственного ребенку и дикарю, и этого вкуса не убить образованию. Радости и горести смертных, их пороки и добродетели, победы и поражения, представленные на сцене мужчинами и женщинами, производят на него сильное впечатление. Сам Джоб неважный танцор, но ему нравится смотреть на танцующих, его старший сын неплохо танцует, да и сам он не прочь при случае тряхнуть стариной и пройтись по кругу. И вот по этим-то причинам в те редкие дни, когда Джоб не работает, его иногда можно встретить на дешевом концерте, в дешевом театре, в дешевом танцевальном зале. Казалось бы, что уж здесь-то его наконец оставят в покое — он заплатил деньги и пусть себе веселится, если это доставляет ему удовольствие. Однако мало кому известно, что время от времени целая армия ополчается против этих скромных развлечений и нагоняет на бедного Джоба смертельный страх. Мало кому известно, зачем это делается. Мало кому известно, что виноват в этом Слоггинс. Двадцать пять тюремных священников, люди честные и благочестивые, взяли по Слоггинсу в оборот и обратили их. И все 25 Слоггинсов, заключенные в одиночные камеры, сразу же признались во всем 25-ти священникам. И вот Слоггинс, это порождение зла, вся кровь которого до последней капли отравлена ложью, стал воплощением духа Истины. Слоггинс заявил, что «во всем виноваты развлечения». Слоггинс провозгласил, что музыка довела его до этого. Слоггинс сознался, что если бы не театр, он не стукнул бы свою старую мать головой об стенку. Слоггинс утверждает, что из-за карт он не ходил в церковь.

Слоггинс написал в своем признании: «Дарогой сэр, если бы я ни видил опиру Фрадьяволо я бы никогда дарогой сэр не дашел до такой глупости чтобы бить Бетси расколенной качиргой». Слоггинс советует навсегда закрыть все театры, снести все танцевальные залы и никогда больше не исполнять ни одного музыкального произведения, ибо считает, что все это создано на пагубу человечества. Выражает уверенность, что если бы не они, он бы завоевал себе положение в обществе и пользовался всеобщим уважением.

Таким образом, все двадцать пять Слоггинсов в своих двадцати пяти честных и искренних признаниях требуют, чтобы к нуждам и заслугам Джоба Смита отнеслись со всем возможным презрением и пренебрежением, чтобы самые естественные и искренние человеческие стремления были смяты и растоптаны; чтобы слово Слоггинса стало законом для всего разумного и деятельного мира; чтобы Слоггинс правил на земле и на море; чтобы британцы были рабами Слоггинса и ныне, и присно, и во веки веков...

Я беру на себя смелость утверждать, что эта серьезная и опасная ошибка мало кому известна и мало кто склонен задуматься над ней.

2 сентября 1854 г.

К РАБОЧИМ ЛЮДЯМ

Сейчас, когда еще свежа память об ужасном море *, когда всякий, кто только не закрывает себе глаза нарочно, может на каждом шагу наблюдать последствия этого мора в виде душераздирающих картин бедности и разорения, священный долг всех журналистов — объявить своим читателями, к каким бы слоям общества они ни принадлежали, что в глазах господа бога они будут повинны в массовом убийстве, покуда не возьмутся всерьез за благоустройство своих городов и не примут мер к улучшению условий жизни в домах, где обитают неимущие.

Впрочем, лучшие наши газеты, отдавая себе отчет в ответственности, на них лежащей, будоражили общественную совесть с такой силой, что по поводу этого животрепещущего вопроса почти ничего не остается добавить.

Однако нам хотелось бы пойти еще дальше наших коллег из «Таймса», выступивших с весьма энергичным обращением к рабочим людям Англии, и умолять их (с тем, чтобы они не повторили роковой ошибки в будущем) — не поступаться своими исконными интересами и не давать обманывать себя политиканам, стоящим у власти — с одной стороны, и наглым мошенникам — с другой. Высокородный лорд и досточтимый баронет, почтенный джентльмен и почтенный ученый джентльмен, так же как почтенный и достославный джентльмен, как весь этот почтенный круг, борясь за место, власть, протекцию и земные блага,

отвлекают внимание рабочего человека от его основных нужд — так же, как в свое время отвлекал его внимание этот злополучный и некогда популярный горе-вождь, ныне доживающий свой век в сумасшедшем доме * в состоянии безнадежного слабоумия. Ко всем их туманным посулам, которые они предложат взамен истинных благ, народ — и это его первейшая обязанность — должен оставаться неколебимо слеп и глух. Превыше всего следует твердо настаивать на своем праве и на праве своих детей пользоваться всеми благами жизни и здоровья, которые провидение предназначает для всех; народ ни в коем случае не должен давать какой бы то ни было партии действовать от его имени, пока не будут очищены жилища и не будут обеспечены средства для поддержания в них чистоты и порядка.

Позволим себе заметить, что этот, наисущественнейший из вопросов земного бытия, поднимается нами не впервые. Задолго до того, как увидел свет этот наш журнал, мы систематически стремились заставить литературу служить благородному делу обличения жалкого, убогого и вместе с тем вполне предотвратимого состояния, в котором живут огромные массы людей. Мы неустанно выражали нашу почерпнутую из жизни уверенность в том, что прежде каких бы то ни было иных реформ следует провести реформу в области жилья и что без этой реформы все прочие обречены на провал. Ни религия, ни просвещение не двинутся вперед в этом девятнадцатом столетии христианской эры, покуда наше христианское правительство не выполнит первейшую свою обязанность и не предоставит народу жилища, годные для жизни, вместо тех зловонных лачуг, в которых он ютится сейчас.

Разумеется, всякому мало-мальски смышленому рабочему человеку совершенно ясно, что проблема была бы решена, если бы только парламент искренне этого захотел и посвятил бы ей одно-единственное заседание. А в том, что ни правительство, ни парламент сами по себе пальцем не шевельнут, чтобы спасти его жизнь, он может легко убедиться. Пусть он поинтересуется, какие меры были приняты кабинетом или парламентом для улучшения условий работников и их семей со времени последней вспышки холеры пять лет назад? Пусть спросит, много ли

внимания уделило правительство вопросу о положении рабочего сословия, много ли членов парламента присутствовало во время обсуждения этого вопроса — я не говорю о том вечернем заседании, которое состоялось нынче в августе, когда вопрос перешел на личности и сделался предметом шуток и когда лорд Сеймур, член палаты лордов от Тотнеса, доказал свое право вершить государственные дела умением острить — а публика при этом смеялась! — по поводу неистовствовавшего в то время страшного мора. Ознакомившись с этими простыми фактами, рабочий должен понять, что если он не поможет себе сам, ему никто не поможет, его оставят погибнуть в неравном бою с болезнью и смертью. Поэтому он должен все свои силы направить на то, чтобы устранить эту чудовищную несправедливость и хотя бы на время забыть все прочие общественные проблемы, ибо все они — песчинки по сравнению с этой. Драгоценное право отдать свой голос лорду Такому-то (например, Сеймуру) или лорду Джону Другому; состояние умственного развития в Абиссинии; основание университета в Мейнуте; пошлина на бумагу; пошлина на газету; пять процентов; двадцать пять процентов. Он должен забыть всю эту чепуху, которой ему пускают пыль в глаза. Из-за этой пыли ему подчас уже не виден собственный очаг, и только ангел смерти своими крылами может ее развеять. Следует отбросить все, что отвлекает от цели, и не переставая твердить лишь одно: «Ночью и днем я и моя семья, все мы дышим отравленным воздухом. Уродливое развитие, преждевременная дряхлость — вот удел тех, кто мне дороже жизни. Я рождаю на свет детей, которых Творец в своем милосердии предназначил для жизни, а они гибнут, претерпев неслыханные муки. Прелесть и красота, свойственные младенческому возрасту, сокрыты от моих глаз, ибо я вижу на коленях изможденной матери всего лишь сгусток недугов и страданий. Попранное человеческое достоинство из-за отсутствия простейших удобств, а ведь они-то и отличают человека от животного,— вот все мое наследство. И таких семей, обреченных служить пищей для страшных недугов — десятки тысяч». Пусть рабочий вспомнит, что он рожден Человеком, пусть он решит: «Я больше не согласен терпеть такое, я положу этому конец!»

Теперь, в наше время, больше, чем когда-либо, рабочие люди — если только они останутся верны себе и друг другу, могут рассчитывать на заслуженное сочувствие общества и готовность прийти к ним на помощь. Весь наш могущественный средний класс, заново пробужденный голосом совести,— гораздо более убедительным, смеем сказать, нежели низменные доводы самозащиты и страха,— охотно их поддержит. Наша печать готова употребить все свое влияние, чтобы помочь им. Но для того, чтобы это движение оказалось непобедимым, оно должно исходить от них самих, от страждущих масс. Первый шаг должен быть сделан ими, они должны обратиться к среднему сословию, и тогда оно пойдет им навстречу всей душой! Пусть рабочие люди столицы и всех наших больших городов приложат весь свой ум, всю свою энергию, используют свою многочисленность, свою способность к единению, свое терпение и упорство для достижения одной-единственной цели. Тогда к рождеству они увидят на Даунинг-стрит правительство, а рядом, в палате общин, представительство, не имеющие ни малейшего фамильного сходства с холодной бездарностью, которой покуда славится все это сонное царство.

Только оказав давление на правительство и можно вынудить его исполнить свой первейший долг — исправить страшное зло, которое представляют собой нынешние жилища бедных. Конечно, с помощью специального ведомства по охране здоровья можно достигнуть многого, но этого многого очень мало. Нужны деньги, нужны сила и власть, которые заставили бы мелкие интересы отступить перед интересами общества, которые обрушились бы на невежд, упорствующих в косности, которые ввели бы соответствующие законы и наказывали бы всех, кто, угрожая общественному здоровью, нарушает их. Если рабочие, объединившись со средним сословием, решились бы во что бы то ни стало добиться таких законов, то даже всемогущая великобританская волокита не в состоянии была бы помешать их установлению.

Совершенно очевидно, что, если бы такое объединение было достигнуто, значительно сократился бы, а в конце концов и совершенно исчез скорбный перечень бедствий, порожденных недопустимой и жестокой небрежно-

стью, которая обнаружилась во время последнего (и увы, не первого!) мора. Впрочем, благотворные последствия подобного союза не исчерпались бы одним этим. Взаимопонимание между нашими двумя наиболее многочисленными сословиями, установление близких и теплых отношений между ними, рост взаимного уважения и искренности, бо́льшая терпимость к чужим убеждениям — все это привело бы к таким положительным переменам, к такому плодотворному общению, что даже мы, с нашей ограниченной способностью правильно оценивать текущие события, научились бы благословлять этот тяжелый год, в который — на почве, утучненной злом, — столь пышно расцвело добро.

Мы обращаемся к рабочим людям Англии, преисполненные искренности, душевного сочувствия и горячего желания помочь им занять принадлежащее им по праву место в общей системе, ибо назначение этой системы — объединить всех, и способствовать тому, чтобы каждый мог быть счастлив в тех границах, которые проложены неизбежным различием в общественном положении людей. Пришло наконец время, когда каждый рабочий человек, опираясь на помощь и поддержку друзей, должен подняться на борьбу, на борьбу без насилия, без несправедливости, без побежденных, на борьбу, из которой победителем должно выйти все наше общество в целом.

Во многих семьях к этой зиме образовалась зияющая и невосполнимая брешь. И тем не менее мы обращаем свои слова даже к тем, кому пришлось пройти сквозь это тяжкое испытание, понести эти горькие утраты — ибо сколь утешительней стремиться спасти оставшихся в живых, нежели сидеть возле могилы со скорбным лицом!

7 октября 1854 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛОРД-МЭРА

— Мне говорят,— сказал лорд-мэр Лондона, когда он остался один в своей гардеробной после торжественного приема и начал снимать огромную цепь, которую носит на шее лорд-мэр Лондона — совсем как президент Королевской академии художеств и конюхи на главных стоянках наемных карет,— итак, мне говорят,— повторил лорд-мэр, взглянув на себя в зеркало,— и притом теперь, в настоящий исторический момент довольно часто, что я шарлатан.

Неважно, кто именно из лорд-мэров Лондона высказался подобным образом. Любой нынешний лорд-мэр Лондона мог бы припомнить скрупулезно цитируемые нами выражения, в которых повсеместно отдают дань его почетному званию.

— Мне это сказали,— продолжал лорд-мэр Лондона, который имел обыкновение, оставаясь в одиночестве, упражняться в ораторском искусстве, подобно Демосфену и с аналогичной целью — исправить любопытный недостаток своей речи, состоявший в том, что он упорно произносил звук «х», когда в нем не было ни малейшей надобности, и упорно опускал его, когда без него нельзя было обойтись *.— Мне это сказали,— продолжал лорд-мэр,— на том основании, что налоги, подати, пошлины и другие тяготы, налагаемые моим правительством, суть пережитки

веков, во всех отношениях непохожих на нынешние; веков, когда нравы и обычаи людей были иными, когда торговля понималась и велась по-иному, когда потребности и нужды этой столицы напоминали нынешние так же мало, как сама эта огромная столица на карте времен королевы Виктории напоминает едва различимое горчичное зернышко, изображавшее Лондон на карте времен королевы Елизаветы. Мне это сказали на том основании, что в дни, когда маленькое лондонское Сити, в котором я занимаю свой почетный пост, действительно было Лондоном, а граждане его — лондонцами, должность моя представляла собой нечто заслуживающее уважения; тогда как теперь, когда жители Сити не составляют и двенадцатой части населения столицы, а площадь Сити не составляет и десятой доли Лондона, должность эта — просто пышная бутафория. Такова, как я узнал, краткая сводка причин, почему граждане Лондона, которые занимают первое место по размерам своих торговых операций и по своим умственным способностям, всегда стараются уклониться от избрания на мою почетную должность, и почему законно учрежденные комиссии довольно неохотно признали, что я официально,— это слово лорд-мэр повторил дважды,— официально — не что иное, как нелепейшее создание и, в сущности, не более как вышеупомянутый шарлатан.

Заключив таким образом свою речь, лорд-мэр Лондона потер рукавом свою золотую цепь, положил ее на туалетный столик, надел фланелевый халат, уселся в кресло перед зеркалом и снова обратился к самому себе в следующих изящных и отточенных выражениях:

— Итак, милорд,— произнеся это слово, лорд-мэр поклонился и подобострастно улыбнулся,— вы отлично знаете, что эти наветы завистников ни на чем не основаны. Это тень, которую отбрасывает свет величия. (Здесь лорд-мэр остановился и записал это замечание, чтобы как-нибудь использовать его в послеобеденной беседе.) Кто может удостоверить ваше истинное положение? Главный судья города? Секретарь городского совета? Казначей города Лондона? Церемониймейстер? Лицо, провозглашающее тосты на банкетах? Все это надежные свидетели, и они в любое время подтвердят, что вы — почтенный сановник, что ваша должность — предмет высочайших устремлений

человека, один из ярчайших венцов доблести, один из благороднейших объектов земного честолюбия. Но, милорд,— здесь лорд-мэр снова улыбнулся и поклонился самому себе,— разве только город говорит о высоких достоинствах вашей должности и о пустоте и испорченности комиссии, которая хочет вас свергнуть? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы можете спросить Восток, Запад, Север и Юг, особенно Запад,— сказал лорд-мэр, который был светским человеком *,— особенно Запад, то есть моих друзей-аристократов, и еще раз убедиться в том, что лорд-мэр Лондона — величайшая после Милосердия драгоценность в британской короне и зеница ока Соединенного Королевства.

— Кому можно верить? — спросил лорд-мэр, положив ногу на ногу, и, чтобы подчеркнуть важность сказанного, погрозил самому себе в зеркало указательным пальцем.— Высшим классам (моим превосходным и дорогим друзьям) или комиссиям и авторам газетных статей? Ответ, разумеется, гласит: высшим классам. А раз так, давайте послушаем, что говорят мои дорогие и почтенные друзья — высшие классы.

— Начнем с моих выдающихся и высокопочитаемых друзей,— сказал лорд-мэр,— с моих уважаемых братьев (если они позволят мне так их назвать) — членов кабинета министров. Что говорит член кабинета министров, когда он приходит ко мне на обед? Он встает и говорит собравшимся, что все официальные почести ничто по сравнению с честью прийти на обед к лорд-мэру. Он дает им понять, что когда его обуревают сомнения, мысли его инстинктивно обращаются за советом к лорд-мэру, что при всех своих многочисленных победах он ожидает завершающей моральной поддержки от лорд-мэра, что при всех своих немногочисленных поражениях он ждет утешения от лорд-мэра. Он утверждает, что если лорд-мэр хотя бы только одобряет его политическую карьеру,— он счастлив; если лорд-мэр ее не одобряет, он несчастен. Его уважение к высокому сану лорд-мэра беспрерывно возрастает. Он имел честь пользоваться щедрым гостеприимством других лорд-мэров, но никогда еще не знал такого лорд-мэра, как этот лорд-мэр, и такого обеда у лорд-мэра, как этот обед. И многое другое в том же роде. А я думаю,— сказал лорд-мэр Лондона с подобострастной улыбкой,— я думаю;

что мои благородные и уважаемые друзья — члены кабинета министров — никогда ни над кем не подшучивают.

— А теперь,— сказал лорд-мэр Лондона,— теперь возьмем моих увешанных орденами друзей — представителей иностранных дворов. Они самым учтивым образом уверяют гостей, что когда они сообщают своим правительствам, что имели честь обедать у лорд-мэра, их правительства просто умирают от восторга. А я надеюсь,— сказал лорд-мэр, подобострастно улыбаясь,— я надеюсь, что их превосходительства — мои дипломатические друзья — обычно говорят то, что думают.

— Какие чувства выражают представители армии и флота, когда они приходят на обед в ратушу или во дворец лорд-мэра? Не то, чтобы они утверждали, будто наши бравые солдаты и отважные моряки рвутся в бой, подбодряя друг друга великим национальным кличем: «Лорд-мэр!», но можно сказать, что они не далеки от этого. Они намекают, что храбрость наших защитников катастрофически упала бы, если бы не было лорд-мэра; что Нельсон и Веллингтон всегда думали о лорд-мэре (без сомнения, именно так оно и было), когда совершали свои самые блестящие подвиги, и что они всегда ожидали от лорд-мэра высочайших наград (без сомнения, именно так они и делали). А я думаю,— сказал лорд-мэр, подобострастно улыбаясь,— я думаю, что мои достойные и доблестные друзья — фельдмаршалы и адмиралы нашей прославленной страны — не станут зря говорить комплименты.

— Мои высокопреосвященные друзья архиепископы и епископы уж во всяком случае не занимаются праздной болтовней,— сказал лорд-мэр.— И все же, когда они оказывают мне честь, не задумываясь (я бы сказал) над тем, что они будут есть и что они будут пить, но с величайшей учтивостью съедая и выпивая (я горжусь этой мыслью) не меньше, чем на сумму в три фунта стерлингов на человека, они не отстают от всех прочих. Они видят в лорд-мэре столп великого здания церкви и государства; они знают, что лорд-мэр необходим для истинной веры; они глубоко убеждены в том, что лорд-мэр — общественный институт, который нельзя затронуть, не подвергая опасности ортодоксальное благочестие. А если я не ошибаюсь,— сказал лорд-мэр, подобострастно улыбаясь,— если я не ошибаюсь,

слова моих личных друзей — пастырей церкви, архиепископов и епископов, заслуживают полного доверия.

— Мои высокочтимые и ученые друзья — судьи! — с восторгом вскричал лорд-мэр.— Когда они обедают за моим столом, они не поощряют рекомендаций продажных комиссий. Наоборот, из их речей я заключаю, что они не в состоянии понять, каким образом в этой стране могли бы осуществляться правосудие и справедливость, если бы была уничтожена должность лорд-мэра. Из их слов мне становится ясно, что именно лорд-мэр каким-то образом заставляет судей быть честными; что если бы не было лорд-мэра, они стали бы нечестными; что если бы они не обедали у лорд-мэра по крайней мере раз в год, они не могли бы удержаться от взяток и тому подобных проступков. А ведь мне кажется, общее мнение состоит в том,— сказал лорд-мэр, подобострастно улыбаясь,— что мои друзья — судьи, стоящие на страже закона, умеют как следует излагать суть дела присяжным.

— То же самое можно сказать о моих почтенных друзьях-законодателях — членах палаты общин, о моих благородных и совещательных друзьях — членах палаты лордов и о моих ученых друзьях — представителях свободной профессии адвокатов! — воскликнул лорд-мэр.— Все они уверены (когда приходят на обед), что без лорд-мэра — именно лорд-мэра, и никого другого, кроме лорд-мэра,— произойдет то, что я называю национальной катастрофой. Все они согласны с тем, что общество — нечто вроде бочки, состоящей из большого количества досок, скрепленных очень малым количеством обручей; и что лорд-мэр Лондона — такой крепкий обруч, что если его снять, то все доски развалятся и вся бочка разлетится. Это чрезвычайно утешительно, это чрезвычайно важно, это чрезвычайно достойно, это чрезвычайно справедливо. Я горжусь этим глубоким убеждением. Ибо я уверен,— сказал лорд-мэр, подобострастно улыбаясь,— я уверен, что это выдающееся собрание моих красноречивых и велеречивых друзей уж во всяком случае способно произносить речи.

— Итак, милорд,— продолжал лорд-мэр, снова обращаясь к зеркалу после короткой паузы в перечислении блестящего круга своих знакомых, что заставило его сильно надуться,— итак, вопрос сводится к следующему. Приез-

жают ли все эти выдающиеся лица ежегодно в Лондон, чтобы произносить о вас традиционные речи, нисколько не заботясь об их смысле, совсем как мальчишки в том же месяце произносят речи о Гае Фоксе; * или же они действительно приезжают для того, чтобы вас поддерживать. В первом случае вы попадете в неприятное положение человека, который точно знает, что они смеются над вами, когда уходят домой; во втором случае вы будете иметь счастье быть уверенным, что комиссия, которая по сути дела объявила вас,— с вполне естественной неохотой протянул лорд-мэр,— объявила вас вышеупомянутым шарлатаном, что эта комиссия — шайка ничтожных лжецов и злодеев.

— Что вам отлично известно,— сказал лорд-мэр, решительно вставая,— что вам отлично известно! Ваши почитаемые и уважаемые друзья — высшие классы сплачиваются вокруг вас (лорд-мэр взял на заметку удачное выражение «сплачиваются вокруг», чтобы использовать его во всевозможных публичных речах), вы видите их, вы слышите их, а видеть и слышать — значит верить, или уж ничто не значит верить. Далее, вы обязаны, как их преданный слуга, верить им, ибо в противном случае вам пришлось бы допустить, что государственные чиновники усвоили привычку лить потоки пустых слов без всякого смысла и без всякой искренности — привычка, которую едва ли может усвоить себе один только лорд-мэр, и очень дурная привычка, если ее усвоит вся община.

После этого лорд-мэр лег спать и увидел во сне, что ему пожаловали титул баронета.

18 ноября 1854 г.

СОМНАМБУЛИСТКА МИСТЕРА БУЛЯ

Тема настоящей статьи — крайне сложный и явно неизлечимый (как показывает дальнейшее развитие его симптомов) случай сомнамбулизма, имевший место в семье мистера Буля, этого всеми уважаемого джентльмена. Случай этот, весьма интересный с психологической точки зрения, заслуживает внимания еще и потому, что неоднократно повергал и продолжает повергать мистера Буля в состояние мучительной тревоги каждый раз, как упомянутому джентльмену случится захандрить. Как один из врачей, пользующих это семейство, могу заметить, что последнее случается не часто, так как тут следует принять во внимание и сангвинический темперамент мистера Буля, и удивительное благодушие этого джентльмена, и его непоколебимую уверенность в крепости своей конституции. Я вынужден добавить, что эта уверенность нередко бывала причиной того, что мистер Буль выказывал пренебрежение к своей особе как раз в тех случаях, когда этого делать не следовало.

Больная, у которой были обнаружены эти прискорбные симптомы, некая старуха, именуемая миссис Эбигайль Дин. Домочадцы мистера Буля сократили для простоты ее редкое в наши времена имя, и в палатах этого джентльмена она известна всем под именем Эбби Дин *.

Это имя я и буду употреблять, описывая течение болезни.

Создается впечатление, что все, относящееся к этой старухе, несет на себе печать таинственности и исключительности. Знаменательно, что, хотя Эбби Дин занимает в доме мистера Буля пост экономки и является главою Верхней лакейской *, она не внушает никому ни капли доверия, и сам мистер Буль не имеет ни малейшего представления о том, как ей удалось заполучить эту должность. Зажатый в угол,— когда я беру на себя смелость загонять его туда,— он почесывает голову и изумленно таращит глаза, причем единственное объяснение, на которое он способен — это: «Ба! Она здесь, и все тут! Больше я ничего не знаю». При этом у него бывает такой смущенный и расстроенный вид, что я воздерживаюсь от того, чтобы растолковать ему, какой глупостью было принять эту старуху на службу без рекомендации или предполагать (а я не сомневаюсь, что у него было такое предположение), что столь дряхлое существо способно заслужить свое жалование.

Нижеследующие выдержки из моих записей дадут представление о больной в ее обычном состоянии. «Эбби Дин. Темперамент флегматический. Характер желчный. Кровообращение весьма медленное. Речь невнятная, сонная и бессвязная. Рассудок слабый. Память короткая. Пульс очень вялый. Походка поразительно медленная. В любое время готова погрузиться в тяжелый, крепкий сон. Будучи разбужена, начинает брюзжать. В молодости была подвержена припадкам, в результате которых ее сильно перекосило, сперва на одну, а потом и на другую сторону».

Через несколько недель после того, как эта престарелая особа каким-то непостижимым образом водворилась во главе челяди мистера Буля, она впала в сомнамбулическое состояние. Мистер Буль заметил (я привожу его собственные слова), что она «будто во сне, слоняется весь день по дому», задал ей несколько вопросов и, услышав в ответ какую-то тарабарщину, послал за мной. Я нашел ее на одной из скамей в Верхней лакейской, она, несомненно, спала (хотя глаза ее были открыты) и при этом храпела. Растолкав ее с помощью мистера Буля, я осведомился:

«Знаете ли вы, как вас зовут?» — «О господи! Эбби Дин, конечно!» — отозвалась она. Я спросил: «Знаете ли вы, кто вы такая?» — «Домоправительница мистера Буля», — ответила она с каким-то злобным вызовом. «Знаете ли вы, что вы должны здесь делать?» — спросил я, на что последовал ответ: «Знаю... Ничего». Тут вмешался мистер Буль и не без раздражения сообщил мне, что ему не удалось выудить у «старой чертовки» ничего более вразумительного с того самого дня, как она притащила свои сундуки в его фамильный особняк.

Долгое время ее ежедневно обкладывали шпанскими пластырями. Широко применяли горчичные припарки; в качестве оттягивающего средства был использован ляпис; через шею ей продергивали заволоки; а иные особо усердствующие в своей преданности мистеру Булю слуги по целым дням гоняли ее рысью и при этом толкали и щипали. Должен сознаться, что такой способ лечения, с некоторыми перерывами весьма энергично применяемый и по сей день, привел к тому, что больной стало не лучше, а хуже. Она впала в состояние упорного, хронического сомнамбулизма, и нет ни малейшей надежды добиться ее исцеления какими-нибудь доступными человеку средствами.

Этот случай, относящийся к заболеваниям коматозного типа, интересен главным образом своим упорным характером. Его симптомы не дают почти никакой пищи воображению. Не сомневаюсь, что с того самого дня, как эта несчастная вступила на стезю болезни, ее летаргическое состояние не озарилось ни единым проблеском разума. Поведение ее ничем не отличается от поведения самых безнадежных сомнамбулистов, описанных в солидных медицинских руководствах. Обычно она встает, одевается и идет в ту комнату, где мистер Буль хранит свою казну, или в Верхнюю лакейскую, чтобы посидеть там на скамье, которую она обычно занимает, и по дороге старается не стукаться головой о притолоку и о стены, но не проявляет никаких иных признаков умственной энергии.

Иногда она засиживается там до поздней ночи, бормочет, стонет и время от времени вскакивает, жалуясь, что враги не дают ей покоя (как и следовало ожидать, мания преследования — один из симптомов ее болезни). Она то и дело набивает свои карманы толстыми пачками, состоя-

щими из различных проектов мистера Буля, планов каких-то усовершенствований в его владениях и других важных документов, потом безо всякой к тому причины выбрасывает их, а когда эти проекты вновь предлагают ее вниманию, отказывается их принимать. Некоторые из них она рассовывает по разным углам и щелям и тут же забывает, что она с ними сделала. Иногда, блуждая по палатам мистера Буля, она начинает ломать руки и твердит, что, если с ней не будут обращаться с бо́льшим уважением, она «уйдет». Поразительный пример той хитрости, которую она не утратила, невзирая на свое слабоумие: она ни разу и носу за дверь не высунула; очевидно, где-то в глубине ее помраченного сознания шевелится смутная догадка, что, если она хоть однажды покинет свое место, мистер Буль ни за какие блага на свете не согласится впустить ее снова. Глаза ее постоянно открыты, как у лунатика, но зрительные способности весьма ограничены. Всем наблюдавшим за плачевным развитием ее болезни давно уже ясно, что она не видит того, что превосходно видно каждому.

Упомяну обстоятельство (на мой взгляд, весьма знаменательное), которое показывает, сколь угрожающий характер приняла болезнь Эбби Дин. У мистера Буля есть «кабинет» *, затейливо и тонко изготовленный по нынешним образцам; он сделан из различных пород дерева, довольно искусно инкрустирован и связан в лапу: не следует забывать, что он собран из самых разнообразных по своему происхождению и качеству кусков; должен, однако, признаться, что они плохо пригнаны друг к другу, и «кабинет» мистера Буля готов в любую минуту развалиться на части. И все же в нем представлено несколько замечательных образчиков английского дерева, из коих в былые времена мистеру Булю изготовляли отличные кабинеты; среди них можно назвать тоненький, но прочный и крепкий образец доброго садового дуба, который мистер Буль в кругу своих друзей обычно шутливо именует «Джонни» *. Этот «кабинет» никогда не доставлял особой радости мистеру Булю, но, получив его от фабриканта, он согласился пользоваться им за неимением лучшего. Слегка поворчав, он сделал его хранителем самого ценного своего достояния и наряду с прочим своим имуществом вверил его заботам Эбби Дин.

И хотя у меня пока еще нет теории, которая объясняла бы, каким образом эта злополучная старуха ухитряется подчинять своему коварному влиянию неодушевленные предметы, я должен сознаться, что она парализовала весь «кабинет»; это неоспоримый факт, который могут подтвердить тысячи заслуживающих доверия свидетелей. Как это ни удивительно, но, попав под ее попечение, «кабинет» заразился сомнамбулизмом. Он покрылся пылью, полон моли, обветшал и почти ни на что не годен. Петли его заржавели, замки не отпираются, дверцы скрипят, ящики не выдвигаются и не задвигаются; мистеру Булю не удается ничего протолкнуть туда, получает же он оттуда лишь канцелярские бумаги и канитель, в каковой совершенно не нуждается, так как постоянно имеет под рукой огромный запас этого товара. Все составные части кабинета, кое-как прилаженные друг к другу, ссохлись и покоробились, и даже Джонни мало чем отличается от прочих; я думаю, во всем свете не сыщется такого неустойчивого сооружения.

Печальное состояние мистера Буля так тесно связано с помешательством его экономки, что, рассказывая о заболевании последней, я не могу обойтись без того, чтобы не упоминать то и дело имени ее злополучного хозяина. На днях, например, с мистером Булем стряслась большая беда, и он убежден, что попал в нее не без помощи Эбби Дин. Дело было так. Некто Ник, смертельный враг мистера Буля, отличающийся к тому же столь несомненным фамильным сходством со своим тезкою *, врагом рода человеческого, что, если последнего именуют отцом лжи, первого следует назвать, по крайней мере, ее дядюшкой — обуреваемый непомерной дерзостью и властолюбием, учинил ряд незаконных действий, и в том числе захватил индюшку, которая содержалась неподалеку от дома мистера Буля, в одной усадьбе под знаком «Полумесяца» *. Мистер Буль, понимая, что, если общепринятые представления о добре и зле будут хоть раз нарушены, он не сможет поручиться и за сохранность своих собственных владений, присоединился к обитателям «Полумесяца», требующим возвращения индюшки. Сделал он это не столько ради самой птицы, которая совершенно непригодна, чтобы быть поданной к рождественскому столу, сколько из-за того, что считал принципы Ника серьезной угрозой своему

спокойствию. Поэтому он поручил Эбби Дин терпеливо и в то же время как можно более решительно и твердо разъяснить Нику, что впредь ни одна кража, в том числе кража индюшек, не останется безнаказанной; и что если оный Ник не прекратит свои вероломные действия, он (то есть мистер Буль) вынужден будет его покарать. Исполняя данное ей поручение, старуха понесла нечто столь монотонное, туманное, сбивчивое и бессвязное, что чем дольше продолжались переговоры, тем сильнее укреплялся Ник в своем убеждении (и в этом нет ничего удивительного!), что мистер Буль трус, слова которого не заслуживают ни малейшего внимания. И вследствие этого продолжал упорствовать в своих кознях, от которых при иных обстоятельствах, весьма вероятно, отказался бы, чем и вынудил мистера Буля послать против него своих горячо любимых детей.

Сыновья мистера Буля так отважны, с такой поразительной твердостью выносят все невзгоды, бесстрашие этого неукротимого племени делает его столь могущественным, что слухи об их доблестных подвигах наполняют душу мистера Буля гордостью и восхищением. Однако война заставляет его не на шутку тревожиться за жизнь своих детей — увы, в мирное время цена человеческой жизни заботит его куда меньше! — и добрый старик частенько плачет украдкой, думая о том, что благородная кровь тех, кто бесконечно мил его сердцу, все еще льется и будет литься. Одно из отвратительных проявлений недуга Эбби Дин состоит в том, что сейчас, когда в жизни мистера Буля наступил столь важный и мучительный кризис, она по-прежнему, все с тем же сонным видом «слоняется повсюду» (я снова привожу слова достойного джентльмена) и являет собой такой неприглядный контраст деятельным сыновьям мистера Буля, что последний, будучи от природы человеком мирным, временами едва удерживается от искушения прикончить ее одним ударом по голове.

Еще один симптом (о нем упоминают некоторые авторы научных трудов о сомнамбулизме) заключается в том, что больная часто не может отличить себя от других людей. Было замечено, что она путает себя с вышеупомянутыми сынами мистера Буля и в какой-то мере считает себя причастной к их доблестным подвигам.

Внимательно изучив указанный симптом, я нимало не сомневаюсь, что с течением времени больная будет все сильнее упорствовать в своем заблуждении, и ясно представляю себе, как спустя несколько месяцев она будет сонливо нашептывать всем, находящимся в палатах мистера Буля, что она заслуженно разделяет славу, которую снискали себе его верные сыны. Полагаю также, что она каким-нибудь таинственным образом ухитрится заразить этим недугом «кабинет» и что примерно к этому же времени сие нелепое сооружение будет одержимо точно такой же манией.

Говоря о симптомах этого тяжелого случая сомнамбулизма, следует упомянуть, что больная обладает достаточной долей сообразительности для того, чтобы уклоняться от исполнения повседневных обязанностей, взятых ею на себя при поступлении на службу к мистеру Булю, неизменно ссылаясь при этом на драку, в которой участвуют его сыновья. Из-за этой мнимой причины она не радеет о палатах мистера Буля, дурно управляет его владениями, пренебрегает нуждами и жалобами народа, откладывает все дела. «А между тем,— вполне резонно замечает мистер Буль,— раз уж я имел несчастье впутаться во все эти злоключения на стороне, мне хотелось бы сделать хоть немного добра у себя дома. Мне бы хотелось хоть чем-нибудь уравновесить здесь те лишения и горести, которые выпали на долю моих домашних. И если правой рукой я посылаю на заклание возлюбленных детей своих, то, ради бога, не мешайте мне левой растить и вскармливать тех, что остались со мною». Но что толку говорить все эти (равно как и любые другие) слова сомнамбулистке? Более того. Нередко можно услышать, как, «слоняясь по дому» (я снова цитирую мистера Буля), Эбби бормочет, что, если кто-нибудь ее тронет, он тем самым подвергнет опасности находящихся на чужбине сыновей мистера Буля, которым в этом случае каким-то непостижимым образом будет нанесен ущерб. И невзирая на то, что даже самый последний холоп как в палатах мистера Буля, так и за их пределами знает, что в словах ее нет и тени правдоподобия, я с сожалением замечаю, что они являются непреодолимым препятствием для осуществления каких бы то ни было попыток привести ее в сознание,

и хотя среди слуг мистера Буля нашлось бы немало таких, которые могли бы попользовать Эбби Дин дюжей встряской или целительным дерганьем за нос, все они воздерживаются от того, чтобы предложить свою благодетельную помощь. В заключение этого отчета должен сказать, что «кабинет» зловещим скрипом вторит стенаниям Эбби Дин и что мои наблюдения дают мне основания предполагать, что в январе или феврале будущего года он будет скрипеть еще громче, если только не развалится к этому времени на кусочки *.

Таково состояние больной. Нам предстоит решить, *способна* ли она проснуться? Если бы наука оказалась в силах каким-нибудь способом пробудить ее, была бы разрешена одна из важнейших проблем нашего времени, ибо до тех пор, пока Эбби Дин хотя бы смутно не осознает, какое влияние оказывает она на мистера Буля и его дела, никакие силы на земле не помогут мистеру Булю от нее избавиться. Я согласен с мистером Булем, что привести ее в такое состояние, когда она могла бы спокойно выслушать предупреждение об отказе от места, является делом первостепенной важности. И хотя мне хотелось бы, чтобы мистер Буль не подвергал себя излишним волнениям, я не могу с ним спорить, когда он (в который уж раз!) принимается доказывать мне, что единственное, в чем он нуждается в наше бурное время, это *мужская* рука, которая хозяйничала бы в его владениях.

25 ноября 1854 г.

ТА, ДРУГАЯ ПУБЛИКА

В нашем девятом томе нам по ходу дела пришлось наводить справки * о местожительстве Публики, этого весьма неопределенного имени собирательного, каковое имя обозначает великое множество людей. Мы напомнили нашим читателям, что это слово никогда не употребляют, когда Публика становится объектом шутки в театре, ибо считается, что это шутка по адресу какой-то другой, вполне заслужившей ее Публики, но никак не этой. Приняв в соображение нынешние обстоятельства, нам кажется, что будет лучше всего, если мы начнем наш одиннадцатый том с того, что слегка оживим память той, другой Публики, которая частенько преступно забывает о своих обязанностях, правах и интересах; и к которой, безусловно, ни мы, ни наши читатели не имеют ни малейшего отношения. *Мы* — благоразумная, мыслящая, отзывчивая Публика, мы всегда на высоте положения, тогда как та, другая Публика упорно плетется в хвосте и ведет себя весьма неосмотрительно.

Начнем с небольшого примера, который недавно привела дружески расположенная к нам газета «Экзэминер» *. Что думает та, другая Публика, позволяющая ответственным лицам, которых она считает своими слугами, каждый вечер обдирать себя как липку? Дело обстоит следующим образом. В то время, когда возникли большие железно-

дорожные компании, взятки и подачки мелким чиновникам стали совершенно нетерпимым явлением. Эти компании немедленно и весьма к своей чести исключили из своей системы все подобные злоупотребления; владельцам гостиниц вскоре пришлось последовать этому разумному примеру. Публика (разумеется, мы все время имеем в виду ту, другую Публику) была избавлена от весьма неприятных и раздражающих добавлений к дорожным хлопотам и заботам; и реформа, как это свойственно всякой необходимой и разумной реформе, распространилась по многим менее значительным направлениям и благоприятно сказалась во многих менее значительных отношениях. В настоящий момент один только театр упорно и бессовестно противится этой реформе,— он настаивает на своей давно устаревшей политике, отказываясь выполнять свое соглашение с той, другой Публикой, если та, другая Публика, уплатив за свои места в ложах или в партере, не желает, кроме того, платить мзду театральным служителям, которые покупают свои должности, чтобы грабить ту, другую Публику. Это все равно, как если бы мы продали свой издательский пост тому, кто даст больше всех, предоставив ему право брать лишний пенс или два, или сколько он сумеет получить за каждый номер «Домашнего чтения», которым он любезно облагодетельствует ту, другую Публику! Всего лишь неделю или две назад мы в девять часов вечера заплатили 5 шиллингов за один билет на пантомиму, причем после того, как мы с легким сердцем удовлетворили это требование, голодный грабитель приставил к нашей груди свернутую в трубку театральную афишу, словно дуло пистолета, и решительно встал в дверях, которые охранял, чтобы помешать нам (без потери еще одного шиллинга в его пользу) занять место, за которое мы уплатили. Надо сказать, что та, другая Публика до сих пор мирится с этим наглым грабежом, хотя ее наиболее популярный увеселитель отказался от всей прибыли, которую можно извлечь, и ясно указал на ее очевидную абсурдность и вымогательский характер. И хотя всем без сомнения известно, что театр, как общественное учреждение, растет и процветает, и хотя стоит нам только посмотреть любую первую попавшуюся пьесу, чтобы убедиться, что большинство исполнителей, мужчин и женщин,

не жалея сил и средств, изучали все, что необходимо для их профессии, и действительно подготовились к своей деятельности в истинном духе служителей искусств,— несмотря на все это, мы берем на себя смелость намекнуть той, другой Публике, с которой ни наши читатели, ни мы не имеем ничего общего, что это еще не основание для того, чтобы ее столь нагло обманывали.

Мы только что упомянули о железнодорожных компаниях. Та, другая Публика весьма ревниво относится к железнодорожным компаниям. В этом нет ничего удивительного, ибо она целиком находится в их власти; мы лишь хотим сказать, что она обычно не скупится на жалобы, если только находит на то причины. В свое время она возражала против цен на билеты и приводила примеры того, что они, безусловно, слишком высоки. Но приходилось ли когда-нибудь той, другой Публике слышать о предварительной системе, которую железнодорожные компании не могут обойти, и которая расточает неслыханные сокровища, прежде чем они смогут вырыть хоть один фут земли или уложить хотя бы одну шпалу? Почему та, другая Публика ни разу не начнет с начала и не поднимет свой голос против чудовищной стоимости ходатайств о внесении частных биллей в парламент и запросов в комиссии палаты общин (которые повсеместно считаются наихудшим из всех трибуналов, когда-либо порожденных человеческим умом)? Имеет ли та, другая Публика достаточное представление о коррупции, расточительстве и потерях, порождаемых этим порочным процессом управления? Предположим, ей стало бы известно, что десять лет назад парламентские и судебные издержки всех существовавших в то время железнодорожных компаний составляли в среднем семьсот фунтов на каждую милю железных дорог, построенных в Соединенном Королевстве. Интересно, была бы она потрясена? Но предположим, ей тут же сообщили бы, что в действительности эти издержки составляют не семьсот, а *тысячу семьсот фунтов на милю*. Интересно, что та, другая Публика, которая, разумеется, оплачивает все это до последнего фартинга, сказала бы тогда? Между тем это изложено черным по белому и подкреплено цифрами в документе, изданном министерством торговли,— документ этот теперь встречается до-

вольно редко, что вполне понятно, ибо он представляет собой опасную диковинку. Та, другая Публика может прочитать на тех же страницах, что парламентские и судебные издержки некоей линии Стоун — Рэгби (билль о ней был отклонен, и следовательно, она в конце концов не была построена) достигли весьма скромной предварительной суммы в 146 тысяч фунтов! Это происходило в те веселые дни, когда адвокаты, понаторелые на парламентской процедуре, отказывались принимать дела с пометкой: «Гонорар — сто гиней»,— и принимали те же дела с пометкой: «Гонорар — тысяча гиней»; причем адвокат тут же на месте вставлял третий нуль с решимостью, наводящей на мысль об его собственном маленьком законопроекте против той, другой Публики (как говорилось выше, не имеющей с нами ничего общего), по адресу которой наши читатели и мы теперь горько усмехаемся. Это было также в те благословенные времена, когда еще не был принят Акт об охране общественного здоровья * и Уайтчепл * заплатил обоим охраняющим нас божествам — Суду и Парламенту — 6500 фунтов за милостивое разрешение снести ради блага общества десяток пользующихся дурной славой улиц, населенных болезнями и пороком.

Наша Публика осведомлена обо всем этом, и *наша* Публика ясно видит, как это гнусно. Это та, другая Публика, где-то там — где, собственно, она может находиться? — постоянно позволяет надувать себя и заговаривать себе зубы. За последние три или четыре года она совершенно запуталась в злополучном вопросе о свободе печати. Благородные лорды сказали, что вышеозначенная свобода чрезвычайно неудобна. Нет сомнения, что это так. Нет сомнения, что всякая свобода неудобна — для некоторых людей. Свет крайне неудобен для тех, кто имеет достаточно причин предпочитать тьму; было также замечено, что вода и мыло представляют особенное неудобство для тех, кто чистоте предпочитает грязь. Однако та, другая Публика, убедившись, что благородные лорды время от времени хитрым и нудным способом заводят волынку на этот счет, забеспокоилась и пожелала узнать, куда эти волынщики гнут,— например, она пожелала узнать, как они намереваются руководить этой опасной печатью. Ну так вот, теперь она может это узнать. Если

та, другая Публика когда-либо захочет учиться, ее учебник, недавно опубликованный, лежит открытый перед ее глазами. Глава первая трактует о верховном суде; глава вторая представляет собою историю авантюры, о которой, быть может, она в ближайшие дни еще кое-что услышит. Представитель королевы в весьма значительной части Соединенного Королевства — джентльмен до мозга костей и, без всякого сомнения, человек чести — знает об этой печати так мало, что можно увидеть, как он ведет тайные переговоры с порочными и низкими людишками, которых она отвергает, как он за счет общества оплачивает их похвалы, смотрит сквозь пальцы на их грязные дела и ставит перед ними их мерзкие задачи. Одно из крупных государственных учреждений на Даунинг-стрит не без оснований подозревают в темных и позорных сделках подобного рода, а именно в том, что оно покупает дутую рекламу, дабы воздействовать на умы наиболее падких на рекламу людей, какие когда-либо существовали на земле. *Наша* Публика отлично об этом знает и, разумеется, принимает близко к сердцу это обстоятельство во всех его многочисленных неприличных аспектах; но когда же та, другая Публика,— которая вечно плетется в хвосте и торчит в каком-нибудь захолустье,— когда она узнает об этом, обдумает это и примет против этого меры?

Невозможно преувеличить тщательность, с которой наша Публика добралась до самой сути проблемы, вытекающей из положения британской армии под Севастополем. Наша Публика отлично знает, что при всех скидках на спешку, препятствия и естественную силу чувства, вызванного тяжелыми переживаниями, корреспонденция «Таймса» пролила свет на монбланы злоупотреблений *, слабоумия и беспорядка, под тяжестью которых было совершенно подавлено и смято мужество народа. *Наша* Публика глубоко прониклась мыслью о том, что подобное разоблачение не ново, а напротив, что подобное нарушение долга и несостоятельность были и прежде отличительным свойством подобных исторических периодов до тех пор, пока эпоха не рождала человека достаточно сильного для того, чтобы, вступив в единоборство с дурным управлением Англией, положить его на обе лопатки. Это сделали Веллингтон и Нельсон, и следующие великие гене-

рал и адмирал — появления которых мы теперь с нетерпением ожидаем, но которых, возможно, придется ждать довольно долго, ибо нам известно, что у наших вооруженных сил (и морских и сухопутных) не в обычае способствовать возвышению достойнейших,— должны сделать то же самое и, без сомнения, это сделают, благодаря чему вы их и узнаете. *Наша* Публика, основательно поразмыслив над этими фактами, отныне будет придерживаться той истины, что система ведения ее дел порочна в корне; что интересы классов, семей и отдельных лиц довели общественные дела до весьма жалкого состояния; что ум, настойчивость, предусмотрительность и необыкновенная изобретательность, которые в области частного предпринимательства отличают Англию от всех других стран, не прививаются в ее общественной жизни; что, в то время как каждый промышленник и коммерсант расширял сферу своей деятельности и развивал свои способности, общественные учреждения, словно выставленные для прощания покойники, печально лежали в своих пышных гробах, освещенные мерцающим светом свечей; и что пора уже широко раскрыть окна, погасить свечи, похоронить умерших, дать свободный доступ дневному свету, выбросить всю рухлядь и вымести прочь пыль и грязь. Этот урок *наша* Публика усвоила твердо, и мы все знаем, что никакими уловками ее больше не проведешь. Ну, а та, другая Публика? Что будет делать она? Это гуманная, великодушная и пылкая Публика, но будет ли она, с упорством беспощадной смерти, цепляться за цветок предостережения, который мы нашли и сорвали среди крапивы войны? * Будет ли она твердо отвечать всем льстецам, что, хотя все фланелевые жилеты цивилизованного и все медвежьи и буйволовые шкуры нецивилизованного мира были в последнее время посланы нашим голым и босым соотечественникам (до которых они так и не дошли), они ни в коей мере не решат извечного вопроса и что эта Публика не откажется ни от единого преобразования, которое было признано необходимым для оздоровления всего государственного организма Британии? Когда война кончится и та, другая Публика, всегда готовая устроить демонстрацию, станет кидать вверх шляпы, освещать плошками свои дома, бить в барабаны, трубить в трубы и произносить

речи длиною в сотни миль газетных колонок,— будет ли она польщена и выкачают ли из нее окончательно один-единственный оставшийся вопрос, или она его запомнит? О, та, другая Публика! Если бы только мы — вы и я и все остальные,— если бы только мы могли быть уверены в той, другой Публике!

Разве со стороны той, другой Публики не было бы непростительной слабостью, если бы она в тяжелую минуту удовольствовалась тем, что посмеялась над министерством, у которого нет главы, а затем оставила его в покое? Разве не было бы удивительным примером недостатков той, другой Публики, если бы мы ни разу не увидели, как она потрясена сверхъестественным слабоумием той власти, которой она в час опасности доверила тело и душу страны? Мы-то знаем, что за зрелище представлял бы собой этот жалкий больной, кабинет министров, который специально созвал на рождество своих родных и знакомых и, ковыляя на своих слабых ножках, пораженных последней стадией паралича, тихонько пищит, что, если ему немедленно не предоставят такие-то и такие-то полномочия, он, без сомнения, сойдет с ума от ущемленного патриотизма и в отчаянии выколет себе свои несчастные старые глаза; мы-то знаем, удовлетворенный какими низменными чувствами, он потащится прочь и уляжется спать; он не воспользуется тем, что у него есть, и мы больше не услышим о нем до тех пор, пока одна из его нянек, более раздражительная, чем прочие, не дернет его за сморщенный нос и не заставит его хныкать,— мы-то знаем, как мы к этому отнесемся и — благослови нас бог! — мы примем по этому поводу серьезные меры; но где та, другая Публика, чье равнодушие питает подобные чучела, и на которую, очевидно, не подействует ни моровая язва, ни голод, ни война, ни внезапная смерть?

Остается только одно утешение. Мы, англичане, не единственная жертва той, другой Публики. О ней можно услышать и в других местах. Вслед за отцами-пилигримами она пересекла Атлантический океан и частенько творит чудеса в Америке. Лет десять или двенадцать назад некто Чеззлвит говорил, что нашел ее за океаном, где она вела себя в высшей степени странно. Это утверждение рассердило Публику всех видов, и вся она, трога-

тельно объединившись, выражала свое возмущение и доказывала, что это неправда. Однако, говорят, недавно появился небольшой томик мемуаров, из которого видно, что Чеззлвит тоже был прав. Разве «ловкий» содержатель цирка, который сделал такую русалку, такую няню Вашингтона, такого карлика, такого поющего ангела на земле; который сделал себе такое состояние и, сверх всего, такую книжку *,— разве он обращается к свободной и просвещенной Публике Соединенных Штатов — к Публике государственных школ, свободных избирательных списков, первосортного ума и всеобщего обучения? Нет, нет. Та, другая Публика — жертва мошенников. Это ее, ту, другую Публику, находящуюся неизвестно где, так нагло обманывают и так дерзко высмеивают. Ради той, другой Публики нью-йоркский шляпник побил мировой рекорд на аукционе, где продавались места на концерты Женни Линд *. Ради той, другой Публики в честь Женни Линд произносили речи, проливали слезы и пели серенады. Это ту, другую Публику, которая вечно кипятится и бурлит по любому поводу или без всякого повода, ее импрессарио дарил сияющими улыбками с балконов гостиниц. Это та, другая Публика будет читать и даже покупать остроумную книжку, к которой она имеет прямое отношение и тем весьма гордится, и будет захлебываться от восторга по поводу того, что книжка эта разошлась по всей стране — от океанских утесов старого гранитного штата * до Скалистых гор. Без сомнения, именно к той, другой Публике относится отрывок, который мы находим в книге под названием «Американские заметки»:

«Другая примечательная черта американцев: у них в почете умение ловко обделывать дела; этим умением позолочены для них и мошенничество, и грубое злоупотребление доверием, и растрата, произведенная как общественным деятелем, так и частным лицом; и оно позволяет многим плутам, которых стоило бы вздернуть на виселицу, держать высоко голову наравне с лучшими людьми; но эта слабость к ловкачам не прошла даром для американцев, ибо за несколько лет «ловкачество» нанесло такой урон общественному доверию и так истощило общественные фонды, что никакая «скучная» честность, даже самая неосмотрительная, не натворила бы столько вреда за целое

столетие. Нарушение условий сделки, банкротство или удачное мошенничество расцениваются не исходя из золотого правила «поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой», а в зависимости от того, насколько ловко это было проделано. Помнится, оба раза, когда мы проезжали мимо злополучного Каира на Миссисипи, я высказывался в том смысле, что такие грандиозные обманы должны иметь дурные последствия, так как, будучи разоблачены, они порождают недоверие за границей и отбивают у иностранцев охоту вкладывать в Америке свои капиталы; но в ответ мне объяснили, что это была очень ловкая затея, которая принесла кучу денег; а самое пикантное в ней то, что за границей быстро забывают подобные трюки, и люди как ни в чем не бывало пускаются в новые спекуляции. Мне сто раз пришлось вести следующий диалог:

— Ну разве не постыдно, что такой человек, как имярек, наживает состояние самым бесчестным и гнусным путем, а его сограждане терпят и поощряют его, несмотря на все совершенные им преступления? Ведь он же нарушает общественную благопристойность!

— Да, сэр.

— Ведь он же общепризнанный лжец!

— Да, сэр.

— Ведь его секли, пороли, гнали в шею!

— Да, сэр.

— И это совершенно бесчестный, низкий, распутный человек!

— Да, сэр.

— Ради всего святого, в чем же тогда его заслуга?

— Видите ли, сэр, он 'ловкий человек».

Та, другая Публика в нашей собственной стране более чем достаточно преклонялась перед вышеозначенным карликом, хотя он еще слишком мал, чтобы говорить ясно и отчетливо, а *мы,* Публика, которую никогда не обманывали, не простим ей ее глупости. И потому, если Джон па этом берегу и Джонатан за океаном могли бы добраться до той, другой, докучливой Публики и немножко ее подбодрить,— тем лучше было бы для обоих братьев.

3 февраля 1855 г.

ПСАМ НА СЪЕДЕНИЕ*

Все мы знаем, какие сокровища достанутся когда-нибудь нашему Потомству. Все мы знаем, что ему ежедневно завещаются огромные ценности, что оно получит в свое распоряжение длинный-предлинный товарный состав, груженный сонетами, что оно обнаружит выдающихся сынов отечества и государственных мужей, живущих в наше время и совершенно нам неведомых, что Потомство — великий прозорливец, а Время — жалкий слепец. Мы знаем, что целые сонмы бескорыстных людей, подобно процессиям гномов, беспрестанно устремляются к нему навстречу, неся неисчерпаемые, неисчислимые богатства. Нам неоднократно случалось видеть, с каким бескорыстием величайшие умы, хитроумнейшие политики, талантливые изобретатели и щедрые благодетели рода человеческого брали его на благотворительный прицел, находясь на дистанции, которой позавидовал бы и капитан Уорнер, и как спустя сто лет после выстрела оно взлетало к самым небесам. Все мы почитаем в нем будущего крупного капиталиста, которому завещаны все земные состояния, не нашедшие себе немедленного применения, наследника, чей период несовершеннолетия оказался длительным, но плодотворным, счастливое создание, за которым прочно закреплены все истинные богатства мира. Какой же будет

пора его зрелости, когда в конце концов оно получит то, что ему причитается!

Мне кажется, что потомство, являющееся объектом столь щедрых даяний, знает лишь одного соперника. Я заметил, что с каждым днем все новые и новые несметные ценности становятся достоянием *псов*.

Что сталось, спрашиваю я вас, что сталось с тем достоянием, во владение которым я сам вступил в возрасте девятнадцати лет? Сияющий (воздушный) замок, юный лик любви, выглядывающий из окна, дух безмятежности и покоя, с неземным выражением на лице стоящий у крылечка, прелестные и чистые видения, кружащиеся вокруг него и днем и ночью. Таково было мое единственное наследство, да я и не помышлял расточать его. Я оберегал его, как скупец. Так ли это, скажи, о Араминта, обладательница блестящих глаз и неумолимых родителей, ты, что была единственной владетельницей этого замка? Какое блаженство наполняло нас, как дорожили мы своим счастьем, не ведая ни перемен, ни пресыщения, ни разлуки, когда скользили под парусами вниз по течению реки, что протекала под стенами этого замка, реки, имя которой Время. Кому же достался этот замок со всеми его волшебными аксессуарами? Псам на съедение. Вот уже почти четверть века, как все, что в нем было, стало добычей собак.

Вернись ко мне, о друг моей юности. Воротись из царства тьмы и теней, что сгустились вокруг тебя, и мы снова посидим с тобой рядышком на изрезанной ножами, грубо сколоченной школьной скамье. Ну и лентяй же этот Боб Темпль, всегда-то он норовит увильнуть от своей работы и свалить ее на меня, едва ли случалось кому-нибудь видеть, чтобы примерный школьник, в чьем упорядоченном теле обитает упорядоченный дух, был так сильно измазан чернилами; в дни выдачи карманных денег он вечно толкует о чем-то со своими кредиторами; нередко пускает с молотка перочинные ножики и с огромным убытком распродает именинные подарки своей сестрицы. И в то же время Боб Темпль, такой румяный, веселый и беззаботный малый, с легким сердцем одалживает шестипенсовики у премудрого, бережливого Дика, с тем чтобы после каникул уплатить ему троекратную мзду, и устраивает щед-

рый пир для званых и незваных. Он очень музыкален, этот Боб Темпль. Может напеть и просвистать все, что угодно. Учится играть на фортепиано (том, что стоит в гостиной) и однажды исполнял дуэт с профессором музыки, мистером Гоавусом из королевской итальянской оперы, которому (как я с тех пор не без оснований предполагаю) временами доверяют в этом учреждении обязанности младшего помощника писца и которого друзья и поклонники Боба, из коих я являюсь самым рьяным, заподозрили в том, что он сбился уже на первых тактах. У Боба Темпля радужные надежды на будущее; он сирота, и его опекун близок к Английскому банку; к тому же Боб зачислен в ряды войск. Я хвастаюсь перед своими домашними тем, что имя Боба записано в Конной гвардии и что его отец распорядился в своем завещании, чтобы ему купили «парочку полковых штандартов» (это выражение мне очень нравится, хотя я и не совсем понимаю, что оно значит). Однажды я отправляюсь вместе с Бобом взглянуть на здание, где записано его имя. Мы гадаем, в которой из комнат оно записано и знают ли об этом двое верховых, что стоят в карауле. Я также сопровождаю Боба, когда он едет навестить свою сестру, которая учится в пансионе мисс Мэггиггс в Хэммерсмите, и нет никакой необходимости говорить, что я нахожу его сестру красавицей и влюбляюсь в нее. Боб говорит, что у нее будет независимое состояние. Дома я рассказываю, что мистер Темпль распорядился в своем завещании, чтобы у его дочери было независимое состояние. По своему собственному почину и без всяких к тому оснований я определяю мистера Темпля в армию и поражаю своих домашних рассказами о доблестных подвигах этого горячо оплакиваемого воина в битве при Ватерлоо, где я оставляю его бездыханным, с туго обмотанным вокруг левой руки британским флагом, который он не пожелал бросить до последней минуты. Так продолжается до тех пор, пока Боб не уезжает в Сандхерст *. Через некоторое время уезжаю и я — все мы разъезжаемся. Проходят годы, два или три раза я встречаю джентльмена с усами, который правит каретой, где сидит леди в очень яркой шляпке, и лицо ее заставляет меня вспомнить о пансионе мисс Мэггиггс в Хэммерсмите, хотя и не выглядит сейчас таким счастли-

вым, как во время сурового деспотизма мисс Мэггиггс, который, по моему убеждению, проявляла эта превосходная женщина. Это приводит меня к открытию, что джентльмен с усами — не кто иной, как Боб; и в один прекрасный день Боб останавливает карету, заговаривает со мной и приглашает меня отобедать; но, выяснив вскоре, что я не играю в биллиард, уже не проявляет к моей особе того интереса, на который я рассчитывал. Я спрашиваю Боба во время этой встречи, состоит ли он все еще на военной службе? «Нет, мой мальчик,— ответствует он,— мне это надоело, и я продал свой патент»; последнее заставляет меня предположить (ибо к этому времени я становлюсь человеком житейским), что состояние Боба либо и вправду стало весьма независимым, либо переходит на съедение псам. Еще несколько лет миновало, и так как в течение всего этого времени о Бобе ни слуху ни духу, то я вот уже целых три года примерно дважды в неделю повторяю, что, право же, я зайду наконец к этому околобанковскому опекуну и справлюсь относительно Боба. В конце концов я исполняю свое намерение. Будучи уведомлены о цели моего посещения, клерки делаются неучтивыми. Из-за перегородки выскакивает плешивый и красный, как рак, опекун, сообщает мне, что он не имеет чести быть со мной знакомым, и устремляется обратно, не выказывая ни малейшего желания воспользоваться представившейся ему возможностью. Тут у меня возникает искреннее убеждение в том, что состояние Боба вскоре будет съедено псами. Промелькнуло еще несколько лет, в течение которых Боб также временами мелькает в поле моего зрения, но никогда не предстает он передо мной дважды в одном и том же виде, от раза к разу катится он все ниже и ниже. Среди того сброда, что его теперь окружает, нет ни души, в которой можно было бы обнаружить хоть намек на порядочность, если не считать его сестры, неизменно следующей за ним повсюду. Яркой шляпки уже нет и в помине; ей на смену пришло нечто бесформенное и снабженное вуалью,— быть может, некая разновидность наплечной подушки грузчика, употребляемая существами женского пола для того, чтобы нести бремя невзгод — нечто убогое, почти неопрятное. Из различных неопределенных источников до меня доходят све-

дения, что она доверила свою независимость Бобу, а тот... словом, независимость эту собаки съели. Как-то в летний день я замечаю Боба, который прохаживается, греясь на солнышке, возле некоего трактира, расположенного неподалеку от театра Друри-Лейн; она, в шали, которая льнет к ней так тесно, как лишь одежды бедняков льнут к своим владельцам после того, как все остальные вещи уже покинули их, ожидает его на углу; он, с безразличным и скучающим видом, задумчиво ковыряет в зубах; за ним не без восторга наблюдают двое мальчуганов. Желая разузнать побольше, я, спустя несколько дней, снова заглядываю сюда, просматриваю концертную программку, выставленную в окне трактира, и уже не сомневаюсь, что мистер Баркли, прославленный певец вакханалий, восседающий за фортепиано, это не кто иной, как Боб. Впоследствии до меня временами доносятся слухи — как они возникают и от кого исходят, не имею ни малейшего представления, скорее всего от ненасытных псов, денно и нощно подстерегающих свою жертву,— о какой-то не получившей огласки истории со сдачей в залог простыней из дешевых меблированных комнат, об умоляющих письмах, получаемых старенькой мисс Мэггиггс из Хэммерсмита, и о том, что все зонтики и галоши, принадлежащие названной мисс Мэггиггс, были унесены джентльменом, который в один ненастный вечер, уже после наступления темноты, зашел к ней, чтобы справиться об ответе. Так он опускается все ниже, и наконец преданная сестра начинает клянчить милостыню уже и у меня, в ответ на что я читаю ей мораль о бесполезности таких подачек (ибо к этому времени становлюсь уже окончательно житейским человеком) и украдкой слежу из окна за тем, как она в сумерках бредет под дождем, унося полученные от меня полсоверена, и презираю себя за то, что мог восхищаться этим пришибленным, шлепающим по лужам существом в ту пору, когда оно обитало в пансионе мисс Мэггиггс и носило длинные и пышные локоны. Нередко она возвращается, принося с собой несколько с грехом пополам нацарапанных строчек от брата, который постоянно стоит на пороге смерти и никак не может через него переступить; в конце концов он с неохотой делает это, и, свистнув собак, сей Актеон* наоборот окончательно

предает себя им на съедение. Снова проходят годы, и вот однажды я обедаю у Вайзерса в Брайтоне, куда явился, чтобы отведать его кларета 41 года, а там Спайзерс, только что назначенный стряпчим по делам казны, обращается ко мне через стол с вопросом: «Уж не учились ли вы когда-то у Майзерса?» На что я отвечаю: «Ну конечно, учился». На что он вопрошает: «А узнаете ли вы меня?» На что я ответствую: «Разумеется, узнаю»,— хотя до этой минуты и не подозревал, что мы с ним знакомы. И тут он начинает толковать о том, как наши ребята разбрелись по всему свету и он с тех самых пор так и не встретил никого из них, и уж не встречал ли кого-либо я? На что я, выяснив, что мой ученый друг сохранил приятные воспоминания о Бобе в связи с синяком, который тот подставил ему под глазом в день его пятнадцатилетия, дабы подтвердить свои права на «конфискацию» перочистки, присланной названному Бобу в честь упомянутого события сестрою, излагаю в общих чертах только что рассказанную здесь мною историю, присовокупив при этом, что, как я слышал, после смерти Боба мисс Мэггиггс, хотя и обеднела чертовски, ибо школа ее пришла в совершенный упадок, поселила у себя его сестру. Мой ученый друг клятвенно заверяет, что это делает честь мисс Как-Ее-Там и что старикам Майзерсам следовало бы подписаться для нее на какую-нибудь безделицу. Не видя в этом необходимости, я с похвалой отзываюсь о вине, и мы пускаем его вкруговую, по тому же маршруту, по какому движется и наша планета, каковая, как я слышал, с каждым годом своего существования все ближе придвигается к солнцу, и заключаем воспоминания о Бобе эпитафией, которая гласит, что он отправился на съедение к псам.

Порою на съедение псам достаются целые улицы, неодушевленные улицы, дома из кирпича, скрепленного известкой. Причину этого выяснить невозможно; не иначе, как псы опутывают их своими чарами, завораживают, гипнотизируют, а потом призывают к себе, и те вынуждены повиноваться. Об одной такой улице я мог бы рассказать здесь. В ней была какая-то особая, угрюмая величавость, дома держались особняком, словно последние члены вымирающей аристократической фамилии, и это

сходство усугублялось еще и тем, что почти все они были очень высоки и скучны. Мне неведомо, давно ли псы остановили на этой улице свои завидущие глаза, знаю только, что они набросились на нее, и ее не существует более. Первым погиб самый большой дом, он стоял на перекрестке. Живший в нем престарелый джентльмен умер, и гробовщик поместил на фронтоне пышный траурный герб, напоминавший прескверный транспарант и предназначавшийся лишь для того, чтобы по вечерам его освещали яркими огнями, но отнюдь не для обозрения при дневном свете; поверенный вывесил объявление о сдаче в наем и поселил в доме старуху (у которой, казалось, не было за душой ничего, кроме кашля), и та, словно испуганная старая соня, уползла в какой-то угол и с головой завернулась в одеяло. Таинственное влияние псов продолжало тяготеть над этим домом, и он тут же начал разрушаться. Почему болезнь, пощадив четырнадцать домов, вдруг обрушилась на пятнадцатый, мне непонятно, но следующий дом, в котором замечено было зловещее помутнение окон, был отделен от первого пятнадцатью дверями; после непродолжительного периода упадка глаза его были закрыты маклерами, и запустение стало его уделом. Лучший из домов, стоявших напротив, будучи не в силах созерцать столь горестное зрелище, не замедлил украситься черной доской со всей поспешностью, какую только допускали неистекший срок аренды и вывешенные объявления «сдается в наем»; жильцы обратились в бегство, а в доме, дабы «присмотреть» за ним, поселилась семья каменщика, и через столовую были протянуты веревки, на которых после незамысловатой еженедельной стирки, сушилось принадлежащее этому семейству белье. Черные доски, напоминающие сорванные с петель дверцы катафалка, появлялись теперь в изобилии. Лишь какой-то биржевой спекулянт, не подозревая о том, что псы точат на него зубы, откликнулся на одно из объявлений. Он сделал в номере двадцать четвертом ремонт, оштукатурил его, украсил лепными балкончиками и карнизами, убрал дверные молотки, вставил зеркальные стекла и, слишком поздно обнаружив, что улицу, обреченную на съедение псам, не может спасти никакая сила в мире, утопился в бочке с дождевой водой. Через год на всей улице не было

более скверного дома, чем тот, что он отделывал заново. Штукатурка разлагалась, как стилтонский сыр, от резного карниза отваливались кусочки, словно сахар с разломанного крещенского пирога. Несколько черных досок предприняли последнюю отчаянную попытку, намекнув на пригодность этих поместительных особняков для устройства в них различных общественных учреждений и адвокатских контор. Бесполезно. Дело было уже сделано. Теперь всю улицу можно было бы скупить за ломаный грош, каковая сумма не была, однако, предложена, ибо никто не осмелился покуситься на то, чем завладели псы.

Порою кажется, что этим ужасным животным стоит лишь тявкнуть, чтобы добиться своего. Кто из нас не помнит видную персону, чьи неопределенные источники дохода в Сити можно было бы приравнять к золотому прииску; у него был восхитительный загородный дом, прославленные сады и прославленный садовник, превосходные угодья, гладкие зеленые боскеты, ананасные теплицы, конюшня на двадцать пять лошадей, каретник, в котором стояло полдюжины экипажей, бильярдная, концертная зала, картинная галерея, благовоспитанные дочери и честолюбивые сыновья — словом, все великолепие, довольство и слава — удел богатых. Кто из нас не припоминает также, как мы познакомились с ним благодаря любезности нашего уважаемого друга Своллоуфлая, который был в ту пору чем-то вроде его полномочного посла. Кому из нас и поныне не слышатся алчные раскаты его голоса в тот миг, когда он сообщал нам, что наш новый друг «стоит пять-сот ты-сяч фунтов, сэр» (полно, да стоил ли он хоть одно пенни?). Мне нет нужды рассказывать о том, как мы обедали в его доме, где нам прислуживали все музы и грации, а возвращаясь, думали про себя, что, как бы там ни говорили, а богатство все же одно из самых желанных благ. Нет нужды мне вспоминать и о том, как Своллоуфлай всего через полгода после этого дня, встречаясь с кем-нибудь из нас, изумленно восклицал: «Неужели вы не слышали? Помилуй боже! Разорен... бежал на острова... псам на съедение!»

С другой стороны, изредка встречаются случаи, когда псы, казалось бы, проникаются жалостью к своей жертве или по какой-то необъяснимой причине теряют над ней

свою власть. У меня был кузен — он умер сейчас, и мне нет нужды скрывать его имя — его звали Том Флауэрс. Он был холост (к счастью), и среди различных способов, к которым он прибегал, стремясь увеличить свой доход и улучшить виды на будущее, можно упомянуть заключение пари на довольно крупные суммы. Он делал все, чего не следовало делать, и каждый раз с таким размахом, что у тех, кто его знал, не было ни малейших сомнений в том, что его не убережет от псов никакая сила в мире; что он гонится за ними со всех ног и стремится как можно скорей оказаться в самой гуще своры. Вот так-то! Мне кажется, он был уже так близко от них, как только возможно, и вдруг неожиданно замер, заглянул к ним прямо в пасть и после этого не сдвинулся с места ни на единый дюйм вплоть до самого дня своей смерти. Целых семнадцать лет прогуливался этот опрятный маленький старичок в нарядном шейном платке, белоснежной рубашке и с отменным зонтиком в руках, и к концу этого срока был отделен от кровожадных чудовищ точно таким же расстоянием, как в тот день, когда он остановился. Как он жил, для нас, его родственников, всегда оставалось тайной; я так и не смог выяснить, пожаловали ли ему псы хоть какие-нибудь крохи, и все же он обманул наши ожидания, лишив нас возможности напутствовать его заранее приготовленной эпитафией, с упоминанием собак, и нам пришлось довольствоваться простым сообщением, что бедняга Том Флауэрс скончался в возрасте шестидесяти семи лет.

Горько думать о несметных сокровищах, принадлежащих собакам. Во все земные предприятия вложено меньше богатств, чем досталось на съедение псам. Для их увеселения и назидания разыгрывается на подмостках жизни великолепная драма. Дни праздников, отведенные для того, чтобы человек мог дать отдых своим истомленным членам и хоть немного воспрянуть духом, тоже стали добычей псов. Немногое осталось людям, лишь дни поста и покаяния за слабоумие и невежество их правителей. Быть может, вскоре у них отнимут и это. Говоря откровенно и чистосердечно, я бы ничуть не удивился.

Вспомните о последних приобретениях, сделанных псами. Вспомните, друзья и соотечественники мои, как

обогатились они по милости нашего бесценного правительства — да пребудут во веки веков его уделом честь и слава, звезды и подвязки,— которое грабит вас сейчас на морских берегах, у безвестного места, именуемого Балаклавой *, где Британия столь восхитительно осуществляет свое владычество над морями, что каждым мановением своего трезубца умерщвляет тысячи детей своих, которые никогда, никогда, никогда не будут рабами, но очень, очень и очень часто остаются в дураках. И не забудьте прибавить к этим приобретениям целые колонки пустой болтовни, которые — в то время как колонны британских солдат тают на глазах — все так же утомительно дефилируют перед нами и все так же утомительно ни к чему не приводят, ничего не достигают, и даже в большинстве случаев не говорят ни о чем, а лишь окутывают нас туманом своей никчемности и мешают как следует разглядеть все то, что принимает не совсем приятные для нашего глаза формы. И если бы псы, которые, невзирая на недавно доставшуюся им обильную добычу, по-прежнему остаются прожорливыми и неуемными, смогли и пожелали почтить нас своим всемилостивейшим лаем, я нисколько не сомневаюсь, что их сообщение звучало бы так:

«Милорды и джентльмены. Мы ненасытны и нетерпеливы. Вам надлежит либо обеспечивать нас без промедления приличествующим провиантом, либо самолично предаться нам на съедение. Иного выбора у вас нет. Никакие слова не в силах были смягчить трехголового пса, который сторожил выход из царства теней; еще меньше такие уговоры способны умилостивить нас. Всякие веселые старые джентльмены, которые выделывают курбеты на ходулях по той причине, что их прабабушку недостаточно почитают в Ниневии, не помогут нам даже червячка заморить; никакие славословия, клики, сургучные печати, волокита, фокусы с глотанием огня, фокусы на выборах в парламент и прочие излюбленные политическими клубами зрелища не производят на нас ни малейшего впечатления. Имя нам Псы. Сейчас мы известны вам, как Псы Войны. Мы сгрудились у ваших ног в ожидании дела,— плебей по имени Уильям Шекспир видел некогда, как мы так же сгрудились у ног Гарри Пятого,—

и мы ждем не напрасно; восклицая «куси» на добром английском языке, вы натравливаете нас (совершенно случайно, разумеется) на добрых англичан. Наш аппетит разыгрался, мы голодны. Глаза наши зорки, нюх — остер, мы видим и чуем, что не за горами то время, когда нам достанется большая добыча. Согласны ли вы отдать нам тот хлам, который при любых обстоятельствах должен стать нашим? Торопитесь, милорды и джентльмены! Шутки в сторону. Псы ждут своей добычи. Будете ли сю вы сами или что-нибудь иное?»

10 марта 1855 г.

ЛИЦЕМЕРИЕ

Если бы в каком-нибудь крупном акционерном обществе — скажем, в железнодорожной компании,— должности директоров распределялись на основе того слепого предрассудка, что всякий человек, носящий фамилию Болтер, непременно должен быть хорошим дельцом, всякий человек по имени Джолтер — математиком, а любой человек, именующий себя Полтером,— должен со всей необходимостью в совершенстве знать устройство паровых двигателей локомотивов; и если бы эти невежественные директоры довели дела компании до того, что поезда никогда не отправлялись бы по расписанию, никогда бы не выходили со станций отправления и не прибывали бы к месту назначения, а вся энергия их двигателей расходовалась бы на ужасающие столкновения друг с другом; и если бы в результате деятельности таких горе-директоров были погублены тысячи человеческих жизней, растрачены впустую миллионы денег, а директоры настолько запутались сами и запутали все дела, что никто уже не был бы в состоянии в них разобраться,— что сказали бы пайщики этого акционерного общества этим бессовестным директорам, собравшим их среди произведенной ими полной разрухи и с елейной наглостью обратившимся к ним со следующей проповедью: «Жалкие грешники, смиритесь пред карающей рукой Провидения! Наденьте власяницы,

посыпьте главы ваши пеплом, поститесь и внемлите наставлениям нашим, с которыми мы по доброте нашей обращаемся к вам по поводу содеянного вами зла».

Или если бы пост м-ра Мэтью Маршалла в Английском банке занял бы Болтер, все банковские операции перешли бы в руки к Джолтеру, а выпуск банкнотов в качестве некой синекуры получил бы Полтер; и если бы эти джентльмены стали бы орудовать потихоньку, кто в лес, кто по дрова и довели бы денежное обращение страны до полного расстройства и расшатали бы ее кредитную и торговую систему до основания; как бы отнеслись ко всему этому Братья Беринг *, Ротшильды и вся Ломберд-стрит, если бы эти Болтеры, Джолтеры и Полтеры возопили: «Волей Провидения вы доведены до банкротства. Послушайте же, погибшие создания,— мы расскажем вам нравоучительную историю о крахе Английского банка».

Или если бы слуги одного богатого человека вздумали распределить домашние работы, как им заблагорассудится: горничная стала бы смотреть за псарней, скотница взгромоздилась бы на козлы, повар стал бы исполнять обязанности секретаря, конюх накрывал бы на стол, лесник бы убирал постели, садовник стал бы давать уроки музыки молодым леди, а дворник водил бы на прогулку детей; вряд ли бы богач, доведенный до полного разорения, утешился бы увещаниями, которые стала бы расточать ему его неразумная челядь: «Вы сами довели себя, сэр, до столь плачевного состояния. Разве что постом и смирением вы сможете избавиться от зла. Да, да, и при этом еще заплатите нам и кормите нас!»

Один джентльмен, весьма порядочный и весьма изысканно одетый, решил взять под свою опеку дикаря — не то человека, не то звероподобное существо. И вот они отправились вдвоем в путешествие.

Дикарь был совершенно невежественным, но вместе с тем явно стремился к знанию, а иногда у него даже бывали минуты просветления, и тогда он обнаруживал проблески здравого смысла и сообразительности. Он благоговел в душе перед творцом вселенной, окружавшей его своими чудесами. Нужно думать, что эти задатки были

заронены рукой более всемогущей и премудрой, чем рука весьма порядочного и весьма изысканно одетого джентльмена.

Надвигалась буря, и, чтобы спастись от нее, путники прибавили шагу. Дикарь сразу же начал хромать.

Дело в том, что весьма порядочный джентльмен заставил дикаря обуться в сапоги, которые ему были не по ноге, и дикарь сказал:

— Сапоги мне жмут!

— Ты ропщешь! — возразил весьма порядочный джентльмен.

— Что я делаю? — не понял дикарь.

— Ты ропщешь на Провидение! — пояснил весьма порядочный джентльмен.

Дикарь посмотрел вокруг себя на землю, взглянул на небо, потом на весьма порядочного джентльмена. Он был неприятно поражен, услышав из уст такого толкователя столь значительные слова, произнесенные с такой легкостью и по совершенно ничтожному поводу; но он промолчал и с трудом заковылял дальше. Так они шли очень долго, и дикарь проголодался.

По сторонам дороги в изобилии росли деревья со спелыми плодами. Дикарь попытался подпрыгнуть, чтобы сорвать их, но ему это не удалось.

— Я умираю с голоду,— пожаловался дикарь.

— Ты снова ропщешь,— сказал весьма порядочный джентльмен.

— Да нет же, я просто в наручниках,— сказал дикарь. Потому что перед тем как ему отправиться в путешествие, на него надели наручники.

Спутник и слышать не хотел никаких заявлений, ибо они, дескать, сделаны не по форме и потому лишены законной силы, и они продолжали свое утомительное странствие; дикарь так ничего и не достал, потому что он был в наручниках, а весьма порядочный джентльмен не мог ему помочь, потому что ему мешал корсет. Сам же он подкреплялся содержимым своих карманов.

Шли они шли и наконец увидели охваченный огнем дом, в котором оказался запертым брат дикаря; он не мог выйти из горящего дома и должен был сгореть заживо, потому что входная дверь была заперта еще семь лет тому

назад знакомым нам весьма порядочным джентльменом, который забрал ключ.

— Дай мне ключ! — взмолился дикарь.— И выпусти моего брата!

— Я рассчитывал, что ключ будет на месте еще позавчера,— невозмутимым тоном отвечал весьма порядочный джентльмен,— я послал его сюда с кораблем, но этот корабль изменил рейс и отправился в кругосветное плаванье, и теперь мы вряд ли что-нибудь услышим о нем.

— Это убийство! — закричал дикарь.

Но весьма порядочный джентльмен высокомерно оглядел дикаря с ног до головы, поражаясь его невежеству; а брат дикаря так и сгорел в запертом доме. Путники пошли дальше.

Наконец они пришли к великолепному дворцу на берегу реки. Из ворот дома в роскошном кабриолете, запряженном парой породистых лошадей, с двумя лакеями в малиновых ливреях на запятках, выехал джентльмен цветущей наружности.

— Боже мой! — воскликнул этот джентльмен, останавливая кучера и строго разглядывая дикаря.— Это еще что за страшилище?

Тогда весьма порядочный джентльмен объяснил ему, что его спутник — закоснелый грешник, прогневивший Провидение, чему он сам служит неопровержимым доказательством: он вечно ропщет, он охромел, руки его закованы в наручники, он умирает с голоду, его брат заживо сгорел в наглухо запертом доме, а ключ от дома странствует по белу свету.

— Так ты и есть Провидение? — еле слышно прошептал ослабевший дикарь.

— Придержи язык! — оборвал его весьма порядочный джентльмен.

— Так это ты? — снова спросил дикарь джентльмена из дворца.

Тот ничего не ответил; выйдя из кабриолета, он быстро и деловито накинул на дикаря смирительную рубашку и сказал весьма порядочному джентльмену: «Он должен искупить свои грехи постом».

— Я уже постился,— слабо запротестовал дикарь.

— Пусть постится еще,— сказал джентльмен из дворца.

— Я поневоле должен был поститься, потому что по разным причинам не мог получить работу и дошел до полной нищеты: вы знаете, что я не лгу,— сказал дикарь.

— Пусть потерпит еще,— сказал джентльмен из дворца.

— Работа мне нужна, как воздух,— простонал дикарь.

— Обойдешься и без воздуха,— ответил джентльмен из дворца.

И оба джентльмена поволокли дикаря, усадили его на жесткую скамью и монотонными голосами затянули, как заведенные, свои бесконечные наставления; они поучали его во всех делах на свете, кроме одного единственно нужного и касающегося его дела. Когда же они заметили, что после вспышки гнева, от которого его глаза налились кровью, дикарь перестал обращать на них внимание и вознесся мыслью к истинному Провидению; когда они увидели, что он, смущенный и приниженный, примирился с небом, повинуясь заложенному в нем самой природой стремлению приблизиться к нему, понять его и научиться не только переносить свою судьбу, но и облегчать ее,— они сказали: «Он слушает нас, теперь он в наших руках и не доставит нам больше никаких хлопот».

О чем на самом деле думал этот дикарь, чьи мысли были так ложно истолкованы и использованы,— нам поведает история, а не автор этой притчи, хоть сам он прекрасно понимает ее смысл. Достаточно с нас сегодня и того, что эта сказочка не может иметь никакого практического смысла (разве это возможно!) — в наш тысяча восемьсот пятьдесят пятый год.

24 марта 1855 г.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

То, что жизненность всякого истинного и действенного преобразования на пользу общества целиком зависит от последовательности людей, которые его проводят,— истина не новая. Как бы ни понимался смысл изречения «Врачу, исцелися сам»,— а по моим наблюдениям, этому совету мало кто следует,— совершенно ясно, что перевоспитание должно действительно начинаться с самого себя. Если бы я обладал легкими Геркулеса и красноречием Цицерона и употребил свои способности в самых ожесточенных диспутах, посвященных делу, которым я пренебрегаю в моей повседневной жизни каждый раз, как к тому представится случай (скажем, раз пятьдесят на дню), так уж лучше бы мне приберечь свои легкие и свое красноречие и ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в это дело.

В наше время господствует скромное убеждение, что руководство государственными делами не должно быть наследственной прерогативой какого-либо привилегированного класса и что система, не привлекающая на службу стране ее лучших и достойнейших сынов, страдает неким врожденным пороком. Нужно думать,— поскольку это не какая-нибудь новомодная выдумка,— что это убеждение в общем достаточно умеренное и разумное, что оно не может быть названо чрезмерно передовым ни для нашего,

ни для какого-либо другого времени и что оно не навлечет на нашу страну никакого небесного проклятия, могущего привести ее к катастрофе. И тем не менее для большей части нашего правящего класса это положение настолько ново и необычно, что, по нашему наблюдению, оно воспринимается как вещь совершенно непостижимая и невероятная. И вот я совершенно серьезно задаю себе вопрос: чья же это вина? Я пришел к заключению, что повинно во всем этом чрезмерное культивирование родословного древа — ветвистого, разросшегося в Англии до непомерной высоты и покрывшего своей зловещей тенью всю страну.

Мое имя Коббс. Почему же я, Коббс, так люблю восседать, словно почтенный патриарх, в тени моего родословного древа?! Какое мне до него дело? Какая мне от него польза, почему оно может мне внушить чувство самоуважения, в чем заключается для меня его притягательная сила? Почему, чтобы принять приглашение на банкет, я должен быть уверен, что моими сотрапезниками будут лорды? Почему для того, чтобы поставить свое имя на подписном листе, мне необходимо, чтобы на нем красовались имена пятидесяти баронов, маркизов, виконтов, герцогов и баронетов, написанные более крупными и размашистыми буквами, чем имена простых смертных? Если я не хочу постоянно украшать себя ветвями родословного древа, если это не я, Коббс, а мой друг Доббс вечно носит в петлице такую бутоньерку,— почему бы мне преспокойно и добровольно не отказаться от этого? Да потому, что я хочу всегда восседать у подножия родословного древа, под сенью его ветвей.

Возьмем Доббса. Доббс образованный, серьезный человек, строгих и твердых правил; человек, который был бы глубоко огорчен, если бы я усомнился в том, что он сторонник реформы в лучшем смысле этого слова. Когда Доббс говорит со мной о палате общин (и выпаливает при этом в меня, как из револьвера, который он всегда носит заряженным и со взведенным курком,— градом служебных новостей), почему он должен непременно пользоваться парламентским жаргоном, который ему пристал не больше, чем какой-нибудь диалект Центральной Африки? Почему, говоря о мистере Фицмайли, он должен

называть его «Фици», а упоминая лорда Гамбарууна, именовать его «Гамом?» Каким образом он всегда узнает о проектах кабинета министров за полтора месяца до того, как они становятся достоянием гласности, а то и настолько заблаговременно, что я, пожалуй, успею умереть, прежде чем появится малейший намек на существование такого проекта? Доббс, как человек передовой, прекрасно понимает, что люди различаются по своей склонности к той или иной деятельности, по своим талантам и достоинствам и ни по каким другим признакам. Да, да, в этом я уверен. А вместе с тем я видел, как Доббс самым унизительным образом из кожи лез вон на Королевской академической выставке, чтобы обратить на себя внимание какого-то аристократа. Я стоял рядом с Доббсом перед картиной, когда в зал вошел некий маркиз, и я тотчас же догадался о появлении этого маркиза, даже не поднимая глаз и не поворачивая головы, единственно благодаря аффектированной манере, с которой Доббс стал высказывать свои замечания о картине. А потом, по мере приближения к нам маркиза, Доббс продолжал разговаривать со мной, как с пустым местом, ибо все его замечания предназначались уже для маркиза, пока наконец маркиз не воскликнул: «А, Доббс!» — и Доббс, выражая предельную почтительность каждой морщинкой лица, повел этого родовитого аристократа по выставке, чтобы высказать ему свои суждения о некоторых живописных деталях картин. Ну да, Доббс был, конечно, пристыжен и смущен всем своим поведением; голос, лицо и манеры Доббса, упрямо и независимо от воли своего хозяина, обнаруживали его чувство неловкости; даже по выражению спины Доббса, провожавшего благородного маркиза из зала, я понял, что ему известно, как он мне смешон и как он этого заслуживает; и все-таки Доббс ни за что на свете не смог бы воспротивиться чарам родословного древа и выйти из его тени на вольный воздух.

Как-то, идя по Пикадили от Гайд-Парк Корнер, я столкнулся с Гоббсом. У Гоббса два родственника бесславно погибли от голода и холода под Севастополем, а один из родственников был по ошибке убит в лазарете в Скутари *. Сам Гоббс имел несчастье изобрести какой-то в высшей степени важный механизм для оборудования

доков; это изобретение заставило его безотлучно просиживать все время в приемных различных государственных учреждений, а месяц тому назад подобное же изобретение было кем-то сделано во Франции и тотчас же пущено в ход. В тот день, что я встретил Гоббса, он шел с заседания комитета мистера Рэбака *. Он кипел от возмущения после всего, что ему пришлось услышать: «Мы должны разрубить наконец этот гордиев узел и положить конец бюрократической волоките,— сказал Гоббс.— Если разобраться, то не было еще на земле народа, которым бы так помыкали, как в наши дни англичанами, и ни одна страна еще не была доведена до такого положения. Это невыносимо! (Лорд Джодль!)» Слова в скобках относились к проехавшему экипажу, в сторону которого повернулся Гоббс, с величайшим интересом провожая его глазами. «Система,— продолжал он,— должна быть в корне преобразована. Мы должны иметь надлежащего человека на надлежащем месте (герцог Тваддльтонский верхом!), и высшие должности должны предоставляться только по способностям, а не по семейным связям (зять епископа Горхэмберийского!). Мы не можем больше доверять пустым фетишам. (Здравствуйте, леди Колдвилл! — пожалуй, слишком накрашена, но для своих лет еще весьма привлекательная дама!) И мы должны, я имею в виду всю нацию, избавиться от разложившейся прогнившей аристократии и нашего преклонения перед знатью. (Благодарю вас, лорд Эдвард, я чувствую себя прекрасно. Чрезвычайно рад, что имею честь и удовольствие видеть вас. Я надеюсь, что леди Эдвард в добром здравии. Не сомневаюсь, что все превосходно!)» — Закрыв последнюю скобку, он остановился, чтобы пожать руку тщедушному старому джентльмену в льняном паричке; Гоббс всячески старался поймать взгляд этого старичка, а когда мы отошли, он был в таком восторженном и приподнятом состоянии после этой встречи, что показался мне на некоторое время даже выше ростом. Таков Гоббс, который (как я знаю) страшно беден, Гоббс, преждевременно поседевший у меня на глазах, Гоббс, чья жизнь — какой-то непробудный кошмар; Гоббс, который душой и телом облечен в вечный траур,— и все это по поводу вопросов, с которыми запросто расправились бы полдюжины лавочников,

на выборку взятых по Лондонскому списку и посаженных на Даунинг-стрит. Поведение Гоббса заставило меня так глубоко задуматься, что я пропустил мимо ушей всю последующую часть беседы, пока мы не подошли к Берлингтон-Хаусу. «Небольшой набросок, выполненный ребенком,— говорил он,— а за него уже предлагают двести пятьдесят фунтов! Разве это не великолепно! Просто восхитительно! Не хотите ли зайти? Давайте зайдем!» Я отказался, и Гоббс пошел на выставку без меня: он затерялся как капля в огромном потоке посетителей. Проходя мимо двора, я заглянул в него, и мне показалось, что перед моими глазами промелькнул поразительно пышный образец родословного древа в полном цвету.

Возьмем моего друга Ноббса. О нем никто не скажет дурного слова; он производит впечатление человека, уверенного в себе и обладающего тем спокойным мужественным достоинством, которое не позволяет человеку ни слишком выпячиваться, ни присваивать себе отблеск чужого сияния. И вместе с тем я с полной ответственностью смею утверждать, что Ноббс ни душевно, ни физически не может спокойно усидеть за столом, если при нем упоминается титулованное лицо, которое он знает, чтобы тотчас же не заявить о своем знакомстве с ним. Я наблюдал Ноббса в подобных положениях тысячи раз, и всякий раз он терял душевное равновесие. Я видел, как это его мучило, как он боролся с самим собой, пытаясь освободиться от обаяния родословного древа, и как он убеждал себя так же искренне, как если бы он говорил вслух: «Ноббс, Ноббс, ведь это же низость, и какое дело присутствующим до того, знакомы ли вы с этим человеком или нет?» И все-таки он не мог удержаться и не сказать: «Ах, лорд Дэш Блэнк? Ну да! Я отлично его знаю; мне ли не знать его? Я знаю Дэш Блэнка — позвольте,— я и впрямь даже припомнить не могу, с каких пор я знаком с Дэш Блэнком. Уж никак не меньше десятка лет. Прекрасный малый, этот Дэш Блэнк!» И так же, как и мой друг Гоббс, после таких слов Ноббс становился вроде как выше ростом. Я могу с уверенностью сказать о Ноббсе, как я уже говорил о Доббсе, что, если бы меня ввели с завязанными глазами в комнату, наполненную людьми, среди которых находился бы Ноббс,— по его манере говорить — чтобы не

сказать — по его манере дышать, я тотчас же догадался бы о присутствии в комнате титулованной особы. В самом древнем Египте, в дни процветания магии, не нашлось бы такого мага, которому удалось бы во мгновение ока преобразить Ноббса так, как преображает его присутствие отпрыска рода, вписанного в родословную книгу пэров.

Не лучше их и Поббс, хотя и в другом роде. Поббс делает вид, что презирает все эти различия. Он говорит о своих титулованных знакомых с легкой иронией, называя их «франтами». Смотря по настроению, он будет утверждать, либо что эти «франты» — лучшие люди на свете, либо что они ему в тягость и надоели. Но вместе с тем, уверяю вас, что Поббс умрет с горя, если титулованные франты перестанут приглашать его на обеды. Что он предпочтет обменяться в парке приветствием с полоумной, впавшей в детство вдовой какого-нибудь герцога, чем породниться со вторым Шекспиром. Что он скорее согласится на то, чтобы его сестра, мисс Поббс (он искренне к ней привязан, он самый нежный брат на свете), допустила бы вольность со стороны «франта», чем нашла бы счастье в беспредельном мраке нетитулованного люда и вышла бы замуж за какого-нибудь доброго малого, который не имел бы ничего общего со всеми этими титулованными франтами и попросту послал бы их ко всем чертям. А при этом — Поббс, Поббс! — если бы вы хоть раз могли услышать из уст ваших герцогинь, при случайном упоминании о мисс Поббс, великолепное снисходительное — «Ах, это милейшая особа!»

Мне нечего добавить о Роббсе, Соббсе, Тоббсе и так далее вплоть до Хоббса, которые не стыдятся и не скрывают своего подобострастия, которые в священном трепете пресмыкаются на брюхе и жуют и пережевывают титулы, как самые изысканные лакомства. Я ничего не говорю о мэрах и подобных им людях; простираться в благоговении ниц и требовать в ответ такого же благоговения — входит в функции таких людей, и они поистине получают свою награду. Я ничего не говорю о бедных графских родственниках, о провинциальных соседях, о длинных списках управляющих и дам-благотворительниц, о предвыборных кампаниях, о рысистых испытаниях, о выставках цветов, о кодексе визитов, о всех тех

формах, которые способствуют разрастанию родословного древа в больших городах и сельских местностях. Не этим хотел бы я закончить; я хотел бы в заключение сказать следующее:

Если в периоды кризисов в истории страны, которую мы все любим, мы — большинство народа, воплощающее ее дух умеренности и здравого смысла, оказываемся совершенно непонятыми классом людей, несомненно высоко интеллектуальных и представляющих собой как личную, так и общественную ценность; если эти люди никакими способами не в состоянии постичь наше желание видеть отныне во главе страны правительство, а не склоняться перед покровительством или попустительством; если же они, догадываясь об этом нашем требовании, воображают, что могут разделаться с нами, заламывая перед нами котелки (таков смысл официальной политики, проводимой и одобряемой по отношению к нам во всех случаях жизни нашим премьером),— то во всем этом виноваты мы сами. А если вина наша, то и выход должны найти мы сами. Эти люди не видят нас такими, каковы мы на самом деле, и у нас нет никаких прав ни удивляться, ни жаловаться, если они принимают нас за то, чем мы с таким усердием стараемся им казаться. Поэтому пусть каждый из нас подойдет с собственным топором к собственному суку родословного древа. Пусть основное преобразование он начнет осуществлять с самого себя; и пусть он не беспокоится, что этим все и ограничится. Не нужно никаких откровений свыше, чтобы признать неизбежность известного неравенства людей. Все ступени, которые в данный момент насчитывает социальная лестница, останутся неприкосновенными, даже если и срубить родословное древо. Мало того: каждая ступень этой лестницы сохранит еще в большей силе и целости все подобающие ей прерогативы, ибо родословное древо поражено гнилью, и, свалив его, мы только предотвратим заражение этой гнилью каждой ступени лестницы.

26 мая 1855 г.

ГРОШОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Если автор этой статьи сообщит, что он уволился с правительственной службы и вышел на пенсию, после того как аккуратно в течение сорока лет уплачивал взносы в фонд обеспечения старости, то он может рассчитывать, что тем самым он снимет с себя подозрение в пристрастности из-за того, что сам он был когда-то правительственным клерком.

Говоря короче и переходя наконец к первому лицу — ибо я чувствую необходимость обратиться к этой форме повествования ввиду трудности выдержать форму третьего лица,— я прошу принять к сведению, что я больше не имею никакого отношения к Сомерсет-Хаусу. Я — свидетель совершенно непредубежденный и со всей честностью хочу изложить свои наблюдения.

О моей собственной служебной карьере клерка рассказывать долго не приходится. Я поступил на службу восемнадцати лет (мой отец тогда только что, недолго думая, проголосовал за Гробуса, который сразу же после своего избрания под более официальным наименованием «достопочтенного сэра Гилпина Гробуса Гробуса, баронета, высокочтимого члена Тайного совета его величества отправился в своем недосягаемом величии в весьма удаленные сферы) и начал с девяноста фунтов в год. Я делал все, что обычно делают клерки. Переводил как можно больше

писчей бумаги. Снабжал всех своих младших братьев казенными перочинными ножами. Лепил фигурки из сургуча (отчаявшись как-либо иначе извести то количество этого материала, которое полагалось расходовать на печати) и переписывал несметное число музыкальных пьес для флейты в объемистую книгу в веленевом переплете с якорем на обложке (книга предназначалась для ведения дел Королевского флота); на каждом листе этой книги красовался водяной знак, изображавший овал, в котором восседала Британия с ветвью в руке. Я всегда завтракал на службе, если досиживал в присутствии до этого времени, то есть до двух часов пополудни, и тратил в среднем на завтрак около шестидесяти фунтов в год. Мое платье обходилось мне (или еще кому-то, по прошествии стольких лет я, по правде сказать, не могу с точностью припомнить, кому именно) еще примерно в сто фунтов; остаток моего жалованья я тратил на развлечения.

Когда я работал младшим клерком, у нас в канцелярии служили обыкновенные младшие клерки. У нас был молодой О'Килламоллибор, племянник члена парламента и сын богатого ирландского помещика, который убил другого богатого ирландского помещика на знаменитой дуэли, возникшей по поводу знаменитой ссоры на знаменитом вечере из-за танца со знаменитой красавицей,— со всеми деталями этого происшествия человечество было в свое время ознакомлено. О'Килламоллибор утверждал, что он обучался во всех храмах науки империи, и надо полагать,— так оно и было; однако это испытание, если судить с точки зрения орфографии, не привело к успехам, которых следовало ожидать. Кроме того, он считал себя выдающимся художником и подделывал фабричные марки на обороте собственных рисунков с таким искусством, что они казались купленными в лавке. Затем у нас был юный Персифаль Фитцледжионайт, из семьи известных Фитцледжионайтов, который, как он говорил, получал у нас в конторе раз в три месяца «карманные деньги» только ради того, чтобы иметь хоть какое-нибудь дело (кстати сказать, он никогда ничего не делал); зато он бывал на всех званых вечерах, отчеты о которых публиковались на следующий день в утренних газетах, и занимался в конторе главным образом откупориванием бутылок с содовой водой.

Была у нас еще одна высокая особа и украшение нашей канцелярии — Мелтонбери, который, служа в аристократическом полку, проигрался в пух и прах и заставил раскошелиться свою матушку, старую леди Мелтонбери при условии, что он поступит в нашу контору и будет играть только в хоккей угольками. Еще у нас был Скрайвенс (только что достигший совершеннолетия), который одевался у «Принца Регента»; и у нас был Бэйбер, который представлял в нашем департаменте ипподром и был букмекером; он носил галстук в крапинку и сапоги с отворотами. И, наконец, у нас еще был сверхштатный клерк, за пять шиллингов в день, у которого было трое детей; он выполнял всю работу, и его презирали даже рассыльные.

Что касается нашего времяпрепровождения, то мы простаивали перед камином, до потери сознания поджаривая спины; читали газеты; а в теплую погоду выжимали лимоны и пили лимонад. Мы без конца зевали, и без конца звонили в колокольчик, и без конца болтали и бездельничали, и часто надолго отлучались из конторы и очень редко возвращались назад. Мы то и дело рассуждали о том, что сидим в конторе на положении рабов, что на наше жалованье и хлеба с сыром не купишь, что публика нами помыкает, и мы вымещали все наши обиды на клиентах, заставляя их подолгу дожидаться и давая им непонятные односложные ответы, когда им случалось заходить в наше присутствие. Я всегда несказанно удивлялся тому, что никто из посетителей ни разу не схватил меня за шиворот и не вышвырнул за дверь через перила с высоты трех этажей.

И вот само время, смилостивившись надо мной, без каких бы то ни было усилий с моей стороны, вытолкнуло меня из младших клерков в более высокий разряд. Я делался скромнее по мере того, как становился старше (что свойственно большинству людей) и достаточно добросовестно справлялся с возложенными на меня обязанностями. Для этого не требовалось умственных способностей верховного судьи или лорда-канцлера, и я беру на себя смелость сказать, что, в общем, я неплохо выполнял свою работу. Сейчас довольно много шумят о том, что кандидатов на должность клерков следует подвергать предварительным испытаниям, как если бы они претендовали на высокие ученые степени. Сам я думаю, что ни верховных

судей, ни лордов-канцлеров за двадцать два фунта девять шиллингов в квартал, даже с видами дослужиться до пятисот — шестисот фунтов в год ко времени полного расцвета дарований,— все равно не получишь. Но если я и ошибаюсь, вряд ли способности их смогли бы в достаточной мере проявиться среди рутины присутственных мест.

Эти соображения и приводят меня к тем выводам из моего служебного опыта, которыми бы я хотел поделиться. В свое время я был в нашем департаменте свидетелем поразительного множества попыток преобразовать административный аппарат, но все эти преобразования начинались, на мой взгляд, всегда не с того конца: они никогда не шли дальше смещения маленьких людей, подчеркивая общественную пользу какого-нибудь члена парламента с окладом в две тысячи фунтов в год за счет ничтожного мелкого чиновника с двумя стами фунтов в год. Приведу несколько примеров.

Глава нашего департамента назначался и выбывал в отставку с каждой сменой кабинета. Этот пост среди любителей синекур почитался тепленьким местечком. Вскоре после моего назначения на должность заведующего нашей канцелярией произошла смена кабинета, и наш департамент возглавил лорд Стампингтон. В один прекрасный день он пожелал ознакомиться с делами департамента, и мне было предложено приготовиться к его встрече. Лорд Стампингтон оказался необычайно любезным аристократом, с весьма непринужденными манерами (он только что крупно проигрался на скачках, иначе он не снизошел бы ни до какого государственного поста); его сопровождал племянник — почтенный Чарльз Рэндом, которого он назначил своим личным секретарем.

«Если не ошибаюсь, мистер Тэйпенхэм?» — сказал его сиятельство, стоя перед камином и заложив руки за фалды. Я поклонился и повторил: «Мистер Тэйпенхэм».— «Итак, мистер Тэйпенхэм,— продолжал лорд Стампингтон,— как идут дела в департаменте?» — «Полагаю, что все благополучно».— «В котором часу ваши молодцы являются на службу?» — спросил его сиятельство. «В половине одиннадцатого, ваше сиятельство».— «Быть не может! — воскликнул лорд Стампингтон.— Неужели же и вы приходите в половине одиннадцатого?» — «Да, ваше сиятель-

ство, в половине одиннадцатого.» — «Странно! Как вы можете? — воскликнул лорд Стампингтон.— Просто непостижимо! Ну так вот, мистер Тэйпенхэм, нам нужно что-то предпринять, иначе оппозиция нас подковырнет и нам несдобровать. Что же мы можем сделать? Чем вообще занимаются ваши ребята? Что они там, считают или пишут что-нибудь? В чем состоит их работа?» Я изложил его сиятельству основные функции нашего департамента, что, по-видимому, его чрезвычайно потрясло. «Черт возьми! — сказал лорд Стампингтон, повернувшись к своему личному секретарю.— Судя по словам мистера Тэйпенхэма, это должно быть невообразимо скучно, Чарли. И тем не менее мы должны что-то предпринять, мистер Тэйпенхэм, иначе эти молодчики обрушатся на нас, и мы слетим. Может быть, в департаменте имеется какой-нибудь разряд служащих (вы как раз только что упомянули о разрядах), который мы могли бы несколько сократить? Или, может быть, лучше снизить кое-какие оклады, или уволить кое-кого на пенсию, или что-нибудь с чем-нибудь слить и таким путем добиться некоторой экономии?» Я посмотрел на него с сомнением и замешательством. «Я догадался наконец, что мы можем сделать, мистер Тэйпенхэм, уж во всяком случае,— воскликнул лорд Стампингтон, просияв от счастливой мысли.— Мы предложим вашим молодцам приходить в присутствие ровно в десять часов. Чарли, придется и вам вставать ни свет ни заря и приходить в десять. И потом давайте запишем, что в дальнейшем наши молодцы должны иметь кое-какие знания,— ну, скажем, они должны овладеть французским, а Чарли? и в совершенстве знать арифметику — тройное правило, правило исчисления утечки и утруски,— а Чарли? — десятичные дроби или там что-нибудь в этом роде. Мистер Тэйпенхэм, если вы будете настолько добры поддерживать связь с мистером Рэндомом, вас вдвоем может быть осенит какая-нибудь блестящая идея относительно сокращения сметы. Чарли, я уверен, что вы найдете в мистере Тэйпенхэме самого неоценимого сотрудника, и я не сомневаюсь, что, имея такого помощника, мы при его содействии и при условии, что служащие будут являться на работу ровно в десять, мы сможем создать образцовый департамент, ну и вообще там... это самое... повысим действенность госу-

дарственного аппарата». С этими словами его сиятельство, обладавший весьма непринужденными и чарующими манерами, засмеялся, пожал мне руку и сказал, что не хочет больше меня задерживать.

Кабинет продержался два или три года, а потом к нам назначили сэра Джаспера Джануса *, пользовавшегося в парламенте репутацией необычайно делового человека благодаря поразительному апломбу, с которым он пускался в объяснения подробностей дела, в котором ничего не смыслил, аудитории, смыслившей не больше его самого. Сэр Джаспер и прежде не раз уже занимал высокие государственные посты и прославился своей способностью действовать напролом, когда дело касалось его собственной выгоды. В нашем департаменте он появился впервые, и я представился ему со страхом и трепетом. «Мистер Тэйпенхэм,— сказал сэр Джаспер,— если ваш доклад готов, я хотел бы пробежать его вместе с вами по всем пунктам. Я думаю сначала ознакомиться со всей работой департамента в целом, а затем обсудить меры к упорядочению его функций». Это было произнесено с официальной важностью и торжественностью, и я приступил к своему докладу; сэр Джаспер откинулся на спинку кресла и задрал ноги на решетку камина, делая вид, что внимательно меня слушает; на самом же деле (как мне казалось) он не обращал на меня ровно никакого внимания. «Прекрасно, мистер Тэйпенхэм,— заметил он, когда я кончил.— Итак, я понял из вашего изложения (при этом я-то великолепно знал, что все сведения о нашем департаменте он извлек из адрес-календаря перед самым приходом к нам),— что в вашем департаменте служат сорок восемь клерков четырех разрядов — A, B, C, D. Мы должны упорядочить работу департамента путем сокращения числа клерков с сорока семи до тридцати четырех,— другими словами, путем изъятия тринадцати младших клерков посредством слияния двух разрядов в один и перевода из четвертого разряда в высшие, а также при помощи создания совершенно новой системы контроля над поставками кораблям Королевского флота в морских портах фор-марса-реев и канифас-блоков посредством двойной бухгалтерии и контрассигновок. Будьте так любезны, мистер Тэйпенхэм, представить мне проект рекомендуемых вами мер рационали-

зации и упорядочения работы департамента послезавтра, так как я намереваюсь изложить предлагаемое мною преобразование на ближайшем заседании парламентской комиссии по «Разным Вопросам».— И вот мне пришлось сочинять совершенно неосуществимый план ради того только, чтобы сэру Джасперу было чем заниматься в период его пребывания у власти (а я превосходно понимал, что только это ему и требовалось) и чтобы по поводу этого проекта он мог произнести речь, которая упрочила бы положение кабинета, если бы только в мире существовала сила, способная сдвинуть с места бюрократическую махину. Я-то в глубине души был твердо уверен, что в любом вопросе, касающемся нашего департамента, он был так же далек от действительности, как и любой другой, не посвященный в дело смертный; и вместе с тем он разглагольствовал о том, чего не знал, с таким видом, что когда я сидел в палате и слушал его речь, я усомнился в собственной осведомленности. Я наблюдал бурный восторг трех адмиралов, когда дело дошло до поставок фор-марса-реев и канифас-блоков. И хотя суть этой части проекта сводилась к тому, что, пока его не отменят, ни один корабль не получит упомянутых снастей, как бы ни была остра в них нужда, из-за департаментской волокиты это рационализаторское предложение оказалось столь выигрышным козырем в руках сэра Джаспера, что уже через каких-нибудь две недели после перехода власти к оппозиции, он заявил о своем намерении сделать в парламенте запрос тому, кто сменил его на видном посту главы нашего департамента: «А что правительство ее величества предприняло для осуществления системы контроля над поставками фор-марса-реев и канифас-блоков посредством двойной бухгалтерии и контрассигновок?» — и вызвал бурю аплодисментов.

Следующим выдающимся преобразователем нашего департамента был достопочтенный мистер Гриттс, депутат от Сордаста. Мистер Гриттс внес в управление нашим департаментом свой собственный принцип, и этот принцип сводился к тому, что ни один человек, занимающий должность клерка, не должен получать больше сотни фунтов в год. Мистер Гриттс считал, что более высокий оклад принес бы человеку один вред; что ему и не нужно большего

жалованья; ибо он не является производителем — потому что он ничего не добывает; и вместе с тем он и не фабрикант — потому что он не перерабатывает никакого сырья; а в экономике-де существует непреложный закон, не допускающий, чтобы заработок человека, который ничего не добывает и ничего не перерабатывает, превышал сто фунтов в год. Мистер Гриттс завоевал репутацию необычайно мудрого деятеля исключительно благодаря открытию этого принципа. Мне кажется, не будет преувеличением сказать, что он сжил со свету двух канцлеров Казначейства, денно и нощно донимая их своей теорией. Надо признать, что за сорок лет службы я навидался всяческого шарлатанства, но такого второго шарлатана, как мистер Гриттс, я в нашем департаменте не видывал. Он привел с собою в качестве личного секретаря своего бывшего бухгалтера, и я совершенно убежден, что с самого же начала он прикарманивал себе половину жалованья этого несчастного, внушив ему, что остающуюся половину жалованья он должен рассматривать как личное благодеяние своего патрона. Из всех людей, которых мистер Гриттс принимал на службу, из всех его многочисленных унылых и худосочных ставленников, я думаю, не было ни одного, кто был бы принят не из корыстных соображений. У нас увольняли клерков, чтобы освободить местечко для его зятя, у нас осуществлялась рационализация, чтобы очистить вакансию для его кузена, у нас происходило слияние ради увеличения его собственного оклада, у нас каждый день на алтарь служения родине приносились в жертву клерки, но я ни разу не слышал, чтобы благо родины потребовало бы принесения в жертву этакого Гриттса. Прибавьте к этому, что характернейшей чертой деятельности нашего департамента стала полнейшая беспринципность; мы создавали себе врага из каждого человека, имевшего с нами дело; мы затягивали все дела, мы торговались и изворачивались; мы прибеднялись, мы всех подозревали, на всех клеветали и шагу не делали без соответствующей мзды. Таково достоверное изображение деятельности Гриттса. Совершенно естественно, что очень скоро мы снова перешли под начало лорда Стампингтона, а потом нас снова возглавил сэр Джаспер; и так мы без конца проходили через все стадии преобразований от Стампингтона до Джаспера,

и каждый из них заново переделывал все сделанное предшественником.

Я совершенно беспристрастен в своих показаниях, и моя единственная цель — предостеречь публику. Нельзя ждать добра ни от каких высокопринципиальных преобразований, вся принципиальность которых обращена лишь на младших клерков. Такие преобразования порождены самым грошовым и самым лицемерным патриотизмом в мире. Наша государственная система поставлена вверх ногами, корнями к небу. Начните с них, а тогда и мелкие веточки скоро сами собой придут в порядок.

9 июня 1855 г.

БОЛЬШОЙ РЕБЕНОК

Не приходило ли кому-либо из наших читателей в голову, что нельзя считать удовлетворительным такое состояние общества, при котором в году одна тысяча восемьсот пятьдесят пятом возможна Комиссия народных представителей, публично и торжественно обсуждающая, следует ли предоставить народу право во дни воскресного отдыха посещать свои скромные трактиры и чайные? Не чудится ли тем, к кому мы здесь обращаемся и кто даст себе труд поразмыслить минуту над поставленным нами вопросом, не чудится ли им нечто чудовищное и унизительное в самом существовании комиссии, занимающейся подобным расследованием — в нашей стране, в наше время?

Что касается нас, мы можем ответить не раздумывая. Этот всенародный позор вызывает у нас стыд и возмущение.

Все это было бы просто смешно, если бы в этом не было клеветы на изнуренный работой, задавленный налогами и тем не менее добродушнейший и терпеливейший народ. Давно пора понять, что он заслужил лучшего с собой обращения. В разгаре лета вдруг собирается комиссия, которая самым серьезным образом начинает допытываться, можно ли смотреть на английский народ иначе, как на шайку пьяниц и нарушителей общественного порядка,

состоящих на учете в полиции? Лорды и джентльмены, лорды и джентльмены! Неужели затем лишь приблизились мы настолько к Утопии — после долгих странствий по темным и кровавым дорогам английской истории,— чтобы заниматься такими пустяками? Неужто нет ничего иного — дома, либо за морями, видимого простым глазом, либо сокрытого от взоров — ничего такого, что указывало бы нам на другие, более благородные цели?

Существует два института, замечательных как своим невежеством в отношении всего, что касается народа, так и своим постоянным вмешательством в его дела. Первый институт — это палата общин, второй — маньяки. Члены парламента и маньяки совместными усилиями изводят столь возлюбленный ими народ, не давая ему поднять голос в свою защиту. Всякий, кто обладает здравым смыслом, умеет войти в положение другого и наделен самой обыкновенной наблюдательностью (члены парламента и маньяки, разумеется, исключаются), вероятно, уже несколько месяцев назад понял совершенную нелепость того, чтобы народ согласился терпеть лишения и неудобства, которыми ему грозят воскресные ограничения, введенные в последнее время. Сколько раз мы, пишущие эти строки, предупреждали десятки членов парламента и маньяков, сколько раз предупреждали их и другие, о том, что мера, которую они в своем дремучем невежестве одобрили, никуда не годится! Члены парламента и маньяки не верили нашим предостережениям или не внимали им. Чем это все кончилось, мы знаем и расхлебываем по сей день.

Положим, маньяки на то и маньяки, чтобы взбираться на кафедры и под влиянием своей единственной, кособокой мании коситься на публику и молоть вздор. Но члены-то парламента о чем думают — почему они танцуют под дудку маньяков? В самом деле — почему? Не потому ли, что для них народ — понятие отвлеченное: Большой Ребёнок, на которого надо хмуриться во время съезда мировых судей, которого следует тетешкать и трепать по щечке во время выборов, по воскресеньям ставить в угол, в праздники выносить на улицу, чтобы он мог поглазеть на карету, в которой везут королеву, а остальное время — от понедельника до субботы — держать, так сказать, под

розгой, как школьника? Не потому ли, что народ представляется им непременно этаким младенцем с большой головой, которого надо то приласкать, то пожурить, то побаюкать, то припугнуть «букой», то поцеловать, то выпороть, а главное — не выпускать из пеленок, чтобы сам он ножками никуда, ни-ни! Не потому ли, а? Осмелимся ответить на этот вопрос утвердительно.

Неужели члены парламента и маньяки полагают, что это поняли мы одни? Неужели они могут хотя бы на мгновение усомниться в том, будто предмет их капризных ласк и немилостей не видит, что из него делают большого ребенка, что он не возмущается этим, и что он не начнет наконец брыкаться, не встанет на ноги, не натворит бед?

В самый первый месяц существования этого журнала мы указали на целый отряд маньяков, именуемых тюремными священниками, которые овладели тюрьмами и откровеннейшим образом награждали порок, поощряли лицемерие и ставили отчаянных головорезов в пример. Маньяки делали что хотели, а члены парламента их поддерживали; теперь же любимчики этих маньяков укрепляют свою армию с помощью самых отпетых преступников. Считается, что на Большого Ребенка, в целях просвещения коего мы и печатаем настоящую статью, реальные факты решительно никакого влияния не имеют, ибо он пребывает в полнейшем невежестве относительно их. И вот, в Вестминстере каждый вечер Достопочтенный Джентльмен, представитель от такого-то округа, и просто Почтенный Джентльмен, представитель от другого округа, схватываются друг с другом к безграничному восторгу своих сторонников, взирающих на эту арену петушиных боев. После этого премьер-министр, излив для начала все личные обиды, какие накипели на его благородном сердце, переходит к шуткам и остротам, припасенным на этот день, и, так ничего и не сказав, а сделав и того меньше, заключает стереотипным, предназначенным главным образом для ушей Большого Ребенка, призывом к энергичному ведению войны и справедливому и почетному миру. Предполагается, что младенец слышит сии слова впервые, и не умиляться им было бы столь же неприлично, как не знать катехизиса. Засим представитель Такого-то округа и

представитель Другого округа, Благородный Лорд и прочие члены почтенной палаты расходятся по домам и ложатся спать в искреннем убеждении, что своими словами они убаюкали Большого Ребенка!

Рассмотрим теперь, как обращаются с нашим несчастным младенцем на этом следствии, посвященном его воскресному питью и ядению, следствии, похожем по своей бессмыслице на детский стишок, а по логике напоминающем Бедлам.

Идет суд над Большим Ребенком. В коридоре громко скрипнули сапоги. Силы небесные, это ведь шествует официальное лицо! Вот свидетель так свидетель! Мистер Гемп, вы как будто в течение известного количества лет состояли в няньках при Большом Ребенке? — Состоял.— Вы имели возможность досконально изучить его нравы? — Имел.— В качестве судьи в полицейском суде? — Да, в качестве судьи в полицейском суде. (Движение в зале.) — Скажите, мистер Гемп, считаете ли вы допустимым, чтобы работник, приказчик, клерк и тому подобное, ездил по воскресеньям в Хэмпстед или в Хэмптон Корт со всей своей семьей, посещал вместе с ней трактиры, где посетителям дают пиво и джин с водой? — Такое положение вещей я считаю совершенно недопустимым.— Разъясните, пожалуйста, суду, на чем вы основываете свое мнение, мистер Гемп? — Извольте. Я основываю свое мнение на многолетнем знакомстве с полицейским участком, где мне пришлось быть свидетелем множества случаев пьянства. Подавляющее число жалоб, поступающих в наш полицейский участок, составляют жалобы на людей, принадлежащих к низшему сословию, которые, находясь в состоянии опьянения, перестают отвечать за свои поступки.— Не можете ли вы привести какой-нибудь случай, мистер Гемп? — Я могу указать на пример Слоггинса.— Вы имеете в виду человека со сломанным носом и синяком под глазом, который ходит с бульдогом? — Точно так.— И часто к вам поступают жалобы на мистера Слоггинса? — Беспрерывно и, можно сказать, постоянно.— Особенно по понедельникам? — Вот именно. Особенно по понедельникам.— Из этого вы заключаете, что по воскресным дням следует препятствовать доступу работников в пивные, тем паче в

предместьях? — Самым решительным образом. (Мистер Гемп удаляется под одобрительный гул.)

Непослушный ребенок, внемли преподобному Синглу Суоллоу!

— Мистер Суоллоу, вы не отрицаете, что пользуетесь доверием воров и прочих правонарушителей? — Я имею счастье полагать, что являлся недостойным объектом неограниченного доверия сих лиц.— И они признавались вам в том, что нередко напивались пьяные? — Нет, не пьяные, я хотел бы объясниться. В простоте душевной они свое состояние определяли словом «выпивши».— Но это взаимозаменимые слова? — Я полагаю, что так; вместе с тем я просил бы оказать снисхождение к моей слабости и дозволить мне в дальнейшем пользоваться именно тем выражением, которое столь непосредственно вырвалось из груди, исполненной раскаяния.— И у вас есть основания, мистер Суоллоу, полагать, что чрезмерное злоупотребление... э... выпивкой и являлось причиной совершенных ими преступлений? — О да! Безусловно.— И вам неизвестны никакие иные причины, побудившие их к преступным действиям? — Они сами мне говорили, что затруднились бы назвать иные, сколько-нибудь достойные внимания причины.— Знакомы ли вы с человеком по фамилии Слоггинс? — О да! Слоггинс вызывает у меня живейшее участие.— Считаете ли вы возможным поделиться какими-либо сведениями, почерпнутыми из беседы со Слоггинсом относительно состояния, определяемого словом «выпивши»?

— В течение восьми месяцев, находясь в одиночном заключении, Слоггинс со слезами на глазах сообщал мне каждое утро, и притом всегда в одно и то же время, а именно в одиннадцать часов пять минут, что в тюрьму его привел обычай пить ром, разбавленный водой, в патентованном заведении, именуемом, по собственному его выражению, «Крысоловом». Он не уставал повторять, что, по его мнению, следовало бы арестовать хозяина, хозяйку, их малолетних детей и мальчика на побегушках.— Не вы ли предложили смягчить ему наказание и сократить срок его заключения? — Да, я.— Где он находится в настоящее время? — Если я не ошибаюсь, в Ньюгете.— Вам известно, за что? — Только понаслышке — он как будто имел сла-

бость уступить соблазну и свернуть шею торговке овощами.— Где его взяли за последний проступок? — В «Крысолове», в прошлое воскресенье.— Я полагаю, что излишне спрашивать вас, мистер Сингл Суоллоу, считаете ли вы желательным закрытие всех пивных в воскресные дни? — Совершенно излишне.

Сложи свои ручки, непокорное дитя, и выслушай теперь преподобного Темпла Фарисея, который подъехал в своей карете к дверям Комиссии, чтобы дать тебе характеристику, которая тебя несколько озадачит!

— Мистер Темпл, вы исполняете должность священника в обширном приходе, именуемом «Верблюд и Игольное Ушко» *, не так ли? — Да.— Будьте любезны, расскажите, как обстоят дела у вас в приходе по воскресным дням? — Из рук вон плохо. Наш церковный двор граничит с лугами. И вот в жаркие дни, когда приходится держать окна открытыми, мне видно с моего места, как люди... прогуливаются! Мне даже случалось слышать смех. А до ушей моего помощника (весьма прилежного и благонравного молодого человека) доносился даже свист; впрочем, я не стану утверждать, что сам лично свист этот слышал.— Много ли прихожан посещают вашу церковь? — Нет. Те, кто платит за постоянные места, не дают повода жаловаться. Но вот бесплатные скамьи по бо̀льшей части пустуют, и это тем достойнее сожаления, что общее число прихожан и так невелико.— Проходит ли вблизи вашей церкви железная дорога? — К великому моему сожалению, проходит, и уши мои улавливают шум проносящихся мимо поездов даже тогда, когда я читаю проповедь.— Неужели вы хотите сказать, что они не замедляют хода из уважения к вашей проповеди? — Ничуть.— Нет ли чего еще поблизости от вашей церкви, на что вам угодно было бы обратить внимание Комиссии? — На расстоянии полуторы мили и сорока девяти с половиной футов (я дал распоряжение причетнику измерить дистанцию в точности) имеется общедоступная чайная в саду под названием «Зеленый уголок». В погожий воскресный вечер сад этот наполняется народом. Там можно наблюдать ужаснейшие сцены. Люди курят трубки; пьют спиртные напитки, разбавленные горячей водой; едят креветок; поглощают мол-

люсков; глотают чай, шумно открывают бутылки с шипучим лимонадом. Там можно увидеть девиц, прогуливающихся с молодыми людьми, молодых людей с девицами, супругов с их малолетними детьми; корзинки, узлы, тележки, плетеные колясочки — словом, все, что только есть на свете низменного. А к вечеру вся эта толпа идет через луга домой, и смутный говор, оживленные голоса, которые доносятся до моих ушей даже тогда, когда я нахожусь в дальнем конце своей столовой (тридцать восемь футов на двадцать семь), производят чрезвычайно удручающее впечатление. Я полагаю, что «Зеленый уголок» несовместим с общественной нравственностью.

— Не слыхали ли вы, чтобы карманные воры посещали названное вами заведение?

— Как же! Мой причетник сообщил мне, что однажды шурин его дяди, торгующий корабельными товарами, отправился туда с целью наблюдения испорченных нравов и по возвращении своем домой не досчитался носового платка в кармане. Местные насмешники утверждают, что он был один из тех, кто потерял свой платок в соборе св. Павла во время последней проповеди епископа лондонского. Я хотел бы опровергнуть это: я близко знаком с вышеозначенными лицами — все это люди почтенные.— Бо̀льшая часть обитателей вашей округи трудится всю неделю, не так ли? — Насколько мне известно, это так.— С утра и до вечера? — Так говорит мне мой помощник.— А в жилищах их тесно и душно? — Думаю, что да.— Где бы вы советовали им проводить воскресные дни, если доступ в «Зеленый уголок» будет для них закрыт? — В церкви, разумеется.— А после церкви куда им деваться? — Право, это уже их дело, а не мое.

Жестокосердый младенец, залейся горючими слезами при появлении следующего свидетеля! Вот он стоит понурив голову и бьет себя кулаком в грудь. «Величайший пьяница в прошлом»,— так он отрекомендовался. Когда он напивался пьян, это был сущий дьявол — а напивался пьяным он всегда. Теперь же он в рот не берет спиртного и лучезарен, как ангел. И за то, что человек этот жадностью своей уподоблялся гиене или какому-нибудь другому непристойному зверю, оттого, что он не знал меры и впадал в злоупотребления, за это, о крупноголовое дитя, тебя бу-

дут мерить по его мерке; за его прегрешения тебя поставят в угол навеки.

Тень Джона Бэньяна *, это ты привела в зал заседаний мистера Маньяка Патриарха! Дитя мое, закрой свои глазки скорее и посыпь головку пеплом из ближайшей кучи золы, ибо дни твои сочтены!

— Мистер Маньяк Патриарх, вы много времени уделили изучению пьянства?

— Чрезвычайно много.

— Примерно сколько лет?

— Семьдесят.

— Мистер Маньяк Патриарх, приходилось ли вам когда-либо бывать в Уайтчепле?

— Миллион раз.

— Не приходилось ли вам при виде сцен, которые разыгрывались у вас на глазах, проливать слезы?

— Приходилось. Океаны слез.

— Мистер Маньяк Патриарх, продолжайте, пожалуйства, ваши показания.

— Извольте. Один я, собственно, и в состоянии пролить свет на это дело. Единственный осведомленный в этой области человек — это я. Не путайте меня с остальными. Все они — самозванцы. Я — первый и единственный. Рассказывают, будто кто-то, кроме меня, заглядывал в эти трясины отчаяния и пытался спасти тех, кто в них увяз. Не верьте. Подлинно только то, что скреплено моей собственноручной подписью. Никто не оплакивал горести и пороки низшего сословия, кроме меня. Никто не думал о них так непрестанно, как я, во сне и наяву. Пусть никто и не пытается вытащить несчастных пьянчужек из этой трясины и поставить их на ноги. Никто, кроме меня, не знает, как за это взяться!

— Как по-вашему, можно ли считать, что народ испытывает истинную потребность в пиве либо вине?

— Разумеется, нет. Я-то знаю, и я вам говорю, что такой потребности нет и не существует.

— Тогда считаете ли вы, что для народа было бы лишением потерять доступ к пиву и спиртным напиткам?

— Конечно, нет. Я-то знаю, и я вам говорю, никакого лишения!

Вот так-то и расправляются с нашим Большим Ребенком. Решено — как членами парламента, так и маньяками, что он не способен разобраться ни в чем и что ему никогда не раскусить произвольный характер этих дурацких выводов. То, что целый народ — смирный, вежливый, благоразумный народ, чей здравый смысл и добродушие вызывают восхищение непредубежденных иностранцев, а также любовь и уважение тех соотечественников, которые имеют мужество доверять ему, быть с ним откровенным, то, что целый народ судят по отдельным подонкам, вышедшим из его среды, что целый народ заставляют быть в ответе за этих подонков, наказывают его за этих подонков,— есть возмутительнейшая несправедливость, дичайшая нелепость, и те, кто придерживаются этого принципа, проявляют полнейшее невежество относительно свойств английского ума и характера. Когда подобное невежество проявляют маньяки, это еще полбеды; но вот когда их начинают поддерживать члены парламента — дело становится серьезным. Ибо, если они не в состоянии понять Народ, для которого издают законы, если они так злостно недооценивают его, какая же возможна гармония между членами парламента, Народом и законами, раз они представляют собой столь запутанный клубок противоречий?

Нам, как, впрочем, и всем порядочным людям вообще, совершенно незачем идти в Вестминстер либо еще куда, чтобы метать громы против невоздержанности. Нам она ненавистна, мы бы близко не подпустили ее к себе; если бы мы могли представить, что эта отвратительная привычка может когда-либо в будущем омрачить существование самого любимого из наших детей, мы предпочли бы, чтобы он умер тут же, в самом расцвете своей младенческой красы. Сдерживайте негодяев, ради бога, и всеми возможными способами — но только не карайте, не вяжите, не порочьте трезвый, трудолюбивый, умеренный в своих потребностях, благопристойный в развлечениях, в поте лица своего трудящийся рабочий народ! Добродетельные малайцы из палаты лордов или Эксетер-Холла, которые предаются разгулу, не менее противны нам, нежели порочные малайцы из матросских меблированных комнат в Розерхайде. Ни в том, ни в другом случае мы не потерпим, чтобы нам всаживали нож в спину, и утверж-

даем, что никто, к какой бы разновидности маньяков он ни принадлежал, не имеет права бросаться с ножом на мирных граждан и причинять им увечья. И наконец мы смиренно просим позволения заявить со всей энергией, какая нам присуща, что Народ — поистине нечто бо̀льшее, нежели Большой Ребенок; что он достиг того возраста, когда отличают пустые звуки от осмысленных слов; что побрякушек ему не нужно; словом, что Большой Ребенок растет и что мерку с него следует снимать соответственно росту.

4 августа 1855 г.

НАША КОМИССИЯ

Результаты обследования, проведенного по инициативе медицинского журнала «Ланцет» (чем он заслужил великую благодарность наших соотечественников), в связи с участившимися случаями фальсификации пищевых продуктов, напитков и лекарств, навели нас на мысль образовать Комиссию для расследования широко распространившейся фальсификации других продуктов, которые чрезвычайно важно было бы нашей стране иметь в чистом виде, без малейшей подделки. В эту компетентнейшую Комиссию привлечены нами представители всех классов общества. Все анализы, пробы, наблюдения и испытания были выполнены многоопытнейшим и искуснейшим химиком, мистером Джоном Булем.

Первым объектом исследования был продукт широкого потребления, известный в Англии под маркой «Правительство». Мистер Буль предъявил образчик этого товара, приобретенный в середине июля сего года на оптовом складе, помещающемся на Даунинг-стрит *. Докладывая Комиссии о результатах исследования, м-р Буль прежде всего отметил непомерно высокую цену, которую приходится платить за этот продукт. Нет никаких сомнений в том, что можно было бы снабдить им англичан ровно вдвое дешевле, притом гарантировать доброкачественность и приличную долю прибыли его производителям. Что же

касается качества рассматриваемого образца, то оно ниже всякой критики. Нужно прямо сказать, что он ни вкусом, ни цветом, ни запахом не вышел и, как говорится в народе, ни богу свечка, ни черту кочерга,— до того он мутен, пресен и водянист.

Мистер Буль обратил внимание Комиссии на следы мыльной пены на поверхности исследованного образца. Это следы пускания мыльных пузырей — занятия вполне безвредного для организма после клубного диспута, после банкета или застольных хоровых песен, но в данном случае, по мнению м-ра Буля, следы мыльной пены сигнализируют об опасности. И с течением времени эта опасность все будет возрастать. Мыльной пены не должно быть ни в одной из частей рассматриваемого продукта. Анализ обнаружил чудовищную фальсификацию продукта в результате подмешивания к нему огромной дозы сорняка, известного как «пустозвонство». Пустозвонство в исследуемом продукте действует как смертельный яд. Химическим анализом образца обнаружен осадок, свидетельствующий о процессе коррупции. Эта коррупция не имеет ничего общего с коррозией, которой подвержены металлы — даже медь, серебро и золото. Исследование коррупции показало, что она помогает делать черное белым, а белое — черным и порождает в несметном количестве всевозможных паразитов. М-р Буль подверг также образец испытанию на прочность и обнаружил, что он совершенно не соответствует норме. В одном из важнейших департаментов исследуемого образца был найден мутный осадок — явный признак одряхления и проистекающей отсюда прискорбной нерешительности и худосочия. В результате исследуемый объект то пребывает в длительном состоянии полного бездействия, то проявляет поползновения к действию из-под палки. В целом исследование показало, что продукт совершенно непригоден к употреблению.

Далее м-р Буль доложил Комиссии, что он приобрел другой образец того же товара в так называемой «оппозиционной» лавке через дорогу под вывеской «Британского Льва» и что эта лавка, или, вернее сказать, лавочка, под оглушительный гром литавр и барабанов провозгласила себя «единственным подлинно патриотическим заведением», однако и ее продукция оказалась явно недоброка-

чественной. Вообще ему не удалось обнаружить ни одного места, где можно было бы получить рассматриваемый продукт в чистом и неподдельном виде.

Следующим объектом исследования было горькое снадобье, известное под наименованием Государственных учреждений. М-р Буль представил огромное количество образцов этого товара, приобретенных в лавках на Даунинг-стрит, Стрэнде, в Уайтхолле, Палас Ярде и других местах. Анализом было обнаружено в каждом из них от семидесяти пяти до девяноста восьми процентов Головотяпства. Головотяпство — это смертельный яд. В больших дозах им можно погубить целую нацию, и м-ру Булю известен недавний случай, когда оно явилось причиной гибели многих тысяч людей *. Головотяпство обычно прикрывается то именем Установленного Порядка, то Благородного Занятия, то — Благонамеренности или даже Безобидной Непригодности, но как его ни называй, анализ все равно обнаружит, что Головотяпство есть Головотяпство. Во всем животном, растительном и минеральном царстве нет ничего, более несовместимого с функциями жизнедеятельности, чем Головотяпство. Оно обладает исключительной способностью к размножению. Пересадите что угодно на неподходящую почву, в неподходящие условия, и вы получите Головотяпство. Зародышам этого опаснейшего яда несть числа, и Головотяпство непрерывно порождает новое Головотяпство, пока не заполнит собой все свободное пространство до последнего дюйма.

История фальсификации продукта, анализ коего представлен на рассмотрение Комиссии, в общих чертах такова. Открывая свое дело, каждый торговец этим снадобьем уже имел в наличии солидный запас Головотяпства, вещества чрезвычайно дешевого и распространенного, и, не теряя времени, разбавлял свой товар этим ядом. А надо сказать, что в силу особенностей торговли Присутственными Местами каждый оптовый торговец в свое время удаляется от дел и на его место заступает его преемник. Этот новый торговец, приняв в свое распоряжение уже фальсифицированный товар, в свою очередь разбавляет его новой порцией Головотяпства из своих собственных запасов. После его ухода в отставку его преемник проделывает то же самое, и эта процедура повторяется на

протяжении многих и многих лет. Поэтому образцы Правительственных учреждений, представленные на благорассмотрение Комиссии, не содержали в общем ничего, кроме Головотяпства, притом в количестве, достаточном, чтобы парализовать жизнедеятельность всей страны. На вопрос Комиссии, не привели ли указанные выше злоупотребления к неизбежному и полному уничтожению полезных свойств исследованных образцов, м-р Джон Буль ответил, что все они отмечены печатью злокачественного худосочия, а половина из них пришла в полную негодность. На вопрос, какое средство он бы рекомендовал для поправления столь бедственного положения, м-р Буль ответствовал, что он полагал бы необходимым лишить сребролюбивых торгашей права торговать этим снадобьем.

Затем м-р Буль положил на стол перед Комиссией несколько образцов епископских мантий, высокие качества и незапятнанность которых гарантировались выпускавшими их заведениями, однако оказалось, что они сшиты из низкопробного материала, плохо скроены и уже далеко не первой чистоты. На одной из них были обнаружены многочисленные несмываемые пятна типографских чернил и подозрительная примесь, которая, будучи исследована даже без помощи микроскопа, оказалась примесью волокон чертополоха, известного под именем Судейского Крючкотворства. Другая мантия, хотя и проданная как белая, в действительности была черна, как душа служителя Мамоны, но лишь слегка побелена. Достаточно было м-ру Булю посмотреть ее на свет, чтобы все сомнения исчезли. По его свидетельству, на рынке епископских мантий наблюдается большое перепроизводство и нездоровая конкуренция.

Тут м-р Буль представил образцы, на которые он, движимый единственной целью — заботой о благе родины, просил членов Комиссии обратить сугубое внимание, образцы Британских Хлебопашцев. Поставив перед собой указанную цель, он не собирается входить в рассмотрение вопроса об условиях существования английского крестьянина, о физической и моральной выносливости исследованных образцов. Он не будет задаваться вопросом о том, не стал бы тот или иной из образцов крупнее, здоровее и менее подверженным преждевременному одряхлению, если

бы людям уделялось столько же внимания, заботы и интереса, сколько с полным основанием уделяется окружающему их растительному миру. Хотя представленные Комиссии образцы были отобраны из всех графств Англии и вывезены из самых различных частей Королевства, все они оказались одинаково неспособными защищать свою родину с оружием в руках, так как никто из них не умел обращаться ни с огнестрельным, ни с холодным оружием и не был приучен к военной дисциплине.

Об англичанах часто говорят, с одной стороны, что они — народ невоенный, а с другой стороны, что, по свидетельству друзей и врагов, из них получаются лучшие в мире солдаты. М-р Буль выразил надежду на то, что в грозный час войны или иной опасности для государства он будет иметь возможность бросить оба этих противоречивых мнения в горнило здравого смысла, чтобы воссияла истина и справедливость, и что он попытается сделать это во что бы то ни стало. В настоящее время он имеет честь довести до сведения Комиссии, что, как об этом свидетельствуют представленные им образцы, так и тысячи других, подвергнутых им тщательному анализу и исследованию, Британский Крестьянин сохранил свои основные качества, присущие ему испокон веков. Производя, однако, в ходе порученного ему исследования, коекакие неразрывно связанные с ним наблюдения, м-р Буль обнаружил, что упомянутого выше Британского Крестьянина в недавнем прошлом обезоружили его собственные господа — лендлорды из страха за свою дичь, и его начальники, окружившие себя целой сворой шпионов и доносчиков из страха за свою власть. Поэтому,— продолжал м-р Буль,— если вы хотите вернуть рассматриваемым образцам их важные достоинства, которые, как это мною обнаружено, они потеряли и утрата которых вас так изумляет, то проявите немного больше истинного патриотизма и немного меньше трусливого эгоизма. Окажите вашему крестьянину немного больше доверия и научите его тому, что необходимо знать свободному англичанину, а не только премудрости пай-мальчика, и тогда у нас опять будут знаменитые саксонские лучники, владеющие современным оружием, и вы сможете сэкономить на содержании Иностранного Легиона.

Убрав образцы, которые, равно как и объяснения, произвели на Комиссию такое действие, что некоторые из ее членов тут же заявили о своем намерении в ближайшем будущем заняться этим вопросом, м-р Буль представил большой выбор прекрасных образцов английского Труда. Эти обильные всходы на общественной ниве, столь усердно взращиваемые и дающие столь богатый урожай, по его убеждению, так же бессмертны, как народ. Труд — это единственный продукт в Англии, коего не коснулась тлетворная фальсификация. М-р Буль горд заявить Комиссии, что в Англии есть по крайней мере один продукт, которого никому еще не удалось испортить и в котором потребители никогда не будут ощущать недостатка, это поступающие непрерывным широким потоком изделия английского Труда.

Не успело улечься чувство радости, с которым Комиссия выслушала это приятное сообщение, как м-р Буль заявил, что теперь он приступает к самой серьезной и самой прискорбной части своей миссии. Нет, он не побоится откровенно изложить плачевные результаты исследования, завершившего его труд, но желал бы подготовить к ним Комиссию. С этими словами он предложил вниманию собравшихся образец Представительного Учреждения.

Когда члены Комиссии, с трудом сдерживая возгласы отвращения, ознакомились с рассматриваемым жалким образцом, докладчик продолжал. Образец Представительного Учреждения, на который Комиссия должна обратить свое благосклонное внимание, был приобретен на Вестминстерском рынке в июле месяце прошлого года. Чтобы отобрать этот образец, покупатели, не оказывая предпочтения тому или иному продавцу, обшарили весь рынок. И все же, без всякой помощи ученых экспертов, даже самому близорукому из наблюдателей было ясно, что перед ним — гнилой товар. Он чудовищно разжижен Болтовней, загрязнен Интригой, разбавлен огромной дозой красящего вещества, самого фальшивого и коварного сорта. Он покрыт густым слоем лака, который, будучи разложен на составные части, оказался не чем иным, как сплошной Дрянью (приторной и наглой), сваренной на густом растворе Партийной Склоки с огромной примесью Ханжества. А Ханжество, как это хорошо известно Комиссии, это опаснейший

из ядов. Просто уму непостижимо, каким образом столь полезный сам по себе продукт, как Представительное Учреждение, мог дойти до такого позорного состояния. В его настоящем виде это просто Гниль, мертвечина, совершенно непригодная в пищу, способная вызвать лишь тошноту и рвоту.

На вопрос Комиссии, не было ли обнаружено в исследуемом продукте, наряду с другими вредными примесями, также и примеси Надувательства, м-р Буль ответствовал:

— Вы спрашиваете о Надувательстве? Сплошное надувательство в том или ином виде пропитывает этот продукт насквозь.

Далее он признал, что, по его мнению, свыше сил человеческих находиться даже несколько секунд на близком расстоянии от этого продукта, столь омерзителен он и невыносим для всех наших пяти чувств. Тогда м-ру Булю были заданы следующие вопросы: во-первых, чем объяснить столь чудовищное вырождение продукта, имеющего чрезвычайно важное значение для общества? Во-вторых, как объяснить, что он все же находит сбыт? Членами Комиссии было отмечено, что как бы ни гнушались потребители этим продуктом и как бы ни воротило их от него с души, все же они не могут обойтись без него и даже ходят за ним на рынок, где его можно приобрести.

На эти недоуменные вопросы м-р Буль отвечал следующим образом. Что касается плачевного состояния товара, то это — следствие, главным образом, того, что он находится в руках бессовестных оптовиков, о которых речь уже была выше. Когда кто-либо из них «вступает в дело», как это называется на их торгашеском жаргоне, то, напустив в Присутственные места как можно больше Пустозвонства, он сразу же приступает к фальсификации и принижению Представительного Учреждения. Делает он это всевозможными средствами, не пренебрегая и самыми грязными. А надо сказать, что эта отрасль торговли уже на протяжении столь долгого времени находится в руках этих бессовестных людей, и каждый из них так рабски следует по стопам своих предшественников, несмотря на яростную борьбу главенствующей в торговле партии с ее оппозицией, стараясь перещеголять их в искусстве фальсификации товаров, что порядочные люди, желающие торговать

честно, лишены возможности вложить свой, хотя бы и скромный, капитал, и некоторые из них прямо заявляют, что скорей предпочли бы зарабатывать свой хлеб честным трудом, подметая улицы, чем замарать себя участием в подобной компании.

Кроме того, надо заметить, что вышеупомянутые оптовики, большей частью поставившие дело на широкую ногу, обслуживают целую армию клиентов, арендаторов, маклеров и работников, которым они и сплавляют свой гнилой товар — палату представителей, не считаясь с их нуждами. Что же касается того, что публика принимает этот товар, то, по свидетельству м-ра Буля, нельзя отрицать, что потребителя больше привлекает не внутренняя ценность товара, а его яркая окраска. Иной раз это Кровь, иной раз — Пиво, иной раз — Болтовня, иной раз — Ханжество. Как бы то ни было, он берет пестрый хлам, не стараясь проникнуть в суть, принимая переливание из пустого в порожнее за дело. Теперь он осознал свою опрометчивость, раскаялся и горько сетует на судьбу. Нет сомнения в том, что многие потребители уже пребывают в состоянии молчаливого негодования и уже раскусили, какую им подсунули гниль.

Комиссией был задан еще один вопрос: можно ли надеяться на то, что этот продукт, столь необходимый для нормального течения жизни Англии, вновь обретет свой первоначальный здоровый и свободный от подделок вид? На это м-р Буль ответствовал, что вся надежда на то, что публика решительно отвергнет всякую обманчивую лакировку, что она столь же решительно и непримиримо порвет с бесчестными дельцами и настоит на своем, требуя, чтобы этот необходимый продукт поставлялся ей в чистом и неподдельном виде. На этом Комиссия объявила свое заседание закрытым sine die [1] и в весьма подавленном состоянии духа разошлась.

11 августа 1855 г.

---

[1] Не назначив дня следующего заседания *(лат.)*.

НЕКОТОРОЕ СОМНЕНИЕ ВО ВСЕМОГУЩЕСТВЕ ДЕНЕГ

Еще Сидней Смит, этот умница и острослов, заметил, что многие англичане испытывают неизъяснимое наслаждение при одном упоминании крупных сумм и что ни с чем нельзя сравнить пафос и жирный восторг, с каким люди этой категории, рассказывая о состоянии мистера Такого-то, скандируют: «Двести ты-сяч фун-тов». Деньги, и только деньги в состоянии вызвать подобный пафос и восторг.

Ни один сколько-нибудь наблюдательный человек не станет оспаривать точность этого наблюдения. Оно справедливо, какое бы сословие мы ни взяли, и даже более справедливо в отношении благородного сословия, нежели простонародья. Последний раз, когда тень золотого тельца распростерлась над нашим отечеством, кумир этот был водружен весьма высоко, и подлость, с какой вся Белгравия * лебезила перед ним и тут же за его спиной насмехалась над ним, превосходит все, что делается в Сэвен Дайелс *.

Впрочем, я не намерен писать проповедь на эту вековечную тему культа денег. Я хочу лишь сказать несколько слов об одном из видов злоупотребления деньгами, который является следствием преувеличенного представления об их всемогуществе и, на мой взгляд, представляет собой симптом недуга, характерного для нашего времени.

Представьте себе какого-нибудь князя, правящего своими владениями столь неразумно и бестолково, что его подчиненные терпят всевозможные лишения, от которых их, впрочем, легко можно было бы избавить. Представьте далее, что князь, по характеру своему — человек весьма щедрый, и всякий раз, когда обнаруживает, что его управляющий, по жестокости, либо по глупости, кого-либо притесняет, выдает пострадавшему денежное пособие. Представьте себе, что широкий этот жест совершенно успокаивает нашего благородного князя, что его снова охватывает состояние довольства собой и всем светом и что, выполнив свой долг, как он его понимает, князь даже не думает распорядиться так, чтобы устранить возможность повторения подобных обид в будущем. Представим себе, будто князь этот совершал подобное изо дня в день и из года в год, что он ставил денежные заплаты на проломленные черепа, деньгами же залечивал душевные раны, и при всем том даже не задумывался, отчего кругом столько проломленных черепов и душевных ран и как сделать, чтобы их не было. Мы, вероятно, все согласимся на том, что княжество было порядком запущено, что сам князь — лентяй, что ему следовало бы проявлять меньше щедрости и больше справедливости и, наконец, что, успокаивая свою совесть столь легким способом, он поддался ложному взгляду на всемогущество денег и употребление, какое надлежит из них делать.

А не уподобились ли мы, английские граждане, сему воображаемому неразумному князю? Попробуем разобраться.

Примерно год назад в Виндзоре состоялся военный суд, чрезвычайно взбудораживший общественное мнение, и не потому даже, что процесс велся в духе, никоим образом не отвечающем распространенному предрассудку в пользу справедливости, а потому, что процесс обнаружил серьезнейшие изъяны в нашей военной системе и показал, как плохо обучены наши офицеры сравнительно с офицерами других держав. Приговор, который был вынесен, повсеместно признавался нелепым и несправедливым. Что же мы, несогласные с приговором и убежденные в своей правоте, как же мы поступили? Когда вскрылась вся непригодность системы, какие шаги предприняли мы к ее

исправлению? Пытались ли напомнить нашим соотечественникам, что система эта в ее настоящем виде таит величайшую опасность для них самих и для их детей? Указали ли, что, не противодействуя властям, придерживающимся этой системы, поддаваясь на уговоры, уступая под давлением угроз, мы тем самым подвергаем опасности весь наш общественный строй, рискуем лишиться той самой национальной свободы, которой так гордимся, и что Англия может потерять положение, которое она занимает в семье государств? Напомнили ли беспечным и легкомысленным согражданам о том, что сделали для нас в свое время наши славные предки, чего они для нас добились благодаря своему несокрушимому духу, какие права закрепили за нами благодаря своему упорству и рвению? Пытались ли показать, как мы с каждым часом — оттого, что дело у нас превратилось в игру,— теряем завоеванное предками? Объединились ли мы в многочисленный отряд, имеющий твердую цель: внушить эти принципы тем, кто взял на себя ответственность править страной, и заставить их признать наши исконные права и строго, повсеместно, во всех существенных областях управления Британской Империи придерживаться этих принципов? Нет. До этого дело не дошло. Мы испытывали сильное негодование и легкую тревогу. Под бременем этих двух эмоций мы даже затосковали. Но вот мы облегчили всколыхнувшуюся совесть и дали жертве несправедливого суда денег! Мы сунули руку в карман, выудили из него пятифунтовую бумажку и таким образом исполнили свой долг. Беду поправили, и страна успокоилась. Сумма, которую собрали, превышала *две ты-ся-чи фун-тов,* сэр!

Допустим, эти деньги пошли на святое дело. Допустим, что лицо, которому их вручают, в подобных случаях ничего не проигрывает, что в результате такого доброхотного даяния в нем развивается самоуважение, независимость и предприимчивость. И все же, как один из участников подписки, я позволю заподозрить себя в том, что я и в малой степени не выполнил своего гражданского долга. Что я просто откупился от трудной задачи, которая стояла передо мной, что я вместе со всеми пошел на убогий компромисс, подменивший песком скалу, на которой было заложено наше королевство. Что я повинен в пош-

лом преклонении перед деньгами и в глубине души исповедую низменную веру в их всемогущество.

Возьмем другой случай. Два работника посреди дня оставляют свою работу (после предварительного соглашения об этом, причем в качестве компенсации они в тот день пришли на работу раньше обычного) и отправляются смотреть театральное обозрение. Обозрение это усердно рекламировалось как в высшей степени патриотическое и лояльное зрелище. В соответствии с каким-то глупым старым законом, которого никто, кроме такого же глупого сельского судьи, вспоминать бы не стал, работников потащили в суд, и эти бробдиньякские ослы * отправили их в тюрьму,— кстати сказать, не имея на то никаких законных оснований,— но не об этом сейчас речь. Поблизости оказалось некое неблагонадежное лицо, которое сочло нужным обнародовать эту нелепую жестокость, другие неблагонадежные лица, прослышав о ней, принялись громким ропотом выражать свое удивление и возмущение. Обращаемся к министру внутренних дел, но он «не видит смысла» в том, чтобы отменить решение суда, да и не могло быть иначе: ведь он никогда не видит и не слышит смысла, и все, что исходит из уст его, лишено всякого смысла. Каков же наш следующий шаг? Может быть, мы собрались все вместе и решили: «Нельзя, чтобы в наше время в народе думали, будто дух закона направлен против него. Нельзя оставлять такое страшное оружие тем, кто вечно будоражит и мутит народ. Поведение этих судей вынуждает нас настаивать на том, чтобы их отстранили от должности, чтобы сословие, подвергнутое столь нелепому притеснению в лице этих двух работников, почувствовало, что все здравомыслящие люди в нашей стране возмущены этим безобразием. Более того, надо приложить все силы к тому, чтобы судей, подобных этим, не облекали полномочиями, а чтобы те, кто этими полномочиями будут облечены, пользовались своей властью в рамках благоразумной умеренности. И что же? Мы приняли такое решение? Да нет! Как же мы поступили? А вот как: собрали денег для пострадавших, и... дело с концом!

Еще один случай. У крестьянина небольшое поле, на котором он взращивает пшеницу, и вот он отправляется жать в воскресенье, потому что иначе пропадет его кро-

шечный урожай. За сей смертный грех его тоже призывают к сельскому судье, отпрыску плодовитого семейства Шеллоу *, и присуждают к штрафу. Тут-то, казалось бы, нам возмутиться, проявить наконец решимость и вырвать законопроизводство и народ из рук этих Шеллуев. Где там! Слишком много беспокойства, у нас своих дел хватает, и к тому же нас всех слегка отвращает мысль о какой бы то ни было возне. И вот мы снова опускаем руку в карман, и пусть обветшалые законы совместно с вечно молодыми Шеллуями тянут нас куда угодно!

Как мы уже рассказывали на страницах нашего журнала, введение даже такого убогого закона, якобы предусматривающего защиту женщины, по которому гнуснейшее преступление на свете наказуется шестью месяцами заключения, было встречено криками ликования. По одному этому можно судить о юридическом уровне нашей цивилизации. Бессилие закона — и как следствие этого бессилия — частое нарушение его — сделались притчей во языцех. Что же? Пытаемся ли мы как-нибудь помочь делу? Настаиваем ли на введении более сурового наказания? Исследуем ли условия жизни, которые каждый такой случай вскрывает, и заявляем ли открыто, что огромные массы людей опустились, погрязли в пороке, и что (среди прочих мер) необходимо предоставить им возможность развлекаться более облагораживающим образом, и тогда они перестанут искать забвения от своей страшной жизни в кабаке? Говорим ли наконец о том, что они нуждаются в развлечениях, свободных от навязших в зубах назиданий, и что самый Мальборо-Хаус может представляться кошмаром для великого множества этих людей, которые тем не менее исправно платят налоги и обладают бессмертными душами? Когда же мы перестанем закрывать глаза на суть дела, когда найдем в себе мужество сказать: «Все эти люди — мужчины, женщины и дети — живут в нечеловеческих условиях, и при нынешнем порядке вещей мы в самом деле не представляем себе, как могут они проводить свое свободное от работы время иначе, чем они его проводят обычно — шатаясь бог знает где, напиваясь до безобразия и затевая ссоры и драки?» Всякий, кто знаком с истинным положением дел, знает, что все это — святая правда. Но мы, вместо того чтобы настаивать на этой правде, по-

сылаем в облегчение участи очередной жертвы злодея, только что не умертвившего ее,— посылаем ей на адрес полицейского суда пять шиллингов марками, а сами, приложив к своей чахлой совести этот липкий пластырь из шестидесяти портретов английской королевы, отправляемся в ближайшее воскресенье слушать церковную проповедь.

Впрочем, оказывается, не одни мы, простые смертные, имеем низость прибегать к деньгам как к целебному бальзаму на все случаи жизни. Наши вожди, несущие знамя, за которым мы следуем, показывают нам пример, поступая точно таким же образом. Не так давно был День Благодарения, и в памяти у всех должно быть свежи объявления, появившиеся в ту пору в газетах о наиболее выгодных вкладах для спасения души. Авторы этих объявлений, да и все это сребролюбивое племя, публикующее свои красноречивые и благопристойные призывы, ни на минуту не сомневаются в том, что благодарные чувства следует выражать посредством денег. Если мы желаем одержать еще одну победу, то мы не можем надеяться заполучить ее бесплатно или хотя бы в кредит,— нет, подавай наличные! Нам предлагали оплатить новый орган в церкви, треуголку и алые панталоны церковного сторожа, купленные ему в рассрочку старостами, счета маляров и стекольщиков, которые привели в порядок часовню,— и взамен протягивали билет, обеспечивающий место по ту сторону Севастополя *.

И мы платили денежки — и получали взамен билет. Кто из нас не раскошеливался! Мы уплачивали недоимку за церковный орган, оплачивали счет за треуголку и панталоны сторожа, погашали задолженность маляру и стекольщику, и считали, как говорится, что с нас больше и спросу нет.

Многие из нас расставались со своей мелочью так легко лишь потому, что предпочитали платить этот своего рода штраф, только бы ничего не делать. А дело, которое требовалось от нас, было трудным. Всеобщий паралич охватил мозг и сердце страны; фаворитизм и рутина проникли повсюду, истинные достоинства ни во что не ставились. Небольшая группа людей лишила нас силы и обратила ее в слабость, а три четверти земного шара с

интересом воззрились на это замечательное зрелище. В эту критическую пору от нас требовалось одно: твердо стоять за явную правду и бороться с явной неправдой. Но подобная деятельность требует некоторого усилия, джентльмену не подобает ей предаваться, она противоречит хорошему тону; и вот мы с радостью платим штраф.

Но если бы все, кому полагается служить в армии, платили бы штраф, вместо того чтобы идти в солдаты, страна осталась бы без защитников. О мои соотечественники, есть войны, в которых сражаются не солдаты, войны, которые между тем столь же необходимы для защиты родины, войны, в которых призван участвовать каждый! Деньги — великая сила, но и они не всемогущи. Если бы сложить пирамиду из денег, которая бы своей вершиной достигала самой луны, то и она не заменила бы собой ни одной крупицы гражданского долга.

3 ноября 1855 г.

ОСТРОВИЗМЫ

Почти во всем мире можно наблюдать стремление, вполне, впрочем, похвальное, считать свою страну превыше всякой другой страны, свои обычаи — выше обычаев, принятых в других странах, и тщеславиться своим отечеством. Патриотизм и гражданская доблесть в большой мере обязаны этому пристрастию. С другой стороны, чрезвычайно важно для всякой страны, чтобы гордость эта не сделалась источником всевозможных предубеждений и предрассудков, ибо в них ничего нет достойного уважения, а напротив, они или нелепы, или несправедливы.

Мы, англичане,— в силу нашего географического положения островитян, а отчасти, может быть, и вследствие легкости, с какой предоставили нашим баллотирующимся лордам и джентльменам думать за нас и выдавать нам наши недостатки за достоинства,— особенно подвержены опасности впадать в привычки, которые мы для удобства назовем «островизмами». В этой статье мы намерены привести несколько примеров этих островизмов.

На европейском континенте люди, как правило, одеваются в соответствии с личными склонностями и соображениями удобства. А в столице, которую принято считать законодательницей мод, в этом смысле наблюдается даже бóльшая свобода, нежели где бы то ни было. В Париже человек может удовлетворить любую свою причуду по части гардероба — от башмаков до шляпы,— и ему в го-

лову не придет, что кому-либо, кроме него, может быть до этого дело; и действительно, никому до этого нет дела. И если нововведение продиктовано соображениями истинного удобства и хорошего вкуса, оно вскоре теряет свой исключительный характер и перенимается другими. А если нет, им перестают интересоваться. При этом даже самый грубый и неотесанный француз не считает своим долгом непременно как-нибудь оскорбить автора нововведения — разглядывать его в упор, улюлюкать, отпускать остроты, хохотать во всю глотку. Для француза давно уже, с тех пор как сам он перестал быть рабом, новизна перестала быть жупелом, и всякое нововведение он рассматривает только с точки зрения его разумности.

Могучее английское предубеждение против всякого новшества, поражающего глаз, можно смело причислить к островизмам. Правда, по мере более широкого знакомства с нравами других стран,— последовавшего после изобретения электричества и пара,— этот островизм начинает исчезать, однако полностью он еще не исчез. По всеобщему признанию, герметически закупоренная, черная несгибаемая труба в полтора фута высотой, именуемая у нас шляпой, не отличается ни удобством, ни изяществом; и, однако, редкий отец семейства, проживающий, скажем, в двух часах езды от Биржи, согласится выдать свою дочь за человека, который носит мягкую шляпу, каким бы достойным он ни был во всех других отношениях. Смит, Пейн и Смит, или Ренсом и К°, если бы их клерки вздумали вдруг явиться на работу в кепках либо недорогих и удобных фетровых шляпах, от которых не болит голова, решили бы, что фирме грозит по меньшей мере банкротство. В сезон дождей и слякоти, а в Лондоне этот сезон длится по крайней мере половину года, насколько удобнее было бы для бо́льшей части населения, насколько это было бы дешевле, если бы они могли ходить, заправив штаны в гетры, на манер зуавов! Придя с улицы, они могли бы тотчас привести себя в порядок — ибо грязь оставалась бы на гетрах, которые сменить не стоит никакого труда. В тех же целях — сбережения одежды — можно рекомендовать и другой, несколько более дорогой способ — ботфорты; они очень пригодились бы тем же клеркам, да и вообще всем, кто много ходит по улицам —

если только такая роскошь им по карману. Но что скажут Григгс и Боджер, увидев ботфорты? А вот что: «Наша фирма, сударь, не привыкла к такого рода штукам. Вы что же, хотите погубить нашу фирму? Нет, сударь, извольте каждый день погружать концы ваших панталон на четыре дюйма в грязь, иначе — мы будем вынуждены с вами расстаться».

Несколько лет назад мы сами, поскольку мы не состоим на службе у Григгса и Боджера, имели дерзость купить себе в Лондоне, в Берлингтонской Аркаде, пальто, затем что его крой показался нам разумнее и удобнее общепринятого. Когда же, возымев еще большую дерзость, мы в купленном нами пальто стали ходить по улицам, мы почувствовали себя чем-то вроде привидения, которое нагоняет страх и ужас на прохожих. Это же пальто путешествовало с нами в течение шести месяцев по Швейцарии, и то обстоятельство, что покрой его был необычен, никому не казалось знаменательным. Затем в продолжение следующих шести месяцев мы щеголяли в нем в Париже, и хотя там оно тоже было внове, никто не обращал на него никакого внимания. Пальто это, столь неприемлемое для британцев, было всего-навсего просторным плащом с широкими рукавами, который так легко снимается и надевается и не мнет одежды — словом, это было пальто, какое теперь у нас носят все.

Несколько столетий в Англии носили бороду. Затем, со временем, брить лицо сделалось одним из наших островизмов. Тогда как почти во всех прочих европейских странах были приняты усы и бородки всевозможных размеров, на нашем крошечном островке установился островизм, от которого нет спасения. Отныне англичанин, хочет он этого или нет, вынужден каждый день нещадно резать и терзать свой подбородок и верхнюю губу. Неудобства, которые влечет за собой соблюдение этого непременного условия британской респектабельности, столь общепризнаны, что промышленники наживают целые состояния, выпуская бритвы, ремни и оселки для правки этих бритв, пасты, различные мыла и кремы, успокаивающие истерзанную кожу, — словом, всевозможные ухищрения для смягчения мук, сопутствующих процессу бритья, и всевозможные приспособления, которые сокращают время, за-

трачиваемое на этот процесс. Из всех островизмов этот, пожалуй, ушел на несколько миль вперед по дороге к Абсурду. Всем людям гражданского состояния предписывалось, видите ли, сбривать всякую растительность на лице, и исключительное право сохранять ее на верхней губе было даровано небольшой кучке, составляющей военное сословие. Как-то раз на страницах этого журнала мы решились указать на нелепость подобного запрета и привести причины, по которым мы находим его нелепым. И так как данный островизм в самом деле не имеет никакого смысла, он с тех пор начинает понемножку терять почву под ногами.

Еще одним примечательным островизмом является наша склонность объявлять, с полной искренностью, что только английское — естественно, а все остальное — противоестественно. Так, в отделе изящных искусств только что закрывшейся французской выставки нам довелось неоднократно слышать странное суждение (причем его высказывали подчас наиболее образованные и вдумчивые из наших соотечественников) о картинах, обладающих значительными достоинствами, картинах, в которых выражена сильная, смелая мысль. Говорили, будто эти картины хоть и вполне хороши, однако отдают «театральностью». Мы полагаем, что разница между подлинным драматизмом и театральностью заключается в том, что первый поражает воображение зрителя, причем действующие лица в картине как бы не осознают присутствие этого зрителя, тогда как персонажи картины, грешащей театральностью, явно рассчитаны на зрителя; это — актеры, вырядившиеся соответственно роли, которые делают свое дело, а вернее, не делают никакого дела, поглядывая одним глазком на зрителя, нимало не заботясь о существе сюжета. Исходя из такого определения театральности, мы тщетно искали этот порок среди представленных картин. Затем, когда мы попытались вникнуть наконец в смысл обвинений, уяснить себе, что́ же за ними кроется, обнаружилось, что движения и жесты изображенных фигур — *не английские!* Иначе говоря, фигуры, наделенные живостью, свойственной в бо́льшей или меньшей степени всем обитателям европейского материка, казались преувеличенными и неправдоподобными потому лишь, что их манеры отличны от манер,

принятых на нашем островке,— манер, кстати сказать, настолько исключительных, что англичанин за пределами своего отечества всегда производит невыгодное впечатление, и только со временем, сквозь всю эту завесу чопорности и сдержанности, начинают вырисовываться все те прекрасные достоинства, которыми он действительно обладает. Нет, в самом деле, разумно ли требовать от француза эпохи Робеспьера, чтобы он шествовал из тюрьмы на гильотину со спокойствием Клепхэма или степенностью Ричмонда Хилла, покидающих здание Центрального уголовного суда после приговора в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году? А между тем этого-то и требует островизм, который мы только что предложили вниманию читателя.

Когда избавимся мы еще от одного островизма — боязни получше использовать тот небольшой достаток, который выпал нам на долю, когда научимся извлекать как можно больше радостей из скромных удовольствий, какие нам доступны? В Париже (как, впрочем, во многих других городах и странах) человек, обладающий клочком земли в шесть квадратных ярдов или пусть даже просто крышей тех же размеров, украшает ее на свой скромный лад и сидит там в хорошую погоду, потому что ему так нравится, что он так хочет, что лучшего у него нет и потому что, наслаждаясь тем, что у него есть, он нимало не боится показаться смешным. И точно так же он будет сидеть возле своего парадного, или на своем балкончике, или просто на стуле на тротуаре — оттого что это весело и приятно и оттого что он любит наблюдать жизнь города, бьющую ключом вокруг него. Вот уже семьдесят лет, как француза не мучает более вопрос, как отнесутся к его способу развлекаться те, кто живет на одной с ним улице — выше, ниже, правее, левее, на той стороне или за углом. Ему безразлично, сочтут ли они его развлечения достаточно благородными или нет, снизойдут ли сами до них, или воздержатся. Он не водил знакомства с этой деспотической старухой, миссис Грэнди. Поэтому, при самых скромных доходах, проживая в городе, где все чрезвычайно дорого, он получает больше невинных удовольствий, нежели пятьдесят англичан такого же достатка, как он, вместе взятые; и при этом француз, вопреки распространенному

у нас мнению (еще одни островизм!) — безусловно, лучший семьянин, нежели англичанин, ибо в гораздо большей мере, нежели последний, разделяет свои незатейливые удовольствия с детьми и женой: естественное следствие того, что эти удовольствия доступны и дешевы и не находятся ни в какой зависимости от миссис Грэнди.

Впрочем — и это не к чести англичан — источник данного островизма легче проследить, чем в иных случаях. Писатели старой аристократической школы столь успешно покрыли презрением и насмешкой все доступные развлечения и способы внести разнообразие в будничную жизнь, что до последнего времени, из боязни навлечь эти насмешки на себя, многие англичане предпочитали терпеть скуку и только теперь начинают избавляться от этого страха. Цель, которую преследовали своими насмешками эти писатели, если можно тут говорить о цели, а не просто о высокомерном презрении к тем, кто составляет плоть и кровь нашей нации,— цель их была превратить слабую и неустойчивую часть среднего сословия в жалкую бахрому на подоле высшего, помешать ему занять то честное, почтенное и независимое положение, которое принадлежит ему по праву. К несчастью, писатели здесь слишком преуспели, и в этом — печальный источник многих политических зол нашего времени. Нигде, ни в одной стране не издевались и не глумились столь систематически над зрелищами и развлечениями, которые доступны миллионам. Правда, этот позорный островизм уже выветрился. И все же слабые проявления такого высокомерия можно еще встретить и сейчас — и там, где этого меньше всего ожидаешь. Даровитый мистер Маколей в третьем томе своей блистательной «Истории» пренебрежительно упоминает «тысячи клерков и белошвеек, которые ныне восторгаются Лох Ломондом и Лох Кэтрин» *. Во Франции или в Германии ни один солидный человек, пишущий книги исторического содержания — пусть бы и не исторического, все равно,— не нашел бы ничего остроумного в том, чтобы насмехаться над вполне безобидной и почтенной категорией своих соотечественников. Все эти многочисленные клерки и белошвейки, парочками вышагивающие к Лох Кэтрин и Лох Ломонд и, быть может, предпринявшие этот поход в ознаменование нового закона о сокращении рабо-

чего дня *, и понятия не имеют о том, что своим присутствием отравляют наслаждение красотами природы, которое маститый историк, прохаживающийся по берегу озера, мечтал делить с одними лишь членами парламента из партии вигов. Эта нелепейшая мысль так развеселила бы их, что они, пожалуй, почувствовали бы себя отмщенными сполна.

Среди прочих островизмов умного иностранца особенно поражает «Придворная хроника» — одно из досадных препятствий к тому, чтобы наш национальный характер мог быть правильно истолкован другими народами. Спокойное величие и достоинство, свойственные нашему народу, кажутся несовместимыми с нудной болтовней о боскетах и парках, о принце Консорте *, который отправился на охоту и возвратился к завтраку, о мистере Гиббсе и лошадках, о королевском высочестве верхом и августейших младенцах в коляске, и затем опять о боскетах и парках, опять о принце Консорте, опять о мистере Гиббсе и его лошадках, опять о его королевском высочестве на коне и августейших младенцах в коляске, и так далее, день за днем, неделю за неделей... Из-за таких-то пустяков и получается, что английский народ не удостаивается справедливой оценки и в серьезных вещах. Столь же тщательным образом публикуется всевозможный вздор о делах и днях членов знатных фамилий в их родовых имениях. Напрасно разъясняем мы, что англичанам нет дела до этих пустых и неинтересных подробностей, что они им совершенно не нужны. Недоумение чужестранца только возрастает от подобных разъяснений. Если эти сведения никому не нужны, тогда для чего они? Если англичане чувствуют всю их смехотворность, зачем они выставляют себя на посмешище? А если с этим ничего нельзя сделать?.. Окончательно запутавшийся чужестранец заключает, что он был прав вначале и что власть — не английский народ, а лорд Эбердин, или лорд Пальмерстон *, или лорд Олдборо, или лорд Кто-Его-Знает.

Недостаток чувства самоуважения в английском народе — островизм, о котором следовало бы задуматься всерьез и от которого следовало бы избавиться. О высоких достоинствах английской аристократии можно судить хотя бы потому, что она гораздо менее надменна и заносчива,

чем следовало ожидать, принимая во внимание всегдашнюю готовность нашей публики распластываться перед знатным титулом. Готовность эта проявляется при каждом удобном случае, и в частной и в общественной жизни. И покуда такое повсеместное угодничество не будет изжито, те, кто принимают наибольшее участие в управлении нами, не научатся ценить нас так, как мы того заслуживаем на самом деле. Поэтому-то и получается, что в столице Англии премьер-министр позволяет отмахиваться от нас с шутливым пренебрежением, между тем как представители английской науки и искусства встречают то же оскорбительное пренебрежение со стороны своего посла во французской столице. А мы еще удивляемся, что по сравнению с другими народами оказались в столь странном и невыгодном положении! Пусть эти народы, в силу различных причин, менее счастливы, менее свободны, чем мы, но зато чувство самоуважения у них развито больше, и при всех превратностях политики правителям приходится считаться с этим чувством, оно дает о себе знать. Аристократия пользуется уважением и на континенте. Вряд ли кто-нибудь станет с этим спорить. Однако существует огромная разница между уважением, которое оказывают знати там, и почестями, которыми ее окружают у нас, на острове. Присутствие горсточки герцогов и лордов на публичном балу, банкете или на каком угодно другом более или менее смешанном сборище производит обычно самое тягостное и неприятное впечатление — и не потому, чтобы сами наши аристократы держали себя как-нибудь высокомерно — напротив, это народ вежливый и вполне воспитанный,— а потому лишь, что среди нас имеется слишком много охотников извиваться и пресмыкаться перед ними. В других странах этому мешает чувство собственного достоинства, и там гораздо меньше раболепства и угодничества перед знатью. Общение вследствие этого между сословиями бесконечно приятнее для обеих сторон, и каждая имеет возможность узнать гораздо больше о другой.

Еще один островизм: всякий раз, когда среди нас является лицо королевской крови либо титулованный гость, в официальных обращениях к нему принято употреблять приторно-раболепные выражения, которые ни в одной груди не находят отзвука; мы всячески поощряем распро-

странение подробнейших сообщений о благочестивом поведении гостя в церкви, вежливом поведении во дворце, пристойном поведении за столом, иначе говоря, умении высокого гостя обращаться с ножом, вилкой и рюмкой — можно подумать, что мы ожидали встретить в его лице по меньшей мере Орсона! * Подобные сомнительные комплименты делаются только у нас, в нашей стране, и они были бы невозможны, если бы у нас было развито чувство самоуважения. Следует побольше общаться с другими народами, чтобы позаимствовать у них это качество как можно скорее. И когда мы перестанем по пятьдесят раз на дню уверять короля Брентфордского * и Главного Портного с Тули-стрит *, что мы не можем существовать без их улыбок, эти два маститых мужа и сами наконец усомнятся во всемогуществе своих улыбок, а мы понемножку избавимся еще от одного островизма.

18 января 1856 г.

НОЧНАЯ СЦЕНКА В ЛОНДОНЕ

Пятого ноября прошлого года, я, издатель этого журнала, вместе с приятелем, лицом небезызвестным, случайно забрели в Уайтчепл. Был вечер, погода стояла отвратительная — темно, грязь и проливной дождь.

Много печальных картин можно увидеть в этой части Лондона, которую я за последние несколько лет изучил досконально. Мы шли медленно, позабыв про дождь и слякоть, и не заметили, как, отдаваясь впечатлениям окружавшего нас мира, к восьми часам очутились у здания Работного дома.

На темной улице, под дождем, прямо на грязных плитах панели, лежали какие-то кучи лохмотьев. Они были неподвижны, и казалось, это — пять ульев, прикрытых тряпками, или пять скрюченных трупов, прикрытых тряпками,— словом, что угодно, только не живые люди!

— Что это такое? — вопросил мой спутник.— Ради бога, скажите, что это такое?!

— Должно быть, несчастные, которых не впустили переночевать,— ответил я.

Мы остановились подле этих кучек тряпья, ноги наши словно приросли к земле, и мы не могли оторвать глаз от страшного зрелища. Пятеро сфинксов, вселяя ужас в прохожих, казалось, вопрошали каждого: «Остановись и подумай, чем кончит общество, бросившее нас сюда?»

Пока мы так стояли и смотрели, подошел рабочий, прилично одетый, судя по виду — каменщик.

— Страшное зрелище, сударь,— сказал он, прикоснувшись к моему плечу,— и притом в христианском государстве!

— Страшное, страшное, мой друг,— ответил я.

— Часто, возвращаясь с работы, я вижу еще худшую картину. Иной раз я насчитывал их пятнадцать, двадцать, а то и двадцать пять человек. Ужасное зрелище!

— Поистине ужасное,— произнесли мы с приятелем разом.

Постояв с нами еще немного, прохожий пожелал нам покойной ночи и ушел.

Мы же чувствовали, что не можем уйти так, ничего не сделав; это было бы бесчеловечно. Как-никак с нами посчитаются больше, чем с простым рабочим. Мы постучали в ворота Работного дома. Когда старый нищий-привратник открыл их, я не стал мешкать и вошел, так как прочитал в его слезящихся глазках намерение не впустить нас. Мой товарищ не отставал от меня.

— Будьте любезны вручить эту карточку начальнику Работного дома и передать ему, что я хотел бы поговорить с ним,— сказал я.

Мы находились как бы в крытом проходе, и старый привратник, взяв мою карточку, направился по нему вглубь. Не успел он, однако, подойти к двери, расположенной слева от нас, как кто-то, одетый в плащ и шляпу, выскочил из нее с проворством человека, который привык каждую ночь отбиваться от докучливых нападок.

— Ну-с, господа,— заговорил он громким голосом,— что вам угодно?

— Во-первых,— начал я,— сделайте одолжение — взгляните на карточку, которую держите в руке. Может быть, вам знакома моя фамилия?

— Фамилия знакомая,— сказал он, поглядев на карточку.

— Хорошо. Я всего лишь намерен задать вам прямой вопрос, обещаю держаться в рамках вежливости и не намерен ни сердить вас, ни сердиться сам. Было бы глупо, если бы я вздумал упрекать в чем-либо вас лично, я и не упрекаю. Я могу быть недоволен системой, которой вы по-

ставлены управлять, но вместе с тем я понимаю, что вам предписано выполнять известные обязанности, которые вы, без сомнения, и выполняете. Надеюсь, вы не откажетесь ответить мне на кое-какие вопросы.

Мой тон его, видимо, успокоил.

— Хорошо,— сказал он,— отвечу. Что же вы хотели бы знать?

— Известно ли вам, что на улице находятся пятеро несчастных?

— Я их не видел, но вполне допускаю, что это так.

— То есть, вы еще сомневаетесь в этом?

— Нет, нет, нисколько. Их могло бы быть и намного больше.

— Кто они — мужчины? Или женщины?

— Скорее всего — женщины. Возможно, что две-три из них там с прошлой и позапрошлой ночи.

— Вы хотите сказать, что они там проводят всю ночь до утра?

— Весьма возможно.

Мы переглянулись с моим спутником, а начальник Работного дома поспешно добавил:

— Господи боже мой, но что же мне-то делать? Что я могу? Здесь все переполнено. Здесь всегда переполнено, всякую ночь! Ведь должен же я в первую очередь предоставить места женщинам с детьми, правда? Не прикажете же выгонять их?

— Конечно, нет,— сказал я,— принцип ваш совершенно гуманный, и я рад слышать, что вы его придерживаетесь. Не забывайте только, что я ни в чем вас не виню.

— Ладно! — сказал он и снова утихомирился.

— Я только хотел спросить вас,— продолжал я,— известно ли вам что-либо дурное об этих пятерых несчастных, что сидят на улице?

— Я не знаю о них ровно ничего,— сказал он, энергично махнув рукой.

— Я спрашиваю вот почему: мы хотим дать им немного денег на ночлег, но только в случае, если они действительно бездомные, а не воровки. Вы ведь не утверждаете, что они воровки?

— Я ничего о них не знаю,— повторил он, отчеканивая слова.

— Иначе говоря, сюда их не впускают оттого только, что дом переполнен?

— Да, оттого, что дом переполнен.

— А если бы им удалось сюда попасть, они здесь получили бы лишь ночлег да кусок хлеба на завтрак — так?

— Это все. Решайте сами, сколько им дать. Но имейте в виду, кроме того, что я вам сейчас сказал, я ничего о них не знаю.

— Разумеется. Мне больше ничего и не надо знать. Вы ответили на мой вопрос вежливо и охотно, и я вам очень за это благодарен. Я ничего плохого не могу о вас сказать, напротив. Покойной ночи!

— Покойной ночи, господа!

И мы снова очутились на улице.

Мы подошли к куче тряпья, самой ближней к двери Работного дома, и я ее потрогал. Она не шелохнулась.

— Скажите,— спросил я, наклонившись к женщине,— почему вы лежите здесь?

— Потому что меня не берут в Дом.

Она говорила слабым, глухим голосом, в котором не оставалось ни малейшего оттенка любопытства или воодушевления.

Она сонно смотрела мимо меня и моего спутника, на черное небо и падавший дождь.

— Вы и прошлую ночь провели здесь?

— Да. Всю ночь. И позапрошлую ночь тоже.

— Вы знаете кого-нибудь из тех, кто лежит рядом с вами?

— Я знаю ту, что лежит через одну от меня. Она была здесь в прошлую ночь и сказала мне, что она родом из Эссекса. Больше я о ней ничего не знаю.

— Итак, вы здесь провели всю прошлую ночь. Ну, а днем вы тоже были здесь?

— Нет, не весь день.

— Где же вы были весь день?

— Ходила по улицам.

— А что вы ели?

— Ничего.

— Послушайте! — сказал я.— Вспомните. Вы устали, и я вас разбудил со сна, и вы, может быть, не знаете, что́ говорите. Что-нибудь-то вы ели сегодня! Вспомните, ну!

— Ничего я не ела. Только объедки, корочки, две-три корочки, которые мне удалось подобрать на рынке. Да вы поглядите на меня!

И она обнажила свою шею, которую я тотчас же прикрыл.

— Если я вам дам шиллинг на ужин и ночлег, вы найдете, куда пойти?

— Да.

— Идите же, ради бога!

Я вложил деньги ей в ладонь, и она с трудом поднялась и побрела прочь. Она не поблагодарила меня, ни разу даже не взглянула в мою сторону, просто — растаяла в этой ужасной ночи самым странным, удивительным образом. Много диковинного довелось мне видеть на своем веку, но ничто так не врезалось мне в память, как то вялое безразличие, с каким это изможденное, несчастное существо взяло монету и мгновенно исчезло.

Я опросил по очереди всех пятерых. Они все отвечали так же, как и первая,— без всякого воодушевления и интереса. Та же вялость и равнодушие у каждой. Ни от одной я не услышал жалоб, протеста, ни одна не взглянула на меня, ни одна не сказала «спасибо». Остановившись возле третьей, мы невольно переглянулись: рядом лежали еще две женщины; они приткнулись друг к другу во сне и казались двумя поверженными статуями. Женщина, возле которой мы остановились, перехватила наши взгляды и сообщила, что это, должно быть, сестры,— это был первый и единственный раз, что одна из них заговорила сама, не дожидаясь вопроса.

А теперь позвольте мне заключить свой страшный отчет рассказом о прекрасной и высокой черте, обнаружившейся между этими беднейшими из бедных. Покинув Работный дом, мы перешли улицу, чтобы разменять в пивной золотую монету, ибо у нас не осталось серебра. Все время, что мы разговаривали с пятью призраками, я держал деньги в руке. Это обстоятельство, разумеется, привлекло к нам внимание бедноты, вечно толпящейся в подобных заведениях. Эти люди окружили нас, и когда мы наклонялись над кучками тряпья, они наклонялись тоже, боясь проронить хоть одно слово. Нас обступили вплотную, и всякий раз, что мы наклонялись к груде лохмотьев,

лежащей на панели, эти зрители наклонялись вместе с нами. Они хотели все видеть и все слышать. Таким образом все, что я говорил и делал, было им известно. Когда последняя из пятерки поднялась, побрела и растаяла, зрители расступились, чтобы дать нам пройти. Ни один из них — ни словом, ни жестом, ни взглядом не попросил у нас подаяния. В толпе было достаточно смышленых лиц, наблюдательных глаз, и многие догадывались о нашем душевном состоянии, понимали, что мы были бы рады раздать все деньги, какие у нас были, только бы помочь людям! Но всех сдерживало сознание, что собственные их нужды бледнеют перед тем, что мы только что видели. Толпа расступилась в глубоком молчании.

Мой спутник написал мне на другой день, что это сборище лохмотьев — вся эта пятерка — мерещилось ему всю ночь. Я стал думать, как присоединить наше свидетельство к свидетельству многих других, которые, натыкаясь время от времени на позорные и страшные зрелища такого рода, испытывают настоятельную необходимость писать о них в газеты. Я решил поместить точный отчет о том, что мы видели, но не печатать его до рождества, дабы избежать излишней горячки и спешки. Знаю, что неразумные последователи одного вполне разумного учения, люди с вывихнутыми мозгами, у которых преклонение перед арифметикой и политической экономией выходит за пределы здравого смысла (а уж о такой глупости, как человеколюбие, говорить нечего!), люди, которые с помощью этих двух наук могут оправдать все на свете, с легкостью докажут, что явления, о которых мы пишем, вполне закономерны и что их не следует принимать близко к сердцу. Я не желаю ни на минуту порочить то разумное, что есть в этой необходимейшей из наук, но вместе с тем решительно и с отвращением отвергаю безумные выводы, которые подчас делают из этой науки. И слова свои я обращаю к тем, кому дорог дух Нового завета, к тем, кто принимает подобные уличные сценки близко к сердцу, к тем, кто считает их позорными.

26 января 1856 г.

ДРУГ ЛЬВОВ

Я нахожусь в студии одного из своих друзей, познания которого в области царства животных и птиц считаются непревзойденными, и каждая современная картинная галерея, каждый магазин эстампов, как у нас, так и за границей, свидетельствуют о его тесном знакомстве с миром зверей.

Мой друг пригласил меня позировать ему в качестве натуры для крысолова. Я чувствую себя чрезвычайно польщенным и восседаю перед ним в образе представителя этой избранной профессии, пожалуй в слишком близком соседстве с устрашающим бульдогом.

Мой друг, как это легко догадаться, состоит в самой тесной дружбе со львами Лондонского зоологического сада в Риджент Парке. И, стоя перед мольбертом и водя с присущей ему энергией и легкостью кистью по холсту, он высказывает в защиту дорогого его сердцу царственного семейства дружественное порицание Зоологическому обществу.

«Вы замечательное общество (говорит мой друг, подрисовывая то мою голову, то голову бульдога), вы совершили настоящие чудеса. Ведь именно ваше общество создало в Англии превосходнейший национальный зверинец, к тому же вы сделали его открытым и доступным для широких народных масс, что заслуживает наивысшей похвалы. Ваше

общество, постоянно имея самого тактичного и учтивого представителя в лице превосходного Митчела, несомненно, служит интересам публики.

Так почему же при этом (продолжает мой друг) вы так дурно обращаетесь с вашими львами?»

Выдвигая столь серьезный упрек, мой друг строже, чем обычно, смотрит на бульдога. Бульдог немедленно съеживается и проявляет явное замешательство. Все собаки чуют, что моему другу известны их тайны и что пытаться его провести — бесполезно. Стоит только моему другу пристально посмотреть на бульдога, как совесть немедленно напоминает тому о последней совершенной им низости. «И тебе не стыдно?» — говорит мой друг бульдогу. Бульдог нервно облизывается, моргает красными глазками и начинает переступать на своих кривых лапках, являя собой самое жалкое зрелище. Сейчас он так же мало похож на самого себя, как и представители той замечательной породы, которую французы именуют bouledogue.

«Ваши птицы (продолжает мой друг, возвращаясь к своей работе и снова обращаясь к Зоологическому обществу) так же счастливы, как день,— он собирался было сказать «долог», но, взглянув в окно, закончил: — короток. Их образ жизни хорошо изучен, их потребности всецело приняты во внимание,— чего им еще желать? Перейдем от птиц к тем представителям вашей коллекции, которых мистер Роджерс имел обыкновение называть «нашими бедными родственниками». Я, конечно, имею в виду обезьян. Для них создан искусственный климат. Они наслаждаются обществом себе подобных. Их окружают сородичи и друзья. В их клетках устроены выступы, чтобы они могли на них вскакивать, и углубления, где можно прятаться. В их гостиных с потолков спущены изящные веревки, на которых они раскачиваются ради собственного удовольствия, вызывая восхищение прекрасного пола и давая наглядные уроки пытливому подрастающему поколению. Теперь перейдем от наших бедных родственников к животным — к гиппопотаму. Это еще что такое?»

Последний вопрос обращен уже не к Зоологическому обществу, а к бульдогу, который покинул свое место и собирается улизнуть. Переложив кисть в левую руку, в которой он держит палитру, мой друг подходит к буль-

догу и бьет его по морде. При всей уверенности моей в могуществе моего друга, я жду, что бульдог в следующее же мгновение вцепится ему в нос. Но бульдог остается заискивающе вежлив и даже готов бы был вильнуть хвостом, если бы ему не отрубили его в детстве.

«Итак, перейдем, как я говорил (спокойно продолжает мой друг, снова вернувшись к мольберту), от наших бедных родственников к гиппопотаму, этому воплощению изысканности. Как вы позаботились о нем? Мог ли он мечтать о такой вилле на нильских берегах, какую ему выстроили на берегу канала в Риджент Парке? Разве в его родном Египте у него могли быть столь роскошно обставленные гостиная, кабинет, ванна, купальня и просторная площадка для игр, и все это всегда готовое к его услугам? Уверен, что нет. А теперь я попросил бы вашу администрацию и ваших натурфилософов последовать за мной и взглянуть на львов».

Мой друг хватает кусок угля и тут же набрасывает на чистом холсте, натянутом на соседнем мольберте, благородную чету львов. Бульдог, который после полученной оплеухи снова почтительно восседает на своем месте, выражает явное беспокойство, опасаясь, как бы эта новая затея не обернулась против него.

«Вот,— говорит мой друг, отбрасывая в сторону уголь,— вот они. Величественные король и королева четвероногих. Британский лев перестал быть символической фигурой в гербе Британии. Теперь эта королевская чета каждый год приносит нам настоящего британского льва. И как же, при всех неограниченных возможностях, знаниях и опыте, имеющихся в вашем распоряжении,— как же вы обращаетесь с жемчужиной вашей коллекции? Я изо дня в день наблюдаю, как эти царственные благородные звери покорно влачат жалкое существование в тесных клетках, где едва можно повернуться и где в самую бурную погоду они ничем не защищены от северо-западного ветра. Взгляните на изумительную форму их лап, в совершенстве приспособленных для прыжков и скачков. Скажите же, какая почва, по вашему мнению, меньше всего приспособлена безграничной мудростью самой природы для таких лап? Пожалуй, голый, жесткий дощатый настил, нечто вроде корабельной палубы? Верно. Совершенно непонятно то-

гда, почему именно этот материал, а не какой-нибудь другой, вы решили выбрать для устройства пола в их клетках?

Ради всего святого! (восклицает мой друг, немало переполошив бульдога) ведь есть же у кого-нибудь из вас дома кошка? Сделайте одолжение, понаблюдайте как-нибудь за кошкой в поле или в саду в ясный солнечный день,— посмотрите, как она роется в земле, катается в песке, нежится на траве, как она наслаждается, выбирая каждый раз новое ложе и устраивая его поуютнее. Сравните фактуру и форму почвы с однообразным, неестественно ровным и лишенным упругости топорным образцом плотничьего ремесла, по которому эти великолепные звери угрюмо ходят взад и вперед и сталкиваются друг с другом по двести пятьдесят раз в час. Просто непостижимо (продолжает мой друг), как вы при вашем знании животных можете называть эти доски или это неуклюжее дощатое сооружение, напоминающее выдолбленное корыто,— ложем, предназначенным для созданий с таким телосложением и с такими привычками,— ложем льва и львицы, на котором они, как бы ни старались, не могут не набивать себе синяков.

Понаблюдайте опять-таки за вашей кошкой. Посмотрите, как она укладывается спать. Видали ли вы, чтобы кошка или любая живая тварь улеглась бы спать, не перевернув всю свою подстилку, пока она не найдет наиболее удобного положения? И разве сами вы, члены Зоологического общества, не поправляете и не взбиваете подушку, устраиваясь поудобнее в постели? Судите же сами, какие муки терпят эти величественные животные, которым вы не даете возможности выбора, которых вы лишаете свободы и которым предоставляете в качестве бессменной и неудобной постели нечто, не имеющее никакого подобия в их жизни в природных условиях. Если вы не представляете себе, какие страдания они терпят по вашей милости, сходите в зоологический музей, где хранятся скелеты львов и других представителей кошачьей породы, живших в неволе при подобных же обстоятельствах; вы обнаружите, что все они в мозолях и в наростах в результате длительного лежания на неестественной и неудобной поверхности.

Я не хочу злоупотреблять вашим вниманием и говорить о пище моих царственных друзей (продолжает маэстро), но и тут вы совершаете ошибки. Уверяю вас, что даже самые педантичные львиные семейства в природных условиях не обедают ежедневно точно в одно и то же время и не держат в кладовой постоянного запаса одного и того же сорта мяса. Тем не менее я охотно сниму этот вопрос, если вы в свою очередь согласитесь снять ваши дощатые настилы».

Сеанс окончен. Мой друг снимает с пальца палитру, откладывает ее вместе с кистью в сторону и, прекратив свою обвинительную речь по адресу Зоологического общества, отпускает меня и бульдога.

Подойдя к нам и получив, наконец, возможность поближе разглядеть торс бульдога, мой друг перевертывает эту модель, как какую-нибудь глиняную фигурку (а ведь дотронься я до собаки хотя бы мизинцем, она тут же вцепится мне в глотку), и изучает бульдога, ничуть не заботясь о том, насколько это приятно или удобно бульдогу. И после того, как бульдог смиренно выносит всю эту процедуру, ему указывают на дверь.

«Итак, завтра ровно в одиннадцать,— говорит мой друг.— Не то тебе попадет». Бульдог почтительно ретируется.

Выглянув в окно, я вижу, как он пересекает сад в сопровождении своего хозяина, человека необычайной болезненной внешности, с черной повязкой на глазу (мой прототип, по-видимому); и вот он снова — тот свирепый и дерзкий бульдог, которому ничего не стоит по дороге домой загрызть какую-нибудь встречную собачонку.

2 февраля 1856 г.

ПОЧЕМУ?

Мне хочется задать здесь несколько вопросов, над которыми я время от времени ломаю голову. Я намерен задать их не потому, чтобы ожидал получить на них ответ, а просто в утешительной мысли, что, быть может, среди моих читателей найдется тысяча-другая, которой подобные вопросы приходят на ум.

Почему молодая женщина приятной наружности, аккуратно одетая, с блестящими, гладко причесанными волосами, к какому бы сословию она ни принадлежала раньше, как только ее поставят за прилавок буфета железнодорожной станции, начинает видеть свое назначение в том, чтобы всячески меня унижать? Почему она оставляет без внимания мою почтительную и скромную мольбу о порции паштета из свинины и чашке чая? Почему она кормит меня с таким видом, словно я — гиена? Чем навлек я на себя неудовольствие этой барышни? Неужели тем, что зашел сюда подкрепить свои силы? Но странно ей обижаться на это, ведь она не могла бы следовать своему призванию, если бы я и другие пассажиры не являлись к ней со смиренной просьбой разрешить пам истратить немного денег! Впрочем, никаких иных неприятностей я ей не причинил. Почему же она ранит мою чувствительную душу и говорит со мной так сердито? Или у нее нет ни родных, ни друзей, ни знакомых и ей не с кем ссо-

риться? Почему она решила избрать своим естественным врагом именно меня?

Почему рецензент или просто писатель, напичкав себя какими-нибудь редкими сведениями, сообщая их читателю, должен непременно присовокупить, что «это известно любому школьнику»? Еще на прошлой неделе он и понятия не имел обо всем этом сам, почему же он не может обойтись без того, чтобы не хлопнуть этой шутихой над ухом читателя? В нашем обиходе распространено множество самых фантастических предположений, но изо всех них самой загадочной кажется мне эта вера в универсальную осведомленность школьника. Школьник знает расстояние от Луны до Урана с точностью до дюйма. Школьник знает все какие ни есть цитаты из греческих и латинских классиков. Вот уже два года, как школьник свободно показывает на карте самые потаенные закоулки России и Турции, а еще несколько лет назад этот географический феномен поражал нас своей блистательной осведомленностью относительно золотоносных районов Австралии. А если бы завтра у нас в стране началось движение против принятой системы денежных знаков, этот же чудовищный школьник посрамил бы всех нас легкостью, с какой он постиг самые сокровенные тайны финансовой науки. Мы почти уже избавились от ирландца, который в течение многих лет выручал нас и оказывал великую услугу обществу, давая возможность любителям анекдотов преподносить их с помощью вводной фразы: «Как сказал ирландец». Мы совсем уже избавились от француза, столько лет сотрудничавшего с ирландцем. Неужто нам так никогда и не избавиться от школьника?

Допустим, так и быть, что «Придворная хроника» есть институт, способствующий просвещению свободного народа, но почему же самому отъявленному злодею и именно благодаря злодеянию, которое он совершил, почему ему посвящается отдельный выпуск «Придворной хроники»? Почему мне постоянно сообщают о том, как прекрасно держится негодяй, какая у него непринужденная походка, какая милая улыбка, как снисходителен и мягок он в разговоре, как глубоко убежден в собственной невиновности — настолько глубоко, что ему удается это убеждение поселить в нежных сердцах простодушных,

яко агнцы, тюремщиков,— почему я должен выслушивать рассказы о том, как полный непоколебимой веры, с библией и молитвенником в руке, прохаживается он по тюремному двору, из которого, чего я ото всей души желаю, ему не будет иного пути, нежели на виселицу? Почему меня пичкают до одурения этими тошнотворными подробностями всякий раз, когда появляется преступник, совершивший злодеяние достаточно гнусное, чтобы доставить ему славу? Почему считается, что я не знаю всего этого заранее, почему думают, что мне никогда в жизни не доводилось купаться во всей этой грязи? Разве вся эта отвратительная комедия не преподносилась мне, без малейших отступлений, пятьдесят раз и более? Как будто я не знаю ее наизусть — начиная с сообщения «малоизвестного публике факта» — о том, каким уважением пользуется Шармер в графстве Шаро́мпокати, и кончая горячей, исполненной ораторских красот речью Пилкинса, адвоката означенного Шармера, в которой он учит присяжных уму-разуму и обрушивает громы священного гнева на это возмутительное свойство человеческой природы — протестовать против гнуснейшего убийства, какое только можно себе представить!

Почему же, почему же мне снова и снова преподносят эту «Придворную хронику» Ньюгета, словно настоящей «Придворной хроники» недостаточно для того, чтобы я с должным смирением чувствовал себя независимым, гордым, благородным и счастливым?

Почему, когда мой приятель N спрашивает другого моего приятеля NN, знаком ли он с сэром Гайлсом Скроггинсом, почему NN непременно отвечает, что в некотором смысле и до некоторой степени он с ним, можно сказать, встречался? Ведь NN знает не хуже меня, что он с сэром Гайлсом Скроггинсом незнаком,— почему же так прямо и не сказать? Ведь можно же не знать сэра Гайлса Скроггинса в лицо и при всем при том оставаться человеком! Иные даже заявляют, что возможно отличиться без ведома и помощи сэра Гайлса Скроггинса. А кое-кто идет еще дальше и утверждает, что можно даже рассчитывать на место в раю, не будучи представленным сэру Гайлсу Скроггинсу. Почему же тогда не сказать решительно и твердо: «Я совсем не знаком с сэром Гайлсом

Скроггинсом и ни разу не испытывал нужды в знакомстве с сим блистательным джентльменом»?

А когда я прихожу в театр, почему там все так условно и не имеет ни малейшего сходства с жизнью? Почему сценический обычай должен быть путеводной звездой театрального искусства? Почему барон, или генерал, или почтенный управляющий, или маленький старик фермер называет свою дочь непременно «дитятей»? Ведь они прекрасно знают, что никаких «дитятей» не существует нигде, кроме как на подмостках? В жизни мне не приходилось встречать старых джентльменов, которые хлопали бы себя левой рукой по боку, впадали в пресмешную белую горячку и восклицали: «Ну что ж, негодник, так ты женишься на ней?» Между тем стоит мне увидеть на сцене старого джентльмена в плаще с пелериной, как я знаю наперед, что это неминуемо случится. Ну за что же осужден я вечно смеяться, взирая на эту забавную сценку, почему мне никогда не удается увидеть что-нибудь неожиданное?

Почему собрание из шестисот государственных мужей * пытается — из столетия в столетие — картинно скрещивать руки на груди? Ведь последние двадцать парламентов посвятили все свои силы изучению этого изящнейшего из искусств. И мне доводилось часто слышать от сенаторов — то от одного, то от другого — о каком-то бывшем их сотоварище, лучше которого «никто,— так они утверждали,— во всем парламенте, не умел скрестить руки на груди». Я видел людей, вдохновленных высоким честолюбием, которые на всех заседаниях изучали, как складывают руки на груди министры. Я знавал неофитов, которые гораздо больше пеклись о том, чтобы должным образом скрестить на груди руки, нежели о том, чтобы высказать свои политические взгляды и закруглить свои стройные периоды. Невозможно исчислить весь тот вред, который причинил мистер Каннинг *, когда он решился позировать художнику с руками, скрещенными на груди. С того часа и по нынешний не было еще члена парламента, который не стремился бы принять ту же позу. Слов нет, изящно, изысканно и картинно скрещивать руки на груди — это искусство. И все же мне кажется, что даже успех, которого достигают в этом искус-

стве, не может служить достаточной компенсацией за те усилия и муки, которых оно требует.

Почему мы так любим именовать себя «народом сугубо практичным»? Такой ли уж мы в самом деле «сугубо практичный народ»? Все эти предприятия, субсидируемые казной,— может быть, в них проявляется этот наш сугубо практический дух? В том, как мы возводим наши общественные здания, как содержим общественные заведения, строим новые улицы, водружаем мемориальные колонны и эти наши чудовищные памятники? Разумеется, нет! Но, позвольте, зато у нас имеются железные дороги — плод личной предприимчивости, и это поистине грандиозные сооружения. Согласен. Впрочем, свидетельствует ли то обстоятельство, что нашей системе приходится выбрасывать сотни тысяч фунтов на ветер, то есть на тяжбы и взятки, прежде чем удается проложить один-единственный дюйм железнодорожного полотна, свидетельствует ли это обстоятельство о нашей сугубой практичности? А вот еще одно яркое доказательство нашей сугубой практичности: мы вкладываем свои сбережния в строительство железных дорог, а в итоге, какую статью ни взять — прибыль, удобство публики, комфорт, администрирование — мы всюду прогадываем в сравнении с железными дорогами, проложенными по ту сторону Пролива, в каких-нибудь двадцати пяти милях от нас. И это несмотря на известные неудобства, проистекающие вследствие нестабильности правительства и атмосферы общественного недоверия. Почему мы так любим хвастать? Если бы житель какой-нибудь другой планеты спустился на землю где-нибудь в районе Норвича, взял билет первого класса на Лондон, посидел бы на заседании Железнодорожного общества Восточных графств на Бишопсгейт-стрит, затем отправился бы от Лондонского моста в Дувр, переплыл Па-де-Кале, из Кале проехал бы в Марсель и наконец в конце своего путешествия получил бы точный отчет о железнодорожных расходах и доходах по обе стороны Пролива (сравнить относительные удобства, испытанные им в пути, предоставляется ему самому), интересно, какой из двух народов назвал бы он сугубо практичным?

И с другой стороны, почему мы по лени и по инерции принимаем как должное некоторые обвинения, столь же

мало обоснованные, как и наше хвастовство? Мы являемся сугубо сребролюбивым народом. Допустим, что и так. Однако за одну неделю, проведенную под сенью звезд и полос, я слышал больше разговора о деньгах, нежели за год, прожитый под британским флагом. Погуляйте по улицам Парижа часа два, и в обрывках разговоров вы услышите слово «деньги» гораздо чаще, чем если бы целый день пробродили между Темпл Баром и Королевской биржей. Я отправляюсь в «Théâtre Français», занавес поднят; ставлю пятьдесят против одного, что первые же слова, которые я услышу со сцены, не успев еще как следует усесться в кресло, будут: «пятьдесят тысяч франков». У нее приданое в пятьдесят тысяч франков, у него — годовой доход в пятьдесят тысяч франков... Ставлю пятьдесят тысяч франков, что это так, дорогая Эмили... я только что с Биржи, моя небесная Диана; где я выиграл пятьдесят тысяч франков... Один за другим захожу я в театры на Бульваре. В «Variétés» два враждующих племянника всячески угождают старой тетушке, ибо у нее пятьдесят тысяч франков годового дохода. В «Gymnase» я застаю английского премьер-министра (в сопровождении своего верного слуги Тома Боба, разумеется) в тяжелейшей переделке — следствие неблагоразумной спекуляции миллионами франков. На подмостках в «Porte Saint Martin» я встречаю весьма живописного субъекта, совершившего убийство, чтобы завладеть шкатулкой, в которой хранились пятьдесят тысяч франков. В «Ambigu» все наперебой пытаются друг друга отравить из-за пятидесяти тысяч франков. В театре «Lyrique» я слышу, как полный старик, стройный молодой человек и пикантная дамочка с очень подвижными бровями втроем распевают весьма лаконичную песенку: «пятьдесят тысяч франков, ли-ра́, ла-ра́! Пятьдесят тысяч франков, динь-динь!» В «Imperial» старый генерал с рукой на перевязи, сидит с племянницей в великолепной беседке и рассказывает ей свою жизнь. Свой рассказ он заключает следующей тирадой: «В этом-то прелестном местечке, драгоценная моя Жюли, и поселился, выйдя в отставку, твой дядя, хранящий постоянную верность своему Императору; я привез сюда все, что имел: свою обожаемую Жоржетт, эту раненую руку, этот славный крест, любовь к Франции, неуга-

симую память о моем господине — Императоре, и пятьдесят тысяч франков». После этого театра суммы начинают довольно резко сокращаться, так что когда я попадаю к концу в «Funambules», Пьерро — к великому удовлетворению собравшихся блуз — облапошивает своего приятеля всего лишь на сто франков. И еще. Попробуйте в Англии сыскать старую даму, которая в искусстве глотать деньги — мои, ваши, чьи угодно! — могла бы потягаться с собирательным образом старой француженки. Между тем я берусь раздобыть эту собирательную французскую старушку в один миг — для этого мне достаточно нырнуть в недра первого попавшегося пятиэтажного дома в Париже. Разве может кто-нибудь в Англии сравниться с этой собирательной старушкой, которая — предлагает ли она мне свою дочь в жены, сидит ли со мной в ложе театра или против меня в дилижансе, сдает ли мне комнаты, играет ли со мной партию в домино, продает ли мне зонт, словом, в какие бы отношения я с ней ни вступал,— умудряется вытянуть из меня все, что у меня есть, со свирепой точностью определяет мои денежные ресурсы и неуклонна в своей решимости разорить меня вконец? С этой собирательной французской старушкой, которая вечно одета в черное, обладает известной округлостью форм, все время говорит комплименты, пожирает все, что ей ни предложишь, и может даже закусить ножом напоследок? С этой собирательной старушкой, которая так чудовищно жадна на франки, что я теряю всякую власть над собой и жажду повергнуть к ее ногам все свое состояние и сказать: «Берите все, только не сверкайте на меня вашими голодными глазками!»

Так это мы — народ, сугубо сребролюбивый?! Почему мы говорим всякий вздор, когда эта страшная старушка только затем и существует, чтобы вздор этот опровергнуть?

Почему мы так готовы забрать себе в голову ничем не обоснованные мнения и потом скакать с ними, как бешеный конь, покуда не упремся лбом в каменную стену? Почему носимся с криками восторга вокруг офицера, который не сбежал с поля боя — точно все остальные наши офицеры сбежали? Почему вырываем себе на память волосы из хвоста его лошади? Почему следуем за его мунди-

ром? Почему надрываемся до хрипоты, прославляя всякий вздор? Почему не дадим себе труд подумать, почему не скажем друг другу: «Давайте взвесим, что хорошего сделали данный конь и данный мундир и что плохого?» Ведь лучше бы так, чем надрывать глотки затем лишь, чтобы впоследствии обнаружить, что и надрывать-то их не стоило!

Почему я должен всякую минуту быть готовым проливать слезы восторга и радости оттого, что у кормила власти встали Буффи и Будль? Я открыто заявляю, что не имею ни малейшего представления о каких-либо поступках Буффи и Будля, которые принесли бы моему возлюбленному отечеству сколько-нибудь ощутимую пользу. Между тем с такой же откровенностью я должен сказать, что видел, как Буффи и Будль (прикидываясь при этом, без особенного, впрочем, рвения, будто их волнуют принципы) прибивали свои флаги к каждому флагштоку нашего политического флота. И тем не менее я клянусь всем и всякому — так же, как и все и всяк клянутся мне, что Буффи и Будль одни в состоянии совладеть с нынешним кризисом и что среди рожденных женщиной нет никого, кто бы нас вывез в означенном кризисе, кроме Буффи и Будля. Я готов рассориться с родным сыном из-за Буффи и Будля. Мне даже подчас в минуту азарта кажется, что я готов жизнь свою положить за Буффи и Будля. Я не сомневаюсь, что в скором времени приму участие в подписке на памятник Буффи и Будлю. Любопытно бы узнать, почему я веду себя именно таким образом? Я совершенно искренен — но все же: почему?

Интересно, почему я так радуюсь, когда вижу, как ученые судьи прилагают все усилия к тому, чтобы не дать подсудимому высказать правду? Если цель процесса — установить истину, может быть, было бы не менее полезно услышать ее из уст подсудимого, нежели заведомую ложь из уст его адвоката? Интересно, почему я берусь утверждать с восторгом и волнением, что допрашивать самого подсудимого было бы «не по-английски»? Ведь если допрос ведется в рамках справедливости, то подсудимого, если только он не лжет преднамеренно, никто сбить не может, и напротив, если он лжет, разве не следует его сбить как можно скорее? Почему это выражение «не по-англий-

ски» имеет столь магическое действие на меня, и почему я считаю его решающим в любом вопросе? Двенадцать месяцев назад считалось «не по-английски» не вешать собственных солдат. Тридцать лет назад было «не по-английски» не вешать людей дюжинами каждый понедельник. Шестьдесят лет назад было «не по-английски» вставать из-за стола трезвым. Сто лет назад было не «по-английски» не любить петушиные бои, кулачные бои, собачьи бои, бои быков и прочие варварские развлечения. Почему я принимаю это выражение, как окончательное и исчерпывающее, не взяв на себя труд спросить себя, что же оно означает? Я ни на минуту не хочу отрицать сам факт, то есть что каждый день моей жизни проходит под знаком этого слова; я только спрашиваю — почему?

С другой стороны, почему я так терпеливо отношусь ко всевозможным явлениям, которые в самом деле не достойны англичан? Неужели только потому, что на них не проставлен этот ярлык? Один мировой судья заявляет мне, что я принадлежу к народу пьянчужек. Все англичане — пьяницы, таков судейский припев. Другой мировой судья провозглашает со своего судейского места чудовищную чушь, будто всех, кто подает милостыню на улице, следует штрафовать за такое преступление. И это он объявляет христианам, положив руку на Новый завет, который, надо полагать, служит ему лишь бутафорией для приведения свидетелей к присяге. Почему мое столь чувствительное национальное достоинство не оскорбляется всем этим? Мой конек шарахается при виде теней; почему же он так спокойно ковыляет мимо рекламных фургонов, управляемых болванами в поисках славы?

Почему? С таким же успехом можно спросить, почему я заканчиваю на этом, когда у меня подобных «почему» бесконечный список?

1 марта 1856 г.

ПРОЕКТ ВСЕБРИТАНСКОГО СБОРНИКА АНЕКДОТОВ

За последние два года было установлено, что единственное, в чем нуждается Англия, это государственный потешник. Будь в ее распоряжении сей высокопоставленный чиновник, который игриво тыкал бы ее под ребра в тех случаях, когда она считает себя больной, и с веселыми ужимками отмахивался бы от нее, когда она принимается издавать стоны, и она неминуемо вступила бы на стезю процветания. Усомниться в этом, значило бы впасть в ересь, каковую мы и будем впредь распознавать именно по этому признаку.

Это открытие оказало столь живительное воздействие на мои патриотические чувства и национальную гордость, что, осуществляя сию грандиозную идею, я составил проект восстановления у нас устарелого института придворного шута. Содержание его обошлось бы дешевле, чем содержание первого лорда потехи, и сулило нам более веселые забавы, чем те, что исходят из ведомства последнего. Основою моего проекта послужил план, который я составил несколько лет тому назад, имея целью возродить к жизни должность шута при лорд-мэре: могу сообщить, что план этот, несомненно, был бы принят городом Лондоном, если бы столь высокое учреждение, как муниципальный совет, не изъявило желания взять на себя исполнение шутовских обязанностей и всеми своими речами, обращенными к великим мира сего, не поддерживало бы в нашей публике

уверенность, что этими обязанностями оно отнюдь не пренебрегает.

Однако предмет, на котором я намерен здесь остановиться, не имеет касательства ни к одному из упомянутых здесь мною хитроумных (да будет мне позволено употребить это слово) планов. Речь идет об ином, гораздо более значительном проекте, о составлении Всебританского сборника анекдотов.

Осмелюсь предположить, что едва ли найдутся люди, которые не замечали бы, какими обильными данными мог бы со дня на день пополняться такой сборник. Парламентские дебаты, прием депутаций в государственных учреждениях, процедуры следственного суда, сообщения в печати о всяческих знаменитостях, все это так и искрится комизмом. И не позорно ли, что столь чувствительная к юмору нация, как наша, до сих пор не обзавелась солидной энциклопедией, где были бы собраны все эти сокровища веселья, где они могли бы сберегаться для потомства и со временем, быть может, были бы внесены синьором Паницци * в каталог Британского музея.

Мое предложение сводится к тому, чтобы для составления Всебританского сборника анекдотов была незамедлительно созвана постоянная ученая комиссия, в которую входило бы не менее сорока членов, отобранных из числа младших сыновей, племянников, двоюродных братьев и родичей аристократов, из которых каждому было бы положено жалованье в размере двух с половиной тысяч фунтов в год, не облагаемых подоходным налогом. При назначении членов комиссии предпочтение надлежит отдавать тем молодым дворянам (как знатным, так и незнатным), кои менее всех прочих знакомы с предметом, и прилагать все усилия к тому, чтобы в комиссию не попали сведущие лица. Президентом этого совета станет, согласно своей должности, первый лорд потехи, ему же будет поручено назначение членов совета. Совет будет заседать так редко, как он сочтет нужным. Кворум нежелателен. А первого апреля каждого года совет будет выпускать годичный сборник британских анекдотов in quarto[1], цена десять фунтов за том.

---

[1] В четвертую долю листа *(лат.)*.

Я предвижу, что последний пункт вызовет возражения в связи с тем, что предполагаемая цена книги слишком-де высока и что продажа Всебританского сборника анекдотов не возместит государству расходов, затраченных на его издание. Но я сразу же устраняю эти возражения, объявив, что одна из главных моих идей именно в том и заключается, чтобы превратить сию драгоценную публикацию в источник неограниченного приращения наших общественных сумм, и что для этого надо лишь добиться постановления парламента о принудительной продаже сборника всем домохозяевам, с коих ежегодно взимается по двадцать пять фунтов на нужды бедняков. Проведение этой меры я поручил бы мистеру Фредерику Пилю, нашему уважаемому товарищу военного министра, чьи скромные дарования, миролюбивый нрав и поразительные успехи, которых он добился в деле расквартирования солдат во всех частных домах Шотландии, делают его в наших глазах наиболее подходящим для этой цели.

Поскольку в закрытых школах для детей привилегированных классов живые языки не в почете, и поскольку идея издавать британский сборник на языке британцев не лишена некоторой целесообразности (хотя язык этот слишком прост и доступен), может возникнуть необходимость подвергнуть труды ученой коллегии некоей проверке накануне того, как ее творение будет окончательно подготовлено к печати. Такую проверку я поручил бы Королевскому литературному фонду, ибо обнаружил, что в каком-то из его комитетов есть один преподаватель литературы. Не худо было бы первый том Всебританского сборника анекдотов снабдить рассказом о деятельности сего процветающего учреждения (с объяснительными заметками, которые растолковали бы нам, как ухитряется оно израсходовать сорок фунтов для того, чтобы выдать одну сотню); о возглавляющем его совете, который никогда не собирается и созвать который не способна никакая сила в мире; о его хваленом уменье хранить тайны, когда любой издатель в любое время может получить официальные сведения о бедственном положении литератора; и о том, что оно являет собой превосходный образец шутки.

Манера повествования Всебританского сборника анекдотов, этого хранилища избранных образцов остроумия и юмора, должна быть строго ограничена прецедентом (как и все, находящееся в пределах Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии). В Британском сборнике ни под каким видом не будет допущено ни малейшего отклонения от принятой методы. Если добрый старый стиль был пригоден для наших предков, он сгодится и для нас и всех последующих поколений. Стремясь придать своим предложениям практичность, законченность и простоту, я привожу здесь несколько образчиков того стиля, который надлежит сохранять во Всебританском сборнике анекдотов.

Коль скоро в прецедентах встречается фиктивное лицо, именуемое Томом Брауном, в уста которого вложены все те остроумные замечания, кои было бы затруднительно приписать кому-нибудь другому, я считаю совершенно необходимым прибегнуть к такому же вымыслу и в нашем сборнике. В качестве Тома Брауна Всебританского сборника я предлагаю утвердить некоего мистера Буля, лицо вымышленное.

Предположим, к примеру, что в текущем, 1856 году труды ученой комиссии были бы сведены к изложению анекдотов, имевших место в апреле месяце сего года. Тогда составителям сборника надлежало бы следовать нижеприведенным образцам.

БУЛЬ И ЧЛЕН ПАРЛАМЕНТА

Некий шутник, в палате общин заседавший, нанес сокрушительный удар вакцинации, каковая, будучи более полувека тому назад доктором Дженнером в обиход введена, многие тысячи людей от преждевременной кончины, страданий и обезображивания оградила, в чем до последнего времени ни люди разумные, ни дураки нимало не сомневались. «Ибо,— заявил он,— затея сия неудачна и грозит нам смертью». Некто, мистера Буля повстречавши, о превосходном этом спиче ему поведал, равно как и о том, что от изумленных слушателей никаких откликов на оный не последовало. «Ну еще бы! — мистер Буль в великой горе-

сти воскликнул.— Вот ежели бы там депутат от Ниневии имя какого-нибудь гвардейского корнета перепутал, то-то было бы крику!»

Еще один пример:

БУЛЬ И ЕПИСКОП

Некий епископ, согласно своему сану благочестивый и ученый служитель божий, на деле же не то дурак, не то попросту грубиян и бесстыдник, печатал нечестивые письма, в коих людей всяческими гнусными словами обзывал, как-то: «дьявол», «лжец» и тому подобное. Ученый муж из Кембриджа, с Булем повстречавшись, спросил его, из какой семьи сей епископ происходит и кто ему роднею доводится. «Этого я не знаю,— воскликнул Буль,— но могу поклясться, что он не ведет свой род ни от апостолов, ни от их Учителя».— «Как же так? — кембриджский ученый муж вопрошает.— Ужели он к Ловцам рыбы никоим образом не причастен?» — «Причастен,— ответствует Буль,— но не более, чем рыночные торговки рыбой».— «Однако ж,— кембриджский муж возражает,— я полагал, что он в мертвых языках силен».— «Это возможно,— ответствует ему Буль,— но в живых он весьма слаб, ибо не умеет ни писать на своем языке, ни держать его за зубами».

Время от времени Буля, равно как и Тома Брауна из прецедентов, дóлжно изображать жертвою его собственного простодушия, лишив его при этом той находчивости, каковую он проявлял в вышеприведенных эпизодах. Ученой комиссии, составляющей Всебританский сборник, надлежит придерживаться следующего образца:

БУЛЬ ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Как-то, едучи с базара на крепенькой своей галловейской лошаденке, повстречал Буль на Тайвертонской большой дороге пешего разбойника в солдатском мундире (по всему видать, стреляный воробей). Оный разбойник не токмо отобрал у Буля все, что у него с собою было, но и принялся глумиться над ним, говоря: «А шиш вот тебе, да я тебя вокруг пальца обведу, да я могу тебя, что ни день,

за нос водить»,— и тут же дерзко последнюю свою угрозу в исполнение привел, отчего у Буля вся кровь в голову бросилась. «Скажи на милость,— спрашивает он кротко,— на что нужны тебе мои деньги?» — «На то, чтоб вести нещадную войну с хищными птицами, кои налетают на твои владения»,— лицемерно ответствует сей молодчик, которого Буль и вправду нанял распугивать всю эту нечисть, когда, увидев, что на его ферме нет ни одного исправного мушкетона и все силки пришли в негодность, принялся наводить там порядок, за каковую оплошность ему и пришлось теперь платить полною мерой. «Полно, да ведешь ли ты ее?» — вопрошает его Буль. «А это уж не твоя забота»,— ответствует молодчик и вновь хватает Буля за нос. «Да ты ведь ни разу и в цель-то не угодил,— восклицает Буль.— Такова-то твоя нещадная война?» — «Да!» — выкрикивает молодчик и снова дергает Буля за нос. «Ты покалечил самых лучших и самых храбрых ребят, которых я посылал на поля,— восклицает Буль,— уж не это ли твоя нещадная война?» — «Да!» — вопит молодчик и еще раз дергает Буля за нос. «Ты свалил мне на голову самую тяжелую и самую постыдную книгу во всей моей библиотеке; она была в синем переплете и называлась «Падение Карской крепости» *,— говорит Буль.— Это тоже нещадная война?» — «Да»,— отвечает молодчик и опять дергает Буля за нос. «Ну, ежели так,— отпуская поводья, шепнул Буль на ухо своей лошаденке,— давай-ка потрусим прочь полегоньку; ибо, на мой взгляд, это единственный верный путь к процветанию, который нам с тобою остался». И улизнул незаметно.

Временами, разнообразия ради, ученая комиссия могла бы прибегать к форме диалога. Образец будет дан ниже; предполагается, что во всех приведенных нами образцах речь идет о событиях, имевших место в апреле нынешнего года.

ДИАЛОГ МЕЖДУ БУЛЕМ И ЗНАТНОЙ ПЕРСОНОЙ

З. П. Ну, каково поживаешь, Буль?

Буль. Мое нижайшее почтение вашей милости. С всемилостивейшего соизволения вашего сиятельства... мм... ничего-с.

З. П. А тем паче сейчас, когда мы прочный, длительный и славный мир заключили. А, Буль?

Буль. Гм!

З. П. Ну и неблагодарный же ты пес, Буль! Тебе что же, этот мир не по нутру пришелся?

Буль. Сохрани боже нижайшего и покорнейшего слугу вашей светлейшей милости. Просто думал я (с позволения вашей милости) о том, как бы нам получше сохранить его.

З. П. О том не тревожься. У нас будет большая регулярная армия и огромный флот, где вдоволь найдется плохоньких, сомнительных и незавидных местечек для всех твоих друзей и родичей.

Буль. Ну, а как насчет выгодных местечек, ваша светлейшая милость?

З. П. Гм! *(Смеется.)*

Буль. Дозвольте словечко молвить, ваша высокая честь.

З. П. Ну что ж, только поживее, Буль, да не мудри. Терпеть не могу, когда на меня тоску наводят.

Буль. Покорнейше благодарю ваше сиятельство за милостивейшее разрешение. О том, что будет нужда и в армии и во флоте, мне известно. Однако ж, думал я (ежели будет на то соизволение вашей милости) о том, что мои добрые друзья и союзники — французы, в большие отряды объединившись, на поле битвы в полнейшем друг с дружкой согласии выступать способны и к обращению с оружием привычку имеют.

З. П. *(нахмурившись)*. Воинственная нация. Не для нас это все, Буль, не для нас.

Буль. Осмелюсь нижайше молить, ежели будет на то снисхождение вашей милости, дозволить мне почтительнейше представить на рассмотрение вашей сиятельной особы некие мои размышления. Замечено мною, что таковое уменье присуще не токмо друзьям моим французам, но (каждому в своей мере) всем прочим народам, в Европе обитающим. Англичане же суть единственная нация, каковой свойственно полнейшее неуменье выступать в защиту самих себя, детей своих, жен и земли родной. И ежели будет на то великодушное разрешение вашей светлейшей милости, я бы сказал, что ваша светлейшая милость вот уже

несколько лет обезоруживает и обескураживает доблестных британцев. Охотничьи заповедники и политические суждения вашей светлейшей милости немало способствовали тому...

З. П. *(прерывая его)*. Полно, Буль. Уморил. Будет тебе.

Буль. Ежели ваша милость почтит меня своим благосклонным вниманием, я кончу сию же минуту. Я хотел только смиреннейше указать вашему сиятельству на то, что ежели бы ваша пресветлая милость в своей благости сочла возможным по случаю заключения мира хоть немного на своих земляков положиться, чуть больше поверить в их любовь к отечеству своему и преданность государю, побольше думать о крестьянах и поменьше о фазанах, и ежели бы ваше сиятельство снизошли со своей недосягаемой высоты к тому, чтобы поощрить английское простонародье стать массой, из коей будет вылеплено столько солдатиков, сколько необходимо для безопасности всей империи нашей, благодаря чему британцы бы на равной ноге с французами, пьемонтцами, германцами, американцами и швейцарцами оказались, то ваше сиятельство тем самым своевременно совершили бы весьма благое деяние, тогда как в противном случае, как бы поспешно ни изволила ваша милость наверстывать упущенное, было бы уже слишком поздно что-либо исправить, и сие есть неизбежно, как смерть (да простит мне ваше лордство такое сравнение).

З. П. *(зевая)*. Убирайся-ка отсюда, Буль, Христа ради. Ты просто смутьян или уж не знаю кто. Да и надоел к тому же.

Буль. Почтительнейше благодарю ваше сиятельство за благосклонное внимание. (Удаляется с глубокими поклонами, всем своим видом показывая, сколь высоко ценит он ту снисходительность и любезность, с какой была ему дарована столь почетная аудиенция.)

И в заключение я предлагаю еще один образчик вниманию сорока ученых мужей из комиссии, которая, вне всякого сомнения, будет учреждена вскорости после опубликования этих заметок. Он представляет собой интерес,

ибо знакомит нас с миссис Буль и показывает, что упомянутая особа время от времени и в разумных пределах может быть допущена к участию во Всебританском сборнике анекдотов на предмет выявления новых достоинств мистера Буля в матримониальном аспекте.

Пример:

ПАПИЛЬОТКИ МИССИС БУЛЬ

В оном же апреле месяце надумал Буль французскую державу посетить. И, наведавшись допреждь всего в торговое заведение почтенного Мюррея, что на Альбемарль-стрит, Пикадилли, дабы приобресть там путеводитель по земле французской, незамедлительно в путь пустился, направив стопы свои к городам Парижу и Бордо. Нежданно-негаданно в ту пору, когда миссис Буль полагала, что он в неких винодельческих землях пребывает, где отнюдь не водою себя потчует, появляется он в своем лондонском доме, а с ним изрядная телега, доверху газетами груженная. Миссис Буль, дивясь такому множеству газет, да к тому чужеземных, вопрошает его, в чем причина столь поспешного его приезда и с этакой кладью. «Сие суть французские папильотки для твоих кудрей, моя радость»,— ответствует Буль.

Миссис Буль возражает, что и сотой доли этого запаса ей бы до конца ее дней с избытком хватило. «Ну что ж,— Буль молвит,— тогда унеси их в какой-нибудь темный чуланчик, ибо, глядя на них, я со стыда сгораю».— «Со стыда?» — вопрошает она. «Да,— отвечает ей Буль.— И вот по какой причине. В ту пору, когда жил я во Франции, моя милочка, некая депутация Британское правительство посетила, дабы обсудить с ним вопрос о пошлинах на чужеземные вина. И газеты французские столь дивились смехотворному приему, каковой оной депутации был оказан, и невежественности нашего правительства, каковое ни единого здравого суждения не высказало (некое зело сведущее лицо подсчитало, что из тысячи семисот пятидесяти суждений токмо лишь одно правым оказалось), и не в силах будучи без стыда оные листки видеть, я скупил их все, какие только разыскать сумел».

Итак, мой проект Всебританского сборника анекдотов представлен на суд публики. В заключение я хочу лишь добавить, что ежели доходы от принудительной продажи сборника дадут возможность нашему просвещенному правительству избавить нас от подоходного налога, то общество окажется в выигрыше, ибо новая пошлина даст ему возможность приобрести за свои деньги нечто осязаемое и вполне реальное.

3 мая 1856 г.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРЕЗЫ

В каком же это году довелось мне последний раз провести во Франции всю зиму, не считая тех томительных часов пути, когда меня мочил дождь и хлестал ветер между берегами Англии и Франции? Когда же это все было — тот осенний день, когда я вышел утром на балкон и поздоровался с пожелтевшими и облетевшими деревьями Елисейских полей, и то прекрасное майское утро, когда я простился с их яркой и нежной зеленью?

Хоть убей, не помню! Когда я еду по железной дороге, я забываю, где и когда что было. Я не могу ни читать, ни думать, ни спать — я могу только грезить. Покачиваясь в железнодорожном вагоне, я впадаю в роскошное забытье и просто принимаю на веру, что еду откуда-то и куда-то. Мне больше ничего и не надо знать. Мысли приходят и уходят, откуда, куда, зачем — это не мое дело. Быть может, этим ведает проводник или Компания, не знаю; я знаю только одно, что я тут ни при чем. Я ничего о себе не знаю — может, я даже с луны на землю еду — откуда мне знать?

Пусть с луны. До чего же, однако, странное у этих лунян пристрастие к свежему воздуху! Я видел сам, как они выходят на улицу, стоит лишь показаться солнечному лучу, и, вытерев иней со скамеек, усаживаются на них подышать воздухом. Я видел, как через две минуты после

того, как прекратился дождь, ливший двое суток без перерыва, они вытаскивали стулья на улицу, устанавливали их тут же, в лужах, в грязи, садились на них и принимались болтать — на свежем воздухе. Я видел, как они сидят в самых непринужденных позах на чугунных скамьях подле дороги, откинувшись на спинки, между тем как ветер с востока грозится оторвать им бороды.

Я наблюдал, как они вечера напролет потягивают трубки и попивают слабенькое вино, причем насквозь пропитанный влагой холстинный навес да горстка песку под ногами — их единственная защита от черного моросящего дождика и жидкой грязи. А лунные дети! Бог ты мой, что это за порода — лунные дети! Я насчитал семьдесят одного луненка; со своими няньками и креслицами проводили они целый день на открытом воздухе подле Кафе де ля Люн в погоду, которая порадовала бы самого Ирода. Другой раз я насчитал их тридцать девять и собственными глазами видел, как они все принялись за трапезу, дарованную им природой,— тут же, под зонтиками. Двадцать трех лунят видел я скачущими через прыгалки, между тем как грязь на улице достигала трех дюймов толщины. К трем годам своей жизни лунный ребенок становится взрослым. К этому времени он уже коротко знаком со множеством кофейных заведений и пресытился трюфелями. Обедает он в шесть. Меню у него скромное: суп, рыба, два блюда закусок, овощи, холодное блюдо или паштет, жаркое, салат, сладкое и два-три консервированные персика (не считая сардинок, редиса и куска лионской колбасы — для аппетиту). Завтракает он в одиннадцать часов и при этом съедает легонький бифштекс с соусом из мадеры, почки в шампанском, немножко ливера, тарелочку жареного картофеля, заливая все стаканчиком-другим целительного бордо. Я видел, как пятилетняя девица на выданье, в весьма внушительном чепчике и кринолине, закусывая вместе со своими любезными родителями в некоем общественном заведении, напоследок выпила кофе такой крепости, что ребенок любой другой национальности тут же попал бы в руки фамильного гробовщика. Я как-то обедал у знакомых, и меня посадили рядом с луненком, который проглотил девять блюд, не считая фруктов и мороженого. Подхлестываемый пряными

соусами, он, как только переставал жевать на минуту, размахивал от восторга ложкой над головой, так что казалось, что он сидит как святой на картинке, окруженный сверкающим нимбом.

Лунная биржа являла собой странное зрелище в мое время. В те годы (хоть я и не помню, в какие именно) луняне всех чинов и разрядов играли самым бешеным образом, играли отчаянно, играли все без различия,— я не помню, чтобы где-либо и когда-либо так играли. Изо дня в день на ступенях Лунной биржи толпились разгоряченные, обезумевшие люди. Играл весь город. На лицах был написан такой азарт, что смотреть было страшно. В лунных газетах я привык без изумления читать о том, как такой-то привратник выбежал из такого-то дома и бросился в реку «оттого, что проигрался на бирже», или о том, что такой-то ограбил такого-то, ибо ему нужны были деньги для игры на бирже. По Большому Лунному Проспекту каждый день проезжали всадники на чистокровных лошадях, катались люди в изящных экипажах, обитых красным плюшем внутри, с упряжью из прекрасной белой кожи. У каждого ездока в кармане были карты и фишки. Чистокровных своих коней они кормили акциями, а за конюшни расплачивались картежными выигрышами. Жили они пышно, на широкую ногу и, покуда можно было тасовать карты, покуда не истрепалась колода, благоденствовали и процветали.

Там же почти каждый день я наблюдал удивительное зрелище. У окна сидел хорошенький ребенок и всегда махал ручкой и что-то кричал, когда мимо проезжали открытые кареты в сопровождении нарядных верховых, одетых в золото и зеленый бархат. Ни одна душа не отвечала ребенку. Бывало, случалось кому-нибудь в карете обратить внимание на него, какой-нибудь пеший взглянет в его сторону с любопытством, иностранец восхитится красотой ребенка, но в течение шести месяцев я ежедневно видел, как мимо окна проезжали в четыре ряда кареты и всадники и хоть бы раз кто-нибудь, словом либо делом, оказал ребенку настоящее внимание.

Сейчас я не одинок, хоть в детстве подчас чувствовал себя одиноким. Это, впрочем, было давно. Но для одинокого человека нет лучшего места, чем столица лунного госу-

дарства. Я в этом убедился сам, ибо нарочно, чтобы испытать, каково это, обрек себя на одиночную свободу. Я люблю иной раз прикинуться бездетным и холостым, и все никак не могу решить, что бы я почувствовал, если бы и на самом деле был одинок и получил, скажем, приглашение на обед: неужели обрадовался бы? Ведь я живу в вечном страхе получить еще одно такое приглашение, которое по слабости не сумею отклонить. Я часто наведывался в лунные рестораны один, как настоящий холостяк. Все кругом так меня и воспринимали и смотрели на меня с сожалением. Отец семейства, занимающий соседний столик с двумя мальчиками, чьи ноги никак не поддавались управлению в отведенном для них тесном пространстве под столом и все время оказывались не там, где им надлежало быть, вначале поглядывал на меня не без зависти. Когда, например, его сыновья самым неблагонравным образом набросились на сельтерскую так, что их стало распирать от нее, я заметил на челе старшего лунянина чувство недовольства и смущения. Сам я между тем величественно восседал в своем мнимом благополучии и ковырял во рту зубочисткой. Вместе с тем прелестно было наблюдать, как в конечном счете лунный семьянин одержал надо мной победу. Разве мое лицо могло так разрумяниться от съеденного мяса и выпитого вина? Разве мог я на минуту забыть о непокорных ногах его сыновей, как забыл о них он, совершенно? А когда, окончательно созрев к концу обеда, оба мальчика принялись теребить жилетку папы-лунянина (насколько я мог понять, они упрашивали его повести их в театр, который находился тут же рядом, через дом), я буквально сник под его горделивым взглядом, ибо взгляд этот говорил не менее красноречиво, чем фермер из нашей отечественной комедии: «А вы, Сквайр, черт бы вас побрал, сделайте-ка вы так, если можете!» (Замечу в скобках, что добродетельный фермер предлагает сквайру всего-навсего положить руку на сердце — впрочем, основываясь на своем личном опыте, должен сказать, что притворщики с гораздо большей легкостью кладут руку на сердце и гораздо охотнее это делают, нежели честные люди.)

В своем качестве одинокого человека я расплачивался за обед — в лунной столице счет называется «приложе-

нием» — и отправлялся куда-нибудь еще — выпить чашку кофе и выкурить сигару в специально для этого приспособленном месте. Этот обычай, впрочем, так же, как многие другие, столь же изящные и приятные обычаи, принятые между лунянами, неплохо бы перенять и нам. Далеко ходить в поисках подобного заведения — если только не быть чересчур разборчивым — не приходится. Самое большее, пройдешь домов двенадцать. Мне вспоминается весенний вечер, когда я забрел в одно такое местечко наугад, не выбирая. Улица, на которой расположена кофейня, была поуже, чем наш Стрэнд возле Сомерсет-Хауса. Дома здесь не лучше и не крупнее тех, что расположены там. Климат (мы ведь любим делать из своего климата козла отпущения) несколько месяцев был таким же холодным, сырым, а подчас почти таким же сумрачным, как климат Стрэнда. Между тем лавка, в которую я завернул, так и простояла всю зиму без передней стенки. В остальном она ничем не отличалась от какой-нибудь лавки на Стрэнде. Пол внутри посыпан песком, потолок со вкусом выкрашен, по стенам, оклеенным хорошенькими обоями, — зеркала и стеклянные газовые рожки; к услугам посетителей — круглые каменные столики, красные скамейки и табуретки. Лавку к тому же украшают две изящные корзины с цветами, стоимостью три шиллинга четыре пенса, не больше. Та часть лавки, которая у нас на Стрэнде отводится под внутреннюю комнату, здесь отделена от наружной стеклянной перегородкой; за этой перегородкой, на деревянном помосте, располагаются посетители, которые хотят читать газеты и играть в домино без клубов табачного дыма.

Там же, посреди аккуратненькой трибуны, окруженная пуншевыми мисками и колотым сахаром, восседает со своим шитьем хозяйка буфета. Я прикасаюсь пальцами к полям шляпы, и она любезно отвечает на мое приветствие. Из-за ее спины появляется официант — с веселым лицом, опрятный, бодрый, внимательный и честный; со мной он чрезвычайно вежлив и ожидает в ответ, что я буду чрезвычайно вежлив с ним. На такого не прикрикнешь — впрочем, для меня это не большое лишение, ибо у меня не было ни малейшего желания на него кричать. Он приносит мне, по моей просьбе, чашку кофе и сигару,

а кроме того, побуждаемый к тому собственным чувством такта, ставит передо мной графинчик коньяка и рюмку. Затем он дает мне прикурить и оставляет меня в покое. Благодаря отсутствию наружной стены, образуется отличная авансцена; я сижу, покуриваю и гляжу на улицу, которая превращается в сцену, по которой проходят туда и сюда бесконечной вереницей оживленные актеры: женщины с детьми, телеги, кареты, всадники, солдаты, водоносы с ведрами, семейные группы, опять солдаты, праздношатающиеся щеголи, еще несколько семейных групп (они торопятся, лица их раскраснелись, они опаздывают в театр!), каменщики, весь день трудившиеся над возведением нового дома и в шутку задирающие друг друга, влюбленная пара, опять солдаты, удивительно аккуратненькие продавщицы из магазинов с плоскими картонками в руках, отправляющиеся к покупателям на дом, продавец прохладительных напитков, несущий на спине целый храм, обитый красным бархатом,— здесь, в этом горбу, у него хранится драгоценная влага, в то время как стаканчики рассованы по всей груди, образуя собой род жилетки; мальчишки, собаки, опять солдаты, наездники, направляющиеся к себе в цирк, в рубашках диковинных фасонов, в желтых лайковых перчатках; семейные группы; тряпичники с корзинами за спиной и крючками в руках, с помощью которых они эти корзины наполняют; снова аккуратные молодые продавщицы, снова солдаты. На улице зажигаются газовые фонари, расторопный официант зажигает рожки и у нас, и я сижу, как идол, в залитом светом храме. Входит семейство: отец, мать и маленький ребенок. Входят две старенькие дамы с короткими шеями. Они непременно положат в карман остатки сахара, и я предвижу, что хозяева заведения извлекут очень мало выгоды из этих клиенток. Входит работник в своей простой блузе; он берет небольшую бутылку пива и принимается курить трубку. Зрелище уличного движения доставляет нам удовольствие, а мы, в свою очередь, доставляем удовольствие уличному движению. Насколько лучше проводить время так, как все мы здесь его проводим — я, семейство, сидящее за соседним с моим столиком, эти две старушки и работник в блузе,— насколько лучше си-

деть так, приобщаясь к жизни города в разных ее проявлениях, чем раздражать свою желчь в какой-нибудь черной дыре и предаваться там в одиночестве злобе и мизантропии! Пусть я не обменяюсь ни единым словом с этими людьми. Все же мы открыто и без страха делимся друг с другом своими радостями, вместо того чтобы отделяться друг от друга стеной и прятаться по углам. У нас невольно складывается привычка к взаимной внимательности и терпимости; и кафе таким образом становится одним из институтов (где я за все свои удовольствия плачу всего лишь десять пенсов) в системе цивилизации, при которой великан должен занимать в толпе только то место, которое ему предназначено, и не теснить карлика; в системе, при которой простолюдин занимает свое скромное место в любом общественном собрании с такой же уверенностью, с какой маркиз — свое кресло в опере.

В жизни лунян много такого, что было бы неплохо изменить, кое-что следовало бы им позаимствовать и у нас. При всем том, нам можно бы у них поучиться искусству разбивать парки, а также умению содержать их в полном порядке — то, собственно, в чем мы считаем себя достаточно учеными; нам не мешало бы поучиться у них, как поддерживать наши живописные улицы в чистоте — раз двадцать на дню убирать их, мыть щетками, губками, мылом и хлорной известью. Зато, что касается чистоты воздуха внутри домов, то я не хотел бы сравнить воздух моей лунной резиденции с воздухом, каким дышат в самых дешевых номерах в Англии, даже несмотря на торфяное отопление. Кроме того, есть одно странное зрелище (мне довелось наблюдать его неоднократно в течение последних десяти лет), которое в лунной столице устроено не так хорошо, как у нас в Лондоне. Правда, у нас самих есть довольно странный обычай: производить расследование загадочных случаев смерти в маленьких пивных, куда все имеют свободный доступ,— говорят, и я не собираюсь это оспаривать, будто обычай этот — один из оплотов Британской конституции. Страшное зрелище, которое я имею в виду,— лунный морг, где для всеобщего обозрения выставляют неопознанные трупы. Всякий, кому не лень, может прийти любоваться ими. Всем известен этот обычай, и, может быть, всем известно также,

что трупы выкладываются на наклонных досках в огромной стеклянной витрине, словно Гольбейн, уподобившись вдруг лавочнику с Риджент-стрит или Больших Бульваров, выставляющему свой товар напоказ, решил изобразить здесь свою мрачную Пляску Смерти *. Но не у всех, вероятно, была возможность подметить кое-какие особенности этого заведения, которые случайно удалось подметить мне, когда я туда время от времени наведывался. У сторожа, по-видимому, слабость к певчим птицам. В хорошую погоду за его крошечным окном всегда висит клетка, а из клетки раздается песенка, верно, та самая песенка, которая распевалась и миллионы лет назад, когда ни один человек еще не успел умереть на нашей планете. По утрам там бывает солнце, а так как перед зданием морга имеется небольшая площадка, а поблизости — рынок, где торгуют овощами и фруктами, а дверь его выходит на улицу, ведущую к собору, то фигляры и фокусники облюбовали это место для своих представлений. Я частенько заставал здесь клоуна; весь сосредоточившись на том, чтобы удержать нож или соломинку на кончике носа, он пятился к дверям морга и чуть не входил в него спиной. Ученые совы при мне вызывали веселье публики, а однажды дрессированный песик в красной жилетке, в ожидании своего выхода забежал внутрь, взглянуть на пять трупов, которые я тогда созерцал в одиночестве; у одного из покойников был прострелен висок. Другой раз, когда в центре витрины был выставлен труп красивого юноши, сзади на меня напирала такая толпа, что я с трудом из нее выбрался. Человек, который стоял справа от меня, был так поглощен лицезрением трупа, что даже не заметил, как я, уходя, уступил ему место. Такого красноречивого выражения лица я в жизни не видел. Это был малый лет двадцати двух или двадцати трех, вида довольно зловещего; левая рука его перебирала потрепанные концы шарфа, которым он закрывал рот, правую он держал за пазухой. Голова была склонена набок, глаза устремлены на труп. «А что, если бы я стукнул своего соперника топором по затылку или спихнул бы его ночью в реку, он бы походил на этого красавчика как две капли воды!» Он не мог бы яснее все это выразить, если бы

хотел, и меня не покидает мысль, что он так именно и поступил, как только вышел.

Кого только не увидишь в морге! И жизнерадостных хозяек с корзинкой в руке, забредших по дороге с рынка, где они закупали себе провизию на обед; и грудных младенцев, указывающих пальчиками на трупы; и молоденьких девушек; и мальчишек, слоняющихся без дела; и ремесленников всякого разбора. Человек, собирающийся переступить порог этого дома, при взгляде на лица выходящих, в девяносто девяти случаях из ста не угадал бы, на что эти люди смотрели минуту назад. Я внимательно изучал эти лица сам, и имею все основания так утверждать.

Но самое сильное впечатление я получил тогда, когда застал там однажды сторожа, расхаживающего среди трупов. Ни до этого случая, ни после мне не доводилось видеть среди них живого человека. Впечатление, которое производил он, было куда более страшным и невыносимым, нежели впечатление, производимое неподвижными и мертвыми телами. С потолка струился яркий свет, все кругом казалось промозглым, сырым, и — должно быть, оттого, что я никак не ожидал увидеть фигуру сторожа среди покойников,— мне вдруг показалось, будто они все повставали! Галлюцинация длилась мгновение, но чувство чудовищного несоответствия не проходило. Целая библиотека, составленная из таинственных книг, окружала сторожа: на крюках, вешалках и брусьях висела одежда тех, кого так и погребли неопознанными. Это большей частью вещи, снятые с утопленников, которые так распухли (довольно обычная история), что узнать их невозможно. Нигде, ни в какой другой коллекции носильных вещей вы не встретите таких страшных башмаков с загнутыми носками и приставшим песком и илом; таких шейных платков — длинных и вытянутых, словно из них только что выжимали воду; таких склизких сюртуков и панталон, со все еще раздувающимися рукавами и штанинами; таких шляп и шапок, обтертых и помятых от соприкосновения с мостами и сваями; таких ужасающих лохмотьев. Чья рука трудилась над отделкой этой скромной, но вполне приличной блузы? Кто шил вон ту рубашку? Кто носил ее? Стоял ли он когда-нибудь перед этой витриной, там,

где стою сейчас я? Задумывался ли, подобно мне, о том, кому суждено покоиться на этом ложе в будущем, и о тех, кто стоял здесь до него, с теми же мыслями — не они ли лежат перед ним сейчас?..

Лондон! Приготовьте билеты, господа! Как бы мне попасть на дилижанс? А кстати, насколько лучше в лунной столице обстоит дело с дилижансами! «Да, но это благодаря централизации!» — кричат мне с высоты приходского собрания. В таком случае, мой друг, давайте и мы заведем централизацию. Слово длинное, это верно, ну, да я совсем не боюсь длинных слов, если они означают дело. Бюрократизм — тоже длинное слово, но оно означает бездарность. Бездарность во всем — от управления государственной каретой до наемного кеба, которого я никак не могу раздобыть.

10 мая 1856 г.

НОВАДКИ УБИЙЦ

Недавний процесс над величайшим злодеем *, какого когда-либо судили в Олд-Бейли, вызвал обычные и неизбежные в таких случаях отчеты. Изо дня в день публика узнавала об удивительном самообладании убийцы, его непоколебимом хладнокровии, глубочайшем спокойствии и совершенной невозмутимости. Иные идут дальше и изображают дело так, будто все происходящее причиняет подсудимому скорее удовольствие, нежели неприятность; впрочем, все виденные нами отчеты сходятся на том, что описанные с таким тщанием слова, жесты, взгляды, походка и движения подсудимого, едва ли не восхищения достойны, так не вяжутся они с вменяемым ему преступлением.

Те, кто внушает публике это ощущение несоответствия, тем самым придают — пусть невольно — гнусному злодею некий героический ореол, что не способствует благу общества. Мы чувствуем необходимость еще раз вернуться к этой весьма неприятной теме и показать, что ничего поразительного в том, что злодей-убийца держится именно так, а не иначе, нет и что, напротив, подобная манера держаться свойственна наиболее закоренелым преступникам. Чем чернее злодеяние, тем больше вероятия, что злодей будет держаться именно так.

Заметим, кстати, что, по нашему наблюдению, почерк у Природы всегда четок и разборчив. Твердой рукой запечатляет она его на каждой человеческой физиономии, надо только уметь читать. Тут, впрочем, требуется некоторая работа — свои впечатления нужно оценивать и взвешивать. Недостаточно, обратив свой взгляд на нечестивца, сидящего на скамье подсудимых, отметить, что у него здоровый цвет лица, или что он высоко держит голову, или что у него грубовато-простодушные манеры, или еще что-нибудь в этом роде, и что поэтому, к величайшему нашему смятению, он ничуть не походит на убийцу. Физиономия и весь облик отравителя, по поводу процесса которого мы и высказали эти наши замечания, находятся в полном соответствии с его деяниями; и всякое новое преступление, которым он отягощал свою совесть, так и отпечатывалось на его внешности.

Разовьем с наивозможной краткостью положение, с которого мы начали эту статью.

Все были поражены спокойствием, с каким держался отравитель во время слушания дела, его неколебимой уверенностью в оправдательном приговоре, которую он хранил до самого конца и в силу которой он все время своего заключения делился то с тем, то с другим планами на будущее, на то время, когда он снова окажется на свободе.

Если кто-нибудь задумается хотя бы на пять минут, то вряд ли он допустит возможность (заметьте, мы говорим не вероятность, а возможность!) того, чтобы в груди отравителя ко времени процесса сохранились малейшие следы чувствительности или хоть крохи того, что мы именуем чувством. Найдется ли на свете такой мудрец или такой простак, который бы поверил, чтобы в сердце подобного человека могла оставаться капля жалости? Ему не хотелось умирать, а особенно — быть умерщвленным, это так; ему чрезвычайно этого не хотелось, и он, конечно, не был так уж спокоен. Какое там спокойствие! Напротив, он был в весьма беспокойном состоянии духа. То он принимался снова и снова стаскивать с руки перчатку, то тереть себе лицо ладонью. А это бесконечное писание записочек и разбрасывание их вокруг себя, все с большей судорожностью и частотой по мере приближения приго-

вора, так что в конце концов этот мелкий дождичек превратился в настоящий ливень,— на самом деле служит доказательством самого отчаянного беспокойства, а отнюдь не спокойствия, как думают иные. Ко всему же остальному,— кроме этого страха, который ощущало бы даже животное, стоящее на самой низшей ступени развития, если бы оно знало об ожидавшей его участи,— ко всему, кроме этого страха, такой субъект, естественно, должен быть безучастен. Помилуйте, я отравляю друга, когда он пьет вино, я отравляю друга, когда он спит в постели, я отравляю собственную жену, я отравляю самую память о ней, и вот, когда карьера моя приходит к концу, вы ждете от меня чувствительности! Но у меня ее не осталось даже по отношению к самому себе, я не знаю, как она проявляется, не знаю, что она означает, и я гляжу на всех вас с презрительным удивлением, не понимая — что̀ вас так волнует во всем этом деле? Черт побери, разве вы не слышали показаний служанки, чью чашку чая я с удовольствием «подсластил» бы по своему вкусу? Не слышали, как она описывала муки, в каких умирал мой друг? Разве вы не знаете, что само ремесло мое сделало меня сведущим в действии ядов? Что я все предвидел и рассчитал заранее? Что, стоя у постели друга, когда он, обратив ко мне с мольбой свое лицо, отправлялся в свой последний путь, когда перед ним с ужасным скрежетом разверзались ворота в иной мир, я знал в точности, через сколько часов и минут начнется его агония? Разве вы не слышали, что после того, как я совершил свои убийства, мне пришлось держать ответ перед друзьями и недругами, докторами, представителями похоронного бюро и множеством других людей и что я не дрогнул перед ними,— и вы удивляетесь, что я так бестрепетно стою перед вами? А почему бы нет? По какому праву, по какой причине ожидаете вы от меня чего-то другого? Чему вы удивляетесь? Вот если бы я в самом деле вдруг расчувствовался перед вами, тогда было бы чему подивиться. Да ведь если бы лицо мое было способно выразить хоть какое-то человеческое движение, неужели вы думаете, я мог бы прописать и дать моей жертве выпить этот яд? Господи, да ведь мое поведение на суде — естественное следствие моих преступлений, и если б я держал себя хоть

чуточку иначе, вы имели бы основания сомневаться в том, что я их совершил!

Убийца с уверенностью ожидал оправдательного приговора. Мы не сомневаемся в том, что он действительно имел некоторую надежду, так же как не сомневаемся в том, что он надежду эту умышленно преувеличивал. Рассмотрим первым делом, имел ли он основание для оптимизма. Он отравил свои жертвы в соответствии с тщательно разработанным заранее планом; он благополучно схоронил их; он убивал, совершал подлоги, оставаясь при этом славным малым и любителем скачек; во время дознания он из следователя сделал себе лучшего друга, а почтмейстера заставил изменить долгу; он стал знаменитостью, и дело его слушалось по специальному распоряжению парламента; биржевая аристократия ставила на него крупные ставки, и наконец прославленный адвокат, разрыдавшись и троекратно крикнув присяжным: «Как вы смеете, как вы смеете, как вы смеете!» — выбежал вон из залы суда в доказательство своей веры в его невиновность. Смешно ожидать, чтобы он, ощущая за спиной такую поддержку и отлично зная, как трудно доказать присутствие яда — имея к тому же обыкновение, как всякий завсегдатай скачек, делить людей на дураков и плутов,— было бы смешно ожидать, чтобы он не надеялся на спасение. Зачем, однако, было ему преувеличивать свои надежды? Да затем, что, когда дело доходит до крайности, злодею обычно мало выразить свое твердое убеждение в оправдательном приговоре, ему нужно заразить этим убеждением всех кругом. Помимо хитроумной иллюзии (не совсем лишенной, впрочем, основания), будто он таким образом распространяет мнение о своей невиновности, ему приятно окружить себя в своем суженном мирке этим вымыслом, на какое-то время напустить розового свету в мрачную атмосферу тюрьмы и отодвинуть виселицу на почтительное расстояние. Вот он и начинает строить планы на будущее и, полный непоколебимой надежды, с подкупающей откровенностью делится ими с тюремщиками. Так бывает ведь и с больными, над которыми уже нависла смерть: они постоянно говорят с близкими о своих планах на будущее — по той же самой причине.

Могут сказать, что тут некоторая натяжка, что мы пытаемся подогнать повадку данного отравителя к повадкам самых злостных и закоснелых преступников, попавших в то же положение, и что пример был бы убедительней, чем философствование. Пример — десятки примеров! — найти не трудно. Впрочем, не так легко в судебных отчетах найти столь отъявленного преступника, как этот. Не будем, однако, перегружать свою статью упоминанием о процессах, которые уже забыты публикой или не были широко ей известны. Ограничимся одним достаточно нашумевшим случаем. Не будем говорить о Раше, хоть публика, быть может, и не успела забыть его поведения на суде. Но лучше назовем Тертелла, убийцу, который запомнился англичанам больше прочих.

Между Тертеллом и нынешним отравителем наблюдается большое сходство, с той оговоркой, впрочем, что по жестокости преступление Тертелла не может сравниться с преступлением нашего отравителя. Оба родились в семьях, достаточно зажиточных и получили соответственное воспитание; каждый убил человека, с которым находился в близких отношениях, каждый до совершения преступления называл себя другом своей жертвы. К тому же оба принадлежат к презренной расе мошенников, жульничающих на скачках (достойные представители этой расы присутствовали и на том и на другом процессе), от полного уничтожения которой — если бы возможно было уничтожить ее всю раз и навсегда одним ударом — человечество выиграло бы безмерно. Тертелл вел себя точно так же, как Палмер. Хотя мы отлично помним процесс Тертелла, мы справились с газетами того времени, и они полностью подтвердили наше убеждение. Все то время, что Тертелл находился под следствием, изо дня в день сообщается, что «он держится решительно и с достоинством», что «его обращение поражает мягкостью и умиротворенностью», что его «навещают друзья, с которыми он неизменно бодр и весел», что он «тверд и непоколебим», что «по мере приближения рокового дня приговора он все больше укрепляется в своей надежде», что он «как всегда, с бодрой уверенностью говорил о предстоящем исходе процесса». Во время суда он выглядит «на редкость здоровым и свежим». Так же, как отравитель, он поражает всех

спокойствием; так же хладнокровно и внимательно, как он, следит за ходом судопроизводства; так же, как он, пишет бесконечное количество записок, до самого конца процесса «сохраняет невозмутимость, которой было отмечено все его поведение с момента ареста»; он «тщательно раскладывает бумаги, лежащие перед ним на столе»; выступает (и этим он не похож на Палмера) сам, без адвоката, и держит речь в духе Эдмунда Кина *, впрочем мало чем отличающуюся от речи главного защитника на процессе отравителя, заканчивая ее в качестве убедительного довода в пользу своей невиновности возгласом: «Совесть моя чиста, видит бог!» Отравитель перед началом процесса говорит, что рассчитывает попасть на дерби. Тертелл перед началом своего процесса объявляет, что «после оправдательного приговора намерен поехать к отцу и попросить его выдать ему его долю наследства, с тем чтобы поселиться где-нибудь за пределами Англии». (Собственно, и мистер Маннинг в аналогичных обстоятельствах говорил то же самое, а именно, что как только вся эта ерунда кончится и прекратится возня, он поселится в Вест-Индии.) За день-два до окончания процесса отравитель с аппетитом поглощает свой бифштекс и запивает его чаем, надеется, что его друзья спят не хуже его, и утверждает, что могила «страшит его не больше собственной постели». Тертелл, когда его процесс подходил к концу, тоже ел ростбиф, пил чай и кофе и «чувствовал себя великолепно»; он тоже в утро своей казни встает ото сна, столь же невинного, что и сон отравителя, объявляет, что ночь провел отлично и что ему «вся эта история не снилась». Будет ли сходство полным до конца, будет ли отравитель тоже «чувствовать себя превосходно», будет ли шаг его столь же «тверд и покоен», будет ли он держаться столь же «мужественно и невозмутимо», будут ли так же «неизменны черты его лица в эти ужасные минуты», не говоря уже о том, отвесит ли он с эшафота «дружеский, но исполненный достоинства» поклон приятелю,— об этом читатели узнают одновременно с нами.

Право же, пора объяснить людям, не привыкшим анализировать все эти внешние знаки и привыкшим вместе с тем о них читать в газетах, что самые закоренелые пре-

ступники и проявляют себя именно так, и что этому нечего удивляться! Тут нет ни непоследовательности, ни особенного мужества. Нет ничего, кроме жестокости и бесчувственности. Проявления эти таковы оттого, что преступник неотделим от своих преступлений; что он вряд ли был бы способен на преступление, за которое его судят, если бы в час, когда ему приходится держать ответ перед людьми, вел себя как-нибудь иначе.

14 июня 1856 г.

САМЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ ИСТОЧНИК

Зачем он так вездесущ?

Вечно-то он приглашает к обеду гостей и пичкает их всевозможными сведениями самого конфиденциального характера для того, чтобы они, покинув излишне гостеприимный стол, терзали меня особой информацией (всегда ложной) касательно всего, что творится в Европе, Азии, Африке и Америке. Зачем он обедает дома? Ходил бы лучше сам в гости.

Впрочем, это пустое желание, потому что он вовсе не всегда обедает дома. Он даже чаще всего обедает не дома. Он, собственно, никогда не обедает дома. Ведь если я постоянно чувствую себя растерянным, сбитым с толку, запутавшимся вконец, так это только оттого, что все мои друзья и знакомые, где бы они ни обедали, непременно встречаются с ним, непременно узнают от него новости и непременно делятся этими новостями со мной. Ну, почему бы ему не попридержать язык за зубами?

Но и это пустое желание, потому что, даже когда он молчит, мне от этого ничуть не легче. Все равно его молчание оборачивается против меня. Если мне случится сообщить моему приятелю Поттингтону какую-нибудь самую незначительную новостишку, дошедшую до моего смиренного слуха, Поттингтон тотчас возражает, что это весьма странно и навряд ли может быть верным, и вот почему: вчера, когда он обедал в Кроксфорде, он оказался рядом

с Самым Достоверным Источником и имел с ним продолжительную беседу, и за все это время тот не обмолвился ни словом, которое позволило бы заключить, что и т. д. и т. д. ...

Однако любопытно бы узнать, как это получается, что он, Самый Достоверный Источник, соседствует за столом всегда и со всеми? Во время обеда, на котором присутствовало восемнадцать человек, семнадцать гостей сидели рядом с ним. Да что восемнадцать! На одном банкете было сто тридцать человек, из которых с ним рядом очутилось сто двадцать девять! Как это может быть? Или в своем горячем стремлении сообщить конфиденциальную новость ближнему, он постоянно меняет место, пересаживаясь со стула на стул, по кругу? Но в таком случае он не имеет морального права представлять каждому из присутствующих дело так, будто сообщения его носят исключительный характер и что его побуждает к тому личная симпатия и уважение к очередному слушателю. А между тем, как выясняется, он непременно именно это и говорит. А коли так, то он — обманщик!

Чем же он занят в жизни, что у него столько свободного времени? Он бывает во всех клубах одновременно — клубные взносы, должно быть, составляют почтенную статью в его годовом бюджете. Он бывает одновременно на всех улицах города, самые разнообразные люди из самых разнообразных слоев общества встречают его то на одном городском рынке, то на другом. Кто шьет ему сапоги? Кто срезает мозоли? Ведь столько шагать взад-вперед по панели, сколько шагает он, и не натереть себе страшных мозолей невозможно.

Мне не нравится его манера льстить и говорить комплименты. Я смело выдвигаю это обвинение против него, ибо у меня целый ряд приятелей, которые никогда не унизились бы до того, чтобы расточать комплименты самим себе, они только пересказывают мне комплименты, которые сделал им Самый Достоверный Источник. Например. Встречается он как-то с любезным моим Флаунсби (я его люблю, как брата) у их общего друга (опять-таки: со всеми-то у него имеются общие друзья!) — и вот, всякое свое сообщение, адресованное Флаунсби, он предваряет следующими словами: «Мистер Флаунсби, мне не хоте-

лось бы, чтобы то, что я намерен вам сейчас открыть, пошло бы дальше; это деликатная материя, и я не чувствую себя вправе говорить о ней в широком обществе; но так как мне известны ваши замечательные качества, ваше тонкое чутье и несравненный такт...» и т. д. и т. д. А любезный мой Флаунсби, скромный и правдивый, как всегда, считает своим долгом поведать это мне. Таков назидательный стиль Самого Достоверного Источника; впрочем, я заметил, что он обладает также искусством вплетать комплименты и в самую ткань диалога. Так, например, в ответ на великолепную сдержанность, проявленную моим другом, он восклицает: «Ах, Флаунсби! Со свойственной вам щепетильностью по отношению к другим...», или «Ваш выразительный взгляд, мой дорогой Флаунсби, выдает то, что вы со свойственной вам порядочностью хотели бы скрыть!» И все в таком духе. И все это в самозабвенном желании сообщить мне правду — всю правду и ничего, кроме правды, Флаунсби пересказывает мне, с явным усилием перебарывая свою природную скромность.

Кто же он такой: грабитель или представитель светской черни? Я не обвиняю его в том, что он занимает одно из этих двух положений в обществе (это было бы клеветой), но я просто хотел бы знать истину. Ибо меня мучает мысль о том, что он проникает в такие дома, в какие, казалось бы, законным порядком он никак попасть не мог, и самым необъяснимым образом читает в чужих записных книжках. А что касается доступа во дворец к королеве, то мальчик Джонс ему в подметки не годится! Он знает обо всем, что там делается. Вот и недавно по поводу одного радостного события, когда народ с часу на час готовился в девятый раз потерять голову от восторга, можно было только диву даваться его осведомленности по части хлороформа. Известно, что доктор Локок славится своей скромностью даже среди врачей. Что касается ее величества, то ее самообладание и твердость вошли в поговорку. Поэтому я хочу знать, где, как, когда и от кого мог Самый Достоверный Источник собрать всю эту информацию о хлороформе, ради распространения которой он уже много месяцев кочует из одного лондонского клуба в другой, шатается по всем лондонским улицам, кормит весь Лондон обедами и сам ходит обедать ко всему Лондону? Неужели

общество захочет, чтобы, затравленный всем этим, я согласился лечь в могилу, не потребовав даже такого минимального удовлетворения? Каким образом черпает он свои сведения, я спрашиваю? Должен же быть какой-нибудь достоверный источник у Самого Достоверного Источника? Пусть он его представит.

Я уже говорил о записных книжках, в которых он расшифровывает какие-то загадочные записи; верно, бо́льшая часть их сделана невидимыми чернилами, ибо сами обладатели этих книжек не подозревают о существовании таких записей. Как только добирается он до дипломатической почты, до судебных протоколов? Кто снабдил его всеми этими записками мистера Палмера, которые тот во время своего затянувшегося процесса писал на клочках бумаги и раздавал направо и налево? Судя по тому, как Самый Достоверный Источник пересказывает их содержание то одному, то другому, ясно, что он сам читал каждую записку. Кто ввел его в контору нашего журнала? Кто посвятил его в наши доходы? И когда же он соизволит назвать день для передачи издателю журнала значительного остатка, со множеством нулей, ибо оный издатель до сих пор, очевидно, не получил сполна всего, что ему причитается?

Как попал он на передовые позиции русских? Он ведь был там все время; и вместе с тем так же безотлучно сидел в английском лагере, лишь изредка наезжая домой, чтобы поправить дела мистера Рассела. Ведь это он узнал, что Интендантство отказалось отпустить газете «Таймс» паек свинины и что поэтому-то лишенная свинины «Таймс» и не оставляет Интендантство в покое. Судя по бесцеремонности, с какой он стал называть русских полководцев и сановников прямо по фамилии, тотчас после первого выстрела, надо полагать, что он был коротко знаком со всеми ними еще до войны.

А Редан *? Покуда наши бедные головы не утратят способности хоть что-либо помнить, мы будем помнить муки, которым он подверг нас в связи с Реданом. Интересно, много ли среди нас истинных христиан, которые нашли в себе силы простить ему всю ложь о Малаховом кургане, которою он нас потчевал? Предположим, я даже забыл бы это. Но ведь с его легкой руки все до одного при-

нялись чертить на скатертях планы этой крепости — кто ложкой, кто вилкой, кто блюдцем, рюмкой, щипцами для орехов! Вот этой пытки, которой я по милости Самого Достоверного Источника подвергался тысячекратно, я уже простить не в силах! Приобретенные мной познания в минном и саперном ремесле свинцовыми письменами запечатлелись в моем пылающем мозгу. Они, как память о несмываемой обиде, побуждают меня посвятить остаток жизни мщению Самому Достоверному Источнику. О, если бы я мог его убить! Я бы это сделал, клянусь! Я бы сделал это в память о гончих псах Зеленой Скуки, которыми он травил меня в дни Крымской войны.

Итак я, его заклятый враг, вызываю его выйти, встать лицом к лицу со мной и объясниться публично. Почему я, британец, рожденный свободным, который никогда, никогда не будет... (разве что обстоятельства вынудят),— почему я должен раболепствовать перед этим тираном всю мою жизнь? Почему Самый Достоверный Источник, подобно Геслеру, вешает свою шляпу * на вазу, украшающую банкетный стол всех клубов, почему подошвами своих башмаков стирает он камни всех улиц, и как смеет он, в нарушение хартии, объявленной теми ангелами-хранителями, которые пропели эту песню, требовать, чтобы я сделался его рабом? Требовать, чтобы я передал ему все свои пять чувств? Кто он такой, этот несуществующий, чтобы поглотить мою сущность? А ведь он именно к этому и стремится. Пусть Флаунсби скажет, что это не так!

Флаунсби — субъект довольно упрямый (или, как сказала бы миссис Флаунсби — упрямейший человек на свете; впрочем, у нее несколько эксцентричная манера выражаться), возьмется спорить с вами на любую тему и сколько угодно — или сколько неугодно — времени. И он непременно переспорит вас, ибо у него есть искусный метод — изобразить дело так, будто вы сказали нечто такое, чего вы не только не говорили, но и в мыслях не имели сказать, и затем с негодованием разбить никогда не выдвигавшийся вами аргумент. Меньше месяца назад Флаунсби разглагольствовал о каком-то спорном предмете,— впрочем, у него всякий предмет — спорный, и вернее было бы просто сказать, что он разглагольствовал о каком-то предмете — и разрешал вопрос самым удовлетво-

рительным для себя образом, вколачивая свое мнение в шестерку сотрапезников, словно они были куском железа, а он — паровым молотом. Вдруг один из них,— судя по его ленивым, томным манерам,— человек из высшего общества, без всякого видимого усилия выскальзывает из-под молота и разбивает все аргументы Флаунсби, ссылаясь при этом на Самый Достоверный Источник. Если бы он сослался на доводы разума, веры, правдоподобия, если бы привел в доказательство какой-нибудь другой, сходный случай, Флаунсби накинулся бы на него как бульдог и схватил бы его мертвой хваткой, но так как противник упомянул не больше, не меньше, как Самый Достоверный Источник,— а вопрос, надо сказать, касался материй самых деликатных,— то Флаунсби в тот же миг был уложен на обе лопатки. Он побледнел, задрожал... и сдался. Но — такова уж судьба у Флаунсби — тотчас после этого возник еще один в высшей степени спорный вопрос. И тут-то я, ободренный примером томного гостя из общества, который, подобно Яго, одержав победу, сразу ретировался и ни разу не открыл рта — я тоже решился выступить против Флаунсби. После того как паровой молот обрабатывал меня в течение двух минут, Флаунсби выключил машину, с помощью Самого Достоверного Источника нанес мне последний сокрушительный удар и бросил меня, считая, что я уничтожен вполне. Доведенный до отчаяния анонимным притеснителем, я дико выкрикнул, что мне дела нет до Самого Достоверного Источника! Какая-то судорога пробежала по столу, и все присутствующие отпрянули, словно я совершил самый чудовищный акт ренегатства, на какой только способен человек.

Чувствуя себя затравленным этим деспотом и по сей час, ибо он травит меня постоянно, без конца,— я вопрошаю: кто же он? Каким образом оказывается он на званых обедах, где задает свои многолюдные банкеты? Значится ли среди нас по последней переписи? Несет ли легкое бремя управления государством на своих плечах, обложен ли налогом, как прочие граждане? Я требую, чтобы Самый Достоверный Источник предстал передо мной.

Несколько раз мне казалось, что я его вот-вот поймаю. В той части Пэлл-Мэлла (Лондон), которая с востока ограничена Объединенным офицерским клубом, а с за-

пада — клубом Карлтон, в этом зловонном болоте, где, должно быть, в один день можно услышать больше скучной болтовни, чем на любом другом участке земли, охватывающем две тысячи квадратных миль,— в этом-то унылом месте я иной раз нападал на след тирана и тут же его терял. Однажды, на ступенях Атенеума *, членом какового почтенного института я имею честь состоять, я повстречал мистера Шептуна из Королевского общества искусств; там, под портиком, он устроил засаду, чтобы вливать в ухо каждого приближающегося к храму человека и брата каплю особенной информации. Мистер Шептун, человек мрачный, таинственный и необычайно осведомленный, проложил себе дорогу в жизни шепотом; он постоянно разыгрывает роль Мидаса по отношению к чужим тростникам *. Он проносится всюду тепловатым сквознячком, надышит очередную новость на ухо людям и идет дальше. Как часто по его милости я попадал впросак и покрывал себя несмываемым позором! На этот раз то, что он мне поведал, было настолько уже невозможно, что я позволил себе намекнуть на мое ощущение несоответствия его слов со всеми законами человеческой природы и спросил, кто снабдил его подобными сведениями? Самый Достоверный Источник, ответил он и, сделав важное и многозначительное движение головой в сторону дверей, дал мне понять, что таинственный этот источник только что за ними скрылся. Я решил, что мой час наконец настал, и ринулся в залу, но там не оказалось никого, кроме расслабленного старичка, впавшего, по всей видимости, в безобидный идиотизм. Он занимался просушкой своего носового платка у камина и время от времени оглядывался на два кожаных предмета изящнейшей формы (похожие на сломавшуюся пополам французскую кровать без балдахина), которые служат украшением сему целомудренному уголку, приглашая посетителя вкусить в них сладостный покой.

В другой раз я совсем было уже схватил врага за горло, но он таким необъяснимым образом ускользнул из моих рук, что мне хочется заключить свою статью коротким описанием этого происшествия. На этот раз погоня имела место в Клубе реформ, ибо я имею честь состоять членом и этого почтенного учреждения. Так как известно, что Самый Достоверный Источник постоянно витает в этом

здании, я часто искал его глазами,— с невольным трепетом и смутной верой в сверхъестественное,— на галереях, окаймляющих залу, там, где столь часто на него ссылаются. Однако мне так ни разу и не удалось обнаружить признаков его присутствия. Часто я едва не нагонял его; я слышал, как говорили, что он «только что отправился в парламент» или «только что оттуда пришел»; но всякий раз между нами разверзалась бездна. Я должен тут объяснить, что в великолепных палатах описываемого мной заведения в передней слева имеется нечто вроде небольшого склепа, в котором мы вешаем наши шляпы и пальто; темнота и духота, царящие в этом склепе, действуют на воображение. Я направился было в столовую через вестибюль, это было в разгар очередной сессии парламента, когда мой почтенный друг О'Коррупт (представитель Ирландии), отчаявшись встретить титулованного знакомого, которого он мог бы поразить самой последней новостью, только что возвещенной им по телеграфу в Ирландию, оказал мне честь, избрав меня мишенью для этого выстрела. Так как я имел все основания знать, что сообщение, которое он сделал, являлось чистым вымыслом, я почтительно спросил О'Коррупта, откуда он его взял? «Черт возьми, сэр,— ответил он (зная чувствительность этого славного мужа, я почувствовал живую благодарность к нему за то, что он не употребил более сильного выражения),— черт возьми, сэр,— ответил он,— это исходит от Самого Достоверного Источника, и если хотите знать, он в настоящую минуту в склепе снимает пальто и ставит зонт». Я бросился в склеп и схватил в охапку (как я в неведении своем полагал) Самый Достоверный Источник, решившись на жестокую борьбу с ним. Но это был всего лишь мой кузен Болтунс, по всеобщему признанию — безобиднейший из ослов; самым невинным голосом спросил он меня, слышал ли я новость?

А Самый Достоверный Источник исчез! Как, куда, я так и не узнал. Поэтому я еще раз возвышаю свой голос и требую, чтобы он выступил вперед и назвался.

20 июня 1857 г.

ЛЮБОПЫТНАЯ ОПЕЧАТКА В «ЭДИНБУРГСКОМ ОБОЗРЕНИИ»

«Эдинбургское обозрение» в последнем своем выпуске поместило статью по поводу «Вольностей современных сочинителей», в которой выражает свое недовольство мистером Диккенсом и другими современными сочинителями. Автору статьи не нравится, что современные сочинители не желают просто развлекать публику и выступают в своих сочинениях как истинные патриоты, которым дороги честь и благоденствие Англии. По мнению этого автора, сочинителям надлежит время от времени выпускать в свет легонькие книжечки, чтобы праздные молодые люди и барышни почитывали их и раскидывали по диванам, столикам и подоконникам своих гостиных. Зато «Эдинбургскому обозрению» принадлежит исключительное право решать все общественные и политические вопросы, равно как и право удушения недовольных. Мистеру Теккерею не возбраняется писать о снобах, но в высших органах государственного управления их быть не должно, мистеру Риду разрешается водить знакомство с рыбачками * — разумеется, платоническое,— однако он ни в коем случае не должен вмешиваться в вопросы, касающиеся тюремного режима. Это уже неотъемлемое право официальных лиц; и пусть мистер Рид на это не посягает, поскольку ему не выплачивается регулярное жалованье за понимание (или непонимание) упомянутого вопроса.

Мистер Диккенс, чье имя упоминается в первых же строках настоящей статьи, и является ее автором. Он не желает прятаться под вымышленным именем, ибо прежде, чем указать на любопытную опечатку, допущенную «Эдинбургским обозрением», он хотел бы высказать несколько прочувствованных, хоть и сдержанных слов протеста. Сдержанных — из уважения к Литературе. Сдержанных — из благодарности к неоценимым услугам, которые «Эдинбургское обозрение» в свое время оказало и хорошей литературе, и хорошей государственной политике. Сдержанных — из чувства признательности к покойному мистеру Джеффри * за его нежную любовь и к покойному Сиднею Смиту за его нежную дружбу и к обоим вместе — за сочувствие, которое мистер Диккенс неизменно у них встречал.

«Вольности современных сочинителей» — заглавие заманчивое. Но оно подсказывает нам и другое: «Вольности современных критиков». Клевета мистера Диккенса на английское правительство, славящееся удивительной слаженностью, четкостью и энергией, с какой оно работает, своей постоянной готовностью к действию, тем, что никогда в нужную минуту не спасует,— клевета мистера Диккенса — одна из поэтических вольностей сочинителя. Мистер Диккенс надеется, что «Эдинбургское обозрение» не будет на него в претензии, если он позволит себе указать на то, что, по его мнению, является одной из вольностей критических:

«Даже катастрофа в «Крошке Доррит» явно заимствована из недавних событий, когда обрушились дома на Тоттенхем-роуд, о чем своевременно сообщалось в газетах».

Это пишет критик. Сочинитель же позволяет себе спросить, нет ли известной вольности в этих словах, которые выдают предположение за правду, между тем как всякий, у кого имеется критический навык, перелистывая «Крошку Доррит», заметит, что катастрофа была тщательнейшим образом предуготовлена с самого первого появления старого дома на страницах романа; что, когда Риго, погибший под обломками дома, впервые переступает порог его (несколько сот страниц от конца), его охватывают неизъяснимые ужас и дрожь, что автор всякий раз, когда

показывает читателю дом, старательно подчеркивает, что он прогнил насквозь, пришел в состояние крайней ветхости; что путь, ведущий к гибели человека и крушению дома, тщательно вымощен на протяжении всей книги, для чего автор то и дело прибегает к повторам, ибо, к сожалению, этого требуют условия публикации романа в периодическом издании — иначе за те два года, что выходит роман, читатель рискует потерять нить повествования. Допустим, что можно ни во что не ставить публичное заявление самого мистера Диккенса, скрепленное к тому же его честным словом, заявление о том, что катастрофа была описана, выгравирована на стали художником, прошла через руки наборщиков, корректоров и печатников и в гранках предстала в типографии господ Бредбери и Эванса еще до того, как произошел несчастный случай на Тоттенхем-Корт-роуд. Но добросовестный критик должен был прийти к этому выводу сам, на основании внутренних признаков, которые заключены в книге, прежде чем выдавать за факт то, что во всех отношениях есть чистейший вымысел от начала до конца. Более того. Если бы сам редактор «Эдинбургского обозрения» (оторвавшись на минуту от суровых обязанностей, возложенных на него, как на представителя одного из образцовых департаментов Министерства Волокиты) снизошел до того, чтобы взглянуть на упоминаемое место, и посоветовался хотя бы о фактической стороне дела со своими издателями, эти опытные господа, несомненно, указали бы ему на зыбкость его позиций; они должны были бы сказать ему, что из сопоставления даты выпуска, в котором содержится иллюстрация к упомянутому эпизоду, с датой публикации всей книги в одном томе явствует, что Диккенс проявил бы оптимизм более отчаянный, чем оптимизм самого мистера Микобера, если бы ждал обвала домов на Тоттенхем-Корт-роуд, в надежде, что эта катастрофа поможет ему справиться со своими трудностями и вместе с тем уложиться в срок. Не повинно ли «Эдинбургское обозрение» иной раз в необоснованных обвинениях? Тому, кто живет в стеклянном доме, лучше бы не швыряться камнями. А что, как желтые и голубые стены конторы «Эдинбургского обозрения» — из стекла? Может быть, вольнолюбивый критик все же принесет извинения вольнолюбивому сочинителю от имени своего

отделения Министерства Волокиты? Может быть, он «исследует справедливость» и своих собственных «слишком туманных обвинений», а не только тех, которые выдвигает мистер Диккенс? Может быть, он приложит свои собственные слова к себе и придет к заключению, что «небезынтересно было бы задуматься, какими полномочиями должен быть отмечен человек, который решается говорить таким языком?»

Теперь сочинитель перейдет к любопытной опечатке, допущенной критиком. Критик в своем нохвальном слове великим министерским учреждениям и своем горячем отрицании наличия малейших признаков Министерства Волокиты среди этих учреждений желает узнать «мнение мистера Диккенса о работе Почтового департамента и дешевом почтовом тарифе.» И, взяв на буксир Сен-Мартин-Легран *, разгневанный корабль Министерства Волокиты, обдавая мистера Диккенса клубами пара и готовясь раздавить его своим почтенным весом, предлагает на рассмотрение «хотя бы такой широко известный пример, как карьера мистера Роуланда Хилла: джентльмен, занимающий скромное положение в обществе, не имеющий государственной должности, издает брошюру, в которой предлагает внести в структуру одного из самых важных разделов государственного управлеиия изменения, равносильные революции. И что же? Подвергался ли он бойкоту и гонениям со стороны Министерства Волокиты, разбившего ему сердце, разорившего его карман? Нет, они приняли его проект, отвели ему ведущую роль в проведении проекта в жизнь. И это — то самое правительство, которое мистер Диккенс объявляет заклятым врагом таланта и систематическим противником всякой новой мысли!»

Любопытной опечаткой здесь является имя мистера Роуланда Хилла. Должно быть, наборщику прислали совершенно другое имя. Мистер Роуланд Хилл?! Да ведь если бы мистер Роуланд Хилл не был один из тех железных людей, какие попадаются на сто тысяч, если бы целеустремленность не сделала его неуязвимым, если бы он не был из тех, что умеют глядеть не мигая в лицо отчаянию, Министерство Волокиты давно бы уже стерло его в порошок! Мистер Диккенс, в довершение к прочим своим дерзостям, смеет утверждать и то, что Министерство Во-

локиты от души ненавидело мистера Роуланда Хилла, что Министерство Волокиты сопротивлялось ему самым характерным для себя образом, покуда только можно было сопротивляться; что Министерство Волокиты было бы счастливо разлучить душу мистера Хилла с телом и загнать его вместе с его надоевшим проектом в могилу.

Мистер Роуланд Хилл?! Нет, невозможно, чтобы «Эдинбургское обозрение» именно это имя направило наборщику в типографию! «Обозрение», должно быть, рассчитывает, что из деликатности к ныне здравствующим мистер Диккенс не станет рассказывать, как и кому раздавались должности в почтовом ведомстве еще в те времена, когда в стенах ведомства нельзя было произносить имени мистера Роуланда Хилла. «Обозрение» не напрасно уповает на скромность мистера Диккенса. Однако каждые три месяца ветер доносит с южной стороны центрального отрезка Стрэнда (город Лондон) довольно ощутимый и по сей день аромат былых времен. Но нет, разумеется, «Эдинбургское обозрение» не собиралось призывать имя мистера Роуланда Хилла для того, чтобы опровергнуть праздную фантазию мистера Диккенса о Министерстве Волокиты. Слишком уж явная это была бы «вольность», слишком явная нелепость, слишком очевидно было бы пристрастие и подобострастие «Эдинбургского обозрения» к Министерству Волокиты!

«Министерство Волокиты приняло его проект и отвело ему ведущую роль в проведении проекта в жизнь». Ясно, что слова эти никак не могут относиться к мистеру Роуланду Хиллу. Неужели критик забыл историю проекта мистера Роуланда Хилла? Сочинитель ее помнит и берется изложить в точности — вопреки незыблемому закону, в силу которого критику положено быть всеведущим, в то время как сочинителю — совершеннейшим невеждой.

Мистер Роуланд Хилл опубликовал свой проект учреждения единой марки достоинством в один пенс в начале тысяча восемьсот тридцать седьмого года. Мистер Уоллес, представляющий округ Гринока в парламенте, давний противник существовавшей тогда системы почтового тарифа, предложил создать комиссию для обсуждения этого вопроса. Создание комиссии встретило противодействие со стороны правительства, или, скажем, Министерства Воло-

киты. Однако со временем это противодействие было сломлено. Еще до образования комиссии Министерство Волокиты и мистер Роуланд Хилл постоянно спорили друг с другом относительно фактической стороны дела, и всякий раз неизменно оказывалось, что Роуланд Хилл прав, а Министерство Волокиты ошибается. Даже в таком простом, казалось бы, вопросе, как среднее количество писем, проходящих одновременно через Почтовый департамент, вышло, что мистер Роуланд Хилл прав, а Министерство Волокиты ошибается.

«Эдинбургское обозрение» заявляет, что Министерство Волокиты приняло его проект,— в общих, так сказать, чертах, спешит оно прибавить. Так ли это? Во всяком случае, далеко не сразу; ибо расследование, произведенное комиссией, не принесло никаких результатов. Но так случилось, что вскоре после этого правительство вигов потерпело поражение в вопросе о Ямайке *, вследствие того что радикалы голосовали против него. Сэру Роберту Пилю было предложено сформировать кабинет *, но ему это сделать не удалось из-за сложности, возникшей в связи с фрейлинами ее величества * — читатели, вероятно, помнят эту историю. Благодаря фрейлинам виги снова получили большинство, и тогда радикалы (им ведь только — разрушать!) обещали поддержать их только в том случае, если будет введен новый почтовый тариф. Это было через два года после назначения комиссии, иначе говоря в тысяча восемьсот тридцать девятом году. А до этого времени Министерство Волокиты только и делало, что спорило, откладывало, возражало — словом, всячески расписывалось в собственной неправоте.

«Они приняли его проект и отвели ему ведущую роль в проведении проекта в жизнь». Разумеется, тотчас после того, как проект был принят, они предоставили мистеру Хиллу ведущую роль в его осуществлении, за что снискали себе славу и популярность. Не так ли? Не совсем. В тысяча восемьсот тридцать девятом году мистеру Роуланду Хиллу было дано назначение — но только почему-то не в Почтовый департамент, а в казначейство. Может быть, его назначили в казначейство с тем, чтобы он мог претворить свой проект в жизнь? Ничуть не бывало! Его назначили «советчиком». Иначе говоря, он должен был показать

невежественному Министерству Волокиты, как ему лучше обойтись без него, Роуланда Хилла. Десятого января тысяча восемьсот сорокового года был принят новый почтовый тариф. Вот тут-то, верно, Министерство Волокиты и «отвело ему ведущую роль в проведении проекта в жизнь»? Не совсем так, но зато оно предоставило ему ведущую роль в осуществлении своего выхода из департамента, ибо в тысяча восемьсот сорок втором году оно просто-напросто дало мистеру Роуланду Хиллу отставку!

Когда Министерство Волокиты дошло до этого пункта своей патриотической деятельности, столь восхищающей «Эдинбургское обозрение», деятельности, направленной на покровительство и ободрение мистера Роуланда Хилла, в котором всякий ребенок, если только он не сочинитель, угадает протеже Министерства Волокиты, общественное мнение, всегда так превратно толкующее события, вдруг пришло в необычайный азарт. Сэр Томас Уайлд предложил создать еще одну комиссию. Министерство Волокиты вмешалось, и на том дело кончилось. Публика провела подписку и преподнесла мистеру Роуланду Хиллу шестнадцать тысяч фунтов. Министерство Волокиты оставалось верным себе и своему призванию. Оно ничего не делало и ничего не хотело делать. И только в тысяча восемьсот сорок шестом году, то есть четыре года спустя, мистер Роуланд Хилл получил назначение в Почтовом департаменте. Так вот когда он, должно быть, получил наконец назначение, которое предоставило ему «ведущую роль в проведении проекта в жизнь»? Нет, в Почтовый департамент его впустили с черного хода; для него даже специально придумали должность. Этот почетный пост, этот перл изобретательности Министерства Волокиты, именовался «секретарем министра почт», ибо должность секретаря Министерства почт уже существовала и, собственно, наличие такой должности и дало Министерству Волокиты предлог к увольнению мистера Роуланда Хилла, ибо их функции, по утверждению того же Министерства, «не гармонировали друг с другом».

Они не гармонировали, это верно. Они находились в постоянной дисгармонии. Введение единого тарифа — лишь одна из реформ, проведенных Роуландом Хиллом в

почтовом министерстве; с каждой из них Министерство Волокиты сражалось смертным боем в течение восьми лет. И только в году одна тысяча восемьсот пятьдесят четвертом, через четырнадцать лет после назначения мистера Уоллеса, мистер Роуланд Хилл (после того, как он публично заявил, что подаст в отставку и приведет причины, побуждающие его к такому поступку) был произведен в секретари Министерства почт, а дисгармонирующий секретарь (о котором мы не скажем больше ни слова) был удален. И только после этого, то есть с тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года, были проведены такие реформы, как слияние областных почтовых контор с центральной, разделение Лондона на десять почтовых округов, ускоренная доставка почты адресатам, отправка бандеролей и посылок, расширение сети доставки почты на дом, общее улучшение работы почтового министерства. Все эти меры, предусматривающие удобство граждан и благо общества, были введены мистером Роуландом Хиллом.

Если «Эдинбургское обозрение» искренне хочет знать, «чем мистер Диккенс объяснил бы успешную карьеру мистера Роуланда Хилла», то мистер Диккенс объяснил бы ее тем, что мистер Роуланд Хилл, как истинный сын Бирмингема, обладает совершенно непоколебимым упорством и целеустремленностью и что Министерство Волокиты, несмотря на все свои старания — а оно не щадило сил,— не могло ослабить его решимости, не сумело заставить его перерезать себе горло, не успело сломить его волю. Мистер Диккенс объяснил бы успех Роуланда Хилла тем, что его личность расшевелила в обществе рыцарское чувство, пробудила дух гражданственности. Проект по своему характеру настолько явно и прямо содействовал благу каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка в государстве, что Министерство не могло обмануть общество, хотя оно и умудрилось на время искалечить проект. Он объяснил бы его успех тем, что мистер Роуланд Хилл, с начала и до конца, решительно шел напролом, невзирая на Министерство Волокиты, сражаясь с ним, как с заклятым своим врагом.

Но имя это, разумеется, не более как опечатка, любопытная и досадная. Вероятно, критик захочет внести по-

правку, сочинитель будет с интересом ждать, какое имя следует читать вместо напечатанного.

Может быть, «Эдинбургское обозрение» кстати уж, при удобном случае, с присущим ему мужеством выразит свое сожаление по поводу того, что из-за пылкости чувств к Министерству Волокиты, а также вследствие спешки оно невольно позволило себе — в вопросе о развалившихся домах на Тоттенхем-Корт-роуд — напечатать неправду вместо правды? Этой досадной небрежности можно было бы избежать — ибо для того, чтобы быть справедливым, требуется лишь трезвость и внимательность. Впрочем, «Эдинбургское обозрение» будет, вероятно, слишком занято восхвалением своего Министерства Волокиты и его новых побед на пути в Индию. И все же ни необходимость поддерживать свою партию, ни критическая вольность, ни редакционное «мы» не освобождают истинного джентльмена от обязанности вести себя по-джентльменски: с джентльменской сдержанностью в выражениях и благородством в оценках.

Всякий раз, когда «Обозрение» сочтет своим долгом бросить перчатку в защиту Министерства Волокиты, мистер Диккенс с готовностью эту перчатку поднимет. Он выражает надежду, что никто не усомнится при этом в должном уважении, которое он питает к «Эдинбургскому обозрению», к самому себе, а также к своему призванию литератора. Ибо у него нет иной цели, нет иных задач, как служить этому призванию самым прямым, самым достойным и самым справедливым образом.

1 августа 1857 г.

БУДЬТЕ ДОБРЫ, ОСТАВЬТЕ ЗОНТИК!

Как-то на днях я посетил дворец Хэмптон-Корт *. Должен сознаться,— у меня есть своя особенная маленькая причина испытывать самые нежные чувства к дворцу Хэмптон-Корт (ах, если бы она и сейчас была со мной!), впрочем, это к делу не относится.

Готовый подчиниться любому установленному порядку, я вошел в вестибюль той части дворца, которая открыта для посетителей, и был встречен любезнейшим полисменом, предложившим мне оставить зонтик в его караулке внизу под лестницей. «Весьма охотно,— ответил я,— тем более, что он насквозь мокрый». Стражник повесил зонтик на вешалку, так что вода начала стекать с него на каменный пол, издавая звук, подобный тиканью испорченных часов, и вручил мне номерок. После этого я не спеша пошел по длинным анфиладам пустынных комнат, то останавливаясь перед картинами, то облокачиваясь на широкие старинные подоконники и глядя вниз на мокрый от дождя старый парк, опоясывающий весь дворец, с правильными симметричными дорожками, посыпанными гравием, с ровно подрезанными деревьями и аккуратно подстриженным газоном. Кроме меня, в этот знаменательный день в Хэмптон-Корте был всего лишь один посетитель довольно меланхолической наружности: он совер-

шал свой мрачный обход, то пропадая в темноте простенков, то вновь появляясь в просветах окон, и вскоре совсем исчез из вида.

«Не знаю, Йорик,— сказал я, подражая герою «Сентиментального путешествия» *,— не знаю, захочется ли мне с моей маленькой причиной в душе покинуть когда-нибудь эту бесконечную анфиладу зал, чтобы вернуться к шуму и суете улиц. Мне кажется, я мог бы остаться здесь до скончания века, пока грозный призрак на бледном коне не проскачет по этим лестницам, разыскивая меня. Моя маленькая причина сумела бы превратить эти странные полутемные комнаты, эти угловые каминные полочки, этот старинный грубый голубой фарфор, эти ужасные пышные кровати с тонко выточенными спинками и даже, да, мой милый Йорик,— сказал я, указывая на черную, словно ваксой вымазанную картину, висящую в раме на стене,— даже эти произведения искусства,— все это моя маленькая причина превратила бы в целый мир красоты и блаженства. И тогда плеск фонтана, доносящегося из небольшого, вымощенного красными и белыми плитками дворика (я успел дойти уже до этой части дворца) не нагонял бы на меня тоску своим монотонным шумом; четыре нахохлившихся воробья, прыгающих по краю бассейна, не заставили бы меня мечтать о перемене погоды; лодочник на реке, под тонкой сеткой дождя, застигнутый непогодой пешеход, тщетно пытающийся укрыться под облетевшими деревьями парка,— все эти образы не встали бы в моем воображении, пока я вглядывался в низко нависшие тучи в тщетной надежде уловить хоть один проблеск солнца. Мы прожили бы здесь с моей маленькой причиной, мой милый Йорик, в совершенном согласии до конца наших дней; а после нашей смерти этот скучный дворец стал бы первым домом, который посещали бы веселые призраки».

Из этого моего столь далеко зашедшего подражания «Сентиментальному путешествию» я был внезапно возвращен к действительности назойливым видом черной, как вакса, мазни, о которой я уже упоминал выше. «О боже,— воскликнул я в ужасе,— я только сейчас понял, как много оставил внизу по требованию полисмена».

«Только зонтик,— сказал он.— Будьте добры, оставьте зонтик!»

«Клянусь тебе, Йорик,— вскричал я, впадая в прежний тон,— вместе с зонтиком он принудил меня оставить внизу под лестницей такие ценности, что я содрогаюсь при одной мысли о том, сколь многого я лишился. Этот полисмен отобрал у меня на какое-то время все важнейшие извилины моего мозга. Понятия о форме, цвете, размере, пропорциях, перспективе; мои личные вкусы, способность непосредственно видеть вещи на земле и на небе,— все это он принудил меня оставить внизу, прежде чем я получил разрешение заглянуть в каталог. И вот теперь мне в самом деле кажется, что луна сделана из зеленого сыра, что солнце не что иное, как желтая пилюля или маленький водяной пузырь; что бездонное бурное море — всего только ряд сырых маленьких фестонов, перевернутых вверх ногами, а человеческое лицо — образ и подобие божье — просто клякса, и вся материальная и нематериальная вселенная кажется мне обмазанной патокой и до блеска начищенной ваксой. Подумать только, как проведу я весь остаток жизни, если полисмен вздумает удрать с моим зонтиком и я никогда уже не смогу получить его обратно.

Эта мысль наполнила меня таким ужасом, что я повернул вспять и с верхней площадки лестницы заглянул через перила вниз, чтобы удостовериться в целости своего сокровища. Мой зонтик висел на прежнем месте, и с него, словно отсчитывая время, с перебоями, как испорченный маятник, по-прежнему капала на пол вода; полисмен, не подозревая дурного умысла, мирно читал газету. Снова обретя спокойствие и уверенность, я продолжал свое странствие по длинной веренице зал.

Будьте добры оставить свой зонтик! Из всех Сил, забирающих у вас зонт, мода, пожалуй, самая ненасытная и всепожирающая власть. Оставить зонтик — значит, засунуть в зонтик и оставить в вестибюле, до тех пор пока вы не покинете дворца, все ваши способности к сопоставлениям, весь ваш опыт и ваше личное мнение. И взамен всего этого вместе с номерком соблаговолите получить убеждения какой-то неведомой личности, именуемой Кто-то, или Никто, или Некто, и без возражений присвойте их

себе. Джентльмены, будьте любезны вместе с зонтиками оставлять свои глаза и сдавать на вешалку с вашими тросточками все ваши личные вкусы. Испробуйте это средство, изготовленное Мудрым Магом, и на ваших глазах бесконечный караван верблюдов без малейшего труда будет проходить через игольное ушко. Оставьте свой зонтик доверху набитым вещами, которые не пригодятся вам при осмотре дворцовой коллекции, полисмену, и вы неизбежно, хотите вы того или нет, признаете этот уродливый фарфор красивым, эти до утомительности однообразные и невыразительные формы изящными, эту грубую мазню — шедеврами. Оставьте ваши зонты и подчинитесь Моде. Мо́да провозглашает, что́ хорошо и что́ плохо, примите же ее законы и следуйте им. Забудьте о своих зонтах — о них позаботится полиция Скотленд-Ярда! Не думайте — за вас будет думать полиция Моды!

Надо признаться, что сборщик налогов не оберет меня так, как представитель власти, которому вменено в обязанность следить за зонтами и отбирать их у людей. Сборщик налогов стащит с моей головы парик, «сборщик» же зонтов предъявит иск на самую голову. Сборщик налогов может забрать у меня какую-нибудь вещь, а «сборщик зонтов» не позволит мне называть вещи своими именами. Лонгинус, Аристотель, доктор Вааген, музыкальные стаканчики, парламентские комиссии, бог весть кто, Мальборо-Хаус, Бромптон Бойлерс — все утверждали, например, что моя лопата не лопата, а, скажем, просто швабра, и я вынужден был поверить в швабру.

Мало того: по распоряжению властей я должен впихивать в зонтик, который меня столь часто вынуждают оставлять в вестибюле, моральные принципы и многие сомнения и колебания относительно некоторых общепринятых истин; эти сомнения, колебания и возражения так же многочисленны, как семейство Полипов. Как-то в позапрошлую сессию я отправился на галерею Олд-Бейли послушать судебный процесс. Вы думаете, что при входе, прежде чем пропустить меня в зал суда, меня попросили оставить только мой зонт? Конечно же, нет. Мне предложили оставить с зонтом такое множество всяких вещей, что мой небольшой аккуратный зонтик превратился в огромный и нескладный зонт миссис Гэмп *. Я был вынужден

втиснуть в мой злосчастный зонт все свое понимание различия между кражей фунта тощей баранины и присвоением сотен фунтов стерлингов. Оказалось, что, прежде чем переступить порог здания суда, мне пришлось оставить вместе с зонтом все мои подозрения (а их у меня было немало) относительно того, как здесь — и притом, по другую сторону барьера, отделяющего судей от подсудимых,— искажается и извращается истина в явных интересах крупной прибыли или большой карьеры.

При входе в зал суда мне пришлось расстаться с непосредственным и естественным отношением к смешным до слез и устаревшим вещам, давно потерявшим какой бы то ни было смысл; вместо всего этого мне был вручен номерок. Такое требование, пожалуй, закономерно. В противном случае я вряд ли бы смог присутствовать при обряде надевания нелепой шапочки, без выполнения которого судья не может выносить смертного приговора и препровождать в вечность запятнанную кровью душу. Или разве я смог бы удержаться от смеха,— а это было бы недопустимым неуважением к суду,— при виде того, как досточтимый судья и два его добродетельнейших советника (мне никогда еще не доводилось слышать от двух человек одновременно столько добродетельных речей) со всей торжественностью и сознанием высокого долга облачались в шерстяные парики? Эти парики скорее пристали бы каким-нибудь негритянским певцам, которые по воле неисповедимого случая попали бы на подмостки, где разбирается дело об убийстве. А тут в парики, столь же неестественные и смехотворные, как и все театральные парики на свете, только что на этот раз не черные, облачалось собственной персоной высокое должностное лицо и два его досточтимых советника.

Когда же я отправился послушать прения с галереи палаты общин, багаж, который мне пришлось сдать на хранение вместе с зонтом, оказался куда тяжелее ноши, оставляемой Христианином в Странствии Пилигрима.

Мне прежде всего пришлось запихнуть в зонтик мое представление о различии между Черным и Белым, а ведь различие это настолько велико, что иной зонт от него может лопнуть. Но эта мера послужила мне на пользу, потому что иначе мне вряд ли удалось бы избежать суровых

рук парламентской стражи, когда мне собственными ушами довелось услышать, как член палаты, выступавший при мне на предыдущей сессии и с глубоким волнением заявивший, что он пришел в это здание лишь затем, чтобы, положа руку на сердце, утверждать, что Черное это Белое и что понятия Черное вообще не существует,— на этот раз с таким же глубоким волнением сообщил, что пришел в палату лишь для того, чтобы, положа руку на сердце, утверждать, что Белое это Черное и что понятия Белое вообще не существует. Если вы имеете при себе такую штуку (именно с такими словами, по существу, обратился ко мне хранитель зонтов), как понимание различия между банальными общими фразами и истинно патриотическими настроениями,— то и с этим вам надо здесь расстаться.— О, с удовольствием,— согласился я.— Кроме того, у вас, наверное, есть собственное представление о совокупности кое-каких вещей, называемых Родиной, и их будьте любезны оставить с зонтом.— Охотно,— сказал я.— Ваше убеждение, что существует общественное мнение и что это не что иное, как болтовня в кулуарах, гостиных и клубах, будет для вас также немалой помехой, да и не вам одному; расстаньтесь и с этим.— С величайшей готовностью,— сказал я. Должен заметить, что после того, как меня так тщательно раздели и обработали, я с полным удовольствием провел время, что было бы просто невозможно, я в этом искренне убежден, сохрани я при себе зонтик со всем его обременительным содержимым.

«Будьте добры, оставьте зонтик!» Мне случалось бывать в церквах и оставлять свой зонт в построенных под средневековый стиль портиках; мне приходилось втискивать между его спицами сотни лет богатой событиями истории. Я присутствовал на многолюдных собраниях, устраиваемых под самыми священными лозунгами и притязающих решать величайшие проблемы,— и каждый раз при входе у меня отбирали мой зонт, до отказа набитый всеми христианскими добродетелями и терпимостью. Насколько я могу припомнить, мне всю мою жизнь приходилось либо подчиняться вежливому приказу «Будьте добры, оставьте зонтик!», либо отказываться от права на вход.

Дойдя до этих строк, я хотел было опять обратиться к Йорику, но тут я услышал весьма вежливый голос, предлагавший мне «предъявить номерок и получить зонтик». Я с успехом мог бы обойтись и без номерка, потому что мой зонт был единственным на вешалке Хэмптон-Корта, где я снова очутился, сам того не заметив, обойдя кругом весь дворец. Тем не менее я вручил номерок, снова обрел свой зонт и, раскрыв его, вышел вместе с моей маленькой причиной под проливной весенний дождь, в шуме которого в этот день уже чувствовалось приближение лета.

1 мая 1858 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В «ДОМАШНЕМ ЧТЕНИИ» О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ИЗДАНИИ «КРУГЛОГО ГОДА»

После выхода в свет завершающего номера «Домашнего чтения» журнал этот сольется с новым еженедельником «Круглый год», и название «Домашнее чтение» станет лишь частью титульной страницы «Круглого года».

Проспект этого журнала гласит:

«Обращение

Девятилетнее существование «Домашнего чтения» — вот лучшее поручительство за дух и цели «Круглого года», какое только может найти публика.

Покидая журнал, перестающий выходить, и собираясь отдать все силы журналу, вступающему в жизнь, я имею счастье сохранить весь свой редакционный штат и то литературное и деловое сотрудничество, которое превращает мой труд в радость. В некоторых важных отношениях я получаю возможность ввести значительные улучшения. Но пусть они сами говорят за себя, когда придет срок.

Девять лет я из недели в неделю искал то слияние даров воображения с подлинными чертами жизни, которое необходимо для процветания всякого общества, а теперь этим поискам будет отдан весь «Круглый год». Старые

еженедельные заботы и обязанности уходят в прошлое, но лишь для того, чтобы, внушая еще большую любовь и обещая еще более светлые надежды, вернуться в настоящем и будущем.

В моих планах, исполнению которых будет посвящен «Круглый год», я рассчитываю на гораздо более широкий круг читателей — и круг, неуклонно растущий. И я уверен, что надежды мои осуществятся, если они заслуживают осуществления.

Цель моего журнала ясна, и он будет неуклонно стремиться к ее достижению. Его страницы покажут, ради какого благого намерения принят их девиз и насколько верно и горячо рассказывают они

повесть наших жизней из года в год.

Чарльз Диккенс»

С тех пор, как появился этот проспект, успел выйти в свет и сам журнал — уже пять недель он говорит сам за себя. Его пятый номер выходит сегодня, и его тираж по самому скромному подсчету втрое превосходит былой тираж «Домашнего чтения».

Рекомендуя теперь нашим читателям «Круглый год», мы можем лишь еще раз заверить их, что и впредь будем верно и неустанно служить им, ибо это — и главный труд, и главная радость всей нашей жизни. И в том, что мы уже делаем, и в том, что собираемся делать, мы надеемся достичь всего, что может дать искренность и преданность цели.

Мы отнюдь не думаем, что можем удовлетвориться качеством этих страниц и почить на лаврах. Мы понимаем, что это лишь начало нашего нового пути, и весело отправляемся в путешествие, где перед нами всюду развертываются новые прекрасные дали, от души приглашая наших читателей — и без грустного расставания, омрачающего большинство путешествий,— делить с нами его радости круглый год.

28 мая 1859 г.

«ПУСТОМЕЛЬСКИЙ БЛЕЯТЕЛЬ»

В данном случае за перо берется частное лицо (хотя не совсем чуждое сочинительству), дабы разоблачить заговор самого ужасного свойства; заговор, подобный ядовитому анчару Явы, о котором автор этих строк в ранней юности сочинил поэму (хотя и не совсем лишенную длинот), каковая поэма была столь лестно встречена (в кругах, не совсем чуждых критическому мнению), что ему посоветовали даже издать ее, и он бы воспользовался этим советом, если бы не соображения частного порядка (не совсем свободные от страха перед издержками).

Кто же сей муж, отважившийся разоблачить гигантский заговор во всей его чудовищной гнусности? Это житель города Пустомельска, пусть весьма скромный житель, но англичанин и человек, который никогда не потупит взора перед суетной и глумящейся черные.

Пустомельск не притязает на громкую славу своих сынов. Однажды наш простой британский монарх Генрих Восьмой чуть было не посетил сей град. И задолго до того, как начала издаваться газета, в коей появится это разоблачение, Пустомельск развернул знамя, что и по сей день развевается на его крепостных башнях. Знамя, о котором я упомянул, это «Пустомельский Блеятель» — листок, содержащий последние новости, приводящий рыночные цены вплоть до часа, когда он поступает в набор,

и представляющий собой весьма полезное средство местной рекламы, плата за которую взимается по таксе со значительной скидкой в зависимости от гарантированного числа публикаций.

Тщетно было бы распространяться о подлинной россыпи талантов, составляющих грозную фалангу ленников «Блеятеля». Достаточно для нашей цели указать на одного из наиболее одаренных и наиболее многообещающих из тех, кто составляет гордую славу Альбиона, и оправдавшего бы эти ожидания, если бы не происки антианглийского заговора, пустившего свои корни вглубь и вширь. После такого введения излишне указывать более прямо, что речь идет о лондонском корреспонденте «Пустомельского Блеятеля».

Не пристало смиренному пустомельцу, выводящему сии письмена, останавливаться на еженедельных очерках этого корреспондента, на гибкости их языка, смелости грамматики, новизне цитат, коих не найти в том виде, в котором они напечатаны, ни в одном источнике, на свежести сообщаемых в них новостей, на глубоком знакомстве автора с сокровеннейшими мыслями и неосуществленными намерениями людскими. Они выгравированы в его памяти и начертаны в анналах «Блеятеля». Интересующихся отсылаем к ним.

А что касается подлого, тайного, коварного заговора, протянувшего свои ядовитые щупальцы по всей земле и единственной жертвой которого является лондонский корреспондент «Блеятеля», то цель смиренного пустомельца — сорвать покровы с этого заговора. И он не отступит перед сим подвигом, возложенным им на себя добровольно, даже если этот подвиг под силу лишь Геркулесу.

Нити заговора ведут ко дворцу Царствующей Особы нашего острова. Будучи верным и преданным сему гордому столпу всех без исключения читателей «Блеятеля», автор разоблачения лично не обвиняет ни Ее Королевское Величество, ни славное Королевское Семейство. Но он обвиняет — и обвиняет гневно — одетых в шелка проныр, облаченных в багрец паразитов, разряженных льстецов, алчных кавалеров Ордена Подвязки в роскошных одеяниях. Какие у него основания для подобного обвинения? Они будут изложены ниже.

Лондонский корреспондент «Блеятеля» едет для изучения важных вопросов на месте в Виндзор, посылает во дворец свою визитную карточку, удостаивается конфиденциального интервью у Ее Величества и достославного Королевского Семейства. На время сдержанность королевского сана забыта в потоке брызжущего весельем красноречия лондонского корреспондента «Блеятеля», сокровищ его знаний, его историй о лицах и событиях, в атмосфере его гения; Ее Величество светлеет, достославное Королевское Семейство оживляется, государственные заботы и партийные столкновения забыты, подается завтрак. Сидя за простым, домашним столом, Ее Величество сообщает лондонскому корреспонденту «Блеятеля», что она намерена послать Его Королевское Высочество Принца Уэлльского осмотреть вершину великой пирамиды, полагая, что сие улучшит его знакомство со взглядами народа. Затем Ее Величество изволило сообщить, что она вынесла свое королевское решение (а наследный принц — свое светлейшее решение) относительно присуждения ныне вакантного Ордена Подвязки м-ру Рэбаку. Младшие члены Королевской Семьи были представлены лондонскому корреспонденту «Блеятеля» по его просьбе, и тот, после тщательного осмотра, отметил признаки неизменно цветущего здоровья, после чего счастливый маленький кружок распался, Королевский лук, не без вздоха сожаления, опять натянулся до отказа, лондонский корреспондент «Блеятеля» опять вернулся в Лондон, написал корреспонденцию и таким образом сообщил «Пустомельскому Блеятелю» то, что стало ему известно. Весь Пустомельск прочел ее, и ему стало известно то, что корреспонденту стало известно. Но действительно ли Его Королевское Высочество Принц Уэлльский отправился в конце концов на вершину великой пирамиды? Получил ли м-р Рэбак в конце концов Подвязку? Ничего подобного. А являются ли младшие члены Королевской Семьи на поверку здоровыми? Наоборот, оказывается, что в тот самый день у них была корь. А почему? *Потому, что тут замешаны члены заговора против лондонского корреспондента «Блеятеля» с их зловещими хитросплетениями.* Потому, что Ее Величество и Наследного принца склонили хитростью к тому, чтобы изменить свое решение на севере,

юге, востоке и западе, как только заговорщикам стало известно, что эти лица обращались к лондонскому корреспонденту «Блеятеля». И вот теперь негодующие голоса вопрошают: «Кто вмешивается в их жизнь?» Негодующие голоса вопрошают: «Кто посмел сокрыть недомогание младших членов Королевской Семьи от их Королевских и Светлейших Родителей и поднять их с постели, изменить их внешность лишь для того, чтобы ввести в заблуждение лондонского корреспондента «Пустомельского Блеятеля?» — «Кто эти злоумышленники?» — вопрошают опять. Их не спасут ни звания, ни привилегии, пусть предатели предстанут при ярком свете дня!

Лорд Джон Рассел замешан в этом заговоре. Не говорите нам, что Его Лордство — человек слишком прямодушный и честный. Разоблачение брошено ему в лицо. Доказательства? Вот они.

«Таймс» с трепетом ждет ответа на вопрос: «Согласится ли лорд Джон Рассел принять пост в правительстве лорда Пальмерстона? Хорошо. А лондонский корреспондент «Пустомельского Блеятеля» как раз в это время пишет свою еженедельную корреспонденцию. Он чувствует, что не может решить этот вопрос окончательно. Он бросает писать, надевает шляпу, идет в вестибюль палаты лордов и посылает за Джоном Расселом. Когда тот появляется, он берет Его Лордство под руку, отводит в сторону и говорит: «Послушай, Джон, ты войдешь в кабинет Пальмерстона? А Его Лордство отвечает: «Нет». Лондонский корреспондент «Блеятеля», проявляя осторожность, которая необходима человеку его профессии, переспрашивает: «Подумай опять, Джон, не торопись с ответом. Не влияет ли на твой ответ некоторым образом чувство раздражения?» А Его Лордство спокойно отвечает: «Отнюдь». Дав ему еще время поразмыслить, лондонский корреспондент «Блеятеля» вопрошает опять: «Позволь мне, Джон, спросить тебя еще раз: войдешь ли ты в кабинет Пальмерстона?» Его Лордство отвечает (буквально) следующее: «Ничто не побудит меня войти в кабинет, возглавляемый Пальмерстоном». Они расстаются, и лондонский корреспондент «Пустомельского Блеятеля» кончает свою корреспонденцию. А так как он всегда избегает, по деликатности, прямой ссылки на источник, из

которого исходят самые свежие и точные сведения по любому вопросу, то он включает в свое сообщение абзац следующего содержания: «Некоторые путаники прочат лорда Джона Рассела в министры иностранных дел; но у меня есть все основания, чтобы уверить наших читателей, что (и тут он приводит — обратите внимание — точные слова, выделяя их) *ничто не побудит его войти в кабинет, возглавляемый Пальмерстоном.* На это вы можете смело положиться». А что происходит на самом деле? В тот самый день, когда выходит этот номер «Блеятеля»,— коварство заговорщиков выражается даже в выборе дня,— лорд Джон Рассел принимает пост министра иностранных дел. Комментарии излишни.

Пустомельцам говорится и говорилось, что лорд Джон Рассел — человек слова. В некоторых случаях, возможно, он таков и есть; но, попав в эту черную и громадную сеть заговора, он повел себя совсем иначе, как убедились пустомельцы. «В данном случае я уверен, поскольку мои сведения исходят из источника, чья подлинность не подлежит сомнению,— писал лондонский корреспондент «Блеятеля» в прошлом году,— что лорд Джон Рассел глубоко сожалеет, что произнес в прошлый понедельник эту недвусмысленную речь». Это вам не общие фразы; это прямые, точные слова. А что делает лорд Джон Рассел (видимо, по чистой случайности) через двое суток после того, как эти слова разнеслись по всему цивилизованному миру? Он поднимается в парламенте и, нимало не смущаясь, заявляет, что если бы ему представился случай произнести эту речь пятьсот раз, он бы ее и произнес пятьсот раз! Вот вам — заговор! И как можно подобный комплот, имеющий целью представить того, кто всегда прав, всегда неправым, терпеть в стране, которая гордится своей свободой и справедливостью?

Правда, пустомельцу, возвысившему голос против возмутительного притеснения, могут сказать, что ведь в конце концов все это — политический заговор. Ему могут сказать, что поскольку м-р Дизраэли в нем замешан, и лорд Дерби в нем замешан, и м-р Брайт в нем замешан, и все министры внутренних, иностранных и колониальных дел в нем замешаны, и все министерства, и все оппозиции в нем замешаны, то это доказывает лишь одно: в политике

делается то, что в других областях было бы невозможно. Такой выдвигается довод? В таком случае следует возразить, что этот огромный заговор охватывает всех художников всех школ и все сословия вплоть до последнего преступника, равно как и палача, который обрывает его жизнь на виселице. Ибо все эти лица известны лондонскому корреспонденту «Пустомельского Блеятеля», и все они обманывают его.

Убедитесь в этом сами, сэр. Вот анналы «Блеятеля», документальные данные. За недели, за месяцы до открытия выставки Королевской академии художеств лондонский корреспондент «Блеятеля» знает темы всех ведущих художников, знает, что они собирались написать сначала и что они написали вместо этого, знает, что они должны писать, но не пишут, и что не должны писать, а пишут, знает, от кого они получили заказы, вплоть до последней буквы договора, и знает, сколько они получают — вплоть до последнего шиллинга. Но вот этот выдающийся человек, которому художник раскрывает душу, как ни одному своему ближайшему и довереннейшему другу, покидает студию, и сразу же обнаруживается заговор, и начинается мошенничество. Альфред Великий превращается в сказочную королеву; Моисей, взирающий на землю обетованную, оказывается Моисеем, идущим на ярмарку; * портрет Его Преосвященства архиепископа Кентерберийского преображается с помощью непонятного колдовства, вызванного волшебными силами, в «Любимого терьера» или «Пасущихся коров»; а самое замечательное произведение искусства по каталогу, приведенному «Блеятелем», холодно отбрасывается, причем утверждается, что такового никогда не существовало даже в сокровеннейших мыслях самого художника. Это само по себе подло, но это далеко не всё. Покупатели картин выползают из своих тайных убежищ, чтобы присоединиться к преступной шайке заговорщиков. М-р Бэринг недвусмысленно сказал лондонскому корреспонденту «Блеятеля», что он приобрел № 39 за тысячу гиней, а сам отдает это произведение неизвестному лицу за пару сотен фунтов; маркиз Лэнс Даун делает вид, что он понятия не имеет ни о каких заказах, хотя лондонский корреспондент «Блеятеля» клялся в обратном, и позволяет провести железную дорогу по его земле

за половину стоимости. Подобные примеры могут быть умножены. Позор, позор этим людям! И это — Англия?

Или, взгляните на литературу, сэр! Лондонский корреспондент «Блеятеля» не только знаком со всеми крупными писателями, но и владеет тайнами их душ. Ему внятны их сокровенные значения и намеки, он видит их рукописи до опубликования и знает темы и названия их книг еще до того, как они были начаты. Как смеют эти писатели предавать этого выдающегося человека и поступать наперекор тем намерениям, которые они ему поведали? Чем оправдывают они полную переделку своих рукописей, подмену названий, отход от тем? Станут ли они отрицать свои поступки перед лицом всего Пустомельска? Если хватит у них на это наглости — пусть анналы «Блеятеля» заставят их умолкнуть. По плодам их узнаете их. Пусть их произведения сравнят с предваряющими обзорами лондонского корреспондента «Блеятеля», и ложь и обман их станут ясны, как день; тогда станет понятно: они не желают делать ничего, в чем клялись лондонскому корреспонденту «Блеятеля»; станет ясно: они принадлежат к самым черным силам в этом черном заговоре. И это будет очевидно, сэр, не только по отношению к их общественным делам, но и по отношению к их частной жизни. Возмущенный пустомелец, решивший вывести этот позорный заговор на чистую воду, обвиняет этих литераторов в уничтожении своей собственности, обмане сборщиков налогов, заполнении фальшивых счетов и заключении подложных контрактов. Он обвиняет их, опираясь на безукоризненную достоверность лондонского корреспондента «Пустомельского Блеятеля». С его свидетельством им не удастся согласовать ни одно событие их жизни в собственном их описании.

Национальный характер вырождается под влиянием этого разветвленного чудовищного заговора. Все время подделываются документы. Например, выдающийся человек — любой выдающийся человек — умирает. Лондонский корреспондент «Блеятеля» знает, каковы его обстоятельства, каковы его сбережения (если они имеются), кто его кредиторы, он знает все о его детях и родственниках и (обычно еще до того, как остыло тело) описывает его

завещание. Исполняется ли это завещание? Никогда! Его подменяют другим завещанием, а настоящий документ уничтожается. И такое творится (как уже отмечено выше) в Англии!

Кто же исполнители и злоумышленники, зачисленные в списки этой предательской лиги? Из чьих средств им платят и какими клятвами они клянутся хранить тайну? Нет таких? Тогда заметьте, что за этим следует. Некоторое время назад лондонский корреспондент «Блеятеля» написал следующее: «Болдбой — пианист, выступающий не без успеха в галерее св. Джануариуса. За вечер он получает триста фунтов чистыми. Неплохо!» Строитель галереи (завязший по уши в заговоре) прочел эти новости и заметил, с характерной для него грубостью, что лондонский корреспондент «Блеятеля» — слепой осел. Его собеседник, человек весьма решительный, стал настаивать на том, чтобы он объяснил свое необычное заявление. И тот объявил, что даже если галерея будет битком набита публикой, то и в этом случае сбор не даст две сотни фунтов, а издержки составляют добрую половину наивысших сборов. Весьма решительный господин (тоже пустомелец) измерил галерею через неделю после события, и оказалось, что, действительно, сборы никак не могут составить двести фунтов. Станет ли самый убогий ум сомневаться, что галерею сумели за это время перестроить?

Таким образом, заговор распространяется, проникает во все слои общества, вплоть до ожидающего казни преступника, палача и тюремного священника. Каждый известный убийца в течение минувших десяти лет осквернил последние мгновения своей жизни, извратив те признания, которые он сделал нарочито для лондонского корреспондента «Пустомельского Блеятеля». И каждый раз мистер Колкрафт следовал подобному примеру; а духовник осужденного, забыв о своем сане и помня лишь (увы) о заговоре, приводил такие описания поведения или высказываний преступника, которые оказывались прямо противоположными конфиденциальным сведениям лондонского корреспондента «Блеятеля». И это (как замечено выше) — добрая старая Англия!

Нелегко, однако, одолеть подлинного гения. Лондонский корреспондент «Блеятеля», видимо начиная подозре-

вать о заговоре против него, недавно пустил в ход новый стиль изложения, под который трудно подвести подкоп, так что потребуется, вероятно, организация нового заговора. Применение нового стиля было обнаружено — что вызвало огромную сенсацию в Пустомельске — в следующем абзаце: «Раз уж я коснулся светской болтовни на литературные темы, позвольте сообщить вам, что ходят новые поразительные слухи относительно разговоров, упоминаемых мною ранее, как якобы имевших место в квартире на бельэтаже (над входной дверью) м-ра Кс. Аметра (поэта, хорошо известного нашим читателям), причем утверждается, что отношения между двоюродным дедушкой Кс. Аметра, его вторым сыном, его мясником и полным одноглазым джентльменом, пользующимся большим уважением в Кенсингтоне, не совсем дружественные; в этой корреспонденции я не буду распространяться на эту тему, поскольку мой собеседник не мог сообщить мне дальнейшие подробности».

Но довольно, сэр. Житель Пустомельска, который взялся за перо, чтобы обличить это мерзкое сообщество беспринципных губителей безупречной (местной) знаменитости, отворачивается от этого сообщества с отвращением и презрением. Ему остается лишь в нескольких словах обнажить цель заговорщиков, сорвав с нее последние жалкие покровы, и внушающая ему омерзение задача будет выполнена.

Цель эта, по его мнению, двойная: во-первых, представить лондонского корреспондента «Пустомельского Блеятеля» как зловредного тупицу, который, подрядившись сообщать то, чего он не знает, причиняет обществу столько зла, сколько может причинить тупица. Во-вторых, внушить жителям Пустомельска, что приятие такого количества дряни отнюдь не улучшает их город.

Итак, сэр, по обоим этим пунктам Пустомельск вопрошает громовым голосом: «Где же генеральный прокурор? Почему этим делом не займется «Таймс»? (Или газета тоже в заговоре? Она никогда не соглашается с его взглядами, никогда не цитирует его и бесконечно ему противоречит). Пустомельск, сэр, не забыл, что наши пращуры сражались с норманами при Гастингсе и проливали кровь во множестве других мест, которые вы, без сомнения,

легко вспомните, и не желает продать свое первородство за чечевичную похлебку. Берегитесь, сэр, берегитесь! Не то Пустомельск (недаром же его ныне бездействующие ружья стоят в козлах на обесчещенных улицах города) двинется вперед, следуя за своим «Блеятелем» к подножью трона и потребует отмщения заговорщикам от державной руки Ее Величества!

31 декабря 1859 г.

ПАМЯТИ У. М. ТЕККЕРЕЯ

Друзья великого английского писателя, основавшего этот журнал *, пожелали, чтобы краткую весть о его уходе из жизни написал для этих страниц его старый товарищ и собрат по оружию, который и выполняет сейчас их желание и о котором он сам писал не раз — и всегда с самой лестной снисходительностью.

Впервые я увидел его почти двадцать восемь лет назад, когда он изъявил желание проиллюстрировать мою первую книгу. А в последний раз я видел его перед рождеством в клубе «Атенеум», и он сказал мне, что три дня пролежал в постели, что после подобных припадков его мучит холодный озноб, «лишающий его всякой способности работать», и что он собирается испробовать новый способ лечения, который тут же со смехом мне описал. Он был весел и казался бодрым. Ровно через неделю он умер.

За долгий срок, протекший между этими двумя встречами, мы виделись с ним много раз: я помню его и блестяще остроумным, и очаровательно шутливым, и исполненным серьезной задумчивости, и весело играющим с детьми. Но среди этого роя воспоминаний мне наиболее дороги те два или три случая, когда он неожиданно входил в мой кабинет и рассказывал, что такое-то место в такой-то книге растрогало его до слез и вот он пришел

пообедать, так как «ничего не может с собой поделать» и просто должен поговорить со мной о нем. Я убежден, что никто не видел его таким любезным, естественным, сердечным, оригинальным и непосредственным, как я в те часы. И мне более, чем кому-либо другому, известны величие и благородство сердца, раскрывавшегося тогда передо мной.

Мы не всегда сходились во мнениях. Я считал, что он излишне часто притворяется легкомысленным и делает вид, будто ни во что не ставит свой талант, а это наносило вред вверенному ему драгоценному дару. Но мы никогда не говорили на эти темы серьезно, и я живо помню, как он, запустив обе руки в шевелюру, расхаживал по комнате и смеялся, шуткой оборвав чуть было не завязавшийся спор.

Когда мы собрались в Лондоне, чтобы почтить память покойного Дугласа Джерролда *, он прочел один из своих лучших рассказов, помещенных в «Панче»,— описание недетских забот ребятишек одной бедной семьи. Слушая его, нельзя было усомниться в его душевной доброте и в искреннем и благородном сочувствии слабым и сирым. Он прочел этот рассказ так трогательно и с такой задушевностью, что, во всяком случае, один из его слушателей не мог сдержать слезы. Это произошло почти сразу после того, как он выставил свою кандидатуру в парламент от Оксфорда, откуда он прислал мне своего поверенного с забавной запиской (к которой прибавил затем устный постскриптум), прося меня «приехать и представить его избирателям, так как он полагает, что среди них не найдется и двух человек, которые слышали бы о нем, а меня, он убежден, знают человек семь-восемь, не меньше». И чтение упомянутого выше рассказа он предварил несколькими словами о неудаче, которую потерпел на выборах, и они были исполнены добродушия, остроумия и здравомыслия.

Он очень любил детей, особенно мальчиков, и удивительно хорошо с ними ладил. Помню, когда мы были с ним в Итоне, где учился тогда мой старший сын, он спросил с неподражаемой серьезностью, не возникает ли у меня при виде любого мальчугана непреодолимое желание дать ему соверен — у него оно всегда возникает.

Я вспомнил об этом, когда смотрел в могилу, куда уже опустили его гроб, ибо я смотрел через плечо мальчугана, к которому он был добр.

Все это — незначительные мелочи, но в горестной потере всегда сперва вспоминаются разные пустяки, в которых опять звучит знакомый голос, видится взгляд или жест — все то, чего нам никогда-никогда не увидеть вновь здесь, на земле. А о том большем, что мы знаем про него, — о его горячем сердце, об умении безмолвно, не жалуясь, сносить несчастья, о его самоотверженности и щедрости, нам не дано права говорить.

Если в живой беззаботности его юности сатирическое перо его заблуждалось или нанесло несправедливый укол, он уже давно сам заставил его принести извинения:

> Мной шутки он бездумные писал,
> Слова, чей яд сперва не замечал,
> Сарказмы, что назад охотно б взял.

Я не решился бы писать сейчас о его книгах, о его проникновении в тайны человеческой натуры, о его тончайшем понимании ее слабостей, о восхитительной шутливости его очерков, о его изящных и трогательных балладах, о его мастерском владении языком. И уж во всяком случае, я не решился бы писать обо всем этом на страницах журнала, который с первого же номера освещался блеском его дарований и заранее интересовал читателей благодаря его славному имени.

А на столе передо мной лежат главы его последнего, недописанного романа *. Нетрудно понять, как грустно становится — особенно писателю — при виде этого свидетельства долго вынашивавшихся замыслов, которым так никогда и не будет дано обрести свое воплощение, планов, чье осуществление едва началось, тщательных приготовлений к долгому путешествию по путям мысли, так и оставшимся непройденными, сияющих целей, которых ему не суждено было достичь. Однако грусть моя порождена лишь мыслью о том, что, когда оборвалась его работа над этим последним его творением, он находился в расцвете сил и таланта. На мой взгляд, глубина чувства, широта замысла, обрисовка характеров, сюжет и какая-то особенная теплота, пронизывающая эти главы, делают их

лучшим из всего, что было им когда-либо создано. И почти каждая страница убеждает меня в том, что он сам думал так же, что он любил эту книгу и вложил в нее весь свой талант. В ней есть одна картина, написанная кровью сердца и представляющая собой истинный шедевр. Мы встречаем в этой книге изображение двух детей, начертанное рукой любящей и нежной, как рука отца, ласкающего свое дитя. Мы читаем в ней о юной любви, чистой, светлой и прекрасной, как сама истина. И замечательно, что благодаря необычному построению сюжета большинство важнейших событий, которые обычно приберегаются для развязки, тут предвосхищается в самом начале, так что отрывок этот обладает определенной целостностью и читатель узнает о главных действующих лицах все необходимое, словно писатель предвидел свою безвременную кончину.

Среди того, что я прочел с такой печалью, есть и последняя написанная им строка, и последняя исправленная им корректура. По виду страничек, на которых Смерть остановила его перо, можно догадаться, что он постоянно носил рукопись с собой и часто вынимал, чтобы еще раз просмотреть и исправить ее. Вот последние слова исправленной им корректуры: «И сердце мое забилось от неизъяснимого блаженства». И наверное, в этот сочельник, когда он, разметав руки, откинулся на подушки, как делал всегда в минуты тяжкой усталости, сознание исполненного долга и благочестивая надежда, смиренно лелеемая всю жизнь, с божьего соизволения дали его сердцу забиться блаженством перед тем, как он отошел в вечный покой.

Когда его нашли, он лежал именно в этой позе, и лицо его дышало покоем и миром — казалось, он спит. Это произошло двадцать четвертого декабря 1863 года. Ему шел только пятьдесят третий год — он был еще так молод, что мать, благословившая его первый сон, благословила и последний. За двадцать лет до этого он, попав на корабле в бурю, писал:

На море после шквала
Волненье затихало,
А в небе запылала
    Заря — глашатай дня.

Я знал — раз светлы дали,
Мои дочурки встали,
Смеясь, пролепетали
Молитву за меня.

Эти маленькие дочурки стали уже взрослыми, когда загорелась скорбная заря, увидевшая кончину их отца. За эти двадцать лет близости с ним они многое от него узнали, и перед одной из них открывается путь в литературу, достойный ее знаменитого имени.

В ясный зимний день, предпоследний день старого года, он упокоился в могиле в Кенсал Грин, где прах, которым вновь должна стать его смертная оболочка, смешается с прахом его третьей дочери, умершей еще малюткой. Над его надгробием в печали склонили головы его многочисленные собратья по перу, пришедшие проводить его в последний путь.

Февраль 1864 г.

ИГРА МИСТЕРА ФЕХТЕРА*

Замечательный актер, чье имя стоит в заголовке, намеревается покинуть Англию для гастролей в Соединенных Штатах. Я хотел бы надеяться, что несколько слов о его талантах прежде, чем он сам докажет американским зрителям, насколько мои похвалы соответствуют истине, могут показаться небезынтересными для некоторых читателей, и я верю, что они не будут неприятны моему близкому другу. Я спешу упомянуть о моей дружбе с мистером Фехтером не только потому, что он действительно мой друг, но и потому, что она родилась из моего восхищения его игрой. Я внимательно следил за его выступлениями на подмостках как парижских, так и лондонских театров и был его горячим поклонником задолго до того, как мы обменялись хотя бы одним словом. Следовательно, я восхищаюсь им не потому, что он мой друг, но он стал моим другом потому, что я им восхищаюсь.

Первое, что отличает игру мистера Фехтера,— это ее высокая романтичность. Вместе с тщательной отделкой мельчайших деталей в ней всегда чувствуется какая-то особая сила и энергия, словно наполняющие весь спектакль новой жизнью. Когда он на сцене, мне кажется, что все события происходят в первый и в последний раз. Играя влюбленного, он полон такого пыла, так упоен своей страстью, что она словно окутывает сиянием ту, к кото-

рой обращено его чувство, и зрители невольно видят ее такой, какой она представляется ему. Именно благодаря этой замечательной способности он покорил Париж и прославился в роли любовника в «Даме с камелиями». Это, собственно говоря, роль, сводящаяся к двум большим сценам, но он так сыграл ее (он был первым ее истолкователем), что она до конца пьесы придавала образу героини возвышенную поэтичность. Женщина, способная вызвать такую любовь, такое преданное возвышенное обожание, невольно покоряла зрителей так, как никогда не покорила бы, не вызови она в этом сердце столь всепоглощающего и совершенного чувства. Когда я в первый раз увидел «Даму с камелиями» с мистером Фехтером, моя снисходительность к героине объяснялась тем, что я своими глазами видел, какую необычайно трогательную любовь могла она зажечь. Я, словно ребенок, убеждал себя: «Дурная женщина не могла бы быть предметом столь удивительной нежности, не могла бы покорить такое сердце, не могла бы вызвать таких слез у такого влюбленного». То же самое, по-моему, осознанно или бессознательно, ощущали все парижские зрители, и именно поэтому то, что шокирует в «Даме с камелиями», исчезло в лучах романтического ореола. Мне довелось увидеть ту же пьесу, когда эта роль игралась иначе, и по мере того как любовь становилась все более скучной и земной, героиня все ниже спускалась со своего пьедестала.

В «Рюи Блазе» *, в «Хозяине Равенсвуда» * и в «Лионской красавице» * — в трех драмах, в которых мистер Фехтер с особенным блеском играет влюбленного, а больше всего в первой,— это замечательное умение заставлять публику видеть в его возлюбленной ту же прелесть, которую видит в ней он, проявляется особенно ярко. Когда Рюи Блаз стоит перед молодой королевой Испании, самый воздух, кажется, исполнен чар, а когда она склоняется над ним, нежно прикладывая руку к его окровавленной груди,— кто сможет остаться равнодушным и не почувствовать, что смерть лучше разлуки с ней и что она достойна того, чтобы за нее так умирали? Когда хозяин Равенсвуда признается в любви Люси Эштон и, услышав ее ответное признание, в порыве восторга целует край ее платья, мы чувствуем, что это мы

касаемся губами легкой ткани, чтобы удержать нашу богиню, не дать ей вознестись на небеса. А когда они обмениваются клятвой верности и разламывают золотую монету, это мы, а не Эдгар, быстро подменяем свою половинку половинкой, которую она хотела повесить себе на шею, потому что этот кусочек золота на мгновение коснулся обожаемой груди. И то же в «Лионской красавице»: картина на мольберте в бедной хижине художника из незаконченного портрета надменной девушки становится наброском высших устремлений души, воплощением ее надежд здесь, на земле, и там, в ином мире.

Живописность — вот что в первую очередь отличает образы, создаваемые мистером Фехтером. Искусный художник и скульптор, знаток истории костюма, он и в этом тоже романтик и обладает тонким чувством композиции — он всегда занимает наиболее правильное место в группе, всегда гармонирует с фоном. Эта живописность манеры проглядывает даже в таком, казалось бы, простом жесте, как движение руки в «Рюи Блазе», когда он из окна подзывает человека, находящегося внизу во дворе; и в том, как он надевает ливрею в этой же сцене, или в том, как он пишет письмо под диктовку. В последней сцене чудесной драмы Виктора Гюго его игра становится поистине вдохновенной; а поза палача, которую он внезапно принимает, обличая маркиза и отказываясь драться с ним, на мой взгляд, один из наиболее яростно живописных приемов, какие только может допустить сцена.

Слово «яростно» напоминает мне о том, что мистер Фехтер — поистине мастер самых бурных страстей. В этом, мне кажется, более, чем в чем-либо, проявляется любопытное соединение характерных черт двух великих наций — французов и англосаксов. Мать мистера Фехтера была француженкой, отец — немцем, но он родился в Лондоне и детство и юность свою провел в Англии и во Франции. И поэтому в его гневе соединяется французская экспансивность с нашей более сдержанной англосаксонской манерой вести себя, когда нас, как мы выражаемся, «сильно задели»,— и это смешение порождает поистине нечто невероятное. В этом чувстве смешиваются особенности двух рас, и трудно сказать, чем именно оно обязано каждой из них, но зато можно сказать, что это наиболее

сильная концентрация страстей и эмоций, свойственных человеческой натуре.

Мистеру Фехтеру, в общем, чаще приходилось говорить по-французски, чем по-английски, и поэтому он говорит по-английски с французским акцентом. Но очень ошибется тот, кто решит, что он не умеет говорить по-английски бегло, правильно, четко, понимая и чувствуя смысл, значение и оттенок каждого слова. И он не только знает все тонкости нашего языка, включая самые сочные обороты народного языка, гораздо лучше многих из нас, но декламирует белые стихи Шекспира с удивительной легкостью, музыкальностью и выразительностью. Люди, знакомые с ним, знают, что, слушая его, можно не опасаться того своеобразного смущения, которое мы иной раз испытываем, когда на нашем родном языке говорит иностранец,— наоборот, чувствуется, что любое сказанное им слово он мог бы, если бы захотел, заменить двадцатью синонимами.

Еще несколько замечаний о двух его шекспировских ролях, и пожалуй, мне больше не стоит предварять ваши впечатления от игры мистера Фехтера — она будет говорить сама за себя. Его Яго особенно отличается упомянутой выше живописностью, и в то же время мера соблюдена с такой строгостью, что этот Яго совсем лишен традиционной живописности — он не хмурится, не улыбается с дьявольской язвительностью и не проделывает множества других вещей, которые принудили бы Отелло проткнуть его насквозь еще в первом действии. Яго мистера Фехтера умеет приобретать друзей — и приобретает их; он анатомирует душу своего генерала, не размахивая при этом скальпелем, словно тростью; он покорил Эмилию отнюдь не угрюмостью, достойной вывески «Сарацинова Голова»; он — веселый собутыльник и не отпугивает своих застольных товарищей зловещими телодвижениями; он умеет и спеть веселую песню, и произнести тост, и заколоть человека темной ночью, вместо того чтобы всем своим видом заранее оповещать, что только и ищет, кого бы пырнуть кинжалом. Яго мистера Фехтера так же не похож на традиционного злодея, как его одежда — на традиционный гусарский мундир и сапоги; и вы убедитесь, что живописность его манеры одеваться соответствует его манере дер-

жаться на протяжении всей трагедии, до той самой минуты, когда он умолкает раз и навсегда.

Пожалуй, ни одно новое слово в искусстве еще не принималось с такой доброжелательностью столькими ценителями, предубежденными в пользу совсем другой школы, как Гамлет мистера Фехтера. Я считаю, что это было так (а в Лондоне это было именно так!) не из-за живописности подобного толкования роли, не из-за новизны, не из-за множества отдельных красот исполнения, а из-за его безупречной логичности. Некий художник-анималист сказал о своей любимой картине с кроликами, что в этих кроликах куда больше естественности, чем у обычных кроликов; точно так же о Гамлете мистера Фехтера можно сказать, что в этом Гамлете куда больше логичности, чем у обычных Гамлетов. Главное и редкое достоинство этого оригинального толкования заключается в том, что оно представляет собой совершенное воплощение ясного и четкого замысла. С той минуты, когда появляется этот сломанный «чекан изящества, зерцало вкуса», бледный, без конца оплакивающий смерть отца, уже смутно подозревая ее причину, и до последней борьбы с Горацио из-за рокового кубка, ничто не нарушает цельности характера, создаваемого мистером Фехтером. Немецкий трагик Дефринт несколько лет тому назад произвел немалый фурор на лондонской театральной голубятне тем, что во время сцены с актерами сидел, и еще несколькими столь же скромными отступлениями от традиций; однако он носил все тот же маловыразительный костюм и в главном придерживался все той же традиционной трактовки, балансируя между здравым рассудком и безумием. Не помню, был ли на нем парик с короткими, круто завитыми кудрями, словно он собирался на вечный танцевальный урок при датском дворе, но зато я твердо помню, что все другие Гамлеты со времен великого Кембла * волей-неволей обзаводились такими кудрями. Гамлет мистера Фехтера, бледный, грустный северянин с длинными льняными волосами, в странном одеянии, какого еще не видела английская сцена (во всяком случае, в этой трагедии), пиратски уничтожающий целый флот всяческих мелких театральных рецептов — вполне бессмысленных или, наподобие знаменитого друга доктора Джонсона *, имеющих всего одну идею, да и ту

неправильную,— этот Гамлет мог снискать такой необычайный успех только потому, что образ его с начала и до конца был подчинен единой всепроникающей цели, которая логически оправдывала любое отступление от традиций. Такое развитие характера нашло особенно яркое воплощение в сценах с Офелией, в сцене смерти Полония, в изображении старой студенческой дружбы Гамлета и Горацио; разница между мизансценой, эффектной ради самого эффекта, и мизансценой, служащей раскрытию внутреннего смысла происходящего, становится особенно понятной, когда в сцену «мышеловки» вводится галерея с музыкантами, проходящими затем с инструментами в руках мимо Гамлета, который берет у одного из них флейту, столь важную для его разговора с Розенкранцем и Гильденстерном.

Это дает возможность перейти к наблюдению, которым я с самого начала предполагал заключить свою статью, а именно: романтизм и живописность у мистера Фехтера всегда идут рука об руку с истинно художественным чутьем и истинно художественным умом, сформировавшимся под влиянием истинно художественного духа. Он вступил в труппу «Театр Франсэ» еще совсем юным, и его природные дарования развивались в самых лучших школах. Я не могу пожелать моему другу публики лучше той, которую он найдет в американцах, а им я не могу пожелать актера лучше того, которого они найдут в моем друге.

Август 1869 г.

РЕЧИ

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЕГО ЧЕСТЬ

(Эдинбург)
25 июня 1841 года *

Если бы ваш теплый, великодушный прием не взволновал меня так сильно, я сумел бы поблагодарить вас куда лучше. Если бы я мог прослушать так же спокойно, как прослушали вы, вдохновенную речь вашего уважаемого председателя, если бы мог воспринять, как восприняли вы, «мысли, которые дышат, и слова, которые жгут» *, произнесенные им, мне все равно было бы трудно, но я заразился бы хоть малой долей его вдохновения и загорелся бы его примером. Но после тех слов, которые слетели с его уст, и тех проявлений одобрения и сочувствия, которыми вы встретили его красноречие, я просто не в состоянии достойно ответить на его доброту, сердце мое переполнено, а язык мне не повинуется. *(Громкие возгласы одобрения.)* Я жажду ответить на ваши сердечные приветствия, как надлежало бы. Видит бог, я этого хочу, но не умею.

Путь, которым я шел к вашему доброму мнению, благосклонности и поддержке, был приятен и легок — усыпан цветами, согрет солнцем. Мне кажется, что я нахожусь среди старых друзей, которых уже давно и хорошо знаю и высоко ценю. Мне кажется, что смерть вымышленных героев, к которым вы, по доброте своей, проявили участие, сроднила нас так же, как подлинное горе скрепляет

дружбу в действительной жизни; мне кажется, что это были живые люди, за чьей судьбой мы с вами неразлучно следили вместе, и что вам они всегда были так же близки, как мне.

Говорить о себе и о своих книгах — трудное дело. Но сегодня, пожалуй, не будет неуместным, если я осмелюсь сказать несколько слов о том, как рождались эти мои книги. Мною владело серьезное и смиренное желание — и оно не покинет меня никогда — сделать так, чтобы в мире стало больше безобидного веселья и бодрости. Я чувствовал, что мир достоин не только презрения; что в нем стоит жить, и по многим причинам. Я стремился отыскать, как выразился профессор, зерно добра, которое Творец заронил даже в самые злые души. Стремился показать, что добродетель можно найти и в самых глухих закоулках, что неверно, будто она несовместима с бедностью, даже с лохмотьями, — и пронести через всю мою жизнь девиз, выраженный в пламенных словах вашего северного поэта:

Богатство — штамп на золотом,
А золотой — мы сами *.

(Громкие возгласы одобрения.) И, следуя по этому пути, где мог я лучше удостовериться в своей правоте, в чем мог я почерпнуть лучшее поощрение, чем в вашей доброте сегодня, в этот памятный для меня вечер? *(Громкие возгласы.)*

Я счастлив, что мне представился случай сказать несколько слов касательно одного эпизода, который заинтересовал вас, чему я очень рад, и огорчил вас, чему я, как это ни парадоксально, рад еще больше: я имею в виду смерть моей маленькой героини. Когда у меня только еще зародилась мысль, как завершить это нехитрое повествование, я твердо решил придерживаться ее и ни в коем случае не уклоняться от цели, которую себе наметил. Сам изведав немало горя, изведав смерть людей, дорогих моему сердцу, я думал о том, как было бы хорошо, если бы в своей скромной книжке, призванной служить невинной забавой, я мог заменить венком из живых цветов безобразные статуи, уродующие могилы. Если в этой книге мне хоть в малой мере удалось внушить молодым умам более светлые мысли о смерти или утолить скорбь, терзающую

сердца стариков; если хоть одно из написанных мною слов может утешить и порадовать молодых или старых в час испытаний,— я буду считать, что достиг чего-то такого, на что мне отрадно будет оглянуться в последующие годы. Вот почему я не отступал от своего замысла, несмотря на то, что когда мой рассказ приближался к концу, я ежедневно получал негодующие письма, в особенности от женщин. Да благословит их бог за их чувствительное сердце! Профессор был совершенно прав, когда сказал, что я еще не научился изображать их добродетели; и боюсь, что в своем стремлении описать словами идеал женщины, живущий у меня в душе, я буду и впредь портить их репутацию. *(Крики одобрения.)* Впрочем, наряду с этими письмами я получал и другие, от представителей более сурового пола, и некоторые из них не были свободны от резких личных нападок. И все же я не отступил от своего замысла, и мне очень приятно, что многие из тех, кто сперва осуждал меня, теперь громче других выражают свое одобрение.

Может быть, мне не следовало занимать ваше время этим маленьким эпизодом, но я об этом не жалею; виноват здесь не я, а вы сами: ведь это ваша доброта внушила мне такое доверие к вам. Я снова пытаюсь выразить вам свою признательность, и снова чувствую свое бессилие. Ведь о почестях, каких вы меня удостоили, я не смел и мечтать. Всем вам должно быть понятно, что я никогда этого не забуду, что до гробовой доски буду вспоминать об этом с гордостью. Отныне самое название вашего города будет, я в том уверен, вызывать у меня чувство благодарности и радости. Пока я жив, я буду любить его жителей, его холмы, его дома, даже камни его мостовых. И если в книгах, которые мне еще суждено написать, вы обнаружите бо́льшую ясность духа и бо́льшую остроту ума,— а я молю бога, чтобы так оно и было,— то прошу вас, объясняйте это влиянием нынешнего вечера и воздуха Шотландии. *(Громкие возгласы одобрения.)* Благодарю вас еще и еще, вкладывая в одну благодарность столько чувства, что хватило бы на тысячу, и пью за ваше здоровье от всего сердца, столь же полного, как мой бокал,— только он-то, поверьте, останется полным не так долго. *(Взрывы смеха и овация.)*

30*

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЕГО ЧЕСТЬ

(Хартфорд)
7 февраля 1842 года

Джентльмены! Сказать, что я благодарю вас за горячую поддержку тоста, столь красноречиво предложенного; сказать, что я возвращаю вам ваши теплые чувства и добрые пожелания с более чем сложными процентами и сознаю, как слабы и беспомощны любые слова признательности перед вашим радушием и гостеприимством,— это еще полдела. Сказать, что сейчас, в зимнюю пору, на всем пути, приведшем меня к вам, расцвели цветы, что никогда еще ни одна страна не улыбалась более приветливой улыбкой, нежели та, какой ваша страна подарила меня, и что редко когда будущее рисовалось мне более светлым и радостным,— это еще полдела. *(Аплодисменты.)*

Но великое дело — не быть чужестранцем в чужой стране; впервые садясь за стол в новом доме, чувствовать себя так свободно, будто бывал здесь гостем с давних времен; сразу сблизиться с семьей хозяина и проникнуться подлинным живым интересом ко всем членам хозяйской семьи; да, пребывать в таком непривычно счастливом состоянии духа — это великое дело. А так как моим состоянием духа я обязан вам, ибо это вы его создали, то я не стыдясь скажу, что именно по этой причине, обращаясь к вам, я не столько забочусь о форме и тоне своей речи,

сколько стараюсь говорить на общем для всех языке сердца, который вы и вам подобные лучше, чем кто-либо другой, умеете и преподать и понять. Джентльмены, на этом языке, общем для вас здесь, в Америке, и для нас в Англии, на языке, на котором благодаря единению наших двух великих стран и через много веков будут говорить на суше и на море во всех уголках земного шара,— я выражаю вам свою признательность.

На днях в Бостоне, джентльмены, мне пришлось упомянуть, как приходилось упоминать и раньше, что писателю трудно говорить о собственных книгах. Задача эта, и всегда-то нелегкая, делается еще труднее, когда бываешь вынужден часто возвращаться к одной и той же теме, и нового сказать уже нечего. И все же я чувствую, что в таком обществе, как это, и в особенности после того, что сказал наш председатель, я не могу обойти молчанием эти мои детища хотя бы потому, что, даже если у них нет иных достоинств, они послужили поводом для нашего с вами знакомства.

Принято говорить, что по сочинениям писателя нельзя судить о нем как о человеке. Может быть, так оно и есть — я, по многим причинам, тоже склонен думать, что так оно и есть,— но, прочитав книгу, читатель, во всяком случае, получает какое-то определенное и ощутимое представление о нравственных идеалах и важнейших целях писателя, если у него таковые имеются; и вполне вероятно, что он, читатель, не прочь услышать из уст самого писателя подтверждение своих догадок или же объяснение того, почему он ошибся. Джентльмены, мои нравственные идеалы — очень широкие и всеобъемлющие, не укладывающиеся в рамки какой-либо секты или партии,— легко выразить в немногих словах. Я верю — и хочу внушить эту веру другим,— что прекрасное существует даже в тех слоях общества, которые так обездолены, унижены и жалки, что на первый взгляд о них нельзя сказать иначе, как исказив, причудливо и страшно, слова Писания: «И сказал бог, да будет свет, а света не было». Я верю, что наша жизнь, наши симпатии, надежды и силы даны нам для того, чтобы уделять от них многим, а не кучке избранных. Что наш долг — освещать ярким лучом презрения и ненависти, так, чтобы все могли их видеть,

любую подлость, фальшь, жестокость и угнетение, в чем бы они ни выражались. И главное — что не всегда высоко то, что занимает высокое положение, и не всегда низко то, что занимает положение низкое. *(Громкие аплодисменты.)* Этот урок преподан нам в великой книге природы. Этот урок можно прочесть в сияющем пути звезды, равно как и в пыльном следу, что оставляет за собой самая мелкая, ползучая тварь. Этот урок всегда имеет в виду великий провидец, сказавший нам, что есть

В деревьях — речь, в ручье журчащем — книги,
В камнях — наука, и во всем — добро *.

(Возгласы одобрения.)

Джентльмены, я стараюсь никогда об этом не забывать, и потому мне нетрудно определить, откуда проистекает ваша доброта и гостеприимство. Я знаю, что, будь ваша страна не тем, что она есть, а страной деспотизма и зла, ваша благосклонность или осуждение были бы мне глубоко безразличны; но я не сомневаюсь также, что, будь я не тем, что я есть, а величайшим из гениев, когда-либо живших на земле, и употреби я свои силы для угнетения и развращения человечества, вы бы с презрением меня отвергли. Надеюсь, вы так и сделаете, если я, поступая указанным образом, дам вам такую возможность. И поверьте, что, если вы в свою очередь дадите мне подобную возможность, я верну вам этот комплимент сторицею.

Джентльмены, поскольку вы создали между нами дух взаимного доверия, и у меня нет от вас секретов, и поскольку я сам себе дал слово, что, пока я в Америке, я не упущу ни единого случая упомянуть о предмете, в котором одинаково заинтересованы и я и все мои собратья по обе стороны океана,— да, одинаково, тут между нами не может быть разногласий,— я прошу разрешения шепнуть вам на ухо три слова: Международное Авторское Право *. Поверьте мне, я говорю об этом не из корысти, это хорошо знают те, кто хорошо знает меня. Мне лично было бы приятнее, если бы мои дети шлепали по грязи и знали, из отношения к себе окружающих, что их отец пользовался любовью и принес кое-какую пользу, нежели чтобы они разъезжали в колясках и знали, из своего счета у

банкира, что их отец был богат. Но сознаюсь, мне непонятно, почему нужно непременно выбирать либо то, либо другое, и почему бы славе, когда она трубит свой мелодичный сбор, по праву ее прославивший, не выдуть из своей трубы заодно с простыми нотами, которыми она до сих пор довольствовалась, еще и немного *банк*нот.

На прошлом обеде замечательный оратор, чьи слова проникли в сердца всех, кто его слышал, совершенно правильно заметил, что если бы такой закон существовал, Скотт, возможно, не согнулся бы под тяжестью непосильного умственного напряжения, а прожил бы дольше и прибавил новые создания своей фантазии к сонму тех, что сопровождают вас на летних прогулках, а зимними вечерами толпятся у вашего камелька.

Когда я слушал эти слова, перед моим внутренним взором живо возникла трогательная сцена из жизни сего великого человека — он лежит, окруженный своею семьей, и в последний раз слушает, как журчит по камням милая его сердцу река. Я представил себе — вот он, слабый, бледный, умирающий, разбитый телесно и духовно в своей почетной битве, а вокруг него витают духи, вызванные к жизни его воображением,— Уэверли, Равенсвуд, Джинни Динс, Роб Рой, Калеб Болдерстоун, учитель Сэмпсон * — все такие знакомые, а с ними — целая толпа кавалеров, и пуритан, и вождей горных племен Шотландии, они уже не вмещаются в комнате и тают где-то в туманной дали. Я представил себе, что вот они облетели весь мир, а теперь повесили голову от стыда и горя — ведь из всех стран, где они побывали, неся с собой радость, усладу и просвещение, они не принесли ему ни капли помощи, которая подняла бы его с этого печального ложа. Нет, даже из той страны, где говорят на его родном языке, где его книги — на его родном языке — читают в каждом доме, в каждой хижине,— даже оттуда не принесли они ему в благодарность ни единого доллара, чтобы хоть купить венок ему на могилу. Ах, если бы все, кто едет отсюда поглядеть на могилу в Драйбургском аббатстве,— а таких много! — помнили об этом и не забывали по возвращении домой!

Джентльмены! Благодарю вас еще раз, еще много раз. Вы дали мне новый повод запомнить этот день, уже и так

отмеченный в моем календаре, потому что это день моего рождения; и всей моей семье вы дали новый повод вспоминать его с гордостью и удовольствием. Видит бог, даже если я доживу до глубоких седин, я и без того не забуду этой поры своей жизни. Но мне отрадно думать, что отныне все вы неразрывно связаны с этим днем; и что всякий раз, как он настанет, я в воображении буду снова и снова принимать вас за своим столом, в благодарность за счастье, которое вы мне дали сегодня. *(Громкие аплодисменты.)*

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЕГО ЧЕСТЬ

(Нью-Йорк)
18 февраля 1842 года *

Господин председатель, джентльмены, я не знаю, просто не знаю, как благодарить вас. Вы, может быть, думаете, что привычка и опыт, которые я приобрел благодаря вашей доброте, должны бы облегчить мне эту задачу или вообще свести на нет ее трудности, однако, уверяю вас, дело обстоит как раз наоборот. В отличие от всем известного камня, который не обрастает мхом, потому что катится, я по пути в ваш город собрал такой груз обязательств, оброс таким толстым слоем признательности, что в попытках выразить ее становлюсь с каждым часом все более тяжеловесным и громоздким. *(Громкие аплодисменты.)* Не далее как в понедельник вечером, на некоем блестящем собрании, я, если можно так выразиться, оброс таким количеством нового мха, что думал — еще больше раздаться в толщину мне уже невозможно. *(Громкий смех.)* А между тем сегодня его наросло еще столько, что я окончательно застрял на месте и дальше катиться не могу. *(Смех и бурные аплодисменты.)*

Джентльмены, все авторитеты сходятся в том, что когда в сказке волшебный камень, или шар, или клубок останавливается по собственному почину, это предвещает какое-нибудь несчастье. Я-то, правда, остановился не по своей

воле. Однако некоторое сходство тут можно усмотреть: ибо, памятуя, как мало времени мне осталось провести в этой захватывающе интересной стране и как мало у меня возможностей познакомиться с нею и узнать ее покороче, я счел, можно сказать, своим долгом отклонить почести, какими мои друзья в других городах хотели меня осыпать, и впредь передвигаться по стране без шума. Сам Аргус, хотя у него на один рот было целых сто глаз, почувствовал бы, что от еженедельных общественных приемов сил у него поубавилось и зоркость притупилась. *(Громкий смех и аплодисменты.)* А поскольку я не хочу упустить ни зернышка из тех богатых россыпей удовольствия и пользы, которые, я в том уверен, ждут меня здесь повсюду,— малую толику я уже получил авансом в ваших больницах и тюрьмах,— я решил взять свой посох и с легкой душой пуститься в путь, с тем чтобы отныне пожимать американцам руки не на приемах, а в домашнем кругу. *(Продолжительные аплодисменты.)* Поэтому-то, джентльмены, я говорю сегодня,— говорю с полным сердцем, честными намерениями и благодарными чувствами,— что никакими словами не передать, сколь глубоко врезался мне в память ваш радушный, дружеский и почетный прием, что нигде под небом Европы, ни в каком уютном и теплом доме я не смогу забыть вашу страну, что я часто буду слышать ваши приветственные слова в моей комнате — чаще всего, когда в ней будет всего тише,— и зимним вечером буду видеть ваши лица в пламени камина; что, если мне суждено дожить до старости, огни этой залы и других, подобных ей, еще и через пятьдесят лет будут гореть перед моим тускнеющим взором так же ярко, как горят они нынче; и когда завершится круг моей жизни, люди увидят, что приязнь, которую вы мне выказали, не была забыта и я, с божьей помощью, отплатил за нее вечной любовью и честным трудом на благо человечества. *(Громкие, бурные аплодисменты.)*

Джентльмены, еще одно слово касательно моей уже сильно надоевшей вам особы,— и с этим предметом будет покончено. Я приехал сюда с открытой душой, исполненный надежд и доверия, непритворно к вам расположенный. Будь это не так, я бы к вам не поехал. Но раз уж я сюда приехал, и здесь нахожусь, и за все это время ни

в словах, с которыми я к вам обращался, ни в выражениях чувств, которыми я с вами обменивался, не было даже одной сотой грана низменной примеси или каких-либо недостойных ссылок на собственную выгоду,— я сегодня, вероятно в последний раз, утверждаю свое право во имя разума, истины и справедливости воззвать к вам, как я уже дважды это делал, по вопросу, имеющему одинаковый интерес для литературы обеих наших стран. Я прошу по справедливости признать, джентльмены, что я обращался с этим призывом как человек, имеющий самое законное право говорить и быть выслушанным; и что делал я это в духе искреннего, учтивого и доброжелательного уважения к тем, кто искренне, учтиво и доброжелательно не соглашался со мною в каком-либо, а то и во всех отношениях. *(Одобрительные возгласы.)* О себе, джентльмены, добавлю только, что я всегда буду верен вам так же, как вы верны мне. *(Громкие крики.)* В вашем горячем одобрении героев, созданных моим воображением, я как в зеркале вижу вашу просвещенную заботу о счастье многих, ваше нежное участие к беспомощным и обездоленным, ваше сострадание к униженным, ваше намерение исправлять и искоренять зло и поощрять и поддерживать добро, содействовать образованию и совершенствованию всех членов общества. *(Громкие крики одобрения.)* Моя постоянная, все растущая преданность этой цели и готовность до последнего вздоха, по мере моих слабых сил, служить ей, как и всякой другой цели, способствующей общему благу, докажет вам, что вы во мне не ошиблись и не напрасно усыпали мой путь цветами. *(Крики одобрения.)*

А теперь, после того как я столько наговорил о своей особе, я позволю себе долгожданное удовольствие — поговорить о ком-то другом. В этом городе проживает некий джентльмен, который, по окончании мною одной из моих книг — я точно помню, это была «Лавка древностей» — написал мне в Англию такое великодушное, дружеское и благородное письмо, что оно послужило бы мне самой лучшей, самой радостной наградой, даже если бы я писал свою книгу в условиях неблагоприятных, расхолаживающих, трудных, а не так как оно было, когда все, казалось, поощряло и подстегивало меня в работе. *(Одобрительные возгласы.)* Я ему ответил, а он ответил мне *(смех)*, и так

мы продолжали письменно пожимать друг другу руки *(смех)*, как будто и не было океана, разделявшего нас *(смех)*, до тех пор пока в субботу вечером я не прибыл сюда, сгорая желанием увидеть его воочию. И вот он *(кладя руку на плечо Ирвинга)*, вот он сидит здесь! *(Приветственные крики.)* И мне нет нужды говорить вам, что его присутствие здесь в качестве председателя — это для меня сегодня самая большая радость. *(Громкие возгласы.)*

Да знаете ли вы, джентльмены, что я не менее двух раз в неделю, уходя к себе наверх спать,— это может подтвердить *(оглядываясь на жену)* надежный свидетель *(смех)*,— да, да, джентльмены, не менее двух раз в неделю, отправляясь спать, я уношу с собой под мышкой Вашингтона Ирвинга *(оглушительный смех)*; а если не его, так его ближайшего родича, его родного брата — Оливера Гольдсмита. *(Приветственные возгласы.)* Вашингтон Ирвинг! Не он ли владел моими мыслями, когда я на днях подплывал к вашему городу на пароходе из Нью-Хейвена и высматривал «Спину кабана», «Сковородку», «Ворота в ад» и прочие страшные места, наводившие ужас на голландских мореплавателей? *(Смех и возгласы.)* Вашингтон Ирвинг! Когда я не так давно посетил родной город Шекспира и вошел в тот дом, где он появился на свет, не его ли имя мне с гордостью показали первым среди многих, написанных на стене? Вашингтон Ирвинг! Дидрих Никербокер, Джеффри Крэйон! * Где только они не побывали раньше нас! На английской ферме, в людном городе, на живописных деревенских проселках, среди прекрасных полей Англии и среди ее благословенных счастливых обиталищ его имя, как никакое другое, связывают с представлением о добродетели и таланте, и это имя, как и память о нем, будут чтить в невинных этих убежищах до скончания века! *(Бурные аплодисменты.)*

Заглянем в наши графства — разве не существует там и поныне Брейсбридж-Холл? Заглянем в столицу — разве нет у Литл-Бритен своего летописца? Разве не стоит в Истчипе таверна «Кабанья Голова»? Да что там, джентльмены, когда мистер Крэйон покидал Англию, он оставил в тесной задней комнате для приезжих, на постоялом дворе поблизости от этой самой «Кабаньей Головы», некоего че-

ловека, наделенного бесконечной мудростью, с красным носом и в клеенчатой шляпе, и этот же человек сидел там, когда я сам покидал те места. Да, джентльмены, это был тот же самый человек — не кто-то похожий на него, а именно он,— я понял это по вечно юным краскам его носа и неумирающему глянцу его шляпы. *(Смех.)* А в одной деревне, тоже неподалеку от Брейсбридж-Холла, мистер Крэйон был на короткой ноге с неким радикалом, который носил весьма потрепанный сюртук, а шляпу набивал старыми газетами. Джентльмены, я тоже был знаком с этим человеком. *(Смех.)* Он обретается там и поныне, вместе со своей шляпой, полной газет,— к великому неудовольствию Тиббета-старшего. *(Громкий смех.)*. Он даже ни чуточки не изменился и особо просил меня засвидетельствовать его почтение Вашингтону Ирвингу!

А теперь, джентльмены, покинем городскую и «Сельскую жизнь в Англии», забудем на время, если только это возможно, «Гордость деревни» и «Разбитое сердце» * и, снова переплыв океан, спросим, кто теснее всех связал свое имя с Итальянским почтовым двором и разбойниками Пиринеев? Когда путешественник, перевалив через Альпы, пробирается следом за огоньком свечи по гулким коридорам гостиницы, сырым, холодным и мрачным; когда он наконец усаживается у огня и на его глазах жалкая комната постепенно приобретает видимость уюта; когда он задернет занавески — какие ни на есть, отсыревшие и траченные молью,— и услышит, как свирепствует буря, с яростью колотя в его окно; и когда все, сколько их существует, рассказы о привидениях столпятся вокруг него, перемешавшись с его собственными фантазиями,— кто приходит ему на ум в такое время? Ну конечно же, Вашингтон Ирвинг! *(Приветственные крики.)*

Перенесемся еще дальше, к мавританскому фонтану, сверкающему в свете луны, а возле него, наслаждаясь прохладой, медлят несколько водоносов и досужих сплетников, когда все остальные уже ушли в деревню и только голоса их слышатся вдали, словно гудение пчел. Кто в этот час молча подходит к путнику и волшебным своим жезлом указывает на стены Альгамбры? Кто пробуждает в каждой пещере отзвуки музыки, мелькание легких ног, звон цимбал, лязг доспехов, поступь воинов в кольчугах,

кто повелевает легионам, что веками спали без сновидений под землей, либо неусыпно сторожили зарытые сокровища,— кто повелевает им восстать и пройти перед нами в призрачном шествии? *(Громкие возгласы.)*

Или оставим все это и спросим: кто взошел с Колумбом на его славный корабль, переплыл с ним вместе неведомый грозный океан, спрыгнул в воду, вышел на сушу и водрузил там испанский флаг? *(Громкие аплодисменты.)* Все этот же человек, что сидит сейчас рядом со мною. А теперь причалим к вашим берегам и спросим, кому, как не ему, пристало водить компанию с пиратами и кладоискателями *(смех)* или сопровождать Рипа Ван Винкля в его блужданиях по горам, где таинственная команда играла в кегли в тот грозовый вечер? *(Взрыв смеха.)* Чье, если не его перо могло вызывать — и вызывало — из тьмы духов и населило ими Кэтскиллские горы, так что они сделались столь же неотъемлемой их частью, как грозные утесы, как потоки, низвергающиеся в долину! *(Возгласы.)*

Однако, джентльмены, я коснулся опасной темы — ведь я зачарован этими образами с детства, и стеклянный башмачок еще на мне. Чтобы не поддаться соблазну говорить о них еще и еще, я в заключение предлагаю вам тост, как нельзя более уместный в присутствии Брайанта, Халлека * и... впрочем, о дамах мне, вероятно, не следует упоминать...— тост за литературу Америки. Эта страна умеет чтить свою собственную литературу и оказывать честь литературе других стран, коль скоро она направляет Вашингтона Ирвинга своим представителем на родину Сервантеса! * *(Восторженные аплодисменты.)*

РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ ШКОЛЫ ДЛЯ РАБОЧИХ

(Ливерпуль)
26 февраля 1844 года

Леди и джентльмены! Право же, нехорошо с вашей стороны лишать меня дара речи, когда я еще и слова сказать не успел; но если бы я и мог, я не стал бы благодарить вас за оказанную мне честь и за такой теплый, великодушный прием, ибо, даже найдись у меня на это силы, моим первым желанием все же было бы — отбросить все личные соображения и думать только о высокой цели и назначении этого многолюдного собрания, о благородных задачах этого учреждения, о его славной, вдохновляющей истории, о крутом и трудном пути, так мужественно им пройденном, и о широком поприще, которое простирается перед ним и на котором оно сможет приносить все больше пользы. *(Приветственные возгласы.)* Моим первым желанием все же было бы — обменяться с вами, как с членами единой сплоченной семьи, поздравлениями по поводу того, как быстро растет и набирается сил это здоровое, крепкое детище здорового, крепкого народа. Моим первым желанием все же было бы — даже будь у каждого из вас в сто раз больше рук, чем здесь присутствует человек, мысленно пожать все эти руки *(возгласы)*... впрочем, да позволено мне будет добавить, все, кроме тех,— а их здесь немало,— с которыми я, поскольку человеческие слабости мне не

чужды, предпочел бы обойтись более нежно. *(Смех, аплодисменты.)*

Когда я имел честь впервые снестись с вашими устроителями по поводу сегодняшнего торжества, я тешил себя тщеславной мыслью, что мне, возможно, придется выражать соболезнование или хотя бы проявлять заботливое участие — ведь когда принимают у себя гостя в несчастливую пору, ему легко бывает растрогать и взволновать хозяев своими речами, и я, признаться, рассчитывал произвести на вас очень и очень сильное впечатление. Но стоило мне познакомиться с печатными документами, которые тогда же были мне показаны и с которыми все вы тоже более или менее знакомы, как эти мои надежды развеялись в прах, и у меня не осталось никакого утешения, если не считать того чувства радости и торжества, о котором я уже упомянул. Ибо что же я обнаружил, проглядывая краткие отчеты о быстрых победах над невежеством и предрассудками — бескровных победах, не скрепленных никакими договорами, если не считать священного договора, по которому за каждым человеком, каковы бы ни были его взгляды и как ни скромно его положение, признается справедливое право стремиться к умственному и нравственному совершенствованию и иметь какие-то возможности для достижения этой цели? *(Громкие крики одобрения.)* Я обнаружил, что в 1825 году неким злонамеренным смутьянам взбрело в голову учредить в Ливерпуле вредоносное, опасное, богопротивное и крамольное заведение, именуемое Школой для рабочих *(возгласы одобрения);* что в 1835 году, после того как Ливерпуль, несмотря на эти их козни, довольно в общем благополучно просуществовал еще десять лет, был заложен первый камень просторного нового здания; что в 1837 году оно было открыто; что потом его в несколько приемов значительно расширили; что в 1844 году вот оно стоит нерушимо — одно из прекраснейших общественных зданий прекрасного города. Враги его умолкли; питомцы его, трудясь на разных полезных поприщах, применяют солидные практические знания, полученные в его стенах; число его членов перевалило за 3000 и обещает достигнуть по меньшей мере 6000; его библиотека содержит 11 000 томов, и сотни книг из нее ежедневно расходятся по домам читателей; штат

его учителей и служащих насчитывает полсотни человек, а в его отделениях преподают самые разнообразные предметы, и более и менее сложные, применительно к роду труда, средствам, потребностям и удобствам чуть ли не всех сословий и состояний. Я побывал здесь нынче утром и обнаружил в ваших просторных залах множество чудес, какие творит природа в воздухе, в лесах, в пещерах и в море; множество замысловатых машин, изобретенных наукой для лучшего познания других миров и для более счастливой жизни в этом мире; множество более хрупких произведений искусства, изготовленных из бренного камня, сугубо бренными руками, однако бессмертных в своем воздействии на человека. Имея в своем распоряжении такие средства, столь превосходно используемые, столь доступные для столь многих, ваши руководители могут с полным правом заявить, как они и сделали в одном из своих отчетов, что успех этого учреждения намного превысил самые смелые их ожидания. *(Приветственные возгласы.)*

Однако, леди и джентльмены, как сказал тот самый философ, чьи слова они цитируют,— как Бэкон, в подтверждение того, сколь удивительные последствия проистекают из мелочей и самых ничтожных явлений, заметил, что влияние магнита впервые было обнаружено не в куске железа, а в мелких железных стружках,— так и они вправе сказать, что, объединяясь, дабы основать учреждение, ныне достигшее столь величественных размеров, они затевали дело, полного расцвета которого они и сейчас еще не могут себе представить. Каждый, кто лично убедился в достоинствах этого учреждения или же сам в нем обучался, несет полученное им благо в то общество, в котором он вращается, и помещает его под сложные проценты; и никто не может предсказать, какую огромную сумму оно в конечном счете составит. *(Возгласы одобрения.)* Леди и джентльмены, так же как священнослужитель, чье имя числится в списках ваших почетных членов,— как этот великодушный, с широкими взглядами человек, который однажды обращался здесь к вам в духе его сана и его Великого Учителя, так и я с этого своего места, как с высокой башни, вижу впереди то время, когда великие и малые мира сего, богатые и бедные, будут помогать друг другу, исправлять друг друга и просвещать. *(Аплодисменты.)*

Я понимаю, леди и джентльмены, что здесь, в этом учреждении с его 3200 членами, у каждого из которых найдется по меньшей мере 3200 собственных доводов,— здесь не место выступать в защиту школ для рабочих или затевать споры с теми, кто против них возражает или возражал в прошлом. С тем же успехом можно было бы спорить по этому поводу с невежественными дикарями, чей образ жизни вы имели возможность наблюдать в прошлом году; вернее, я даже склонен полагать, что дикари эти не в пример более разумны. К тому же, если эта школа сама по себе не служит достаточным ответом на все такие возражения, то, значит, никакие факты или доводы, человеческие или божеские, вообще никого убедить не могут. *(Правильно!)* Не буду я останавливаться и на тех сторонах существования этой школы, которые больше всего поразили меня, когда я читал ее документы; однако я не могу не отметить, что меня (как и всякого, кто прочел бы эти документы впервые), особенно удивила и порадовала необычайная щедрость некоторых джентльменов, пожертвовавших на нее средства. *(Приветственные возгласы.)*

Не последним из преимуществ этой школы — и уж во всяком случае, не последним из ее преимуществ для общества — я считаю то, что отцы, при условии ежегодного взноса в одну гинею, могут отдавать сюда своих несовершеннолетних сыновей, а хозяева, уплачивая в год совсем уже скромную сумму — всего пять шиллингов,— точно так же могут отдавать сюда своих подмастерьев. И еще, леди и джентльмены, не могу выразить, с каким удовольствием я узнал из превосходного, судя по всему, отчета в ваших местных газетах о собрании, недавно состоявшемся здесь с целью основания при этом же учреждении школы для девочек. *(Возгласы одобрения.)* Это — новая, интереснейшая глава в истории подобных учреждений; она свидетельствует как о галантности, так и о дальновидности руководителей данной школы, и мне хочется, слегка изменив слова Бернса, сказать, что

Сперва на мужчинах он руку набил,
Потом стал *учить* и девчонок *.

Едва ли найдется разумный человек, который не согласится с тем, что лучшие наши наставницы, те, к чьим по-

учениям мы чаще всего прислушиваемся, должны и сами быть хорошо обучены; и уж конечно, воспитывать с одной стороны хороших мужей, а с другой хороших жен — это самый разумный и самый прямой путь к созданию более совершенного молодого поколения. *(Громкие одобрительные возгласы.)*

Эти соображения, а также картина, которую я вижу перед собой, естественно побуждают меня поговорить о наших дамах. Я полагаю — и вы, не сомневаюсь, согласны со мной,— что их следует принимать в члены этого учреждения в возможно большем количестве и на самых льготных условиях; и позвольте мне, дорогие дамы, сказать вам, как умно было с вашей стороны обратить свое благосклонное внимание на это учреждение *(одобрительные крики)*, ибо там, где распространяется свет знания, где яснее всего понимают, что есть красота и добро и чем можно искупить человеческие пороки и заблуждения,— там лучше всего сумеют оценить ваш нрав, ваши добродетели, ваше обаяние, самые высокие ваши достоинства, и там вам с гордостью будут платить дань преданности и уважения. *(Громкие аплодисменты.)* Поверьте мне, самое яркое освещение — самое для вас выгодное; и каждый луч, что падает на вас у вашего домашнего очага от любой книги или мысли, обретенной вами в этих стенах, поднимает вас ближе к ангелам в глазах того, кто вам всех дороже. *(Возгласы одобрения.)*

Леди и джентльмены, я не стану больше отнимать у вас время, ведь все мы предвкушаем удовольствие послушать и других ораторов, а также те музыкальные номера, которые в этом обществе служат разумным развлечением и отдыхом от более серьезных занятий. Я убежден, что, поскольку мы здесь находимся, все мы искренне заинтересованы в улучшении нравов и просвещении умов и все обязуемся, каждый по мере своих сил, знакомить других с этим полезным учреждением и честно высказываться в его поддержку. Тем, кто еще остается за его стенами, имея, однако, средства на то, чтобы пополнить ряды его ревнителей, мы говорим в духе дружелюбия и терпимости: «Приходите, убедитесь сами. «Оставь *сомненья*, всяк, сюда входящий!» Если вам самим посчастливилось получить хорошее образование и школа эта вам не нужна,— тем

больше у вас оснований сочувствовать стоящим ниже вас. Под этим кровом мы обучаем людей, чья деятельность будет протекать — на благо или во вред другим — во всех кругах общества. Если здесь, где столько разных людей приобретают столько разных познаний, чтобы затем из одной общей отправной точки разойтись по стольким разным дорогам (так же, как все они, разными путями, идут к одной общей цели),— если уж здесь не будет взаимной терпимости между классами, то где же еще можно усвоить этот великий урок? Мы знаем, что различия в благосостоянии, в общественном положении, в способностях неизбежны, и мы их уважаем; но мы хотим дать всем без изъятия возможность выбрать патент на один вид знатности и определим мы его словами великого, ныне здравствующего поэта, который, сознавая свою высокую миссию, использует свой большой талант для общего блага:

Дороже всех титулов доброе сердце,
И верность дороже нормандской крови *.

[*Овация. Один из членов общества поет «Плющ зеленый» (слова Диккенса, «Пиквик», глава 6). Затем играет пианистка мисс Уэллер. Шутки по этому поводу, Диккенс назвал ее своей крестницей. После еще нескольких речей и музыкальных номеров Диккенс передает председательские обязанности председателю совета. Предлагается вынести благодарность Диккенсу. Новая овация. Затем Диккенс выступил снова.*]

Вы вознесли меня на такую вершину радости, что я и впрямь оказался в том горестном положении, которое в шутку описал, начиная свою речь. Поверьте, поверьте мне, что это я должен чувствовать себя в долгу перед вами, ликовать и гордиться,— что быть связанным с таким учреждением, как ваше, для меня великое счастье. Это награда, которой я горжусь, которую ценю чрезвычайно — те, кто знает меня, не сомневаются в этом. Я счел бы для себя постыдным, счел бы великим упущением со своей стороны, если бы не заставил всех моих детей, когда они вырастут, ценить и уважать такие учреждения, как школы для рабочих, и всемерно их поддерживать. И я это сделаю. *(Аплодисменты.)*

Что касается одного пункта, о котором упомянул красноречивый джентльмен, только что к вам обращавшийся, а именно — возражения, нередко выдвигавшегося против подобных учреждений, что они будто бы способствуют стиранию общественных различий и недовольству людей тем положением, какое выпало им на долю,— то позвольте сказать вам, что, по зрелом размышлении, я пришел к выводу, что в Англии этого опасаться нечего. Границы между слоями общества у нас так четко обозначены и пересечь их так трудно, что я ни в коей мере не опасаюсь таких последствий. *(Аплодисменты.)*

По тому пути, каким я шел до сих пор, тем заслужив ваше одобрение, я буду следовать и дальше, пока я жив и пока бог дает мне здоровья; но боюсь, что одного качества, за которое мои книги удостаивались похвалы, а именно сердца,— им отныне будет недоставать. Уже входя в эту комнату, я почувствовал, что готов потерять свое сердце; еще сильнее я почувствовал это, когда поднялся на галерею, а последние остатки моего сердца остались в этом фортепиано *(указывая на инструмент, на котором играла мисс Уэллер. Смех и возгласы.)* Леди и джентльмены, спокойной ночи. Позвольте мне, в виде исключения, процитировать самого себя и сказать словами, содержащимися в маленькой книжке, о которой поминают так часто и так благосклонно: «А теперь нам остается только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех господь своей милостью!» *

РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

(Бирмингем)
28 февраля 1844 года

Вы, конечно, вольны объяснить это либо недомыслием, либо самоуничижением, но ничего не поделаешь — в таком собрании, в такой роскошной зале и после такого приема я радуюсь, что мне, в сущности, нечего сказать вам нового. Не считая уже мест ближе к моему дому, я перед самым рождеством в Манчестере, а только позавчера в Ливерпуле (откуда я вывез легкую хрипоту), имел честь говорить о предметах, сходных с тем, который объединил нас сегодня; и, глядя вперед, на ряд еще предстоящих мне встреч, я испытываю великое удовольствие при мысли, что очень скоро мне уже вовсе нечего будет сказать, и тогда я, подобно «Зрителю» Аддисона и другому, столь же неизменному зрителю — спикеру палаты общин,— буду строить мою репутацию исключительно на своем умении слушать.

Но не только эта надежда и не только ваш горячий прием заставляют меня сердечно радоваться нынешнему собранию. Бирмингемская Политехническая школа переживает сейчас пору младенчества, и ее, как и всякого младенца, обступили многие беды и напасти *(смех)*, но мне куда больше улыбается принять в ней участие, пока жизнь ее трудна и опасна, нежели оглядываться на ее ранние годы, когда она уже окрепнет, станет богатой и влиятель-

ной. По мне — лучше подружиться с нею сейчас, когда она еще только борется за свое место в мире, нежели добиваться знакомства с нею в дни ее расцвета. Лучше иметь право когда-нибудь сказать ей: «Я знал тебя еще в пеленках. *(Смех.)* Два твоих старших брата зачахли и умерли — очень уж они были малокровны *. *(Смех.)* Над твоей колыбелью няньки сокрушенно качали головой и хныкали досужие сплетницы; но ты росла, и здоровье твое все поправлялось, мускулы становились крепче, фигура складнее, а пульс ровнее, речь умереннее и разумнее, поведение похвальнее, и вот ты выросла в настоящую великаншу!» *(Громкие аплодисменты.)* Бирмингем в моем представлении — да и не только в моем — родина многих великанов, и я не допускаю мысли, что это юное учреждение может оказаться хилым недоростком и карликом, так же как не допускаю мысли, что когда я скину сегодня свой стеклянный председательский башмачок, эта зала превратится в тыкву! *(Аплодисменты.)* Такую уверенность вселяет в меня целый букет представительниц прекрасного пола, которыми я окружен и которые — если другие хоть в половину так чувствительны к их чарам, как я,— могут добиться чего угодно и от кого угодно. *(Возгласы одобрения.)* Эту уверенность вселяет в меня также патриотический дух города Бирмингема — добрая слава его предпринимателей и рабочих; достоинства и вес его купечества; неутомимый ум его изобретателей; изо дня в день растущее искусство его ремесленников; и возросшая образованность всех слоев его общества. Все это убеждает меня в том, что ваша школа прочно станет на ноги, что она будет расти и развиваться, что город ваш будет не отставать от времени, а обгонять его.

У меня есть еще и особенная причина радоваться этому собранию, и вот какая: меня радует, что резолюции, которые будут здесь предложены, не содержат в себе никаких сектантских или классовых положений, что они касаются не какого-либо одного учреждения, но выражают великие, незыблемые принципы широчайшего распространения знаний повсюду и при любых обстоятельствах. Разрешите мне сказать, что я всей душой сочувствую этим принципам и буду содействовать их внедрению; все, что мне известно о моих соотечественниках и о положении их

в нашей стране, заставляет меня эти принципы исповедовать, и лишь одно я хотел бы добавить. Я считаю, что, если какое-либо общество изо дня в день, из года в год, из поколения в поколение упорно карает людей за то, что они не блещут добродетелями и совершают преступления, но притом не указывает им пути к добродетельной жизни, такой образ действий не опирается ни на правосудие, ни на религию, ни на правду; в литературе я мог найти для него лишь одно сравнение: старого джинна из «Сказок 1001 ночи», который вознамерился лишить жизни некоего купца за то, что тот вышиб глаз его невидимому сыну. Уместно будет сослаться и на другую сказку из той же чудесной книги — про могущественного духа, который оказался пленником на дне моря, в бочонке со свинцовой крышкой, запечатанном Соломоновой печатью. Он пролежал там, всеми забытый, много веков, и за это время давал различные клятвы: сперва он клялся щедро вознаградить тех, кто освободит его, а под конец поклялся их погубить. Так вот, на свете есть очень могущественный дух, Дух Невежества, уже давно заключенный в сосуд Тупого Небрежения, в состав которого входит немало свинца, и запечатанный печатью многих, многих Соломонов. Он находится в точно таком же положении: освободите его вовремя, и он принесет обществу пользу, укрепит его, вольет в него новую жизнь; но дайте ему пролежать еще и еще под волнами лет, и его слепая месть обернется для вас гибелью. *(Громкие аплодисменты.)*

Что у нас есть общественный класс, который при правильном с ним обращении составляет нашу силу, а при неправильном — нашу слабость,— это, на мой взгляд, неоспоримо; и что просвещать трудолюбивых, умных и гордых представителей этого класса лучше и разумнее всего через школы для рабочих — это в наши дни уже не требуется доказывать. Я далек от желания — и в этом смысле я особенно не хотел бы быть понятым превратно — бросить тень на превосходные церковно-просветительные общества или на благородное, искреннее и разумное рвение духовных лиц, которые их возглавляют. *(Правильно!)* Напротив, я полагаю, что они сделали и продолжают делать много добра и заслуживают всяческой похвалы; но — надеюсь, я могу сказать это, никого не обидев,— в таком

городе, как Бирмингем, есть и другие, не менее добрые дела, полезность коих общепризнана,— дела, тоже достойные поддержки, однако лежащие вне их поля зрения: есть знания, которые насаждают в политехнических школах и ради распространения которых честные люди всех состояний и всех вероисповеданий могут объединиться независимо, на нейтральной почве и без больших расходов, чтобы лучше понимать и больше уважать друг друга и успешнее содействовать общему благу. В самом деле, ведь нельзя допустить, чтобы те, кто изо дня в день трудится среди машин, сами превращались в машины; нет, надобно дать им возможность утвердить свое общее происхождение от Творца, из чьих диковинных рук они вышли и к которому, став сознательными и мыслящими людьми, возвратятся. *(Аплодисменты.)*

Даже те, кто как будто не разделяет моего мнения, в сущности, смотрят на опасность невежества и на преимущества знаний примерно так же; ибо можно заметить, что люди, которые с особенным недоверием относятся к преимуществам образования, всегда первые возмущаются последствиями невежества. Забавное подтверждение этому я наблюдал, когда ехал сюда по железной дороге. В одном вагоне со мною ехал некий древний джентльмен (я упоминаю о нем без стеснения, ибо его здесь нет,— я сам видел, как он сошел с поезда задолго до Бирмингема). Он без конца сетовал на рост железных дорог и без конца умилялся, вспоминая медлительные почтовые кареты. Сам я, по старой памяти, тоже сохранил известную привязанность к почтовым трактам, а потому мог сочувствовать мнению этого старого джентльмена, почти не поступаясь своим собственным. В общем, мы неплохо поладили, и когда паровоз, издав душераздирающий вопль, нырнул в темноту, словно диковинное морское чудовище, старый джентльмен сказал, что это никуда не годится *(смех)*, и я с ним согласился. Когда, отрываясь от каждой новой станции, паровоз отчаянно дергал и орал, как будто ему вырывают коренной зуб, старый джентльмен покачивал головой, и я тоже покачивал головой. *(Смех.)* Когда он принимался поносить все эти новомодные затеи и уверять, что они не доведут до добра, я с ним не спорил. Но я приметил, что стоило поезду замедлить ход или задержаться на

какой-нибудь станции хоть на минуту дольше положенного времени, как старый джентльмен тут же настораживался, выхватывал из кармана часы и возмущался тем, как медленно мы едем. *(Смех.)* И я не мог не подумать о том, как похож мой старый джентльмен на тех шутников, что вечно шумят о пороках и преступлениях, царящих в обществе, и сами же с пеной у рта отрицают, что пороки и преступления имеют один общий источник: невежество и недовольство. *(Смех и одобрительные возгласы.)*

Однако доброе дело, в котором вы все — люди разных партий и разных убеждений! — равно заинтересованы, начато хорошо. Мы все в нем заинтересованы, оно уже идет полным ходом, и никакое противодействие не может его остановить, хотя тут и там его может замедлить равнодушие средних классов, от которых главным образом и зависит его успешное развитие. А в успехе его я не сомневаюсь. Ведь всякий раз, как рабочим представляется случай убедительно опровергнуть обвинения, возведенные на них ложно или по недомыслию, они этим случаем пользуются и показывают подлинную свою сущность. Вот почему, когда какой-то несчастный помешанный повредил в лондонской Национальной галерее одну картину, об этом написали в газетах, поговорили несколько дней — и забыли. И после этого всякому дураку стало ясно, что тысячи и тысячи людей самого скромного состояния в нашей стране могут, в свои праздничные наезды в столицу, пройти по залам той же Национальной галереи или Британского музея, не повредив ни одного, хотя бы самого малого, из сокровищ в этих замечательных собраниях. *(Аплодисменты.)* Сам я не верю, что рабочие — это такие испорченные и злые люди, какими их столь часто и столь издавна представляют *(аплодисменты)*; скорее я склоняюсь к мысли, что какие-то мудрецы решили установить этот факт, не потрудившись обосновать его, а люди праздные и предубежденные, не дав себе труда составить собственное мнение, принимали этот факт на веру — до тех пор, пока рабочим не представился случай опровергнуть позорное обвинение и оправдать себя в глазах общества. *(Аплодисменты.)*

Хорошей иллюстрацией к этому положению может послужить история с одной из лондонских конных статуй.

Существовало предание, что скульптор, создавший ее, повесился, потому что забыл изваять подпругу у седла. Преданию этому верили много лет, а потом статую обследовали по другому поводу и обнаружилось, что подпруга все время была на месте. *(Возгласы и смех.)*

Но если и правда, как утверждают, что рабочие наши озлоблены и порочны, не есть ли это наилучшее основание для того, чтобы стараться исправить их с помощью просвещения? А если неправда, то тем более оснований дать им возможность обелить свое опороченное доброе имя, и нельзя, мне кажется, придумать для этого лучшего способа, чем добровольное общение ради таких высоких целей, какие ставят себе основатели бирмингемской Политехнической школы. *(Крики одобрения.)* Во всяком случае, если вы хотите вознаградить честность, если хотите поощрять добро, подталкивать нерадивых, искоренять зло или исправлять недостатки, просвещение — широкое, всестороннее просвещение — вот единое на потребу, вот единственная достойная задача. *(Аплодисменты.)* И если разрешено мне будет использовать, пересказав их по-своему, слова Гамлета — не применительно к какому-либо правительству или партии (ибо партия — это, по преимуществу, вещь неразумная, а посему не имеющая отношения к цели, которую мы преследуем) и если разрешено мне будет отнести эти слова к образованию, как Гамлет отнес их к черепу королевского шута Йорика, то я скажу: «Ступай в комнату совета и скажи им — пусть накладывают громких фраз и прекрасных слов хоть в дюйм толщиной, все равно они этим кончат» *. *(Овация.)*

РЕЧЬ НА ОТКРЫТИИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

(Манчестер)
2 сентября 1852 года *

Сэр Джон Поттер, милорды, леди и джентльмены! За последние две недели я так привык повторять чужие слова *, что сейчас, когда я не могу положиться ни на чьи слова, кроме своих собственных, я испытываю совсем новое ощущение. *(Смех.)* Уверяю вас, я так и чувствую, что мне грозит опасность в точности скопировать речь моего друга, предыдущего оратора; и такова сила привычки, что мне как-то недостает суфлера. *(Смех.)* Поэтому, а также по многим другим причинам, я займу ваше внимание лишь очень короткой речью, я только выполню поручение, которым меня почтили,— предложу резолюцию. Она столь полно выражает мои надежды и чувства и мои мысли в связи с этим знаменательным днем, что самое лучшее будет, если я сразу же прочту ее вам:

«Поскольку бесплатные библиотеки создаются главным образом в интересах рабочего люда, настоящее собрание от души надеется, что книги, которые отныне станут широко доступны, явятся источником радости и пользы в самых скромных жилищах, на чердаках и в подвалах, где обитает беднейшее наше население». *(Одобрительные возгласы.)*

Леди и джентльмены, все, что я хочу сегодня сказать, вместится в два очень коротких замечания. Во-первых,

я позволю себе сообщить вам новость: за то время, что я здесь сижу, мне, к моей великой радости, удалось разрешить загадку, с давних пор меня смущавшую. В газетах, в парламентских прениях и не весть где еще я так часто встречал упоминания о «Манчестерской школе», что мне давно уже хотелось узнать, что значат эти слова и что собой представляет эта самая «Манчестерская школа». *(Смех.)* Естественное мое любопытство отнюдь не уменьшилось после того, как я выслушал касательно этой школы самые разноречивые мнения: одни крупные авторитеты уверяли меня, что школа эта очень хорошая; другие — что она очень плохая; одни уверяли, что она очень разносторонняя и широкая, другие — что она очень ограниченная и узкая; одни уверяли, что это — сплошной обман, другие — что это сплошная идиллия *. *(Громкий смех.)*

И вот, леди и джентльмены, сегодня я разрешил эти мои сомнения: придя сюда, я понял, что «Манчестерская школа» — это большая бесплатная школа, ставящая себе целью нести просвещение к беднейшим очагам. *(Крики одобрения.)* Эта большая бесплатная школа предлагает самому скромному рабочему человеку: «Приходи сюда и учись»; эта большая бесплатная школа, по-царски оснащенная с помощью доброхотных пожертвований, и притом в сказочно короткий срок, вступает на свой славный путь, имея двадцать тысяч томов, не признавая ни сект, ни партий, ни сословных различий — ничего, кроме общих нужд и общего блага. *(Крики «браво», аплодисменты.)* Отныне, леди и джентльмены, это помещение будет олицетворять для меня «Манчестерскую школу» *(возгласы)*, и я молю бога, чтобы многие другие большие города и многие высокие авторитеты поучились в этой манчестерской школе и извлекли пользу из ее благородного примера. *(Возгласы одобрения.)*

А во-вторых, и в последних, леди и джентльмены, разрешите мне сказать, что я, так же как и мой друг сэр Эдвард Литтон, чрезвычайно сожалею, что не смогу присутствовать на другом, столь же интересном собрании сегодня вечером. Мне было бы очень радостно увидеть здесь вместо себя манчестерского рабочего и услышать, вместо собственного голоса, его голос, когда он скажет зачинателям этого благородного дела, как он и его собратья отнес-

лись к широкому признанию, которое они здесь по праву получили. *(Аплодисменты.)* Мне было бы радостно услышать от такого человека — на крепком энергическом языке, каким, я это не раз слышал, эти люди выражают свои заветные чувства,— что он знает: книги, собранные здесь для его пользы, подбодрят его в тяжкой жизненной борьбе и работе, поднимут его в собственных глазах, научат его понимать, что капитал и труд не враждебны друг другу, но зависят друг от друга и друг друга поддерживают *(крики «браво», аплодисменты)* — помогут ему отмести пагубные предрассудки и ложные представления — отмести все, кроме правды. *(Аплодисменты.)*

Леди и джентльмены, в своей сфере деятельности я уже много лет горячо ратую за распространение знаний среди всех классов и сословий нашего общества *(аплодисменты)*, потому что я верю — так твердо, как вообще способен во что-либо верить,— что чем больше человек знает, тем более смиренно и кротко он возвращается к источнику всяческого знания и проникается великим священным заветом «На земле мир, в человецех благоволение». *(Громкие аплодисменты.)* Я глубоко убежден, что этот великий завет и те другие мысли, которые, как я сказал, отрадно было бы услышать здесь сегодня из уст рабочего человека, будут возноситься все выше и выше, над стуком молотков, грохотом колес, скрежетом машин и гулом воды, и будут тем явственнее чувствоваться в каждом биении этого большого сердца, чем шире будет известна эта библиотека и чем больше ею будут пользоваться. *(Аплодисменты.)*

Леди и джентльмены, с большим удовольствием предлагаю резолюцию, которую я вам уже прочитал. *(Аплодисменты.)*

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

(Бирмингем)
6 января 1853 года *

Джентльмены, мне трудно, очень трудно выразить, как я признателен вам, а также многочисленным моим друзьям, которых вы здесь представляете, за честь и отличие, коими вы меня почтили. От души заверяю вас, что ни один отдельный представитель широких слоев народа не в силах дать мне столько счастья, сколько дало это свидетельство доброжелательного признания, исходящее непосредственно от самого народа. *(Крики «браво».)* Я хорошо понимаю, джентльмены, что друзья, преподнесшие мне этот адрес, пристрастны в своем великодушии и относятся к сделанному мною чересчур благосклонно. Но относительно одного общественного класса, представители которого, как я полагаю, тоже участвуют в этом чествовании, я должен сказать следующее: если бы я не мог с чистой совестью заверить их, а также всех, сидящих в этой зале, что все, написанное в моих книгах о рабочем люде, соответствует моему отношению к нему в жизни, я был бы в собственных глазах недостоин ни этого щедрого дара, ни щедрых чувств, какие здесь были выражены, и это событие доставило бы мне не радость, а только страдание. *(Крики «браво».)* Джентльмены, когда я пытаюсь вызвать в своих

читателях восхищение силой духа рабочих людей, их терпением, добротой, благоразумием их нрава, всегда доступного убеждению, и необычайной их отзывчивостью по отношению друг к другу, я делаю это потому, что сам полон восхищения и до глубины души проникнут чувствами, которые пытаюсь внушить другим. *(Крики «браво».)*

Джентльмены, поверьте, что я принимаю этот поднос и этот перстень — подарки, бесценные для меня, а сами по себе столь ценные как образцы искусных изделий этого города,— с большим волнением и с чувством живейшей благодарности. Вы, наверно, помните старые романтические сказки о волшебных кольцах, которые тускнели, когда владельцу их грозила опасность, или с укором сжимали ему палец, когда он замышлял злое дело. Я убежден, что в том маловероятном случае, если мне будет грозить опасность отступиться от принципов, которым я обязан этими знаками вашего расположения, этот брильянт *(указывая на подаренный перстень)* затуманится в моих лживых глазах и заставит мое вероломное сердце сжаться от боли. Впрочем, я этого нисколько не опасаюсь, а потому спокойно сниму с левой руки свое старое брильянтовое кольцо и отныне буду носить бирмингемский перстень на правой, и прикосновение его всегда будет напоминать мне о здешних добрых друзьях и об этом счастливом часе. *(Крики «браво».)*

В заключение, джентльмены, позвольте мне поблагодарить вас и Общество, которому принадлежит это помещение, за то, что торжество это состоялось в столь приятной моему сердцу обстановке, в комнате, украшенной прекрасными произведениями искусства, среди которых я узнаю творения моих друзей, чьи труды и победы не могут оставить меня равнодушным. Я благодарю этих джентльменов за предоставленную мне возможность встретиться с ними в связи с событием, имеющим отношение и к их деятельности; и наконец, я благодарю очаровательных дам, без участия которых ничто прекрасное не полно и чье присутствие вызывает нежные воспоминания о кольцах более простого фасона *(смех)*, а меня сейчас заставляет горько сожалеть о том, что я, по своему положению, не могу предложить ни одной из них такого знака внимания. *(Снова*

смех.) Прошу вас, джентльмены, передать мою глубокую признательность нашим отсутствующим друзьям и заверить их в моем искреннем и сердечном уважении.

[*Затем перебрались в Ройял Отель. Роскошный обед. Тосты. Архидиакон Джон Стэнфорд восхвалял литературу и искусство, потом сказал о Диккенсе, что он «сделал больше, чем кто-либо из ныне живущих, чтобы возвысить изящную словесность нашей страны... что он проповедует заповеди, которые мы, как христиане, можем глубоко почитать...» После других тостов Уильям Шолфилд, член парламента от Бирмингема, радикал,— предложил тост за литературу Англии и за Диккенса, чьи произведения «увлекают и просвещают людей не только в Англии, но и во всех странах Европы и в других частях света». Диккенс отвечал:*]

Господин мэр, господа, от лица многих, кто подвизается на славном поприще литературы, я счастлив выразить вам благодарность за признание ее заслуг. На мой взгляд, такая честь, столь единодушно оказанная в таком собрании,— да позволено мне будет развить мысль почтенного архидиакона, чья речь, здесь произнесенная, доставила мне незабываемое удовольствие *(приветственные возгласы)*,— повторяю, джентльмены, на мой взгляд, такая честь служит двойной иллюстрацией того, какое положение занимает литература в наш, конечно же, «развращенный» век. *(Возгласы одобрения, смех.)* К многолюдной сомкнутой фаланге тех, кто своим трудолюбием, упорством, умом и проистекающим отсюда богатством создал Бирмингем и много других подобных ему городов,— к этой крепкой опоре, обширному опыту и живому сердцу — обратилась теперь со вздохом облегчения литература, отвернувшись от отдельных покровителей-меценатов, порою щедрых, часто прижимистых, всегда немногочисленных, и здесь обрела одновременно высшую свою цель, естественное поле деятельности и лучшую награду. *(Громкие возгласы одобрения.)* И потому мне думается, что литературе надлежит нынче не только принимать почести, но и воздать их, памятуя о том, что если она безусловно принесла пользу Бирмингему, то и Бирмингем безусловно

принес пользу ей. *(Возгласы одобрения.)* От позора оплаченного посвящения, от постыдной, грязной работы наемных писак, от места прихлебателя за столом его светлости, где сегодня вас терпят, а завтра выгонят, и тогда у вас одна дорога — в долговую тюрьму; от продажности, которая в виде некоего нравственного возмездия унижала государственного мужа еще больше, чем писателя, ибо государственный муж держался того недостойного взгляда, что продажны все на свете, тогда как писателя толкала продаваться лишь жестокая нужда,— от всех этих зол народ освободил литературу. И я, посвятив себя этой профессии, твердо убежден, что литература в свою очередь обязана быть верной народу, обязана страстно и ревностно ратовать за его прогресс, благоденствие и счастье. *(Громкие аплодисменты.)* Джентльмены, мне иногда приходится слышать, хуже того — ведь написанное слово более обдуманное,— приходится иногда читать, что литературе эта перемена пошла во вред, что она становится доступней и потому вырождается. Я этого не замечаю. *(Крики «браво».)* И вы, я уверен, тоже этого не находите. Но попробуйте в наше «трудное» время выпустить в свет хорошую книгу по доступной цене, и пусть даже это будет книга нелегкая для понимания, ручаюсь головой, что найдется множество людей, которые ее купят, прочтут и оценят. *(Возгласы одобрения.)*

Почему я так говорю? Потому что я убежден, что сейчас многие рабочие в Бирмингеме знают Шекспира и Мильтона несравненно лучше, чем знал их рядовой дворянин во времена дорогих книг и торговли посвящениями. Пусть каждый из вас задумается над тем, кто сейчас более всего способствует распространению таких полезных книг, как «История» Маколея *, ниневийские «Раскопки» Лейарда, стихи и поэмы Теннисона, опубликованные «Депеши» герцога Веллингтона или мельчайшие истины (если истину можно назвать мельчайшей), открытые гением Гершеля * или Фарадея? *(Громкие аплодисменты.)* То же можно сказать о гениальной музыке Мендельсона или о лекции по искусству, если бы ее завтра прочитал мой благородный друг президент Королевской академии — а как бы он нас этим осчастливил! *(Громкие возгласы одобрения.)* Сколь ни малочисленна аудитория, сколь ни мал первый круг на воде, дальше, за этим кругом, теперь

всегда стоит народ, и все искусства, просвещая народ, в то же время питаются и обогащаются от живого сочувствия народа и его сердечного отклика. *(Аплодисменты.)* В пример могу привести великолепную картину моего друга мистера Уорда *. *(Приветственные возгласы.)* Прием, который встретила эта картина, доказывает, что удел живописи в наше время — не монашеский уход от мира, что ей нечего и надеяться возвести свой великий храм ни на столь узком фундаменте, ни создавая фигуры в классических позах и тщательно выписывая складки одежды. Нет, она должна быть проникнута человеческими страстями и деяниями, насыщена человеческой любовью и ненавистью, и тогда она может бесстрашно предстать перед судом, чтобы ее, как преступников в старину, судили бог и отечество. *(Возгласы одобрения.)*

Джентльмены, я хочу заключить свою речь *(громкие крики «Продолжайте!»)* — пока что заключить, мне еще предстоит сегодня в третий раз докучать вам,— повторением того, что я уже сказал. Я начал с литературы, ею же и закончу. Мне просто хочется выразить убеждение, что если человеку есть что сказать, то большое количество слушателей не должно смущать его — оно не опасно ни для него, ни для взглядов, которые он проповедует,— при условии, разумеется, что он не одержим нахальной мыслью, будто ему следует снисходить до умственного уровня простого народа, а не поднимать этот уровень до своего собственного, буде сам он стоит выше; и при том еще условии, что он выражает свои мысли и чувства достаточно ясно, а это немаловажная оговорка, ведь предполагается, что он смутно рассчитывает на то, что его поймут. *(Возгласы, смех.)* От имени литературы, которой вы сегодня воздали честь, я душевно вас благодарю, а от своего имени еще отдельно благодарю за лестный прием, оказанный вами человеку, чья заслуга состоит лишь в том, что он избрал литературу своей профессией. *(Приветственные возгласы.)*

[*Форстер предложил тост за бирмингемское Общество художников, восхвалял «королей торговли» Бирмингема, Манчестера и Ливерпуля как новых Медичи. Были еще речи, потом снова выступил Диккенс:*]

Меня просили предложить тост — вернее, по выражению моего друга мистера Оуэна, временно взять на себя роль ходячей рекламы и расхвалить вам учебные заведения Бирмингема *(смех)*, что я и готов сделать с великой радостью. Джентльмены, мне, очевидно, следует простонапросто перечислить наиболее важные из этих заведений — не для того, чтобы освежить вашу память, этого вам, местным жителям, не требуется, но просто потому, что такое перечисление покажет, что вами уже сделано, что делается и что еще предстоит сделать. Первой я назову классическую школу имени короля Эдуарда, со всеми ее отделениями, а среди этих отделений должно раньше всего упомянуть то, где жен рабочих обучают быть хорошими женами и хорошими работницами, украшением своего дома и источником счастья для окружающих,— я имею в виду отличные, под отличным единым руководством, женские школы в разных концах этого города, подобные которым мне искренне хотелось бы видеть во всех городах Англии. *(Приветственные возгласы.)* Далее идет колледж Спринг-Хилл, учебное заведение, принадлежащее индепендентам, среди преподавателей которого литература прежде всего с гордостью приветствует мистера Генри Роджерса, одного из самых почтенных и способных литераторов, сотрудничающих в «Эдинбургском обозрении». Далее — колледж Королевы, это, можно сказать, еще только младенец, но будем надеяться, что под присмотром столь превосходного Доктора он в добром здоровье достигнет зрелости. *(Приветственные возгласы.)* Далее — школа рисования, заведение, как справедливо выразился мой друг сэр Чарльз Истлейк, совершенно необходимое в таком городе, как ваш; и наконец — Политехническая школа. Свое глубокое убеждение в том, что значение ее для вашего города неизмеримо, я высказал еще давно, когда имел честь присутствовать на собрании учредителей этой школы под эгидой вашего достойного представителя мистера Шолфилда. *(Крики «браво».)* Все это прекрасные начинания, каждое в своем роде, но я с радостью убедился, что ими дело не ограничивается. На днях я прочел в одной бирмингемской газете интереснейший отчет о собрании, на котором обсуждалось учреждение исправительной школы для малолетних преступников. Вы не мо-

жете считать себя свободными от почетной задачи — спасать этих несчастных, заброшенных юных отщепенцев. Я читал про одного мальчугана — ему всего шесть лет, а он уже двенадцать раз побывал в руках полиции. Вот из таких-то детей и вырастают самые опасные преступники; и чтобы извести это страшное племя, общество должно брать малолетних на свое попечение и растить их по-христиански. *(Громкие аплодисменты.)*

Отрадно мне было также узнать, что задумано создание Литературно-научного учреждения, которое явилось бы украшением даже этого города, если бы ничего подобного здесь еще не было; учреждения, в котором, сколько я понимаю, слова «привилегия» и «привилегированный» не будут известны вовсе *(громкие крики одобрения)*; где все классы общества смогут встречаться на основе взаимного доверия и уважения; где будет большая галерея картин и статуй, доступная для всех, кто захочет прийти и полюбоваться; где будет музей моделей, по которым промышленник сможет изучать свое производство, а умелец-рабочий разрабатывать новые замыслы и добиваться новых результатов; где не будут забыты даже рудники, расположенные под землею или под морским дном — они тоже будут в миниатюре представлены любознательному взору; словом — учреждение, где будут устранены многие и многие препятствия, в настоящее время неизбежно стоящие на пути неимущего изобретателя, и где он, если есть у него природные способности, почерпнет надежду. *(Громкие аплодисменты.)*

С большим интересом и радостью я узнал, что несколько джентльменов решили на время отложить другие свои занятия и, как добрые граждане, посвятить себя этому патриотическому начинанию. Через несколько дней они должны собраться, чтобы сделать первые шаги к этой благородной цели, и я призываю вас выпить за успех их усилий и обязаться по мере сил им содействовать. *(Громкие крики одобрения.)*

Если бы я задумал перечислить все учебные заведения Бирмингема, я бы еще долго не кончил; но я кончаю, добавив только напоследок, что в нескольких шагах отсюда я видел одно из самых интересных и полезных заведений для глухонемых, какие мне когда-либо доводилось видеть.

(Крики «браво».) На фабриках и в мастерских Бирмингема я видел столь отменный порядок и стройную систему, что и эти предприятия можно назвать в своем роде просветительными. И ваша роскошная ратуша, когда в ней устраиваются общедоступные концерты, тоже служит замечательным учебным заведением. А результаты я видел в поведении ваших рабочих, уравновешенном благодаря природному такту, равно свободном как от подобострастия, так и от заносчивости. *(Крики «браво».)* Истинное удовольствие доставляет о чем-нибудь их спросить, хотя бы для того, чтобы услышать, каким тоном они вам ответят,— этот тон отмечает каждый наблюдательный человек, впервые приезжающий в ваш город. Соберите воедино все эти нити и еще многие другие, которых я не коснулся, и, соткав из них добротную ткань, убедитесь сами, сколь много заключено в этих словах — Учебные Заведения Бирмингема. *(Бурная овация.)*

РЕЧЬ В АССОЦИАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ

27 июня 1855 года *

Наилучшей благодарностью за теплый прием, оказанный мне этим почтенным собранием, будет, я в том уверен, обещание вместить все, с чем я намерен к нему обратиться, в возможно более короткую речь. Еще свыше тысячи восьмисот лет тому назад были люди, которые «думали, что в многословии своем будут услышаны» *. Поскольку с тех пор они размножились до чрезвычайности и поскольку я замечаю, что в наше время они особенно процветают в Вестминстере *(смех)*, я всеми силами постараюсь не умножать собой этого плодовитого племени. *(Крики «браво», смех.)* С неделю назад благородный лорд, ныне возглавляющий правительство, выразил в парламенте удивление по поводу того, что мой друг мистер Лейард не покраснел, рассказав в этих стенах правду о том, что известно всей стране и что лучше всех должно быть известно тем бескорыстным сторонникам благородного лорда, которым посчастливилось из вечера в вечер слушать и поощрять его, когда он только стал премьером,— я хочу сказать, что он имел обыкновение шутить в своих парламентских речах в ту пору, когда наша страна была погружена в пучину позора и горя *(правильно!)* — повторяю, этот благородный лорд очень удивился, что человек на-

шего времени, своим вдумчивым и отважным поведением прославивший и себя и свое время, не покраснел, дерзнув пойти наперекор его светлости,— и, удивившись, он отпустил изящную остроту по поводу любительских спектаклей в театре Друри-Лейн. *(Возгласы одобрения и смех.)* Я немного разбираюсь в спектаклях, как любительских, так и официальных, и я продолжу метафору благородного лорда. Не стану говорить о том, что, если бы я задумал набирать труппу из слуг ее величества, я бы знал, где найти комического старика *(взрыв смеха)*; или, что, задумай я поставить пантомиму, я бы знал, в какое учреждение обратиться за трюками и превращениями *(смех)*, а также за целой толпой статистов, чтобы подставляли друг другу ножку в сцене соперничества, которая многим из нас знакома как по этим, парламентским, так и по иным подмосткам, и в которой большую часть предметов, летящих в головы противникам, составляют хлебы и рыбы. *(Крики «браво», смех.)* Но я попытаюсь объяснить благородному лорду, почему был поставлен этот любительский спектакль и почему, как ни хотелось бы ему опустить над ним занавес, нет ни проблеска надежды на его окончание. Причина заключается в следующем: официальный спектакль, до руководства которым снизошел благородный лорд, так нестерпимо плох, механизм его так громоздок, роли распределены так неудачно, в труппе так много «лиц без речей» *(смех)*, у режиссеров такие большие семьи и так сильна склонность выдвигать эти семьи на первые роли — не в силу особенных их способностей, а потому что это *их* семьи,— что мы просто вынуждены были организовать оппозицию. *(Возгласы одобрения.)* «Комедия ошибок» в их постановке так смахивала на трагедию, что сил не было смотреть. Поэтому мы взяли на себя смелость поставить «Школу реформ» * и надеемся, что наше представление послужит к просвещению благородного лорда. *(Крики «браво», смех.)* Если же он возразит, что мы не имеем права просвещать его без его разрешения, мы осмелимся настаивать на этом праве, поскольку он-то заставляет нас не только смотреть его спектакли, но еще и оплачивать всю бутафорию. *(Смех.)*

Господин председатель, так как в политическом собрании я участвую впервые *(вот как?)* и так как не политика

составляет мое ремесло и мое призвание, то будет, пожалуй, небесполезным объяснить, как я здесь очутился: ведь соображения, подобные тем, что повлияли на меня, мелькают, возможно, в уме и у других, еще не сделавших выбора. *(Правильно!)* Я хочу всегда, и от всего сердца, исполнять свой долг по отношению к моим согражданам. В этом нет ничего самоотверженного или доблестного — я к ним глубоко привязан, и разве могу я забыть о том, что они с давних пор дарили меня своим доверием и дружбой! *(Возгласы.)* В своей сфере деятельности, которую я никогда не покину,— никогда не выйду из круга обычных моих занятий дальше, или на более долгое время, чем сегодня, потому что я живу литературой и довольствуюсь тем, что служу обществу через литературу, сознавая, что нельзя служить двум господам,— в своей сфере деятельности я за последние несколько лет пытался понять наиболее жестокие формы общественной несправедливости и содействовать их исправлению. *(Крики «браво».)* Когда газета «Таймс» печатала почти невероятные разоблачения в связи с преступной неразберихой, злонамеренно создаваемой безответственными чиновниками и приведшей к тому, что на всей земле у Англии не оказалось врага и вполовину столь грозного, как она сама, и столь же способного ввергнуть ее храбрых защитников в ненужные страдания и гибель,— в то время я полагал, что угрюмое молчание, охватившее страну, свидетельствовало о самой черной за много лет странице в жизни великой нации *(Крики, возгласы.)* Видя, как стыд и негодование накипают во всех слоях общества и этот новый повод для раздоров прибавляется к невежеству, нужде и преступности, которые и без того составляют достаточно шаткую основу нашей жизни; как парламент лишь очень редко и приблизительно выражает общественное мнение и сам, очевидно, к общественному мнению не прислушивается; как правительственная и законодательная машина крутится вхолостую и люди соскакивают с нее и отходят в сторону, словно предоставляя ей довершить то, что ей еще осталось,— разрушить самое себя, после того как она разрушила столь много дорогого их сердцу,— видя все это, я полагал и полагаю, что единственный здоровый оборот, который могут принять дела при таком опасном по-

ложении, это — чтобы народ пробудился, чтобы народ сказал свое слово, чтобы объединился, вдохновленный патриотическими и лояльными чувствами, для достижения великих мирных конституционных перемен в управлении его собственными делами. *(Одобрительные возгласы.)* В такой серьезный момент возникла эта Ассоциация, и в такой серьезный момент я вступил в нее. Если нужны еще доводы в пользу этого моего шага, скажу так: на мой взгляд, делами, которыми занимаются все, по существу, не занимается никто; в исполнении гражданского долга, как и во многом другом, люди должны действовать сообща, и наконец по закону природы должен быть какой-то центр притяжения, к которому устремлялись бы отдельные частицы, иначе не может появиться на свет никакое полезное учреждение с признанным кругом обязанностей. Ну что ж! Ассоциация возникла, и мы состоим ее членами. Какие же возражения против нее выдвигают? Я слышал в основном три таких возражения и сейчас коротко упомяну о них в том порядке, в каком их услышал. Во-первых. Ассоциация намерена, через избирательные округа, оказывать влияние на палату общин. Скажу без малейших колебаний, что никакой веры в нынешнюю палату общин у меня нет *(вот как?)* и что такое влияние я считаю совершенно необходимым для благоденствия и чести нашей страны. Не далее как вчера я перечитывал одну из любимых своих книг, и вот что писал двести лет тому назад мистер Пепис * о палате общин своего времени и о политическом соперничестве в ее стенах:

«Мой родственник Роберт Пепис говорит мне, что для него горше всего на свете, что это дело ему поручено как состоящему в парламенте; потому что, на его взгляд, там ничего не делается по правде и по душе, а только из зависти и по расчету».

Как случилось, что через двести лет, а главное — через много лет после билля о реформе, палата общин так мало изменилась, в это я не буду вдаваться. Я не стану спрашивать, почему билли, теснящие и угнетающие народ, так легко протаскивают через палату *(правильно!)* и почему меры, в самом деле служащие к его пользе, так трудно через нее провести. *(Браво!)* Я не стану подвергать анализу спертый воздух кулуаров, ни разлагать на первона-

чальные газы его мертвящее действие на память почтенного члена парламента, который некогда добивался чести получить ваши — и мой — голоса и поддержку. Я не стану спрашивать, как случилось, что личные пререкания, включающие все степени и определения, какие знал еще Шекспиров Оселок * — учтимое возражение — грубый ответ — смелый наскок — дерзкий отпор — ложь обходная и ложь прямая *(смех)* — всегда занимают палату неизмеримо больше, нежели здоровье, обложение налогами и просвещение целого народа. *(Возгласы.)* Я не стану проникать в тайны темной комнаты, где Синяя Борода, он же Партия, хранит задушенные официальные запросы, строго-настрого запретив своей последней жене отворять туда дверь. *(Смех.)* Я только хочу задать всем здесь присутствующим вопрос: не убеждает ли их скромный практический опыт, будь то давнишний или недавний, в том, что палата общин бывает порою туга на ухо, подслеповата и несообразительна; иначе говоря, что здоровье ее расшатано и требует постоянного наблюдения, а время от времени — применения сильно действующих возбуждающих средств; и неужели она так-таки не поддается лечению? *(Крики, возгласы.)* На мой взгляд, для того, чтобы сохранить ее как действительно полезный и независимый орган, народ должен неустанно и ревниво за ней наблюдать; и нужно расшевелить ее память; не давать ей уснуть; а когда ей случится принять слишком большую дозу министерского опиума, нужно заставить ее размяться, побегать взад-вперед и дружески потормошить ее и пощипать, как делается в подобных случаях. *(Смех.)* И я считаю, что никакая власть не имеет столь неоспоримого права выполнять эти функции, как организация, включающая избирателей со всех концов страны, которые объединились потому, что родина им дороже, чем сонное бормотание, бессмысленная рутина и дурацкие устарелые условности. *(Одобрительные возгласы.)*

Теперь о возражении номер два. Утверждают, что эта Ассоциация восстанавливает один класс против другого. Так ли это? *(Крики «Нет!».)* Нет, она видит классы, настроенные друг против друга, и стремится примирить их. *(Крики «браво».)* Я хочу избежать противопоставления двух понятий: аристократия и народ. Я отношу себя к тем,

кто способен признать за обоими и добродетели и пользу и не намерен возвышать или принижать первую за счет хотя бы единого права, по справедливости принадлежащего второму, и наоборот. *(Крики одобрения.)* Вместо этих слов я буду употреблять другие: те, кто правит, и те, кем правят. Ассоциация видит, что между первыми и вторыми пролегла пропасть, на дне которой погребены тысячи и тысячи самых отважных и самоотверженных людей, когда-либо рожденных в Англии. *(Возгласы.)* Предотвратить повторение бесчисленных меньших зол, которые, не встречая противодействия, привели и не могли не привести к этому страшному несчастью; примирить две враждующие стороны, ныне так подозрительно взирающие друг на друга,— вот какую цель ставит перед собою Ассоциация, стремясь построить через эту пропасть мост, опирающийся на простую справедливость и укрепленный здравым смыслом. *(Возгласы.)* Восстанавливать один класс против другого! Бессмысленный попугайный крик, который мы слышим с детства. Давайте приведем некую иллюстрацию и проверим, есть ли для него хоть малейшее оправдание. Представим себе, что почтенный старый джентльмен, у которого полон дом слуг на высоком жалованье, видит, что его хозяйство идет вкривь и вкось и что он ничего не может добиться. Когда он велит слугам накормить его детей хлебом, они дают им камни; когда он велит слугам накормить детей рыбой, они дают им змей *. То, что им велено посылать на восток, они посылают на запад; когда им положено подавать обед на севере, они роются в старых, вышедших из употребления поваренных книгах на юге; они вечно все бьют, теряют, забывают, крушат и переводят без толку; когда нужно что-то сделать, только суетятся и валят друг друга с ног; и в доме почтенного джентльмена царит полнейший разор. В конце концов почтенный джентльмен призывает к себе мажордома и говорит ему, все еще скорее печально, нежели гневно: «Это невыносимо, такого не выдержит никакое богатство, не стерпит никакое хладнокровие! Отныне я решил назначать моих слуг по новой системе. Я должен иметь слуг, которые знают свои обязанности и будут их выполнять». Мажордом в благочестивом ужасе возводит глаза к небу, восклицает: «Боже милостивый, мой хозяин восстанавливает один класс против

другого!» — мчится в людскую и разражается длинной душещипательной тирадой по поводу этого злодейства. *(Смех.)*

Перехожу к третьему возражению,— его, сколько я мог заметить, высказывают главным образом молодые люди из хороших семей, если и имеющие какие-либо способности, то лишь к тому, чтобы тратить деньги, которыми они не располагают. *(Смех.)* Звучит оно обычно так: «Непонятно, чего ради эти молодчики, помешанные на реформе, суются не в свое дело!» Отмести это грозное возражение поможет мысль, которая, вероятно, уже пришла в голову большинству здесь присутствующих: именно потому, что мы занимаемся не чужим, а своим делом, и хотим, чтобы нашим делом занимались, а те, кто берет на себя им заниматься, не занимается им как должно,— именно поэтому мы и основали Ассоциацию. *(Правильно!)* Парламентские прения — которые, кстати сказать, за последнее время часто наводили меня на мысль, что разница между испанским быком и быком ниневийским * состоит в том, что в первом случае бык набрасывается на красную тряпку, а во втором красные облачения набрасываются на быка *(смех и крики)*,— повторяю, парламентские прения показывают, что, по какому-то роковому стечению обстоятельств, всякое слово о необходимости реформы управления, кем бы, когда бы и где бы оно ни было произнесено, неизменно встречает «смелый наскок» и «дерзкий отпор». *(Крики одобрения.)* Я мог бы без труда добавить еще дватри довода, о которых твердо знаю и то, что они справедливы, и то, что их стали бы опровергать *(крики, возгласы)*, но считаю это излишним: если народ в целом еще не убежден, что реформа управления необходима, значит, убедить его нельзя и никогда не удастся. *(Возгласы одобрения.)* Однако есть одна старая, широко известная и неопровержимая история с такой подходящей моралью, что я расскажу ее вместо того, чтобы приводить доводы, и тем, надеюсь, отведу от себя мученический венец святого Стефана. *(Смех.)* Много, много лет тому назад в Государственном казначействе завели дикарский обычай вести счет по зарубкам на палочках,— такая бухгалтерия напоминала календарь, по которому Робинзон Крузо вел счет дням на своем необитаемом острове. *(Смех.)* Немало

времени спустя родился, а затем и умер знаменитый мистер Кокер *. *(Смех.)* Родился, а затем и умер мистер Уолкингейм, автор «Помощи наставнику» и великий дока по части всякой цифири; родились, а затем и умерли бесчисленные счетоводы, бухгалтеры, статистики и математики; а ведомственные рутинеры все продолжали цепляться за эти палочки с зарубками, словно то были столпы конституции, и счет в Казначействе по-прежнему велся по дощечкам из вяза, называемым бирками. *(Крики и смех.)* В конце царствования Георга Третьего какой-то неугомонный смутьян высказал мысль, что в стране, где имеются перья, чернила и бумага, грифельные доски и несколько систем бухгалтерии, такое неуклонное следование варварскому обычаю, пожалуй, граничит с нелепостью. Прослышав о столь смелой и оригинальной гипотезе, вся красная тесьма в правительственных ведомствах покраснела еще пуще, и только в 1826 году эти палки были наконец упразднены. *(Смех.)* В 1843 году кто-то обнаружил, что их скопилось изрядное количество, и тогда встал вопрос: куда девать эти старые, наполовину сгнившие, источенные червями куски дерева? Надо полагать, что этот важный вопрос породил немало протоколов, меморандумов и официальной переписки. Бирки хранились в Вестминстере, и всякому из нас, частных лиц, естественно пришло бы в голову, что ничего нет легче, как распорядиться, чтобы кто-нибудь из многочисленных бедняков, проживающих по соседству, унес их себе на дрова. Но нет: от этих бирок никогда не было пользы, и ведомственные рутинеры не могли допустить, чтобы от них хоть когда-нибудь проистекла польза, а посему был отдан приказ — тайно и конфиденциально бирки сжечь. *(Смех и крики.)* Случилось так, что их стали жечь в одной из печей в палате лордов. От печи, битком набитой этими палками, загорелась панель; от панели загорелась вся палата лордов, от палаты лордов загорелась палата общин; обе палаты сгорели дотла; призвали архитекторов и велели им выстроить две новых палаты; расходы на эту постройку уже перевалили на второй миллион фунтов стерлингов, а национальная свинка все еще никак не перелезет через забор, и старушка Британия нынче не воротилась домой *. *(Громкий смех и крики одобрения.)*

Думается, я не ошибусь, если в заключение скажу, что упрямое стремление во что бы то ни стало хранить старый хлам, давно себя изживший, по самой сути своей в большей или меньшей степени вредоносно и пагубно; что рано или поздно такой хлам может вызвать пожар; что, будучи выброшен на свалку, он оказался бы безвреден, если же упорно за него цепляться, то не миновать бедствия. *(Возгласы одобрения.)* Я позволю себе повторить, что, на мой взгляд, нет нужды доказывать необходимость реформы, ссылаясь на тот или другой пример, так же как нет надежды пресечь движение за реформу. По-моему, то общее положение, что наши государственные дела намного отстали от наших частных дел, что в частных делах мы славимся своим благоразумием и успехами, а в делах государственных — своими безумствами и неудачами,— это положение так же не требует доказательств, как существование солнца, луны и звезд. Исправить такое положение вещей, помочь стране проявить свои добродетели во всех областях, принимая их независимо от того, аристократические они или демократические, лишь бы были честные и подлинные,— вот как я понимаю задачу нашей Ассоциации. *(Крики одобрения.)* Для выполнения этой задачи она стремится объединить большое число людей,— надеюсь, людей всех состояний,— дабы они и сами лучше поняли и запомнили свой долг перед обществом и внушили бы сознание этого долга другим. А также, что весьма необходимо, дабы они, бдительно следя за партийными застрельщиками, которых время от времени высылают вперед их генералы, не давали им своими ложными атаками и маневрами угнетать мелких правонарушителей и спускать крупным или дурачить публику, делая реформе смотр вместо того, чтобы вести серьезное, упорное сражение. *(Громкие одобрительные возгласы.)* Как человек, не имеющий никакого касательства к руководству Ассоциацией и ни с кем не советовавшийся по этому вопросу, я выражаю особенное желание, чтобы руководители ее изыскали способ открыть ее двери для образованных рабочих на льготных условиях, по сравнению с более состоятельными ее членами. *(Крики одобрения.)* Я хотел бы видеть среди нас много таких рабочих, потому что искренне верю, что это послужило бы к общему благу.

Благородный лорд, возглавляющий правительство, так ответил мистеру Лейарду, когда тот просил назначить день для его выступления в парламенте по вопросу о реформе: «Пусть почтенный джентльмен сам найдет для себя день». *(Позор, позор!)*

Так именем богов, всех вместе взятых,
Прошу, скажи: чем Цезарь наш питался,
Что вырос так? *

(Громкие возгласы одобрения.)

Пусть наш Цезарь не посетует, если я осмелюсь обратить эти возвышенные и безмятежные слова к нему самому и сказать: «Милорд, ваш долг позаботиться о том, чтобы ни одному человеку не пришлось самому находить для себя день. *(Громкие крики одобрения.)* Вы, кто берете на себя власть, стремитесь к ней, ради нее живете, ради нее интригуете, лезете в драку, а дорвавшись до власти, держитесь за нее когтями и зубами,— позаботьтесь о том, чтобы ни одному человеку не пришлось самому находить для себя день». *(Громкие возгласы одобрения.)* В нашей старой стране с ее миллионами людей, замученных тяжелым трудом, с ее высокими налогами, с ее толпами неграмотных, толпами бедняков, толпами преступников, горе тому дню, который «опасный человек» найдет сам для себя — найдет потому, что глава правительства ее величества не выполнил своего долга, не нашел, пока было время, более светлого, более доброго дня! *(Громкие крики.)* Назначьте день, милорд, создайте этот день; трудитесь ради дня грядущего, лорд Пальмерстон, и тогда — только тогда — История, возможно, найдет день и для вас: день, отмеченный как довольством верного, терпеливого, великодушного английского народа, так и счастьем вашей августейшей госпожи и ее наследников. *(Громкие, долго не смолкающие возгласы одобрения.)*

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

*9 февраля 1858 года**

Леди и джентльмены, одно из моих жизненных правил — не верить людям, когда они говорят мне, что им безразличны дети. Я придерживаюсь этого правила из самых добрых побуждений, ибо знаю, как и все мы знаем, что сердце, в котором действительно не найдется любви и сочувствия к этим маленьким созданиям,— такое сердце вообще недоступно облагораживающему воздействию беззащитной невинности, а значит, являет собою нечто противоестественное и опасное. *(Правильно!)* Поэтому, когда я слышу такое утверждение,— а это случается, хоть и не часто,— я отметаю его как пустые слова, подсказанные, возможно, модной позой — великосветской апатией, и придаю им не больше значения, чем другой моде, воспринятой в нашем обществе теми, кто устал следовать заветам человеколюбия и всем пресытился. *(Возгласы одобрения.)*

Я думаю, можно не сомневаться в том, что мы, собравшись здесь ради детей и во имя детей, тем самым доказали, что они нам не безразличны; более того, когда мы здесь расселись, мне стало ясно, что мы и сами еще не вышли из детского возраста и общество наше еще не взрослое, а только младенец. *(Смех.)* Нам нужно несколько лет, чтобы окрепнуть и немного раздобреть; и тогда эти столы, в которых сейчас ушиты вытачки, можно будет распустить, а эта зала, которая сейчас нам свободна, станет нам в обтяжку. *(Возгласы и смех.)* Однако же и мы, возможно, уже знаем кое-что об избалованных детях. Я не имею в виду

наших собственных избалованных детей, ведь собственные дети никогда не бывают избалованы *(смех)*, я имею в виду надоедливых детей наших добрых знакомых. *(Смех.)* Мы по опыту знаем, как бывает весело, когда их после обеда приводят в столовую и мы смутно, словно через закопченное стекло, видим: вдали, в конце длинной аллеи из разных десертов, уже маячит фигура домашнего доктора. *(Смех.)* Мы знаем — все мы, безусловно, знаем, как весело выслушивать рассказы гордой матери и застольные развлечения, состоящие из звукоподражания и диалогов, которые, в духе моего друга мистера Альберта Смита * можно озаглавить «Трудное восхождение маленькой мисс Мэри и извержения (желудочные) маленького мистера Александера». *(Хохот.)* Мы знаем, как бывает весело, когда эти милые детки не желают идти спать; как они пальчиками размыкают себе веки, чтобы доказать, что спать им совсем не хочется; знаем, как они, раскапризничавшись, во всеуслышание заявляют, что мы им не нравимся, что у нас слишком длинный нос и почему мы не уходим домой? Отлично знаем, как их, ревущих и брыкающихся, уносят наконец в детскую. *(Крики одобрения, смех.)* Один достойный доверия очевидец рассказывал мне, что однажды он вместе с другими учеными мужами пришел в гости к видному философу прошлого поколения, чтобы послушать, как тот будет излагать свои весьма строгие взгляды на воспитание и умственное развитие детей, и пока оный философ столь красноречиво излагал стройную систему своих взглядов, его сынишка, тоже в назидание ученым гостям, залез по локти в яблочный пирог, припасенный для их угощения, а еще до этого намазал себе волосы сиропом, расчесал их вилкой и пригладил ложкой. *(Смех.)* Вполне возможно, что и нам знакомы подобные случаи, когда принципы кое в чем не совпадают с практикой, что и нам встречались люди, глубокомысленно и мудро рассуждающие о целых нациях, но беспомощные и слабые, когда нужно сладить с отдельно взятым младенцем.

Однако, леди и джентльмены, не этих избалованных детей я должен представить вам после сегодняшнего нашего обеда. Я позволил себе поболтать о них лишь для того, чтобы мне легче было перейти к другому разряду

детей, совсем на них непохожему, куда более многочисленному и вызывающему куда большую тревогу. Дети, которых я должен вам показать, это дети бедняков нашего огромного города, дети, которых десятками тысяч уносит смерть, но чью жизнь во многих и многих случаях можно сохранить, если все вы, действуя согласно божьему промыслу, а не наперекор ему, поможете их спасти. *(Возгласы одобрения.)* Две угрюмые няньки, Болезнь и Бедность, приведшие сюда этих детей, присутствуют при их рождении, качают их убогие колыбели, заколачивают их гробики, насыпают холмики земли над их могилами. Из ежегодного количества смертей в этом городе больше трети составляет смерть в противоестественно раннем, детском возрасте. *(Внимание!)* Я не стану, как принято делать с теми, другими детьми, обращать ваше внимание на то, какие они благонравные, красивые, умненькие, какие они подают надежды и на кого они больше всего похожи; я прошу вас об одном: посмотрите, какие они хилые, как уже видна на них печать смерти! И еще я прошу вас, во имя всего, что пролегает между вашим собственным детством и тем временем, о котором столь неудачно говорят, что человек впадает в детство, когда прелесть ребенка бесследно исчезла, а осталась только его беспомощность,— я призываю вас, священным именем Жалости и Сострадания, обратитесь мыслями к *этим* детям. *(Крики «браво».)*

Несколько лет тому назад, будучи в Шотландии, я както утром сопровождал одного из гуманнейших представителей гуманного врачебного сословия в его обходе самых неимущих обитателей старого Эдинбурга. В тупиках и улочках этого живописного города — а я с грустью должен вам напомнить, как часто живописность и тиф идут рука об руку,— мы за один час увидели больше нищеты и болезней, нежели многие люди могут представить себе за всю жизнь. Мы обходили одно за другим самые жалкие жилища — зловонные, недоступные свету, недоступные воздуху, сплошные звериные берлоги и норы. В одной из таких каморок, где в холодном очаге стоял пустой горшок из-под овсяной каши, а на голой земле возле очага жались друг к другу женщина в лохмотьях и несколько оборванных ребятишек, в каморке, куда, как сейчас помню, даже дневной свет, отражаясь от высокой, потем-

невшей от старости и дождей стены соседнего дома, проникал весь дрожа, словно и его, как и всех здесь, трясла лихорадка,— в этой каморке, в старом ящике от яиц, который мать выпросила в какой-то лавке, лежал маленький, изможденный и бледный больной ребенок. В памяти у меня навсегда запечатлелось его исхудалое личико, его горячие исхудалые ручки, сложенные на груди, его внимательные блестящие глаза, устремленные на нас. Он лежал в своем ящике, столь же хрупкой оболочке, как и его тело, которое он уже готовился покинуть, лежал молча, очень тихий, очень терпеливый. Мать сказала, что он почти не плачет, почти не жалуется, «лежит и как будто дивится, что, мол, такое с ним делается». Видит бог, подумал я, глядя на него, ему есть с чего дивиться: дивиться, как это случилось, что все у него болит, и он лежит здесь один, без сил,— а ему бы сейчас веселиться и петь, как те птицы, что никогда и близко от него не пролетают,— дивиться, как это его, дряхлого старичка, спокойно бросили здесь умирать, точно не резвятся совсем неподалеку на зеленой траве, под лучами летнего солнца, стайки здоровых, счастливых детей; точно по ту сторону горной гряды, нависшей над городом, не волнуется сверкающее море; точно не мчатся над ним облака; точно во всем мире нет ни жизни, ни движения, ни деятельности, а только застой и распад. Он лежал и смотрел на нас, говоря своим молчанием более проникновенно, чем любой красноречивый оратор: «Скажи мне, прошу тебя, чужой человек, что все это значит? И если тебе известно, почему я так рано, так быстро ухожу к Тому, кто сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им» *,— но едва ли считал, что они должны приходить к Нему такой трудной дорогой, какой иду я,— прошу тебя, открой мне эту причину, потому что я очень стараюсь до нее доискаться и очень много об этом раздумываю и по сей день». Немало бедных детей, больных и заброшенных, я видел с тех пор здесь в Лондоне; немало видел бедных больных детей, за которыми ласково и заботливо ходили бедняки — в нездоровом помещении и в таких ужасающих условиях, что о выздоровлении нечего было и думать; но всегда в этих случаях я снова видел своего бедного маленького знакомца, медленно угасающего в ящике из-под яиц, и он

снова обращался ко мне со своей немой речью, снова недоумевал, что все это значит и почему, боже милостивый, такое случается?

Так вот, леди и джентльмены, такое не должно случаться, и не будет случаться, если это собрание — эта капля крови, питающей большое сердце общества,— согласится на те меры помощи и предупреждения, какие я в силах предложить. В четверти мили отсюда стоит величавый старинный дом. Некогда, без сомнения, в нем рождались цветущие дети, они вырастали, женились и выходили замуж, привозили туда уже своих цветущих детей, и те бегали по старинной дубовой лестнице, что сохранялась там до самого последнего времени, и с любопытством разглядывали старинную резьбу на дубовых панелях. Спальни и парадные гостиные этого старого дома превращены теперь в просторные больничные палаты, и в них лежат пациенты, такие крошечные, что рядом с ними сиделки кажутся хлопотливыми великаншами, а добряк-доктор — дружелюбным, вполне христианским людоедом. За низкими столиками в середине комнат сидят выздоравливающие — такие маленькие, что они словно играют в интересную игру — будто были больны, а теперь поправляются. В кукольных кроватках лежат такие крошки, что каждому полагается подносик с игрушками; и, оглядевшись, вы можете заметить, как усталая, горящая от жара щека уткнулась в половину животного царства, направляющегося в Ноев ковчег, или как пухлая ручонка (это я сам видел) одним взмахом сметает на пол все оловянные войска Европы. Стены палат украшены яркими, веселыми, приятными для детского глаза картинками. В изголовье кроваток — изображения Того, в ком воплощено все милосердие и сострадание мира. Того, кто сам некогда был ребенком, и притом сыном бедняка.

В этом доме вам расскажут, что, кроме малюток, занимающих койки, здесь еще оказывают помощь детям, которых только приносят сюда показать врачу, а таких бывает до десяти тысяч в год. В комнате, где их принимают, стоит у стены ящик, и на нем написано, что если каждая мать, побывав здесь со своим ребенком, в благодарность опустит в этот ящик один пенс, то, по точным подсчетам, средства больницы могут за год пополниться на целых

сорок фунтов стерлингов. И в отчетах больницы вы можете с радостным волнением прочесть, что эти бедные женщины в признательности своей даже в трудные годы и при возросших ценах набирали-таки и по сорок и по пятьдесят фунтов. *(Возгласы одобрения.)* В документах этой же больницы вы можете прочесть прочувствованные заявления самых высоких и уважаемых членов врачебного сословия о том, как эта больница нужна; как невероятно трудно лечить детей в одних больницах со взрослыми, поскольку и болезни и потребности у них совершенно особенные; сколько благодаря этой больнице можно облегчить страданий и сколько предотвратить смертей — и притом, заметьте, не только среди бедняков, но и среди людей обеспеченных, потому что более систематическое изучение детских болезней не может не привести к лучшему их распознаванию и лечению. И наконец — самое печальное (я не могу вас обманывать, рисуя это заведение в слишком розовом свете): если вы придете в эту больницу и захотите сосчитать, сколько там кроватей, вам не придется считать многим больше, чем до тридцати, и вы с горестным изумлением услышите, что даже это количество, такое безнадежно ничтожное и жалкое по сравнению с необъятностью Лондона, не удастся сохранить, если только больница не получит более широкой известности. Я ограничусь этим словом — известности, ибо я не допускаю мысли, что в христианском обществе, состоящем из отцов и матерей, сестер и братьев, она может, получив известность, не получить щедрой поддержки.

Вот так обстоит дело, леди и джентльмены. Я изложил вам это прискорбное дело просто, без прикрас — от них я с самого начала твердо решил воздержаться; изложил его, памятуя не только о тысячах детей, ежегодно умирающих в нашем огромном городе, но и о тысячах детей, что живут, малорослые и чахлые, терзаемые болью, которую можно было бы облегчить, лишенные столь естественных в их годы здоровья и радости. Если эти ни в чем не повинные создания сами не могут вас разжалобить, то могу ли я надеяться сделать это их именем?

В самом восхитительном, самом прелестном из очерков, порожденных нежным воображением Чарльза Лэма, он пишет о том, как зимним вечером сидит у камелька,

рассказывая всякие семейные истории своим милым детям и наслаждаясь общением с ними, а потом внезапно возвращается к действительности: сам он — одинокий старый холостяк, а дети — всего лишь призраки, они могли бы быть, но их никогда не было. «Мы ничто,— говорят они,— мы меньше, чем ничто: призраки, грезы. Мы только могли бы быть, но еще долго, еще миллионы веков, мы должны ждать на унылом берегу Леты, пока нам дана будет жизнь и имя».— «Я тотчас проснулся,— добавляет автор,— и увидел, что сижу в своем старом кресле». Мне хочется, чтобы каждому из вас, в соответствии с обстоятельствами вашей жизни, явились сейчас дети-призраки — пусть это будет ребенок, которого вы любите, или еще более любимый ребенок, которого вы потеряли, или ребенок, который мог бы у вас быть, или ребенок, которым вы сами были когда-то. И пусть каждый из этих детей-призраков крепко держит за руку одного из тех малюток, что лежат в Детской больнице или погибают, потому что там не нашлось для них места. Пусть каждый из них говорит вам: «Ради меня, во имя мое, помоги этому маленькому страдальцу!» *(Возгласы, крики.)* Ну, так, а теперь проснитесь, и вы увидите, что находитесь в Зале масонов, что вы благополучно досидели до конца немного затянувшейся речи и поднимаете бокалы за Больницу для детей, твердо решив добиться ее процветания. *(Громкие возгласы одобрения.)*

[*Тост за Диккенса. Казначей огласил список пожертвований — свыше 3000 фунтов стерлингов, из которых 900 — от женщин. Одна из них пожертвовала 500 фунтов, подписавшись просто «Мэри-Джейн». Диккенс предложил последний тост — за дам:*]

Поднимая этот бокал, мне хочется отдельно воздать должное «Мэри-Джейн» и от души пожелать всем спокойной ночи. Мало хорошего можно было бы осуществить, не будь на свете женщин. В свое время мне указывали на то, сколько сумел сделать Робинзон Крузо, будучи холостяком. Однако я, основательно изучив авторитетные источники, обнаружил, что на самом деле у этого достойного человека было целых две жены.

РЕЧЬ В КОРОЛЕВСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ФОНДЕ

29 марта 1858 года

Джентльмены! Все мы, часто посещая театр, научились, я в том не сомневаюсь, предсказывать по разным мелким признакам и приметам, как развернутся события на подмостках. Например, когда молодая девица, дочь адмирала, остается на сцене одна и облегчает свою душу замечаниями общего порядка, не имеющими прямой связи с ходом пьесы, и когда из недр земли прямо у нее под ногами раздается бодрое, вдохновляющее постукивание, мы предсказываем, что сейчас будет исполнена песенка. *(Смех.)* Когда появляются два джентльмена, которых, по счастливому совпадению, ожидают ровно два стула, не больше и не меньше, мы заключаем из этого, что между ними состоится разговор и что в разговор этот, скорее всего, будут вкраплены воспоминания биографического свойства. *(Смех.)* Точно так же, когда мы замечаем, что два других джентльмена, в особенности если они принадлежат к сословию моряков, грабителей или контрабандистов, успели с последнего своего выхода вооружиться очень коротенькими кинжалами с очень длинной рукояткой, то предсказываем с некоторой долей уверенности, что такие приготовления закончатся дракой. *(Смех.)* Так вот,

джентльмены, эти ассоциации мыслей, которые мы так часто приносим с собою в театр, можно вынести и за стены театра, а если так — вам, возможно, уже пришло в голову, что когда я просил у моего старого друга, нашего председателя, разрешения предложить тост, я имел в виду не кого иного, как моего старого друга и что именно о нем и пойдет сейчас речь. *(Возгласы одобрения и смех.)*

Джентльмены, обязанности попечителя Театрального фонда, каковую должность я имею честь исполнять, не столь многочисленны, как его права. Иными словами, он — не более как персонаж без слов *(смех)*, с той лишь прискорбной разницей, что ему не по ком вздыхать. *(Смех.)* Если бы его роль можно было в этом смысле немного подправить, я ручаюсь, что играть ее было бы гораздо приятнее и что он уже не чувствовал бы себя таким потерянным. Обязанности этого странного персонажа состоят в том, чтобы раз в полгода наведываться в банк и ставить свою подпись в большущей, громоздкой книге, тем свидетельствуя получение двух документов, о которых ему ничего не известно и которые он тут же передает бутафору, после чего уходит со сцены. *(Смех.)*

Зато права у него немалые. Он наделен правом наблюдать рост и развитие общества, к которому проявлял интерес с самого его зарождения, он наделен правом по всякому подходящему поводу воздавать должное бережливости, доброте, самопожертвованию и собственному достоинству, присущим категории людей, которых невежды не ценят по заслугам и которым долго отказывали в этих добродетелях в силу глубоко укоренившегося глупого, невежественного и низменного предрассудка. *(Громкие возгласы одобрения.)* И наконец, он наделен правом время от времени предлагать тост за председателя на ежегодном обеде; а когда председатель — это человек, чьим талантом он горячо восхищается, в то же время глубоко его уважая *(крики, возгласы)*, когда этот председатель — человек, который служит украшением литературы и в чьем лице мы славим литературу *(возгласы)*, тогда он чувствует, что это последнее — поистине высокое право. *(Громкие крики.)* Джентльмены! С первых дней существования этого общества я позволил себе внушать его руководите-

лям мое личное убеждение, что для содействия его влиянию и успеху им следует возможно чаще выбирать председателя из числа лиц, прикосновенных к литературе и искусствам. *(Правильно!)* Я позволю себе сказать, что ни в одном учреждении подобного рода не председательствовало столько выдающихся, замечательных людей. *(Крики «браво».)* И я убежден, что никогда не бывало и никогда не будет — просто потому, что не может быть,— человека, который выполнял бы эти обязанности с бо̀льшим блеском, чем благородный английский писатель, занимающий председательское кресло сегодня. *(Громкие приветственные возгласы.)*

Джентльмены! Я не возьму на себя смелость — сейчас для этого не время и не место — листать перед вами зачитанные страницы романов мистера Теккерея, не возьму на себя смелость обращать ваше внимание на то, сколько в них заключено остроумия, сколько в них мудрости, как много автор открыл нам в своих книгах — и притом, как они бесстрашны и как беспристрастны. *(Крики «браво».)* Но одно я могу сказать, отдавая им скромную дань уважения: мне представляется совершенно правильным и в порядке вещей, чтобы такой писатель, как мой друг, и такое искусство, как театр, встречались лицом к лицу, как то случилось сегодня. *(Крики одобрения.)* Ведь всякий хороший актер идет по стопам всякого хорошего автора, а каждый писатель-беллетрист, если даже он не избирает драматическую форму, в сущности, пишет для сцены. Пусть он пишет только романы, пусть не написал ни одной пьесы, но правда и мудрость, живущие в нем, должны проникнуть в искусство сцены, самую сущность которого составляют правда и страстность, и в какой-то мере должны отразиться в том большом зеркале, которое оно держит перед природой. *(Возгласы одобрения.)* Джентльмены, среди присутствующих здесь представлены и актеры, и директоры театров, и писатели. Мы можем без труда предположить, что все они изучали тайны человеческого сердца во многих и разнообразных театрах, больших и малых, но я уверен, что ни один из них, ни в одном театре, начиная с повозки Феспида *, не изучал этих таинственных движений души с большей пользой для нас,

чем в веселых балаганах «Ярмарки тщеславия». Этому искусному кукольнику, который доставил нам столько радости и чьи слова сегодня нас так очаровали, нам предстоит сейчас выразить нашу признательность и приветствовать его среди нас, и, желая ему счастливого пути через многие годы и многие ярмарки, которые, как мы от души надеемся, еще дождутся прикосновения его могучего искусства, я, с вашего разрешения, предлагаю выпить за здоровье председателя, и да хранит его бог! *(Овация.)*

РЕЧЬ В КОРОЛЕВСКОМ ОБЩЕСТВЕ МУЗЫКАНТОВ

8 марта 1860 года

Леди и джентльмены! Я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что всем известно следующее любопытное обстоятельство: когда люди частным образом собираются за обеденным столом, сговорившись обсудить какой-нибудь деловой вопрос, неизменно получается так, что, сколько ни старайся, не удается заставить их подойти к этому вопросу, и как раз касательно этого предмета — и только этого предмета — никакими уловками невозможно вытянуть из них хотя бы слово. Поскольку все человечество убедилось в этом на горьком опыте, устроители тех обедов, на одном из коих мы сейчас присутствуем, благоразумно ввели в обычай приступать к делу немедля, в самом начале вечера. Они излагают подлежащее обсуждению дело на бумаге, и не успевает еще несчастный председатель раскрыть рот, как вот оно, черным по белому, уже лежит перед ним. *(Смех.)* Два длинных ряда почтенных граждан, сидящих по правую и по левую руку от председателя, надежно его охраняют, следя за тем, чтобы он вел себя как должно, и вынуждают-таки его говорить на нужную тему, хотя ни для кого не секрет, что втайне он мечтает от нее увильнуть, а в ушах у него звучит голос, проникновенный голос, который, подобно вещему голосу

древнеримского раба, напоминает ему на всем пути триумфального шествия, что он — всего лишь смертный председатель и что общая участь его и всей его братии — «сказать свое слово и умереть».

Сегодня, леди и джентльмены, мы празднуем сто двадцать вторую годовщину Королевского общества музыкантов. *(Громкие приветственные возгласы.)* Учреждено оно было благодаря тому, что сто двадцать лет назад два джентльмена, стоя в дверях кофейни в полумиле от того места, где мы сейчас находимся, случайно загляделись на двух бедных мальчиков, гнавших по лондонским улицам пару ослиц. Эти два мальчика были сыновьями скончавшегося музыканта; два щедрых сердца, сжалившихся над ними, были сердцами двух скончавшихся музыкантов; а благородный человек, поспешивший им на помощь, был тоже ныне скончавшийся музыкант Гендель *, известный среди истинной аристократии духа — среди людей искусства — не громкими титулами, а лишь своим даром, полученным, как я разумею, из рук самого господа бога. *(Крики «браво».)* Так вот, леди и джентльмены, этот «Гармонический кузнец» * принялся так ретиво ковать железо своего братства, пока оно было горячо, что выбил из него искры самоуважения, независимости и процветания — качеств, которые отличают это учреждение и поныне. Все девятнадцать лет, что ему еще оставалось прожить, он трудился ради Общества музыкантов у наковальни своего искусства, трудился не жалея сил и с искренней верой, а перед смертью завещал ему царское наследство — тысячу фунтов стерлингов. *(Громкие возгласы одобрения.)* Теперь мы видим, что такое доброе семя и что такое хорошая музыка. Миновало сто двадцать два года; ушли в прошлое кружевные жабо и пудреные парики, ушли в прошлое белые плащи, шинели с пелеринами, огромные шейные платки и ботфорты, но из доброго семени выросло пышное, цветущее дерево, под сенью которого мы нынче сидим; и хорошая музыка по-прежнему молодо звучит в молодых ушах, в молодых голосах и пальцах каждого нового поколения. *(Одобрительные возгласы.)*

Леди и джентльмены, когда мне выпадает честь председательствовать на подобных обедах, я обычно стараюсь объяснить тем из собравшихся, кто, возможно, незнаком

с деятельностью данного общества, из каких соображений сам я это общество поддерживаю. Так позвольте мне вкратце рассказать вам, почему я с особенным сочувствием и уважением отношусь к Королевскому обществу музыкантов.

Во-первых, потому что оно — подлинное *(браво!)* — не только по названию, но и на самом деле это общество музыкантов: не разношерстное сборище лиц неопределенных занятий, в которое затесались несколько музыкантов, чтобы как-то оправдать злоупотребление высоким этим словом, но общество профессионалов, связанных любовью к своему искусству и ставящих себе цели, важные для этого искусства. *(Возгласы.)* Потому что эти люди объединились — а они только так и могли объединиться независимо и с пользой — на основе взаимной помощи *(крики «браво»)* и заранее обеспечивают на время старости, болезни или несчастья если не самих себя, то своих собратьев, их вдов и сирот. Потому что общество это не только дает средства на образование этих бедных детей и на обучение их профессии, но и после того по-отечески о них печется: тех из них, кто успешно прошел ученичество, поощряют возвращаться в лоно общества, награждают за успехи и прилежание, а также наставляют и в дальнейшем следовать стезей правды и приверженности долгу. *(Аплодисменты.)* Потому что общество это не замкнутое, оно предоставляет самым новым своим членам те же преимущества, что и самым старым, и охотно принимает в свои ряды музыкантов-иностранцев, постоянно проживающих в Англии. Потому что оно действует по особым, им самим созданным правилам *(одобрительные возгласы)* и притом ведет дела по системе чрезвычайно неразумной и не пользующейся признанием, а именно — платит небольшое жалованье всего лишь двум лицам, действительно работающим, в то время как директоры даже расходы, связанные с собраниями, покрывают из своего кармана. *(Громкие аплодисменты.)* Леди и джентльмены, вы и представить себе не можете, какой переполох поднялся бы в некоем литературном обществе, если бы кровожадный субъект, ныне обращающийся к вам с этой немудрой речью, попросил бы там слова и предложил взять Общество музыкантов как пример для подражания. *(Смех*

и одобрительные возгласы.) И наконец, леди и джентльмены, я рекомендую это общество тем из вас, кто с ним незнаком, потому что это общество артистов, основанное на правиле: все за одного и каждый за всех. Каждый из его членов с самого начала считает своей обязанностью перед всеми остальными бесплатно участвовать в любом концерте, который устраивается в пользу Общества. Каждому при вступлении в члены Общества официально и недвусмысленно напоминают, что он берет на себя обязательство по мере своих сил и способностей участвовать в большой работе, и с этой минуты его считают связанным этим обязательством. Таковы, леди и джентльмены, главные отличительные черты общества профессионалов, которое сегодня миновало сто двадцать вторую веху на своем жизненном пути,— главные его черты, но к ним можно прибавить еще одну, а именно, что ежегодный доход, получаемый им из одного только источника — от ежегодных членских взносов,— составляет немногим больше одной десятой доли той суммы, какую оно ежегодно тратит на осуществление своих превосходных целей.

На обложке лежащей передо мною книги я читаю «Вечер сто двадцать второй», и я погружаюсь в сладкие грезы, вспоминая те чудеса, которые с раннего детства рождала для меня музыка. Мне грезится, что я воротился к ночи сто двадцать второй замечательных сказок «Тысячи и одной ночи» и слышу, как Динарзада, за полчаса до рассвета, говорит сестре: «Сестра Шахразада, если ты еще не спишь и если будет на то милость нашего повелителя-султана, прошу тебя, доскажи мне сказку про... английских музыкантов!» *(Смех и одобрительные возгласы.)* На что Шахразада отвечает, что охотно исполнила бы ее просьбу, но сдается ей, что у этой сказки нет конца *(одобрительные возгласы)*, ибо, по ее мнению, до тех пор пока люди будут жить на земле, любить и надеяться, до тех пор не может исчезнуть музыка, поднимающая их над превратностями судьбы и над собственными заблуждениями. *(Крики, возгласы.)* И вот султан, который для этого случая на время изменил свое имя, опоясался не ятаганом, а косой и удалился, милостиво порешив — пусть сказка длится и сто двадцать вторую ночь и пусть братство музыкантов живет вечно. *(Громкие аплодисменты.)*

Леди и джентльмены, вы можете счесть это праздной игрой воображения, но ведь каких только фантазий не рождает музыка! Вы знаете, что ей дано воскрешать мертвых; ей дано привести к вашему камельку родное существо, которое если и жило когда, так только в вашем сердце. Вы знаете, что музыка дает слепому зрение, а тяжелобольному — надежду; что мертвые слышат ее. Мы все слышим ее и в смене времен года, и в шуме вод, по которым ходил наш Спаситель. А в заключение я прошу вас, прислушайтесь и еще к одному напеву — вы наверняка расслышите его среди звуков сегодняшней музыки. Не может рука навсегда сохранить свою власть над смычком, струнами, клавишами; и дыхание рано или поздно слабеет. Искусное сочетание многих инструментов всегда требует и таких музыкантов, которые не могут надеяться ни на большой успех, ни на большую плату, а между тем без их участия наслаждение, которое вы испытываете, не было бы полным. Так прислушайтесь и к этому напеву: «Я — из их числа; я был молод, теперь я стар; пальцы мои утратили гибкость; дыхание ослабело. Ради того многого, что дала вам музыка, дайте мне хоть немного!»

Я предлагаю тост за Королевское общество музыкантов. *(Громкие аплодисменты.)*

[*Позднее, предлагая тост «за дам», Диккенс, как всегда, возмущался тем, что они сидят отдельно, на галерее.*]

Почему мужчины располагаются со всеми удобствами, почему перед ними дымятся яства и сверкают графины, а дамы должны сидеть наверху и оттуда с довольным видом взирать на это зрелище? Даже на Сандвичевых островах и на Таити дикари допускают представительниц прекрасного пола на свои банкеты. Не стоит ли нам изменить нынешнее положение вещей? Я со своей стороны могу сказать, что если устроители пообещают в будущем году, или еще через год, по случаю очередного торжественного обеда пригласить к столу дам и посадить по даме справа и слева от председателя, то я охотно соглашусь занять председательское кресло. *(Возгласы одобрения.)*

РЕЧЬ В ПЕНСИОННОМ ОБЩЕСТВЕ ПЕЧАТНИКОВ

6 апреля 1864 года

Не знаю, составляю ли я в этом смысле исключение, но я отчетливо помню, что с первых моих школьных дней (когда я находился под властью некоей старой леди, которая, как мне представлялось, правила миром с помощью розги), я от души ненавидел печатников и печатное слово. Мне казалось, что буквы печатают и присылают в школу нарочно для того, чтобы мучить меня, и печатника я считал своим личным врагом. Меня учили молиться за моих врагов, и я отлично помню, что как за злейшего своего врага молился за печатника. Воспоминание это по сей день возникает у меня всякий раз, как я вижу выстроенные в ряд крупные, жирные, черные прописные буквы. Однако со временем, когда меня увлек «Джек — Победитель великанов» и другие сказочные герои, ненависть моя пошла на убыль; еще больше она ослабела, когда я дорос до «Сказок 1001 ночи» и до Робинзона Крузо с его Пятницей; кстати сказать, дикари, пирующие на берегу,— это, вероятно, мое первое представление о торжественном банкете!

Но окончательно моя неприязнь к печатникам исчезла после того, как я увидел в печати свое собственное имя. Теперь мне доставляет удовольствие смотреть на веселую букву O, на S с его добрыми круглыми завитушками, на причудливое G и на Q с его уморительным хвостиком —

он первый научил меня усматривать в жизни смешное. И теперь уже в течение многих лет мы с печатниками — неразлучные друзья.

С тех пор как я последний раз председательствовал на торжественном собрании этого общества, я отслужил три срока ученичества у жизни. В последний раз я занимал это кресло двадцать один год тому назад. А сколько таких кресел я занимал с тех пор? Можно сказать — целый мебельный склад из одних кресел; и сейчас у меня такое чувство, будто я, после долгих странствий, возвратился домой. Мой интерес к судьбам Общества сохранился в полной мере. Оно существует неполных сорок лет *, а уже собрало капитал в 11 000 фунтов стерлингов и имеет сейчас на своем попечении 76 пенсионеров обоего пола, при ежегодных расходах в 850 фунтов. Оно сделало и делает много добра, и можно пожалеть лишь о том, что оно не может заботиться обо всех, кто притязает на его помощь.

Печатник служит верой и правдой не только тем, кто непосредственно связан с печатным делом, но и широкой публике, а следовательно, он в старости и болезни больше, чем кто-либо, имеет право на общественную помощь. Разумеется, то, что выходит в свет благодаря его умению, его труду, выносливости и знаниям,— это не только его заслуга; но без него что бы представлял собою наш мир? Да во всех странах верховодили бы одни тираны и обманщики! Я убежден, что ни в одной отрасли ручного труда не найти столько замечательных людей, как среди печатников. Наборщик из всех рабочих выделяется своей сообразительностью, выносливостью и готовностью все сделать как можно лучше. Труд его по самой природе своей вызывает всеобщее сочувствие. Он часто бывает перегружен работой, так что трудится половину ночи, а нередко и всю ночь,— в нездоровом воздухе, при искусственном освещении, с быстрыми сменами жары и холода, поэтому он особенно подвержен легочным болезням, слепоте и другим опасным недугам. Когда несчастный наборщик теряет на работе зрение и вынужден долгие дни сидеть в своей единственной комнате, лишенный возможности читать — а это было его любимым времяпрепровождением,— ему может читать вслух его жена или дочь; но причина его несчастья омрачает даже этот слабый луч утешения в окружающей

его тьме: ведь, возможно, что он сам набирал книгу, которую ему читают. Что же, это только воображаемый случай? Нет, почти каждая крупная типография в Лондоне увольняет много таких рабочих. Поэтому-то публика, в чьих интересах и для чьего развлечения и просвещения они работали, обязана поддержать Общество печатников!

В связи с этой стороной вопроса я могу сообщить две приятные новости. Мистер Бантинг, навлекший на себя немало насмешек своей брошюрой о лечении тучности *, пожертвовал Обществу 52 фунта и 10 шиллингов — всю прибыль, которую он пока что получил от продажи этой брошюры. Могу сказать одно: будь у Общества много таких друзей, оно быстро прибавило бы в весе. А некий мистер Винсент, который сам опубликовал несколько книг и заинтересовался судьбою печатников исключительно потому, что за время своих деловых сношений с типографией, где они печатались, неизменно встречал самое учтивое обращение и готовность помочь, выразил намерение передать Обществу доход с недвижимой собственности в Ливерпуле, приносящей ежегодно 150 фунтов. Будут основаны пять пенсий по 20 фунтов, остальная же сумма пополнит капитал Общества.

[*Далее Диккенс красноречиво говорил о правах Общества и закончил так:*]

Тираны и обманщики, о которых уже шла речь,— а в Европе немало и тиранов и обманщиков,— с радостью уволили бы на пенсию всех печатников во всем мире и покончили бы с ними; но пусть друзья прогресса и просвещения уволят на пенсию тех печатников, которые уже не могут работать по старости или по болезни, а остальные в конечном счете сотрут тиранов и обманщиков с лица земли. Ибо если есть на свете машина, которая может с ними расправиться, так это печатная машина. Печатник — служитель разума и мысли; он друг свободы и законности; он друг всякого, кто сам — друг порядка; друг всякого, кто умеет читать. Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах, из всех великих последствий удивительного развития техники на первом месте стоит книгопечатание, а печатник — единственный плод цивилизации, без которого не может существовать свободный человек.

РЕЧЬ В ГАЗЕТНОМ ФОНДЕ

20 мая 1865 года *

Леди и джентльмены! Когда после званого обеда в столовую приносят младенца, дабы показать его восхищенным друзьям и родне, обычно бывает так, что гости — быть может, бессознательно руководствуясь мыслью о непрочности младенческой жизни,— направляют разговор на прошедшие события. Говорят о том, как ребенок вырос с последнего званого обеда; какой это замечательный ребенок, а ведь и родился-то всего два или три года назад; какой у него здоровый вид,— это, наверно, корь пошла ему на пользу, и тому подобное. Когда после торжественного обеда на обсуждение выносят не младенца, а учреждение в младенческом возрасте, тут уж нет места колебаниям и деликатным недомолвкам, и можно с уверенностью предсказать, что если оно достойно жить, то и будет жить, если же оно достойно умереть, то и умрет. А решать, чего оно достойно, следует, мне кажется, судя, во-первых, по тому, как это учреждение предполагает распоряжаться своими средствами; во-вторых, насколько его поддерживают те круги общества, которые создали его и для чьей пользы оно предназначено; и наконец — сколь сильно его влияние на публику. *(Правильно!)* Это последнее соображение я добавил потому, что ни одно общество такого рода никогда и не мечтало о том, чтобы существовать не-

зависимо от публики, и никогда не считало поддержку публики чем-то для себя зазорным. *(Возгласы одобрения.)*

Так вот, свои средства Газетный фонд намерен употреблять для помощи своим членам в бедности или в несчастье, а также вдовам, детям, родителям и прочим близким родственникам скончавшихся членов, при условии уплаты умеренных ежегодных взносов — их, как я вижу, можно заменить умеренным единовременным взносом вперед на всю жизнь,— а членами Фонда могут быть все платные литературные сотрудники прессы Соединенного Королевства и все без исключения репортеры. Год назад число его членов было немногим меньше ста. В настоящее время оно немногим больше ста семидесяти, не считая еще тридцати человек, которые уже платят взносы, но еще не стали действительными членами. Число это неуклонно пополняется, причем не только работниками столичной прессы, но и провинциальных газет по всей стране. На днях я узнал, что недавно многие газетные работники в Манчестере на своем собрании выразили горячий братский интерес к этому учреждению и серьезное желание расширить его функции и укрепить его положение, при условии, что в устав его можно будет внести статьи о страховании жизни и о выкупе просроченных полисов, а также при условии, что в его рамках столица и провинция будут пользоваться совершенно равными правами. *(Крики «браво».)* Это требование представляется мне столь умеренным, что я не сомневаюсь ни в благоприятном отклике на него со стороны правления, ни в благотворных последствиях такого отклика. *(Крики «браво».)* Остается лишь с удовлетворением добавить по этому пункту, что больше трети всех денег, собранных в помощь обществу за последний год, поступило от самих работников прессы. *(Крики «браво», возгласы.)*

Что же касается последнего пункта, леди и джентльмены, последнего мерила, а именно — влияния на публику, то я позволю себе сказать так: среди членов этого многолюдного собрания нет, вероятно, никого, кто, читая сегодня газету или слушая рассказ, почерпнутый из газеты, не узнал бы чего-нибудь такого, о чем еще ничего не знал вчера. *(Правильно!)* То же, за самыми незначительными исключениями, можно сказать и о любом из тех, кто

шумной толпой наводняет сегодня улицы этого огромного города. *(Правильно!)* То же относится почти в равной мере к самым оживленным и самым глухим, самым большим и самым маленьким городам империи, и притом не только к деятельной, прилежной и здоровой части их населения, но также к праздным, больным, слепым и глухонемым. *(Крики «браво».)* И если люди, которые для этого всепроникающего явления, этой поразительной вездесущей газеты, собирают всевозможные сведения о всевозможных предметах, интересующих публику,— собирают ценою неимоверного труда и упорства, нередко сочетая природные способности с усердно приобретаемым умением, причем большая часть работы делается по ночам, за счет отдыха и сна, и связана с напряжением двух самых тонких наших чувств — зрения и слуха (не говоря уже об умственном напряжении),— повторяю, если даже эти люди, которые через посредство газет изо дня в день, из ночи в ночь, из недели в неделю так щедро снабжают публику духовной пищей, не имеют права на то, чтобы публика в свою очередь проявила к ним щедрость,— тогда, как перед богом говорю, я уж не знаю, какие труженики в нашем обществе имеют на это право. *(Громкие крики одобрения.)*

С моей стороны было бы неуместно, более того — было бы невежливо распространяться перед вами о том, сколько разнообразнейших качеств необходимо, чтобы делать любую газету. Но, поскольку большую часть этого сложного организма составляют репортеры, потому что именно репортеры составляют большинство в штате почти каждой газеты (если она не состоит из одних перепечаток), я осмелюсь напомнить вам — да не сочтут это нескромным в августейшем присутствии нескольких членов парламента,— сколь многим мы, публика, обязаны репортерам хотя бы за их успехи в двух великих искусствах — сжимать и сокращать. *(Смех и громкие реплики.)* Вообразите, какие муки выпали бы нам на долю из-за парламента — пусть даже самого представительного состава, избранного по самому прекрасному закону,— если бы репортеры не умели делать купюры. *(Громкий смех.)* Доктор Джонсон заявил однажды со свойственной ему резкостью, что «человек, который чего-либо боится, это наверняка негодяй, сэр». Никоим образом не присоединяясь к этому взгляду — хотя и

признавая, что человек, боящийся газеты, как правило, более или менее подходит под это определение,— я все же должен сказать, что, если бы мне подавали к завтраку парламентские прения в столь неискусно приготовленном виде, я приступал бы к поглощению их с великим страхом и трепетом. *(Смех.)* Еще с тех пор, как отец с сыном вели осла домой, то есть, сколько помнится, с времен древнегреческих, а может, и с тех пор, как осел не желал входить в ковчег (вероятно, помещение показалось ему недостаточно удобным), ослы отказываются идти в ту сторону, куда их гонят *(смех)*,— и с тех же незапамятных времен стало невозможным угодить всем без изъятья. *(Крики «браво».)*

Против Газетного фонда тоже выдвигают возражения, и я не намерен скрывать, что знаю об этом. Мне кажется, что, поскольку общество это существует открыто, не уклоняется от широкого обсуждения и не ищет защиты и поддержки, кроме той, какая будет оказана ему добровольно, единственным доводом против таких возражений является самое его существование. Ни одно учреждение, основанное на честных и добровольных началах, не вправе уклоняться от любых вопросов и споров, и всякое такое учреждение в конечном счете только выигрывает от этого. *(Крики «браво».)* А то, что в данном случае сомнения и вопросы исходят из кругов, заслуживающих почтительного внимания, это, я полагаю, бесспорно. Я, например, отнесся к ним с самым почтительным вниманием, и это привело к тому, что я нахожусь здесь, где вы меня видите. *(Приветственные крики.)* Все искусства располагают у нас учреждениями, которые, на мой взгляд, ничем не отличаются от этого. У живописи таких учреждений четыре или пять. У музыки, которая так щедро и так прелестно здесь представлена, их тоже несколько. У искусства, которому служу я, такое учреждение одно, то самое, где мы с моим благородным другом, его председателем, вырвали друг у друга не один клок волос и которое я хотел бы видеть более похожим на это. *(Смех.)* У театрального искусства их четыре, и я не припомню случая, чтобы они вызвали возражения по существу,— разве что какой-нибудь знаменитый и процветающий актер, в долгую пору своих успехов решительно отказывавшийся поддержать свое общество, на

старости лет, обедневший и всеми забытый, покаянно взывал к нему о помощи. *(Правильно!)*

Может быть, наш Фонд вызывает некоторые опасения — к примеру, а ну как парламентский репортер станет уделять члену парламента, который платит нам взносы, много строк, а такому, который не платит,— поменьше? *(Смех.)* Не говоря уже о том, что такое обвинение огульно и, позволю себе заметить, бросает тень не только на злосчастного репортера, но и на злосчастного члена парламента,— не говоря уже об этом, я могу ответить так: во всех газетных редакциях знают, что каждому парламентскому оратору отводится на страницах газеты место в соответствии с его весом в глазах публики и с тем, насколько интересно и убедительно то, что он сказал. *(Возгласы одобрения.)* А уж если бы среди членов этого общества сыскался человек, достаточно неразумный по отношению к своим собратьям и бесчестный по отношению к самому себе, чтобы обмануть оказанное ему доверие в корыстных целях, то скажите, вы, здесь собравшиеся, уж вам ли не знать этого,— неужели газета, в которой дело поставлено настолько плохо, что там не распознают такого человека с первого взгляда, может надеяться благополучно просуществовать хотя бы год? *(Громкие возгласы.)* Нет, леди и джентльмены, такой глупый и неуклюжий проступок не укроется от проницательности газетных редакторов. Но я пойду дальше и скажу, что если такого проступка и можно опасаться, то скорее со стороны мелкого ренегата, прихвостня какой-нибудь разрозненной, разъединенной и полупризнанной профессии, нежели в среде, где, путем объединения всех ее членов от мала до велика для общего блага, создано общественное мнение; а целью такого объединения должно быть — поднимать мелких работников прессы до уровня крупных, а отнюдь не низводить крупных на уровень мелких. *(Возгласы одобрения.)*

В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов в память не совсем обычных обстоятельств, позволивших мне сегодня занять здесь председательское кресло, и вы, надеюсь, не посетуете, если слова эти будут носить в некотором роде личный оттенок. Я здесь держу речь не в защиту обычного клиента, которого, в сущности, почти не

знаю. Сегодня я ратую за своих собратьев. *(Громкие, долго не смолкающие приветственные крики.)* Я пришел на галерею палаты общин в качестве парламентского репортера, когда мне не было еще и восемнадцати лет, а ушел оттуда — трудно поверить в эту печальную истину,— около тридцати лет тому назад. Я выполнял репортерскую работу в таких условиях, какие многие из моих собратьев здесь в Англии, многие из моих нынешних преемников, не могут себе и представить. Мне часто приходилось переписывать для типографии, по своим стенографическим записям, важные речи государственных деятелей,— а это требовало строжайшей точности, одна-единственная ошибка могла серьезно скомпрометировать столь юного репортера,— держа бумагу на ладони, при свете тусклого фонаря, в почтовой карете четверкой, которая неслась по диким, пустынным местам с поразительной по тому времени скоростью — пятнадцать миль в час. Последний раз, что я был в Эксетере, я забрел во двор замка, чтобы позабавить моего спутника, показать ему место, где я некогда записывал предвыборную речь моего благородного друга лорда Рассела — посреди отчаянной драки, в которой участвовал сброд со всего графства, и под таким проливным дождем, что двое моих добросердечных коллег, случайно оказавшихся без дела, держали над моим блокнотом носовой платок, наподобие того как держат балдахин во время церковного шествия. *(Смех.)* Я протер себе колени, столько я писал, держа на них бумагу, сидя в заднем ряду старой галереи старой палаты общин; я протер себе подошвы, столько я писал, стоя в каком-то нелепом закуте в старой палате лордов, куда нас загоняли, как овец *(смех)*, и заставляли ждать... наверно, того времени, когда нужно будет заново набить мешок с шерстью. *(Смех.)* Случалось мне и застревать в грязи на проселочных дорогах, посреди ночи, в карете без колес, с измученными лошадьми и пьяными форейторами, и все же я успевал вовремя сдать свои записи в машину, да еще удостаивался памятных похвал покойного мистера Блека * с его незабываемым шотландским акцентом и столь же незабываемым золотым сердцем. *(Крики «браво».)*

Леди и джентльмены, я для того упоминаю об этих пустяках, чтобы вы видели: я не забыл, как увлекательна

была эта моя старая работа. *(Крики одобрения.)* Быстрота и проворство, которых она требовала, доставляли мне удовольствие, до сих пор не иссякшее в моей груди. Всю сноровку и сметливость, с какой я пришел на эту работу и какую приобрел, выполняя ее, я сохранил до сих пор. Мне кажется, что я хоть завтра мог бы приступить к ней снова и дело пошло бы у меня, в общем, не хуже, несмотря на долгую отвычку. *(Крики одобрения.)* Еще и теперь, когда я сижу в этой зале или еще где-нибудь и слушаю скучную речь,— такие бывают,— я иногда, чтобы скоротать время, мысленно следую за оратором так, как делал это в те далекие дни; а порой — хотите верьте, хотите нет — даже ловлю себя на том, что вожу рукой по скатерти, точно в воображении делаю стенографическую запись. *(Смех.)* Примите эти пустячные факты в подтверждение того, что я говорю по собственному опыту и что интерес мой к этой давнишней моей работе не угас. Примите их как доказательство того, что моя симпатия к профессии моей юности — это не настроение, которое овладело мною сегодня, а завтра будет забыто *(крики «браво»)*, но непреходящая любовь, часть меня самого. *(Возгласы одобрения.)* Я думаю — я убежден,— что, если бы я не сменил мою старую профессию, я первый горячо отстаивал бы сейчас интересы этого учреждения, полагая, что оно зиждется на здоровой и прочной основе. Леди и джентльмены, я предлагаю выпить за процветание Газетного фонда, включив в этот тост, в связи с официальным признанием Фонда, имя, которое придало новый блеск даже самым выдающимся газетам мира,— славное имя мистера Рассела. *(Громкие возгласы одобрения.)*

РЕЧЬ В АССОЦИАЦИИ КОРРЕКТОРОВ

17 сентября 1867 года *

Джентльмены, так как это общество собралось сегодня не для того, чтобы послушать мою речь, а чтобы познакомиться с фактами и цифрами, весьма близко касающимися почти всех, кто здесь присутствует,— я чувствую, что с моей стороны достаточно будет самого короткого вступления. О подробностях интересующего нас вопроса мне неизвестно ровным счетом ничего. Однако я согласился, по просьбе Лондонской ассоциации корректоров, занять председательское место и сделал это по двум причинам. Во-первых, я полагаю, что вести такие дела открыто и гласно — значит, подавать полезный пример, необходимый в наше время и как нельзя более приличествующий людям одной профессии, связанной с великим оплотом гласности — с прессой. *(Возгласы одобрения.)* Во-вторых, по личному опыту я знаю, что такое обязанности корректора и как они обычно выполняются, и я могу засвидетельствовать, что работа эта не механическая, что здесь мало сноровки и навыка, но требуется еще и природный ум, и приобретенное образование, и изрядная осведомленность, и находчивость, и отличная память, и сметливость. *(Громкие возгласы одобрения.)* Я с благодарностью заявляю, что ни разу я не прочитывал корректуру какой-либо из написанных мною книг без того, чтобы корректор не указал мне

на какое-нибудь не замеченное мною несоответствие или допущенную мною оплошность; словом — ни разу не бывало, чтобы я не встретил написанное черным по белому указание на то, что мою работу внимательно проследил не только зоркий, наметанный глаз, но и терпеливый, изощренный упражнением ум. *(Правильно!)* Я не сомневаюсь, что к этому моему заявлению могут, положа руку на сердце, присоединиться все мои многочисленные собратья по перу. *(Правильно!)*

По этим простым причинам, кратко мною изложенным, я и нахожусь здесь, на председательском месте; и как председатель, я вас заверяю, что ежели среди вас есть человек, так или иначе связанный с книгопечатанием, и ежели этот человек пожелает к вам обратиться, то, каковы бы ни были его взгляды, он может рассчитывать на мое самое пристальное внимание и ему будет предоставлена полная возможность высказаться. *(Громкие возгласы одобрения.)*

[*После выступлений других ораторов были приняты две резолюции о повышении заработной платы корректоров. Некий мистер Чаллонер разъяснил, что «эта ассоциация — отнюдь не профессиональный союз» и что единственное их желание — беспристрастно изложить дело предпринимателям, без малейшего намерения навязывать им свою волю путем сговора. В ответ на предложение выразить благодарность председателю Диккенс сказал:*]

Позвольте мне от души поблагодарить вас за сердечный прием. Поверьте, я очень охотно оказал вам эту небольшую услугу, и я надеюсь, я верю, что ваш спокойный, умеренный образ действий приведет в конце концов к установлению самых дружественных отношений между нанимателями и рабочими, а следовательно — послужит к общему благу. Спокойной ночи. *(Возгласы одобрения.)*

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЕГО ЧЕСТЬ В ЗАЛЕ СВ. ГЕОРГИЯ

(Ливерпуль)
10 апреля 1869 года

Господин мэр, леди и джентльмены! К звуку собственного голоса в этих краях я за последнее время так привык, что слушаю его без малейшего волнения *(смех)*, но ваши голоса, поверьте, взволновали меня до глубины души. Когда-то в Эдинбурге профессор Уилсон * признался мне, что по его публичным речам нельзя даже отдаленно представить себе, каким замечательным оратором он бывает наедине с самим собой. *(Смех.)* Так и вы по предлагаемому мною образчику едва ли сможете судить о том, как красноречиво я буду снова и снова благодарить вас в самые сокровенные минуты моей жизни. *(Громкие возгласы одобрения.)* Часто, очень часто, в памяти моей будет вставать это блестящее зрелище, и снова будет ярко освещена

...опустевшая зала,
Где погасли огни,
Где засохли цветы
И исчезли веселые гости *,—

и, верный тому, что я вижу перед собою сейчас, я и впредь, пока память и жизнь не покинут меня, буду помнить все в точности таким же — не забуду ни одного из мужчин, что

сидят в этих креслах, ни одной из женщин, чьи милые лица мне улыбаются. *(Приветственные возгласы.)*

Господин мэр! Лорд Дафферин в своей речи, столь лестной для меня, столь красноречиво произнесенной и столь восторженно встреченной, любезно упомянул о непосредственной причине моего нынешнего пребывания в вашем прекрасном городе. Не случайную дань Ливерпулю под влиянием мимолетного порыва чувств, а достоверный, подкрепленный опытом факт я прошу вас усмотреть в моих словах, если скажу, что когда я впервые, после долгих раздумий, принял решение часто встречаться лицом к лицу с большими аудиториями моих читателей и по мере сил общаться с ними посредством изустного слова, то из всех наших крупных городов, не считая Лондона, именно встречу с Ливерпулем я предвкушал с особенной радостью и надеждой. *(Возгласы одобрения.)* А почему так случилось? Не только потому, что граждане его всегда славились бескорыстным интересом к искусствам; не только потому, что я еще в давние времена был удостоен незаслуженной чести председательствовать на вечере знаменитого учебного заведения для рабочих *(браво!)*; не только потому, что этот город стал для меня родным с того памятного дня, когда его крыши и шпили канули в Мерсей за кормой парохода, в первый раз увозившего меня к моим великодушным друзьям по ту сторону Атлантического океана *(крики «браво», аплодисменты)*... двадцать семь лет тому назад. Нет, не по этим соображениям, но потому, что мне довелось подвергнуть публичному испытанию дух его жителей. Я взывал к Ливерпулю за поддержкой для Ли Ханта и Шеридана Ноулза *. *(Аплодисменты.)* Еще раз я обратился к нему во имя братства литературы и родственных ей искусств. И каждый раз я находил здесь непревзойденно сердечный, великодушный и щедрый отклик *. *(Крики «браво».)*

Господин мэр, леди и джентльмены, да позволено мне будет описать нынешнее мое положение с помощью небольшого сравнения из области моего собственного ремесла. Когда автор пишет роман от первого лица, это вызывает известные возражения: ведь какие бы опасности ни подстерегали героя, читателю заранее ясно, что он не погибнет *(смех)*, иначе он не мог бы рассказать свою

историю. *(Смех, аплодисменты.)* Так вот, а когда дело доходит до речей, да еще связанных с такими почестями, какими вы меня осыпали, тогда человека, желающего выразить свою благодарность, подстерегает сходное затруднение: какие бы ораторские невзгоды ни задержали его в пути, в конце концов он неизбежно должен возвратиться к самому себе. *(Смех.)* Поэтому я с вашего разрешения изберу более простой и короткий курс — поделю свое внимание поровну между собою и вами. *(Аплодисменты.)* Позвольте мне заверить вас, что все написанное или произнесенное мною, что было вами столь благосклонно принято, вы намного улучшили своим приемом. *(Возгласы одобрения.)* Говорят, что золото, семь раз пройдя через горнило, становится вдвое, втрое чище; так же можно сказать, что вымысел все более очищается с каждым разом, что он проходит через человеческое сердце. *(Громкие аплодисменты.)* Вы и сами понимаете, что в свое отношение ко мне вложили собственные свои качества, без которых вся моя работа была бы лишена смысла. Ваша горячность подстегивала мою, ваш смех заставлял меня смеяться, ваши слезы туманили мои глаза. *(Громкие аплодисменты.)* В тесном сотрудничестве, связывающем нас, лишь одно я приписываю только самому себе: неизменную приверженность к упорному труду. Мои собратья по перу, многих из которых я счастлив видеть в этой зале *(аплодисменты)*, хорошо знают, что во всяком искусстве то, что кажется самым легким, достигается ценою самого большого труда, что малая истина порою требует для ее выражения огромных усилий,— вот так же на днях в Манчестере мне пришло в голову, что наконец-то создан чудесный, редкостной чувствительности, измерительный прибор мистера Уитворта *, а ведь одному богу, Манчестеру да еще автору этого прибора ведомо, сколько напряженной предварительной работы предшествовало его созданию. *(Крики «браво».)* И мои товарищи по оружию хорошо знают то, что́, по-моему, надлежит знать и публике: не в блестках таланта, небрежно разбросанных там и тут, а в неустанном труде и усилиях, в постоянном стремлении к совершенству состоит наш высший долг по отношению к нашему призванию, друг к другу, к самим себе и к вам. *(Аплодисменты.)*

Леди и джентльмены, прежде чем сесть на место, я должен отвести от себя два очень неожиданных и странных обвинения. *(Вот как?)* Первое из них, выдвинутое против меня моим старым другом лордом Хоутоном, сводится к тому, что я будто бы не отдаю должного заслугам палаты лордов. *(Смех.)* Леди и джентльмены! Поскольку среди членов этой палаты у меня было и есть немало личных друзей, людей достаточно известных; поскольку я был знаком и даже общался с некиим пэром, еще недавно известным Англии под именем лорда Бруэма * *(смех)*; поскольку я не без некоторой симпатии и восхищения отношусь к другому пэру, совершенно неизвестному в литературных кругах и именуемому лордом Литтоном *(смех)*; поскольку я уже не первый год плачу некоторую дань восхищения необычайным юридическим способностям и поразительно острому уму некоего лорда — верховного судьи, которого принято величать лордом Кокберном; и поскольку во всей Англии нет человека, которого я больше чту за его общественные заслуги, больше люблю за его человеческие качества и который лучше сумел бы доказать мне свою любовь и уважение к литературе, чем еще один безвестный дворянин по имени лорд Рассел *(смех, аплодисменты)*,— по всем этим причинам должен сказать, что обвинение моего благородного друга меня, мягко выражаясь, удивило. Когда после его речи я у него спросил, какой бес попутал его наговорить на меня таких небылиц, он отвечал, что не может позабыть времена лорда Верисофта *. *(Смех.)* И тогда, леди и джентльмены, я все понял: дело, оказывается, в том, что когда был выдуман сей ничтожный и в высшей степени неправдоподобный персонаж, в палате лордов, как ни странно, не было никакого лорда Хоутона *(громкий смех, аплодисменты)*, а в палате общин заседал мало заметный депутат Ричард Монктон Милс. *(Смех.)*

Леди и джентльмены, я кончаю *(крики «Нет!», «Продолжайте!»)*... на первый раз кончаю *(смех)*; я только коснусь еще того второго обвинения, которое выдвинул против меня мой благородный друг, и тут я выскажусь более серьезно, хоть и в немногих простых словах. Когда я посвятил себя литературной деятельности, я твердо решил в душе, что независимо от того, ждет ли меня успех или неудача, моей профессией будет литература и только лите-

ратура. *(Крики «браво», аплодисменты.)* В то время мне казалось, что в Англии хуже, чем в других странах, понимают, что литература — достойная профессия *(крики «браво»)*, в которой каждый может показать, способен ли он постоять за себя. *(Аплодисменты.)* Я заключил сам с собой договор, что в моем лице литература постоит за себя — сама, без посторонней поддержки и помощи *(крики «браво»)*, и никакие соображения в мире не заставят меня нарушить этот договор. *(Громкие аплодисменты.)*

Леди и джентльмены, в заключение позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту и за трогательное единодушие, с каким вы пили за мое здоровье. Я благодарил бы вас от всего сердца, если бы не то прискорбное обстоятельство, что по многим вполне уважительным причинам я потерял свое сердце сегодня, между половиной седьмого и половиной восьмого вечера *. *(Долго не смолкающие приветственные крики.)*

РЕЧЬ В БИРМИНГЕМЕ

27 сентября 1869 года

Леди и джентльмены, поскольку весьма вероятно, что я буду иметь удовольствие *(аплодисменты)* снова встретиться с вами не позже, чем на святках, с тем чтобы увидеть лица и пожать руки тех, кто займет первые места в ваших списках *(громкие аплодисменты)*, я не хочу омрачать предвкушение этой нашей будущей встречи чувством ужаса, какое неизменно внушает оратор, произносящий вторую речь за один вечер. Я искренне вам благодарен и говорю от всего сердца: спокойной ночи и храни вас бог! А в связи с тем, о чем здесь так к месту и так убедительно говорил сегодня мистер Диксон, я сейчас, чтобы отвести душу, оглашу свое политическое кредо. Оно состоит из двух статей и не относится ни к каким отдельным лицам или партиям. Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна; моя вера в народ, которым правят, в общем, беспредельна. *(Громкие аплодисменты.)*

[*Это — второе выступление Диккенса 27 сентября 1869 года в Бирмингеме, на ежегодном собрании Института Бирмингема и Средних графств.*

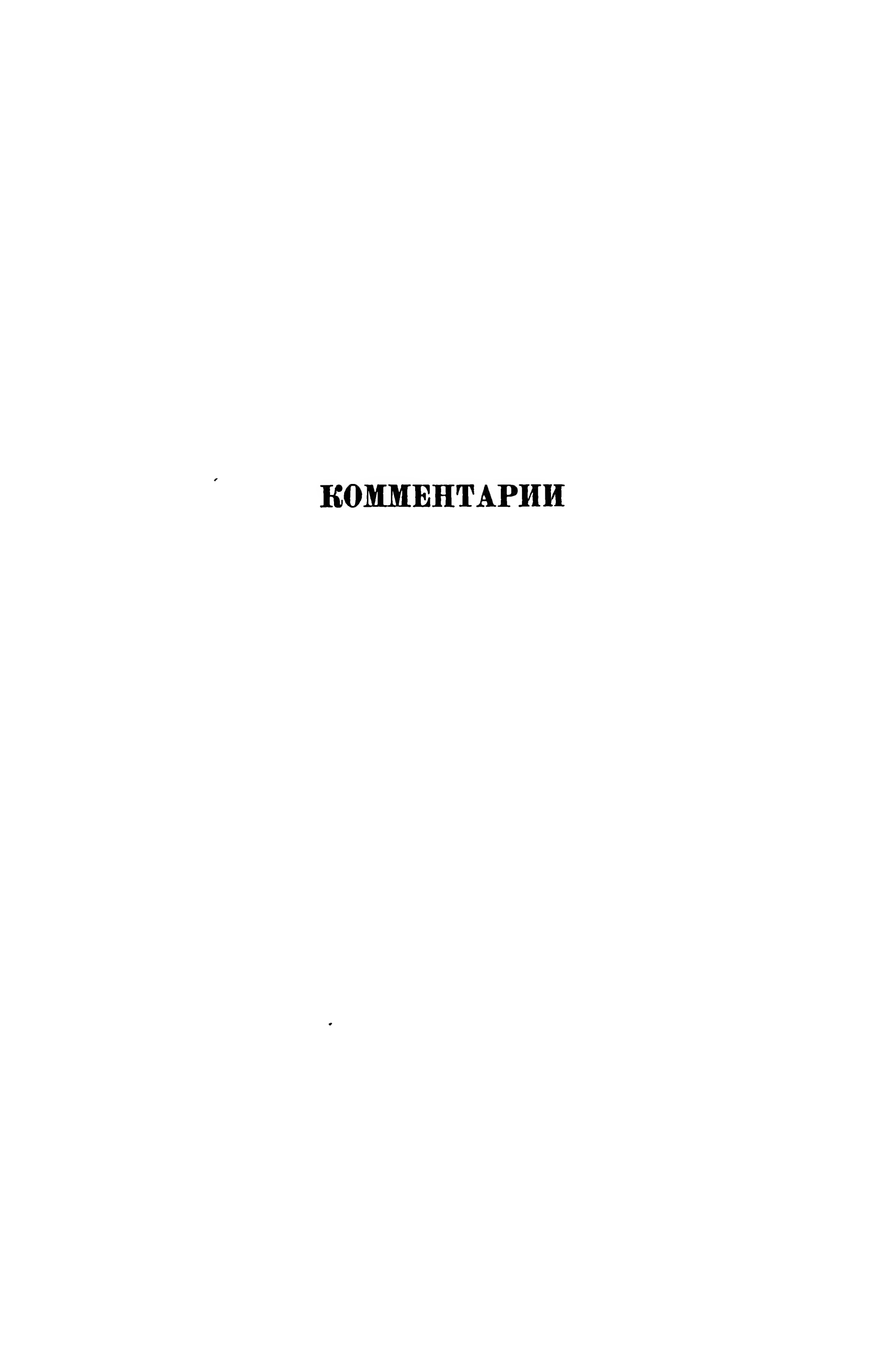
Диксон, на которого ссылается Диккенс,— предприниматель, деятель в области реформы просвещения, мэр Бирмингема в 1866 году, либерал, член парламента

(1866—1876 и 1895—1898). Один из основателей Национальной лиги просвещения.

В своей речи он напомнил, что в 1853 году Диккенс устроил публичное чтение в пользу Института, и добавил, что хотя круг друзей Института теперь значительно расширился, правительство по-прежнему не оказывает им ни малейшей помощи. «Невежественным и бедным людям, которые жаждут учиться и стучатся в двери этого учреждения, приходится отказывать... Видя, что доброхотных пожертвований недостаточно, а государство не спешит на помощь, невольно приходишь к выводу, что правительство Англии еще не поняло первейших своих обязанностей, и долг народа — научить даже самых высокопоставленных и важных членов правительства не только просвещать детей бедняков, но и просветиться самим...»

Председатель выразил надежду, что в январе Диккенс сможет участвовать в раздаче наград питомцам Института.

6 января, в своей речи по случаю раздачи наград, Диккенс вернулся к своему «политическому кредо» и подтвердил его, приведя, под громкие аплодисменты, цитату из «Истории цивилизации в Англии» Бокля: «Пусть говорят что угодно о реформах, введенных правительством, и об улучшениях, каких можно ждать от законодательства. Но всякий осведомленный человек, взглянув на дело более широко, вскоре убедится, что такие надежды — не более как химеры. Он убедится, что почти всегда законодатели не помогают обществу, а задерживают его прогресс, и что в тех исключительно редких случаях, когда их меры приводят к добру, это объясняется тем обстоятельством, что они, против обыкновения, прислушались к духу времени и оказались всего лишь слугами народа, каковыми им надлежало бы быть всегда, ибо их долг — только оказывать общественную поддержку желаниям народа и облекать их в форму законов».]



КОММЕНТАРИИ

ДИККЕНС-ПУБЛИЦИСТ

В данном томе впервые на русском языке публикуются избранные статьи и речи Диккенса.

Сам писатель не озаботился о собрании и переиздании своих публицистических выступлений. Это было сделано уже после его смерти почитателями дарования великого романиста.

Один из основоположников научного изучения творчества Диккенса Ф. Киттон опубликовал сборник «Для чтения в сумерках и другие рассказы, очерки и статьи Чарльза Диккенса» (Charles Dickens, To be read at Dusk; and other stories, sketches and essays, ed. by Frederic G. Kitton, London, 1898). Десять лет спустя издательство «Чепмен и Холл», всегда печатавшее сочинения Диккенса, выпуская так называемое «Национальное издание» сочинений писателя, включило в него том его публицистических произведений. Они были перепечатаны также в наиболее авторитетном из новейших изданий Диккенса «Нонсач Диккенс» (The Nonesuch Dickens, Collected Papers, vol. 1—2, 1937).

Речи писателя были собраны Р. Шепердом и изданы сразу же после смерти Диккенса — Charles Dickens, Speeches, ed. by R. H. Shepherd, London, 1870. Они вошли также в названное издание «Нонсач Диккенс». Новейшее издание речей — The Speeches of Charles Dickens, ed. by K. L. Fielding, Oxford, Claredon Press, 1960.

Публицистическая деятельность отнюдь не была эпизодом в писательской биографии. Полное собрание речей и статей Диккенса, составляющих два солидных тома, свидетельствуют о том,

что писатель часто выступал по общественным вопросам. Это органически сочеталось с литературным творчеством Диккенса, которое от начала и до конца было проникнуто пафосом борьбы против различных форм социальной несправедливости. Как известно, публицистические мотивы весьма значительны в романах Диккенса. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он нередко откладывал перо романиста, чтобы написать статью или выступить с речью. Гражданское чувство, общественный темперамент были органически присущи Диккенсу. Вся его публицистика проникнута живейшим интересом к тому, что составляло предмет наибольшего значения для современного общества.

С самого начала литературной деятельности Диккенс провозгласил своей задачей служение интересам общества, в первую очередь простого народа. Выступая на банкете 25 июня 1841 г., Диккенс рассказал о побудительных мотивах, двигавших его творчеством: «Мною владело серьезное и смиренное желание — и оно не покинет меня никогда — сделать так, чтобы в мире стало больше безобидного веселья и бодрости. Я чувствовал, что мир достоин не только презрения; что в нем стоит жить, и по многим причинам. Я стремился найти, как выразился профессор, зерно добра, которое Творец заронил даже в самые злые души. Стремился показать, что добродетель можно найти и в самых глухих закоулках — что неверно, будто она несовместима с бедностью, даже с лохмотьями...»

Эта человеколюбивая настроенность свойственна как романам, так и публицистике Диккенса. И романы и публицистика Диккенса преследовали одну цель: возбуждать ненависть ко всем проявлениям общественной несправедливости и учить людей добру.

Диккенс сознавал, что столь большие нравственно-воспитательные и просветительные задачи не по плечу одному человеку. Поэтому на протяжении почти всех лет литературной работы он собирал вокруг себя литераторов, способных поддержать его стремление создать литературу, воздействующую на сознание народа. Отсюда же постоянное стремление Диккенса иметь орган печати, который обращался бы к широчайшим слоям общества.

Сначала Диккенс сотрудничал в еженедельнике «Экзэминер» (The Examiner). Это был один из наиболее прогрессивных органов английской печати первой половины XIX в. Основателями его были братья Джон и Ли Хант. Ли Хант возглавлял борьбу ради-

калов против политической реакции в период «священного союза». В 1821 г. редактором журнала стал Олбани Фонбланк, а затем Джон Форстер, друг всей жизни Диккенса и впоследствии его первый биограф. В «Экзэминере», этом органе радикальной буржуазной демократии, Диккенс сотрудничал в 1838—1849 гг. Статьи тех лет воспроизводятся в настоящем томе.

Диккенсу хотелось самому издавать газету или журнал, самому определять идейную и художественную линию большого массового органа. В 1845 г. писатель замышляет издавать еженедельный литературно-политический журнал, для которого он придумывает название «Сверчок». Намерение это осталось неосуществленным, но замысел не прошел бесплодно для Диккенса. Идея «Сверчка» породила замысел рождественского рассказа «Сверчок за очагом».

Мечты о еженедельнике отошли на задний план, когда Диккенс получил предложение стать редактором газеты «Дейли Ньюс» (Daily News). Хотя верный друг Форстер отговаривает его, Диккенс с пылом берется за подготовительную работу. 21 января 1846 г. выходит первый номер газеты. Ее политическая позиция была радикально-реформистской. Газета ратовала за отмену отживших социальных установлений и законов, в частности добивалась отмены хлебных пошлин, ложившихся тяжелым бременем на народ. Но вместе с тем она поддерживала выгодный для буржуазии принцип свободы торговли. Ф. Энгельс писал, что «Дейли Ньюс» — это «лондонский орган промышленной буржуазии» [1]. Газета выражала позиции либеральной части буржуазного класса.

Нам, знакомящимся сейчас с этими фактами, кажется несколько непоследовательным со стороны Диккенса участие в органе такого направления, ибо романы писателя были в сущности антибуржуазными. Сопоставив это с тем, что́ Диккенс до 1846 г. писал о буржуазии в своих романах «Николас Никльби», «Лавка древностей», «Мартин Чезлвит», нельзя не почувствовать, что Диккенс, взявшись быть редактором «Дейли Ньюс», оказался вовлеченным в дела политической кухни, всегда претившие ему. Работа в редакции стала тяготить его и, изрядно перенервничав из-за трудностей своего нового положения, Диккенс взял отпуск,

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 1-ое, т. VIII, стр. 439.

на самом деле смахивавший на бегство. Он уехал в Швейцарию. Руководство газетой принял на себя Джон Форстер; Диккенс еще некоторое время ограничивался советами, а потом и вовсе отошел от «Дейли Ньюс».

Эпизод с «Дейли Ньюс» характерен для Диккенса. Хотя его всегда занимали большие общественные проблемы, хитросплетений политической борьбы он чуждался. Выступая 7 февраля 1842 г. на банкете в Соединенных Штатах, Диккенс открыто признал: «мои нравственные идеалы — очень широкие и всеобъемлющие, не укладывающиеся в рамки какой-либо секты или партии...» Писатель хотел быть судьей жизни с точки зрения высших идеалов человечности. При этом симпатии его были на стороне угнетенных и обездоленных. В той же речи Диккенс так выразил свое кредо: «Я верю, что наша жизнь, наши симпатии, надежды и силы даны нам для того, чтобы уделять от них многим, а не кучке избранных. Что наш долг — освещать ярким лучом презрения и ненависти, так чтобы все могли их видеть, любую подлость, фальшь, жестокость и угнетение, в чем бы они ни выражались. И главное — что не всегда высоко то, что занимает высокое положение, и не всегда низко то, что занимает положение низкое».

Диккенс — убежденный сторонник народности искусства и литературы. Вот почему он не мог принять эстетически изощренного искусства прерафаэлитов (см. статью «Старые лампы взамен новых»), тогда как нравоучительное искусство художника Крукшенка было ему близко и своим реализмом, и демократической идейной направленностью («Дети пьяницы» Крукшенка). Место писателя в общественной жизни Диккенс очень ясно определил в речи на банкете в честь литературы и искусства в Бирмингеме 6 января 1853 г. Посвятив себя литературной профессии, я, сказал Диккенс, «твердо убежден, что литература, в свою очередь, обязана быть верной народу, обязана страстно и ревностно ратовать за его прогресс, благоденствие и счастье».

Сказанное относится в равной степени к художественному творчеству и к публицистике Диккенса. В своих статьях и речах он неуклонно следовал этим принципам. Если с нашей точки зрения программа писателя и может показаться несколько общей и расплывчатой, то в практике Диккенса занятая им позиция всегда приводила к борьбе против совершенно конкретных форм социального зла.

Достаточно прочитать его очерк «Ночная сценка в Лондоне», чтобы убедиться в отсутствии какой-то бы то ни было «абстрактности» гуманизма Диккенса. Он показывает здесь страшные бездны нищеты, самый низ лондонского дна, нищету, хуже которой не бывает. Его описание проникнуто гневом против общественных порядков, допускающих такое страшное унижение человека.

Диккенс был человеколюбив, но отнюдь не считал, что зло должно оставаться безнаказанным. Читатель найдет в этой книге серию статей, посвященных нашумевшему делу проходимца Друэ, школа которого своими ужасами во много раз превосходила заведение Сквирса, описанное в романе «Николас Никльби». Писателя возмущает классовый суд, допускающий безнаказанность тех, кто наживается на страдании беззащитных (см. статьи «Рай в Тутинге», «Ферма в Тутинге», «Приговор по делу Друэ»).

Вместе с тем, признавая необходимость суровых мер против преступников, Диккенс решительно выступает против сохранявшегося тогда варварского обычая публичных казней, а также против смертной казни вообще («О смертной казни», «Публичные казни»). Голос Диккенса в этих статьях звучит в унисон с выступлениями великого французского писателя-гуманиста Виктора Гюго («Клод Ге», «Последний день приговоренного к смерти»).

Диккенс коснулся и такого последствия народной нищеты, как проституция. Однако его «Призыв к падшим женщинам» звучит наивно, ибо решение проблемы состояло отнюдь не в желании или нежелании стать на путь нравственности, а в том, что капиталистические порядки обрекали женщин на торговлю своим телом.

Диккенс горячо поддерживал все начинания, которые могли содействовать просвещению народа и облегчению его тяжелого положения. Свидетельствами этого являются его выступления на вечере школы для рабочих, на открытии публичной библиотеки, в защиту больницы для детей бедных. Он поддерживает профессиональные организации, ставившие себе целью защиту интересов людей творческих профессий — общество музыкантов, театральный фонд, газетный фонд. Особенно большую борьбу вел Диккенс за установление международного авторского права (см. речь Диккенса на банкете в его честь в Хартфорде (США) 7 февраля 1842 г.). Наконец, трогательную дань признательности

принес он как писатель работникам типографий и корректорам (речи в обществе печатников и в ассоциации корректоров).

Идея создания собственного литературно-общественного журнала не покинула Диккенса и после того, как он разочаровался в газетной работе. Такой еженедельный журнал он начал издавать в 1850 г. под названием «Домашнее чтение» (Household Words). В «Обращении к читателям» Диккенс сформулировал цели и принципы своей журнальной деятельности. Прямых откликов на политическую злобу дня журнал не должен был давать. Его основная функция была познавательная и общественно-воспитательная. Но при этом Диккенс, как всегда, решительно отгородился от утилитарных стремлений: «Ни утилитаристский дух, ни гнет грубых фактов не будут допущены на страницы нашего «Домашнего чтения»,— заявлял Диккенс-издатель. А Диккенс-писатель декларировал такую программу журнала, которую стоит процитировать, ибо она важна не только для понимания направления журнала, но и для всей эстетики творчества Диккенса. Ценность этой декларации состоит в том, что она как нельзя лучше характеризует важнейшие особенности художественного метода Диккенса, чей реализм был свободен от натуралистических тенденций и тяготел к романтике.

«В груди людей молодых и старых, богатых и бедных мы будем бережно лелеять тот огонек фантазии, который обязательно теплится в любой человеческой груди, хотя у одних, если его питают, он разгорается в яркое пламя вдохновения, а у других лишь чуть мерцает, но никогда не угасает совсем — или горе тому дню! Показать всем, что в самых привычных вещах, даже наделенных отталкивающей оболочкой, всегда кроется романтическое нечто, которое только нужно найти; открыть усердным слугам бешено крутящегося колеса труда, что они вовсе не обречены томиться под игом сухих и непреложных фактов, что и им доступны утешение и чары воображения; собрать и высших и низших на этом обширном поприще и пробудить в них взаимное стремление узнать друг друга получше, доброжелательную готовность понять друг друга — вот для чего издается «Домашнее чтение»,— писал Диккенс. К этим его словам мы добавим: вот для чего он писал и свои произведения.

К участию в журнале Диккенс привлек писателей, принимавших эту программу. Среди них наиболее известными были Элизабет Гаскел, Чарльз Левер, Бульвер-Литтон и молодой Уилки

Коллинз, ставший одним из ближайших друзей и сотрудников Диккенса. Журнал завоевал значительное количество читателей в народной среде. С лета 1859 г. «Домашнее чтение» было переименовано в «Круглый год» (All the Year Round). Старые сотрудники были сохранены, программа осталась та же: «слияние даров воображения с подлинными чертами жизни, которое необходимо для процветания всякого общества» (Объявление в «Домашнем чтении» о предполагаемом издании «Круглого года»). В издании «Круглого года» Диккенс участвовал вплоть до смерти.

Стремление сделать литературу средством духовного единения народа проходит через всю деятельность Диккенса — писателя и издателя. Эта позиция ставила его в совершенно особое положение в эпоху резких классовых антагонизмов, характерных для той части XIX в., когда он жил и творил. Идея классового мира, утверждавшаяся Диккенсом, была попыткой писателя-гуманиста найти такое решение социальных противоречий, которое помогло бы избежать ненужных жестокостей и кровопролитий. Писатель обращался к рабочим с призывом не прибегать к крайним средствам борьбы. Так, в частности, он написал одну статью, в которой осуждал забастовку железнодорожников. Статья была напечатана в журнале «Домашнее чтение» 11 января 1851 г. (в настоящее издание не включена). Считая поведение бастующих рабочих безрассудным, Диккенс, однако, ни в коей мере не хотел опорочить рабочий класс или воспользоваться забастовкой для клеветы на трудовой народ, как это делали реакционеры. Диккенс заявляет, что «невзирая на случившееся, английские рабочие всегда были известны как люди, любящие свое отечество и вполне заслуживающие доверия». Он протестует против требований ожесточившихся буржуа, настаивавших на издании законов о репрессиях против рабочих. «Как же можно,— писал Диккенс,— как же можно сейчас, рассуждая спокойно и трезво, относиться к английскому мастеровому, как к существу, работающему из-под палки, или хотя бы подозревать его в том, что он нуждается в таковой? У него благородная душа и доброе сердце. Он принадлежит к великой нации, и по всей земле идет добрая слава о нем. И если следует великодушно прощать ошибки любого человеческого существа, мы должны простить и ему».

Этот эпизод показателен для Диккенса-гуманиста. Его идея классового мира бесспорно была иллюзорной. Но позицию Дик-

кенса нельзя отождествлять с позицией буржуазных либералов и оппортунистов. Писатель был движим искренней любовью к трудовым людям и наивно полагал, что его проповедь примирения враждующих общественных сил в самом деле могла быть осуществлена. Нельзя позицию Диккенса уподоблять взглядам защитников буржуазии еще и потому, что как в своих художественных произведениях, так и в публицистике он выступал с беспощадной критикой правящих классов. Значительная часть его статей посвящена обличению пороков тех, кто держал в своих руках политическую власть в стране. Статьи Диккенса против правящей верхушки Англии принадлежат к замечательным образцам боевой политической публицистики. Их отличает не только смелость, но и блестящая литературная форма.

С каким блеском осмеивает он систему воспитания сынков аристократов и капиталистов в пародийном «Докладе комиссии, обследовавшей положение и условия жизни лиц, занятых различными видами умственного труда в Оксфодском университете». Писатель обнажает классовую природу кастового воспитания тех, кому впоследствии вручается и политическая власть, и духовное руководство народом. Он предлагает переименовать ученые степени, даваемые университетом, и называть дипломированных руководителей нации «баккалаврами идиотизма», «магистрами измышлений» и «докторами церковного пустословия».

Господствующий класс всегда окружает свою власть ореолом святости и непогрешимости. Для этой цели создаются всякого рода торжественные ритуалы, призванные возбудить в народе благоговение перед власть имущими. Демократу Диккенсу глубоко претили комедии всевозможных церемоний, которые были выработаны поколениями правителей. Писатель осмеивает чопорные ритуалы, созданные правящей кликой, стремящейся подобными средствами поставить себя над народом. Статья «Размышления лорд-мэра» обнажает пустоту и лицемерие благообразных церемоний, принятых правящими классами.

В статье «Островизмы» Диккенс не без горечи констатирует, что всякого рода особенности, которые принято считать национальными признаками англичан, противоестественны, не в ладу со здравым смыслом. Больше всего писателя огорчает то, что какая-то часть нации уверовала в подобные «островизмы» и пресмыкается перед знатью, считая низкопоклонство перед властью и богатством национальной чертой.

В статье памфлетного характера «Почему?» Диккенс обрушивается на преклонение перед военщиной («Почему носимся с криками восторга вокруг офицера, который не сбежал с поля боя — точно все остальные наши офицеры сбежали?»), на ничтожество буржуазных политиков («Почему я должен всякую минуту быть готовым проливать слезы восторга и радости оттого, что у кормила власти встали Баффи и Будль?»), на пресловутую английскую судебную систему («Интересно, почему я так радуюсь, когда вижу, как ученые судьи прилагают все усилия к тому, чтобы не дать подсудимому высказать правду?»).

Диккенса глубоко возмущает, когда приписывается патриотическое значение тому, до чего народу нет никакого дела, когда национальное достоинство связывают со всякого рода предрассудками и несправедливыми порядками. Он был противником бесплодной и разорительной для страны Крымской войны, в которой «Британия столь восхитительно осуществляет свое владычество над морями, что каждым мановением своего трезубца умерщвляет тысячи детей своих, которые никогда, никогда, никогда не будут рабами, но очень, очень и очень часто остаются в дураках» («Псам на съедение»).

Постоянным объектом сатиры Диккенса как в романах, так и в публицистике являются бюрократизм, бездушие государственной машины, этого дорого стоящего бремени для народа. Незабываемые страницы о Министерстве Волокиты в романе «Крошка Доррит» были подготовлены своего рода эскизами, встречающимися среди статей Диккенса. Одна из таких статей — «Красная Тесьма». «Красная Тесьма» — принятое в английском языке иносказание для обозначения бюрократизма. Диккенс осуждал правительственную бюрократию не только за тунеядство. Он справедливо видел в ней главную помеху реформам и изменениям, настоятельно необходимым для народа: «Ни из железа, ни из стали, ни из алмаза не сделать такой прочной тормозной цепи, какую создает Красная Тесьма». Эта Красная Тесьма совсем не безобидна. Бездеятельная, когда надо сделать что-либо полезное для народа, она проявляет необыкновенную прыть, как только появляется возможность причинить ему ущерб.

Дополнением к этой статье является другая — «Грошовый патриотизм», написанная в форме рассказа клерка о его карьере и деятельности департамента, в котором он служит. Диккенс

подчеркивает здесь, что все беды бюрократизма исходят не от мелких клерков, а от высокопоставленных чинуш. Статья заключается недвусмысленным выводом: «Нельзя ждать добра ни от каких высокопринципиальных преобразований, вся принципиальность которых обращена лишь на младших клерков. Такие преобразования порождены самым грошовым и самым лицемерным патриотизмом в мире. Наша государственная система поставлена вверх ногами, корнями к небу. Начните с них, а тогда и мелкие веточки скоро сами собой придут в порядок».

Против корней, то есть против тех, кто заправляет этой бюрократической государственной машиной, Диккенс выступал в своих статьях не раз. Среди его антиправительственных памфлетов особенно интересны «Сомнамбулистка мистера Буля» и «Проект Всебританского сборника анекдотов». В первой из этих статей для характеристики правительства (кабинета министров) Диккенс прибег к следующей метафоре: «У мистера Буля (Джон Буль — Англия.— *А. А.*) есть «кабинет», затейливо и тонко изготовленный по нынешним образцам... не следует забывать, что он собран из самых разнообразных по своему происхождению и качеству кусков; должен, однако, признаться, что они плохо пригнаны друг к другу и «кабинет» мистера Буля готов в любую минуту развалиться на части». Сборник анекдотов, предлагаемый Диккенсом, представляет собой сатирическую миниатюру, вернее, несколько миниатюр, осмеивающих всю господствующую систему и правящий класс.

Известно, что Диккенс был противником революционного свержения существовавшей в его время общественной и государственной системы. Но он отнюдь не желал ее сохранения на веки вечные. Несогласный с революционными методами, Диккенс, несомненно, желал больших и серьезных преобразований. При этом он всегда настойчиво подчеркивал, что реформы надо начинать сверху — с изменения правящей системы и перемены правителей, принципа подбора этих последних. Эти взгляды он открыто высказывал в статьях и особенно ярко изложил их в речи, произнесенной в Ассоциации по проведению реформы управления страной (27 июня 1855 г.). Он прибегнул здесь к уподоблению правительства труппе, разыгрывающей спектакль под руководством премьер-министра. Это было ответом Диккенса премьер-министру лорду Пальмерстону, который назвал собрание Ассоциации в помещении театра

Друри-Лейн «любительским спектаклем». «Официальный спектакль, до руководства которым снизошел благородный лорд, так нестерпимо плох, механизм его так громоздок, роли распределены так неудачно, в труппе так много «лиц без речей», у режиссеров такие большие семьи и так сильна склонность выдвигать эти семьи на первые роли — не в силу особенных их способностей, а потому что это *их* семьи,— что мы просто вынуждены были организовать оппозицию. «Комедия ошибок» в их постановке так смахивала на трагедию, что сил не было смотреть. Поэтому мы взяли на себя смелость поставить «Школу реформ»...»

Диккенс отвергает обвинение, будто сторонники реформы хотят натравить один класс на другой, и повторяет здесь свою концепцию классового мира, но вместе с тем он предупреждает: если правящая верхушка не поймет необходимость коренных перемен, она сама накликает беду. «Думается, я не ошибусь, если в заключение скажу, что упрямое стремление во что бы то ни стало хранить старый хлам, давно себя изживший, по самой сути своей в большей или меньшей степени вредоносно и пагубно: что рано или поздно такой хлам может вызвать пожар; что, будучи выброшен на свалку, он оказался бы безвреден, если же упорно за него цепляться, то не миновать бедствия». Эта мысль настойчиво разъяснялась Диккенсом. Она составляла зародыш замысла романа о французской революции — «Повесть о двух городах», где Диккенс на примере Франции предупреждал правящие классы Англии о том, что пренебрежение нуждами народа и бессовестная эксплуатация его могут привести к взрыву, подобному тому, какой произошел в 1789 г. (Отметим между прочим, что в статье «О судейских речах» есть интересные мысли о причинах французской революции, перекликающиеся с тем, что сказано в цитированной речи.)

Мы заключим рассмотрение политических взглядов Диккенса ссылкой на речь, произнесенную им в Бирмингеме 27 сентября 1869 г. В ней у Диккенса-реформиста появляются скептические ноты. Чувствуется, что у него уже не осталось иллюзий о возможности добиться от правящей верхушки серьезных перемен. Свою мысль он выразил цитатой из «Истории цивилизации в Англии» Бокля. Надежды на реформы — не более как химеры. Разумный человек должен знать, «что почти всегда законодатели не помогают обществу, а задерживают его про-

гресс, и что в тех исключительно редких случаях, когда их меры приводят к добру, это объясняется тем обстоятельством, что они, против обыкновения, прислушались к духу времени и оказались всего лишь слугами народа, каковыми им надлежало бы быть всегда, ибо их долг — только оказывать общественную поддержку желаниям народа и облекать их в форму законов». Заявляя о своей полной солидарности с этими словами Бокля, Диккенс в той же речи еще яснее и проще выразил ту же мысль. Его «политическое кредо», сказал он, «состоит из двух статей и не относится ни к каким отдельным лицам или партиям. Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна; моя вера в народ, которым правят, в общем, беспредельна».

Публицистика Диккенса состоит отнюдь не из одних деклараций. Диккенс применил все свое литературное мастерство для выражения взглядов, которые хотел довести до народа. Хотя мы называем его публицистические произведения статьями, по жанру они отнюдь не однородны. Лишь очень небольшое количество из них написаны в прямой декларативной форме. Большинство же статей принадлежат к разновидностям того жанра, который англичане называют «эссеем». Это почти всегда статьи, написанные в юмористической или сатирической манере. Письма мнимых лиц, притчи, сатирические аллегории, новеллы, фантазии — таковы некоторые из форм, использованных Диккенсом в его статьях. Хочется обратить внимание читателей на некоторые не упомянутые здесь статьи Диккенса, интересные не только своим содержанием, но и формой. Это «Мысли ворона из «Счастливого семейства», «Друг львов», «Свиньи Целиком», «Будьте добры, оставьте зонтик!». Частая в публицистике форма притчи сменяется статьями, построенными на повторе начальных слов: «Предположим...», «Мало кому известно», «Почему?» Сатирическая аллегория также является частым приемом в публицистике Диккенса. Кроме называвшихся выше статей такого типа, нельзя не обратить внимания на «эссей» «Шустрые черепахи», представляющий собой маленький сатирический шедевр, направленный против консервативных буржуа.

Публицистические произведения Диккенса, печатаемые в настоящем томе, расширяют и обогащают наше понимание гуманистической природы мировоззрения и творчества Диккенса.

А. АНИКСТ

СТАТЬИ

Все статьи Диккенса, написанные в период с 1838 по 1850 г., были впервые опубликованы в журнале «Экзэминер». Исключение составляют следующие статьи: «Интересы сельского хозяйства» («Морнинг Кроникл»), «Угрожающее письмо Томасу Гуду от некоего почтенного старца» («Гудс Мэгезин энд Комикл Мисселени»), «О смертной казни» («Дейли Ньюс»), «Преступность и образование» («Дейли Ньюс)», «Публичные казни» («Таймс»).

Статьи, написанные в 1850—1858 гг., были напечатаны впервые в журнале Диккенса «Домашнее чтение», а статьи 1859—1869 гг. — в его журнале «Круглый год». Исключение составляют две статьи: «Памяти Теккерея» («Корнхилл Мэгезин») и «Игра мистера Фехтера» («Атлантик Мансли»).

Стр. 7. *Макриди* Уильям Чарльз (1793—1873) — выдающийся английский актер и режиссер. Завоевал репутацию лучшего трагика Англии, выступив в 1819 г. в роли Ричарда III в трагедии Шекспира. Был директором и режиссером Ковентгарденского театра в 1837—1838 гг. и театра Друри-Лейн в 1841—1843 гг. Один из наиболее близких и преданных друзей Диккенса.

Нейхем Тейт (1652—1715) — английский поэт и драматург, известный в свое время переделками пьес Шекспира и других драматургов Елизаветинской эпохи.

Стр. 8. *Беттертон* Томас (1635—1710) — знаменитый английский актер, один из первых исполнителей роли Гамлета.

Стр. 12. *«Джон Буль»* (Джон Бык) — прозвище англичанина, получившее распространение благодаря памфлету «История Джона Буля» (1727) английского сатирика Джона Арбетнота (1667—1735). Здесь — название сатирического журнала реакционного направления, основанного в 1820 г.

Стр. 13. *«Комус»* — пьеса Джона Мильтона (1608—1676), направленная против показного благочестия пуритан.

Английский храм Мельпомены.— Мельпомена — в греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница трагедии. Под «английским храмом Мельпомены» Диккенс имеет в виду лучший драматический театр его времени — Друри-Лейн.

Стр. 15. *...кто сидит ниже соли...*— По старинному английскому обычаю, солонку ставили посредине стола, напротив хозяина, и так называемая «верхняя», почетная половина стола, по правую руку от хозяина, предназначалась для знатных

гостей, а другая половина, «нижняя» — для менее почетных сотрапезников и бедных родственников.

Лесли Чарльз Роберт (1794—1859) — английский художник, член Королевской академии, автор руководства для молодых художников (1855).

Стр. 16. *Кили* Роберт (1763—1869) — английский комический актер. Выступал в роли Сары Гэмп в переделке для сцены романа Диккенса «Мартин Чезлвит».

Стр. 18. *...когда требуется подписать разом тридцать девять пунктов.*— Реформаторами английской церкви в 1553 г. были установлены 42 положения христианской религии, которые должен был принять каждый священник при вступлении в сан. В 1563 г. число их было сведено к 39.

Стр. 22. *Герцог Букингемский* — Ричард Гренвиль, герцог Букингемский и Чандос (1797—1861), участник парламентской реформы 1832 г., автор так называемой «чандосской» статьи закона о реформе. Был прозван «другом фермеров», так как защищал высокие хлебные пошлины.

Кобден Ричард (1804—1865) — манчестерский фабрикант, видный общественный деятель — фритредер (сторонник свободы торговли) и пацифист, член парламента, идейный руководитель «Лиги против хлебных пошлин».

Стр. 23. *Хлебные законы.*— Введенные в 1815 г. высокие пошлины на ввозимое в Англию зерно, рассчитанные на охрану интересов фермеров, способствовали поддержанию высоких цен на хлеб, что наносило большой ущерб городской бедноте. Упорная борьба против хлебных законов лишь в 1846 г. закончилась их отменой.

Стр. 25. *...длиннее обвинительного акта против О'Коннела и других.*— О'Коннел Дэниел (1775—1847) — вождь национально-освободительного движения Ирландии, блестящий оратор, организатор массовых выступлений. Однако своим стремлением ограничить борьбу рамками легальности и соглашательской политикой сам подорвал свою популярность. О'Коннел был одним из авторов чартистской хартии, но отошел от радикального крыла чартистов. В октябре 1843 г. за попытку организации грандиозного митинга в Клонтарфе (Ирландия) был арестован и предан суду.

Стр. 26. *Томас Гуд* (1799—1845) — выдающийся английский поэт, сатирик и карикатурист, автор «Песни о рубашке» и «Моста вздохов».

«Молодая Англия» — группа молодых консерваторов, возглавляемая Дизраэли, объединившаяся в 20-х гг. XIX в. под демагогическими лозунгами «обновления» и отказа от части аристократических привилегий во имя общего блага.

Стр. 28. *...закон, искусно подражая природе, отказывает второму поколению в праве на них.* — Речь идет об авторском праве, действие которого ограничивалось 25 годами со дня опубликования произведения. Диккенс и его друзья добились продления срока действия авторского права до 42 лет (парламентский акт 1839 года).

Мальчик Джонс. — 17-летний сын лондонского портного, психически неполноценный, в 1840—1841 гг. дважды забирался во внутренние покои королевы Виктории в Букингемском дворце, «чтобы посидеть на троне и посмотреть на королеву», как он заявлял. После суда и трехмесячного тюремного заключения Джонс был определен во флот, но вскоре бежал, и след его затерялся. Его похождения были долгое время предметом газетной шумихи.

Стр. 30. *Сент-Джеймс.* — Сент-Джеймский дворец на Пэлл-Мэлл, против улицы Сент-Джеймс, построен Генрихом VIII в XVI в. Королева Виктория пользовалась этим дворцом преимущественно для торжественных церемоний (приема послов и т. п.).

Генерал Том-с-Ноготок. — Прозвище карлика Чарльза Страттона (1837—1883), привезенного Барнумом из Америки в Европу в 1844 г.; он был ростом в 60 см. и весил 16 фунтов. Представленный королеве Виктории, он получил от нее в подарок золотую табакерку, усыпанную бриллиантами.

Стр. 32. *...после насильственной вербовки Мальчиков Джонсов...* — Набор в английскую армию и флот был добровольным, но вербовщики часто злоупотребляли своими полномочиями и насильно или обманным путем заставляли подписывать контракт.

...вы произвели некоторые изменения и улучшения в своем журнале... — Томас Гуд с 1830 г. издавал «Комический альманах» («Гудс Мэгезин энд Комикл Мисселени»).

Стр. 33. *...договоритесь с мистером Барнумом, чья фамилия котируется лишь чуть ниже генеральской.* — В своих статьях и письмах Диккенс неоднократно упоминает о Барнуме. Пинеас Тейлор Барнум (1811—1891) — колоритнейшая фигура американского предпринимателя, который сумел использовать маги-

ческое действие широковещательной рекламы на американского обывателя и нажить миллионы. Начав с мелочной торговли на родине, в штате Коннектикут, Барнум перепробовал десятки способов «делать деньги», устраивал лотереи, издавал газету, что привело его к тюрьме и разоренью, и кончил как крупнейший владелец цирков-зверинцев в Америке и Европе, член законодательного собрания штата Коннектикут и автор трех «трудов»: «Как я стал миллионером», «Искусство делать деньги» и «Моя жизнь». В 1858 г. Барнум выступал с лекциями в Англии. Секрет своего успеха он выразил сам фразой: «Простофили рождаются каждую минуту». Его предсмертные слова: «Какая сегодня выручка?»

Стр. 35. *Курвуазье* Франсуа-Бенжамен — лакей, убивший и ограбивший своего хозяина — лорда Уильяма Рассела. Диккенс присутствовал вместе с художником Маклизом и своим шурином Генри Бернетом на казни Курвуазье 6 июля 1840 г. и видел в толпе Теккерея, описавшего казнь в статье, помещенной в журнале «Корнхилл Мэгезин».

Стр. 38. *...находим в деле Хокера.*— Уильям Генри Хокер казнен в апреле 1846 года за убийство.

Стр. 39. *Тертел* Джон — завсегдатай игорных домов, зверски убил и ограбил своего друга, которому проиграл крупную сумму в карты. Повешен в 1823 г. Диккенс иронизирует, говоря, что Тертел «умер с честью». В действительности его втащили на эшафот в полуобморочном состоянии.

Черная Шапочка.— Шапочка, которую надевает английский судья при вынесении смертного приговора.

Стр. 40. *...благодарит его поклоном, достойным первого джентльмена Европы...*— Первым джентльменом Европы придворные льстецы называли принца-регента, будущего короля Георга IV (годы правления 1820—1830), считавшегося законодателем мод.

...преступление Оксфорда, покушавшегося в парке на жизнь ее величества.— 10 июня 1840 г. Эдвард Оксфорд, 18-летний официант лондонского бара, стрелял в королеву Викторию. Оксфорд был признан по суду умалишенным и заключен в Бедлам.

Стр. 41. *Олд-Бейли* — центральный уголовный суд Лондона и графства Мидлсекс, находился рядом с Ньюгетской тюрьмой, возле которой и производились казни.

Стр. 42. *Мистер Уэкфилд... который... лично познакомился... с Ньюгетом.*— Уэкфилд Эдвард Гиббон (1796—1862) — один из

первых теоретиков колониальной экспансии Англии, автор монографии «Искусство колонизации». Выступал за смягчение уголовного законодательства. В молодости дважды был под судом за похищение несовершеннолетних богатых невест. Вторая авантюра закончилась для него трехлетним тюремным заключением, и его брак был расторгнут парламентским актом.

Фантлерой Генри — банкир, фальшивомонетчик. Казнен в Ньюгете в ноябре 1824 г.

Стр. 45. *Ньюгетские справочники* — многотомное издание с подробными данными о важнейших преступниках, содержавшихся в центральной уголовной тюрьме Лондона с 1770 г.

Хогарт Уильям (1697—1764) — выдающийся английский художник, живописец, график и теоретик искусства. Основатель школы реалистической бытовой сатиры в живописи. Создатель целого ряда циклов гравюр, бичующих пороки английского общества.

Стр. 50. *...в «Первой Беседе», предшествующей описанию Утопии...* — Имеется в виду «Первая книга Беседы» — первая часть фантастического романа (1516) Томаса Мора (1478—1535) «Утопия», в котором описывается патриархальный коммунистический строй на острове Утопия.

Стр. 51. *...такие знатоки законов, как Бэкон, Мор, Блэкстон, Ромильи...* — Бэкон Френсис (1561—1626) — английский философ-материалист, один из основоположников научного мышления в Англии; лорд-канцлер при Иакове I. Блэкстон Сэмюель (1723—1780) — выдающийся английский законовед. Ромильи Сэмюель (1757—1818) — виднейший английский юрист, член парламента, человек передовых взглядов, последователь французских энциклопедистов и приверженец идей французской революции. Успешно боролся за реформу уголовного законодательства и отмену средневековых законов, предусматривавших смертную казнь за многие второстепенные преступления.

Стр. 57. *...американские представители заявляют, что их право на территорию Орегон...* — В 1844 г. демократы в Конгрессе во время избирательной кампании требовали аннексии Орегона — северо-западной территории, которой США владели совместно с Англией. Орегон был присоединен к США по соглашению с Англией в 1846 г., а в 1859 г. стал свободным штатом.

Стр. 58. *Маколей,* Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист и политический деятель. Военный министр с 1839 по 1841 гг. Автор «Истории Англии от восшествия

на престол Иакова II» (1848). Ленин назвал Маколея «фальсификатором истории».

Стр. 60. *«Школы для нищих»* или «школы для оборванцев» — бесплатные школы, созданные за счет благотворительности. Диккенс проявлял большой интерес к этим школам, видя в улучшении условий жизни масс и распространении образования основное средство против роста преступности. (В 30-е гг. XIX в. одна треть взрослых мужчин и две трети женщин в Англии были неграмотны.)

Стр. 70. *Джордж Крукшенк* (1792—1878) — английский карикатурист и иллюстратор. Многие его работы, особенно первого периода, отличаются политической и социальной заостренностью. Обличал пьянство как социальное зло. Был другом Диккенса, иллюстрировал «Очерки Боза» и «Оливера Твиста». В Британском музее хранится около четырех тысяч его карикатур.

Стр. 72. *Чарльз Лэм* (1775—1834) — английский поэт, очеркист и критик.

Стр. 75. *...на страницах этой книги...* — Речь идет о книге английского писателя Роберта Ханта «Поэзия науки».

Стр. 77. *...звезда... навеки связанная со славными именами Леверье и Адамса...* — Английский астроном Джон Адамс (1819—1892) и французский астроном Юрбен-Жан-Жозеф Леверье (1811—1877) открыли планету Нептун.

Стр. 78. *Ариэль* — невидимый дух в «Буре» Шекспира и поэме «Похищение локона» Александра Попа. Образ заимствован из древнееврейской мифологии.

Стр. 81. *Исаак Бикерстаф* — под этим псевдонимом знаменитый английский сатирик Джонатан Свифт (1667—1745) выпустил свой шуточный «Альманах предсказаний на 1708 год». Впоследствии этим псевдонимом пользовался в своем сатирическом журнале «Болтун» английский писатель Ричард Стил (1672—1729), на которого и ссылается Диккенс.

Герцог Орлеанский Филипп Равенство — представитель младшей ветви Бурбонов, после революции 1789 г. заигрывал с якобинцами и называл себя Филипп Равенство. Гильотинирован в 1793 г.

Стр. 82. *Тьер* Адольф (1797—1877) — французский историк, реакционный государственный деятель, прозванный «палачом Парижской коммуны». Приведенная в статье цитата — из книги Тьера «История французской революции» (1823—1827).

Стр. 84. *Фенелон* Франсуа де Салиньяк де ля Мотт (1651—1715) — французский писатель и педагог, предшественник просветителей.

Мирабо Оноре-Габриэль-Рикетти, граф (1749—1791) — деятель французской революции конца XVIII в., публицист.

Стр. 85. *Лич* Джон (1817—1864) — английский карикатурист и иллюстратор. Иллюстрировал «Рождественскую песнь» и другие мелкие произведения Диккенса. Принимал деятельное участие в любительских спектаклях, организуемых Диккенсом.

...в картинной галерее мистера Панча... — «Панч» — юмористический и сатирический еженедельник, издающийся в Лондоне с 1841 г. и поныне.

Роулендсон Томас (1756—1827) — английский портретист и карикатурист, прославившийся своими карикатурами на Наполеона.

Гилрей Джеймс (1757—1815) — английский карикатурист и гравировщик.

Стр. 87. *...гнев домашней Нормы...* — Норма, героиня одноименной оперы итальянского композитора Виченцо Беллини, дочь галльского верховного жреца, после измены своего возлюбленного, римлянина Поллиона, в гневе поднимает соплеменников на войну против римлян.

Вандименова земля — старое название острова Тасмания у юго-восточного побережья Австралии, данное ему голландским путешественником Тасманом в честь генерал-губернатора голландской Ост-Индии Ван Димена. До 1853 г. английское правительство ссылало на Тасманию заключенных.

...ни за что не поселились бы в зловещем пригороде Кемберуэл, памятуя о деле Барнуэла. — Джордж Барнуэл, подмастерье, житель южного предместья Лондона Кемберуэл. Барнуэл убил и ограбил своего дядю и кончил жизнь на эшафоте. Герой первой мещанской драмы Джона Лило «Джордж Барнуэл» (1730), не сходившей с английской сцены более столетия.

Стр. 89. *Сидней Смит* (1771—1845) — английский писатель, очеркист, один из основателей и постоянных сотрудников «Эдинбургского обозрения»; был среди первых критиков, оценивших талант Диккенса.

Стр. 90. *Кандид* — герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

Стр. 93. *Монумент* — колонна, воздвигнутая в 1677 г. в память большого пожара, уничтожившего центральную часть

Лондона (1666 г.). Колонна поставлена там, где было остановлено дальнейшее распространение пожара.

Стр. 98. *Закон о бедных* — закон, принятый английским парламентом в 1834 г.; отменял всякую помощь неимущим на дому, предоставлявшуюся ранее приходом, и предусматривал помещение бедняков в Работные дома, где был установлен жестокий тюремный режим.

Стр. 99. *Гринекр* Джеймс — казнен за убийство Ганны Браун в мае 1837 г.

Остров Норфолк — небольшой островок в море Фиджи, к северу от Новой Зеландии, где во времена Диккенса находилась каторжная тюрьма. В настоящее время — владение Австралии.

Стр. 105. *Один английский поэт... получил кусок хлеба... и, пытаясь съесть его, он умер.* — Речь идет об английском поэте и драматурге Томасе Отвее (1652—1685), авторе нашумевшей трагедии «Спасенная Венеция» и многих переделок испанских и французских пьес. Упоминаемый Диккенсом эпизод приведен в I томе «Биографий английских поэтов» Сэмюела Джонсона. Отвей, пишет Джонсон, неоднократно оставался без средств и вынужден был продавать последнюю одежду, чтобы не умереть с голоду. Однажды он полураздетый выбежал на улицу, прося подаяния, купил себе хлеба, но был настолько истощен, что не смог проглотить его и умер.

Стр. 106. *Я присутствовал при казни...* — 13 ноября 1849 г. возле тюрьмы Хорсмангер-Лейн казнили чету супругов Манниг за убийство постояльца.

Грей Джордж — министр внутренних дел в кабинете лорда Рассела (1846—1851).

Стр. 112. *Брайдуэл* — исправительный дом в Лондоне, где содержались и обучались различным ремеслам 200 юношей и девушек.

Стр. 116. *...и прежде имел отношение к кое-каким созданным им «домашним чтениям»...* — Диккенс имеет в виду свою работу в периодических изданиях, «предназначенных для семейного круга»: «Альманахе Бентли», который он редактировал в 1837—1838 гг., и «Часах мистера Хэмфри», которые он выпускал в 1840—1841 гг. и где поместил свои романы «Барнэби Радж» и «Лавка древностей».

В камнях, зовущих нас, есть благие поучения, как у деревьев есть речь, и журчащие ручьи подобны книгам, и во всем

таится добро! — Диккенс перефразирует слова старого герцога из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (акт II, сц. 1):

«В деревьях — речь, в ручье журчащем — книги,
В камнях — науку, и во всем добро» —

найдет тот, кто удалится от света.

Стр. 118. *Всемирная Выставка Промышленного Прогресса* — открылась в Лондоне 1 мая 1851 г. в Гайд-Парке. Подготовка к ней велась более двух лет.

Стр. 119. *Директор такого театра держит зеркало не перед природой...* — Намек на совет Гамлета актерам «держать зеркало перед природой» (Шекспир, Гамлет, Акт III, сц. 2).

Стр. 124. *Никакие королевские кони и никакие королевские солдаты...* — Перефразировка заключительных строк английской детской прибаутки о Шалтае-Болтае:

Вся королевская конница, вся королевская рать
Не может... Шалтая-Болтая собрать!
(Перев. С. Маршака.)

Стр. 126. *Чорли* Генри Фозергил (1808—1872) — английский журналист и музыкальный критик, друг Диккенса и сотрудник его журналов. Завещал старшей дочери Диккенса Мэри Анджеле (1838—1896) часть своего состояния.

...изуродованное детище покойного Томаса Инголдсби... — Под этим псевдонимом английский писатель — священник Ричард Гаррис Бархем выпускал в 1837—1840 гг. сборники юмористических рассказов, народных преданий, сказок и т. п. в своей обработке, в стихах. Диккенс, очевидно, имеет в виду какую-то подделку «Легенд Инголдсби».

Стр. 133. *Барон Дженнер* — Дженнер Эдвард (1749—1823), английский врач, который в 1796 г. изобрел вакцину против оспы. В 1857 г. ему был поставлен в Лондоне памятник.

Виконт Уатт — Уатт Джеймс (1736—1819), изобрел универсальный паровой двигатель, сыгравший большую роль в переходе к машинному производству.

Граф Стефенсон — Стефенсон Джордж (1781—1848) — английский изобретатель, усовершенствовавший паровоз, что способствовало широкому развитию железных дорог. Родился в семье шахтера, в детстве был пастухом, потом конегоном в шахте, в 14 лет — помощником кочегара.

Маркиз Брунель — Брунель Изамбар (1769—1848), выдающийся английский инженер, строитель подводного туннеля под Темзой.

Стр. 134. *...неужели нам понадобилось бы столько добровольцев-констеблей в любое будущее десятое апреля...* — 10 апреля 1848 г. чартисты собрались в Кеннингтонском парке, чтобы мирно доставить свою петицию в парламент. Однако правительство герцога Веллингтона, напуганное массовостью демонстрации, мобилизовало и вооружило около 200 000 добровольцев-полицейских из буржуазной среды и с их помощью заняло все стратегически важные пункты столицы.

Светлый отрок ли в кудрях, трубочист ли — завтра прах. — Шекспир, «Цимбелин», акт. IV, сц. 2. *(Перев. Курошевой.)*

Стр. 137. *...не измерить никакой бюрократической красной тесьмой.* — См. примеч. к стр. 200.

Сидней Герберт, лорд Ли (1810—1861) — военный министр во время Крымской войны. Был привлечен к ответственности за военные неудачи, но оправдан. Один из организаторов английской интервенции в Китае в 1859—1861 гг.

Стр. 138. *Образцовая лондонская тюрьма Пентонвиль* — была построена в 1842 г. в пригороде Лондона Пентонвиль и содержала по американскому образцу лишь одиночные камеры; существует и поныне.

Стр. 139. *...рисковал бы прослыть охульником св. Стефана...* — По церковной легенде, св. Стефан — один из семидесяти апостолов, первомученик христианской церкви, был обвинен фанатиками в богохульстве и казнен. Как гласит предание, Стефаном была впервые выдвинута идея вселенского распространения христианства.

Стр. 140. *Система капитана Макконохи* — исправительно-трудовая система в тюрьмах, при которой за хорошую работу и примерное поведение заключенному засчитывается определенное количество очков, дающих право на освобождение.

Уотли Ричард (1787—1863) — архиепископ Дублинский, профессор политической экономии в Оксфордском университете.

Стр. 143. *...предоставлены нежным заботам очередного Друэ...* — Диккенс иронизирует, вспоминая о Друэ — содержателе фермы для детей бедняков, где погибло от холеры 150 детей (см. статьи «Рай в Тутинге», «Ферма в Тутинге» и «Приговор по делу Друэ»).

Стр. 150. *Мартино* Гарриет (1802—1876) — английская писательница, публицистка и общественная деятельница, автор рассказов из жизни рабочих, повести о восстании луддитов (разрушителей машин). Впоследствии стала проповедовать классовый мир и выступила против чартистского движения. С 1850 по 1856 г. сотрудничала в журнале Диккенса «Домашнее чтение». В 1856 г. написала брошюру, изданную Союзом британских предпринимателей, в которой резко нападала на Диккенса, назвав его клеветником и фарисеем за то, что он обвинял предпринимателей в эксплуатации женского и детского труда и в нежелании расходовать средства на борьбу с несчастными случаями на производстве.

Стр. 153. *«Добродушный человек»* — пьеса английского писателя и поэта Оливера Гольдсмита (1728—1774).

Стр. 157. *Мысли ворона из «Счастливого семейства».* — «Счастливым семейством» назвал свою коллекцию обычно не уживающихся друг с другом животных (кошек, мышей, птиц и т. п.) некий Джон Остин, демонстрировавший ее в середине XIX столетия в Лондоне и других городах Англии. Впоследствии коллекция была куплена американским антрепренером Барнумом.

Бюффон Жорж-Луи (1707—1788) — французский ученый-естествовед, автор многотомной «Естественной истории».

Стр. 158. *Цирк Астли* — лондонский цирк, в котором во времена Диккенса ставились также пантомимы и мелодрамы с участием дрессированных животных.

Стр. 162. *...лучше двадцать павлинов, чем один Горэм и Тайный совет.* — В 1850 г. епископ Эксетерский отказался утвердить приходским священником в своей епархии некоего Дж. Горэма, позволившего себе неортодоксально толковать таинство крещения. Священник обжаловал отказ епископа в Тайный совет, который решил дело в пользу Горэма. Однако церковники подняли страшный шум, оспаривая компетенцию Тайного совета в делах клира.

...к мистеру Роуланду Хиллу, он воздаст мне должное — и куда больше, чем вы воздавали ему за последнее время. — Роуланд Хилл (1795—1879) — английский политический и общественный деятель, в течение ряда лет добивавшийся проведения почтовой реформы, введения единого однопенсового тарифа на почтовые отправления независимо от расстояния. Эта реформа, в поддержку которой в парламент было подано около двух тысяч петиций, была проведена в 1839 г. В 1842 г. после

падения либерального правительства Роуланд Хилл был уволен из почтового ведомства (подробно см. статью: «Любопытная опечатка в «Эдинбургском обозрении»).

Стр. 165. *Миссис Грэнди* — не появляющийся на сцене персонаж комедии Томаса Мортона «Бог в помощь» (1798). «Что скажет миссис Грэнди?» — с ужасом повторяет жена фермера, миссис Эшфильд. (Ср. «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» — у Грибоедова).

Стр. 168. *...найдется ли такая диковина, которая не покажется вам «львом»...* — игра слов, основанная на двух значениях английского слова lion — лев и знаменитость.

Стр. 174. *...в качестве «младоанглийской галлюцинации...»* — см. прим. к стр. 26.

Стр. 175. *Братство прерафаэлитов* — группа английских художников, образовавшаяся в 1848 г. и стремившаяся к обновлению изобразительного искусства, приближению его к жизни и моральному возрождению. Это течение возникло как протест против засилия академической условности и слепого подражания академическим образцам и выдвигало в качестве идеала творчество итальянских художников раннего Возрождения (до Рафаэля).

Стр. 175—176. *На выставке Королевской академии... где побывали работы Уилки, Этти, Коллинза, Истлейка, Малреди, Лесли, Маклиза, Тернера, Стенфилда, Лэндсира... и других.* — Диккенс перечисляет современных ему художников — членов Королевской академии, большинство которых, особенно его друзья — Маклиз, Стенфилд и Лэндсир,— приняли враждебно первые работы прерафаэлитов.

Стр. 176. *«Святое семейство»* — картина английского художника Джона Эверетта Милле (или Миллес) (1829—1896), известная также под названием «Христос в доме своих родителей» или «В плотницкой мастерской» (1850). В 17 лет Милле выставил свои картины в Королевской академии и получил золотую медаль. Вместе с Холманом Хантом и Данте Габриэлем Россети был основателем течения прерафаэлитов; завоевал популярность лишь тогда, когда, уступая вкусам публики, начал писать в сентиментальном духе.

...прямехонько из Сент-Джайлса. — Приход церкви Сент-Джайлса, где ютилась беднота, считался во времена Диккенса одним из худших трущобных районов Лондона.

Стр. 178. *Блюхеровские башмаки* — высокие мужские ботинки со шнуровкой.

Стр. 179. *Гоуэр* Джон (1325? — 1408) — крупнейший английский поэт раннего Возрождения, автор поэмы «Исповедь влюбленного», содержащей 30 000 строк и написанной простым и легким языком. Две другие его поэмы написаны по-латыни и по-французски.

Чосер Джефри (1340—1400) — величайший английский поэт, родоначальник английской поэзии. Автор «Кентерберийских рассказов» и других поэм, предвосхитивших многие черты литературы английского Возрождения.

...сомнительной личности, именуемой Шекспиром.— В 1848 г. в Англии вновь была выдвинута «теория» о том, что все произведения Шекспира написаны будто бы Френсисом Беконом, графом Веруламским.

Стр. 180. *Братство преазенкурейцев ...братство прегенрихседьмистов.*— При Азенкуре (1415) во время Столетней войны с Францией произошло сражение, которое принесло победу англичанам и считается триумфом английского оружия и новой тактики английской пехоты. Генрих VII — первый король династии Тюдоров (1485—1509). Его приход к власти по окончании войн Алой и Белой Роз (Ланкастерского и Йоркского домов) знаменует конец эры феодализма в Англии. Диккенс высмеивает самый принцип возврата прерафаэлитов к глубокой старине на примере выдуманных им «братств» (см. также на стр. 179— братство прегоуэритов и пречосеритов).

Стр. 182. *Воскресные тиски.*— Еще в 1836 г. Диккенс выступил с политическим памфлетом: «Воскресенье в трех аспектах: как оно есть, каким его хочет сделать законопроект и каким оно может стать». В этом памфлете, как и в ряде других своих выступлений, статей и писем, Диккенс протестует против антидемократической направленности английского законодательства, лишающего простой народ воскресного отдыха и разумных развлечений. Воспринятое англиканской церковью из библии еще в середине XVIII в. запрещение всяких зрелищ и развлечений по воскресеньям было основано на Моисеевой заповеди о «соблюдении дня субботнего». Борьба против этого пережитка, свирепо охраняемого церковниками и ханжами, продолжается в Англии и поныне.

Стр. 183. *Эшли* Энтони Купер, впоследствии граф Шефтсбери (1801—1885) — политический деятель радикального направления, стремился к дальнейшему углублению парламентской реформы, но был вынужден взять свой проект обратно во

время Крымской войны. Диккенс разделял убеждение Эпли в необходимости реформ для того, чтобы отвлечь массы от участия в чартистском движении.

Стр. 187. *...член парламента от округа Гробов повапленных...* — Гроб повапленный — библейский символ, обозначающий прогнившего насквозь лицемера. «Горе вам, лицемеры, начетчики и фарисеи, ибо вы подобны гробам повапленным» (евангелие от Матфея, 23, 27).

Стр. 191. *Самый известный пример из истории английского народа имел место ровно двести лет тому назад.* — Имеется в виду казнь короля Карла I в 1649 г.

Стр. 195. *Индиа-Хаус* — здание, где помещались учреждения, связанные с управлением Индией.

Стр. 196. *«Правь, Британия, правь, Британия, владычица морей!»* — английская песня, ставшая вторым, неофициальным народным гимном Великобритании. Ее автор — поэт Джеймс Томсон (1700—1748).

Стр. 200. *Красная Тесьма.* — В Англии красной тесьмой прошивают официальные документы в архивах правительственных учреждений. Отсюда «red tape» («красная тесьма») — символ волокиты, бюрократизма (ср. русскую «канитель»), а краснотесемщик («red tapist») — волокитчик, бюрократ.

Стр. 202. *Налог на окна* — взимался с владельцев домов за каждое окно сверх восьми. Отменен в 1851 г.

Стр. 205. *Смит* Томас Саутвуд (1788—1861) — английский врач и общественный деятель, активно боролся за оздоровление условий труда. Добился принятия закона о запрещении детского труда в шахтах.

Стр. 210. *Свиньи Целиком* — часть английского идиоматического выражения «to go the whole hog», означающего: «Пойти на все, решиться на крайние меры». Диккенс обыгрывает это выражение на протяжении всей статьи, направленной против ненавистной ему нетерпимости в любой области общественной жизни.

Стр. 213. *Джо Миллер* — Миллер Джозеф (1684—1738), английский актер. Изданный после его смерти сборник шуток и анекдотов, приписываемых ему, содержал много пошлостей и безвкусицы. Выражение «джо миллер» стало означать избитую шутку, плоскую остроту.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, историк и философ. Первые его политические памфлеты: «О чар-

тизме» (1839) и «Прошлое и настоящее» (1841) получили высокую оценку Энгельса. Однако в его основной работе по философии истории «Герои, почитание героев и героическое в истории» ярко проявилась идеалистическая концепция Карлейля, считавшего, что историю человечества двигают вперед выдающиеся личности. «Французская революция» Карлейля (1848) оказала несомненное влияние на «Повесть о двух городах» Диккенса. До разрыва Диккенса с женой (1857) писатели и их семьи были в дружеских отношениях.

Стр. 214. *...к бравому солдату, носившему то же имя и говорившего с королем Генрихом Пятым в ночь перед битвой при Азенкуре.*— Речь идет о солдате Джоне Бейтсе из трагедии Шекспира «Жизнь короля Генриха V» (акт IV, сц. 1).

Стр. 220. *Фортунат* — герой германского фольклора, обладатель волшебного кошелька, подаренного ему богиней судьбы.

Стр. 221. *Резвится, радуясь, что выигрыш велик, // И лижет руку, что его обчистит вмиг.*— Диккенс шутливо переиначил фразу из философской поэмы «Опыт о человеке» Александра Попа (1732—1734), изменив вторую половину каждой строки. У Попа речь идет о ягненке, резвящемся на свободе и не предчувствующем свою близкую гибель:

Резвится, радуясь неведеньем своим,
И лижет руку, нож занесшую над ним.
(Перев. И. Гуровой.)

Стр. 229. *...сидел на мешке с шерстью...*— Речь идет о подушке, набитой шерстью, на которой сидит в английском парламенте председатель палаты лордов (лорд-канцлер).

Стр. 230. *...до этой степени, не больше* — ответ Отелло венецианскому сенату на обвинение в похищении Дездемоны (Шекспир, Отелло, акт I, сц. 2).

Стр. 231. *Фарадей* Майкл (1791—1867) — великий английский физик. Диккенс обращался к нему с просьбой разрешить напечатать статью о его популярных лекциях для детей в своем журнале «Домашнее чтение» (см. письма Диккенса Фарадею, май 1850 года, Собр. соч., т. 29).

Стр. 234. *Призыв к падшим женщинам.*— Цель обращения Диккенса — завербовать клиенток для женского приюта, открытого филантропкой, баронессой Бэрдет-Кутс, в благотворительных начинаниях которой Диккенс принимал самое деятельное участие.

Стр. 238. *Шутки коронных и совестных судов.*— Статья написана еще в то время, когда в Англии существовала пестрая и сложная система, в соответствии с которой одни гражданские дела рассматривались судами на основе обычного права, а другие — на основе так называемой «эквити» («справедливости»), то есть по совести судьи. Система судопроизводства «эквити» была отменена в 1873 г.

Я принадлежу... к числу адвокатов с семилетним стажем.— Адвокаты, имеющие не меньше чем семилетний стаж, пользовались тем преимуществом, что из их числа лорд-канцлер назначал судей в суды графств — суды первой инстанции, учрежденные законом от 1846 г.

Джон Доу и Ричард Роу.— Вымышленные имена, употреблявшиеся до середины XIX в. в английском гражданском судопроизводстве для обозначения истца и ответчика.

Стр. 239. *Коль скоро эта статья публикуется без указания моего имени...*— Все материалы, печатавшиеся в журналах Диккенса «Домашнее чтение» и «Круглый год», помещались без подписи.

Стр. 244. *Большое жюри* — совет присяжных заседателей, решающий вопрос о наличии состава преступления и предании обвиняемого суду.

Стр. 245. *Четвертные сессии* (или квартальные сессии) — съезды мировых судей, собиравшиеся четыре раза в год для разбора мелких преступлений.

Стр. 254. *Непир* Чарльз (1786—1860) — английский адмирал, член парламента с 1842 по 1846 г. и с 1855 по 1860 г. Будучи командующим Балтийской эскадрой во время Крымской войны, осенью 1854 г. отказался выполнить приказ адмиралтейства и произвести нападение на Кронштадт, так как в его распоряжении был всего 31 военный корабль. Непир был отстранен от командования и на его место назначен адмирал Дондас, который, с эскадрой из 109 кораблей, тоже не смог взять Кронштадт и Свеаборг.

Стр. 255. *Африканская станция* — место стоянки английских военных кораблей в Африке.

Стр. 257. *...мистер Котел выдвинул обвинение против мистера Горшка...*— Английская поговорка «Горшок обвиняет котел в том, что тот черен» примерно соответствует русской: «Чья бы корова мычала...»

Стр. 263. *Сейчас, когда еще свежа память об ужасном*

море...— Речь идет об эпидемии холеры в Лондоне, свирепствовавшей в августе — сентябре 1854 г.

Стр. 264. *...злополучный и некогда популярный горе-вождь, ныне доживающий свой век в сумасшедшем доме...*— Диккенс имеет в виду Фергюса О'Коннора (1794—1855), главу революционного крыла чартистов, представителя так называемого течения «физической силы», редактора центрального органа чартизма «Норзерн Стар» («Северная звезда»). Страдая наследственной душевной болезнью, О'Коннор в 1852 г. дважды нанес оскорбление действием своим политическим противникам в парламенте, за что был подвергнут аресту, а позже заключен в психиатрическую больницу, где и умер 30 августа 1855 г.

Стр. 268. *...он упорно произносил звук «х», когда в нем не было ни малейшей надобности, и упорно опускал его, когда без него нельзя было обойтись.*— Опущение и, наоборот, включение придыхательного звука — типичная особенность лондонского просторечия, так называемого «кокни».

Стр. 270. *...особенно Запад,— сказал лорд-мэр, который был светским человеком...*— Западная часть Лондона считается наиболее аристократической и фешенебельной.

Стр. 273. *Гай Фокс* — один из участников так называемого «порохового заговора» 1605 г. Стремясь восстановить католицизм в Англии, заговорщики подготовляли взрыв парламента во время его открытия 5 ноября. Гай Фокс должен был взорвать бочки с порохом в подвале палаты лордов, однако 4 ноября заговор был раскрыт и главари, вместе с Гаем Фоксом, погибли на плахе. В Англии до сих пор отмечают день 5 ноября, сжигая чучела Гая Фокса.

Стр. 274. *Эбби Дин* — герцог Эбердин, премьер-министр, консерватор.

Стр. 275. *Верхняя лакейская* — то есть верхняя палата, палата лордов.

Стр. 277. *У мистера Буля есть «кабинет»* — непереводимая игра слов: по-английски «cabinet» означает и кабинет (министров), и бюро, секретер.

...шутливо именует «Джонни».— Речь идет о лорде Джоне Расселе (1792—1878) — английском политическом деятеле, литераторе. Глава кабинета министров с 1846 по 1852 г. Один из виднейших руководителей партии вигов, сторонник либеральных реформ.

Стр. 278. *Некто Ник, смертельный враг мистера Буля, отли-*

чающийся к тому же столь несомненным фамильным сходством со своим тезкою... — Ник — Николай I. «Старый Ник» («Old Nick») — одно из прозвищ черта у англичан.

...захватил индюшку, которая содержалась неподалеку от дома мистера Буля, в одной усадьбе под знаком «Полумесяца». — Слова «индюшка» (turkey) и «Турция» (Turkey) звучат по-английски одинаково. Считая, что Турция находится «неподалеку от дома мистера Буля», то есть Англии, Диккенс солидаризуется с официальной точкой зрения на причину Крымской войны — присоединение к России Молдавии и Валахии и угроза в связи с этим английским коммуникациям с Индией.

Стр. 281. *...если только не развалится к этому времени на кусочки.* — Предсказание Диккенса сбылось: в январе 1855 г. министерство лорда Эбердина пало.

Стр. 282. *В нашем девятом томе нам по ходу дела пришлось наводить справки...* — Имеется в виду 9-й том журнала «Домашнее чтение», статья «Где они?» английского журналиста Джорджа Сейла, постоянного сотрудника диккенсовских журналов «Домашнее чтение» и «Круглый год». В 1856 г. Сейла — корреспондент «Домашнего чтения в России». Оставил любопытные мемуары.

...дружески расположенная к нам газета «Экзэминер». — «Экзэминер» — еженедельник либерального направления, выходивший по воскресеньям, с 1847 г. редактировался другом Диккенса Форстером.

Стр. 285. *Акт об охране общественного здоровья.* — Диккенс, по-видимому, имеет в виду парламентский закон 1847 г. о здравоохранении, содержавший статьи об улучшении городского хозяйства, о банях и прачечных, а также закон 1851 г. об улучшении строительства и содержания домов.

Уайтчепл — северо-восточный район Лондона, населенный беднотой и наиболее неблагополучный по количеству трущоб.

Стр. 286. *...корреспонденция «Таймса» пролила свет на монбланы злоупотреблений.* — Преступная халатность и прямые злоупотребления в снабжении и обеспечении английских войск в Крыму и в Малой Азии приняли такие размеры, что даже консервативная газета «Таймс» вынуждена была выступить с сенсационными разоблачениями.

Стр. 287. *...цепляться за цветок предостережения, который мы нашли и сорвали среди крапивы войны?* — Несколько изме-

ненное выражение из письма Фальстафа (Шекспир, Король Генрих IV, часть I, акт II, сц. 3).

Стр. 289. *Разве «ловкий» содержатель цирка, который сделал ...такую няню Вашингтона, такого карлика, такого поющего ангела на земле; который сделал себе такое состояние и, сверх всего, такую книжку...* — Речь идет о П. Т. Барнуме, демонстрировавшем старую негритянку, которую он выдавал за няню Вашингтона, 106 лет от роду. Когда она вскоре умерла, вскрытие показало, что ей было не более 70 лет. «Поющий ангел на земле» — знаменитая шведская оперная актриса Женни Линд. Состояние, оставленное Барнумом, оценивалось в 17 млн. долларов. Диккенс мог знать только о первой книге Барнума «Как я стал миллионером».

...нью-йоркский шляпник побил мировой рекорд на аукционе, где продавались места на концерты Женни Линд. — Во время организованного им турне знаменитой певицы Барнум продавал билеты с аукциона. Максимальная цена — 650 долларов — была уплачена шляпным торговцем на концерте в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

...старого гранитного штата... — речь идет о штате Нью-Гэмпшир.

Стр. 291. *Псам на съедение.* — Английское идиоматическое выражение «go to the dogs» — «отправиться к собакам» означает: пойти прахом, вылететь в трубу, погибнуть. На обыгрывании этого образа построена вся статья, в которой Диккенс рисует процесс разорения и деградации представителей мелкого дворянства Англии, у которых не хватает деловой сметки и энергии.

Стр. 293. *Сандхерст* — военное училище, основанное в 1802 г. (графство Беркшир).

Стр. 295. *Актеон* — охотник, подстерегший купавшуюся богиню охоты Диану, был в наказание превращен ею в оленя и растерзан своими же собаками *(антич. миф.)*.

Стр. 300. *...у безвестного места, именуемого Балаклавой...* — Во время Крымской войны, 25 октября 1854 г., по приказу бездарного самодура, английского главнокомандующего лорда Раглана, бригада легкой кавалерии была брошена на укрепленные позиции русских под Балаклавой, чтобы отбить пушки, захваченные ими накануне у турок. Атакующие были почти полностью уничтожены перекрестным огнем русских батарей. Среди погибших был цвет английской аристократической

молодежи. Хотя этот эпизод и прославлен поэтом Теннисовом в его балладе «Атака легкой кавалерии», дата балаклавского сражения считается черным днем в военной истории Англии.

Стр. 303. *Братья Беринг* — банкирский и торговый дом, ведший оптовую торговлю с Востоком. В 1855 г. Диккенс определил в фирму Беринг своего старшего 18-летнего сына Чарльза.

Стр. 309. *...один из родственников был по ошибке убит в лазарете в Скутари.* — В 1854—1855 гг. в предместье Стамбула Скутари находился лазарет английского экспедиционного корпуса, высадившегося в Галлиполи.

Стр. 310. *Рэбак* Джон Артур (1801—1879) — английский политический деятель, в течение 30 лет член парламента от Шеффильда. Во время Крымской войны внес в парламент запрос о злоупотреблениях и халатности военной администрации, что привело к падению министерства Эбердина. Был председателем комиссии по расследованию злоупотреблений при снабжении армии и флота.

Стр. 319. *Сэр Джаспер Джанус.* — Имя двуликого бога Януса *(антич. миф.)* по-английски звучит Джанус.

Стр. 328. *...вы исполняете должность священника в обширном приходе, именуемом «Верблюд и Игольное ушко».* — По-видимому, речь идет о священнике из богатого прихода, поскольку в евангелии сказано: «Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное».

Стр. 330. *Джон Бэньян* (1628—1688) — английский писатель, представитель демократических слоев пуританства, автор аллегорического романа «Путь паломника» (1678—1684).

Стр. 333. *...на оптовом складе, помещающемся на Даунинг-стрит.* — Даунинг-стрит, 10 — резиденция английского премьер-министра.

Стр. 335. *Головотяпство... известен недавний случай, когда оно явилось причиной гибели многих тысяч людей.* — Диккенс намекает на огромные потери английской армии в Крыму и на Малоазиатском побережье из-за нераспорядительности военных властей.

Стр. 341. *Белгравия* — аристократический квартал в Лондоне.

Сэвен Дайелс — район трущоб Лондона.

Стр. 344. *Бробдиньякские ослы.* — Бробдиньяк — страна великанов в «Путешествиях Гулливера» Свифта.

Стр. 345. *Шеллоу* — судья, персонаж комедии Шекспира

«Виндзорские кумушки» и трагедии «Король Генрих IV» (часть II).

Стр. 346. *...билет, обеспечивающий место по ту сторону Севастополя* — то есть место на дне Черного моря, поскольку союзники осаждали Севастополь с суши.

Стр. 353. *Лох Ломонд и Лох Кэтрин* — крупнейшие озера в Шотландии.

Стр. 353—354. *Новый закон о сокращении рабочего дня.* — Диккенс, вероятно, имеет в виду закон о 10-часовом рабочем дне, принятый английским парламентом в 1847 г., но из-за саботажа предпринимателей фактически не проведенный в жизнь до 1874 г.

Стр. 354. *...о принце Консорте...* — Речь идет о принце Альберте, супруге королевы Виктории.

Пальмерстон Генри Джон, виконт (1784—1865) — английский политический деятель, руководитель английской внешней политики в кабинетах Грея (1830—1834), Мельбурна (1835—1841) и Джона Рассела (1846—1851). Поддерживал европейских монархов в их борьбе против революционного движения, стремился к упрочению гегемонии Англии в Европе. Противился всяким попыткам демократизации государственного строя.

Стр. 356. *...ожидали встретить... по меньшей мере Орсона!* — Орсон — персонаж старинного французского романа о братьях-близнецах «Валентин и Орсон». Потерянный в лесу и вскормленный медведицей, Орсон совершенно одичал. Через много лет Валентин, воспитанный при королевском дворе, находит брата и возвращает его к культурной жизни.

Стр. 356. *Король Брентфордский* — персонаж из фарса «Два Брентфордских короля» английского политического деятеля и писателя герцога Джорджа Букингема (1628—1687).

Главный Портной с Тули-стрит. — В середине прошлого века в Англии был распространен анекдот о трех портных с Тули-стрит, которые направили за своими тремя подписями в парламент петицию, начинавшуюся словами: «Мы, английский народ...» Возможно, что анекдот о петиции жителей Тули-стрит возник в связи с грандиозным пожаром, в результате которого очень многие из ее обитателей остались без крова.

Стр. 371. *...собрание из шестисот государственных мужей...* — то есть палата общин английского парламента.

...вред, который причинил мистер Каннинг... — Каннинг Джордж (1770—1827) — руководитель внешней политики Англии, консерватор. Диккенс относился к нему отрицательно, очевидно,

понимая, в отличие от многих своих друзей, поклонников Каннинга, коварную сущность проводимой им «политики равновесия».

Стр. 378. *Паницци* Антонио (1797—1879) — итальянский эмигрант, с 1856 г. главный хранитель Британского музея.

Стр. 382. *«Падение Карской крепости».*— Турецкая крепость Карс была взята русскими войсками в конце Крымской войны — 6 ноября 1855 г., но по Парижскому договору осталась за Турцией.

Стр. 394. *...словно Гольбейн... решил изобразить здесь свою мрачную «Пляску Смерти».*— «Пляска Смерти» — серия рисунков для гравюр на дереве (издана в Лионе в 1538 г.) выдающегося художника немецкого Возрождения Ганса Гольбейна-младшего (1497—1543), изображавшая смерть представителей разных сословий и профессий.

Стр. 397. *Недавний процесс над величайшим злодеем...*— Имеется в виду процесс врача Уильяма Палмера, который отравил своего друга Дж. П. Кука и, вероятно, отравил свою жену, застрахованную в его пользу на 13 000 фунтов стерлингов. Повешен 21 ноября 1855 г.

Стр. 402. *Эдмунд Кин* (1788—1833) — знаменитый английский трагик, прославившийся исполнением ролей Гамлета, Шейлока, Ричарда III.

Стр. 407. *Редан.*— Реданом (полевым укреплением) Диккенс называет Малахов Курган — сильнейшее из укреплений Севастопольской обороны, продержавшееся во время Крымской войны 11 месяцев благодаря героизму русских войск.

Стр. 408. *...подобно Геслеру, вешает свою шляпу...*— Согласно швейцарской народной легенде о Вильгельме Телле, австрийский наместник Геслер заставлял швейцарцев кланяться его шляпе, надетой на шест.

Стр. 410. *...на ступенях «Атенеума»...*— Клуб «Атенеум», основанный в 1824 году по инициативе Вальтера Скотта, был доступен лишь для избранной верхушки людей науки, искусства, государственных и общественных деятелей. Диккенс был принят в члены клуба 26 лет — в 1838 г. вместе с Чарльзом Дарвином и историком Гротом. Теккерей удостоился этой чести лишь в сорокалетнем возрасте, в 1851 г.

...разыгрывает роль Мидаса по отношению к чужим тростникам.— По античному мифу, фригийский царь Мидас на музыкальном соревновании Аполлона с Паном отдал пальму первен-

ства последнему, за что разгневанный бог искусств наделил Мидаса ослиными ушами. Царь прятал от всех свои уши под фригийским колпаком, но не мог скрыть их от своего раба-цирюльника, которого заставил поклясться хранить тайну. Цирюльник так тяготился молчанием, что, боясь проболтаться, вырыл яму, прошептал над ней слова: «У царя Мидаса ослиные уши»,— и зарыл ее. Через некоторое время над ямой вырос тростник, который, колеблясь на ветру, шептал: «У царя Мидаса ослиные уши». Диккенс хочет сказать, что его критики так же невежественны, как царь Мидас.

Стр. 412. *...мистеру Риду разрешается водить знакомство с рыбачками.*— Рид Чарльз (1814—1884) — английский писатель и драматург, получивший известность своим романом о перевоспитании отбывших наказание преступников («Исправиться никогда не поздно». 1856 г.). Диккенс намекает на другой его роман «Кристи Джонстон» (1853) из жизни шотландских рыбаков.

Стр. 413. *Джеффри* Френсис (1773—1850) — шотландский судья, литературный критик. Основал в 1802 г. литературно-критический журнал «Эдинбургское обозрение», редактором которого был долгие годы.

Стр. 415. *Сен-Мартин-Легран.*— С 1829 г. на улице Сен-Мартин-Легран в Лондоне помещался главный почтамт.

Стр. 417. *...правительство вигов потерпело поражение в вопросе о Ямайке...*— В 1865 г. в английской колонии Ямайка — на одном из Больших Антильских островов к югу от Кубы — как ответ на введение новых налогов вспыхнуло восстание негров под руководством проповедника негра Гордона. Восстание было подавлено английскими войсками с зверской жестокостью, Гордон и свыше четырехсот его сторонников были повешены.

Сэру Роберту Пилю было предложено сформировать кабинет...— Во время второго своего пребывания на посту премьер-министра (1841—1846) Роберт Пиль (1788—1865) провел ряд реформ в либеральном духе и отмену хлебных законов (1846).

...из-за сложности, возникшей в связи с фрейлинами ее величества...— Когда парламентские выборы 1841 г. дали большинство консерваторам, королева Виктория, не желая расставаться со своими фрейлинами — ставленницами вигов, тормозила формирование правительства, пока ее супруг, принц Альберт, не договорился с будущим премьером, Робертом Пилем, о том, что фрейлины, прислуживающие королеве в ее опочивальне, не будут заменены новыми.

Стр. 421. *Хэмптон-Корт* — королевский дворец, построенный в начале XVI в. и впоследствии превращенный в музей.

Стр. 422. *...подражая герою «Сентиментального путешествия»...* — В романе Лоренса Стерна (1713—1768) «Сентиментальное путешествие» автор вывел самого себя в образе Йорика — как бы потомка шекспировского придворного шута («Гамлет», акт IV, сц. I), носящего то же имя.

Стр. 424. *...нескладный зонт миссис Гэмп.* — Старый зонт — непременный атрибут повитухи и сиделки Сары Гэмп из романа Диккенса «Мартин Чезлвит». В настоящее время слово «гэмп», вошедшее в английский язык как имя нарицательное, обозначает старый зонтик и олицетворяет клерка лондонского Сити.

Стр. 435. *...Моисей, взирающий на землю обетованную, оказывается Моисеем, идущим на ярмарку...* — Намек на роман Оливера Гольдсмита «Векфильдский священник» (1776). Незадачливый сын сельского священника Примроза, Моиз (так звучит по-английски библейское имя Моисей), отправившись по поручению отца на ярмарку, чтобы продать жеребца, выменял его на партию очков.

Стр. 440. *...великого английского писателя, основавшего этот журнал...* — речь идет о литературно-критическом журнале «Корнхилл Мэгезин», который был основан Теккереем.

Стр. 441. *Дуглас Джерролд* (1803—1857) — английский литератор и драматург; активно сотрудничал в журнале «Панч» и ряде других журналов. Друг Диккенса; принимал деятельное участие в его любительских спектаклях.

Стр. 442. *...его последнего, недописанного романа...* — Имеется в виду роман Теккерея «Дени Дюваль» (1863).

Стр. 445. *Фехтер* Чарльз Альберт (1824—1879) — английский актер, долго живший во Франции и дебютировавший в Лондоне в 1860 г. в роли «Гамлета». Близкий друг Диккенса.

Стр. 446. *«Рюи Блаз»* — романтическая драма Виктора Гюго (1833).

«Хозяин Равенсвуда» — сценическая переделка романа Вальтера Скотта «Ламермурская невеста».

«Лионская красавица» — пьеса английского писателя Эдварда Бульвер-Литтона (1803—1873).

Стр. 449. *Кембл* Джон Филипп (1757—1823) — английский трагик, прославившийся исполнением ролей Гамлета и Кориолана в шекспировских трагедиях.

...наподобие знаменитого друга доктора Джонсона.— Имеется в виду английский писатель Джеймс Босуэлл (1740—1795), написавший биографию английского писателя, поэта и лексикографа Сэмюела Джонсона (1709—1784).

РЕЧИ

Стр. 453. *Речь на банкете в его честь (Эдинбург) 25 июня 1841 года.*— Обед в честь Диккенса был дан эдинбургским муниципалитетом в связи с избранием 29-летнего писателя почетным гражданином города Эдинбурга.

...«мысли, которые дышат, и слова, которые жгут» — строка из стихотворения «Прогресс поэзии» (1757) английского поэта Томаса Грея, автора элегии «Сельское кладбище», переведенной В. А. Жуковским.

Стр. 454. *Богатство — штамп на золотом, || А золотой — мы сами.*— Из стихотворения Роберта Бернса «Честная бедность». *(Перев. С. Маршака.)*

Стр. 458. *В деревьях — речь, в ручье журчащем — книги, || В камнях — наука, и во всем — добро.*— См. прим. к стр. 116.

Международное Авторское Право.— Диккенс неоднократно выступал в защиту авторских прав писателей, но, как видно из его писем и статьи, опубликованной в июне 1842 г., даже в писательских кругах Соединенных Штатов его призыв к борьбе с пиратскими изданиями путем заключения международной конвенции вызвал растерянность и не нашел поддержки. Более того, на другой же день после выступления Диккенса хартфордская газета «Таймс» с возмущением писала: «Мы не нуждаемся ни в чьих советах по вопросу об авторском праве, и мистеру Диккенсу было бы лучше вовсе не касаться этой темы». Американская пресса начала травлю Диккенса, обвиняя его в корыстолюбии, неблагодарности и злоупотреблении гостеприимством. Писателя засыпали анонимными письмами угрожающего характера.

Стр. 459. *Уэверли, Равенсвуд, Джинни Динс ...учитель Сэмпсон...*— герои романов Вальтера Скотта.

Стр. 461. *Речь на банкете в его честь (Нью-Йорк) 18 февраля 1842 года.*— Банкет состоялся через день после грандиозного бала в честь Диккенса. Председательствовавший на банкете писатель Вашингтон Ирвинг поддержал предложение Диккенса

о заключении международной конвенции, правда высказанное в более мягкой форме, чем в предыдущей, хартфордской речи.

Стр. 464. *Дидрих Никербокер, Джеффри Крэйон* — псевдонимы Вашингтона Ирвинга.

Стр. 465. *«Сельская жизнь в Англии», «Гордость деревни» и «Разбитое сердце»* — названия глав из книги очерков Вашингтона Ирвинга.

Стр. 466. *...в присутствии Брайанта, Халлека...* — Брайант Уильям Каллен (1784—1878) — американский поэт и журналист, либерал, аболиционист, один из первых влиятельных американцев, поддержавших кандидатуру Линкольна в президенты. В течение пятидесяти лет был редактором газеты «Нью-Йорк Пост». Халлек Фитц-Грин — американский поэт, автор поэмы о Бернсе; способствовал росту популярности Диккенса в Америке.

...направляет Вашингтона Ирвинга своим представителем на родину Сервантеса! — В. Ирвинг был американским послом в Мадриде с 1842 по 1846 г.

Стр. 470. *Сперва на мужчинах он руку набил, || Потом стал учить и девчонок* — парафраза строки из стихотворения Бернса «Песня»:

Сперва на мужчинах он руку набил,
Потом стал творить и девчонок.

Стр. 472. *Дороже всех титулов доброе сердце, || И верность дороже нормандской крови (перев. М. Лорие)* — строки из поэмы «Леди Клара Вир де Вир» английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892).

Стр. 473. *«...да осенит нас всех господь своею милостью!»* — заключительные слова «Рождественской песни» Диккенса (1843).

Стр. 475. *Два твоих старших брата зачахли и умерли — очень уж они были малокровны.* — Две ранее предпринятых попытки основать в Бирмингеме политехническую школу не удались за недостатком средств.

Стр. 479. *«Ступай в комнату совета и скажи им — пусть накладывают громких фраз и прекрасных слов хоть в дюйм толщиной, все равно они этим кончат».* — У Шекспира: «Ступай в комнату знатной леди и скажи ей, пусть накладывает белил и румян хоть в дюйм толщиной, все равно она этим кончит» — слова Гамлета, которые он произносит, держа в руках череп («Гамлет», акт V, сц. 1).

Стр. 480. *Речь на открытии публичной библиотеки (Манчестер) 2 сентября 1852 года.*— Закон, разрешающий учреждать бесплатные публичные библиотеки, был принят парламентом в 1850 г.

За последние две недели я так привык повторять чужие слова...— В течение лета и осени 1852 г. организованная Диккенсом труппа актеров-любителей особенно активно гастролировала в Лондоне и в провинции, сыграла пьесу Бульвер-Литтона «Не так плохи, как кажемся» в присутствии королевы Виктории и собрала крупную сумму на благотворительные нужды.

Стр. 481. *«Манчестерская школа»...— сплошной обман... сплошная идиллия.*— Шутка Диккенса строится на противопоставлении «манчестерской школы» (популярного в то время направления в политической экономии, выступавшего под лозунгом «свободы торговли» и «свободы частного предпринимательства») — манчестерской школе для рабочих.

Стр. 483. *Речь на банкете в честь литературы и искусства (Бирмингем) 6 января 1853 года.*— В грамоте, выданной Диккенсу на этом банкете, его называют «национальным писателем Англии» и отмечают высокую нравственность его произведений. Для предполагавшегося основания Института Бирмингема и Средних графств необходимо было собрать 20 000 фунтов стерлингов. Диккенс предложил свою помощь: выступить с чтением «Рождественской песни», а сбор передать в фонд строительства Института. Институт был открыт в 1858 г.

Стр. 486. *...способствует распространению таких полезных книг, как «История» Маколея...*— Позже Диккенс изменил свою оценку «Истории» Маколея. Прочитав ее «с мучительным трудом», как он признается в письме к Форстеру в 1855 г., он был возмущен казенным оптимизмом либерального лорда в оценке перспектив развития английского государственного строя.

Гершель Уильям (1738—1822) — выдающийся английский оптик и астроном.

Стр. 487. *...великолепную картину моего друга мистера Уорда.*— Уорд Эдвард Мэтью (1816—1879) — английский художник. Диккенс говорит о его картине «Шарлотта Кордэ шествует на казнь» (1852).

Стр. 491. *Речь в Ассоциации по проведению реформы управления страной 27 июня 1855 года.*— Это выступление Диккенса на втором собрании Ассоциации содержит резкую критику речи лорда Пальмерстона о первом собрании Ассоциации, которое

происходило в театре Друри-Лейн 20 июня. Это дало повод Пальмерстону назвать собрание «любительским спектаклем». Диккенс не только поддержал смелое выступление своего друга Лейарда, но и принимал деятельное участие в работе Ассоциации.

...«думали, что в многословии своем будут услышаны» — фраза из евангелия от Матфея (6, 7).

Стр. 492. *...мы взяли на себя смелость поставить «Школу реформ»...* — «Школа реформ, или Как править мужем» (1805) — комедия английского драматурга Томаса Мортона.

Стр. 494. *Пепис* Сэмюель (или Пипс) (1633—1703) — английский мемуарист. Его «Дневник», расшифрованный только в 1825 г., — любопытнейший человеческий документ, рисующий с исключительной правдивостью, искренностью и полнотой жизнь и быт английского общества за десятилетие с 1660 по 1669 г.

Стр. 495. *...определения, какие знал еще Шекспиров Оселок...* — Оселок — действующее лицо комедии Шекспира «Как вам это понравится» (акт 5, сц. 4).

Стр. 496. *Когда он велит слугам накормить его детей хлебом, они дают им камни; когда он велит слугам накормить детей рыбой, они дают им змей* — измененный текст из евангелия от Матфея (7, 9—10).

Стр. 497. *...разница между испанским быком и быком ниневийским...* — Английский археолог и дипломат Остин Лейард (1817—1894), производивший раскопки в Малой Азии, подарил Британскому музею статуи двух огромных ниневийских быков, что дало повод карикатуристу журнала «Панч» изобразить этого темпераментного поборника государственной реформы в виде быка.

Стр. 498. *Кокер* Эдвард (1631—1675) — составитель учебника арифметики, имя которого вошло в поговорку: «Как по Кокеру» (according to Cocker), то есть верно, как дважды два — четыре.

...национальная свинка все еще никак не перелезет через забор, и старушка Британия нынче не воротилась домой — перефразировка английской детской сказки про старуху, которая купила на рынке свинью, но никак не могла добраться с нею домой, так как свинья ни за что не хотела перелезть через забор.

Стр. 500. *Так именем богов, всех вместе взятых, || Прошу, скажи: чем Цезарь наш питался, || Что вырос так?* — Шекспир, «Юлий Цезарь», акт I, сц. 2. *(Перев. М. П. Столярова.)*

Стр. 501. *Речь в защиту больницы для детей 9 февраля 1858 года.*— В этой речи Диккенс развивает мысли, высказанные им в статье «Увядшие бутоны», написанной вместе с Генри Морли для журнала «Домашнее чтение». В Англии была в то время исключительно высокая детская смертность: из 50 000 лондонцев, умиравших в среднем в год, 21 000 составляли дети; на весь город существовала только одна детская больница, основанная в 1852 г.

Стр. 502. *...в духе моего друга мистера Альберта Смита.*— Смит Альберт Ричард (1816—1860) — писатель и путешественник. Его книга «Восхождение на Монблан» и лекции о путешествиях по Китаю, Америке и Европе пользовались популярностью во времена Диккенса.

Стр. 504. *«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им»* — фраза из евангелия от Марка (10, 14).

Стр. 510. *...начиная с повозки Феспида.*— Феспид (VI в. до н. э.) — родоначальник древнегреческой трагедии. По преданию, сценой ему служила повозка.

Стр. 513. *Гендель* — знаменитый немецкий композитор Георг Фридрих Гендель (1685—1759), долгие годы жил в Англии и деятельно поддерживал Общество музыкантов, учрежденное в 1738 г.

«Гармонический кузнец» — часть музыкальной сюиты Генделя.

Стр. 518. *Оно существует неполных сорок лет...*— Пенсионное общество печатников было образовано в 1827 г.

Стр. 519. *Мистер Бантинг, навлекший на себя немало насмешек своей брошюрой о лечении тучности...*— Имеется в виду похоронных дел мастер Уильям Бантинг (1797—1878), выпустивший в 1863 г. брошюру о лечении ожирения диетой. Слово «бантинг» («banting») вошло в английский язык и обозначает «лечение ожирения диетой», а соответствующий глагол «bant» — «сбавить в весе».

Стр. 520. *Речь в Газетном фонде 20 мая 1865 года.*—Фонд, впервые образованный в 1858 г., вскоре распался и был вторично организован в 1864 г.

Стр. 525. *...похвал покойного мистера Блека...*— Джон Блек (1783—1855) был редактором «Морнинг Кроникл», когда в этой газете работал Диккенс. В одном из писем Диккенс говорит, что Блек одним из первых признал в нем будущего писателя.

Стр. 527. *Речь в Ассоциации корректоров 17 сентября 1867*

года.— Ассоциация собралась под председательством Диккенса, чтобы принять обращение к предпринимателям с требованием сокращения рабочего дня и повышения оплаты труда.

Стр. 529. *Уилсон* Джон (1785—1854) — профессор этики Эдинбургского университета, постоянный сотрудник журнала «Блэквудс Мэгезин», писавший с 1817 г. под псевдонимом Кристофер Норт.

...опустевшая зала, || Где погасли огни, || Где засохли цветы || И исчезли веселые гости...— из стихотворения Томаса Мура «Отблеск минувших дней».

Стр. 530. *Шеридан Ноулз* (1784—1862) — английский драматург и актер.

И каждый раз я находил здесь непревзойденно сердечный, великодушный и щедрый отклик.— Диккенс неоднократно ставил в Ливерпуле любительские спектакли: в 1847 г. в пользу Ли Ханта, в 1848 г.— в пользу дома Шекспира в Стратфорде, в 1852 г. в пользу Гильдии литературы и искусств.

Стр. 531. *Измерительный прибор мистера Уитворта.*— Джозеф Уитворт (1803—1887) — инженер-механик, изобретатель. Создал систему стандартных измерений, единую систему винтовой нарезки и усовершенствовал огнестрельное оружие.

Стр. 532. *Лорд Бруэм* (1778—1868) — прогрессивный политический и общественный деятель, участник парламентской реформы 1832 г., лорд-канцлер в правительстве Чарльза Грея (1830—1834). Постоянный сотрудник «Эдинбургского обозрения», один из основателей Общества распространения полезных знаний (основано в 1825 г.) и Лондонского университета (1827).

...времена лорда Верисофта.— Лорд Фредерик Верисофт — персонаж романа Диккенса «Николас Никльби».

Стр. 533. *...между половиной седьмого и половиной восьмого вечера* — то есть когда на галерею пустили дам.

Я. РЕЦКЕР

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

РЕЧИ

Перевод М. Лорие

Комментарии

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 28

Редакторы Н. Дынник и Э. Раузина

Художник Н. Семпер

Художеств. редактор Л. Калитовская

Технический редактор Г. Каунина

Корректоры Р. Пунга и А. Юрьева

Сдано в набор 21/VII 1962 г.
Подписано к печати 12/X 1962 г.
Бумага 84 × 108[1]/32 — 18,25 печ. л. = 29,9 усл.
печ. л. 27,077 уч.-изд. л. Тираж 409 000
(109 001—259 000) экз. Заказ № 4037.
Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.